Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
Том шестой

Рассказы

Созревание плодов

Роман

Соляной амбар

Роман

ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
москва
2004

УДК 882
ББК 8 4 (2 Рос=Рус) 6
П32

Оформление художника
В. ОРЛОВСКОГО

Составитель
К. АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК

Пильняк Б.

П32 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6: Рассказы; Созревание плодов; Соляной амбар: Романы/ Состав., коммент. К. Андроникашвили-Пильняк: Послесл. Б. Андроникашвили-Пильняк — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2004. — 608 с.

ISBN 5-275-01045-1 (т. 6)
ISBN 5-275-00727-2

Борис Андреевич Пильняк (1894—1938) — известный русский писатель 20—30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.

В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Созревание плодов», «Соляной амбар».

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 5-275-01045-1 (Т. 6)
ISBN 5-275-00727-2

Рассказы

ЗАШТАТ

Российское место оседлости, именно — место оседлости и — российское. При царях Иванах здесь была вспольная крепость, при императорах помещался уезд, перед самым семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе рик. В начале века у города возникла было некая необыкновенность и погибла с революцией: наладились было в городе покупать дома с вишневыми садами отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города — семьдесят один километр. Базар и собор на горе, собор, впрочем, заколочен. Вокруг базара двухэтажные каменные места жительства бывших потомственно-почетных, с каменными воротами и глухими конюшнями, с собачьими будками и с переросшими в одичание садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости — одноэтажные деревянные дома, за амбарами сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо.

Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе — в конюшнях и двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза, и там же помещалась аптека; младший ветеринар Климков, Николай Сергеевич, жил на дворе во флигеле. Через улицу, как раз окна в окна, также на втором этаже, жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским

красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей — человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции, и, встретившись, они не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до пятого года, Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. От пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Феодор Расторов, местный феодал и улан ее величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему, и он пригласил двух врачей помимо санитарного совета и без стажа на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собрание пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить товарищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено, — в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений, — не подавать этим двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил и он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции

путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Феодор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, неподавшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку... — кроме двоих, — кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, — узнав о проектах князя, — за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподачи руку уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза, Иван Авдеевич, который и не имел особенно прямого отношения к медицинскому санитарному совету, пришел на заседание и, когда князь широким и дружеским жестом представлял ему новых коллег, спрятал руки за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал, — «извините, князь, но с этими господами знаком быть я не желаю», — и был уволен из Калязинского земства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две, когда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Калязин ликвидировать свою квартиру, он объехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича Грозы, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по нерастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год начала мировой войны, в зное и духоте феодальной реакции, в условиях второвского капитализма и фонмэкковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можайском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. — «Господа члены сани-

тарного совета, — торжественно сказал Гроза. — Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей, — имени его я не буду называть, я надеюсь, он сам признается в ошибочности своих поступков, — один из наших врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает по участкам на вызовы — на племенных земских жеребцах, — разъезжает ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях...» Гроза, Иван Авдеевич, сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами, — доклад был встречен гробовым молчанием, принят был «к сведению». А летом семнадцатого года, при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами временного правительства, — именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, злой с виду, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят граммов ректификованного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационары, опять разводил пятьдесят граммов, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в десять поджаривал яичницу и ложился на диван, под одеяло из романовской овчины, в сотый раз перечитывая майнридовские романы, пока не засыпал. По осеням над заштатом дули ветры

и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, а в дожди казалось, что по крыше шествует обутое в ичиги мамаево полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозою в Калязине, Лавр Феодосович Невельский семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до ноября, сначала от энэсов, а затем от эсеров занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и — перевелся в заштат, ехал со станции в заштат на семи возах хозяйственной утвари. В заштате он отвоевал себе лучший, генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. С ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его и глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрика, сказал:

— Иван Авдеевич, новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься.

И Иван Авдеевич Гроза, так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад, низко качая головой из стороны в сторону, раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю.

Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще же Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел

старостуденческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

— Ты, товарищ Гроза, — чего ж это ты, здорово живешь, встаешь на дыбки? — или что знаешь? ежели знаешь — скажи.

Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

— Ничего я не знаю! и я не желаю говорить о Невельском!

В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал «Красную новь» и «Новый мир», вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крыше и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушек и где развешаны были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Первою весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно, за го-

род, куда-нибудь к оврагу иль к холму летом, иль к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически. Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям частная практика запрещена, да и не это являлось специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом и, не занимаясь принципиально частной практикой, он принимал участие в консилиумах, за что в гонорары принимал благосклонно утят и курят. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современность, от калязинской молодости до заштатной мудрости, — о том-де, что на той неделе-де подслушал он из окошка разговор прохожих у его подъезда. Один спрашивал другого: — «здесь, что ль, живет доктор?» — «здесь!» — «и ничего, доктор хороший?» — «доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым, живых он не лечит!..» А Гроза жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климков Николай Сергеевич, и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти граммов до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич никак не принадлежал. По лéтам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров в заштате возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема, — с громом на рассвете выезжал с бывшего постоялого двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой с овсом, — полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто пóливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева, Павла Егоровича, то он был партийцем ниже средней руки, — его товарищи давно работали в

крае иль даже в Москве, — местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством в местном городском училище Положения 77-го года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не поехал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом рика, хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович отмалчивался от жены, на второе приглашение заявил жене строго, — «не пойду, ну их к черту, — интеллигенты!.. — и тебя прошу — не ходи... тоже, Завалишина — словами завалила!.. галстуки носят!..» А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

И наступил порог первого Великого Пятилетнего Плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия, — заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек, с шофером остановился в общежитии ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тюрина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского, и он, вместе со стенографисткой-секретаршей, устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведчес-

ком музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался вопрос об аэроэлектрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплотинивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов, — этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседание собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было, по существу, и прений, ибо все, соглашаясь с докладчиком и восхищаясь его талантами, так строили все свои речи, о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайца, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию, и тогда затребовал

себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

— Господа, — сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился, — то есть товарищи! Я принципиально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве, — и опять смутился, обозлел еще больше, поправился, — то есть — сначала в земстве, а потом при Советской власти — двадцать семь лет в общей сложности, — опять смутился и окончательно обозлел. — То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. В Германии ветеринарное дело поставлено лучше, чем у нас, германское население культурнее нашего, у немцев соседями являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей, — и тем не менее в Германии до сих пор имеются эпизоотии. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые, в свою очередь, граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотий не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующими крайзу. Речь его была вежливейшая и академичнейшая. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, усматривая в речи Грозы оскорбление съезда, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы «господа» и «в земстве» были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения.

Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

— Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение

речи разрешите уж мне оценить... Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом.

Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинение съезду. Слово взял Лавр Феодосович Невельский, заговорил тоном, указывающим, что события не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им и он от нее не отказывается. Он единственный на съезде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

Тогда вскочил с места Гроза, Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не спросил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно:

— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что, работая как земец, то есть как врач, двадцать семь лет, я никогда, ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии, — правильно, но от обсуждения я принципиально уклоняюсь. А поэтому имею заявить, — извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю, ибо тут происходит явное передергивание фактов...

Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился летний зной заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайца, лисицы, сороки, и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский, Лавр Феодосович, предложил проголосовать резолюции и пожал лавры, — было постановлено о ветеринарии, в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

Съезд был закончен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тюрина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», марш Буденного, «Кирпичики» и даже «Гаудеамус». Председатель, завкрайзу, оказался веселым товарищем, простым человеком, и сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее

некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

— А кто этот твой Гроза? — и добавил, думая вслух: — Черт их знает, интеллигенты!.. На самом деле, — заштат, степь, — беги по этой степи бешеная собака, на тысячи верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике.., а с другой стороны, — большинство, ведь не дети ж, не в шашки играют, ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, — ведь учились не меньше, чем этот старик!.. — как его — Гроза? — такая фамилия?

— Именно такая фамилия, — ответил Трубачев. — Работник отличный, а человек... Человек чумовой, водку пьет в одиночку и ночи напролет читает иностранные романы. Скандальный человек. Прямо не заметно, но надо полагать, что человек чужой, ведь сбежал же из Можайского земства к нам сюда!..

— А Невельский? — спросил крайзу. — Очень поспешный, черт, вроде эсеров... Кто он у тебя?

— Работает, старается, — ответил Трубачев и начал думать вслух: — Черт их знает, говоришь — интеллигенты!.. на самом деле, — галстуки ведь на них на всех одинаковые, пойди разбери... Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого, и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, так его жена меня ученостью завалила. Работает, старается. Я, признаться, избегаю с ними по душам говорить, — стараюсь, полегче, конечно, понезаметней, приказывать и следить за выполнением, — сами того требуют... Я думаю, — все-таки большинство право, — ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают, — ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение как специалистов. Я и им поверил. Приходится верить... Галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!..

— То-то — верить! — так же вслух начал думать крайзу. — Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь? Ведь Москва — на материалах республик, краев, областей Союза, — ведь в расчетах Великого Пятилетнего Плана в разделе «животноводство», в главе «ветеринария», в параграфе «борьба с эпизоотиями» напишут и примут в расчет, — мероприятиями Советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки!.. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

— Своих надо, — невесело сказал Трубачев, — своих, партийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор!.. А приказ — я не могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встает... приходится верить, а то с одним чумовым Грозой останешься!..

Партийцы помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на китайского своего мерседеса, как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехал в край. Степь легла довспольным простором.

Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответработников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель, Николай Сергеевич Климков, был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице, он окликнул в окно, сказал, — «зайдите!» — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемной рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот

взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

— И зачем вы только это, Иван Авдеевич?..

— Что зачем?.. — крикнул Гроза.

— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а уж если выступили, почему не отстаивали свою позицию, не боролись и ушли со скандалом? Уважаемый врач, старый практик и...

Гроза перебил вопросом.

— Какую резолюцию приняли?

— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

— Вы голосовали?

Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, — заговорил:

— Вы ведь Невельского давно знаете? — надо было начинать с этого, надо было разоблачать врага. Раз вы пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом... да и не это главное...

— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крякнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципиально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать, — но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен. — Глаза старика стали печальными. — Вы голосовали, — за? — Но скажите мне сейчас, здесь, наедине, начистоту, — разве я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?!

— Конечно, правду!.. если не все, то большинство это понимает...

— Так в чем же дело?! в чем дело! — радостно крикнул Гроза. — Ведь я говорил ради нашего дела! я ветеринарному делу помогал и помогал стране!.. и вы — голосовали!..

Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика, — заговорил невесело:

— Иван Авдеевич, не мне учить вас! — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, — ну, разве можно к ним обращаться за

поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играть главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... Учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции, — с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет, — быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса, быть может, нас никого не будет в живых, — кто знает? Вера в успех — это одно. Малое знание, — это другое. Ну, а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей, — кто тогда будет прав, вы или Невельский?.. И еще. Посмотрите на большевиков, — как им хочется, чтобы все хорошо было. Возьмите наш съезд, — о Трубачеве не говорю, он если не прямо, то косвенно приказал, — валяй, ребята! — посмотрите на председателя, отличный человек, матрос, старый большевик, — обратили внимание, как у него рассечено лицо? — он говорил на ужине, полосанул белый казак, — ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы все было отлично, — ведь он, поди, счастлив, поди, считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через пять лет у нас не будет эпизоотий, — он жизнь отдал революции, — ну, как против него руку поднять?! — и обидеть не хочется, и опять же страшно — власть!.. а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов, и поделом, потому что социально чуждые, и правды не говорят и назло и со страху, — страх свою роль играет!.. А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру... шкура человеческая — страшная вещь!

Николай Сергеевич помолчал, он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, — опять заговорил невесело и горько:

— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне, —

говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг!.. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете, — и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступили за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и приукрашивают, — а вы это сказали вслух, вы правду вслух сказали. Именно поэтому мы и стали на сторону Невельского, — это я о себе говорю, — потому что вслух вы сказали правду. Можно даже сказать, что товарищи оклеветали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент. Но в том-то и дело, что, если человек сделает гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана. Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду, если бы вы не окликнули меня в окошко, если бы не дали так по-хорошему папироски, и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

— И пожалуйста!! Не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза так, что задребезжали стекла в рамах. — В циниках и в предателях друзей не держу! — чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! не прошус-с!

Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского. Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шепотом:

— Иван Авдеевич, — Невельский подслушивает, умоляю, потише, умоляю, не надо, — я вам как друг говорил, по душам, — умоляю, — подслушивают!..

Старик лег в постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно, взгляд стал очень далеким, старик слушал себя, и старик сказал тихо:

— Не понимаю, не понимаю... ведь я же говорил ради нашего ветеринарного дела, ему ведь я отдал всю

мою жизнь, невеселую жизнь!.. а вам — вам за вашу правду спасибо, я такой правды не знаю, прошу — на меня не сердитесь... Стар! не понимаю!..

Николай Сергеевич молвил очень невесело:

— Э-э-эх, Иван Авдеевич...

Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь. Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба — Лавр Феодосович и Полина Исидоровна — поспешно окно распахнули. Крик затих.

— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилийка тоже! — сказал Лавр Феодосович.

— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал:

— Нет, конечно, — но если бы ты знала, как они мне надоели!..

— Кто — Гроза?

— Нет, большевики, конечно, — весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, — то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

— О да, конечно!.. — сказала Полина Исидоровна.

Окончательно в рассвет у дома ответработников прохрипел «китайский мерседес», и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна. На съезде от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев. Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти эпизоотии, интеллигенты,

вы, черти, галстуки носите!.. — напутал Невельский? — ты скажи по сердцам!..

Гроза ответил очень спокойно:

— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом, — в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте, — возьми датскую статистику, если не веришь германской.

— Ты подожди наукой сыпать, — ты скажи кратко — останутся или не останутся, и скажи про Невельского, — молвил Трубачев. — На, закури, Иван Авдеич!..

— Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском и говорить — ниже моего достоинства. До свиданья.

Иван Авдеич перебрал вожжи.

— Ты, постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты что же, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? — почему я тебе верить должен?..

— До свиданья, — сказал Гроза, — глупости говоришь. Еду на страховку.

В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат. Базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности шествовали, обутые в ичиги, мамаевы кочевья ночи и дождей, над заштатом дули ветры и метели. И как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание помещало в городе рик. В начале пятилетки снимали в городе с церкви колокола, заштатцы говорили — ничего не выйдет, народ за колокола взбунтуется, — но колокола сняли и забыли о них в новых событиях. В социальном ветре, который прошел над страной, всполошились деревни вокруг заштата, валом повалив в колхозы. Заштатники говорили, — ничего не выйдет, — но единоличник исчезал, и в но-

вых деревнях о нем забыли. Весь заштат однажды не спал ночи, мальчишки целые сутки висели на заборах и липах, а молодежь с котомками уходила навстречу, — ожидали трактора со станции, невиданное зрелище. Тракторов въехало сразу двадцать три штуки, и проехали тракторы прямо в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатники провожали тракторы до собора и влезли в гараж вместе с тракторами, три дня ходили пересматривать тракторы старухи, в поле таскались смотреть, как тракторами пашут, — и не заметили за тракторами, как от станции до заштата — семьдесят один километр — вместо екатерининского глиняного большака легло каменное шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами и автобусом, за грохотом тракторов заштатники не заметили, как под горой на месте разбитой мельницы зафыркала электростанция, и, как должное, затребовал заштатец в рике себе на дом провода. Не заметили, как многие заштатцы смылись из заштата и подобру-поздорову, и иными путями, как новые поселились в заштате люди, не знавшие о довсепольных временах. Так прошло четыре года. В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог второго Пятилетия, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом Грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под Новый год, — в Москве тогда только что отошел процесс промдеятелей и московские газеты назревали кондратьево-чаяновским процессом, совсем под Новый год по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. Из одного из них вылез — в овчине, в треухе, в валенках — бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп — там заседала новая комиссия. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, опершись на скрещенные руки, бритый, молодой, с ромбами на красных нашивках.

— Эх, ты, — галстуки!.. не дети же...

Трубачев стоял против стола, не садился всю ночь. И глубоко за полночь последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения, проводили. В музейном зале от ламп под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич?! Здравствуй, как поживаешь? Мы вот тут стенограммы читаем, — это вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план, — ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?

— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.

— Ты нам посоветуй, что ты можешь сказать в свое оправдание. Мы вот сегодня Невельского арестовали...

— Арестовали? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими сединами.

— Арестовали, — ответил моряк. — Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его и арестовывать не пришлось бы, а может, его б тогда арестовали — для пользы дела. И знаешь, тебя-то за укрывательство негодяев надо арестовать. Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил! И вот ты об этом подумай, старик, ведь ты ж вредителем оказываешься со своей интеллигентской моралью. Тебе верить можно?

— Можно.

— Тогда ты это докажи и не путай. Ты нам изложи твои точки зрения на местную ветеринарию и взгляды. Ты что ж, Невельского отстаивать будешь?

В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В довспольные времена здесь ходили мамаи, была здесь вспольная крепость. Но, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили: ничего не выйдет. Гроза взбунтуется, не говоря уже о Лавре Феодосовиче Невельском, — однако колокола сняли, забыли о них.

ОТЕЦ И СЫН

Очки, известные еще египтянам, были спутником несовершенства человеческого зрения, исправляя дальнозоркость его и близорукость. За тысячелетья существования они меняли форму. В девятнадцатом веке и в начале двадцатого, вплоть до завершения мировой войны, люди носили очки в металлической оправе овальной, миндалевидной формы. Мировая война принесла новую форму очков, напоминающую бинокли: круглые стекла в тяжеловесной роговой иль черепаховой оправе, на черепаховых оглоблях, идущих за уши. Эти очки возникли в Америке. В РСФСР они появились, одиночками, после лет военного коммунизма, году в 22-ом, когда первые советские граждане успели побывать заграницей и вернуться оттуда с европейскими новостями и когда первые иностранцы приехали увидеть Страну Социализма.

— —

В человеческих отношениях незаметен тот час, когда отец и сын, отцы и дети меняют свои позиции старшего и сильнейшего в семье. От детства идет так, что отец — конечно, старший, сильнейший; в громадной мере он предрешает судьбу сына, он дает сыну хлеб и мораль; какой сын не подражал отцу в манере говорить, в походке, в жестах? — Дети вырастают, идут в жизнь, оглядываются на прошлое, и на отцов в том числе. И наступает незаметный час, когда сын, любящий, встретившись с отцом, ласково и убежденно говорит отцу, —

— Нет, ты не прав, отец.

И бывает незаметный час, когда тридцатилетний сын идет на почту и посылает отцу посылку иль день-

ги, как совсем недавно отец присылал ему, и пишет на переводе, —

«...не сердись, папашка, я же знаю, что у тебя подгнил забор и ты все собираешься его подремонтировать»...

— —

Отец и сын жили в маленьком приволжском деревянном городке, в маленьком деревянном доме, в переулке, где на улицу выходили главным образом заборы. Каждое утро, в шесть часов, отец уходил к Волге и там на дощанике плыл через Волгу к красным корпусам фарфорового завода. На заводе от семи утра до шести вечера — на тарелках, на блюдах, на мисках — отец писал орнаменты, «цветочки» и «ситчики», те самые, которые миллионами расходились по России, по Средней Азии и по Персии. В семь отец возвращался домой; каждый раз он садился на завалинку, прежде чем войти в дом, и вздыхал, выбрасывая из легких фарфоровую краску, вбирая в легкие отдых; он был утомлен, отец; и очень часто подсаживался на завалинку к отцу сын, — и сын вздыхал, как отец, очень утомленно и серьезно, точно он сам пришел из цеха, а не хлобыстал целый день в лесу и на Волге. Отец был хорошим и умным человеком. Отец был справедлив со своею судьбой, он учил сына всему лучшему, доступному в деревянном волжском городке, и он освобождал подростка от зависимости перед хлебом, давая сыну хлеб. Революция была принята отцом и сыном, как право на жизнь и как дело их рук. Революция и отец послали сына на фронт гражданской войны, в жизнь революции, далеко от волжского городка. И сын с тех пор не вернулся в свой город. Революция для сына была лестницей восхождения человеческого достоинства. Революция уничтожила для сына пространства. Когда армии революции сбросили в моря врагов, тогда иные из солдат революции поехали за пределы страны, чтобы укреплять права революционной страны. Сын был в Турции, в Персии, в Англии. Каждый раз, когда у сына выпадало время, он приезжал к отцу, к старшему товарищу, к учителю, чтобы от него, через него почувствовать кровебиение миллионных русских пролетарских масс.

— —

Из заграницы сын приехал одетый, как иностранец, в широкоплечем сером пальто, в широкополой шляпе, — и в круглых роговых очках, точно в телескопах. Через час после приезда сын был таким же, как всегда, — мама из сундука достала ему старые его гимнастерку и галифе, отец с подоловки принес сапоги, от заграницы остались одни лишь очки. Сын слушал отца, отец слушал сына; когда люди приезжают на побывку, они всегда ходят в гости к родным и знакомым, — первое место, куда пошли отец и сын, — это был райком. Сын заснул в отроческой своей комнате. Сквозь сон он слышал, как мать возилась на кухне с пирогами. И сквозь сон он увидел, как на цыпочках вошел в комнату отец, как осторожно он взял очки, рассматривал их, примеривал на нос. Сын открыл глаза. Отец положил очки.

— Я ведь вот тоже... прорисовал глаза. Твои мне не подходят. А — хороши. Мои — видишь, какие, — как щелочки — против твоих...

Отец был явно смущен.

И еще раз — за большими разговорами, через несколько дней, за день перед отъездом — опять отец заговорил об очках:

— Заграничные? — у нас еще не делают? — хороши!..

— —

Прошел год. Сын опять был у отца, отец по-прежнему был учителем и источником живой воды, живого ощущения революции. И опять — случайно, между прочим — отец говорил об очках.

— Все носишь? — спросил отец, — еще не сломал? — а то я починил бы. Мне бы такие на всю жизнь хватили. Поедешь к иностранцам, — купи.

— —

Прошло семь лет. За эти семь лет, конечно, много раз ломались очки сына, и сын менял очки. Сын обосновался в Москве. Он ездил к отцу. И через семь лет отец приехал погостить к сыну. Сын доставал для отца билеты в театр. В рабочее время, когда сын был занят, отец уходил пешечком на московские улицы. За обедом сын спрашивал отца, — где был.

— Да в разных местах... Электрический счетчик искал, в нашем городе не хватает, трудно достать. Заходил к Федоту Федотовичу, — помнишь? — его и меня в

Пятом годе казаки пороли, наш сосед, — он тогда ж из нашего города уехал; навестил старика, живет на Шаболовке в доме престарелых революционеров. Вместе с ним на такси в Музей Революции ездили, знакомых вспоминали... Ну, заходил в лавочки.

Перед отъездом отец сказал сыну:

— Я у тебя тут ограбление сделал, не гневайся.

— Какое? — спросил сын.

— Не скажу. Приедешь к нам, сам увидишь.

— —

И через полгода сын приехал к отцу. Отец вышел к сыну гордой походкой — на носу у отца были круглые очки.

— Видишь? — гордо спросил отец.

Сын рассмотрел: из старых его очков, из нескольких сломанных оправ отец сделал одну оправу, в которую вставил стекла, купленные должно быть в последнюю его московскую поездку.

— Видишь? — гордо спросил отец, — не хуже твоих.

Сыну стало стыдно, он очень любил отца, —

— Папа, ну почему ж ты мне не сказал, что тебе нужны такие очки? — я ж всегда мог тебе достать. И почему старые, зачем ты делал из рухляди?..

Сын вспомнил все. Он понял, что он не дослушал желания отца, — те или иные очки — для него это было мелочью, значения не имевшей, почему — отец и круглые очки?..

Отец сказал то, о чем только что думал сын:

— А я тебе разок-другой намекал про очки, ты не обратил внимания.

Сын повторил вслух вторую свою мысль:

— И зачем тебе они? — я помню, как я к ним привыкал, не очень удобно... и почему старые?..

Очень ласковыми и очень нежными стали глаза отца. Отец положил руки на плечи сына. Очень близко он посмотрел в глаза сына. Не улыбаясь, шепотом он сказал:

— А ты, сынишка, скажи мне, — могу я гордиться тобой или нет? — ну, что ты скажешь против того, что мне приятно твои очки донашивать... Ну, — что там — штаны, сапоги... Чай, ведь ты первый такие очки при-

вез в наш город, а я думал — я второй... пока их вся страна не надела.

Отец чуть-чуть опустил глаза.

— Теперь их в Москве делают — сколько угодно...

— —

Очки, известные еще египтянам, были спутником несовершенства человеческого зрения, исправляя дальнозоркость его и близорукость.

Ул. Правды,
4 июня 936.

ИГРУШКИ

Сын, Борис Борисович, он же Жук, он же Воробушек и сотни других имен, которые дает мать, играя с сыном, — он забирается до половины лестницы и кричит оттуда:

— Папа, имагу!.. подятита, папа!

Надо идти на лестницу, брать сына, это полуторалетнее человеческое существо, и тащить его — иль вниз, чтобы не мешал, иль наверх, чтобы он увел за собою мысли отца в замечательное время первых проявлений человеческого сознания. Сын подражает отцу: он садится в кресло, положив ногу на ногу, как отец; он забирается на стул к письменному столу и бьет по клавишам пишущей машинки; его можно спросить: «ты чей?» и он ответит «папи и мами!» — он обязательно скажет, сделав хитрое лицо: «папа, дай акуму, подятита!» — акум, его собственное слово, — всяческая сладость: подятита — это пожалуйста.

Но вот лестница. Если его спустить вниз по лестнице и сказать ему «папа занят, не мешай, Воробушек!» — он повторит: «папа занят, имесай!» — и через пять минут полезет вновь до середины лестницы. И если его поднять наверх, через пять минут он поползет вниз до середины лестницы. И в обоих случаях он будет кричать, обязательно отцу, но не матери, которая также рядом, —

— Папа имагу!.. подятита, папа!

И отец установил, что лазание по лестнице для сына — игра с отцом, а самая лестница — игрушка: когда отца нет, сын давно уже сам справляется с лест-

ницей, — ему просто приятно ощущать страх на середине лестницы и приятно усаживаться на руках отца, брать отца за шею и испытывать большой страх, так высоко поднимаясь от лестничных ступеней до рук отца.

Но у сына есть другая игрушка, друг, она же — врагиня гораздо более страшная, чем путешествие в таинственные страхи лестницы. Первоначальное ее имя Соня, а чаще она бывает Сонькой, самым последним человеком, иль Сонечкой, человеком самым примерным. Это — тряпичная кукла, изображающая негритянскую девочку, на самом деле очень черную. Она существует в сознании вот уже половину существования Бориса Борисовича, то есть с восьмимесячного его возраста. Это второе «я» Бориса Борисовича. Когда Борис Борисович не укладывался в свою постель, надо было сказать: «Ну что же, если ты не хочешь, пусть в твою постельку ляжет Сонечка, она умная», — и Борис Борисович лез поспешно в кроватку, натягивая на голову одеяло. С Борисом Борисовичем — чего грех таить — случались в постели иной раз грехи, — он просыпался на мокрой простынке, он, уже большой, он знал, что делать этого нельзя, его глаза заполнялись стыдом, и, если няня в хорошем настроении, она могла спасти человека, она могла сказать: «ах, ах, какая Сонька, нехорошая Сонька! она намочила Борину кроватку, — как только Соньке не стыдно!?» — и глаза Бориса Борисовича наполнялись презрением к порокам Соньки. Но тот же Борис Борисович, осваивая человеческую систему ходить на двух ногах, естественно падал несчетное количество раз, сначала просто со своих собственных ног, затем с собственного своего стульчика, затем со стульев для взрослых людей, со ступеней крыльца; природа позаботилась — малый детский рост облегчает падение, ибо недалеко падать; но главным спасителем оказывалась Сонечка; Борис Борисович падал, ушибался, начинал реветь, — няня говорила: «Да разве это ты упал? А я думала Сонечка, я думала это Сонечке больно, а не тебе, — давай погладим коленочко Сонечке, ах, ах, какая Сонечка, милая Сонечка, она зашибла коленочку!» — и Борис Борисович забывал о слезах, оставших-

ся у него на носу, он спасал милую Сонечку. И тот же Борис Борисович за обедом: «Ну, если ты не будешь есть, я отдам Соньке!»

Старший сын отца, Андрей Борисович, совершенно взрослый сын, которому уже четырнадцать лет, который играет в перочинные ножики, в велосипед, в японский биллиард (и выманивает их у отца за каждый «ох» и «хор»), который прыгает головой вниз в пруд с плотины наподобие дельфинов, а в лесу строит шалаши наподобие зимовки челюскинцев, отчаянный пионер технического склада ума, — этот Андрей Борисович в возрасте от рождения семилетнем получил родительский подарок, а именно — полное пожарное обмундирование, шлем, топор, шланг и некоторые другие пожарные вещи, нашитые на картонку и продававшиеся в игрушечном отделе тогдашнего ГУМа. Подарок был вручен сыну Андрею Борисовичу в день торжеств по поводу его рождения. И к вечеру в тот день с воем ворвалась в комнату Дуняша: «батюшки, горим!» Действительно, Андрей Борисович в прикухонном коридоре наложил дрова, газеты — и запалил их исключительно для того, чтобы на самом деле быть пожарным и в каске, с топором, со шлангом отчаянно тушить огонь. Что ж! — сын был логичен!..

Но где же тогда логика Соньки?

...Утро. Солнечный день. Через час будет знойно. Только что на лестнице кричал Борис Борисович:

— Папа, имагу! — подятита, папа!..

Отец отнес сына к маме, — у них там свои совершенно замечательные дела, у мамы на полочке хранится специальный акум и у мамы хранятся детские книжки, собранные впрок, но картинками своими годные уже сейчас. День только что начинается, как жизнь Бориса Борисовича, — и отец с высоты своего возраста вспоминает свои игрушки, думая о Соньке, о пожарном костюме и — странное дело — о счастье. У каждого человека было счастье и были счастья, ибо ощущение счастья — хоть редкое, но совершенно реальное человеческое ощущение, которое может приходить и раз и два по разным поводам и разными путями. В древнем отцовском детстве счастье привезено было однаж-

ды отцом отца в шарабане; отец сказал сыну: «я тебе подарю лошадь с дрожками, лошадь можно впрягать и выпрягать из дрожек, упряжь будет как настоящая, и дрожки будут как настоящие, только маленькие». Отец уехал в Москву, через два дня шарабан привез его со станции, сзади к шарабану были привязаны дрожки, совсем как настоящие, в которые совсем по-настоящему впрягалась рыжая лошадь. И это было счастье: впрягать и выпрягать замечательного, единственного в мире коня, — впрягать и выпрягать, играя. Это счастье памятно реально и ощутимо сейчас, до сих пор. Детей нельзя не любить и нельзя не желать им счастья, — что можно пожелать для этого? — шут его знает, что ощущал Андрей Борисович, поджигая дом! — а тот детский конь, который впрягался в дрожки, давным-давно исчезнувшие с российского лица, заменяемые автомобилем, — тот конь, поди, был игрушкой, не менее аляповатой, чем кукла Соня...

День только что начинается, как жизнь Бориса Борисовича. Сын был отправлен к матери, он побыл у нее, и мама отнесла его вниз к няне, он воюет внизу, он кричит:

— Пути — папи!

Няня отвечает:

— К папе нельзя, папа работает.

Сын кричит вновь:

— Аботает!.. пути — мами!

Няня отвечает:

— К маме тоже нельзя, мама тоже работает, — и няня добавляет сладким голосом, — пойдем к Сонечке.

— Сонечка лаботает? — спрашивает сын приметно.

Отец действительно сидит у стола. Слева от него исписанная бумага, два подсвечника, справа книги, нож для разрезывания книг, перочинный нож, громадный красно-синий карандаш, вчера привезенный из Москвы, облюбованный и тщательно нынче с утра заточенный. Отец рассматривает этот карандаш, — и, — батюшки, да он же, оказывается, до сих пор играет в игрушки!.. и этот красно-синий карандаш, так облюбованный вчера — разве это не игрушка!? — ну, а подсвечники со свечами, уходящие вместе с дрожками с российского лица?

И мир отца погружается в игрушки. Ну, разве это справедливо, что отец гонит Бориса Борисовича от пишущей машинки, ибо отношение отца к ней — разве не такое ж, как к игрушке? — ну, разве справедливо, что отец гонит старшего Андрея Борисовича, человека со складом ума техническим, от автомобиля, стоящего в гараже под соснами, когда Андрею Борисовичу так хочется поиграть в автомобиль?

Ну, а сколько процентов игры в том, как зачесывает отец свои волосы... — Но ведь веками установлено, что творчество обязательно сродни игре, — и не устанавливается ль советскими днями, что и труд переплетается с творчеством?..

...И отец ощущает себя, — как сына, играющего под окном с куклой Соней, как любовь к сыну, — отец ощущает свою комнату, оконный переплет, из-за которого идет солнце и приходит зной дня, сосны и небо за окнами, свой стол с книгами, бумагою, подсвечниками и карандашами, — все это, как мир, как сын, как отец отца — тридцать пять лет тому назад подаривший дрожки, — как кукла Соня и ее дела с Борисом Борисовичем. Игрушки!..

Созревание плодов

Р о м а н

ГЛАВА ПЕРВАЯ

...В четвертом часу дня, когда ротационные машины выбрасывали последние тысячи экземпляров, те, которые пойдут с дальними поездами, в этот час в экспедиционной, уже вручную, именно на эти последние тысячи экземпляров человек механически наклеивал адреса:

— — № 504 Iswestia Ziks Iemen Sanaa «Аравия»

— «Hedjos. Аравия» — —

— — — № 1219 Iswestia Ziks. Colombia South. Южная Америка — — Buenos Aires. Аргентина — — Montevideo Уругвай. — — «Pretoria. Южная Африка» — — «Sydney N.S.W, Австралия» — — «Афганистан». Урумчи. Западный Китай. — «Madrid. Испания» — Los Angelos. California. Америка... «Antenes. Греция». «Iswestia Ziks». «Iswestia Ziks» — — «Известия — — Известия — Известия» — — № 1881 — № 1881 — № — № — № — USA — USA — USA — «Германия, Франция, Англия, Япония, Китай, Финляндия» — —

Человек стер со лба пот.

Человек наклеивал последний адрес:

— «№ 235 Iswestia Ziks. Hibreria Waticana. Citta del Waticana. Италия» — — адрес Ватиканской библиотеки. За окном на тесном дворе зисы разгружались рулонами свежей бумаги и грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, газетные тюки шли на вокзалы — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограммов типографской краски в дневном выпуске газеты.

Над тесным двором теснилось небо.

Первые стереотипы были отлиты в час тридцать семь минут ночи. Ротационные машины заработали в

час пятьдесят пять минут. Первые грузовики пошли в два часа пятнадцать минут. Первыми получили газету местные почтовые конторы и пригородные поезда. В шесть часов утра почтальоны разносили газету по предприятиям, газета продавалась в киосках. Последние автомобили уже вечером шли к вокзалам дальних поездов. Поезда расходились в ночь во все семь социалистических республик, от Мурманска до Еревана, от Винницы до Владивостока, к городам, к заводам, к селам, к пустошам. Поезда шли к границам. В багажных вагонах лежали газетные тюки. В Атлантическом океане, под экватором, в пути к Аргентине и на Капштадт, в Индийском океане, под экватором в пути, к Сиднею, в Тихом океане, в Арктическом океане — в ночи, перед рассветом — бухали волны о корабельные борты, в корабельных трюмах лежали «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Через какие-то дни от Мурманска в Кольскую тундру, от Архангельска в Мезень — по тундре — побегут олени. В среднеазиатских песках зарявкают газы и заревут пропеллерами анты. Через недели из Геджаса в Йемен Санаа — горными перевалами, в зное Аравийской пустыни — ишак, глухо позвякивая колокольцом на шее, понесет постовую хурджину.

Тылом ладони человек стер со лба пот. Тряпкой он стер клей с пальцев. Он бросил тряпку в угол оцинкованного стола. Ротационки под ногами уже смолкли. Дневной свет сменялся электричеством. Гартовары разбивали стереотипы и заправляли металлом наборные машины. Цех пахнул свинцом и краской. Грузовой лифт кряхтел под тяжестью рулонов. Холодная струя воздуха, шелестя бумажной рванью, поднималась из подземелья по шахте лифта, гул шахты казался гулом воздуха, и воздух из подземелья пахнул одновременно бензином, потом и сосной. В подземелье человек, раздевшись донага и постояв под душем, переоделся в пиджачный костюм и подвязал галстук. Маленьким двориком рабочий перешел в старый дом, выходящий на угол Дмитровки и Страстного монастыря, в тот дом, где бывал Пушкин, быт и обычаи которого послужили Грибоедову для его «Горя от ума». В этом доме помещались столовая, красная комната, местком, медпункт. За окном пустой красной комнаты, за средневековым переулком, забитым светом фотохроники «Известий»,

автомобилями и трамваями, поднималась средневековая, как проулок, монастырская стена. Раньше столетия стена охраняла Страстной женский монастырь. Теперь там был антирелигиозный музей. В зиму шестнадцатого-семнадцатого, под самый Октябрь, у обалдевших от фронтов и предчувствия революции офицеров интеллигентского происхождения, у литераторов и у адвокатских жен был обычай заходить после всенощного пьянства к заутрене в Страстной монастырь, слушать спьяна бред церковных песнопений, объясняться в алкогольно-истерическом перенапряжении с Богом о вечном и временном.

Побыв в столовой, рабочий прошел на Пушкинскую площадь, подождал троллейбуса, сел и поехал в поселок Сокол.

На парадном «Известий» работал лифт. Он походил на термометр, поднимаясь от нуля первого до температуры шестого этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Ртутью была лифтерша в синем пиджаке с нашивками. В подъезде всегда беседовали почтенные старики — швейцары — знавшие всю русскую, союзную и многую иностранную журналистскую, писательскую, общество-искусствоведческую корпорацию по качествам их галош. Лифт ходил по этажам советской культуры и советских дел. Главный врач «Известий» доктор Константин Александрович Винокуров, невро-терапевт, в медицинском обществе вел дискуссию, отрицая «свинцовое изменение психики» печатников и газетчиков, теорию, выдвигаемую некоторыми московскими психоаналитиками. Наблюдая за полуторатысячами рабочих, служащих и сотрудников комбината «Известий», доктор Винокуров не находил этого «свинцового изменения психики». Основным полем его наблюдения — не было типичным — литературная советская интеллигенция, редакторы, литераторы, журналисты. Пятый и четвертый этажи — бухгалтерия, отдел распространения — были просторны, чопорноваты и тихи, как всяческие бухгалтерские конторы. Даже в производственных этажах доктор Винокуров не считал характерными для печатной промышленности цеха ротационный и стереотипный вместе с гальваническим отделением сталевания: у ротационок работали рабочие-металлисты так же, как они ра-

ботали б около фрезеров и штамповальных машин в любом холодном цехе машиностроительного завода, — в стереотипном цехе работали литейщики, как они работали б в любом горячем цехе металлургического завода. Позвонком и основным полем для наблюдения «свинцового изменения психики» был наборный цех, в меньшей степени цинкографский, еще в меньшей — брошюровочный, но и здесь доктор Винокуров «свинцового изменения психики» не находил. Он утверждал, что комбинат «Известий» — это большое и сложное фабрично-заводское предприятие, оформляющее события и производящее организованную политическую мысль, обслуживаемое всеми видами рабочего и интеллигентского труда, — предприятие и только. Лифт проходил через все этажи предприятия и, по существу говоря, через все этажи напластований страны. На пятый этаж лифтерша привозила миллионы рублей зарплаты, гонораров, счетов. Четвертый этаж ассимилировал в себе подписную плату и плату за объявления. Бухгалтерия четвертого и пятого этажей расписывала сложнейшие кружева цифр, учета, расчета и бюрократии. Первые этажи размножали продукцию до миллиона экземпляров. Шестой этаж оформлял продукцию, — события, политическую волю и политические устремления страны. Лифтерша ездила по этажам. Температура событий всегда отражалась на подвижности лифта. События приносились страной и жизнью. События бросались в страну и жизнь. События оформлялись газетой, шестым этажом, редакцией, мозгом, сотрудниками.

В четвертом часу дня заканчивались дела вчерашнего номера. И в это же время возникал завтрашний номер. Редакторы, сотрудники редакции, заведующие отделами собирались на совещание, называемое летучкой. ТАСС приносил телеграммы сегодняшних событий Союза и мира. Гарри додиктовывал свою статью. Фельдъегери привозили правительственные распоряжения. Очерки и рассказы литераторов ждали своей очереди. Собрание начиналось с обсуждения вчерашнего номера, то есть того, который читался читателем сегодня. Собрание обсуждало передовую, а стало быть, и целеустановки номера, который будет читаться завтра. Передовая срочно писалась. Вслед передовой заведую-

щий отделом советского строительства спорил с иностранным отделом о количестве строчек на завтра. В комнате через коридор стенографистки расшифровывали телефонные переговоры с Ленинградом, Харьковом, Свердловском. Номер на завтра принимал свои формы. Отделы получали свои количества строчек и темы. Подвалы извлекались из запаса. Сотрудники расходились по кабинетам приводить темы и строчки в порядок. Иные садились писать. Иные диктовали. Иные рылись в письменных столах. Телеграф и телефон продолжали приносить события Японии, Америки, Днепропетровска, острова Колгуева, съезда геологов в Мурманске. События были буднями. Мысль завтрашнего дня была построена, политическая воля, взгляд на события в Германии, и Франции, и в Сычуане, и в Свердловске, поэтический рассказ о буднях Колгуева, ирония орловского головотяпства просвещенцев.

У секретаря редакции и у редактора начинался прием. Поэт Пастернак принес переводы грузинских поэтов. Безымянный человек сообщил, что он два года прожил в Игарке, вел дневник, написал очерки, — намерен предложить их редакции и хотел бы заручиться корреспондентским билетом, ибо завтра отправляется в Монголо-Бурятскую республику. Фельдъегерь привез пакет из ВЦИК. Нежданно и весело, в смазанных сапогах ввалился Искра, разъездной корреспондент, стал рассказывать о Кузнецкстрое, откуда приехал утром, — секретарь редакции охладил веселье, сообщив, что сегодня же вечером Искра уезжает в Архангельск. Зашел к секретарю прощаться, посидел немного и ушел к редактору японский корреспондент ТАССа товарищ Наги, — секретарь вспомнил, что не ответил на телеграмму американского тассовского корреспондента — Дюранта, и написал ответ. Принесли телеграмму из Парижа от Жака Садуля двести строк, — секретарь сократил строки с двухсот до семидесяти пяти. Заходил прощаться писатель Сергей Арбеков, уезжавший на автомобиле в Ивановскую область, в Палех, на лето и на отдых.

Москва погружалась в ночь. Лифт вез в редакцию события Союза и мира. От шести до половины десятого лифт замедлял свою скорость. Ротационки молчали. Пустовали конторы. Ротационки заработали в час

пятьдесят пять. Лифт тогда безмолвствовал, ибо матрицы событий были уже отлиты.

В тысяче километров от Москвы, в одинаковой мере на Востоке иль Западе, на Севере иль Юго-Востоке, двое сидели в полуметровом расстоянии от лошадиного хвоста. Они ехали уже очень долго, промерзли, устали. Быть может, один из них был корреспондентом «Известий», — но может быть, он был председателем местного колхоза. На станции затемно он получил почту, письма, газеты. Они приехали в село, распрягли лошадь, соскребли на пороге грязь с сапог, засветили лампу. Предколхоза открыл газету. Его глаза были усталы. Его глаза сделались и веселыми и испуганными одновременно, никак не утомленными.

— О нас! — о нас написано?! — сказал он и испуганно и радостно.

— «301, 38 th» Street. New Uork — City» — «USA» — — Америка. — —

ГЛАВА ВТОРАЯ

Изменение фамилий, замена их псевдонимами вызывалась и вызывается различными причинами, — у актеров и писателей в первую очередь — эстетическими. Циклопов превращается в Вершинина, Рыбин — в Вольского, Келлер таким образом превратился в Арбекова, — у Келлера, впрочем, это было еще и потому, что Келлер — немецкая фамилия, а Келлер начинал печататься в годы мировой войны. Эстетизм же отличался в выборе псевдонима, более удобного для лермонтовских времен «Покорения» Кавказа и увлечения Кавказом, чем для тех лет, которые прошли в России за мировой войною. А за годами мировой войны в России — в СССР — пошли лета перестроения человеческого труда, а стало быть, и перестроения человека. Что касается труда человеческого, то при социализме труд должен идти рука об руку с искусством, превращаясь в искусство. У литераторов предметом труда является именно искусство. Это никак не значит, что все литераторы — социалисты. Это обстоятельство — именно то, что труд литератора есть искусство — скорее осложняло путь писателя к социализму. Социалистический

труд, он же искусство, — обязательно труд коллективного сознания. Литераторы ж работали единолично, выращивая свои индивидуальности, где Пушкин не походил на Лермонтова, ибо требовалось, чтоб Пастернак не походил на Маяковского, а Всеволод Иванов на Константина Федина и Сергея Арбекова; Арбеков, Демьян Бедный, Гладков, Иванов, Киршон, Леонов, Маяковский, Пастернак, Толстой, Федин, Шолохов — революционные русские писатели различных литературных и социальных истоков, делавшие литературу и не походившие друг на друга.

Арбеков делал себе летний отпуск. Он уезжал в Палех, в Ивановскую промышленную область, в старейшие русские Володимирско-Суздальские земли. Он отправлялся на автомобиле, чтобы иметь возможность видеть всю область. В Иванове он должен был встретить на вокзале жену и сына с нянькой, ехавших на поезде, чтоб не трястись по дорожным ухабам.

Автомобиль вышел из Москвы в семь вечера.

Ехали — Арбеков, его товарищ рабочий и автомобилист Синицын Яков Андреевич, да третий, которого Синицын прозвал *монахом*, реставратор Павел Павлович Калашников.

Калашников возник в поездке случайно.

Арбеков всю ту весну собирал материалы о русском семнадцатом веке. Анна Андреевна Ахматова передала Арбекову книгу о тульских и каширских металлургических заводах семнадцатого века. В книге рассказывалось о трех иностранцах, об Андрее Вениусе, Петре Марселисе и Филимоне Акемо, которые — впервые в России, в тогдашней Русии — строили металлургические заводы. Обстоятельства возникновения этих заводов оказались чрезвычайно интересными. Назвать их феодальными мануфактурами — неточно, ибо они были первыми капиталистическими предприятиями в Русии. Возникшие в год окончательного юридического оформления и закрепления крепостного права, в 1649-й, оснащенные по договору с царем Алексеем волостями и крепостным населением, эти заводы отказались от крепостного труда и пользовались вольнонаемным. Заводы были концессионными, они лили на царя пушки, сверлили пищали и ковали сабли по договору, но —

сверх договора — через Архангельск, Белым морем — эти заводы отправляли пушки на голландские рынки, в вольный город Гамбург, — то есть Русия в семнадцатом веке экспортировала железо в Европу, и это железо конкурировало с европейским, — со шведским — «свейским» — в первую очередь. Будучи концессионными, подчиненными Посольскому приказу, эти заводы оказались государством в государстве, не подчиняясь ни воеводе, ни губному старосте, чинясь своими законами; но они существовали в феодальном государстве, и возникал необыкновенный социальный конгломерат: авантюристы-предприниматели и рабочие, списки которых уцелели до сих пор, где против каждой фамилии рабочего сказано: «сказался он Петрушка, родился-де на заводах, а отец ево ис которого города пришел то не упомнит», — авантюристы-предприниматели и — беглые рабочие, те самые крепостные, которые бежали от узаконения этого «права» по всей Руси семнадцатого века — от годуновского Юрьева дня до Дона, до Яика, до Гурьева, до Степана Тимофеевича Разина. Вениус был штатным переводчиком Посольского приказа царя Алексея, Марселис строил архангельский гостиный двор, то есть архангельскую торговую крепость, — Вениус, Марселис, Акема, были приняты при дворе царя, — но сохранившиеся архивы указывают, что рабочие их заводов не только читали подметные письма Разина, а и принимали в разинском движении участие. Быть может, там, на этих заводах, в семнадцатом веке можно найти одну из первых глав русского рабочего движения? — во всяком случае, эти заводы были первой главой русской металлургии. Арбеков стал собирать материалы, разбросанные по семнадцатому веку. Он наткнулся на множество обстоятельств, которые ему казались семенами романов и образов. Марселис принимал участие в постройке под Коломною в селе Дедилове первого русского фрегата «Орел» — того самого, который — пророчески — через полтора года после спуска на воду был сожжен в Астрахани Степаном Разиным. Но там же Арбеков наткнулся на архивную фразу из челобитной Петра Марселиса, где Марселис пишет царю Алексею о том, что-де дедиловский

воевода Замуровский «выслал всех казаков и ровщиков на Воронеж к твоему великого государя к струговому делу», — это было в 1674 году, то есть: воронежский флот строительством начат не при Петре, не Петром, но — Алексеем. Архивы перепричесывали историю. Поиски архивных материалов привели Арбекова в Исторический музей, в Ленинскую библиотеку — как это всегда и бывает, когда человек опускает свои внимание и время в новую область знания, — так приблизили семнадцатый век, точно он был вчера. Появились знакомые, которые разбирались в семнадцатом веке лучше, чем в весне 1935 года. Новые друзья наделали подарков: подарили пятисвечник семнадцатого века с царским двуглавым орлом, ендову, кастрюлю, медную чернильницу (с двумя колечками, ибо, оказывается, писцы в семнадцатом веке носили чернильницы на привязи у пояса, равно как гусиное перо закладывали за ухо, дабы их все признавали). И подарили — триптих, складень с тремя иконами, в ящике, отделанном толстою кожей, в железе. Складень был записан, — даритель сказал, что он пришлет реставратора. Складень совершенно не требовался Арбекову, но подарен был так внимательно и полноценно, что Арбеков, принимая подарок, сказал тоном знатока и любителя семнадцатого столетия:

— Да, конечно, реставратор необходим, пожалуйста, пришлите, спасибо!..

И третий, кто ехал с Сергеем Ивановичем на автомобиле, — был именно этот реставратор, Павел Павлович Калашников. Он пришел к Арбекову за два дня до поездки, утром, не предупредив. Давно уже исчезли в России мастеровские картузы с лакированным козырьком, мастеровской не то пиджак, не то сюртук, сапоги в гармошку, рубашка навыпуск с пояском в кистях. И совершенно исчезли прическа «в кружок», полудьяковского фасона, борода и усы. Пришедший и причесан был в кружок, и тощая бородка росла у него на шее, и картуз у него был с лакированным кожаным козырьком, черный воронообразный, столетний. Он отрекомендовался:

— Павел Павлович Калашников, художник-реставратор, — и улыбнулся совершенно детскими глазами. Он потрогал складень, как библиофил инкунабулу. Пальцы его были очень длинны, руки бессильны. Лет

ему было — двадцать пять, двадцать семь. Глаза его над складнем восхищенно засветились. Он заговорил языком семнадцатого века. Было совершенно ясно — знаток, человек призвания, — Алеша, что ли, Карамазов? — и это в тридцать пятом году! — Разговор пошел о византийском влиянии на русскую иконопись, о новгородском, владимиро-суздальском, ярославском, московском иконописных стилях. Калашников оказался совершенным знатоком не только русской иконописи, но всей русской истории. Арбеков спросил:

— Вы что же, иконно-реставрационную работу по наследству ведете? — не палешанин ли? — вы откуда родом?

— Нет, я московский. Меня с детства старина манила. Мой отец — столяр. Окончив семилетку, я пошел учиться в государственные реставрационные мастерские, окончил, работаю. — И Калашников спросил в свою очередь: — А вы много по иностранным землям бывали?

— Был, — ответил Арбеков. — Много.

— Мне не доводилось бывать, не знаю, — чо имею предположение, что нету лучше русского народа. Русский народ — хороший народ, сердечный, культурный, вдумчивый, — Павел Павлович помолчал, — ласковый народ. Я, когда у меня свободное время, путешествую, на поезде и пешком. Был во Владимире, — до Суздаля, к сожалению, не дошел... Был в Новгороде Великом, в Ростове Великом, в Переяславле Залесском, во Пскове... Древний русский народ, ласковый...

Сергей Иванович собирался в Палех. Дорога лежала через Владимир, Суздаль, Иваново, Шую. Двадцать один год тому назад, в год мировой войны, этому Павлу Павловичу Калашникову было, поди, лет пять, шесть. Война, революция, новая страна, новые поколения, — а перед Арбековым, со складнем на руках, сидел паренек, свалившийся с семнадцатого века, причем у паренька были тощие глаза и пальцы, но телосложения он был крупного и сытого. Такие люди не попадались Арбекову на глаза, — тихий паренек, ласковый, мастеровой по реставрации икон, никак Арбекову не нужных. Разглядеть паренька казалось любопытным.

Арбеков сказал:

— Послезавтра я поеду в Иваново, проедем через Владимир и Суздаль...

— К Покрову, к Покрову на Нерли надо заехать, обязательно надо побывать там, и Боголюбов миновать невозможно, — молвил Павел Павлович, вздохнул и опустил глаза, точно прятал их в воспоминания.

— Ну, так вот, едемте со мною. Доедете до Иванова, оттуда вернетесь поездом. Приходите послезавтра в три часа.

Павел Павлович порозовел, как девица, еще ниже опустил глаза и прошептал:

— Я поеду... я поеду, если позволите... двенадцатый век! века!..

Пришел Павел Павлович Калашников — в архалуке неизвестного фасона, вроде священнического пальто, совсем без вещей, даже без мыла с полотенцем, — ровно в три часа. Яков Андреевич, рабочий, автомобилист, — сразу окрестил Павла Павловича *монахом*, бесполезным грузом. Опоздали, выехали в семь. За руль сел Арбеков. Яков Андреевич на ходу обслуживал машину, работу мотора, скрип рессор. До Ногинска ехали пятьдесят минут. От Ногинска — на каждых десяти метрах поминали недобрым словом Цудортранс: дорога оказалась поистине ужасной, куда хуже, чем если б можно было ехать целиной. *Монах* до Ногинска наслаждался быстротой движения, приговаривал, — «как на ковре-самолете лечу!» — и за Ногинском наслаждался — туманами, русалочьими косами, пейзажами — к вящему расстройству Якова Андреевича, который поминал Цудортранс и презирал пейзажи, раз они лежат вокруг такой паршивой дороги, не жалеющей рессор и его, Якова Андреевича, труда и нервов.

Туманы, действительно, заплетали дорожные ухабы. В туманах пели соловьи, десятки, сотни соловьев. В туманах растворялась поэзия. Туманы — русалочьи косы — напоминали о русском дохристианском фольклоре. Ночь не могла окончательно побороть дня, заря сходилась с зарей. Небо было зелено, зыбко, просторно. Зеленые пейзажи за туманами и под июньским небом напоминали видения снов. Горько и сладостно пахло березой. Старое Владимирское шоссе — Володимирка — дорога каторжников и преданий о них, дорога разбойничьих истин и разбойничьих монастырей, кандального звона и смерти — была разворочена автомобилями из Горького, как новостройка. У дороги горели костры — парнишек из ночного, прохожих, дорожных

работников. Костры сказывали о володимирских преданиях. Павел Павлович узревал за кострами, в костровом дыме, русалок, о чем и говорил. У одного из костров остановились охладить машину и поесть.

И слушали историю царя Ивана.

Во Владимир дорогою русалок, кандальников и Цудортранса все же приехали к часу ночи и без поломок. Остановились в гостинице столетних времен, на дворе которой обязательно останавливался тарантас писателя Соллогуба, во времена Гоголя, а в ресторане которого, если бы долго жил во Владимире, обязательно спился бы писатель Герцен. Автомобиль оставили на улице, на перекрестке, неподалеку от поста милиционера, рассчитывая, что здесь ему будет покойнее, чем на дворе, где стаивал соллогубовский тарантас. С *монахом* была тетрадь, в которой церковно-славянской вязью он изложил справки о владимиро-суздальской стороне.

За дорогу до Владимира выяснилось, что пахнет от *монаха* луком и олифой так невозможно, что Яков Андреевич, пропахший бензином и тавотом, всерьез задумывался, не заночевать ли ему в машине. Ели на сон грядущий, и *монах* по рассеянности съел весь хлеб, рассчитанный до Иванова.

Утром осматривали старину. Владимирские памяти связаны с Андреем Боголюбским и с сыном его Всеволодом, с двенадцатым веком. От тех времен остались крепостные ворота, называемые Золотыми, и два собора. От Золотых ворот идут рвы, около коих с точностью, точно это было на той неделе, показывают, где татары ворвались во Владимир без малого семь веков тому назад. Коммунальное хозяйство владимирского РИКа повесило ныне на Золотые ворота коммунальные часы с электрическим заводом. Церкви двенадцатого века — одна из них за последние лет двадцать пять растрескалась — разваливаются и развалятся, если не наедут реставраторы-архитекторы и не закрепят трещин. Во владимиро-суздальской церковной архитектуре все церковные колонны и своды обязательно покоятся на львах. Откуда в двенадцатом веке на Клязьме и на Нерли эти львы? — Есть летописные справки, что Андрей Боголюбский был в родстве с Фридрихом Барбароссой, и есть предположение, что соборы строились ломбардскими архитектора-

ми, и они-де и завезли львов. Но у шведов, норвежцев, датчан, финнов львы — национальный герб, — и не оттуда ли львы у подножий колонн владимирских соборов? — государственный герб Андрея Боголюбского — каков? В Успенском владимирском соборе, в том самом, который осаждался татарами и был последней цитаделью владимирцев, — в этом соборе хранились мощи Андрея Боголюбского и хранятся фрески Андрея Рублева, равно как расчищены фрески от двенадцатого века, сделанные греками. Летопись передавала о Боголюбском, что в гордости своей и в величии он никогда не склонял головы, что во внимательности своей он никогда, даже во сне, не закрывал окончательно глаз, что погиб он, изрубленный боярином Кучкой с сыновьями, причем бояре в ненависти своей рубили Боголюбского даже тогда, когда он умер. Мощи Андрея Боголюбского вскрыты, перенесены из собора в музей. Мощей никаких не оказалось, были лишь кости, но кости подтвердили летописные записи. На многих костях, на костях рук и ног, на ребрах, на черепе остались следы многих ударов меча. Гистологи Академии наук обследовали эти кости. Удары наносились долго, часами спустя после того, как человек умер от первых ударов. Гистологи ж установили, что шейные позвонки Андрея Боголюбского были сращены базедовой болезнью, — не по гордости и не по внимательности не склонял головы и не закрывал глаз Андрей Боголюбский, но по болезни. Росту ж был князь Андрей невероятного — на полголовы выше царя Петра. Сергей Иванович брал в руки череп и кости князя-феодала. Никакого священного трепета не было, — восемь веков тому назад человек, обладавший этими костями, был страшен. Павел Павлович Калашников стоял у костей безмолвно, по-монашески. Яков Андреевич подержал в руках череп, взвешивая его, положил на место и молвил, обращаясь к Арбекову:

— А как вы думаете, Сергей Иваныч, мы бы с одним нашим автомобилем — завоевали бы все боголюбское царство? — я бы взялся бы. Я бы вроде Бога на них наскочил бы. Они бы от одного моего боша разбежались бы... Только вот, когда мы спали бы, может, они нас подкараулили бы? — или если бы бензин кончился?..

На перекрестке около гостиницы милиционер покинул свой пост, переселившись к а в т о м о б и л ю, просил около автомобиля мальчишек не задерживать-

ся, а взрослым читал лекции о советском автостроении. День был совершенно замечательный — в солнце, в ветре, в синем небе и в воздухе, в просторе. Соловьи, не заметив утра, пели посередине города Владимира, в росе, в утренней синей ясности. Утром оказалось, что город Владимир никак не сдан в заштат, но отдан молодежи, учащимся, девушкам и юношам, учебникам в ремешках под мышкой, буйному цветению сирени и вишни.

Из Владимира выехали в час дня, двинувшись в Боголюбов и к Покрову на Нерли. В Боголюбове сохранилась часть палат Боголюбского, те, по совершенно неверному монастырскому толкованию, где был убит и возведен во святые князь Андрей. В Боголюбове проживает ныне и хранит музейные ключи Федор Павлович Круглов, человек, подобно Боголюбскому, не сгибающий шеи, — по иным, чем Боголюбский, причинам: партизан, красноармеец, участник Перекопа, он был захвачен белыми; на теле его до сих пор видна пятиугольная звезда, вырезанная на коже при пытке; белые его расстреляли, он был похоронен в братской могиле, он вылез из-под земли от трупов, вернулся к нам, дрался под Перекопом, шейные мускулы его исковерканы, он не сгибает шеи, — он хранит палаты в память Андрея Боголюбского. Сергей Иванович застал его на табурете, поставленном на стол, под самым потолком, он белил свою квартиру, расположенную в митрополичьих покоях.

Покров на Нерли есть предельный символ запустения. Церковь, поставленная на месте слияния Нерли и Клязьмы, среди заливных лугов, кругом на несколько километров отстранена от человеческого жилья. И около церкви нет ни души. Церковь заброшена всячески. В непогожую ночь, должно быть, не очень счастливым людям, должно быть, понадобилось заночевать в этой церкви, — двери у церкви были железными, византийского железа от двенадцатого века, но косяки были деревянными, — и несчастливые люди сожгли один из косяков, чтобы пройти в церковь. У Покрова на Нерли так заброшено все, что даже вороны и галки, птицы разрушения, покинули ветлы, обступившие церковь. Белая церковь. Солнце, зелень ветел, ветер. Даже птицы улетели отсюда. Пустыня. Яков Андреевич не ходил осматривать старину, он поставил автомобиль между двух бугорков и подлез под него — и от солнца,

и для того, чтоб промазать рессоры, и не спеша обследовать цапфы. Старина Якову Андреевичу надоела.

Направились в Суздаль. Дороги Ивановской промышленной области оказались лучше Володимирки. Суздаль привел в угнетение Якова Андреевича, этот город, где церквей оказалось больше, чем жилых домов, город русских — не императоров, но — царей, город царского гнева и царской милости, монастырей и ссылки цариц да распопых попов. На самом деле, много церквей. На самом деле, много совершенно замечательных памятников церковной старины четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков. На самом деле, можно написать повесть о судьбе женщины в средневековье и о первой жене Петра Первого, сосланной в суздальский женский монастырь. На самом деле, пребывание в этих веках утомительно. На самом деле, все эти века в разрушении. И следует умилиться вместе с Яковом Андреевичем. Якова Андреевича угнетало не величье веков, но — разрушенье. Яков Андреевич органически не любил и не переносил — испорченного, сломанного, недоделанного. Недоделанной он воспринимал и старину. Единственный памятник старины, который не разрушен и в полном порядке высится средневековым величием, выкрашенный в розовую краску, суровый и неприступный, — это суздальский изолятор, до революции бывший монастырем — тюрьмою для распопых попов. И Яков Андреевич умилился деятельности НКВД.

— Ну, смотрите, Сергей Иванович, — прямо молодцы! — за что ни берутся, все делают отлично!.. взялись за монастырь, и он в полном порядке!.. ну, прямо молодцы! — это вам не историки!.. есть на что полюбоваться!..

Павел Павлович Калашников, иконо-реставратор. Развалины суздальских монастырей, собрание икон в суздальском музее, корсунские ворота в суздальском соборе — так подействовали на Павла Павловича, что он переменил свой маршрут, решив остаться в Суздале. Он хотел подышать воздухом семнадцатого века. Он намеревался смотреть на те же пейзажи и из тех же окон, которые видела и откуда смотрела первая жена Петра Первого. Здоровый парень, он засветился от суздальской старины, как нестеровская свечка. На самом деле, от него пахло олифой и луком. То, что хотел Арбе-

ков, было сделано, — он знал, что Калашников и в Бога верует, и современность воспринимает как «Божий дар», и убежден, что семнадцатый век был — куда лучше теперешнего времени, производя все и строя во имя единого и одновременно трехличного Господа Бога Саваофа, он же Адонаи. В 1935-м, в громадной воле и разумности революции, этот Павел Павлович казался бессмыслицей, но он был — фактом. А раз существует этот фактический человек с блаженными глазами, нелюбитель мыться, поехавший путешествовать из Москвы без полотенца, в Москве же получивший почти высшее образование для того, чтобы научиться писать церковнославянской вязью и без малого церковно-славянски разговаривать, то, стало быть, где-то в Москве, в московских переулочках хранится социальная среда и сопрягаются социальные силы, которые пятят людей вспять к семнадцатому. Павел Павлович Калашников смущенно сообщил, что влюбился в Суздаль, смущенно сказал, что из Москвы с собою он взял только восемнадцать рублей, смущенно попросил взаймы рублей двадцать, поблагодарил монашеским поклоном и направился в музей устраиваться с ночлегом. По дороге от Москвы к Ногинску, где дорога гудронирована, а стало быть, Яков Андреевич чувствовал себя отлично, между Яковом Андреевичем и Павлом Павловичем произошел разговор.

— Теперь надо хороших девушек встретить, — сказал благодушно Яков Андреевич, — и посадить их в машину, чтобы целоваться.

— Это как же — целоваться? — спросил Павел Павлович.

— А очень просто. Остановить машину, поклониться, сказать прилично: — «здравствуйте, барышня, может, нам по дороге? — садитесь, целоваться будем, чтобы не скучать!»

— И садятся? — спросил Павел Павлович.

— Если сказать дружелюбным голосом, весело и без хамства, а главное, если их несколько, две или три, обязательно сядут.

— И — будут целоваться?

— А почему нет? — каждому человеку целоваться приятно, и им тоже. Это — как пошутить, как насмешить. Только — без хамства. Обязательно целоваться

надо! — всем приятно, безобидно и весело. И ничего плохого нет.

Павел Павлович помолчал и молвил тихо:

— А я... у меня любимая девушка была, и даже ее поцеловать не мог...

В Суздале, как только Калашников отошел от автомобиля, направляясь в музей на ночлег, Яков Андреевич строго поправил краги автомобильных перчаток, с удовольствием положил руки на рулевую баранку, дал газу, молвил с хитрецой:

— Вы ведь тоже рады, что от *монаха* отделались?! — вредный груз!.. Вы знаете, Сергей Иванович, я газет не читаю, мне некогда; стало быть, государственный деятель я плохой, я автомобильный деятель. Но есть у меня кое-какие политические правила, которыми я пользуюсь в работе. Например — ГПУ. Я, например, считаю, что ГПУ существует мне на пользу, чтобы мне удобнее жить. Если мне надо узнать человека, я начинаю безразличный разговор, так, мол, и так, было ГПУ, а теперь уничтожено; теперь НКВД, а раньше было ВЧК. Если человек боится ГПУ, — значит — человек липовый. Я примечал: кто боится, тот садится.

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Дорога была хороша. Автомобилисты знают, что автомобильный мотор лучше всего работает в закатный час.

Синицын, Яков Андреевич. Когда Яков Андреевич входит в комнату, где стоят часы восемнадцатого века, переставшие ходить лет сто тому назад, — часы начинают ходить от страха перед Яковом Андреевичем. Яков Андреевич сам себе сделал патефон и автомобиль. За гонщицкие его таланты Московским автоклубом был подарен ему мотоцикл, хендерсон; мотоцикл, как известно, в коробке скоростей не имеет шестеренки обратного хода; Яков Андреевич приделал эту шестеренку и поражал московских автомобилистов, с полного хода вертясь около автоклуба на мотоцикле задом наперед. Часы, радиоприемники, керосинки и примуса — на самом деле боялись Якова Андреевича. На мотоцикле Яков Андреевич разъезжал по московским театрам, заезжал даже в Большой и, ни дня не учившись мастерству играть на фортепьянных инструментах, настраивал рояли и пианино. Первый танк, взятый

нами у белых, привезен был в Москву разбитым; в Москве не было ни одного инженера, который знал бы конструкцию танка; Яков Андреевич на несколько дней залез в танковые железа, почти не вылезал оттуда, напевал там «Варшавянку» и — поехал на танке с вокзала в Кремль, повез танк в подарок Владимиру Ильичу; Владимир Ильич жал руку Якова Андреевича и поздравлял в его лице русских механиков. Арбеков в тридцать первом году привез из Америки автомобиль и обучен был управлять машиной по-американски, то есть не имел никакого представления ни о двигателе, ни о диффере. Вернувшись в Москву автомобилистом, Сергей Иванович связался с автомобильно-клубными любителями и автодоровцами, с одной стороны, а с другой — с арапами, от коих очень быстро пострадал так, что машина перестала ходить. В автодоровско-автомобильно-клубных кругах тогда он встретился с уважаемейшей среди автомобилистов личностью — с Яковом Андреевичем Синицыным. Они оказались соседями. Синицын ездил на самодельном автомобиле под кличкой «Дракон», у него не было гаража, а у Арбекова был двор, где можно было поставить гараж на две машины. Машина Синицына стала ночевать у Арбекова, Синицын профилактировал арбековскую машину. Со временем, когда возникла твердая дружба, а это совпало со временем, когда Арбеков и Синицын занимались бракоразводом, «Дракон» законсервировался. Сергей Иванович ездил на своей машине и ломал ее, Яков Андреевич ездил на машине Сергея Ивановича и чинил ее. Синицын — друзьям Арбекова — рекомендовался так: «Яков Андреевич, шофер-энтузиаст!» — так и было на самом деле. Яков Андреевич знал всю историю автомобильного дела с тех пор, когда оно было только спортом. Когда у Сергея Ивановича собирались друзья и начинались разговоры о делах страны, об успехах Японии, Яков Андреевич всегда шептал Арбекову: «Не весело что-то, Сергей Иванович, я пойду к машинам!» — и уходил в гараж. Но когда они оставались вдвоем, Яков Андреевич часами говорил об автомобильных марках и втулках, о гонках и авариях. Он знал все машины в Москве, как хороших знакомых. Он не знал наркома Гринько и американского посла Буллита, но знал их машины. Яков Андреевич был повели-

телем — автомобилей, роялей, часов, радиоприемников, которые его боялись. Но сам Яков Андреевич боялся — бумаги, того самого, с чем больше всего имел дело Сергей Иванович. Если дело касалось бумаги, Яков Андреевич обязательно путал. И это, в частности, — было залогом дружбы, на самом деле настоящей. Яков Андреевич работал начальником гаража, был ударником, в честь чего носил с собою перемазанную машинным маслом вырезку с фотографией из «Правды», — командовал полутора сотнями зисов, грифов и ярославок. Арбеков писал. Досуги они проводили вместе. Они ездили по стране — до Ленинграда, Харькова, Смоленска, Горького. Они были на родине Якова Андреевича — в Западной области. До сих пор там висит вывеска, на которой нарисован самовар и написано «Лужу Пояю», оставшаяся от отца, участника революции Пятого года и с тех пор большевика, похороненного на кладбище коммунаров, — причем сын, Яков Андреевич, на вопрос: «как же это вы — отец коммунист, а вы беспартийный?» — отвечал: «а я, знаете, товарищам доверяю, пусть они работают по политике, я свое на автотранспорте отработаю!» Яков Андреевич был доверчивым и ласковым человеком, настоящий пролетарий, рабочий, сын подпольщика-пролетария.

Со временем, когда Синицын разводился со своей женой, на кольце, где висели автомобильные ключи Якова Андреевича, повис ключ от квартиры Арбекова — Яков Андреевич у Сергея Ивановича стал членом семьи. На собственной своей квартире Яков Андреевич бывал редко, на стенах там висели грамоты и аттестаты за множество призовых пробегов, учиненных Яковом Андреевичем.

День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Мотор лучше всего работает в закатные часы. Впереди лежал замечательный русский город ткачей, возникший в лесах и на болотах из феодальных селений, раньше тысяч и тысяч российских городов перешедший от крепостной мануфактуры в капитализм и раньше тысяч и тысяч российских селений ставший социалистическим городом. Направо и налево от шоссе лежали глушайшие, почти первобытные леса, сосна и ель, никак не предвещавшие, что за небольшими десятками километров лежит громадный

город советского текстиля, фабрик и двух сотен тысяч пролетариев. В лесу по дороге повстречались две девушки с сундучками, с котомками, босоногие. Не Яков Андреевич предложил, но они попросили — подсадить. Остановили машину. На редкость сизоскулы и здоровы были девушки. Выяснилось, — фабзавучницы, ходили домой, рассчитывали утром попасть на автобус и не попали, тридцать километров прошли уже пешком, осталось еще тридцать, устали, а завтра в восемь надо быть на работе. Яков Андреевич сказал озабоченно:

— Если бы не сундучки... сундучками вы обивку поцарапаете — видите, сколько у нас своих вещей?.. — И добавил сурово-весело: — Однако, ладно, возьмем, — оплата натурой, за каждый километр по поцелую.

— Ты не шути, — сказала старшая, — мы тридцать километров пешком прошли с вещами, поди устали, — и хозяйственно стала укладывать сундучки.

Машина действительно была загружена. Уселись. За руль сел Сергей Иванович, рядом девушка, рядом Яков Андреевич, вторая девушка — на коленях у Якова Андреевича. Яков Андреевич убеждал девушку на коленях, чтобы она его сердечно поцеловала. Навстречу прошли сразу три грузовика. Соседка сказала Сергею Ивановичу:

— Целый день шли, ни одного автобуса не повстречали, а тут сразу три автобуса.

Сергей Иванович спросил:

— А моя машина, вот эта, на которой ты едешь, — как называется?

— Известно как, — достойно ответила девушка, — такса! — И добавила очень ласково, доверчиво и с достоинством скромности: — Я хоть и из деревни, а коечему научилась.

Девушки попросили остановить машину в пригороде. Синицын требовал натуру поцелуями. Старшая, которая сидела рядом с Арбековым, сказала:

— Не шути, парень, не срамись!.. — Наши губы не деньги! — И обратилась к Арбекову: — Может, ты чего на нас потратил, ты скажи, мы заплатим, что требуется.

— Нет, платить не надо, — ответил Сергей Иванович, — а если поцелуешь, нос утрем моему товарищу, он всю дорогу твою подружку просил, а поцеловали меня.

— А что ж, и поцелую. Какая тебе, старику, в этом сладость?

— Да ты уж поцелуй, и подружке твоей вели поцеловать меня.

— А что ж, и поцелуем. Нюра, давай его поцелуем!

— А вы и товарища моего поцелуйте, он человек хороший.

— Не станем, чтобы другой раз не напрашивался. А то всю дорогу — натура да натура, — вертоус какой выискался!.. Ты старик, ай только старообразный?

Девушки поцеловали того и другого по разу, в щеки (в губы не позволили), пожали руки, посмеялись. Когда машина двинулась, одна из девушек крикнула под хохот второй:

— Ребята, будете когда мимо проезжать, приезжайте чай пить! — во втором общежитии фабзавуча, Нюра да Катя!..

Впереди лежал замечательный город ткачей, русского текстиля, русских пролетариев.

ИСТОРИЯ О ЦАРЕ ИВАНЕ, ИЗБРАННОМ К ВЛАСТИ В 1919 ГОДУ

Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухломы и Солигалича — до Макарьева и Семеновского. Для каждого русского, кто помнит свою страну, каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Посредине области протекает Волга. На экономических картах края густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, машиностроительной и химической, хлопчатобумажной, льнообрабатывающей, силикатной, торфяной, пищевой, крахмально-паточной, винокуренной. На картах указаны районы нового промышленного строительства и районы сплошной электрификации. По всей области густо указаны районы кустарно-промыслового кооперирования населения, обеспечения рабочим скотом, молочного животноводства, овцеводства, плотности населения, ветеринарного и медицинского обслуживания, телефонной связи районов. На всех этих картах пустынею обозначе-

ны районы Семеновский, Макарьевский, Палкинский, кроме одной карты — карты лесистости. Самый лесистый район — Семеновский. Там протекает река Ветлуга, — бывшие Ветлужские веси, ныне уничтоженные с российских карт, — места, описанные Мельниковым-Печерским. Леса там первобытны и непроходимы. Деревни и села там редки, и не будет большой исторической натяжки, если принято будет утверждение, что оседлости этих мест возникли по тем же социальным причинам, что и Дон, и Запорожье. Но на Дону и в Запорожье были степи кочевников, простор и крымские татары, а здесь обступали леса, имено те, которые и прятали в себе людей от государства, кругом окружавшего эти леса. В лесах надо было оседать и прятаться — и надо было работать, чтобы есть и кормить детей. В леса бежали от феодала и за феодальной справедливостью, но в лесах же прятались от Александра Второго, российского капиталиста. Ведь даже в 1934 году найдено было в этих местах село, ни на какие карты не нанесенное, пребывавшее в нетях и в лесных трущобах, беспаспортное, но выходившее в соседние поселки за покупками и на продажу своих изделий!.. В четырнадцатом году началась мировая война. В Семнадцатом пала императорская власть. По понятиям тех, о ком идет речь, распалась власть. Села прятались в леса, разыскивать села — досуга не было, власть распалась, как гамлетовская связь времен. Можно было и надо было создавать свою власть, чтобы восстановить связь понятий. И в Шуйском починке крестьяне выбрали на власть и на царство крестьянина Ивана, справедливого и красивого человека. Ивану было лет сорок, был он многосемеен и безграмотен. Он взялся за царствование, благословясь и по справедливости, устроил в своей избе трон, судил с трона в красной рубахе с белыми латками под мышками и в лаптях; в свободное время от царствования ложкарил и пахал; именовался — бедный царь; детям своим он настрого приказал, как раньше, лётать босиком. Старообрядец и крестьянин, он вызвал к себе православное духовенство со всего своего царства, волостного писаря, лесопромышленников, лесничего, стражников, учителей, врача и предложил им сматываться из царства во един дух. В больнице поселилась бабка-ведунья да дед-знахарь. В школы направились начетчики. Подати были отменены. Все

были сравнены в труде и в куске хлеба. Православные батюшки, лесничий, врач и волостной писарь, выбравшись из царства во един дух, срочно направились в тогдашнюю губернию, в Вологду, — они и привели в недоумение вологодские советские власти сообщением о возникновении в лесах нового царства. Вологодцы помчались в леса узнавать, как и что. Приехали в царство. Леса непроходимые. Деревня окружена заборами — чтобы скотина не ушла в лес, чтоб медведь стеснялся в деревню залезать. У околицы вологодчане встретили человека с возом, в лаптях, в красной рубашке, с бородищей, как лес, и с добрейшими голубыми глазами.

— У вас, тут, говорят, царь имеется? — спросил главный вологодчанин.

— Имеется, — ответил мужик.

— Какой же это царь? — спросил вологодчанин.

— Народный царь, выборный, чтобы по совести и справедливости.

— А где ж этот царь?

— А я и есть этот царь, — ответил мужик, — меня мир выбрал для власти.

В Вологде судили. И оправдали царя Ивана, только просили для прилику не возвращаться в волость, уехать из волости, куда хочет. Царь Иван пожелал со всем семейством переселиться в город Астрахань, на рыбные промысла. Бедняк Иван, красивейший бородатый экземпляр русской народности, бедняком оставался и на престоле. Хоть и дремучим, как леса, сопрягавшим старообрядческого бога со знахарями и ведьмами, он оказался Иваном, мужиком хорошим.

История о царе Иване рассказана была на Володимирском шоссе между Покровом и Владимиром, ночью, около костра, когда Сергей Иванович, Яков Андреевич и Павел Павлович останавливались охладить от канав мотор и поужинать. Костер отгонял комаров, подбирались к костру туманы, пели в туманах соловьи, а пахли туманы ландышами. Рассказал о царе Иване дорожный рабочий, к слову. Рабочие устраивались было ко сну. Яков Андреевич поминал недобрым словом ухабы всесоюзного дорожного мастера Цудортранса, за отсутствием его собирался было обидеться на дорожных рабочих, угостил рабочих папиросками. И возник разговор о советской власти. И — к слову, для

подтверждения крепости советской власти — дорожный рабочий, покуривая и поплевывая, рассказал о царе Иване. Одет был дорожный рабочий примерно так же, как одевался царь Иван, был лишь потощее царя, менее представителен и красив, и менее бородат.

— Советская власть в самом народе живет, скажу я тебе, браток, — царь Иван не знал, как ее назвать, а на поверку — был он что ни на есть председателем комбеда, а то, глядь, и колхоза. Мы из одного места с ним, мечтал он о коммуне, сделанной на правильном труде, а ежели прошибся, то только со знахарями да с царскими кличками — по лесной своей неграмотности.

Соловьи пахли ландышами.

Автомобиль вошел уже в быт русских весей. Для того, чтобы хорошо вести автомобиль, чтобы быть хорошим шофером, надо вести машину, не думая о том, что ты ее ведешь. Так — около каждой машины. Машину надо чувствовать, как часть своего тела, как часть самого себя. Уменье владеть машиной — это чувство, которого не было в России поколение тому назад. Человек, ведущий машину, настоящий шофер, не думает о машине, но ни на одну секунду не забывает о ней. Он чувствует каждую гайку, каждый вздох зажигания. Куда б ни опускал он свои взоры и мысли, он видит каждый камень, каждый ухаб на дороге — и видит их ритмом машины. Это будет — точно сказать, что он рулевой баранки, шофер видит все совершенно иначе, ритм автомобиля интегрирует расстояние и пейзажи. И у руля очень хорошо думать, размышлять, интегрировать мысли — за интегралами скорости, ритма движения и пейзажа. Через поколение самые откровенные, самые раздумчивые разговоры будут возникать в часы переездов на автомобиле, когда двое, едущие на автомобиле, одинаково будут владеть ощущением машины.

По дороге от Москвы до Палеха, в часы, когда он вел машину, Сергей Иванович думал — как это сказать?.. — об образе? об искусстве? — он опускал свои мысли в ощущения, где не находилось нужной терминологии, о чем нельзя говорить, ибо понятие — образ — очень неточно. Можно было думать о шахматах и автомобиле. Со дней возникновения шахмат, как

мастерства, всегда было великое множество шахматистов, имена которых забыты, которые хотели создать правила беспроигрышной игры, которые хотели создать машину-шахматы. Эти изобретатели забыты, но Капабланка, Ласкер, Алехин — великие писатели от шахмат — и даже Ильин-Женевский ошибались, конечно, проигрывали и — когда теоретизировали — говорили, надо полагать, множество неправильностей. Если бы машина-шахматы была б изобретена, шахматы-искусство исчезли бы. В автомобильном двигателе лежит гений математического интегрального исчисления, — рядовой шофер не обязан знать высшую математику. В искусстве нельзя предлагать машин-шахмат, ибо не стоит убивать искусство. Искусство ж — изобретательство, политика, любовь, — все, что есть в жизни, может быть объектом искусства. И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист, — он должен знать все правила, созданные для него, — и для того, чтобы пользоваться ими при нужде, и для того, чтобы *разрушать* их, создавая *свои* правила, — этим самым делая Бальзака не похожим на Толстого. Знание и умение — не одно и то же. Сергей Иванович, перестав быть американским шофером, познал, как устроен автомобильный мотор, но сделать его не сумел бы. А американцы и мотора не знают, даже не видят его, мотор за них инспектируется дилерами. Американцы только водят машину — и водят куда лучше русских шоферов, ибо — поди, поезди по Америке, где на каждые четыре человеческие души по автомобилю. Умение ж достигается навыком, практикой; теоретически знать — это еще не уметь. Подлинное умение возникает тогда, когда оно координировано знанием. Знание не должно обгонять умение, иначе — критика!.. Каждый писатель каждодневно проходит мимо тысячи тем. Пишет каждый писатель на круг в год листов десять, сидя иной раз на одном и том же образе по нескольку лет. В школах-десятилетках, в физических кабинетах показывают опыт: бросают на стол железные опилки и к ним подносят магнит. Железные опилки начинают двигаться, приходить в геометрический порядок, прилипать к магниту и друг к другу, — принимают закономерные формы. Железные опилки до того, как к ним придви-

нуть магнит, — это то, мимо чего ходит по миру художник, что видит, слышит, ощущает, продумывает, — тысячи вещей и обстоятельств, рухлядь на чердаке памяти. Возникает образ — и образ работает, как магнит: из опилок виденного, слышанного, пережитого выбирается нужное, опилки приходят в движение, сортируются, прилипают друг к другу, принимают формы, нарастают на образ и сами на себя. Виденное, придуманное десять, и пять, и двадцать лет тому назад, вновь возвращается в память и начинает жить, если это надо образу. Никак не ерунда, что один биологический тип склонен к писательству, другой будет инженером, а третий реальностью воспринимает звуки, — и никак не ерунда то обстоятельство, что зайца можно научить зажиганию спичек; но заяц от этого художником не станет. Образы ж возникают в данной именно среде, в данной исторической эпохе, у данного человеческого индивида, являющегося достоянием и эпохи его, и среды, и класса. Когда магнит образа поднесен к опилкам фантазии и пережитого, начинает работать знание. Для того, чтоб образ отразился на бумаге, нужно умение. Новобранцу-красноармейцу, даже вузовцу, командуют иной раз — «левой!» — а он очень часто шагает правой, — это потому, что он задумался о собственных своих ногах. Это так же, как с шофером, который стал рассчитывать, а не ощущать расстояние, то есть не перевел сознание в ощущение — и въехал поэтому в канаву. Умение писателя должно быть таким же, как умение шофера иль красноармейца, который, не задумываясь, шагает левой. Умение — слово. Слово — весомо и перспективно, комбинации слов тем паче. Комбинации слов определяют перспективу фразы, и не только смысловую, но и эмоциональную ее загруженность. Сказать — «быстро пошел он» — «пошел он быстро» — «он быстро пошел» — это три различных по эмоциональному своему насыщению фразы. При чтении классического романа очень часто надо делать усилия, чтобы не подменять героя самим собою, хоть этот герой чужд читателю и исторически и классово. Это предопределено законами перспективы. В каждой повести есть та перспективная печка, от которой танцует автор, та точка, откуда, как на картину художника в два с поло-

виною ее диаметра, следует смотреть читателю. Классические романы очень часто этой печкой для читателя брали глаза героя, — попробуй при таких обстоятельствах не подменить себя героем, раз его глазами только и видно, раз наблюдать с другого места — это все равно что в театре сидеть спиною к сцене. Перспектива всегда графична, и каждая повесть должна иметь свой график — от фразы до абзаца, от главы до повести в целом, — и автор должен следить, как пройдет по повествованию читатель. Иногда читателю надлежит сидеть вместе с персонажем в комнате, иногда он должен из Москвы следить за Палехом, за Казахстаном, за Сясью и Мурманском, за Токио и Нью-Йорком. Если автору надо, чтобы читатель нервничал, он может отправить его на Кузнецкстрой в час пуска первой домны. Если автору надо успокоить читателя, он может отправить его в Сталинск часом спустя после пуска первой домны иль может оставить его на покойном московском диване, а мотать персонажей, как кадры в кино... Но слова — и материальны. Если автор захочет описать красивую женщину, наделив ее фамилией Широконосова, — сколько ни старался б автор, читатель не поверит в ее красоту, фамилия погубит красавицу на бумаге. Если автор будет описывать лесной пейзаж нашими протокольными словами — «установка леса», «встречный план перелеска», — то получится портной, который на ситцевом платье делал заплаты из сукна. Нельзя описывать феодала капиталистическим лексиконом, — феодал окажется наряженным во фрак и в кольчугу одновременно, причем кольчуга будет служить жилеткой. Не надо описывать телегу автомобильной терминологией, — телега старше автомобиля, у нее есть слова ее возраста. Читатель никак не обязан верить художнику. Автор должен убеждать читателя не уверениями, но свидетельскими показаниями. Рукопись. Молодой писатель. На первой странице рассказывается, как умна и необыкновенна героиня, — не кто-нибудь иной, а сам автор в восхищении и на первой странице, и на второй, и на четвертой: и умна, и красива, и необыкновенна. А на пятой странице появилась героиня, «от нее пахло душистым мылом», она села, «закинув ногу на ногу», и сказала, — «вопрос о том, чему должен человек боль-

ше отводить времени, физкультуре иль духовному своему развитию, еще не решен для меня!» — и для читателя решен вопрос гораздо большей значимости — вопрос о том, что неумна не только героиня, но неумен и автор. Читатель просит авторских восхищений ему не навязывать!.. Форма — роман, поэма, рассказ, дактиль, ямб — условность, конечно, как условность и то, что женщины ходят в юбках, а мужчины в штанах. Сняли ж юбки наши московские метрополитенщицы!.. Форма романа — условность искусства, тут и «прости Господи, глуповатость» и — клоунада. Актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но если детишки устанавливают, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство. Писатель должен интегрировать реальность, настоящую жизнь, правду, — свои чувства автор должен аргументировать не словами, но фактами, выкрашенными под правду, чтобы читатель имел о них моральное и фактическое суждение. И писатель должен изловчиться в условности искусства так, чтобы читатель считал себя свободным в своих суждениях и не видел поучительного авторского перста. Авторские персты читателю надоели от классиков. Чтобы убрать свой перст, автор должен иной раз перед глазами читателя вычерчивать обстоятельства до самой последней морщинки, — а иногда надо предоставлять читателю свободу так, как это сделал в дореволюционные времена Леонид Андреев в компании Куприна, Потапенки и нескольких других их современников. Собравшись, эти поименованные пили красное вино и судили об искусстве, о том, как лучше создать образ. Решили тут же описать Фрину, как она вошла в ареопаг и покорила своей красотой, — решили описать красоту Фрины. Разошлись и приступили к описанию женской красоты. Куприн написал Фрину точь-в-точь, как описана у него Суламифь, — и живот, как чаша, и перси, и глаза, и губы, и черные волосы. Потапенко написал пять страниц, — волосы оказались огненными, и опять же перси, ланиты, персты, очи. Андреев пил вино, пока писали. Дошла очередь до его чтения. Он взял потапенковские пять страниц, красный карандаш, все зачеркнул и прочел:

«В ареопаг вошла Фрина, и она была так ослепительно красива, что старцы поднялись поклониться ее красоте». И все. Победил Андреев, ибо одни читатели предпочитают Фрину блондинкой, а другие рыжей, но для существа повести эта читательская вольность несущественна. У иных русских писателей годов восьмидесятых излюбленным приемом было заставлять героинь хворать чахоткой, поэтическая, дескать, болезнь, румянец, томность, ветер вечности, — а врачи читали эти абзацы о «поэтической» болезни и хохотали, ибо чахотка у этих восьмидесятников получалась, как у иных современников описание «грахьёв» и «князьёв». Безграмотность в описании князя так же безграмотна, как и описание туберкулёза...

Закат. Косые лучи солнца. Сердце мотора бьется хронометром и слито с мыслями. Автомобиль поднялся на гору. Нигде, нигде на земном шаре — ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии — нет таких пейзажей, как среднерусский пейзаж с холма, зелень полей, пространства, речонка, деревня вдали, золотые лучи заката и тишина.

Условность классического романа культивировала описание природы по ряду причин — и в первую очередь никак не по причинам эстетическим. Классический русский роман — если не мистичен, то пантеистичен. В условности классического романа описания природы требовались для того, чтобы посадить роман «на землю», «связать с землей, с природой, с космосом», с «паном», чтобы роман, как жизнь, «из земли пришедши в землю отыдеши», — чтобы природа в романе «успокаивала» иль (метели и буревестники) заставляла бушевать. Тургеневские и толстовские описания природы — конечно, мистичны. Прекрасный писатель Михаил Шолохов написал прекрасный социальный, социалистический роман «Поднятая целина», — и читатель выкидывает все шолоховское описание природы, — оно механически перенесено Шолоховым из классического русского романа в социалистическую ткань шолоховского повествования.

Нет! — образ не только весом, перспективен, материален, историчен, — он обязательно социален и классов. Можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя, под правый локоть положив белый

лист бумаги, и — с первой страницы от феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Курагина — выписывать все инстинкты персонажей Толстого и все обстоятельства, стимулирующие эти инстинкты, — инстинкты, эмоции, чувствования — безразлично, как назвать. С десятой страницы начнет возникать некая уже система, надо подставлять уже только палочки, возникает статистика. А к концу романа известны все инстинкты, которыми оперировали не только персонажи Толстого, но сам Толстой. Человеческие инстинкты, человеческие чувствования наслоялись веками от прачеловека, от четвероруких, от времен животного состояния. Они же с тех пор и перестраивались. Социальные инстинкты от часа, когда человек взял в руки дубину, накапливаются до наших дней. Они прошли через средневековое сознание, через капиталистический «индивидуализм». Они скапливались и жили, умирали, вновь рождались, живут в нас. Иные каменновековые добрались до социалистических дней, до социалистического сознания и социалистических инстинктов. Но мы, социалисты, коммунисты, — очень молоды. И следовало бы взять многих и многих наших писателей, партийцев в том числе, — положить под левый локоть их романы, как «Войну и мир»... И если писатель хочет быть подлинно коммунистическим писателем, подлинно коммунистически чувствующим человеком, — и только тогда имеющим силы создать подлинно коммунистический роман, — пусть писатель кроме сознания проверит свои инстинкты!..

Советская русская литература имеет уже свою историю, совершенно закономерную, и имеет пройденные уже пути. Советская литература отодвинула в должные перспективы частную человеческую судьбу. Понятно, — судьба классов была значимой судьбой Иванов и Иванов Ивановичей, отдельных личностей. Когда человек, класс, эпоха приходят на новые места, на новые квартиры, они хотят расставить по местам вещи и знать, чем они обладают, — *литература была очерковой и познавательной*. Класс стал перестраивать страну; колоссальнейшая, замечательнейшая эпоха, когда в стране не было ни единого села и ни единого города, которые не реконструировались бы и не строились на-

ново. Реконструировалась добыча хлеба и труд около хлеба, когда на поля пошли машины и фабрично-заводские навыки. Реконструировались и строились заново заводы, нефть, железо, каменный уголь, химия, текстиль, превратившие аграрную страну в индустриальную. Уничтожался класс прежних историоделателей вместе с его экономической конструкцией, знанием, моралью, эстетикой. Это замечательнее любой романической выдумки. Первая полоса «Известий» была более романична, чем беллетристический подвал на третьей полосе. И романы эпохи брали первобытный берег реки, глухие леса с монахами иль степи с запорожскими преданиями. Туда приходили люди, и там строились заводы, причем вещи и отношение к вещам перестраивали людей в коммунистов. Романы брали «чавось-небосьную расейскую» деревню, строили там колхоз, туда приходил трактор, и там создавались племенные фермы, причем трактор и отношение к нему перестраивали людей в коммунистов. Перестроение людей показывалось в классовой борьбе. Прежний историоделатель, уничтожаясь и умирая, пошел в поножовщину, на голод по деревням, в болты, подбрасываемые к новым машинам, — писатели написали о вредительстве. Так было на самом деле в жизни. Но условность классического романа была перенесена на наши дни. В романе был герой — коммунистическая партия. В романе был «злодей» — подгерой — прежний класс, вредитель. Конструкция была неверной по существу законов литературной перспективы. Герой персонифицировался на секретаре партийной организации, человек нес на плечах партию миллионов, растворяя партию в своих индивидуальных чертах, и терял свой лик в миллионах, — вредитель превращался в подгероя, что не соответствовало реальной жизни.

Это было закономерным для литературы, — но шоферы становятся настоящими шоферами только с того момента, когда, наездив уже много часов, вдруг они ловят себя на мыслях, когда их мысли очень далеко и от дороги, по которой они едут, и от рулевой баранки, потому что вещь — машина, мотор, ритм мотора и движения — и он, шофер, — одно и то же. Тогда начинается жизнь.

(В Иванове Арбеков с Синицыным, переночевав в небоскребе ивановской гостиницы, были на аэродроме, где ивановские предприятия встречали прилетевший из Москвы агитсамолет «Правда», а затем ездили с предоблисполкома Сергеем Петровичем Аггеевым на безымянное озеро. Об этом рассказано будет ниже.)

В Палех приехали к вечеру. Поездка на безымянное озеро, ночные разговоры, встреча жены с ребенком и няней на ивановском вокзале сделали так, что прошлую ночь Сергей Иванович и Яков Андреевич спали всего по два часа. В Палехе ожидали баня и крестьянский дом. В комнате стояли ландыши. С закатом запел соловей, у самого окна. Звуки перепутывались с запахом ландышей. Впервые в жизни сознание соподчинило ландыши и соловьев, весною, земною благостью. Переутомленные, они легли с закатом, когда проснулись соловьи. Мысль о соловьях и ландышах была последней мыслью Сергея Ивановича. И ночью разбудил необыкновенный шум, тысячи неизвестных существ бежали по крыше. И сразу вспомнилось детство, вошло, заполнило все сознание. В Москве и в мире за большими городами, в многоэтажных домах, этот звук был забыт, звук, знакомый от детства. По железной крыше крестьянской избы бежали тысячи капель дождя. За окном зеленело лето. Комната осветилась фосфорическим светом, казалось, прошедшим сквозь стены. Весело над домом рассыпался гром. На крыше шумел дождь. Пел соловей. Ветер подул в окно. В комнате до одури пахло сырыми ландышами, молодостью, свежестью, соловьями. Где это? — когда это?..

Саратов. Саратовская первая гимназия. Первый класс. В гимназии у всех гимназистов до четвертого класса — поветрие, увлечение игрою в перышки; карманы гимназистов набиты перьями; героем от перышек идет «наполеон», перо, которое нельзя перекувырнуть. Играют на переменах, играют на уроках. Классные надзиратели ловят. Классный надзиратель, по прозвищу Зонтик, отбирает перья, заставляет выворачивать карманы. И Зонтик, чтобы пресечь зло, кидает перья, сотни перьев, на печку, надо полагать, к тысячам перьев, застрявших там от прежних гимназических поколений. Первоклассник Келлер, впоследствии Арбеков, уговаривается с первоклассником Шухотови-

чем. В первую перемену Шухотович жалуется на Келлера, что Келлер ударил Шухотовича, и надзиратель оставляет Келлера на час без обеда. Во вторую перемену Келлер жалуется на Шухотовича, что Шухотович ударил Келлера, и надзиратель оставляет Шухотовича на час без обеда. После занятий Келлер и Шухотович — вдвоем в классе. Кафедра — к печке. На кафедру — парта. На парту — Шухотович. На Шухотовича — Келлер. И Келлер на печи, в пыли, в бумажных стрелах, в россыпях перышек. И на пороге — Зонтик. Уже не сам, но руками двоих сторожей Келлер спускается с печки. Через четверть часа — инспекторский кабинет во флигеле, ожидание инспекторского выхода, плачущий Шухотович, и — гроза за окном, громы и молнии...

Весной тридцать пятого года во всем Союзе происходил первый выпуск десятых классов полной советской средней школы, — праздник девушек и юношей, родившихся и созданных советскими днями уже за Семнадцатым, праздник созидания и созревания человека... Нижний Новгород, 1913 год, класс выпускников — «абитуриентов».

— Келлер, ты что делаешь?

— Ничего, Леонид Александрович!

— То-то ничего, а надо слушать! — останься на полчаса без обеда.

Двадцать два года тому назад!.. — этот разговор происходил в нижегородском, владимирском реальном училище. Повторялся этот разговор раза два в неделю, и было известно, и никого не удивляло, что Леонид Андреевич не любит «абитуриента» Келлера, и поэтому «ловит», — было такое словцо. И Келлер оставался на полчаса «без обеда» — раза два в неделю. Келлер впоследствии стал писателем... Вместе с гимназистом Федором Богородским, впоследствии художник, с гимназистом Сергеем Предтеченским, беллетрист, с институтцем Арсением Митрофановым, поэт, и еще с десятком товарищей они организовали литературный кружок и издавали рукописный журнал. Предтеченский и Келлер печатали свои рассказы в «Нижегородском листке». Члены кружка читали московские газеты и толстые журналы. И реалист Келлер был вызван к инспектору Жудро в чрезвычайно темный кабинет,

где стены наводили не меньший страх, чем сам жукообразный Жудро. Жудро сказал:

— Сергей Келлер, говорят, ты сочиняешь?

Владимирское реальное училище было третьим учебным заведением, где Арбеков проходил «средние» науки, ибо из саратовской гимназии он был изгнан за игру в перышки и за издевательство над системой наказания безобедами, а из богородского реального сам ушел по так называемому добру и здорову. То есть Келлер человеком был уже обстрелянным.

И он ответил инспектору Жудро, опустив руки по швам:

— Да, Владимир Александрович, сочиняю.

— А что ты сочиняешь?

— Я пишу маленькие рассказы, Владимир Александрович. Я впоследствии намереваюсь быть писателем.

— А еще я слыхал, что ты носишь свои рассказы для печати в «Нижегородский листок» и будто бы ты читаешь разные газеты?

Арбеков соврал, с ясными глазами:

— Нет, Владимир Александрович.

— А еще мне сообщили классные надзиратели, что ты, Келлер, куришь?

Глаза Арбекова стали покорными, он ответил тихо и покаянно:

— Да, Владимир Александрович, несколько раз курил.

Жудро помолчал от неожиданности. Жудро оценил чистосердечное признание. Жудро молвил:

— Ну и кури, если куришь, ты через год студент, — но если тебя застанут классные надзиратели или инспектор, получишь тройку за поведение. А если, — Жудро потемнел, — если опять услышу о твоих писаниях и о хождениях в «Листок», — будешь уволен. Ремень поправь, как следует!..

Во владимирском реальном, как и во всех средних учебных заведениях империи, запрещалось выходить на улицу после восьми часов вечера. Ходить в кино и в театры ученики могли лишь по запискам инспекции. В день окончания реального абитуриенты вместе с преподавателями впервые в жизни напивались до потери сознания, и с учителями же, также впервые в жизни,

ездили в публичный дом. На всю жизнь от владимирского реального остался в памяти — класс, парта, урок математики.

— Келлер, ты что делаешь?

— Ничего, Леонид Александрович.

— А надо слушать! останься на полчаса без обеда!..

И француз, швейцарец по национальности:

— Э, мон шэр, ви не знаете урок? — это будет достаточно, если я поставлю вам нуль с вожжами?! — и француз жмурился в наслаждении и ласковости, тот самый швейцарский француз, о котором через год писалось в газетах, который бежал из России от уголовного преследования, ибо он оказался педерастом и растлителем учеников...

Какая эпоха прошла с тех пор!.. Империя расстреливала свой режим мировою войной. Октябрь выкорчевывал империю, отстреливаясь от четырнадцати государств, которые хотели его утопить в собственной его крови. Весной тридцать пятого года вышли из средней школы девушки и юноши, которые не были еще рождены в Семнадцатом, зачатые и рожденные в громах Октября. Арбеков в эти годы переходил от юности в зрелость. И на месте прежнего ученика Келлера стали двое новых Келлеров — ученики дочь и сын, проходившие пооктябрьскую школу. Тот, прежний ученик Келлер, был трудным ребенком, — не случайно он перебирался из Саратова в Богородск, из Богородска в Нижний, — и случайным в его судьбе было лишь то, что он окончил школу. Тогда нельзя было утверждать, что из Келлера выйдет писатель Арбеков, но мальчик с самых ранних лет готовил себя к писательству, — и именно это было наитягчайшим обстоятельством для тогдашней школы. Теперь росли сын и дочь, сын оказался труднее дочери. И, быть может, даже труднее отца, — хотя бы потому, что, в отличие от старшего Келлера, он не ставил перед собою никаких целей. Он не жил с отцом и на горе отца ухитрился к тринадцатилетнему возрасту возыметь отношение к книге по меньшей мере безразличное, в окончательном совершенстве познав все виды спорта, а также все коломенские окрестности на много километров вокруг, кои он посещал в прогулы, первозданно мало познав все те науки, которые он проходил в коломенской десятилетке, — так

мало, что, встречая у отца писателей, он обратился однажды к отцу с просьбой:

— Папа, а ты бы пригласил бы к нам когда-нибудь Пушкина чай пить!..

Отец взял сына с первозданных коломенских весей и пересадил в Москву, в 25-ю школу, где директорствовала женщина с фамилией, подходящей для сына, — Гроза, и где шефствовали «Известия», не в назидание, конечно, инспектору Жудро и его отношению к газетам вообще и к «Нижегородскому листку» в частности. Все годы социальных обвалов и восхождений отец не имел никакого отношения к школе. Глазами детей он вновь увидел школу. Дети вообще, повторяя жизнь, заставляют и молодеть, и видеть пройденное. Воспоминаниями, глазами дочери и сына отец сопоставлял две школы. Отец был вовлечен в общественную жизнь школы, что никак не полагалось по дореволюционным традициям, ибо инспектор Жудро допускал родительский дух в «храм науки» только тогда, когда из «храма» изгонялся дух здорового детства.

Как много, как замечательно все переменилось! — О чем думать? О том ли, что у школы есть своя собственная печатная газета, которая выходит в шестидневку раз и в которой преподаватели и ученики печатаются вместе, редакция которой заботится о том, чтобы ученики печатались?.. — о чем думать? Да, ученики этой школы ведут переписку с двадцатью пятью народами — от американских школьников до школьников Арктики.

«Остров Колгуев, школа.

Здравствуйте! Все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, ямцают — кочуют. В красном чуме ненцы учатся, ненки, девочки, не учатся, станут учиться на будущий год. Агентство есть. Больница есть. Школе второй год, двадцать шесть учеников, две группы. Мы учили об артели Ленина, о Красной армии, о Парижской коммуне, о Первом мае. Мы учили, как живут рабочие, где есть буржуи. Стенная газета есть, радио есть, кино есть. В школе пионеры есть»...

Эта часть письма, написанного колгуевскими учениками на немецком языке, ученикам 25-й школы.

Из Австралии, из Сиднея Аллан Шайн пишет о своем быте и о коммунистическом движении в Австралии, о том, в частности, что австралийские железные дороги по старым англо-американским традициям цензуры отказываются перевозить коммунистические газеты, а

«поэтому нам трудно получить их в Мельбурне... На прошлой неделе государственные власти конфисковали и уничтожили все экземпляры «Уоркерс Уикли»...

Пишут из Индии, из города Пуни. Трогомонская школа в Нью-Хэвеке из штата Нью-Йорк в Юнайтед Стэйтс пишет и шлет подарки «нашим друзьям в СССР». Со станции Бер-Чакур из Казахстана пишут:

«Мы, ученики школы Бер-Чакур, шлем вам свой привет в далекую Москву»...

1913 год! — трехсотлетие и последний год империи!.. молодость Келлера, грозы, рассветы — и вообще молодость, которая все хочет знать, все понять, все вобрать в себя!.. На Ошарской улице в Нижнем жила француженка, с акцентом говорившая по-русски, — реалисты показывали на нее пальцем и примолкали, когда она проходила мимо, потому что они видели чужеземку, о которой ничего не знали, потому что за образом чужеземки рисовались далекие, непонятные земли, о которых ничего не зналось, о которых надо было мечтать, как о некиих несбыточностях... Молодость, грозы, рассветы! — если бы ученику-отцу тогда можно было бы написать на Колгуев, в Мельбурн, в Нью-Хэвек, — быть может, вся жизнь его построилась иначе б?.. Кхайв, индус, пишет из города Пуни, от 15 января 1934 года, в частности:

«забастовка была проиграна, так как хозяин привел штрейкбрехеров. Штрейкбрехеры были мусульманами и ненавидели нас, буддистов. У них в Бенгалии все помещики — буддисты, и они ненавидели нас как классовых врагов. А у нас, в Бомбейской провинции, все полицейские — мусульмане. Англичане, хозяева Индии, пользуются религиозной рознью и стремятся натрав-

ливать буддистов на мусульман. Однако за последнее время это им все меньше и меньше удается, мы братаемся с бенгальцами»...

Тогда, эпоху тому назад, представление у реалиста Келлера об Индии складывалось из романов Киплинга, английского консерватора, и из книг о йогах, реставрированных европейскими феодалами от мистицизма, — Индия казалась страною маугли и колдунов, умевших на расстоянии читать мысли, колоть себя иглами, не пить и не есть годами, умирать по собственной своей воле и оживать сколько угодно раз, — Индия была страною людей, никак не подобных европейцам. Если бы тогда прочитал Арбеков письмо индуса Кхайва из города Пуни!.. Действительно,

«все ненцы сейчас в артели. Вместе промышляют. Олени не вместе, олени вместе надо. Ненцы все в чумах живут, кочуют»...

разве каждая фраза, написанная ненецкими учениками, не живая жизнь, положенная перед тобою? — разве каждая фраза, положенная на географическую карту и социально-историческую полку живой жизни, не останется навсегда ощущением реальности в памяти Келлера-сына, получившего вместе с товарищами это письмо и ответившего на письмо товарищей с острова Колгуева? — и разве столь уж далекой будет казаться Москва для казахчат из Бер-Чакура, когда они получат сообщение о делах их московских товарищей-школьников? Но в 25-й школе, в школе второго Келлера, эта переписка — никак не случайность, не только даже познавание жизни, — а система преподавания скучнейшего и бессмысленнейшего предмета всей «классической» императорской дореволюционной школы — система преподавания географии.

Жудро сказал:

— Ну, и кури, если куришь, — но, если тебя застанут, получишь тройку за поведение.

Леонид Александрович сказал:

— Келлер, ты что делаешь? — останься на полчаса без обеда!

Арбеков-сын оказался нелегким ребенком. Жудро и Леонид Александрович были «созидателями» импер-

ской «дисциплины». В 25-й школе были два ученика. Военная волна смертей и голода, бездомной вольности бездомных и безотцовых у многих наших детей мечту о побеге в Америку и в Индию заменила мечтой о беспризорничестве. И эти двое возлелеяли эти мечтанья, воровали, избивали ребят, командовали классом, собирали с класса дань трамвайными гривенниками, прогуливали уроки, когда чувствовали в этом нужду, — феодальствовали, как удельные князья. Когда это всплыло, вмешались родители и преподаватели. Родители предложили механическую меру старых традиций — изгнать вредителей. Групповод не согласился с этой мерой. После общего собрания класса, после наисердечнейшего разговора с вожатым пионеротряда «вредителям» было предложено, и они согласились, вести дневники своей дисциплины. Детишки должны были показывать каждодневно эти дневники родителям, групповоду и вожатому. Мера подействовала, и очень быстро: писать и врать оказалось более трудным, чем врать и дебоширить, — писать надо старательно, и над писанием, в раздумье, надо размышлять о самом себе... Одно из популярнейших мест в школе — доска около кабинета заведующего учебной частью. На этой доске великое множество красных и синих флажков, отмечающих дела и жизнь классов, успеваемость, дисциплину, соревнование, положительные и отрицательные ученические единицы, школьные кружки, литературный, музыкальный, драматический, прочее, прочее... Француз-швейцарец и уголовный преступник во владимирском говорил:

— Вы плохо знаете урок, мой друг, — как вы думаете, какой балл я буду ставить вам? — вы не думаете, что это будет очень хорошо, если я поставлю вам ноль с вожжами, не так ли? — ну, так я поставлю вам этот балл!

И швейцарец был счастлив. 25-я школа имени «Известий» считает «основным моментом борьбы за успеваемость работу учителя над самим собою, над повышением своей квалификации, над освоением того материала, который дается учащимся». По понятиям 25-й школы и по традициям ее, в нулях виноваты не ученики, но педагоги, — и школа считает своею гордостью, когда ученики переходят из класса в класс со ста процентами успеваемости, отмечая их на доске крас-

ных и синих флагов, — причем кроме красных и синих по конституции школьников имеется еще и черный флаг, которого нет в действительности дел школы. Келлер-сын начал свою карьеру в 25-й школе тем, что в первую четверть принес отметки по всем предметам неудовлетворительные, чем был нормально доволен и по поводу чего беспокойства не проявлял, по коломенским традициям. В третью четверть у него оказалась только одна неудовлетворительная отметка и появились «хоры» и даже два «оха». И не это главное, а то, что он, кажется, на самом деле по поводу своих отметок и школьных дел проявлял здоровое волнение и на лето в лагеря набирал большое количество книг, в надежде их прочесть.

А дочь?.. На самом деле, критики правы, когда они по профессии своей бранчливы: о хорошем, разумном, простом трудно писать, нечего писать, писание получается скучным, — то ли дело пописать о «первозданностях», иль на глупости показать свой ум!.. В январе дочь пожелала, чтобы отец достал ей прошлогодний комплект «Известий» и категорически потребовала, чтобы он не трогал ее «Комсомолку». И в феврале, и в марте она отбирала от отца множество марксистско-теоретических книг. В апреле однажды, запоздно уже, она пришла торжествующей. Она сдавала в тот вечер в райкоме комсомола необыкновенный экзамен. Она переходила и перешла из кандидатов комсомола в члены. Ей заданы были только три вопроса — о продаже КВЖД, о приездах Идена и Лаваля и о причинах раскола РСДРП на большевиков и меньшевиков в 1903 году.

— Что предшествовало совещанию европейских министров в Стрезе? — спросили старые комсомольцы.

— Соглашение между СССР и Францией о взаимной помощи в войне.

— Так, — сказали старые комсомольцы, — как же ты оцениваешь политику СССР в данном вопросе? Представь, что немцы нападут на Францию, не нападая на нас, — что ты, комсомолка, будешь делать в таком случае?

— Ленин учил империалистическую войну превратить в классовую, в гражданскую войну.

Дочь была торжественна в тот вечер. Она ушла к себе и долго не засыпала, обложив себя книгами, зубря к школьным экзаменам. И это было совершенно закономерно для молодости, которая никогда не останавливается, свалив одни дела, перед новыми делами, которая все хочет знать, все понять и все вобрать в себя. Запоздно отец зашел к дочери, чтобы переспросить, — итак, мол, отказавшись от концессий и неравных договоров нотою Карахана в двадцатом году, СССР не отказался от КВЖД? Почему? — Дочь сказала:

— Папка, уходи!

— Ты что пишешь? — спросил отец.

— Дневник. Уходи!..

Молодость!.. И тридцатого мая был праздник окончания десятилетки, праздник урожая новых людей, нового поколения, праздник созидания людей, ухода из детства в юность и в жизнь, в новое знание и в новую работу. Юноши и девушки пришли на праздник нарядные и торжественные, вместе с учителями и родителями, также нарядными и торжественными, — на этот праздник друзей и дружбы советских поколений. Ученики, учителя и родители ели пирог с мясом, с рисом, сладкие, пили чай — перед жизнью, когда пироги были общим караваем нашей советской судьбы. И тридцатого мая ввечеру над Москвою была проливная, громовая, веселая гроза.

— Да, новое поколение, для которого Октябрь, 1917 год — рубеж рождения, история, бытие, в которое оно, это новое поколение, не было.

В одиночестве и в ночи чаще всего люди думают не словами, но ощущениями. Так, ощущениями, Арбеков думал о своей молодости и о своих детях. Наверно, если б кто-нибудь окликнул его и спросил, о чем он думает, он не знал бы своих мыслей.

Опять над домом рассыпался гром. Пел соловей. Пахнули ландыши — молодостью, свежестью, соловьями.

На самом деле, за жизнью мы не замечаем, что все, все изменилось в нашей стране так же, как учебы, — моя и сына.

Светало. Совершенно багровым под грозовыми тучами был восток. На столе в полумраке стояли два кувшина с цветами калины и ландышей. Калина пах-

нула тоньше, бессильнее ландышей. Калина цветет гроздью цветов. На каждой грозди, по краям ее — заметные, красивые, белые, звездообразные цветы, а за ними в середине грозди — другие цветы, мелкие, незаметные, далеко вперед выкинувшие тычинки и пестик. Если принюхаться внимательно, то окажется, что звездообразные красавицы и незаметные носители тычинок различно пахнут, — запах тычинок едва уловим, и уловим только вблизи. Если присмотреться внимательно, то окажется, что заметные красавицы — бесплодны, только украшение, только приманка, в службе у тех незаметных и тихо пахнущих, которые понесут плод. Внимательнейше Сергей Иванович рассматривал цветы калины, — оказалось, что запах незаметней и благостней, и глубже, и благородней. Сергей Иванович слушал грозу. Соловей не слышал грозы, он пел, не замечая грома...

Калина принесет по осени горький плод. От тех лет, когда Арбеков кончил реальное училище, прошла громадная жизнь. В уездном детстве Арбеков помнил феодальную Россию, российских проселков и приставов, помещиков и крестьян, трехполья и триединого Господа Бога. Университет совпадал с расцветом Морозовых, Рябушинских и Второвых. Уже за революцией, на земле от Токио до Лос-Анджелеса Арбеков видел, во что вылились бы российские Морозово-Второвы, если бы не было Семнадцатого. Он знал свою страну. Он написал много книг. А за всем этим была жизнь существа, которая не подлежит оглашению, — детство, юность, мужество, впереди — старость. В этой же, не подлежащей оглашению жизни, — любовь и рождение детей. Должно быть, на самом деле в мужской природе есть два времени любовных посевов — весенний и предзакатный. Созрев к весеннему рождению, Арбеков народил старших — дочь и сына. Затем пошло большое десятилетие бездетной, а по существу, и безлюбовной жизни, с женщиной, от которой не нужны были дети. И возникла женщина, которая через год после замужества родила сына, — любовный посев, такой полный, такой — нет других слов — величественный и всезаполняющий, какого не только никогда раньше не было в жизни, но который — непознанный — и не подозре-

вался. Можно было пошутить, что из Москвы в Иваново Сергей Иванович выехал для того, чтобы встретить на ивановском вокзале жену. Он и встретил их с поездом, который приходит в шесть часов утра. Он нес сына на руках от вагона до машины, и он объезжал каждый ухаб, чтобы оберечь сына.

В избе до одури пахло ландышами. Пение соловья походило на ландышевый запах. Рядом с ландышами был кувшин с калиновыми цветами. Сын спал за стеной, в кроватке, которая была привезена из Москвы, привязанной к крыше автомобиля. Отец прошел к сыну. Сын спал, скинув одеяльце, разметавшись, раскинув ручонки, этот маленький кусочек человеческого и отцовского тела. Отец склонился над сыном, потрогал его головку, она была влажной от усердного сна. Сын тихо и ровно дышал. Гремел гром, и шумел дождик. И благость мира, благодарность миру и жизни, величие, простота, красота, сложность, — куда более величественные, красивые и свежие, благостные, чем соловьи, ландыши, калина и гроза, — наполнили сознание и ощущение отца. Это было ощущение — жизни, рождения, любви. Это было полно и полноценно, как жизнь. Это было ощущение ребенка. И ландыши, и соловей, и калина — все это было элементами в ощущении ребенка.

В ИВАНОВЕ АРБЕКОВ С СИНИЦЫНЫМ БЫЛИ НА АЭРОДРОМЕ, А ЗАТЕМ ЕЗДИЛИ С С. П. АГЕЕВЫМ НА БЕЗЫМЯННОЕ ОЗЕРО

Аэродром был полон людей. Сделав несколько кругов над городом, самолет сел. С самолета сошли двадцать семь человек участников полета. Происходил митинг. Самолет поднимал в воздух почетнейших ивановских рабочих. Сергей Иванович был на трибуне.

В Москве однажды этой весной, утром, в доме Сергея Ивановича было волнение. Раньше положенного срока сын просунул голову в комнату отца и прошептал:

— Папа, ты, может, уже не спишь? — все собрались. Ты позвони по телефону Роберту Петровичу или товарищу Дейчу.

— А ветер и облака? — спросил отец.

— Облаков нет, а ветерок небольшой, — ответил сын. — Ветерок, я думаю, обойдется.

— Сейчас позвоню, — сказал отец и позвонил на Тушинский аэродром начальнику аэроклуба Марку Семеновичу Дейчу. Товарищ Дейч сказал, что ветреновато, но лететь можно, — едва ли только удастся отправить в воздух сынишку, маловат еще в его тринадцать лет. В это утро арбековская молодежь с друзьями одаривалась отцом полетами в воздух. Отец в свою очередь испросил эту радость детям у Марка Семеновича Дейча и у Роберта Петровича Эйдемана. Отец сказал сыну, что ему, сыну и главному охотнику до полетов, едва ли удастся летать. Сын присмирел, потух, заверил, что он не так уж и хотел летать, с удовольствием посмотрит, как полетят другие, но по дороге взмолил отца:

— Папа, а может быть, мы заедем к Роберту Петровичу? — может, он позволит мне полетать, если Дейч не разрешает?

Дача Эйдемана была по дороге на Тушинский аэродром. Отец представлял, какие события творятся в мозгах сына, и согрешил — заехал к Эйдеману, чтобы ходатайствовать за сына. Роберт Петрович уклонился от вмешательства в распоряжение товарища Дейча, но убедил после полетов приехать к нему на дачу — делиться впечатлениями, завтракать и играть в волейбол. Летали на К-4. Все же Марк Семенович сжалился над молодым Арбековым и сказал ему:

— Ну, малец, шмыгай в машину!..

Был солнечный день. Детишек по очереди поднимали в воздух и сажали на землю. Дейч и Арбеков сидели на подножке автомобиля, говорили о пустяках. В небе обыденно плавали аэропланы. Прошло звено тяжеловозов. Прошел АНТ-14 — «Правда». С Центрального аэродрома, из-за серебрянoборского леса появился «Максим Горький», набирая высоту, развернулся над Тушином, над головами Дейча и Арбекова и пошел к Москве. Справа и слева рядом с крыльями «Максима» шли два истребителя. Левый стал отделяться, правый пошел на петлю.

— Не нравится мне это фокусничество, ни к чему так близко петлять, — не спеша, разглядывая небо, сказал товарищ Дейч.

И вдруг правый истребитель, вышел из петли, поднявшись над «Максимом», ударил «Максима» в левое плечо. «Максим» вздрогнул и качнулся, точно хотел сбросить с себя истребитель. «Максим» накренился на правое крыло. Ужас пришел не сразу. Было еще ощущение надежды, страстное желание надежды. Над «Максимом» поднялся черный клуб дыма. Все выпало из сознания — небо, другие аэропланы в небе, земля — был только «Максим» — ощущение, от которого надо было делать усилия, чтобы не упасть на землю и не засовывать в землю голову, чтобы не видеть, как это было, чтобы этого не было, чтобы остановить, предотвратить бессмысленность. Это было ощущение ужаса. «Максим» падал, «Максим» ломался в воздухе, разваливаясь на куски. «Максим» падал кусками на землю. Своя собственная жизнь превратилась в нуль. Радость за детей, которые только что прикасались к торжественнейшему, к величественнейшему, сделанному человечеством, к победе над воздухом, которые только что были в воздухе, — радость за детей превратилась в нуль. Бессмысленно гибли человеческий гений, человеческое умение, человеческая воля. На самом деле, свою жизнь можно было бы отдать не задумываясь, если б можно было предотвратить бессмыслицу. «Максим» упал за лес. Время падения выключалось из хода времени, — это могло быть вечностью, но это были секунды. Жесты товарища Дейча стали жестами механизма. Товарищ Дейч садился в свой автомобиль. Лица детей казались чужими лицами. Дети лезли в машину.

Арбеков ощутил движение машины только тогда, когда машина сворачивала к даче Эйдемана. Тогда уже зналось: нет, нет, нет, человеческий гений не побежден, сегодня же, сейчас же надо закладывать нового «Максима», еще лучшего и еще большего, — но пилот, механики, люди?!. бессмыслица, бессмыслица случайности! случайность! бессмыслица!.. люди, люди! милые товарищи!.. Эйдеман, один из командиров авиации, он мог не видеть гибели, он должен знать о ней, — он сейчас же должен действовать, сию же минуту!..

Эйдемана не было дома, он ушел на дачу к соседу. Арбеков кулаком застучал в дверь. Друзья сидели в столовой.

Должно быть, гибель «Максима» была перенесена на лицо Арбекова, потому что люди пошли к Арбекову раньше, чем осознали его слова. Арбеков крикнул:

— Роберт Петрович, сейчас упал «Максим», — пять минут тому назад. Едем! — и повторил: — Сейчас упал, разбился, «Максим»!..

Ощущение ужаса с лица Арбекова перешло на лица людей. Эйдеман стал четок, как Дейч, как механизм. Оказалось, что у Эйдемана нет машины. Арбеков высадил детей, взяв Эйдемана.

И началась гонка, машина бросилась на сосны, на проселок, на шоссе, не видя ни сосен, ни проселка, ни шоссе. По шоссе бежали люди, «Максим» упал, рассыпавшись на несколько кварталов. Механизмы «Максима», основная его часть, упала на дом, развалив крышу и повиснув на доме, завалив его собою. Уже приехали пожарные и приходили красноармейские части. Над бессмыслицей возникала организованность. Пожарные выносили трупы из-под развалин стали и алюминия. Красноармейцы оцепливали место гибели. Красноармейцы строились рядами лицом к развалинам стали и алюминия. Им командовали от времени до времени: «Пять шагов назад!» — красноармейцы пятились, отодвигая стоявших за ними.

На Ивановском аэродроме собралось человек тысяч сто, праздничных, с оркестрами своих фабрик. В толпах было очень весело и дружелюбно. Говорились бодрые речи. «Правда», бывшая свидетельницей гибели «Максима», поднимала в небо почетнейших пролетариев. Арбеков думал о гибели «Максима». После митинга Арбеков с Аггеевым поехал к закату, к сумеркам на озеро, куда ивановские ответственные работники ездят удить рыбу, жечь костры, подслушивать природу, закаты и восходы. Озеро казалось заброшенным, светловодное, пустынное и тихое. К озеру надо ехать по гатям среди дремучего леса. На берегу озера стояли палатки, там жил дед, как это и подобает на берегу пустынного озера, татарин по национальности — по всем видимостям одинокий, как озеро в глухих соснах. У берега на озере лежали моторная лодка да две байдарки. Под соснами — кострище от старого костра. Иваново — город фабрик и пролетариев, один из индустриальнейших русских городов. Аггеев — председатель исполкома Ивановской области, Ивановского совета, который

этой весною праздновал тридцатилетний юбилей. Иваново щетинится в небо фабричными трубами.

(История Ивановского совета рабочих депутатов рассказывается ниже.)

На берегу глухого озера Аггеев отдыхал. Дед был рожден, надо полагать, в лесах — — и во всяком случае, был совершенно лесным жителем. Здесь в лесу, быть может, Аггееву хотелось быть таким же, как дед. Сергей Петрович, сняв пиджак и засучив рукава, сдвинул на воду байдарку, сел на нее, собирался посадить с собою племянника, неловко двинулся, байдарка качнулась, зачерпнула, ноги Сергея Петровича были еще в лодке, но сам он сидел уже в воде, — он спрыгнул в воду и пошел к берегу, очень веселый. У деда нашлись ненадеванные ватные красноармейского покроя штаны. Сергей Петрович надел их и сухой пиджак. Над костром повисли мокрые аггеевские вещи, белье, брюки, туфли. Босой, Сергей Петрович чувствовал себя не только подслушивателем природы, но и участником ее дел. Все сели к костру. Сергею Ивановичу тогда захотелось рассказать, и он рассказал — о гибели «Максима» и о том радостном чувстве, которое у него было днем, на аэродроме, когда он радовался за тех, кто садился в самолет, кто испытывал гордость, соприкасаясь с гением, пославшим в небо не только мысли, но и вещи. Сергей Иванович поймал себя на ощущении, что только сейчас, у озера, рассказывая о «Максиме» и «Правде», — только сейчас он порадовался за своих детей, в час гибели «Максима» бывших над землей.

В июне — заря с зарею сходятся. На озере проходила ночь. От озера поднимался туман. Под бледным небом вода в озере казалась столь же бездонной, как небо. Пролетела меж сосен сова. Сосны стояли неподвижно, отражаясь в воде. Противоположный берег озера ушел в туман.

Человеческие средства передвижения — ноги, свои и лошадиные, если человек сел верхом на лошадь, сани и телега, вагон поезда, пароход, автомобиль, аэроплан, — если представить, что конструкция человеческой работы может быть элементарной, как пешее хождение иль как телега, и может быть сложной, как простота авиамашины, то конструкция аггеевской работы — конструкция самолета. На берегу озера Сергею Петровичу хотелось быть дедом, человеком труда,

как пешее хождение. Самолет — на самом деле сложен главным образом своею гениальной простотой сложнейшего расчета. Самолеты рассчитываются так для того, чтобы избежать смерти, ибо всякая неточность для самолета — смертоносна. Самолеты рассчитываются так, чтобы жизнь побеждала смерть. Гибель «Максима» — случайность. Но до сих пор еще человек, подходя к самолету, думает о смерти. А смерть — конечно, она совершенно закономерна, каждый живущий умрет и знает об этом, — но каждый живущий воспринимает свою смерть — случайностью.

Смерть! — мысли о ней хранятся, не подлежа оглашению, там же, где хранятся любовь и рождение детей, и у каждого человечка бывает смертное беспокойство.

Мысли о смерти иной раз надолго оставляют человека; иной раз они идут тучами, полчищами; иной раз нападают они партизанами. Смертные мысли приходят в час рассуждений о прожитом, человек вправе сопоставлять гулкую свою молодость и то, что надумано было в молодости, с тем, что сталось, что сделано. Магнит в десятилетках, в физических кабинетах вскрывает законы творчества. Когда у писателя возникает образ, опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают закономерные формы. И в смертные мысли подсчетов заказанного зарею гулкой юности и сделанного ко второму любовному посеву в смертную ночь Сергей Иванович записал в свои черновики заготовку рассказа:

«В поезде, за час до станции, человек плотно поел. Поезд уходил в тайгу, на север, за окном медленно зеленели сумерки, которые будут зеленеть всю ночь. За столом сидел широкоплечий человек. Вид наголо бритых, если им за пятьдесят, — бритые затылки, скулы, губы, — всегда чуть-чуть бесстыден. Такие люди борются с неряшливостью старости, скрывают старость, возраст их стерт, и у них всегда подчеркнута воля. Человек накругло был брит. Зеленые глаза смотрели сосредоточенностью и собранной волей. Он был одет в кожаную куртку и в смазные сапоги. К станции поезд подошел в вечер. На станцию человек вышел с портфелем в руках, без вещей, хотя в поезде он ехал полторы тысячи километров. Северная безвестная станцийка легла на десятки и даже сотни километров от жилых

мест, в тайге и в болотах. На станции человек не задержался. Он пошел за переезд в зеленую ночь и в тайгу. Сразу за станцией тайга приняла человека в свои запахи, шумы и движения, которым было тысячелетье. Сразу за шпалами над головой потянули вальдшнепы. Сразу лес зачихал тетеревиными токами, направо, налево, впереди. Страшная и огромная, между елей пролетела сова, испугалась, приняв, должно быть, человека за рысь, свернула круто и прокричала, как плачут дети и как воют в субтропиках шакалы. Человек вынул компас и пошел прямо от железнодорожных шпал, туда, где не было никакого жилья, где были одни болота. Весенний лес пахнул прелью, хвоей, грибами, влагой, сложными и очень многими запахами. Весенняя ночь светилась зеленым светом пустого неба. Через час человек уже не шел, но полз, пробираясь сквозь спутанные сучья, выпутываясь из паутины и прошлогоднего вереска. Ель, лиственница, бересклет, можжевельник, низкорослая береза, ольшаник перепутали себя веками и непролазно. Старые ели и лиственницы умирали здесь же, повисшие на соседях. Так полз человек час, два, три, в тысячелетней ночи, не тронутой тысячелетьями, в месте жительства лосей и медведей. Тайга начала редеть, и ели стали ниже. Земля закачалась под ногами. На полянах небо отражалось в студеных, страшных, неподвижных, пахнущих льдом болотных раменьях. Их становилось все больше, этих оконцев. Мертвые ели сваливались в них, засосанные ка́чающейся землей. Человек сел на одну такую мертвую ель, корни которой лежали на земле, но мертвый ствол опустился в воду. Человек собрал сухую морошку и клюкву, развел костер. Человек внимательно просматривал свои карманы и свой портфель, книгу, развернутую на половине, бумажник, паспорт, партийный билет. И человек медленно сжигал их на костре: портфель, книгу, бумажник, деньги, паспорт, партбилет. Человек сладко выкурил папиросу и бросил в костер папиросную пачку. Когда костер прогорел, человек бросил в воду пепел и обгоревшую землю прикрыл травой. С револьвером в руке человек пошел по стволу мертвой ели, держась за сучья, на середину раменья. Человек выстрелил себе в висок. Секунду, две человеческое тело было неподвижно, затем оно рухнуло навзничь, на спину. Плеснулась вода,

качнулось в воде небо. Через минуту вода была по-прежнему неподвижна, отражала белесое небо и пахнула льдом. На секунду, на две, на пять после выстрела стихли лесные шумы, а затем, в пяти шагах от того места, где горел костер, сладостно заточился глухарь. Пришел уже рассвет. Из елей вышел лось и пошел к раменью — пить.

В Москве были вскрыты письма.

«Когда изнашивается токарный станок, его выбрасывают за ненадобностью иль посылают в мартен на новое литье. Не буду лицемерить, — человеческая старость — это износ. Не буду лицемерить, — мне много приходилось хоронить и друзей, и врагов, и братьев, — и это было лицемерно, скучно, никому не нужно. Труп человека — это не человек. Жалко человека, живого человека, а труп — всегда вызывает брезгливость. Я уже стар, я плохо работаю, мне отвратительно думать, что я буду еще более бессильным, буду глупеть, как глупеют старики. Мне стыдно думать, что я доставлю моим друзьям такую неприличную заботу, когда они должны будут отрываться от своих дел, чувствовать себя актерами в почетном карауле, скучать за закономерной фальшью похоронных речей, брезговать присутствием трупа. Никому не нужно! и никак не нужно мне. Человек — общественное достояние, конечно. Его жизнь принадлежит классу, партии, детям. Но дело каждого человека также быть джентльменом. Когда сам человек чувствует, что пружина его жизненной энергии размотана, что баланс его дел и жизненной значимости для общества пассивен, он вправе распорядиться самим собой. Это не малодушие. Это — воля и сознание того, что не жизнь командует мною, но я командую жизнью. У меня нет детей, и давно уже умерли мои братья. Я болен, и все лучшее, что я мог сделать, я сделал уже. Товарищи, я знаю, что такое конспирация, — труп мой уничтожен мною так, чтобы его никогда никто не нашел, и искать его не следует. Дорогу молодости, бодрости, здоровью!»

Ивановские ответственные работники, люди дел, сконструированных, как самолет, ездили отдыхать к озеру, которое Сергей Иванович никогда не видел раньше, но которое напоминало ему то раменье, где Арбеков хоронил свои смертные мысли.

В жизни все было не так, как в рассказе. Магнит физических свойств образа увел рассказ от арбековской реальности в безымянное раменье.

Десятилетие после первого любовного посева бездетной, а по существу, и безлюбовной жизни с женщиной, от которой не нужны были дети, привело Арбекова ко дню, когда во всем доме он остался один. Ему показалось, что он один во всем мире. Он запомнил навсегда тот вечер. Была весна, сумерки. Он возился в саду, копая грядки. Затем он обошел все двери, чего никогда раньше ему не приходилось делать, проверил, заперты ли, разделся и лег в большой, пустой и разоренной комнате. Он взял книгу и бросил ее. Он потушил свет. Он ощутил, что он совершенно один в мире. Он не думал о своих первых детях. Ему показалось, что его дом покрылся громадным слоем пыли. В пыли он увидел свои книги, написанные им за жизнь. В пыли он увидел свой мир и все, пройденное им. Он думал о пыльном прожитом. Оно казалось пустым. Нет, он никак не думал о том, что смерть может, а тем паче должна прийти в эту ночь. Жизнь впереди была очень большой, но смерть — ничто, небытие, всяческое неощущение, — была нестрашной. Она ощутилась домашней паршивой собакой, которую можно пустить в дом, но можно и выгнать из дома. Жизнь была сильней смерти, со смертью можно было играть на самом деле, как кошка с мышью. Жизнь и смерть казались лежащими в жилетном кармане. Дом же по-прежнему пребывал в пыли, в громадных слоях пыли. В доме, в комнатах залегло среднеазиатское удушье. Он вновь ощутил, что он совершенно один в мире. Ему стало очень скучно, смертельно скучно. Дом был пуст и безмолвен. Дом, дела, ерунда бытовых мелочей путали свои необходимости. Все казалось скучным до безразличия и до бессилия. Но Сергей Иванович был писателем. Заработал магнит, Сергей Иванович поднялся с постели, зажег свет, сел к столу и записал заготовку для рассказа о человеке, хоронящем себя в тайге и оставившем письма о праве индивидуума на смерть. Раза два над бумагой Сергей Иванович говорил вслух:

— Нет, товарищи, я хозяин вещей и дел, но не дела хозяйничают мною!

Рассказ был кончен, но ночь еще не закончилась. Сергей Иванович вновь лег. Смерть — это ничто, пусто-

та. Жизнь всегда казалась Арбекову деланием. Если у Сергея Ивановича проходил день без положенного количества прочитанных страниц и написанных строчек, пусть даже веселый день, — такой день ощущался Сергеем Ивановичем как ворованный. Быть может, Арбеков чувствовал долг перед жизнью, который он должен был — так ощущал он — отрабатывать своими страницами.

— Ну, а если, — не работать, на самом деле отдать себя на слом? — смерть — это ничто, пустота, неощущение, да, так. Но, вот, — жить только для того, чтобы только видеть? — знать не себя, не дом, а...

Арбеков услышал гулы, социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину в первую очередь, — никак не похожую на болотные топи и на безымянную станцию, — родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории, переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии, — судьбы миллионов человеческих индивидуальностей, в коих судьба Сергея Ивановича меньше, чем икринка в весенний нерест, — судьбы миллионов, прошедших невероятные карьеры, нарывших карьеры для домен и для новых рек, перестраивающих труд, природу, историю. Арбеков ощутил путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно.

Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху, — даже только видеть? — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком эпохи?!

А дом, а книги, покрывшиеся пылью в эту ночь среднеазиатского удушья комнат и ночи, — разве они не были материалом для работы каменщика? — разве они не могут работать дальше, разве нельзя написать книги так, как они нужны эпохе? — работал новый, другой магнит гражданина коммуниста, человека класса из своей страны.

Рассказ о гиблых болотах был выкинут.

И ночь уже прошла.

Сергей Иванович заснул. В сорок лет у людей появляются ощущения, которых не было в двадцать лет. Не

случайно у древних государством правили старцы, а вожди народов всегда становились вождями за сорок лет. Для Арбекова ж решающей была эпоха та, где люди в двадцать лет были и героями и вождями. В Коломне у Арбекова были дети весеннего посева. За месяц до этой ночи, в театре, Сергей Иванович встретил девушку.

Любовь!.. она больше и всеобъемлющей образа! — и необязательны утверждения о первой, о последней любовях, — та любовь проходит основной в человеческой жизни, которая отдает и берет все любовные права, сопрягая человека, созвучание людей, соответствие людей — обязательно — с рождением детишек, — без детей не может быть любви даже у прекраснейших двоих, одинаково поднявших голову. Но и тогда, когда есть дети от женщины (или от мужчины), в которых не прозвучал, не дозвучал человек, тогда также нет любви!

Равно как из тысячи опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает то, что созвучит сознанию и ощущениям писателя, — так из тысяч женщин, проходивших мимо Сергея Ивановича, прозвучала полной любовью девушка, — тогда в театре, когда узналось о ней, что через три дня она уезжает на родину, на лето, в горы.

Утром, проснувшись, Сергей Иванович знал, что у него тысячи известных ему друзей в СССР и во всем мире, — у него были миллионы друзей, ему неизвестных, также в мире и в СССР. Он чувствовал себя очень крепко и хорошо поставленным среди человеческих миллионов, которым он был обязан и которые имели решающее право на его жизнь. В мире было очень много солнца, все заполнялось солнцем. В то утро Сергей Иванович звонил по телефону, разыскивая маляров, чтобы они перекрашивали окна и двери и переклеивали стены в доме. То утро вытряхивало из дома десятилетие бездетной, а по существу, и безлюбовной жизни, закончившееся пустым домом, когда Сергею Ивановичу казалось, что он один во всем мире. Оно уничтожалось неверностью всего бездетного десятилетия. Отзвонив по телефону о малярах, Сергей Иванович возился с книгами. Он знал, что он в мире и с миром. К вечеру приехал Яков Андреевич. Холостяки устроили холостой обед. Мясо, поджаренное кустарным образом, —

много мяса, много масла и много лука, — было очень вкусно. Дом Сергея Ивановича пустовал потому, что он только что покончил с разводом. Яков Андреевич пребывал в бракоразводном состоянии. Обедали, как гастрономы, и разговаривали о делах Якова Андреевича, как бракоразводные знатоки.

Жил Яков Андреевич с женою тринадцать лет и жил прохладно, автоделом занятый больше, чем женою. Приехал однажды Яков Андреевич домой с работы, — звонок, пришел человек, отрекомендовался: «Бедросов, будущий муж вашей бывшей жены». Дня три до этого жена Якова Андреевича пропадала из дома, разводила «семейный купорос», как определял Яков Андреевич. Под Яковом Андреевичем стул поехал, — какой муж, какой жены? — «Вашей жены Клавдии Ивановны, — мы с ней работаем в одном учреждении и учимся в одном институте, — я имею твердые взгляды на брак, быть в положении любовника считаю нечестным и пришел объясниться с вами!» — Наутро Яков Андреевич ездил с Клавдией Ивановной в загс, перешел в холостое состояние. Протекла неделя, другая, Клавдия Ивановна — дома, молчит, не учится и штопает чулки, и вдруг: «Это что же такое, почему ты все время отмалчиваешься? — когда же мы будем делить вещи и ты предоставишь мне новую квартиру!» — стул под Яковом Андреевичем опять поехал, Яков Андреевич сказал: «Что касается вещей, бери, пожалуйста, свои вещи, — а насчет квартиры — заботься сама и мужа твоего попроси, я своими делами занят, — поезжай под крышу нового мужа». Вещи жена растащила по разным углам, но уехать никуда не уехала, и дома не ночевала. И вдруг опять «купорос»: «Это что же такое, мне не дают квартиры, я должна жить на два дома, я не успеваю учиться, меня из института выгонят, сделали уже предупреждение!» — Яков Андреевич руками разводил: «Мамаша, милый друг, в какой это морали написано, что я виноват в твоей учебе в силу того, что ты не можешь согласовать супружеские наслаждения с учебой?» Яков Андреевич звонил Бедросову, как серьезному человеку, назначил в ресторане свидание. Встретились, говорили о том, что-де полтора уже месяца волокита идет, пора кончать, — если, дескать, у Бедросова на самом деле одна комната и нет места для

жены, то надо сообща подумать, по-мужски, и надо сообща квартиру искать. Бедросов говорил: «Я ей двадцать вариантов предлагал, и не так уж плоха моя жилплощадь, но она — она, с одной стороны, считает, что у нее нет основания обогащать вас квартирным имуществом, на половину которого она имеет право на основании статьи десятой семейного кодекса, а с другой стороны — она не хочет прийти ко мне бедной родственницей». Яков Андреевич сказал Бедросову: «Вы же мужчина, вы же муж, ведь ваш медовый месяц на скандалах построен, на недоверии, — повлияйте на жену, как муж!» Бедросов дал честное слово, обещался разговаривать с женой категорически, чтобы она переезжала к нему в его комнату. Распрощались. Со свидания Яков Андреевич заехал к Сергею Ивановичу, передать о совещании, посоветоваться, — уехал домой и через полчаса опять вернулся, обескураженный. Рассказал о событии, — приехал, домработница в страхе, — Клавдия Ивановна пришла в неурочное время и расплакалась навзрыд, схватила скатерть на столе и сдернула ее на пол, графин разбила, сама упала на диван и била по дивану пятками, потом прижималась ко всем стенам, плакала уже потише и причитала: «Обоих, обоих, обоих мужей у меня отняли!..» Это домработница Якову Андреевичу рассказала в прихожей. Яков Андреевич вошел в комнату. Действительно, обеденный стол без скатерти, жена сидит за письменным столом, пишет, лицо ясное, покойное и злое, — глянула на Якова Андреевича и обдала льдом: «Рады? добились своего? — можете поздравить! — с Бедросовым я расхожусь и никуда отсюда не уеду!» Затем события переселились в народный суд.

Яков Андреевич весело рассуждал о том, что, мол, как, мол, это так получается? — жили люди тринадцать лет вместе, было и хорошее, было и плохое, — плохого старались не замечать и не помнить, — а тут в двадцать четыре часа все полетело к чертовой матери и уж ничего хорошего не осталось, одно стервячество. Сергей Иванович хохотал, слушая Якова Андреевича. Он придумал историю, от которой ему стало вдвойне весело, — он рассказал Якову Андреевичу трагическим голосом:

— В пять часов дня, счетом от Гринвича, на всех долготах, на всем земном шаре, в городах и вообще во всех

местах человеческой оседлости, в полях и в лесах, на пароходах, в поездах и на автомобилях, на заводах, в отелях, министерских правительственных квартирах, — всюду, где были люди, — все жены обратились к мужьям с однлю и тою же речью, — почти все жены за промилльными исключениями, — жены были тихи, ліричны, внимательны, но действовали, как лунатики, хотя глаза их были ясны, — они сказали, примерно, следующее: «Поль, Пауль, Пабло, Паоло, Сидор, Изидор, Отто-кичи, Ван-ли, Абдуррахим», — на всех языках, все мужские имена мира, — «я должна сказать тебе правду, которую я скрывала от тебя. Я была не верна тебе. Я не могу больше скрывать... еще девушкой, это я скрыла от тебя перед замужеством... ты работал, твой друг, который живет за углом... ты косил сено... мы были в компании, помнишь, наш общий знакомый, мы танцевали и вышли на воздух проветриться, в тот момент ты спорил о кризисе... я была на отдыхе...» — признания женщин варьировались, конечно, тысячами сюжетов, тысячекратно превосходящих сто сюжетов Боккаччио. Земля, как известно, вращается вокруг своей оси двадцать четыре часа. Счетом от Гринвича каждую минуту в новых городах и странах наступало пять часов дня. Двадцать минут шестого по земному шару взрывом отчаянного негодования понеслись мужские крики: «Мерзость! позор! предательство! — и это ты, ты, ты, которую я так боготворил, которой я отдал все, что мог?! — и ты так предала меня, так издевалась надо мною, так предпочла меня этому ничтожеству из-за угла?! — и так позорно, так несложно, как какое-нибудь животное?! — мерзость! развод!.. и этот мерзавец, который называл меня другом, — я объяснюсь с ним, я докажу ему, он негодяй, я буду драться!..» — Половина шестого на земле творилось невероятнейшее. Телеграф смолк. Трамваи, поезда и пароходы остановились. Аэропланы сели на землю. Фабрики, заводы, министерские кабинеты опустели, не заперты, и воровства не было. Лифты, улицы, площади, дороги вымерли. В странах на дальнем западе от Гринвича, где пяти часов еще не наступало, были отданы приказы по армиям, по военным флотам готовиться к отражению противника. Экстренные газетные выпуски домышляли: — «Новая небывалая чума!» — «война!» — «радиосвязь с Англией, Францией, Испанией и Португалией порвана!» — «зловещее молчание Запада расцени-

вается в японских военных кругах...» — «небывалая доселе в мире чума перекинулась на Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чика...» — В шесть часов от Гринвича вдруг улицы наполнились мужчинами. Мужской мир одет был как попало, иные без пиджаков, почти все, министры и крестьяне, без шляп, с самыми несуразными предметами, зажатыми в кулаках. Без всякого соблюдения сигнальных огней, которые, впрочем, бездействовали, по улицам со скоростью двухсот километров мчали автомобили одиноких водителей. Вообще все мчалось. Пешеходы, не видя и толкая друг друга, никак не извинялись, шли на рысях. Двери домов, кабинетов, спален были открыты настежь. Двери кабаков были открыты настежь, и там до десяти часов ночи никого не было. Шедший за угол объясняться с другом встретил друга на углу. Два друга схватили друг друга за плечи, и оба воскликнули очень свирепо, категорически, не терпя возражений, одни и те же слова: «Послушайте, милостивый государь! вы — бывший мой друг, — я все знаю о вашем поведении! — моя жена...» Два друга долго не понимали, что они говорят. Два друга долго не понимали, что они говорят. Тогда друзья стали разглядывать друг друга, точно впервые распознавали. Руки их опустились. Глаза их стали пустыми, точно они не имели чистой совести. И глаза их стали совершенно одинаковы. Они молчали. Молча, не попрощавшись, с видом, точно они не узнали друг друга и никогда не знали, они побежали в разные стороны. Несколько шагов они бежали, точно на ногах их были гири. Затем они сбросили эти гири и помчали облегченно. Часов в семь вечера, хотя это было идиотски несуразное время, толпы мужчин ломали двери загсов, духовных консисторий, нотариальных контор, мэрий — в поисках экстренного развода. Часам к десяти мужчинами начали наполняться кабаки и безмолвно открылись двери винных лавок. Ни продавцов в лавках, ни кабатчиков не было. Посетители сами лазали за стойки, наливали стаканы и кружки, презрительно бросали на прилавки франки, шиллинги, песеты, доллары, даяны, рупии, лиры, марки, драхмы, кроны. Ночью, конечно, никто не спал. Часам к пяти утра, к рассвету мужья допрашивали жен, требуя психологических объяснений, психоаналитических оправданий измены, предательства, лжи, — и мужья трагически хватались за головы, прислонялись к стенам, рвали волосы, грозя револьверами самим себе и женам.

Следует, однако, отметить, что ни убийств, ни самоубийств в ту ночь на земном шаре не произошло ни одного. Ни кофе, ни чай, совершенно естественно, в то утро не кипятились, равно как не было и никаких работ. Допросив психологически жен, мужское человечество погрузилось в самое себя, каждый индивидуум в отдельности. Можно было предположить, что социальная связь, равно как и связь времен, распались. Мужское человечество от измен жен, а также с перепоя и от бессонницы, наматывало на головы мокрые полотенца и стонало зубною болью. Земной шар вращался вокруг своей оси. И ровно через двадцать четыре часа от начала всемирно-человеческого катаклизма, то есть опять-таки в пять часов, произошел второй катаклизм. С ясными глазами, пусть эти глаза были красны от перепоя и от бессонницы, тихими голосами заговорили мужчины: «Мария, Мари, Мэри, Тэкла, Фекла, Тореко, Фатима», — на всех языках все женские имена мира, — «и я должен сказать тебе правду... ты же понимаешь, что количество женских измен на земном шаре арифметически равно количеству мужских измен, так как женщины изменяют с мужчинами... Еще юношей, я это скрыл от тебя перед браком...» — повторилось то же, что было за сутки до этого с мужчинами, с небольшими отклонениями. В основном женщины отличались тем, что если мужчины все же хотели углубиться в себя и даже стремились к одиночеству, то женщины, наговорив неприятностей подругам, устремлялись к домам и квартирам своих матерей или ехали к другим женщинам, с которыми их мужья им не изменяли. Женщины стремились кооперироваться. Женщины не требовали от мужей психоаналитических экзерсисов, но, тем не менее, они не спали и не давали спать мужьям. Мир не спал вторые сутки. На третьи ж сутки земной шар заснул. Спали все, спали всюду в городах, в полях и лесах, на пароходах, в поездах и автомобилях, в прихожих, в спальнях, на постелях, на полу, на траве, даже на чердачном бетоне. Спали упоенно и проснулись отдохнувшими. Мужья взглянули на жен, жены глянули на мужей.Те и другие отвернулись друг от друга смущенно, но не злобно. Человек из-за угла быстро оделся, чтобы идти на работу. Он спустился на улицу. На углу он встретил друга из-за угла. Оба они на момент стали вкопанные — и они пошли друг другу навстречу, добрейше приподняв шляпы. Они хитро улыбались. Они сказали

друг другу одно и то же: «Не правда ли, человечество вступило в новую эру морали?!» На углу уже продавался экстренный выпуск газеты. Литераторы, философы и моралисты дебатировали тему о новой эре. Вечерние выпуски газет были наполнены сенсационнейшим сообщением и печатали портрет французской женщины-гипнотизера, которая своими гипнотическими талантами учинила мировой катаклизм. На месте передовиц печаталось интервью с этой француженкой: «...великий ученый, эта женщина-гипнотизер, человек гениальных способностей, еще молодая и достаточно красивая женщина, грандиозным напряжением воли заставила мужское и женское человечество выслушать и рассказать друг другу сексуальную правду, в твердом убеждении того, что знание этой голой правды перестроит человеческую мораль, уничтожит инстинкт ревности, отметет пережитки права собственности в любви, убьет ложное сексуальное самолюбие и принесет человечеству счастье...»

Яков Андреевич слушал рассказ Сергея Ивановича и хохотал от самого чистого сердца. Когда Сергей Иванович закончил рассказывать, Яков Андреевич сказал, хохоча:

— А на четвертый день были еще два сообщения, обоснованные учеными лицами. Во-первых, о том, что эта гипнотизерша произвела всемирную чистку со зла на мужа, который ей наставлял рога. А во-вторых, в вечернем выпуске добавили, что эта гипнотизерша, взволнованная всемирной славой, поехала отдохнуть в Швейцарию, а там на нее напали фашисты и убили в наказание за те муки, которые они пережили со своими национальными женами!..

Яков Андреевич и Сергей Иванович хохотали веселейше — каждый над самим собой.

А через день самолет нес Сергея Ивановича на Харьков, на донской Ростов, на Минеральные Воды, на Махакалу, на Баку, на Тифлис. В Тифлисе надо было узнать адрес девушки, которая магнитом образа всей жизни прозвучала в московском театре. Автомобиль пошел на перевал по Военно-Грузинской дороге. С Арбековым ехали Тициан Табидзе и Шенгелая. С вечера в ауле Коби Шенгелая заказал коней. Ночевали на станции Казбек — на перевале Казбек, около горы Казбек, в доме, где жили феодалы Казбеки, один из коих, Александр Казбеки, живший в середине XIX века, был большим

грузинским писателем. Знойный день закончился на перевале морозом. Гора Казбек на рассвете, открытая от облаков, в вечном снеге, стояла не дальше чем в километре. На рассвете автомобиль отвез Арбекова и Шенгелая до аула Коби, — Тициан, легендарный тамада, остался на станции Казбек, чтобы добыть барашка и приготовить к вечеру шашлык и пир. В Коби Арбеков и Шенгелая пересели на коней. В Коби разветвляется Терек, и два Терека спорят между собою за название Большого и Малого. Один из Тереков уходит в ущелье Трусо и меж скал подбирается к ледникам. Солнце заполнило мир. Кони пошли в ущелье вдоль Терека, под скалами и над Тереком, почти до самых снегов. Громады скал висели справа и слева. Солнце жгло мир! Небо было рядом с конями и с горами. Терек падал с порога на порог. В иных местах пороги поседели сталактитами минералов, вынесенных из горных недр, растворенных Тереком и вновь окаменевших. У нарзанных ключей, вытекавших из расщелин, лежали турьи и бараньи рога, чтобы прохожий мог напиться. В сжигающем солнце кипящий холод нарзана, пахнущий водородом, был благостен. За шумом Терека, на громадных высотах, почти у ледников пространства сковывала космическая тишина. Синий свет высот путал пространства, когда Казбек на самом деле казался рядом. В Трусо лежала первобытность. Кони шли иной раз по тропам, когда одно колено сидящего на лошади чертило скалу, а за другим коленом Терек падал в отвес. На скалах висели редкие аулы, оставшиеся от первобытности, где жилье хозяйственной, она же родовая семейная, единицы было не только жильем и бараньим загоном, но и крепостью, очень напоминавшей Арбекову поселки североамериканских индейцев, где со двора на двор переходят по переносным лестницам, где обязательно есть потайные места и ходы, где крыша одной сакли является террасой для другой, где вокруг обведены глинобитные с камнем стены, над которыми поднимаются высокая башня, и зернохранилище, и крепость в первобытных войнах разбоя и родовой кровной мести, и месторождение легенд, и убежище от пожара. Шенгелая и Арбеков приехали в аул, разместившийся под самыми ледниками, около снегов. Космический простор света и космическая тишина полегли над аулом. Ее, ради которой они приехали, не

было в ауле, она ушла на ту сторону ледника в горы, заготовлять дрова. За нею помчался верхом без седла и босой подпасок. С крыши сакли, где лежали для отдыха и в ожидании Арбеков и Шенгелая, видны были истоки Терека, вытекающие из-под снегов, и видны были долины зеленых трав, откосы и обрывы, родина баранты. Над аулом высились башни. В ауле было пусто, люди ушли на пастбища и на поля, на тощие ячменные лоскутья полей, повисших по скалам. Столетний старик, помнивший Ермолова, повел в подземелье своего клана; подземные ходы шли к аульной площади, во внутренний двор и под башню; по кварцитовым ступенькам Сергей Иванович поднялся на вершину башни; он был один в воздухе и тишине; солнце выжигало аул. Под аулом, на той стороне реки, из леса со склона горы появился всадник. Он вброд переехал реку, очень осторожно, и карьером, точно лошадь стлалась по земле, помчал к аулу. По ступенькам улицы аула всадник ехал шагом, гордо сидя на неоседланной лошади. Это была она. Она была боса. Ее руки, лицо и босые ноги потемнели от загара, как оливковое масло. Она не узнала Сергея Ивановича. Она долго не выходила из сакли, переодеваясь. Часы шли к закату. Шенгелая и Арбеков сказали ей, что они приехали за нею, что на Казбеке Тициан Табидзе добывает барашка, что кони готовы и надо сейчас же ехать, чтобы не заморозиться и не заморозить шофера в Коби. До Коби было тридцать километров. Она собралась. Выехав из аула, они помчали карьером. Шенгелая ускакал далеко вперед. Но ночь обогнала коней. Стемнело сразу в этой полуденной стране, как Пушкин и Лермонтов называли Кавказ. И тогда прогремел гром, точно горный обвал. Гроза была далеко, горы долго по скалам кидались эхом, и эхо повторяло громы. Шенгелая повернул, подъехал к Арбекову. Он остановил коня, прислушиваясь к горам, горец.

— Надо поспешать, — сказал он, — будет гроза, внизу пойдут потоки, поднимется Терек, не доберемся до Коби, могут быть обвалы.

Сергей Иванович сидел в седле хуже и ее, и Шенгелая. Шенгелая опять ускакал вперед. Кони ее и Арбекова шли рядом, стремена стукались иной раз друг о друга, звякая. Сергей Иванович заметил, — на отвесных тропинках ее конь всегда шел крайним к обрыву. Кони спешили. Но гроза обогнала коней. Опять греме-

ли громы и громом кидались горы. И полыхнула молния. Арбеков это видел впервые в жизни, — молния блеснула не над ним, но под ним. Гроза была внизу. Они были над грозой. Ее стремя звякнуло о стремя Арбекова. Сергей Иванович протянул руку во мрак и коснулся ее плеча. В кромешном мраке конь Сергея Ивановича наехал на круп коня Шенгелая. Шенгелая любовался грозой. Внизу метались молнии. Фосфорический свет и мрак внизу раскладывались громами грома и эха. Казалось, что горы кидаются скалами.

— На Военно-Грузинской сейчас ливень, — сказал Шенгелая, — размоет дороги.

Над горами вверху в небе горели звезды. Мороз разреженного воздуха подбирался к ребрам.

Над грозою, у горных вершин люди могли думать о том, что они в космосе.

Гроза была внизу. Лошади шли шагом. В отсветах молний вскоре направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх, от Военно-Грузинской к ледникам, к Казбеку поползли облака. Они спешили. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долин. Их становилось все больше и больше. Они прятали в себя коней и горы. И вдруг рядом, в десяти шагах, разорвав тучи так, что лошади прянули друг к другу, сжав колени ее и Арбекова, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет, и судорога света ударила в скалу. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалы. Казалось, что скалы падают в звуки. Через секунду новая грянула молния, разорвавшись громом. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже над головой.

Гром падал сверху. Под тучами падали дождевые потоки — и с неба, и с гор. Было по-земному душно. Из космического затучья люди возвращались на землю. Сергей Иванович не запомнил, когда он взял в свою руку ее руку. Под ливнем они подъезжали к Коби. Время уходило в полночь. Автомобиль не дождался их и, убоявшись дорожных размывов, ушел ночевать на Казбек. Пастушечья сакля, где спали пастух и овчарки и где пахло овцами, — стала ночлегом ее, Шенгелая и

Арбекова. Перед сном они ели кобийский сыр. Эта девушка стала женой Сергея Ивановича.

В рассвет, когда пение русских соловьев — также в грозу — пахнуло ландышами, свежестью, бодростью, — в Палехе, в избе, за перегородкой около отца, спал, блаженно разметавшись, его замечательный сын. И не сын, но его мать оказалась тем замечательным магнитом образа всей жизни, не подлежащей оглашению, который сопряг и построил в закономерности, в заполненности и ясности форм все опилки десятилетий арбековской жизни. Именно в силу солнечной этой закономерности с Сергеем Ивановичем стали жить его старшие дети, внеся в дом комсомольство и пионерство. Именно в силу ее в дом, в сердце, в пространство, во время вселился полный образ любви...

И на Кавказе ж тогда, через несколько дней после поездки на перевал, в Тифлисе, в «Ориенталь-отеле», рассвет застал Сергея Ивановича, очень веселого и даже хитроватого, за столом, за бумагой, за рисованием кругов и за цифровыми расчетами. В тот рассвет, еще во сне и в счастье, Сергей Иванович ощутил смерть — холодным, ледяным, бессмысленным ужасом. Все будет цвести, будет светить солнце, новые писатели будут писать новые песни, а вот ты, твое я, твоя судьба, твои мысли и чувства, превратятся в ничто, исчезнут, — этого ледяного ощущения смерти нельзя передать словесными ощущениями. Сергей Иванович проснулся от промозглой бессмыслицы, — и вот, на рубеже сна и яви, когда во сне оставался ужас, в сознании возникла веселая и хитрая радость. Это было изобретательство. Творческий аппарат Арбекова — магнит! — принес в сознание сообщение:

— Есть, товарищ Келлер! — есть способ обойти смерть! — найден!

Сергею Ивановичу показалось, что он делает мировое открытие. Должно быть, лицо Сергея Ивановича было ребячески радостно и хитро. Страх смерти был совершенно забыт. Арбеков сидел за столом и вычерчивал круги.

— «В двадцать четыре часа земной шар оборачивается вокруг своей оси... Как это? — сегодня же надо будет узнать!.. — какого размера радиус земного шара? тогда можно будет высчитать, с какой скоростью не-

сется по пространству, по корде, ну, предположим, Москва. Ведь камешек, привязанный к веревочке и вращаемый рукою мальчишки, имеет свою скорость, — так и Москва, расположенная на конце земного радиуса, так же вращается вокруг земной оси, как камень вокруг руки мальчишки... Надо высчитать. Земля, Москва на земле, обернувшись вокруг земной оси, отсчитывает двадцать четыре часа, — ну, если вчера в двенадцать часов дня было седьмое число, то через двадцать четыре часа в двенадцать часов дня будет восьмое. Надо высчитать скорость вращения Москвы. И надо построить самолет, который мог бы летать любыми скоростями. Если он полетит над Москвою на запад со скоростью полета Москвы вокруг ее корды, он в двадцать четыре часа сделает тот же путь, что и Москва, то есть останется над Москвою. Если он полетит на восток, навстречу Москве, он встретит Москву через двенадцать часов. Это еще не открытие. Но если самолет будет летать вдвое быстрее, чем вращается Москва, то, вылетев сегодня в двенадцать часов дня вместе с Москвою на запад, самолет в двенадцать часов пролетит то же расстояние, что Москва, в двадцать четыре часа. Самолет нагонит Москву с запада через сорок восемь часов. Люди на земле проживут уже двое суток, но люди на самолете проживут за это время только двадцать четыре часа. Если самолет ушел в небо сегодня в двенадцать дня, седьмого числа, люди, прожившие на самолете сутки, сразу попадают в Москву девятого числа. Время, обязательное для живущих в Москве, абсолютное для москвичей, само по себе никак, оказывается, не абсолютно. Ну, а если самолет будет летать в четыре раза быстрее вращения Москвы, люди на самолете за двадцать четыре часа проживут четверо суток жизни москвичей, из седьмого числа в двадцать четыре часа они сразу попадают в одиннадцатое. Если люди вылетят из Москвы первого января тридцать третьего года и пролетят три месяца, они сядут на землю первого января тридцать четвертого года. Ну, а если скорость самолета будет в восемь, в шестнадцать, в тридцать два раза быстрее полета Москвы, — прожив год на таком самолете, люди из сороковых годов двадцатого века — в один год — попадут в сороковые годы века двадцать первого!.. Пределов

нет! — человек может растянуть свою жизнь на тысячелетье! — надо построить только скоростной самолет, и смерть будет обманута. Время не абсолютно. Но, если время не абсолютно, нельзя ли время попятить назад, — черт его знает, — надо рассчитать, — быть может, человек, живущий сейчас, может прожить тысячелетье тогда, когда тифлисские граждане за это же время успеют только помыться и позавтракать перед работой?.. Этому опять же поможет самолет. Как назвать такие самолеты? — стратосферические? — космические? — надо придумать!.. Предположим, самолет, летящий вчетверо быстрее Москвы, полетит на восток, навстречу Москве, вылетев также в двенадцать часов дня. Он встретит Москву через шесть часов. Москвичи в это время на часах будут иметь шесть часов дня, а человек с самолета видел уже и вечер и утро — или, иначе, прожил восемнадцать часов!»...

Вид Сергея Ивановича был очень добродушен и весел, и даже хитроват. Он не был силен в цифрах. Ему казалось, что он делает открытие мировой важности. Он рисовал на бумаге круги, Москву и муху самолета, пытался вспомнить математику, некогда преподаваемую Леонидом Александровичем, — тем самым, который «останься на полчаса без обеда!..» — курил, пил вино, снова рисовал круги, складывал быстроты полетов.

Днем Арбекову сказали, что он додумался до давно уже открытого, до одной из второстепенных функций теории относительности Эйнштейна. Сергей Иванович не расстроился: время не было абсолютным!..

У безымянного озера, рассказав о гибели «Максима», Арбеков вспомнил историю этого своего открытия, веселые часы с карандашом над бумагой. Бессмыслица смерти «Максима», — разве стратосферический, междупланетный самолет, который будет построен через десятилетия, и ясно уже теперь, построен будет в СССР, — стратосферический самолет, перед которым «Максим» окажется почти пещерным пращуром, — разве стратосферический самолет не окажет решающего влияния на судьбы сроков человеческой смерти? — пусть пока еще человек, подходящий к самолету, думает о смерти, люди, погибшие на «Максиме», боролись за преоборение человеческой смерти.

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО В РОССИИ И В МИРЕ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

Нынешняя Ивановская промышленная область охватила земли от Владимира и Киржача до Углича и Пош-Володарска, и Ярославль, и Кострому — до Чухломы и Солигалича — до Макарьева и Семеновского. Каждый названный пункт человеческой оседлости — глава и дел российских, и истории. Дорога от Москвы до Палеха лежит через Владимир и Суздаль на Иваново. Владимир и Суздаль хранят памятники русского двенадцатого века, старейшие русские места. Посредине области протекает Волга. На экономических картах густо покрашены районы фабрично-заводской промышленности, и на первом месте здесь — Иваново, бывшее село Иваново и посад Вознесенский.

26 мая 1935 года было тридцатилетие Ивановского Совета рабочих депутатов.

А тридцать лет и две недели тому назад тогдашний Иваново-Вознесенск, называвшийся тогда русским Манчестером, был, по существу говоря, скопищем нищеты почерневших от ветхости деревянных построек, раскинутых на шестиверстном пространстве. Изредка кое-где из-за нищеты поднимались каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик. Основное же — солома и тес, чумазые избы и избенки, убожество и бедность. Обыкновенное село, — те же кабаки и тот же неизбежный трактир с чудовищами самоваров на вывесках. За избами и за фабриками — пустыри. За пустырями — лес. В городе жили — купцы и пролетарии. Одиннадцати-с-половиной-часовой рабочий день сверхсрочными работами вырастал до пятнадцатичасового. В отбельных отделениях и на плюсовых, где воздух был пропитан ядовитыми газами, рабочие употребляли противоядие — лук. В сушильных отделениях работы производились при температуре шестидесяти градусов, и рабочие работали голыми. У прессовщиков, которым приходилось работать рельефы с помощью крепкой, так называемой «царской» водки, обыкновенно вываливались зубы, — воздух в прессовальных отделениях до такой степени пропитывался парами «царской» водки, что газетная бумага желтела там через два часа, рассыпаясь в труху. На мойных машинах рабочий не

мог работать больше двух лет. На ситце-печатных фабриках рабочий зарабатывал в месяц на круг десять с полтиною рублей, а на ткацких — тринадцать. На зимний сезон расценки снижались. Рабочие штрафовались из жалованья «за дерзкие слова и поступки» и «за дурное поведение», — но «дурным поведением» не считалось, когда молодые работницы полуобязаны были сожительствовать с мастерами, с приказчиками, с сыновьями фабрикантов. При фабриках были фабричные тюрьмы. По древним традициям все имело свои прозвища. Купец-фабрикант Дербенев прозвался — Каустиком. Граверные отделения — травилкой. Рабочие районы — Ямы, Заверты и Рылихи. Сидеть без дела и голодать — работать у Ветрова-Гуляева. В крестьянской избе — в комнате — жило человек по пятнадцати, мужчины и женщины, старые и молодые, семейные и холостые, спали на полатях и на полу вповалку.

Треть ивановского населения умирала от туберкулеза. По государственной статистике, восемьдесят процентов призывавшихся в солдаты уроженцев Иваново-Вознесенска — браковались за хилостью.

Человеческая судьба? — «Зимой и летом он постоянно ходил в полушубке и носил на рыжих сапогах кожаные, начищенные ваксой до блеска галоши. На длинной, выгнутой, как у гуся, шее болтался зеленый с горошком шерстяной платок; концы его, замазанные, с бахромой, служили носовым платком, — прессовщик сморкался в них и вытирал после кашля серые, с коричневыми пятнышками, губы. Прессовщик жадно, с проклятиями трудился. Когда он работал на прессе, лиловая кожа вздувалась на его тонкой шее, лицо багровело, и коричневые крапины на губах бледнели, как лишаи. Кашляя и хрипя, он налегал грудью на пресс, и казалось, что не прессом, а своим маленьким телом выдавливал он на молете рисунок. После праздника однажды он вошел в мастерскую, пошатываясь, уставился на пресс неподвижными глазами и хрипло, ни к кому не обращаясь, сказал: «В Могилев уезжаю. К-ха... Выпьем, дьявол вас побери, на прощанье!» — и впервые рассмеялся, у него были черные редкие зубы. Он попросил подручного сбегать в казенку. Когда тот вернулся с водкой, он снял с рыжего сапога блестящую галошу и, как рюмку, наполнив галошу водкой, обно-

сил всех смолкших граверов. — «Пей — не жалей! — однова помирать!» — Он сорвал зеленый платок с шеи и, по-бабьи взмахивая им над головой, пустился в пляс. Он запел:

Как на Уводи вонючей
Стоит город наш могучий, —
Ивано-Вознесенск!..

Он хотел спеть еще что-то озорное, но в горле забулькало, он зажал рот ладонью. Сквозь дрожащие пальцы, нанизывая на них черные кольца, просочилась и побежала по бороде кровь. Прессовщик умер.

Купцы? — капиталисты? — ясно.

Ивановский совет рабочих депутатов был не только первым в мире советом рабочих депутатов, прообразом советской власти, — но он был также и большевистским советом, ибо ивановские пролетарии чистого вида естественно нашли чистого вида пролетарскую партию.

Семьдесят два дня длилась всеобщая стачка ивановских рабочих, и семьдесят два дня работал Ивановский совет рабочих депутатов. Стачка началась 25 мая. 26 мая заработал Совет и сумел себя поставить в посаде Вознесенском социалистическим государством в Российской — расейской! — империи, — так поставить, что губернатор спрашивал у Совета разрешений на печатание своих приказов и тот же губернатор писал в имперское министерство внутренних дел о нервах — у него-де «развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства».

Что требовали рабочие? (и как отвечали предприниматели?)

1) Восьмичасовой рабочий день (ответ предпринимателей: «перемена произведена не будет, так как вопрос рассматривается в государственном порядке»).

3) Отмена сверхурочных работ («отмены быть не могут»).

5) Минимум заработной платы для обоих полов 20 рублей в месяц («исполнено быть не может»).

7) Отпускать рожениц за две недели до родов и на четыре недели после родов с сохранением заработной платы (...«впредь до издания закона в государственном порядке»).

8) Устроить ясли на фабриках («устройство яслей находим крайне затруднительным»...).

14) Уничтожение обысков («к сожалению, отменены быть не могут. Обыски женщин можем допустить женщинами же»).

22) Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках («не подлежит нашему обсуждению, как явление законного порядка»).

23) Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовки в дела рабочих, иначе за последствия ручаться нельзя («не подлежит нашему обсуждению»).

24) Право свободно собираться и обсуждать свои нужды («...не подлежит нашему обсуждению»).

30) Устройство рабочих касс взаимопомощи («... не подлежит»...).

31) Установление праздников 1 мая и 19 февраля («празднование 19 февраля и 1 мая ввиду большого числа у них православных праздников и царских дней находим неудобным»).

«Начальство и войска не должны вмешиваться»... Когда Совет рабочих депутатов заявил властям, что он существует, власти дали для его заседаний помещение... мещанской управы. Все замечательно в судьбе Ивановского совета, — и то обстоятельство, что в память, в историю социалистического рабочего движения этот Совет ушел — Советом *на Талке.*

Ныне Красная Талка — так называлась река около Иванова — тихая река, протекавшая зелеными лугами мимо высокоствольного соснового бора. Совет заседал под открытым небом, на берегу Талки, на лугу и под красностволыми соснами. Совет заседал вместе со своей армией, с тридцатью тысячами рабочих, став для этих рабочих «вольным социалистическим университетом», как определило министерство внутренних дел. По утрам, когда не переставали еще петь соловьи и уходили ночные туманы, около лесной сторожки, на лужайке, на берегу Талки, были пленумы Совета, где обсуждались дела стачки, события и новости вчерашнего дня и на сегодняшний день. Пленумы всегда заканчивались совместными собраниями с выборщиками, когда депутаты по очереди забирались на дегтярную бочку, прикаченную из города, служившую трибуной, и перед тысячами ста-

чечников отчитывались в делах и в событиях, в переговорах с предпринимателями, в сношениях с властями, в посланиях министру внутренних дел и братьям — рабочим. Здесь принимались и отсюда направлялись делегации. Здесь прочитывалась корреспонденция Совета, приветствия и угрозы. Здесь творился пролетарский суд. Здесь распределялись деньги, полученные от братьев, — по гривеннику на одинокого стачечника и по тридцати копеек на тех, у кого были семьи. Когда эти дела кончались, всегда выступали ораторы, которые говорили обо всем, что хотели знать рабочие. А рабочие хотели знать все, и ораторы говорили — о положении рабочего класса у нас и в мире, о рабочем движении, о социализме, о Марксе и Энгельсе, о Желябове и Вере Фигнер, о Добролюбове и Чернышевском, о Пушкине и Гоголе. Когда ораторы и слушатели утомлялись, ораторы и слушатели пели революционные песни. После песен ораторы говорили вновь, погружая внимание стачечников в их величества. Девяносто третий, Сорок восьмой и Семьдесят первый французские годы, — в пути и веси российской истории, — на большаки и проселки ивановских земель, где фабриканты обросли каменными заборами, не менее крепкими, чем стены суздальских монастырей, а рабочие закапывались в нищету ивановских Ям, Завертий и Рылих, о пауках и мухах, о кулаке, подпертом казачьей нагайкой и троеликим Богом. Это был вольный университет. Проходили май и июнь, когда заря с зарею близки, когда поют соловьи и бродят по ночам туманы. Многие стачечники оставались на Талке по ночам, и тогда под соснами горели огни таборов. В золе костров стачечники жарили картошку, ели ее с крутою солью и — конечно, через туманы в ночи — видели прекрасное будущее, если не для себя, то для своих детей и для своих братьев. Тогда пелись революционные песни, прекрасные песни. На рассвете на Талку приносилась из подпольной типографии революционная газета «Бюллетень Совета рабочих депутатов». И наступал новый день. Это был пролетарский лагерь — табор в лучшее — со своим написанным управлением и со своими традициями, написанными пролетарской дисциплиной, за нарушение которых высшей карой виновник должен был выходить перед товарищами и рассказывать им о своем преступлении.

«Начальство и войска не должны вмешиваться»... Бастовали, кроме ткачей, кустари феодальных «мануфактур», домработницы и прачки, половые ресторанов и трактиров, приказчики, железнодорожники, типографы. К Иванову присоединялись Шуя, Тейково, Кохма. В Совет приходили ходоки из Лежнева, Родников, Орехово-Зуева. Крестьяне Шуйского уезда обратились к Совету с запросом: «Как отобрать землю и земских начальников уничтожить?» Крестьяне Муромского уезда присылали ходоков, чтобы они научились у ивановских рабочих «делать забастовку». Делегат Ивановского совета товарищ Терентий ездил в Кострому организовать стачку костромских рабочих и вывел их, как в Иванове на Талку, на берег речки Костромки. В Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону, в Ярославле собирались деньги для Иванова, и тамошние большевики выпускали прокламации ивановских событий. Совет организовал рабочую милицию и боевые дружины. Совет предложил губернатору, приехавшему на события из Владимира в Иваново, закрыть на время забастовки водочную и винную торговлю, равно как питейные и игорные заведения, — и губернатор закрыл их. Рабочие патрулировали фабрики. Распоряжения Совета были для рабочих законом, — и на самом деле распоряжения губернатора выполнялись только с разрешения Совета. Политические требования Совет посылал министру внутренних дел — через губернатора, и губернатор отсылал их. Город был военным лагерем двух классов, когда каждая сторона ждала случая помериться силами. Фабриканты объединились в «союз». Через губернатора они требовали рассылки паспортов бастующих по их родинам с тем, чтобы вслед за паспортами этапом разошлись бы стачечники, — Совет не позволил провести рассылку паспортов. Фабриканты запретили отпуск продуктов рабочим из фабричных лавок. — Совет отменил это распоряжение. Фабриканты писали и телеграфировали в министерство внутренних дел, — ивановский «кулак» не жалел телеграфных переводов:

«...То количество войска запятая которым располагает полицеймейстер запятая недостаточно для водворения мира и порядка точка жители города обращаются к вашему превосходительству с настоятельной просьбой

прийти к нам на помощь точка городу грозит полный разгром и в недалеком будущем голод и убийства точка происходят ежедневные сходки не ради экономического запятая а ради политического вопроса точка процессии с флагами и непристойными на оных надписями многоточие анархия царит во всей силе многоточие жители посада тире города Иваново тире Вознесенска в страхе и ужасе точка власти бездействуют точка официальные сведения о том запятая что рабочие держат себя смирно запятая чистейший вымысел точка убедительнейше просим ваше высокопревосходительство немедленно защитить точка паника полнейшая точка жители бегут из города точка подписи...»

Официальные донесения были верны: рабочая милиция не позволяла «гулять» черной сотне. Министр внутренних дел предлагал властям «действовать!». — Губернатор сообщил министру внутренних дел и шефу жандармов, кроме своего нервного состояния, о том, что —

«...арестовать главарей невозможно ввиду правильной организации охраны стачки».

«...предвидеть конец забастовки невозможно ввиду неустойчивости сторон»...

«...результаты сходок сводятся к единодушному (по крайней мере, с внешней стороны) постановлению продолжать забастовку»...

«...рабочие каждый день собираются на реке Талке, судят, рядят, слушают своих ораторов и, узнав их решения, мирно расходятся. И так изо дня в день»...

«...хотя в городе спокойно, но сходки за городом принимают противоправительственный характер, руководящая движением рабочая партия держит в своих руках массу»... «затрудняюсь запретить сходки ввиду слабости войск»... «убедительно прошу прислать лицо, облеченное большими полномочиями, могущее объединить деятельность всех ведомств, чувствую себя не в силах»...

«...С другой же стороны, если разгонять сходки, то, наверное, будут грабежи и поджоги; город и его окрестности будут в опасности; рабочее движение примет характер открытого мятежа»...

«...Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка, так как оторваны от своего прямого назначения»...

Министр внутренних дел предлагал властям «действовать!».

И 15 июня в Иванове казаки расклеивали приказ за подписью вице-губернатора и отпечатанный во владимирской полицейской типографии:

«Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных дел, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу возможным далее допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города, и предупреждаю, что виновные в нарушении сего постановления будут подвергаться законной ответственности».

Было солнечное утро 16 июня. Шло заседание Совета. Рабочие писали протест против приказа вице-губернатора. Еще с рассвета в это утро вокруг рабочего лагеря разместились казаки под командою полицеймейстера Кожеловского. И без всякого предупреждения, после залпа из винтовок, с гиком и свистом, оставшимся от татарских орд, с шашками и нагайками, казаки помчали на рабочих, на безоружных. Казаки стреляли в бежавших. Кожеловский арестовал председателя и секретаря Совета. На поляне у реки и в лесу лежали окровавленные люди.

23-й пункт стачечных требований гласил: «Начальство и войска не должны вмешиваться в дела рабочих во время забастовки, иначе за последствия ручаться нельзя».

И через час после расстрела в Иванове были уничтожены телеграфные и телефонные провода, вход в город от Талки был загроможден баррикадами, горели склады фабрики Гандурина, летели стекла складов и дома городского головы. К закату солнца на десяток километров вокруг Иванова полыхали зарева фабрикантских дач. А ночью рабочие дружины стреляли в казачьи разъезды и в полицию, загнав их по казармам. В эту же ночь фабриканты, иные переодетыми, уезжали из Иванова в Москву, телеграфируя по испорченным проводам губернатору и министру о том, что в Иваново

они не вернутся до тех пор, пока там не будет восстановлен «законный порядок». Но и губернатор, с эскадроном казаков, ночью тайком бежал из Иванова.

Совет рабочих депутатов не погиб с арестом его председателя и секретаря. Совет рабочих депутатов вернулся на Талку. Рабочие, вернувшись на Талку, постановили единогласно:

— продолжать стачку,

— требовать освобождения товарищей,

— требовать суда над Кожеловским.

Стачка продолжалась. Товарищи были освобождены. Губернатор из Владимира просил у Совета разрешения опубликовать в Иванове его приказ об увольнении в отставку ивановского полицеймейстера Кожеловского. Рабочие победили, перешагнув через кровь Талки. На кровь Талки рабочие ответили заревами пожаров фабрикантских усадеб.

Когда Совет рабочих депутатов собирался последний раз на Талке вместе с рабочими, чтобы вынести решение о возобновлении работ, он закончил свою резолюцию следующими фразами:

«Мы же, принимаясь за свой тяжелый труд на фабриках и заводах, примемся готовиться к другой борьбе, борьбе серьезной, на жизнь и на смерть, за свободу... И тогда наступит час, когда весь народ восстанет с оружием в руках»...

Это были никак не пророческие слова, — но слова убежденного значения.

Это было тридцать лет тому назад, в медовом июне багряных зорь и в сенокосном июле Пятого года. Совет тогда просуществовал семьдесят два дня. За Пятым годом шли годы от седьмого до четырнадцатого. Пятый год шел зарею перед Семнадцатым. Большинства, большинства тех, кто были на Талке, нет уже в живых, но Талка есть первый в мире Совет рабочих депутатов, Красная Талка — прообраз советской власти. Талка напоминала Арбекову безымянное озеро смертных мыслей. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах!..

...Жить, жить! — жить бодро, радостно, с товарищами, в коллективе, в классе, с любовью и с детьми... —

это и у безымянного озера и в соловьино-ландышевую, не подлежащую оглашению палехскую ночь, — и жить никак не пешим хождением к раменьям, смерти, жить конструкцией самолета, жить на ледоколе истории, жить так, чтобы жизнь была прожита прекрасными грозами класса, революции, детей, любви!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...А жизнь...

Арбеков приехал в Палех тридцать лет спустя после Талки, за сутки до дня начала Совета на Талке и пробыл в Палехе почти столько же, сколько продолжалась Талка, талкские дни. Сергей Иванович знал, что жизнь должна быть как искусство, — и он приехал на родину прекрасного.

...если бы машина-шахматы была б изобретена, шахматы-искусство исчезло бы.

Палех сейчас на самом деле известен миру, ключ искусств. Схема его дел парадоксальнейша своими противоречиями: село богомазов, кустарей-отходников, организованных IX веком, вплоть до Октября, в «феодальную мануфактуру», работавшее на консервативнейшие слои русского общества, писавшее иконы и расписывавшее церкви, уже столетия пребывавшее в ремесле, — это село, которое, казалось, должно было бы быть выкинуто Семнадцатым не только за ненадобностью, но недоброй памятью, вслед за Семнадцатым вспыхнуло прекрасным искусством. Казалось, Палех утверждал себя и в наши дни доказательствами «от противного», от несуразицы. В горнорудной промышленности и в химико-аналитических лабораториях знают, что в тигле новых сплавов или в разложении элементов в качестве отбросов иной раз возникают совершенно неожиданные конгломераты, которых никто не ожидал и не подразумевал, но которые оказывались необходимыми, — так можно было бы думать о Палехе. Промысел села был выкинут за ненадобностью, но

люди села остались в жизни, мастерство осталось в их глазах и пальцах, их глаза и жизнь перестроились в тигле революции, — палешане ничего не делали, их рассвет и их искусство принесла им эпоха, — едва ли этот шахматный ход рассуждений был правилен для Палеха.

Палех был и есть русское село, живущее законами России. Палех, много терявший на своих веках, все же пронес от семнадцатого века до Семнадцатого года традицию Рублева, Чирина, Дионисия. Неистовый Голиков, который ходит в Палехе по улице Голикова с можжевеловым посошком, вместо Георгия-победоносца, жалящего дракона с белого коня, написал Семена Михайловича Буденного на красном коне в буденновском шлеме, жалящего гидру контрреволюции, — мастерство и традиции Андрея Рублева ожили, Буденный стал сказкой, вместе с Буденным сказкою стали наши дни, возникло искусство. Академический и академичнейший Баканов, который по вечерам сидит на скамеечке с внучкою около своего дома на улице Баканова, вместо Богоматери с Иоанном написал двоих — его и ее — под золотым солнцем, среди «гребешков» икон пятнадцатого века, в окружении синих и розовых барашков и облаков, назвав работу «Первым поцелуем», — мастерство и традиции Прокопия Чирина сделали поцелуй святым, возникло искусство. Заслуженный деятель искусства Котухин написал заседание сельсовета экспозициями тайной вечери... Все это неверно для Палеха. Неверно, что Палех остался в рублевских иконописно-церковных традициях. Неверно, что Палех замкнут в сказке и в старине, превращенной в сказку. Неверно, что Палех умрет со своим старшим поколением.

Рядом с мастерскими палехского товарищества художников расположен Музей палехского искусства. Рядом с Музеем расположен Техникум палехской живописи. А вообще Палех — российское село, в котором обыкновенно живут художники и колхозники, причем иные колхозники мечтают стать и становятся художниками, равно как иные художники мечтают стать колхозниками. Жены у старейшего поколения колхозников и художников — одинаковых качеств и одинакового положения, причем художники называют

своих жен «урядниками» по целому ряду художественно-бытовых обстоятельств, спасаясь от коих художники ставят по избам радиокричатели, чтобы жены не скучали. Село Палех, состоящее из улиц Баканова и Голикова, имеет свои просторечивые прозвания — «в горе» (улица Баканова), «слобода» (за рекой Палешкой, улица Голикова), Ильинская слобода (никем еще не названная), — и состоит село, ныне районный центр в честь художников, предпочтительно из обыкновеннейших российских изб, с «усадьбами», огородами, сараями и гумнами. Село отличается от остальных российских сел только тем, что в каждой избе в Палехе стены завешаны картинами и портретами палехского мастерства. Как улицы имеют свои прозвания, так и художники в просторечии имеют прозвища. Голиков прозван Тараканом, а Иван Васильевич Маркичев — Иван Забелой.

...знать — это еще не уметь.

Наутро Александра Михайловна, жена художника, бывшего художнического завхоза, Ивана Васильевича Вакурова (не того, который знаменит и заслужен), хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Сергею Ивановичу всю свою избу и переселившаяся в силу этих причин на чердак, сообщила:

— А в стаде-те что у нас деется, никогда такого не слыхивала, — бык коров сосет!

Наутро к Сергею Ивановичу пришли художники — друг Дмитрий Николаевич Буторин и друг Алексей Иванович Ватагин. Пошли в артель, то есть в правление товарищества, к председателю правления и другу Александру Ивановичу Зубкову. Друг Дмитрий Николаевич Буторин, возлюбивший краску шестнадцатого века русской иконописи, чем страннейше напоминает голландцев, написавший «у лукоморья дуб зеленый», изображавший рядом с Пушкиным самого себя во образе кота ученого, с золотою цепью, в золотых очках, — носил прозвание — Илья Федотович. Друг Алексей Иванович Ватагин, сохранивший и возлюбивший иконописный рисунок XII века, цвет XV века и орнаментацию XVII века, хранитель палехского стиля до консер-

ватизма, — прозывался Ермолаем Охотником, а также — Велосипед. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, основной критик и хранитель традиций товарищества, прозывался — Борона. Друзья уговаривались о рыбной ловле.

— Молчок, — сказал Александр Иванович.

— Ни мур-мур, — сказал Дмитрий Николаевич.

— Точка! — сказал Алексей Иванович.

До четырех художники работали. В четыре товарищи двинулись в Дягилево, в соседнюю деревню к художнику-философу и другу Николаю Михайловичу Зиновьеву, ушедшему к себе загодя, чтобы приготовить невод. По дороге до Дягилева встречались лошади явно голиковско-буторинско-дыдыкинского рисунка, с такими ж головами и шеями, так же изогнутыми. Рыбу ловили на Люлехе, поросшем камышом и купавами. Люлех был не больше Талки. Заводилами оказались художник друг Николай Михайлович Зиновьев, он же Кузьма Сидорович, да заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, брат знаменитого и заслуженного Ивана, он же — Александр — Пистон. Люлех тек тихими лугами в перелесках к темному лесу. Сначала художники оберегались воды, а затем, в чем пришли, полезли в воду, таскали невод, вытаскивали тони, и в каждой тоне вылавливали по щуренку, по два окунька, а то и ничего не вылавливали. Улова не было, но пыл художников не пропадал, и мокрые художники над неводом, на зеленом берегу реки, поросшей купавами и камышами, были совершенно точными копиями тех тонконогих рыболовов, которые написаны насмешником, стихотворцем и палехским французом, другом Иваном Ивановичем Зубковым в его истории о «Рыбаке и рыбке», а также многими другими мастерами. Художники тянули тоню к темному лесу. Солнце шло к закату, сделавшись и бакановским, и зубковским, и вакуровским. И у темного леса рыбный лов был закончен. Были пойманы три щуренка, восемь окуньков, штук пятнадцать плотвиц. Под сосны темного леса принесены были — сковорода, льняное масло, хлеб, соленые огурцы — и водка, конечно. Началось питание по принципам христианских трех хлебов. Первое место командира занял заготовщик друг Александр Васильевич Маркичев, Пистон. Он оказался человеком пре-

красного юмора, артистом порядка и качества народного артиста Ивана Михайловича Москвина. Он послал художников за сушняком, и он разжег костер, и он принялся чистить рыбу, и жарил рыбу самолично он, артистически, на льняном масле, круто посолив. Солнце село на землю, в лесу затих зеленый полумрак. Мокрые художники поснимали штаны и рубашки, превратившись в голых святых, и сушили штаны и рубашки над костром. Рыба поспела. Солнце зашло за землю. Лес потемнел. Искры от костра уходили к бледным звездам. Лес повторял ночь на безымянном озере. Друг Александр Васильевич налил первую чару. Певцами и запевалами оказались он да Алексей Иванович Ватагин — Ермолай. Они запели:

— Чарочка моя серебряная, на золотом блюде поставленная, — кому чару пити, кому выпивати?..

Художники обнесли друг друга песней и водкой. Сосны и ели на светлом небе казались и опрокинутыми в небо, и корягами со дна берендеева моря. Лица и голые тела людей были зеленоваты. Чарочка была повторена, от реки потек туман, алкоголь дополнял неясные очертания темного леса. Друг Александр Васильевич, без штанов, в чужом пальто, вышел на полянку около костра, он махнул веткою калины, как платьем, он сделал крендель ногою. Он запел:

Из-за лесику, лесу темного
Туто шли-прошли два молодчика...

Художники подхватили:

Ай люли, люли, два молодчика!

Художники стали в круг, взяли друг друга за руки, художники пошли по кругу.

Два молодчика, два холостеньких,
Они вместе шли, поклонилися!..
Ай, люли, люли, поклонилися!..
Они врозь пошли, разбранилися,
Об одной душе красной девице,
Ай, люли, люли, красной девице!..

Босой, без штанов, друг Александр Васильевич ходил посередине круга. Он начал прибаутошным крен-

делем, на смех помахивая калиною, — он заканчивал песню серьезно, идя по кругу хороводным ритмом, легко и красиво, забыв, что он и Пистон, и без штанов. Женщин не было в товариществе. Целомудреннейшим жестом, на самом деле почти по-женски, Александр Васильевич хлопнул в ладоши, затанцевал.

Запели другую хороводную:

Как по чистым полям,
По зеленым лугам,
По зеленым лугам,
Я по ним ходил-гулял,
Я по ним ходил-гулял,
Тоску-скуку растерял,
Я рассеял грусть-тоску
По зеленым лугам!..
Уродилась моя тоска,
Точно травка зелена...

Лес стоял древностью. Костер бросал в небо искры, дымил хвоей, разгонял комаров, спутывал дым с туманом, уходил во мрак, в берендеевы закоулки сосен и елей, к волкам и лосям, попрятавшимся в этих лесах. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, критик и чуть-чуть иронический человек, по прозванию Борона, а также Литвинов, сидел на сваленной ели, покуривая махорку, посмеивался. Он запел как можно громче, чтобы его услыхали:

Среди лесов дремучих
Разбойнички идут,
В своих руках могучих
Товарища несут!

Хор подхватил:

В своих руках могучих
Товарища несут!..
Носилки не простые
Из ружьев сложены,
И поперек стальные
Мечи положены!..

«Разбойнички» выпили еще по чаре, обнеся друг друга песней и водкой, степенно и торжественно. Перебив песнь, художники ходили за хворостом, костер бросал пламя и искры до вершин, трещал, пахнул горящей

хвоей. Пламя костра всегда таинственно. Художники стояли у костра. В костре сгорели мечи, разбойники и рыцари сотен сказок, написанных этими художниками. В июне заря с зарею сходятся. Наступила полночь. В полночь пел Дмитрий Николаевич Буторин, пел один, со слезами на глазах, под безмолвное внимание товарищей:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу.
Был в глазах у ней небесный цвет,
На лице горел любви огонь.
Что пред ней ты, утро майское.
Ты, дуброва-мать зеленая!..
Степь, трава шелковая,
Заря, вечер, ночь-волшебница, —
Хороши вы, когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть-тоску.
А при ней — вас хоть бы не было.
С ней зима — весна, ночь — ясный день.
Не забыть мне, как последний раз
Я сказал ей, — прости, милая...

Было ясно, что Дмитрий Николаевич вкладывал в эту песнь все свое сердце, а быть может, и судьбу, — он был холост и есенински-лиричен. Его слушали серьезно, примолкнув, притихнув. Костер отгорел, тлели лишь пни. В десяти шагах от костра, за соснами и елями, проходила зеленая ночь. Туман подбирался холодком, пахнул лес сосновою смолою, прелью, грибами. Деревья стояли неподвижны и безмолвны. Перекликались в лесу ночные птицы, и ныли около березок комары.

Светало.

Все это: рыбная ловля, ночь у костра, хороводы, песни — все это сотни раз написано и Буториным, и Зиновьевым, и Зубковым, и Бакановым, и Маркичевым, и Вакуровым, и Котухиным, и Чекуриным, всеми, золотая вязь костров и восходов солнца, темень лесов, разбойников и рыцарей, золотой рыбки и золотого петушка, темень и золото тоски, точно травка зеленой, зари туманной юности, красной девицы, ай, люли, люли, красной девицы... Пьяных не было. Были счастливые люди.

Когда шли к Дягилеву и от Дягилева в Палех, Дмитрий Николаевич, он же Илья Федотович, сказал:

— А в стаде у нас, женщины говорят, бык коров сосет, — дела!

Возвращались в быт. Заговорили о женах.

— Опять «урядники» придираться будут.

Эпикуреец, с бородою больше, чем у Льва Толстого, истинный любитель природы, рассказчик поэмы о «красотах сельской жизни», которую он передавал звукоподражаниями, член коммунистической партии, седой юноша, художник, пишущий поэму социальной несправедливости и историю ссылки Герцена по «Былому и думам», друг Александр Васильевич Чуркин, по прозвищу Топор, сказал:

— Вот и хорошо в этих случаях для женщин радио, — нету дома мужей, есть кого послушать и «чему поучиться», — они тоже не отстают от времени.

У палехской околицы, прощаясь троекратным поцелуем дружбы, уговорились, чтобы жены, то есть «урядники», не знали, где художники были.

— Молчок! — сказал таинственно Александр Иванович.

— Ни мур-мур! — так же таинственно ответил Дмитрий Николаевич.

— Точка! — подтвердил Алексей Иванович.

Наутро художники упорно работали до четырех по своим мастерским, до обеда с учениками, со «студентами», а после обеда, хоронясь друг от друга, писали свои чудесности на лаке и под лаком, творили золота и краски указательными пальцами, причем разводили краски на курином желтке, полировали золото и серебро коровьим, а еще того лучше собачьим иль волчьим зубом, писали сквозь лупы кисточками более тонкими, чем комариный нос, — обдумывали свои композиции и клали их на лак.

В Палехе жил изумленный народ, художники, мастера, изумленные всем, что происходит в мире и с ними. Изумленными и праздничными ходили деды, которые по старости лет не принимали участия в общественной жизни, лишь критиковали, но, как восьмидесятидвухлетний отец Зиновьева, могли выпить рюмку водки и другую, покачать седою головой, поухмыляться, молвить: «Ишь ты, дела благодать!..» — Изумленными ходило старшее поколение мастеров, бывшие иконописцы, солдаты мировой войны, красноармейцы, спугнутые

с векового своего промысла и сейчас — художники. Изумленными ходило второе поколение художников, Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов, которые в двадцать втором году затруднялись решить, что лучше — искусство или валянье валенок. Не изумлена только молодежь.

На самом деле лошади в этом селе похожи на голиковских коней. На самом деле колхозники в этом селе становятся художниками, а некоторые художники, особенно их жены, мечтают о колхозе. На самом деле женщины здесь и в праздник, и в будни ходят с брошками, написанными их мужьями и братьями, причем на брошках изображены олени и лани, песни и сказки. Самое общеупотребительное слово здесь — искусство. Дети с трехлетнего возраста играют здесь в искусство, — родившиеся уже с пальцами художников, от рождения умеющие держать кисточку.

Сто лет тому назад и тридцать лет тому назад одни из палешан приходили в искусство, другие уходили из него — в овчинники, в сапожники, в портные. Хлебопашество не прокармливало. Отец Аристарха Дыдыкина, художника, необыкновенно сочетавшего в своих лаках Врубеля, средневековых персов и Микеланджело, был хлебопашцем и голодал; Аристарх Дыдыкин, с шести лет начав учебу, полуграмотный человек, двадцать лет работал иконописцем, до революции, до артели; дети Дыдыкина, — трое сыновей — учитель, землемер, командир роты; Чикурин, малограмотный человек, сын иконника, грамоте обучавшийся у николаевского солдата, — его сыновья — учитель, комиссар полка, инженер-технолог, врач. Буторин, малограмотный человек, холостяк и солист зари туманной юности, — его две племянницы — учительницы в Палехе, живут вместе с ним и почтительно называют его дядюшкой.

Так у всех художников. Так во всем селе.

Патриарх Салапин, старейший житель Палеха, старый до древности, говорил Сергею Ивановичу:

— Спрашиваете вы, почему мы раньше иконы писали? — ввиду нашей доходности...

Салапин знал, что иконописное мастерство у Палеха существовало и в семнадцатом веке, и раньше, и больше ничего не знал об этом. Он лучше знал, что Палех принадлежал помещикам Бутурлину и Грязеву,

помещики держали палешан на оброке, в иконописные дела их не мешались. Бурмистрами у Бутурлина был род Сафоновых, феодальных владельцев Палеха, иконофабрикантов, обстроившихся в Палехе каменными домами и фабричными мастерскими-казармами палехской иконописной мануфактуры. Салапин не знал архивных записей. Господа и графы Бутурлины жили в Москве. В Палехе жили старосты и бурмистры — Сафоновы, Ноговицыны, Вакуровы. Господа Бутурлины писали бурмистрам в деревню «указы»:

«...старосте нашему такому-то. По получении сего указа смотреть бы вам над крестьяны нашими накрепко и содержать в страхе... ежели меж крестьяны нашими какие случатся ссоры, разыскивать и виновным чинить наказания — бить батоги, не описываясь к нам, и не допускай к нам напрасной докуки»...

Бурмистры пороли, арестовывали, сажали на цепь, штрафовали отбором имущества, сдавали в солдаты.

«...Жители оного села упражняются более в иконном греческом письме, а написанные иконы в нарочитом множестве отправляют для продажи в разные города... В оном селе, кроме еженедельных торгов по средам, бывает годовая ярмарка сентября четырнадцатого дня...»

Палешане платили подати бурмистрам натуральной повинностью, подушными и поземельными сборами, сборы с девок по достижении ими совершеннолетия и со вдов, за покупку на ярмарках лошадей. Бурмистр Сафонов по «реестру оброку за первую геньварскую половину 1847 года» заплатил 55 руб. 50 коп., да «с него же за дочь оброку принято 2 руб. 10 коп.». Революция 1917 года отобрала у Сафоновых шесть миллионов рублей. Этого Салапин не знал. Салапин помнил, как лет за пять до реформы Александра Второго господа Бутурлины поссорились с господами Грязевыми, бывшие до ссоры в дружбе, и, поссорившись, межевали немежеванные палехские свои владения упрощенными способами: солнечная сторона отходила Бутурлину, северная — Грязевым; крестьяне, расписанные между Бутурлиным и

Грязевым, жили и направо, и налево; во един дух было проведено межевание и во един дух все бутурлинские были вселены в избы направо, а грязевские — налево; иные крестьяне, выселенные из лачуг, оказались в пятистенках, иные из пятистенок оказались в лачугах. Салапин знал, — Салапин по-своему определял слово — «иностранец»; по его понятиям «иностранец» — это каждый, кто не родился и не живет в Палехе, — Салапин помнил, как приезжал в Палех в семидесятых годах «иностранец» генерал Филимонов набирать мастеров помимо Сафонова для реставрации Грановитой палаты, поручил этот набор мастеру Белоусову, и Белоусов с тех пор пошел в гору, став конкурентом Сафонова.

Сафонов был старшим и консервативнейшим, он придерживался «старого стиля», византийско-новгородско-суздальско-ярославского. Белоусов был расторопнее, помоложе, менее авторитетен и денежен, и он больше придерживался «фряжского стиля», европейских влияний, сходного рынка. И Сафонов и Белоусов, деды, отцы и внуки, были малограмотны, в совершенстве зная свое ремесло, русскую икону, ее эпохи и стили, в этом деле являясь непреложными экспертами для Кондакова и Забелина. Деды, отцы и внуки, повторяя ивановских фабрикантов, ходили в поддевках, ели пироги и пили водку, красноносые, разъезжали по всей России на заказы, но проживали в Палехе, в каменных домах с собаками у ворот и с откормленными любовницами. Один-единственный из них, младший Сафонов, за взятку, будучи совершенно неграмотным, получил звание народного учителя, чтобы освободиться от воинской повинности. Построил в селе Красном церковноприходскую школу и нанял вместо себя учителя, оставив за собою пост заведующего школой. Сафонов состоял в чине «потомственнейших почетных граждан» и «поставщика двора его величества», в силу чего на доме и на мастерских — для страху — наклеены были во множестве громадные, золоченые двуглавые орлы. Октябрь Семнадцатого отобрал у Сафоновых шесть миллионов рублей, скопленных на богописании, причем неграмотные Сафоновы, оказывается, в капитализме были обучены отлично и держали свои миллионы не только в российских, но в лондонских, парижских и берлинских банках.

И все теперешние художники, старшее поколение, от шестидесятилетнего Баканова, прошли одну и ту же школу у Сафонова и Белоусова, этот изумленный народ, замечательный, кроме всего прочего, замечательным своим здоровьем. В девятилетнем возрасте накруг — каждого из них привела мать к хозяину поклониться в ноги и — с кулечком пряников — отвела к приказчику.

Приказчик роздал пряники другим подросткам, и мальчик стал учеником. Летом с пяти часов утра до десяти вечера, а зимою с семи утра, но также до десяти, мальчик, прикрепленный к мастеру, — учился. Первым уроком он должен был нарисовать «голичку», «ручку господню», затем эту же ручку, сложенную в щепоть, затем эту же ручку с плеткой (символ учения!). Учились разделывать яйца, — и учились «творению» красок. Изучали книгу «бецатала». Обучившись рисованию карандашом и копированию, переходили к работе «поднож», к рисованию красками. Писание икон было стандартизовано и расчленено. Мастера разделялись на личников и доличников, на левкасчиков и чеканщиков, — то есть одни мастера умели заготовлять доски для икон, другие писали «лики», третьи писали одеяния святых и их местонахождение — землю с обязательными лещадками (то есть «кремешками», то есть с иконными горами), храмовые постройки, небо, облака и море, «палатное письмо» и «воздуха», четвертые — чеканщики — обрамляли икону в золото. И мальчик учился быть личником, доличником или чеканщиком. Мальчик скоро узнавал, что Богоматерей — триста тридцать: «Животворящий источник», «Троеручица», «Неопалимая купина», «Нечаянная радость», «Неувядаемый цвет», «Помощница в родах», «Размягчение злых сердец» (четыре богоматери — размягчительницы, четыре разных «лика»), — что без малого такое же количество Спасов, вплоть до «Спаса мокрая борода», чудотворца. Мальчик скоро узнавал боль плетки, им же изображенной на третьем уроке богописания и всегда носимой приказчиком за пазухой, — что каждую Богоматерь и каждого Спаса надо — точнейше, только — копировать, ибо отхождение от святого стандарта считалось богохульством. Мальчик показывал свою работу мастеру, но по субботам все работы мальчиков просматривал приказчик, — происходил «показ», — и

мальчик знал, если приказчик отложит в сторону его работу, не вернет ее сразу, после «показа» осмотра икон мальчик будет порот, — на всякий случай по субботам мальчик надевал вторые крашенинные штаны и в штаны засовывал фартук, чтобы легче переносить порку. Мальчик знал, что в июне, вместо иконописания, приказчик пошлет его по ягоды для хозяина, по землянику с черникой, по гонобобель, по малину; что в сенокос он будет ворошить хозяйское сено; что, подросши, он будет пасти хозяйских гусей, бегать мастерам за водкой, убирать после мастеров мастерские. И так будет продолжаться шесть лет. Но за эти шесть лет мальчик пересмотрел тысячи рисунков, и византийских, и русских, и новгородских, и ярославских, и фряжских, видел краски двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого, восемнадцатого веков, видел композиции одного из необыкновеннейших человеческих искусств, пусть умершего, но прекрасного в своих первоистоках до сих пор, — мальчик научился их видеть и через них видеть вещи на земле; мальчик научился творить краски и познал законы красок двенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков; мальчик познал рисунок и композицию этих же веков: мальчик узнал законы обратной перспективы, «секрета» иконописной прелести; мальчик обрел *умение* в древнейшем искусстве, в древности своей соприкасавшемся с истоками народного творчества. Мальчик видел феодальную нищету и узнал, что Богоматерей триста тридцать, еще до того как он пошел в жизнь, научившись делать богов, увидел, как они делаются, услыхал истории о попах и монахах — мальчик уже не верил в православного Бога.

А на конец шестого года обучения хозяин давал ученику залевкашенную доску; ученик, если он был доличником, расписывал эту доску святым или святыми по его усмотрению; эту доску дописывали «ликами» и чеканили другие мастера; эта икона называлась «выходною»; она шла в собственность ученика, она была экзаменом, — ею хозяин благословлял ученика в жизнь. И тогда хозяин «клал» ученику жалованье — десять или пятнадцать рублей в год, а иной раз «держал» его за блин или за петуха.

Ученик делался мастером и писал у Сафоновых или Белоусовых по зимам на иконофабриках, — «вви-

ду нашей доходности», — как определил патриарх Салапин, — а на лето уезжал «в отъездки» расписывать монастыри и соборы — сотни монастырей и соборов — в Москве, во Владимире, в Кимрах, в Муроме, в Костроме, в Самаре, в Саратове, в Бийске, в Томске, в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевой лавре, в Ипатьевском монастыре (в том, откуда на русский престол пришла романовская династия, закончившая свое существование в Свердловске, в подвале Ипатьевского особняка), то есть через монастыри и монастырский быт иконописцы создавали себе представление о жизни и о России, заставлявшие не верить ни в черта, ни в Бога.

Это были ремесленники, кустари-отходники, ремеслом которых, как у скорняков кожа, была икона.

Это ремесло через безграмотных Сафоновых и грамотнейшего Кондакова проникло и в Успенский собор в Московском кремле, и в Грановитую палату, до трона Мономаха, до имперских и императорских столпов и реликвий.

Это ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Но сами кустари, возвращаясь на побывку к себе домой, где матери и жены вели крестьянское хозяйство, иконописный промысел для коего был подспорьем, — мастера жили бытом русского кустаря-отходника «ввиду доходности», никак не сопоставляя себя ни с Кондаковым, ни с Васнецовым, ни с Нестеровым, — за исключением немногих, которых «пленила игра красок», по определению Голикова. Мастера не подозревали о знании и умении, коими они обладали. Они никак не подозревали, что Васнецову, Нестерову и академику Харламову надо было у них учиться.

Мастера были во власти двуглавых золоченых орлов «гражданина двора его величества» Сафонова и сафоново-белоусовских иконописных фабрик. Они могли уйти от Белоусова к Сафонову и обратно, и только. Они жили в «язычестве», то есть в доносах и шпионстве приказчиков. Мастера были безымянны, они не подписывали своих работ, — за них подписывался «гражданин двора».

И кое-где в погребах, или в лесу, или под сараем хранится замечательный палехский клад, который оказался бы прекрасным вкладом в Палехский музей, — де-

вять пудов революционной подпольной литературы Пятого года, собственность тогдашнего, по времени совпадавшего с Талкой, палехского подпольного революционного кружка. В этом кружке принимали участие иконописцы — ныне заслуженные деятели искусств друзья Александр Васильевич Котухин и Иван Васильевич Маркичев, ныне московский большевик и директор института силикатов Александр Никитич Вицин, член ВЦИК 14-го созыва, палехский большевик, член правления Товарищества, художник и друг Александр Васильевич Чикурин и его брат Алексей, братья Зубковы, председатель Александр и насмешник, поэт и француз Иван, Иван Колесов, большевик и художник, написавший в подарок Конгрессу защиты культуры «Гаврилиаду», Салапин, Хохлов, Михаил Комаров, Свинцов, Корин (один из тех, кои создают себе славу художников в Москве) и другие — до тридцати человек.

Они собирались по лесам, чтобы учиться. В белоусовской мастерской они самообложили друг друга двумя процентами заработка и выписывали газеты, журналы и книги.

Александр Зубков и Александр Ко́тухин в отъезде, под Самарой, в селе Мусорки, хранили под церковным куполом винтовки революционеров и принимали участие в том, как крестьяне, закрыв церковь, голого изгоняли из села священника.

Сафонов изгнал из своих мастерских сорок человек рабочих, в окнах дома поставил железные решетки, а также с того времени ввел десятичасовой рабочий день. На «засидках», десятого октября, когда мастерские переходили на зимние работы, то есть в мастерских зажигали по вечерам свет, — по традиции в этот вечер мастера собирались с хозяином Белоусовым попраздничать и выпить, — на засидках мастера отказались пить с хозяином, предложив ему на праздничек восьмичасовой рабочий день, новые расценки, специально уборщиков в мастерскую (вместо учеников, которые убирали за мастерами), — Белоусов кряхтел над приготовленными яствами и водкою, хотел дело свести на шутку, но кончил десятичасовым рабочим днем и уборщиком, и даже тем, что выписал для мастерской «Сельский вестник», «Живописное обозрение», «Ниву», «Родину» и «Родную речь».

В час освящения нового реставрированного иконостаса в палехской церкви, сделанного Белоусовым в пику Сафонову, — ровно в этот час на палехских заборах повисли карикатуры, написанные палешанами и предварительно заготовленные, со страшными рожами Белоусова, Сафонова и того самого губернатора Леонтьева, у которого были сердцебиения от Красной Талки. Друг Дмитрий Буторин, человек с зари туманной юности и фламандец, тогда подростком, голопятый бегал по селу с прокламациями. В ту ночь, когда пировали хозяева, губернатор, духовенство и пристава, в каравайковском подвале работал шапирограф. Салапин и Лапин печатали листовки к церковному торжеству. С этими листовками и бегал голопятый Буторин. Михаил Комаров в ту ночь, с ведерком краски, караулил ночную темноту. На только что освященном храме он написал громадными литерами: «Долой кровопийц попов!» — на воротах белоусовского дома, где пировал губернатор, а заодно и под орлами Сафонова, он написал: «Долой эксплоататоров!» — на казенной винной лавке он написал: «Долой самодержавие!» — следы краски, капавшей с ведерка, на рассвете ж привели исправника в избу Комарова. Михаил был арестован, был бит полицией в тюрьме до кровохарканья, осужден на три года и захворал туберкулезом, от коего и умер. В тюрьме он написал картину, — раненный в грудь человек поднимает обессиленную голову навстречу путнику, путник протягивает раненому флягу с водой, рядом с путником стоит покорный осел, а кругом — одинокая пустыня. Комаров умер от туберкулеза. Эта картина хранится и висит на почетном месте у друга Ивана Ивановича Зубкова.

До сих пор у изумленных художников идет спор о том, приезжал или не приезжал в Палех на подпольное партийное собрание Михаил Васильевич Фрунзе. Одни утверждают, что был. Другие, — что должен был быть, но не доехал. Что же касается товарища Грачева, секретаря Совета рабочих депутатов Талки, — он приезжал в Палех.

И каждый раз, когда чарочка заходит за полночь и за хоровод, изумленные художники вспоминают о Пятом годе и упорно гадают о том, куда же на самом деле запрятан клад библиохранителем Николаем Лапи-

ным, — как бы хорошо было б этот клад найти, перечитать, вспомнить юношеские годы бодрости и дрожи сознания и сердца, которые были при первом чтении этого клада. И Александр Зубков тогда рассказывает, шепотом до сих пор, как он вез часть этого клада из Самары:

— В Рязани на станции был осмотр багажа. Когда очередь дошла до нас, то сын хозяина показал документы, в которых значилось, что мы едем с росписи храма и что багаж наш состоит из красок, золота и священных книг. Хозяйский сын и не подозревал, что он везет. Нас и обыскивать не стали. И всю литературу мы довезли в порядке, а по приезде я сдал ее в нашу библиотеку... Вот как случилось!..

Богомаз и чеканщик Александр Никитич Вицин от Пятого года остался в партии в подполье и сиживал по тюрьмам. Вороном он обходил Палех, ибо в палехском волостном правлении лежала «грамота» о немедленном аресте и препровождении куда следует беглого «каторжника». В Семнадцатом вместе с Фрунзе в Шуе Вицин организовывал Красную гвардию...

Само собой подразумевается, что иконописцы вместе с монахами знали религиозную кухню, чему удивляться не полагалось. Само собой разумеется, что пили иконописцы вместе с монахами, изощряясь в качествах настоек на черносмородиновом листе иль на черносмородиновой почке (что лучше?), и, напиваясь почечными настоями, говорили «по душам», — о делах и «о бабах». Дела монахов — это богослужения, чудодейства, мощи. Был случай, пил богомаз водку с иеромонахом для разнообразия в священной пещере, за стол приладив раку с мощами, а, опившись, раку вскрыл и в ней, кроме прочего, нашли коробку из-под килек и пустые бутылки, явно оставленные предшествовавшими пьяницами. А «бабы», — в домашнем просторечии монахи не назывались Пафнутиями или Варахиалами, — но жеребцами. Прежде чем войти к монаху в келью, надо было сказать, — «молитвами святых отец наших, господе Иисусе Христе наш, помилуй нас!» — и если монах не ответит «аминь», войти к нему нельзя: либо опился, либо «с бабой». Монашеские женщины жили в соседних слободах. Купчихи и вдовы-мещанки приезжали в монастыри, чтобы насладиться Богом и монашеской

плотью. Иных совращали «божим видением» и велением. Иных заманивали в келии с исповедей. Многих насиловали. В Палехе был мастер Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный иконописец; он был нанят Троице-Сергиевой лаврой в лаврские иконописные мастерские мастеров — учителем; он поехал в лавру вместе со своей семьей; девятилетняя его дочь пошла однажды в монастырскую трапезную за хлебом и была изнасилована монахами. Занимались монахи играми, непереносимыми на бумагу, от опоя, от сытости, от безделия, рядились у себя в келиях в женские панталоны, изображая из себя гризеток. Женщин монахинь звали «божьими свинками». Женская судьба и в монастыре была тяжелей и обездоленней, чем мужская, — по тогдашним традициям. Если большинство монахов шло в монастырь по леностн, по неудачничеству, по моральной дефективности, на даровые хлеба, — во всяком случае шли по своей воле, — то подавляющее большинство женщин были сосланы в монастыри другими людьми, обетами отцов, выброшенностью из среды жизненной неудачей и горем. Оказывается, по палехским впечатлениям, монахинь надо было, говоря по существу, — насиловать. Иконописцы влюблялись в послушниц, послушницы влюблялись в иконописцев. Через старух послушницы присылали иконописцам туфельки для часов, салфеточки, махорошники — и записки. Через старух же иконописцы посылали послушницам стихи, изображения женских головок своего мастерства и — мольбы о свидании, выйти погулять хотя бы на кладбище или в рощу, хотя бы на минуточку, чтобы глянуть единым глазком. И если монахиня вышла в рощу, ее следовало насиловать, в силу крайности того положения, что они давали обет Богу быть Христовыми невестами и никогда на словах не согласятся, а без слов бывают очень довольны. Монахини пахнули ладаном, — монахини выходили в рощу, — и на второй, на третий раз иконописческие носы устанавливали, что к ладанному запаху примешивался запах одеколона, — иконописцы понимали, что этот запах приносился для них. Иконописцы не понимали убожества человеческой юдоли!..

В Палехе жил иконописец Шишкин, Иван Дмитриевич, отличный мастер: он был нанят в Троице-

Сергиевские лаврские иконописные мастерские; у него изнасиловали дочь; были свидетели; он судился с монахами и с лаврой, — и он же оказался перед всей иерархией судов виноватым, и осужденным, и изгнанным из лавры в позор и в нищету. Об этом иконописцы очень хорошо знали. В Киево-Печерской лавре, однако, имелась, оказывается, кроме пещер с мощами, доступных обозревателям, и кроме танцевальных пещер, так скажем — пыточная пещера; в этой пещере пытали непослушных, в том числе и монахов, в том числе и — женщин, в том числе и детей, и на дыбе, и подноготной, всеми средневековыми способами; иные в этой пещере жили по годам на цепи, на цепи и умирая; почва приднепровских гор, в которых нарыты пещеры, имеет свойство мумизировать человеческие тела, — но к этой пыточной пещере приставлены были и специалисты по выделке мумий; в этой пещере производились мумии и тех мужчин и женщин, которые в этой же пещере были замучены; мумии шли на мощи. Об этом иконописцы знали хорошо! Их ремесло было прицерковным, примонастырским ремеслом.

Их ремесло, через безграмотных Сафоновых, грамотнейшего Кондакова и просвещеннейшего Забелина, проникало к столпам империи.

Их ремесло учило Васнецова и Нестерова.

Это иконописцев не касалось, они были безымянны. Иконописцы знали, что Сафонов, Кондаков, Лавра империи — одно и то же, столпы, с которыми — не судись, как посудился Иван Дмитриевич Шишкин, — от которых прячь клады, как спрятан клад библиотеки, клад Пятого года, ровесник Талки.

«...И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист, — для того, чтобы разрушить их»...

В Палехе пили в старину, пили жестоко и остервенело, как могли пивать только россияне и российские кустари. Но в Палехе пили больше, чем в Туле, потому что палешане были отравлены «игрою краски» и не веровали ни в Бога, ни в черта, по причинам понятным. Это было злое пьянство. В Палехе даже пословицы

свои сложили: — «Делами займешься, — пьянство упустишь».

Неистовый и изумленный Голиков писал в «Трибуне Палеха»:

«...Наши отцы, деды и прадеды всю жизнь писали иконы и производили живописную отделку храма. Кисти и краски передавались от поколения к поколению. Иконописное дело для большинства из нас являлось, как выражаются, насущным куском хлеба. Работа по заказу хозяина ограничивала наши творческие порывы. За свою жизнь приходилось писать сотни раз одного и того же Николая-чудотворца. Вложить в лик святого что-нибудь от себя — это рассматривалось как богохульство. Работа сводилась к трафарету, без всяких художественных затей. Правда, были из нас такие, которых игра красок увлекала за пределы икон и церквей. Такие вдохновенные художники считались неудачниками. Злясь на свое бессилие и не получая ниоткуда поддержки, они часто успокаивали себя вином и спивались!!!»

Такого пьянства нет больше в Палехе.

За орлами «потомственного почетного гражданина и поставщика двора его величества» Сафонова, бывшего крепостного бурмистра у барина Бутурлина, со столпами империи, — полубожественные полупролетарии — или спивались, пораженные игрою красок, или возлелеивали мечтишки обернуться по-сафоновски, разжиться, стать хозяйчиком, — так возникали, всплывали по-тогдашнему, наверх. Коровайковы, Париловы, Солоутины, — но неграмотные Сафоновы, грамотно хранившие свои капиталы в Лионском кредите и в Лондон-Сити-банке, умели этим, высунувшим голову, дать как следует по башке, чтобы они опять сваливались в нети, а за нетями в водку.

И российская история пришла в Семнадцатый год.

Изумленный Голиков писал в «Трибуне Палеха»:

«...мы, художники-иконописцы, оказались в пиковом положении... Многие безнадежно махнули рукой на художественное ремесло и считали его похороненным навсегда. Но я не верил в это и часто думал так:

«Неужели мы, со своими кисточками и красками, не можем быть полезными для трудовой власти?» — И вот стал я присматриваться. Многое изменяет советская власть. Буржуев сажает в тюрьмы, конфискует их имущество, а художественные музеи не трогает. К тому же, вижу, появляются новые картины и плакаты. Из этого я заключил, что искусство, значит, у коммунистов в почете. А где наше место в революции — я долго не мог его определить»...

Голиков расписывал декорации в Шуе и Кинешме. Баканов, Зубковы, Зиновьев — пахали. Буторин председательствовал в комитете бедноты и писал за картошку портреты по окрестным деревням. Чикурйн плотничал и писал портреты. Ватагин служил весовщиком на Пермской железной дороге. Александр Зубков побывал в австрийском плену. Голиков побывал в Красных гвардии и армии. В императорской армии были все.

Никто не может точно упомнить, в декабре ль двадцать второго года или в январе двадцать третьего, изумленный Голиков в Москве в поисках работы увидел в Кустарном музее федоскинские лаки, роспись на папье-маше на коробочках.

«Уцепилась у меня мысль за эти коробочки. Думаю: «Вот бы нашим палешанам суметь такие штучки откалывать, все бы сыты были и вздыхать бы перестали!» — Разыскали мы с товарищем заведующего музеем и стали говорить по поводу сырья для пробы. Но когда он узнал, что мы бывшие богомазы, он и говорить с нами не стал!»

У приятеля Голикова нашлась фотографическая ванночка из папье-маше. Голиков обрезал края этой ванночки и на дне ее золотом и серебром написал много различных птиц и зверей. Голиков понес это дно в Кустарный музей, в тот, что в Москве на Леонтьевском. Мастерство Голикова смотрело со дна фотографической ванны — мастерством, красотой и умением. Это дно ныне хранится в музее как драгоценность. Это дно оказалось фундаментом Палехского товарищества художников, пять членов которого, и в том числе Голи-

ков, носят звание заслуженных деятелей искусств Советского Союза. Это дно породило Палехский музей, где висят похвальные листы и свидетельства о золотых медалях со всего земного шара. Это дно породило тринадцатого марта тридцать пятого года десятилетний юбилей палехского искусства, когда на самом деле палешанами за десять лет от Семнадцатого года сделано для искусства больше, чем за три столетия от семнадцатого века.

В дни палехского юбилея в Москве нельзя было достать билетов до Иванова и до Шуи. Вагоны поездов превращались в клубы искусств. На станциях Иваново и Шуя висели плакаты, приветствовавшие делегатов, на вокзалах ждали автомобили и автобусы, которые пошли по шоссе, сделанному специально для Палеха, — до Палеха, который к юбилею превращался в районный центр. В город-село приехало несколько сот делегатов, телеграф принес несколько сот телеграмм. Торжественное заседание открывал нарком Бубнов. Был голубой от солнца и снега день необыкновенного народного веселья, которое, начавшись морозным рассветом, длилось двое суток, когда двое суток подряд люди не ложились спать. Кроме приехавших со станции, на праздник приехали на развалежках и пришли пешком соседние деревни и села. С утра над селом летали три аэроплана, которые сначала разбрасывали первый номер «Палехской трибуны», а затем поднимали в воздух знатнейших палешан. По селу гремели духовые оркестры. Когда аэропланы садились на землю за слободой, в тот день переименованной в улицу Голикова, соседние овины проваливались под сотнями ног стара и мала. Карусели бесплатно катали детишек. Ларьки раздавали книжки и сладости. На площади под аэропланами устраивались рысистые колхозные состязания, и народ поражался конями Майдаковской колхозной конефермы. Правительство РСФСР, поздравляя юбиляров, сообщало о субсидии в сто тысяч рублей на организацию техникума. Правительство области свидетельствовало, что если месяц тому назад Палех превратился из районного села в районный центр, если до прошлой осени в Палех можно было пробраться только на первобытной телеге, то — через два года Палех будет прекрасным и подлинно социалистическим городом. Содержание

празднеств и заседания транслировались через Москву, через рацию Коминтерна всему миру, передаваемое из палехского Дома соцкультуры. И был бал сразу в двух домах, где чарочка смешивалась с заморскими винами и с джазом, впервые здесь звучавшим.

Двое суток в полном изумлении не спало село Палех!..

Целый день нарком Андрей Сергеевич Бубнов и член ЦК ВКП(б), секретарь Ивановского обкома Иван Петрович Носов, и член ВЦИК, председатель Ивановского облисполкома Сергей Петрович Аггеев ходили по домам художников, а художники угощали их студнем, грибами, чаем, пирогами и вареньями.

Целый день навсегда изумленный и неистовый Голиков в окружении жены и детей выступал с речью. Черные его изумленные глаза бегали по потолкам и под столы, застревали в усищах, наполнялись наивностью и таинственностью, — дыхание мешало словам, словам помогали глаза и руки, — и он говорил, никого не слыша:

— Гениальный Пушкин, конечно, и гениальный Голиков... Голиков, — то есть я, хотя меня прозывают Таракан, как рябинка в поле. Осенью рябинка красная, лист пожелтел и во всем лесу простор и тишина, как у гениального Пушкина... Конечно, гениальный тоже Некрасов... Голиков, то есть я, берет букет полевых цветов, смотрит на него и рисует свои битвы, поэтому кони у Голикова бывают красные, как гвоздики, либо как василек, — и получается букет жизни... А детей у Голикова семь душ, а во всем доме ни одной кровати, и я, то есть Голиков, Таракан по прозвищу, как рябинка в поле!..

От юбилея в Палехе остался Музей палехских работ. Красным неистовством по музею мчатся голубые и красные голиковские кони. Правительство области дало Голикову девять кроватей и сему соответствующее количество одеял, простыней, полотенец, столов и стульев, — голиковская изба превратилась в лазарет небывалого вида. Правительство области перед юбилеем присылало в Палех за Голиковым автомобиль, чтобы отвезти Голикова в Иваново к портному, дабы был и у Голикова настоящий пиджачный костюм; когда автомобиль приехал за Голиковым второй раз, чтобы сво-

зить на примерку, Голиков не поехал, заявив, что, мол, «пущай на ком-нибудь примеряют, а мне некогда, я делами занят!..» — Голикову все же сшили этот костюм, он раздобыл к нему смазные сапоги. Всегда рядом с Голиковым ходит его жена. Всегда Голиков с детьми. Ни в одной своей речи он не забывает о них, о жене и детях, отличный семьянин. Когда Голиков работает, он работает сутками. Когда Голиков получает из товарищественного горта сахар, он не рассыпает его по стаканам иль чашкам, не рассыпает по мелочам, но всыпает сахар в самовар и пьет чай всем родом. Семь раз Голикову товарищество покупало корову, и семь раз получалось одно и то же, а именно: когда корова, надоедала Голикову и его жене, он резал корову, и целую неделю подряд дымилась тогда голиковская труба, ибо Голиковы поедали мясо. Голиков так записал о себе:

«...гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски: какое настроение. Выгон скота — утром, вечером — игра пастуха в рожок. Базар. Рыбная ловля. Пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворных. Зимние вечера, когда поет жена. В особенности много «троек». Люблю писать лихие тройки. Даже набрасываю рисунок, когда поет жена: вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой. Много написано битв, потому что сам был участником боев, и видя кавалерийские атаки и битвы, пожары городов, деревень, ужас беженцев, детей, стариков — все писал».

Изумленный Голиков изумителен, конечно. В музее, под стеклом витрин, собраны его «Слово о полку Игореве» — кони и битвы. Откуда у человека такая изумительная энергия красок и энергия движения? — пусть от иконы семнадцатого века остались «лещадки» курганов, «воздуха» и «палатное письмо» плача Ярославны, — ведь это ж брат Матисса!.. но как же тут же Голиков подсмотрел Микеланджело? — но тут и Рафаэль?.. — но как же, как же тут же копия из «Нивы»,

перекрашенная Голиковым по гениальности!? — обязателен ли здесь закон о плагиате? — сюжет — заимствован всегда, или только такая традиция вежливости и просвещенности — уверения, что все это сделано по Пушкину, по Баяну или по песне? — это — необыкновеннейший консерватизм, такой необыкновенный, который в силу самого себя, то есть консерватизма, разрушает все каноны?.. — Нет, конечно, это — не Рублев, не Микеланджело, ни тем паче Рафаэль, и не Матисс, никак. Это — Голиков, который сам по себе, которому закон написан им самим. Какие серьезные и деловые физиономии у голиковских коней!..

«...а актер, если он кричит петухом, приводит детишек в изумление, но если детишки установят, что кричит петухом не актер, а самый настоящий петух у актера под столом, детишки актера презирают, ибо актер обманул искусство»...

Но Голиков — не академик, никак, и не учитель. Если Голикова разложить на элементы, то «Нива» заслонит и Рублева, и Матисса. А в Палехском музее есть академик, точней, академист — Павел Львович Парилов; у Парилова ничего не осталось от русской иконы, у него нету даже «палатного письма»; он — «фряжец»; он пишет лермонтовского демона; и он — брат академиков Егорова и Моллера; он совершенно реален так, как понимали реализм академисты; законы заимствований ему известны, он их обходит; законы элементов живописи им изучены; и Парилов — олеографичен, он напоминает — не Палех, но — Лукутина, кроме Моллера и Егорова.

В Палехском музее ощущенья сквозняка веков и их неистовства, и уменья, и восхищение талантами идут никак не только от Ивана Голикова. Заслуженный Баканов, Зиновьев, Ватагин — энциклопедисты, хранители палехского «стиля» и традиций Рублева, Фрязина, Ушакова и Чирина, знатоки законов русской иконописи от Византии; Баканов и Ватагин пишут демонстрацию; Баканов пишет «Индустриализацию сельского хозяйства»; Ватагин пишет встречу челюс-

кинцев во Владивостоке; а Зиновьев пишет «Историю земли» от космоса до мамонта, до наших дней социализма, пишет Москву-порт; и по лакам этих энциклопедистов прошло иконописное умение от одиннадцатого века, от дней Андрея и Всеволода Боголюбских. Баканов фряжскую живопись сочетает с новгородцами. Заслуженный Вакуров сочетал в себе пятнадцатый иконописный новгородский век и Врубеля. Но Врубель же, и Микеланджело, и персы — у Аристарха Дыдыкина. То ли из Византии в Персию, то ли из Персии через Византию в Русию, — но персов очень много в Палехском музее, и заслуженный Котухин в Палехе вдруг реставрировал и оживил из мертвых средневековую персидскую миниатюру, шестнадцатый-семнадцатый века, и Хазов больший перс, чем заслуженный Котухин. А за Персией — Центральная Азия, Индия, Китай, века. Но в этом же музее заслуженный Маркичев — и Перуджино, и ранний Рафаэль, до Афин. И здесь же красновато-коричневый, суховатый, поджарый фламандец — Буторин. И здесь же живописнейший Иван Зубов, француз, Клод Лоррэн семнадцатого века. Фрагонар восемнадцатого, — тон, пространство, воздух, — хоть сам Зубов ни Лоррэна, ни Фрагонара не видал и убежден, что нету лучше Рафаэля, которого видел на фотографии!..

Нет, икона, производившаяся «гражданином поставщиком», разбита вдребезги, от нее осталось очень мало, — из нее родились лак и золото. Второе поколение — Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов — они не только не похожи на икону, но они не похожи и на старшее поколение, — график Баженов, выдумщик, и стилист Каурцев, живописцы Баранов и Турин, причем Турин — и Малявин, и почти современный француз.

Русские иконописцы от Византии, оказывается, пользовались приемом, который лет тридцать тому назад был преподан французскими наилевейшими художниками, как последнее слово живописных открытий, в России им пользовались бубновowалетцы, — законом обратной перспективы; в Палехском музее хранится работа — младшее поколение — Баранова, написанная от Пушкина, «Кавказ подо мною»; она на-

писана на самом деле — от Пушкина — законами обратной перспективы, — то есть художник на своих квадратных сантиметрах лака создал перспективу, когда действие развертывается и показано от Пушкина, когда зритель не Пушкина видит в перспективе на вершине горы и над облаками, но когда перспектива, и облака, и горы видны от Пушкина. Солонин — младший — написал «Женитьбу Фигаро», колоннада — пятнадцатый век, Флоренция, капелла Пацци, мастер Брунеллески; орнаментация колонн — Франция восемнадцатого века; фигуры музыкантов — Ватто; характеры, костюмы, головные уборы — французы и фламандцы восемнадцатого века, Ван-Дейк в частности; Солонин порылся в книгах!..

В музее хранится копия иконы семнадцатого века, написанная заслуженным Бакановым, — святые Борис и Глеб, в музее хранится подлинная икона восемнадцатого века — акафист Спасителю, в музее хранится работа заслуженного Котухина — «Сказка о царе Салтане»; Борис и Глеб побывали не только на двух иконах пятнадцатого и семнадцатого веков, но один из них оказался на персидском лаке Котухина в чине царя Додона.

Нет, икона «гражданина поставщика» разбита вдребезги революцией и палешанами, развеяна по ветру палехскими конями, не только голиковскими. У Сафонова работали безымянные «мастеровые». На каждом лаке, хранящемся в музее, написанном артельными товарищами, работающими в коллективе, а не в капиталистическом предприятии, написаны золотом фамилии художников. И — обязательно написано, также золотом — *Палех*, потому что это именно коллективный Палех, и тот Палех, та коллективная живописная школа, которую, — пусть здесь ночевали и Рублев, и Врубель, Моллер и Фрагонар, персы и Рафаэль, пусть для Голикова не написаны законы плагиата, — ни с чем в мире не сравнишь эту школу, созданную советским десятилетием на развалинах палехских столетий, и тех безымянных, которым помещик Бутурлин указывал, держа их «в страхе», «чинить наказание — бить батогами», которые в Пятом году готовились к Семнадцатому.

В Палехе живет изумленный народ, который на лаке, на квадратных сантиметрах лака пишет древними красками, и обязательно пишет золотом и полирует коровьим, а то лучше собачьим или волчьим, зубом, причем лак и золото оказались элементами «стиля» Палеха.

Тридцать лет тому назад около Палеха поселился художник, носящий звание академика императорской русской живописи, соратник Виктора Васнецова, Николай Николаевич Харламов. В пяти километрах от Палеха он построил себе мастерскую. Окончив Санкт-Петербургскую академию живописи, художник, сын священника, определил свою судьбу, как Васнецов, его товарищ, — храмовою фресковой живописью. Он расписывал церкви. По его эскизам делалась мозаика «Воскресенья на крови», церкви, построенной в Петербурге на месте казни Александра Второго. Он расписывал Варшавский русский собор, за что получил звание академика живописи. Окончив академию, он умел писать, и писал, и пишет до сих пор портреты, — сейчас портреты руководителей Ивановской области — Агеева, Носова. Человек с академическим живописным образованием, с большими поездками по миру, с хорошим знанием истории живописи в мире и у нас, интеллигент, — он тридцать лет жил около Палеха, он писал церковные фрески, расписывал церкви, — то есть делал то же, что делали палешане. Варшавский собор разрушен поляками, этот символ русского императорского порабощения Польши, по совершенно закономерным причинам. Церковь «Воскресенья на крови» у теперешних русских вызывает естественное презрение. Харламову под семьдесят, — лучшие годы этого художника больших живописных знаний выброшены на свалку эпох. Он вернулся к тем самым портретам, которым его обучали в академии живописи пятьдесят лет тому назад, к «академическим» портретам также полунужной надобности и полунужного мастерства, хотя они на самом деле академически-грамотны. Искусство революции забыло Харламова, в пяти километрах от Палеха, человека, вернувшегося к тому, с чего он начал. Он очень одинок, Харламов. Его дом, ничем внутри не изменившийся за последние тридцать лет,

глохнет в парке. В громадной его мастерской стоят у стен громадные заготовки церковных фресок, Иисус, Бог-отец, Богоматерь. Харламов знает, — тридцать лет тому назад он поселился около Палеха, *чтобы учиться у Палеха*, он, академик. Он учился у Палеха. Он знает, что все эти красноармейцы, рабочие, пастухи, колхозники, додоны, Пушкин на миниатюрах палешан, появившиеся тогда, когда палешане вдребезги разбили икону и иконописные каноны, все они анатомически неграмотнейши, когда всадник вдруг вдвое выше лошади, а двери в палатах вдвое ниже коня, — и он, академик, знает, что он *не смог* научиться у палешан. Он не знает, как это так получилось, что палешане расцвели золотом искусства, — ведь с полною грамотностью писал он иконы, те самые, которые кинуты в презрение. Харламов на самом деле повторил сказку о рыбаке и рыбке, написанную Зубковым, оказавшись у разбитого корыта молодости, когда от тех же самых икон, к которым с грамотностью подходил Харламов, безграмотные палешане прошли в заслуженные Советского Союза. Баканов же, Голиков, Вакуров, Котухин и Маркичев, заслуженные, вошедшие в советское искусство из развалин иконописания и поразившие в первую очередь *умением*, на самом деле малограмотны. Эти заслуженные до революции были «личниками» и «доличниками», — то есть одни из них умели писать «лики» и не умели писать все прочее, а другие умели писать все прочее и не умели писать «ликов».

Несколько лет тому назад, когда палехская артель имела уже и славу, и литературу о себе, в Палех приехала дочь художника и художественного критика Лидия Александровна Мантель. Ей было двадцать четыре года, она только что окончила живописную школу Рерберга в Москве. Она попросилась в ученицы в артель. Ее приняли и определили учиться, как некогда учивались сами художники и как учатся сейчас в техникуме их дети, — определили учиться «к мастеру» — к лучшему — Ивану Михайловичу Баканову. У нее был договор с артелью, — она должна была два года учиться и не меньше двух лет затем отработать в артели. Она показала отличные способности, — не через два, а через год она была принята в члены товарищества равноправным мастером. Она приехала, чтобы подобрать Палех, как Харламов, она была дочь знатока искусств.

Она не смогла стать товарищем в артели, не сумев сладиться с товарищественным бытом и традициями. Она должна была уйти из артели. Но она — не ушла из Палеха. В Палехе жил и живет богатырь и столяр Константин Николаевич Солонин, шестидесяти-с-лишнимлетний гигант и философ, полуграмотный, книгочей, всегда босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, с непокрытою гривой седых волос, не признающий способа умываться из умывальника, и зимой и летом моющийся на речке Палешке, зимой — в проруби, обязательно непокрытый и босой. Он был женат. Лидия Александровна Мантель полюбила его, он полюбил ее. Они сошлись. Он ушел от старой своей жены. В солнечное утро однажды палешане видели, как босой Солонин, а сзади него, перекинув башмаки на веревочке через плечо, также босая Мантель — пошли пешком в Москву. Около года их не было в Палехе. Затем они вернулись в Палех и наняли пустующую избу. Солонин судился со старой своей женою, ему присудили корову. Лидия Александровна родила девочку. И в Палехе сейчас она растит ребенка и пасет корову. Николай Николаевич Харламов полагает, что столяр Солонин загипнотизировал Лидию Александровну, дочь старого его друга и коллеги художника Александра Мантель. Лидия Александровна любит своего мужа восторженно, упоенно. Ей думается, что она счастлива. Но она была бы окончательно счастливой, если бы она вернулась в артель, куда ее не принимают вновь и, должно быть, не примут, ибо у артели есть свои традиции и своя гордость, однажды нарушенные Лидией Александровной. Лидия Александровна верит, что она будет писать, когда дочка сойдет с ее рук, — и будет писать так, как пишут палешане. Ей кажется сейчас, что палехскому искусству ее научил в большей мере, чем Баканов, ее муж столяр и палешанин Солонин, сделав ее палешанкой. Она не подобрала Палеха, Палех подобрал ее. Красивая женщина, молодая, интеллигентка, Лидия Александровна сейчас ничем не отличима от палешанок, ни одеждою, ни даже манерою говорить, так же она держит на руках ребенка и так же пасет корову.

Палехские мастера очень любят писателя Николая Николаевича Зарудина. Зарудин влюблен в Палех. Зарудин — член бригады Союза писателей, обслуживаю-

щей Палех. Зарудин всегдашний гость палехских юбилеев и торжеств. Был праздник одного из палехских урожаев — вручение циковских грамот заслуженным Баканову и Голикову. И была всеартельная чарочка великого пафоса, великих торжеств и полуночного часа. За мастерскими лежали морозы, в мастерской в тепле расплавлялись сердца, «творились», как золото. Художники собрались с женами, каждая жена пришла с брошкою на шее. Говорились речи, хмельные, как серебряная чара. И упоенно говорил Зарудин, влюбленный в Палех. Он говорил прекрасно. Его слова и мозг, обгоняя друг друга, пенились солнцем и были на высоте тех песен, которые пелись над пиром и чарой. На самом деле Зарудин был прекрасен в тот вечер, и прекрасны были его речи, похожие на песнь. И вышла на круг палешанка, и она сказала Зарудину, восхищенно и громко, так, чтобы слышали все и одобрили, о том, что шесть лет она уже вдова и чтит память мужа-художника, прекрасного друга ее юности, — о том, что как песнь и как память о муже, говорил Николай Николаевич Зарудин, разбередив ее сердце, — о том, что зовет она его Никалаюшку, от переполненного сердца к себе в избу разделить с ней пуховые ее постель и сон, никем не делимые со смерти мужа. Она поклонилась Зарудину поясным поклоном. Николай Николаевич Зарудин покраснел как маков цвет, слова отпали от него. Он заговорил поучительно-несуразное, совершенно интеллигентное. Она ожидала. Она поклонилась еще раз Зарудину, и она сказала в поклоне, достойно, целомудренно и просто:

— Не можешь, Никалаюшко? — ты скажи — не надо, я не обижусь. Я от сердца тебя позвала, и не от сердца мне не надо, Никалаюшко.

И она запела на кругу, в счастии и в горе одновременно:

Как по морю, морю синему...

Ее слышали все, и все, мужские и женские голоса, подхватили:

Плыла лебедь, лебедь белая...

Прозвища палешанами даются друг другу не случайно. Друг Дмитрий Буторин, он же Доленов, — про-

зван Ильею Федотовичем. Был в Палехе колодезных дел мастер Илья Федотович, который рыл для Палеха и округи колодцы. И никак не остался б в памяти у палешан, а тем паче не назвали б его именем прекрасного художника и прекрасного человека Буторина, если бы однажды Илья Федотович, уже под старость, вырыв последний свой колодец, запив, не плевал бы в этот колодец. И не то главное, что он проклинал свою судьбу, — Буторин ее никак не проклинает, — а то, что он плевал в колодец, нарушив истину о том, что — не плюй в колодец, пригодится водицы напиться. Поистине прекрасный художник и прекрасный человек зари туманной юности, лирик и всяческий бессребреник, Дмитрий Николаевич Буторин — не бережет своей жизни. «Наплевать!» — Он остался холост, когда мог бы прекрасно жениться, и может жениться до сих пор, на лучшей девушке села. Оставшись холостым, много работая, он растил не своих детей, а племянниц. Когда палешане волновались о сенокосе, хватит ли сена, и отбивали косы, чтобы идти на покос, Дмитрий Николаевич никак не волновался, на покос не готовился и задумывал во время покосного отпуска написать пушкинского Балду.

По палехским традициям — не дело, не стать такому мастеру. По Буторину, — «наплевать!» — и именно поэтому — Илья Федотович. Труд свой надо беречь и ценить, жизнь свою надо делать и устраивать по мере сил в упорном труде до старости.

Другой холостяк и заслуженный в Палехе — Иван Васильевич Маркичев, — о нем ничего не скажешь. Он сам в порядке, дом у него в порядке, перед домом в палисаднике цветут пионы, георгины и астры; в гости он пойдет, в гости к нему придут, все в порядке; он заслуженный, он работает; женские его дела в секрете; и прозвание ему молодецкое, удалое — Иван Забелой. Палешане умеют трудиться и чтить правильные дела, строящие жизнь.

Десять лет тому назад артель начиналась нищенски, — артельщики сложились двумя рублями членского взноса и десятью рублями паевых. Артельщики не умели делать ни папье-маше, ни лакировать. Вместо презрительного «богомазы» их стали называть не менее презрительно — «коробошники». Артельщикам

было очень трудно и голодно. Они работали, учились, портили, учились, существовали со сторублевым «капиталом». И был, и есть до сих пор член артели Александр Иванович Блохин, тихий человек, мечтатель, хороший мастер. На каждом общем собрании Александр Иванович Блохин выступает теперь с одной и той же речью.

— Простите меня, товарищи, — говорит он. — Я сознаю, я виноват перед всеми и прошу — простите! восстановите мне стаж!..

Когда начиналась артель, когда артельщики, упорно трудясь, и учась, и ошибаясь, подголадывали, у Александра Ивановича пала лошадь, и он уехал в Москву на более легкие заработки. Он выбыл из артели, как не работающий. Он был принят вновь в артель, когда вернулся в Палех, когда артель была уже сильна. Но он не был уже членом-учредителем. Он оказался мастером второго призыва. Материально стаж Блохину ничего не дает, — ему хочется восстановить стаж, чтобы восстановить свою артельную честь.

Харламов тридцать лет жил около Палеха. Голиков — никак не классик, и никак не все для Палеха. В Палехском музее хранятся работы Павла Парилова, он совершенно реален, для него обязательны законы заимствований, элементы живописи им изучены, и Парилов очень часто олеографичен; и не только он, но многие другие, и даже Голиков, когда они отходят от золот на лаке, от «стиля», как говорят они, они сваливаются в олеографию и в лубок. Тогда председатель товарищества и критик Александр Иванович Зубков говорит:

— Немастеровато сделано.

Около архитектурно-фрескового — второго Палехского музея — покоится могила. На могильном камне эпитафия:

«В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!..»

Это — могила писателя Ефима Вихрева. Первый, кто печатно заговорил о Палехе, был — ивановский пролетарий, коммунист Ефим. Вся писательская работа Ефима связана с Палехом. Без писательских работ Ефима Палех бы не был тем, что он есть. Шуянин ро-

дом, ивановец по воспитанию, человек из рода суровых ткачей, пролетарий, рабфаковец, родившийся в 1901 году и член коммунистической партии с девятнадцатилетнего возраста, — через шуйских и ивановских ткачей он создал понятие пролетарского рыцаря, на самом деле став рыцарем Палеха. Ефим умер 2 января 1935 года. Он ездил из Москвы в Палех организовывать юбилей, там захворал, по дороге из Палеха в Москву в Шуе умер. Он похоронен в Палехе. В дневнике Ефима осталась запись:

«...За гранью Палеха — юность. Я готовился к Палеху двенадцать лет. Я искал его всю жизнь, хотя он находился совсем рядом — в тридцати верстах от города Шуи, где я рос и юношествовал. Чтобы найти его, мне потребовалось отмахать тысячи верст, пройти сквозь гул гражданских битв, виснуть на буферах, с винтовкой в руках появляться в квартирах буржуазии. Вместе с моей страной я мчался к будущему. Мне нужно было писать сотни плохих поэм. Я рвал их, мужая. Я негодовал и свирепствовал. И, пройдя сквозь все испытания юности, на грани ее, я нашел эту чудесную страну...»

«...и Капабланка, конечно,
знает больше...»

Палешане умеют трудиться, умеют делать. В течение столетий палешане писали на досках, на проолифленных левкасах. Голиков принес в Кустарный музей дно фотографической ванны, папье-маше, лак. Это было открытием, но от открытия до начала артели лежало еще очень много перепутий. Палешане не умели делать ни папье-маше, ни лака — лака в первую очередь, того самого лака, который родился где-то в древности в Китае иль Индии, оттуда ушел в Персию и Японию, а в Россию к Лукутину пришел уже из Европы, в конце осьмнадцатого века. Артель началась нищенски, двумя рублями членского и десятью рублями паевых. Через Кустарный музей артельщики получали федоскинский полуфабрикат, и этот полуфабрикат отсылали в Федоскино же для полировки, — «коробошники».

И у артели возникла целая эпопея поисков умения и «секретов», когда артель сама начала делать папье-маше и лаки, эпопея, длившаяся до тридцать третьего года, почти десятилетие.

Первым поехал на поиски «секретов» в Федоскино первый председатель артели, ныне заслуженный друг Александр Васильевич Котухин, последним ездил лакировщик и друг Михаил Иванович Блохин.

Первые секреты вывез Котухин; он видел, из чего делается папье-маше, он видел прессы, жомы и колодки; он под Палехом нашел «филесский грунт», как называется глина, которой шпаклюется папье-маше федоскинцами, добываемая под Москвой около Филей; *Котухин привез с собой от федоскинцев запасы лаков;* изобретатель, столяр и друг Михаил Николаевич Бабанов изобрел для артели свой прессовальный станок; большою водкой выведал у федоскинцев Котухин номера картонов — двадцатый и сороковой, «финляндские»; громадным опытом ошибок артельщики сушили, недосушивали, пересушивали, коробили, сжигали, портили материалы, картоны, масло, лаки, — изучали пропитывание маслом папье-маше, склейку, просушку, обжаривание, шпаклевку, очистку, окраску — и *лакировку*. Самоучка и изобретатель Михаил Николаевич Бабанов оказался гением, — он вскорости научился делать коробочки всех фасонов крепче, красивее и удобнее федоскинских.

Но лакировать — федоскинцы лакировали лучше. *И кончились запасы лаков, привезенные некогда Котухиным от федоскинцев.*

Достали новый лак в Москве, полировали, — лак не сох или пересыхал, коробился, растрескивался, блекнул, желтел, гасил краски, — и однажды на пятьдесят тысяч рублей — на пятьдесят тысяч! — артели вернули продукцию, потому — что лак потек, прилипал к пальцам, замутнил роспись.

В те времена Всекопромсовет приставил к Палеху друга Ивана Ивановича Василевского, ныне помощника директора Палехского музея. На Палех надвигалась гроза, в никуда сбрасывавшая его искусство — отсутствие лака и плохая лакировка. Иван Иванович Василевский и председатель Александр Иванович Зубков взялись за поиски лаков и за приготовления.

Оказалось, что «секреты» лаков заключены в способах его варки. Федоскинцы сказали, что «секретов» у них нет и что они дорабатывают старые запасы, мамонтовской рецептуры *номер тридцать девять,* тот же лак, что был и кончился в Палехе, — а мамонтовские рецепты потеряны вместе с Мамонтовым в революции.

Иван Иванович нашел в Загорске некоего монаха Афоню, он же Алексей Георгиевич, коий будто бы варил лаки для Троице-Сергиевой лавры и знает «секреты». Афоня сказал, — да, знает, — и варил лаки сначала на подсолнечном масле, а потом на маковом. Раз двадцать ездил к Афоне Иван Иванович, — раз двадцать пробовали афонины лаки и портили вещи в Палехе. От Афони отказались с негодованием.

Художник Рыбников, реставратор Третьяковской галереи, посоветовал Ивану Ивановичу обратиться к науке — к Институту лаков и красок, познакомил с научным сотрудником Института, с товарищем Урановым. Уранов взялся за дело всем сердцем. Уранов и Иван Иванович варили лаки в Институте на копалах, то есть на смолах тропических растений, на музейных экспонатах Института, по рецептам, вычитанным у китайцев, — то есть варили по науке. Изварили музейные запасы конго, каури, манилла, серлиди, тропические смолы; копалы то сваривались с маслом, то застывали «козлом», в зависимости от температуры того и другого; сам Уранов учился на этом варении заново. Наконец наварили пять килограммов лака. Поехали с лаками в Палех.

Не успели прогреться с мороза и опохмелиться, — отправились в мастерские пробовать лак. Отлакировали, только-только положили в сушилку — лак произрос, как инейные хвощи на стекле в морозы на окошках, ничего не выходило. Стали изобретательствовать на месте. Изобретательствовали. Науке вопреки, подсыпали в лак кобальтового сиккатива, — лак стал держаться, но лак окончательно темнил краски. Ничего не выходило.

Вся артель сидела в лакировочной мастерской и мучилась в раздумье. В раздумье сидения однажды Александр Васильевич Котухин принес лаковую банку прежних запасов, еще мамонтовскую, привезенную от

федоскинцев; на банке стоял *номер* лака — *сорок*, а не *тридцать девять*, то есть федоскинцы обманывали, говоря, что они работают на тридцать девятом.

Уранов о лаке номер сорок ничего не знал. Со старой банкой и с несколькими каплями лака, застывшими на дне банки, Уранов и Иван Иванович помчались в Москву, в Институт, производить химический анализ. Анализ толком ничего не дал, кроме того, что таинственный лак варен не на копале-манил, а на копале-каури.

Начали варить на каури. Варил весь лаковый цех Института. Уранов ночей не спал вместе с Иваном Ивановичем. Ничего не вышло.

Стали искать мамонтовских людей, нашли англичанина мистера Аннэта, который у Мамонтова плавил копалы. Аннэт рецепта *не знал, но знал «секреты» варения*. Полезли в архивы, перерыли архивы, нашли рецепт, — каури плюс кипящее льняное масло (но никак не олифа!) плюс домара (то есть минеральная смола) плюс терпентиновое масло.

Варили. Сварили весь музей, — но варили *без мистера Аннэта*.

Опять поехали в Палех.

Лак перестал «грибить», давал ровную поверхность, но — тушил краски и не блестел.

Опять помчались в Москву — к мистеру Аннэту. Аннэт сказал, что варили неправильно, без «секрета», и взялся сам варить. Доставали лицензию на копал-каури и домару, Иван Иванович ездил в Вологду за терпентином. Пришла посылка из-за границы, — домару не прислали, — стали искать домару по России и нашли — под Мстерами, на заброшенном лаковом заводе. Заключили договор с заводом лако-красок в Москве, завод потребовал меди для котла. Иван Иванович доставал медь, достал. Приступили к варению. Перед самым варением мистер Аннэт напугал, — сообщил, что лак надо будет выдерживать десять лет, что лак «созревает» только после хорошего отстоя, потом успокоил, что, мол, он знает еще один «секрет», как обойти это лаковое обстоятельство.

Есть лак!

Нету больше лаковых «секретов» ни у Мамонтова, ни у мистера Аннэта, ни у федоскинцев, ни вообще в СССР! — Палех раскопал все копалы, и каури, и ма-

нилл, и конго, и домару. Иван Иванович сделался химиком не хуже Уранова. Палех сделал лаковое открытие не менее значимое, чем его искусство.

А полировка — полировка у федоскинцев была лучше.

Лак и не тушил, и не грибил, а не было у палешан той алмазной поверхности, что у федоскинцев. А вообще, лак грозою вставал уже и перед Федоскином, и перед Мстерами. Мстеряки и федоскинцы запросили лака у палешан. Палешане — дали с расчетом, — хотели посмотреть, как этот лак заблестит у федоскинцев. Сравнили затем — «наши помирают, а их кричат вовсю», — как определил Михаил Иванович Блохин, палехский полировщик. Стало совершенно ясным — «секрет» не в лаке, а в полировке. Федоскинцы знали нечто, чего не знали палешане.

В то время — в тридцать втором году — в Москве была выставка русского лака, палешан, федоскинцев и мстеряков; и на выставке ж было организовано производственное совещание. Доклад о лаке делал Уранов, — федоскинцы слушали его со вниманием великим. Но на вопросы о способах полировки не молвили федоскинцы ни слова, покуривали и посмеивались себе в усы, — «секрет» не выдали.

И тогда к делам приступил Александр Иванович Зубков, председатель. Он вспомнил «заветы отцов». Он собрал правление, и правление направило полировщика Михаила Ивановича Блохина «в научную командировку», как сказано было в протоколе, — в Федоскино с тем, чтобы Михаил Иванович прознал «секрет». Даденый были Михаилу Ивановичу триста шестьдесят рублей безотчетных и даден был наказ денег не жалеть, перепоить все Федоскино, но «секрет» украсть.

Михаил Иванович рассказывает о своей командировке:

— Приехал в Федоскино, пошел в правление к председателю, показал документы. Он мне сказал: «Смотри производство», — отвел в мастерскую, познакомил с мастером Ильею Ивановичем. Мастер смотрит на меня, как есть, волком. Как ушел председатель, он мне говорит: «Знаем палехских плутов, вы только к нам ездите да слизываете!» Я смотрю, как он работает, а он ничего не делает, на меня глядит. Я закурю, он у

меня папироску возьмет. Я выйду, — он берется за дело. Я приду, — он на меня смотрит, поругивается, а то молчит и курит. Так целый день просидели. На другой день я пришел, говорю: «Давай на двух продукциях работать будем, — я свой лак привез, попробуем», а он мне: «Что мне пробовать, я сорок шесть лет пробовал!» — «А как выпить, — пьете?» — спрашиваю. — «Мы рабочий народ, — отвечает, — можем, только бы деньги были». Об деньгах я молчу, я говорю: «Где бы магазин найти?» Он говорит: «Магазин есть, да завмага посадили за растрату, не торгует магазин в силу переучета, за три версты надо идти». Я пошел, купил четыре литра, — закуска у меня была еще из Москвы. На обратном пути к трем литрам за горлышки привязал я веревочки и спустил их в речку, припрятал, а с четвертым иду к Илье Ивановичу. «Ну, как, — пришел, достал?» — «Достал», — говорю. — «Ну, хорошо, сейчас поправимся, — стакан вынул, — будь за хозяина, наливай!» Налил я ему стакан. «Будем здоровы», — говорит, выпил. Я ему еще стакан налил, опять выпил, помолчал, посмотрел в окошко, встал, надел фуражку, сказал: «Ну, до свиданья!» — и ушел. Вот тебе и «секрет!». Пошел я к завхозу, взял со дна речки второй литр, пою завхоза целый вечер, к нему кумовья пришли, — я говорю: «Я еще за вином схожу», — меня спрашивают: «А где ж ты достанешь?» — «У меня припасено». Я третий литр со дна достал, пьем, заговорили о деле, он мне говорит: «Нет, сынок, мы годами учились, а ты в неделю все хочешь произойти, — не выйдет! есть секретец, да я тебе его не скажу!»

Михаил Иванович за последним литром на реку пошел, темно; слышит, точно буйволы в воде храпят и возятся: двое федоскинцев в воде ползали без штанов, один из них кум, что у завхоза был, — блохинскую водку в воде искали, подсмотрели, где он прячет, замучились в воде. С утра Михаил Иванович Блохин опять купил четыре литра, опять три из них потопил, пришел в мастерскую к Илье Ивановичу, пили весь день, но дела не делали, опились окончательно. А «секрета» нет. Вечером — завхоз. На третий день Илья Иванович совсем на работу не вышел, и завхоз пропал. Три дня завхоз и Илья Иванович от Блохина бегали, — федоскинцы устрашились блохинской водки. А к концу недели — сдались, не выдержали,

вновь опились, и опитый Илья Иванович выдал «секрет» — говорил: «Вы ведь, палехски, когда лак подсохнет, трете суконкой с пемзой, а от этого все-таки остаются царапины, — а надо после того протирать трепелем. А кроме того, вы ведь, палехски, пемзу салом стираете, а надо — не пемзу, а трепель — стирать деревянным маслом. Вот и весь секрет... Эх, вы, плуты!..»

Наутро Михаил Иванович возвращался в Палех из научной командировки. «Секрет» был найден: надо было дополировывать трепелем и надо было окончательно протирать не салом, а деревянным маслом. «Секрет» был найден и — тем самым — уничтожен.

Есть лучший в СССР лак и способы полировки, уничтожившие «секреты» и созданные палешанами, эпопеей, длившейся без малого десятилетие.

А лак —

Лак родился где-то в Индии иль в Китае тысячелетия два тому назад из ядовитых смол и трав столь крепких, что тысячелетия, а в Японии до середины прошлого века из лака делали оружие, стрелы и панцири; на этих лаках и под этим лаком китайцы писали свои картины, прожившие тысячелетия. Лак клался в Китае на дерево. — В начале второго тысячелетия от рождества Христова лак с азиатского Востока пришел в Иран, в Персию, — и в Персии лак лег на папье-маше. В шестнадцатом веке папье-маше и лаки добрались до Европы, сначала в Англию и во Францию, затем, в начале осьмнадцатого, в Германию, в Брауншвейг. Из Брауншвейга, в 1795 году купец Коробов привез лак и папье-маше под Москву в Федоскино, зять купца Коробова купец Лукутин образовал лаковую мануфактуру, которая к семнадцатому году превратилась в федоскинскую артель. Лак бродил по миру веками, веками осваиваясь. Из Китая через Персию и Европу лак пришел в Палех, уничтожив в Палехе свои «секреты».

Нигде в мире, кроме Палеха, не употребляются на лаке иконописные, яичные краски, ни у федоскинцев, ни в Европе, ни в Персии, ни в Китае, ни в Японии, краски, единственные в мире на лаке, делающие единственным в мире палехский лак. Сами по себе эти краски не новы; древняя живопись пользовалась ими в совершенстве; они утрачены были для современной живописи; Палех их возрождает так, как никто в мире.

Лак — краска — *золото*. Как лак, так наново найдено палешанами золото. Древняя икона употребляла «иконопись на ассисте»; ассист — это клей, варенный на чесночном соку; ассистом писался орнамент; растиралось сухое золото; разминался мякиш черного хлеба; мякишем бралось тертое золото; золото прилипало к ассисту; ассист высыхал; так возникали золотые орнаменты. Начав иконопись на ассисте, палешане отказались от этого способа, ибо он был груб для миниатюры, где золото надо иной раз класть так, чтоб оно видно было только сквозь лупу. Они золото (и серебро) *творят*, как краску, *на ассисте, на клею*, — и они небывало возродили коровий, а того еще лучше собачий иль волчий зуб.

Палех умел и умеет трудиться. Палеху приходилось очень много искать. Он очень много сделал, этот изумленный народ. Каждое пятнадцатое и тридцатое число собирается *комиссия*. За столом в правленской комнате товарищества садятся старейшие, председательствует Зубков, секретарствует Буторин, очень торжественно. Из ящика Александр Иванович вынимает миниатюру за миниатюрой по очереди, артельную продукцию за две недели. Члены комиссии просматривают вещь, вздыхают и молчат.

— Ну, как же, товарищи, осудите? — спрашивает Зубков.

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Ножка у ей сделана, вы поглядите, — говорит Ватагин, вздыхает и клонит голову набок. — Если по стилю, можно отступить от анатомии, а стилю-то маловато, да...

— Да, не реально, — говорит справедливейший Баканов, — реальности мало... и золотце небрежно положено... я за первый сорт.

Сортов, кроме индивидуальных расценок, шесть, — *а*, *б*, *в*, первый, второй и третий; сорта расцениваются по сантиметрам — сорт *а* — десять рублей сантиметр, третий — два рубля тридцать копеек.

— Не мастеровато, значит? — спрашивает Зубков. — Золотовато?..

— Какие писать замечания? — спрашивает Буторин.

— Пиши, — нету реальности стиля, торопится парень, — говорит Чикурин, — торопится, а мастер мастероватый.

— И про ножку вставь, да, — говорит Ватагин.

Они очень строги, старейшины, и протоколы, написанные Буториным, гласят следующее:

«...*Корила О. М.* 3-й сорт. 4 коня — копыта велики».

«...*Белоусов Л. И.* 2-й сорт. Закрыть каретой руку с пистолетом».

«...*Душин Ф. М.* Возвратить на переделку, комиссия предлагает не халтурить».

«...*Паликан' В. М.* 3-й сорт. Исправить голову у сына царя. Комиссия предлагает не сдавать темпы».

«...*Корованин Е. А.* Первый план увеличить против заднего. Рожь не хороша, переделать. Орнаменты на всех шкатулках одинаковые, нужно разнообразные».

«...*Котухин В. В.* «В». У Кощея убавить ногу».

«...*Баканов А. Г.* 1-й сорт. Удлинить красную корову, у зеленой показать ноги».

«...*Еремин В.* Допущена ошибка — парень сидит в лодке, свесив ногу в воду».

«...*Хохлов А.* На лак попал сор. Можете писать вещи качественно лучшие».

«...*Лызников И. К.* Тематику с убийством не пишите».

«...*Малахов М.* Возвратить в переделку — креслу пристроить ножку и правильно написать подлокотышку кресла».

«...*Першин И. А.* Женщина далеко отодвинута, почему жест объятия приобретает неестественный характер.

«...*Хохлов Н. М.* «В». Чувствуется улучшение в композиции и тщательности».

«...Гулянка, хоровод, пляска. Виртуозность во время пляски парня или девки... Пьяная компания, сам в ней»...

Ив. Голиков.

Шестого июля, в субботу, в Дягилеве была престольная Владимирская. Седьмого в Красном был престольный Креститель. Созрели уже земляника с черникой.

Отцвели уже — рожь, пшеница, овес, лен. Цвели ромашки, васильки и клевер. Восхищенный народ готовился уже к сенокосу. А пятого приехали с Кавказа, из Армении, куда ездили в гости к армянскому Союзу писателей, старейшие и почтеннейшие, заслуженные друзья Котухин, Маркичев и Вакуров. Побывав на озере Севане (которое в скором времени исчезнет, превратившись в семь новых озер, оросив Закавказье), побывав в Эривани, на строительстве и в колхозах, заслуженные по две недели сидели в Эчмиадзине, в эчмиадзинской библиотеке, роясь в рукописях одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого армянских веков. Они копировали концовки, заставки и иллюстрации этих рукописей. Они привезли за-ме-ча-тельные вещи, поразительные, о которых *никто* не знал, не знали даже армянские художники, — замечательные рисунки, цвет и краску, необыкновеннейшие, смелейшие композиции. В пятницу пятого заслуженные парились в банях. В субботу с трех часов товарищество двинулось в Дягилево, к друзьям: философу Зиновьеву и любителю красот сельской жизни Чикурину.

И — если из ночи столетий до Семнадцатого года палешане сумели вынести к солнцу новые лак, краску и золото своих миниатюр — оттуда же изумленный народ принес новое веселье, консервативное так же, как голиковские стихи. Если каждый день за четырьмя часами была серебряная чара, то это была чара изумления. Должно быть, так пили фламандцы в свои лучшие дни. Так пьют грузины. У палешан не бывает пьяных и пьяных скандалов. Самое большее палешане бывают — в чихире. Палехская чара, дополненная песнью и работой, из злой водки выродилась так же, как левкасы икон выродились в лак сказки.

К Чикурину и к Зиновьеву на праздник приехали с российских весей дети. Пили и пели. Ходили всем товариществом купаться на Люлех. На улице завился хоровод — театральное действо само собою подразумевается. В хороводе ходили актеры и актрисы, играя в песню и в жизнь, как песня. Начала хоровод молодежь, та, которая *не удивлена*, — военный сын Чикурина с ромбом на лацкане, учительница — дочь Зиновьева, учителя, инженеры-дорожники и технологи, врачи, агрономы, дошкольницы, плановички и великое множе-

ство студентов — в первую очередь палехского живописного техникума. Военный сын Чикурина «играл» в жениха. Этот, уже не удивленный, народ, девушки и юноши, нарядные и по молодости очень степенные, пели по-хороводному алые и лазоревые, — пели:

...Хожу я, гуляю вдоль по хороводу...
    Заинька беленький!..
Ищу, выбираю богатого тестя...
    Заинька беленький!..
Нашел я, выбрал богатого тестя...
    Заинька беленький!..
...Пойду погуляю вдоль по хороводу...
    Заинька беленький!..
Ищу, выбираю богатую тещу...
    Заинька беленький!..
Нашел я, выбрал богатую тещу...

«Теща» и «тесть», довольные и смущенные, вышли на круг, принятые улыбками, пошли по кругу павами, актеры. Затем на круг вышли, так же вызванные песней и так же довольные и смущенные актеры «шурин» и «свояченица», пошли павами, заиграли. Затем вышла и «невеста», заведующая палехскими яслями.

Нашел я, выбрал богатую невесту!..
    Невесту, заинька!..
Будь ты мне невеста, а я тебе муж!..
    Буду, заинька!..

Затем началась расплата:

Я, пропивши пиво, свово тестя в рыло.
Я, проевши пироги, свою тещу в кулаки.
Я, изъездивши коня, свово шурина с двора.
    Заинька беленький!..
Молодой своячнице — дорогой подарочек.
Дорогой подарочек — шелковую плетку.
    Заинька беленький!..
Весел я, весел, что один остался,
Что один остался со своей младою милой.

Доктор Чикурин, «жених», шел гордо и независимо, приплясывая, и рядом с ним шла «невеста», заведующая палехскими яслями, и довольная и степенная от смущения. Артисты играли во все свои таланты, не жалея сил и смеха. А наряды на девушках, а сам хоро-

вод много раз были написаны и Бакановым, и Ватагиным, и Зиновьевым, и Чикуриным, и Голиковым. Пьяных не было. Хоровод вырос человек до двухсот, до мистерии, — киновари, баканы, лазури, золота, сионские земли, охры. Ликовали тальянки, песнь и актерство. Сердце председателя Александра Ивановича не выдержало — он пошел по кругу в присядку. И говорил речи, любитель поораторствовать.

— Товарищи, — говорил он изумленно, — что делается!.. — какие у нас праздники, вы понимаете?! Во-первых, сегодня праздник Конституции у нас, а также праздник кооперации...

— ...а в-третьих — Владимирской! — иронически вставлял Буторин.

Зубков отмахивался и не слышал.

— Во-первых, Конституция, товарищи, во-вторых, кооперация, а в-третьих, товарищи, вы смотрите, что делается, вы понимаете? на праздник в Дягилево...

— На Владимирскую... — вставлял Буторин.

Зубков отмахивался, не слыша.

— ...в-третьих, товарищи, что делается, вы понимаете?! — на праздник в Дягилево приехали две легковые машины, и одна из них принадлежит нам, то есть артели художников древней живописи. И это есть наш заслуженный пролетарский праздник... а в-четвертых...

— ...Владимирская... — вставил Буторин.

— Митька, отстань к черту!.. — в-четвертых, и самое главное, товарищи, вы понимаете?! — приехали наши друзья заслуженные деятели искусств Котухин и Маркичев из научной отъездки с Кавказа!.. Вы понимаете, это всеобщее наше ликование, когда не то что при Сафонове расписывать храмы богами, а для науки наши товарищи ездили в Армению и сидели в Ечматзине над армянским искусством одиннадцатого века, где до них никто не сидел. И это, кроме Конституции, наш главный праздник.

— ...и Владимирская...

— Митька, отстань к черту с владимирским туманом!.. и я предлагаю, товарищи, всем спеть «Чарочку» нашим заслуженным друзьям!..

Старшее поколение палешан — на редкость здоровые люди, шестидесятилетние выглядят сорокапяти-

летними. Котухин и Маркичев, два друга, богатыри, адмирал и Иван Забелой — тому свидетели. На праздник они пришли в соломенных шляпах, по-кавказски, еще не окончательно отошедшие от путешествия, долго пребывали в степенности, а потом растворились в хороводе и молодежи, среди девушек и юношей, сами молодые, как молодость, — застряли в ночи, растворились в ночи и в молодежи.

Седьмого работали до четырех, а в четыре, во главе с Котухиным, Маркичевым и Буториным двинулись в Красное — в киновари, баканы, лазури, кобальты, в охры и золота хороводного действа. Купались на Люлехе. Ходили в хороводе. Опять врачи, агрономы, инженеры и студенты, — то есть палехская молодежь, — учиняли мистерию, пели:

Как по первой по пороше
Шел Ваня хороший,
Не путем шел, не дорогой —
Чужим огородом!..

Восьмого числа изумленный народ работал и отдыхал по домам. Девятого числа, после работы, в четыре часа дня, двинулись — к большим соснам, в лес, — в то самое место, где тридцать лет тому назад собирался революционный подпольный кружок. И пошли туда — те, кто остался жив от того кружка. Кроме водки, захватили с собою баранины. Кавказцы жарили на костре новое в Палехе блюдо — кавказский шашлык.

И найден был клад, — найдено было место, где зарыта библиотека подпольного палехского кружка: ее зарывал не библиохранитель Николай Лапин, но — Александр Васильевич Маркичев, Пистон по прозвищу, первый палехский и замечательный сатирический хороводный артист. Библиотека зарыта около дома Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, против третьего окна в проулок.

Поминали о кладе, скидывали воспоминаниями с плечей своих по тридцать лет каждый. Большие сосны поистине громадны, столетние, своими кронами высоко поднимающиеся над лесом. С поруби около них тянул ветерок и пахнул земляникой. Солнце садилось за лес по принципам палехской живописи.

А молодежь и пятого, и шестого, и седьмого июля, после хороводов несла по полям, по Люлеху и Палешке осколки песен, смешки, поцелуи, мистерии, ласку, — прятала их во мраке, расплескивая мрак весельем, и уносила их по избам, когда поднималось бакановое солнце. Занятия в палехском техникуме закончились, экзамены отошли. В *весну тридцать пятого года был первый выпуск техникума*, наряду с первым выпуском советских десятилеток, — первый выпуск палехских, грамотных в правописании, в знании русской истории и политграмоты, художников. *И если разительно различие той учебы, которую проходили Арбековы, отец и сын, то различие учебы, пройденной Иваном Ивановичем Зубковым и его дочерью Тамарой, Иваном Ивановичем Голиковым и его сыном Юрием, художниками, — еще более, гораздо более разительно.* Отцвели ландыши и калина, цвели лесные белые фиалки, ромашка, мята, щавель, клевер. Над рожью по утрам вдруг поднимался дымок, летел над рожью без ветра, — это летела пыльца ржаных тычинок, опылялся, оплодотворялся хлеб. Цвели липы. На рассвете и в три часа дня играл рожок, собирая стадо. Палешка и Люлех звенели детскими и женскими голосами купавшихся, опускавших свои тела в тенистую зелень вод под соснами и ольхою, нависшими над Палешкой. Ночи напролет звенели песни, вздыхала гармоника, во мраке в полях, на задах под деревьями, у Дома соцкультуры, расплескивались женские смешки. Творились ночные мистерии. И поднималось солнце. У каждой женщины в Палехе, в возрасте, предназначенном природою для рождения, обязательно на руках ребенок, а второй ребенок тянет мать за юбку. У каждого художника множество детей, и даже у холостого Буторина бегает дочка. С рождения дети в Палехе умеют держать кисточку, с рождения считая естественным состоянием человека состояние художника.

И поднималось солнце...

Изумленный Голиков записал:

«...не только нам и нашим детям, а хоть и женам давай в руки кисть. Да, жены наших детей будут тоже художниками. Они теперь уже учатся в нашем техникуме. Мы нашли свое место в революции. Жизнь наша

становится красивой, как наши картины и коробочки. Революция наш нудный штампованный труд переключила на большое, свободное творчество. Нет теперь вдохновенных художников-пьяниц. Они стали лучшими мастерами, и им присваивают звание заслуженных деятелей искусства. За это благодарим советскую власть...»

И поднималось солнце...

Из столетий своей доистории, за Октябрем, Палех в наш суровый, боевой пролетарский век выглянул радостью, весельем, поэзией — *умением* — *сказкой*. На самом деле, в трехстах километрах от Москвы, в тридцати километрах от железной дороги, — не один, не два, но несколько десятков, со ста двадцатью учениками, с громадными мастерскими, с государственным музеем, живут художники, объединенные в артель, в тот коллективный труд, который развивает *индивидуальности*, в то товарищество индивидуальностей, которое создает *школу*, причем труд в этой школе построен так же, как во времена Беллини и Рафаэля, когда у великих *мастеров* были великие *ученики*. Эта школа, *порожденная революцией*, возродившая *не только* подлинно русское искусство, но указавшая, что культура этих товарищей восприимчива к искусству всего *мира*, — эта школа есть закономернейший *социалистический* результат последнего десятилетия, революции, коммунизма.

Наутро мастера идут на работу, в мастерские. У окон столы, за столами художники. У каждого стола прославленного — четверо-пятеро учеников. Мастера сидят в нижних рубахах, с помочами наружу, иной раз полубосы, в комнатах пахнет махоркой. Творение на яичном желтке краски — лазури, охры, хроны, умры, баканы красный и зеленый — разлиты по суповым деревянным ложкам, у которых отрезаны ручки. Кисти, сделаны из беличьего хвоста, самодельны. Около золот и серебра лежат коровьи и собачьи зубы. Там, где работа недоступна глазу, там употребляется лупа. Ученики следят за каждым движением учителя, за тем, как он кладет золотой блик на глаз иль как пишет он плавью, — как он сворачивает собачью махорочную ножку, закуривает, прищуривает глаз и медленно всматривается в свою композицию, как в раздумье он запевает, — «эх,

во суббо-оту»... — Мастер говорит иной раз ученикам, юношам и девушкам, заглядывая в их работы: — «Ты гляи, что у тебя деется, — нога-то у Кощея больше, чем он сам, а зеленая корова его меньше, — как ты свою композицию делаешь? — ты с какой перспективы работаешь, покажи... улучшай тщательность!..» — Мастер берет газету, от которой оторваны углы для собачьих ножек, и расчерчивает на ней палехские законы перспективы и анатомии. Ученики ложатся мастеру на плечи, чтобы удобнее видеть. — «Ты гляи, видишь? — вот это — да, композиция. Понял? — в композиции обязательно должно быть такое место, чтобы в глаза бросало, чтобы глазу разлететься, это — да... пиши дальше»... — Мастера задумывают свои композиции и зарисовывают их на бумаге, иной раз на газетном лоскутке, и оттуда переносят на лак, уже без карандашного рисунка, прописывая рисунок белилами, на которые впоследствии будут положены все палехские краски и все золото. Написанные вещи мастера ставят на самое яркое солнце, ибо палехские краски, вопреки вообще краскам, становятся на солнце ярче и полноценнее и меркнут во мраке. После солнца написанные вещи, еще до первой полировки и до золота, идут в высокие температуры сушильных печей. В комнатах тихо, пахнет махоркой, иной раз возникает песнь вполголоса, в раздумье. Люди трудятся. Так до четырех часов вечера.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поднималось солнце. На заре играл пастух в трубу. «Урядники», — то есть жены художников, доили по дворам коров и гнали их к архитектурно-фресковому второму Палехскому музею, то есть к ликвидированной и превращенной в музей церкви. Пастух угонял коров, нетелей и овец на пастбище. Женщины, босоногие по росе, похолодевшие в заре, ложились на часик в постели к теплым мужьям, — и поднимались за час до мужей, чтобы принести воды, напоить мужа чаем, спечь ему лепешку. Мужья уходили в мастерские. У жен оставались дети и печка, обед, белье, двор, погреб, баня, куры и вздоры, кроме общественных дел — прополки коллективных полей, поливки коллективных огородов,

коллективной навозницы, и оставалось коллективное отличие женского быта от мужского.

Мужчины жили в изумлении и при искусстве, а жены... Один-единственный Алексей Иванович Ватагин, при «чихире», наименее пьющий художник, скашивал набок голову и говаривал лирически: — «Вот моя Андревна, это — да, я ей скажу: Андревна, чтой-то выпить хочется, а она спрашивает: какой — простой или сладенькой?..»

Жены считались «урядниками». Александра Михайловна, жена художника и хозяйка Сергея Ивановича, сдавшая Арбекову всю свою избу и переселившаяся спать на чердак, сказала таинственно:

— А в стаде-то что у нас деется, никогда такого не слыхивала, — бык у коров молоко ворует.

— А чего пастух смотрит?.. — откликнулся хозяин Иван Васильевич, по прозванию Колбаскин, — эти наши женщины пастухов нанимают не по делу, — сказал он в пространство, — пастух хорошо на трубе играет, значит, хороший пастух, а дела пастух не знает, кроме трубы...

— Это, значит, пастух для нас играет в трубу?

— Обязательно для вашего удовольствия, для услаждения!..

— Ты сам встань в три часа, подои, — усладись вместо меня.

— Это не моя повинность.

— Известно, не твоя! — твоя — литрии считать да с ученицами лясы точить... Где ты вчера был, ну, где?

— Я с товарищами... в силу крайности... опять же заслуженные с отъездки приехали.

— А кто из вас Нюрке Кориной цветочки нарывал?

— Ну, ты уж скажешь. Это, между прочим, разный сор под ногами рос...

— Известный сор у девок под ногами.

Мужское поколение палешан — на редкость здоровые люди, которых ничто не берет. И все они — поэты. А жены...

Александра Михайловна пребывала в делах и заботах, тихая и никем не слышимая. Она кормила людей и скотину. Она мыла полы в доме, подметала у дома и полола свой огород, две грядки клубники, две грядки помидор, две грядки чесноку и луку. Она по заре, до

часа, когда проснется повелитель, ходила за ягодами и за грибами в лес. Она щупала кур, отваживала клушек и вместе с клушкою выводила цыплят. На рассвете и в три часа дня играл пастух на рожке, собирая стадо. В час дня и в восемь вечера пастух пригонял стадо. На Советской площади, на улицах Баканова и Голикова стадо поднимало пыль, мычали коровы, блеяли овцы, бестолковейшие от роду, — и Александра Михайловна вместе с остальными «урядниками» путешествовала по пыли, распутывая телячью и овечью глупость на дыдыкинские, бакановские, вакуровские собственности и дворы. Надо было доить корову. Надо было по холодку натаскать воды и полить гряды. Надо было приготовить ужин.

Когда в Палехе организовался колхоз, вся артель художников пошла в него. Затем артель вышла из колхоза как промышленное, а не сельскохозяйственное предприятие. И Александра Михайловна говорила Сергею Ивановичу:

— В колхозе, чай, лучше, чем в артели. У них на уме все искусство да искусство, а мы знаем, что такое ихнее искусство. Каждый вечер в чихире ходят, и у каждого по милой, откуда только они их берут. А мы — готовь им обедать да ужинать... Я не скажу про Баканова или Зубкова, про Котухина с Маркичевым, — они хорошо зарабатывают, им на все хватает. А мой или возьмите кого другого — в колхозе мы больше бы заработали. И в колхозе — поверка идет, там женщины больше мужиков зарабатывают, там видать, кто кому кормилец, а тут — искусство да искусство, а мы — сиди дома, ожидай супруга, и нашему делу никакой мерси. Они нас урядниками называют, а забыли, что мы с ними живем и жить должны... Нет, в колхозе лучше, я там трудодней больше его набрала бы. А что касается детей, и у колхозников дети в семилетках учатся, одинаково с нашими.

Сергей Петрович Аггеев сказал однажды:

— Мы райкомам и райсоветам автомобили дарим, — через год вся область будет в автомобильных дорогах.

От Палеха ведет автомобильная дорога к Пестякам и к Юже. Василий Васильевич Зимин, палехский воевода, председатель палехского райисполкома, как Нан-

сен в Арктику, прокладывает автомобильные пути в свои периферии, к колхозам и к колхозному льну. Колхозники выполняют трудодни коночасами, возят песок и щебень, перевозят с места на место глину с дорожных траншей. Девушки работают лопатами, «стройно землю вороша», и провожают товарища Зимина прибаутками, — авто-ед, мол!.. Все же ухабы на дорогах имеются. Однажды Сергей Иванович, замучившись от ухабов, уселся на траншею новой дороги, под соснами, около коночасников, которые кормили по жаре лошадей; лошади с головы до хвоста и под животом были обвязаны рябиновыми, осиновыми и березовыми прутьями от слепней и походили на движущиеся шалаши. Колхозники жарили на костре картошку. Воздух пахнул сосновой смолой, растопленной в солнечной жаре.

— Иконник Белоусов, как в хозяйчика вышел после Грановитой палаты, отремонтировал Сафонову в пику иконостас и взял у попа письменный документ, что иконостас как раз он ремонтировал, а не Сафонов, его конкурент. Своевременно померли и Сафонов, и Белоусов, и оказались в аду оба вместе. Сафонов и спрашивает Белоусова, — как же ты, мол, при документе на иконостас в аду оказался? — А Белоусов отвечает, — да архангел, сукин сын, который меня с земли провожал, читать только по-латински может, по-русски не понимает, безграмотным по-русски оказался, не прочитал, дьявол, документа!

— А то ехал через реку Лух на ботнике научный господин, спрашивает перевозчика — ты науку химию знаешь? — Нет, говорит перевозчик, не знаю. — Научный господин совсем головой замотал от сокрушения, а перевозчик застыдился от своей необразованности. И вдруг во время это от научных разговоров ботник возьми да и перевернись. Перевозчик спрашивает, — а плавать ты, барин профессор, умеешь? — Нет, отвечает научный барин. — Ну, тогда мне придется спасать твою научную жизнь, чтобы ты не потонул.

Колхозники были людьми знакомыми, палехскими, два брата, Роман и Ефим Архиповичи. У Романа Архиповича с собою около костра лежали «Записки врача» Вересаева. Оба некогда были иконописцами. Один из них вместе с Буториным работал в палехском комите-

те бедноты, другой служил при Вицине в Шуе, в домзаке. Подошла к костру дочь Ефима Архиповича, комсомолка, спросила Сергея Ивановича:

— Вы Есенина живого видели? — он да Маяковский мне нравятся.

Оказалось, что самый любимый ее писатель — Диккенс.

Роман Архипович рассказывал:

— Годов сто тому назад при Николае Первом вводили эту самую картошку, а до этого лет за пятьдесят ее же вводили французы. Французы ее вводили так. В разных местах своей земли посеяли они картофельные поля и приставили к ним гренадеров и велели гренадерам — смотреть кругом сквозь пальцы. Прохожие крестьяне проходят мимо, спрашивают, — что, мол, посеяно? — а гренадеры отвечают, — посеяна пища царского стола, заморского роду, под названием земляное яблоко или картофеля. Мужики стали воровать царскую пищу, чтобы попробовать, как цари питаются, — для себя посеяли... У нас было несколько иначе. Николай Первый разослал картошку губернаторам, губернаторы — исправникам, исправники урядникам, а урядники мужику, — сей, сукин кот, без всякого рассуждения! Никто про нее толком ничего не знал, а понимали так, что раз сам ампиратор в это дело ввязался, значит, добра не будет. Произошли так прозываемые картофельные бунты. Картошку чертовым семенем объявили, ядом. Попы молебствия молили. В одном месте убили исправника. Людей из-за картошки убивали без счета. А теперь, спрошу я вас — запрети мне картошку сажать, что я без картошки делать буду? — Роман Архипович помолчал. — Шубу с Сафонова, с гражданина поставщика его величества, я вот теперь на себе донашиваю... Сначала мы кулачков раскулачивали, и не заметили, как у нас у самих мозги раскорчевались, — я тебе об этом расскажу впоследствии.

(Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах рассказан ниже.)

— Был у нас десятилетний юбилей коробошников. А то был наш колхозный праздник урожая. Дело простое — убрались в поле, справились со льном, позвали соседей попировать, отпустили пятнадцать тысяч рублей на пир. И надо отметить про посуду. У Сафонова

тоже пиры бывали, ну, и от самого его раскулачивания остались без надобности разные его блюда для рыбы и для гусей, супники сразу на два ведра супу, подносы, кастрюли. Они нам пригодились только в колхозе. Мы щук у гогольской рыболовной артели купили — слыхали про деревню Гоголи на Лухе? — знаменитая деревня! — щук купили — больше, чем у Сафонова ростом. Собрались к вечеру, всю ночь автомобили своими глазами лошадей пугали, гости отовсюду ехали. Майдаковская конеферма рысаков прислала напоказ. Пировали во всем Доме соцкультуры, в бывших сафоновских мастерских, знаешь... Сто пятьдесят гостей было — председатели сельсоветов и колхозов, бригадиры, а затем наш колхоз полностью, от мала до велика, — гости шли, ехали, целую ночь гуляли. Ну, ты знаешь об этом, — каждому человеку кажется, что его дела — самые важные, прямо сказать, исторические дела. Так же и обществу. Без этого нету смысла. Ну, и говорили — самые настоящие государственные речи и писали письма с приветами — товарищу Носову и товарищу Аггееву. Мы заставили на празднике отчитаться перед нами всех соседов, — то есть пожелали послушать, как идут дела у них в ихних колхозах, о ихних достижениях и неурядицах, чтобы все на чистой воде было. И мы отчитывались. Получилось вроде чистки. Прямо — не люди, а герои государственного смысла. Оркестр балалаечников играл под рояль до трех часов утра. Всех председателей обнесли чарочкой. Выпили, конечно. Старухи и те танцевали с нами. Пьяных не было. А с речами — заметь, больше женщины выступали, у них трудодней больше, они власть забирают, у них воля на государственность проснулась...

— С декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытье Большой Волги — канала... там, на канале, я и Антона Ивановича повстречал... Ну, приехали под Углич по такому же делу, как сейчас на дороге, — возить землю, только не для дороги, а для будущего канала. Роем, возим. Но это не главная присказка. Работали там — ну, мы, колхозники, рабочие, красноармейцы, инженеры, а кроме этого, заключенные. И было у нас все разбито по бригадам, — комсомольские бригады, бригады сочувствующих, вроде меня. Были и бригады заключенных и гопа, то есть шпаны. И было перехо-

дящее красное знамя, — значит, такое знамя, которое переходит к лучшей бригаде. Когда я приехал, знамя было у комсомольцев. И вдруг видим: на нашем участке прет и прет вперед ссыльная бригада. Я думаю, — с чего бы это? — ведь против ихнего режиму канал роется, против них вся страна живет... И был у меня разговор с ихним бригадиром, я его спрашиваю: «Ты что же, в самом деле коммунистом стал? — так и прешь с своей бригадой, на что тебе красное знамя?» Он помолчал, покурил, — говорит: «Нет, мы не коммунисты, — обернись дело... да дело-то повернуться не может, не может повернуться дело, — и мы почему кроем? — потому хотим жить в строю, как все... хотим в рое жить и пользоваться советскими законами, а кроме труда нам податься некуда!»... — Ты понял, Сергей Иванович, ай нет?..

Покурили. Роман и Ефим Архиповичи съели картошку, запрягли лошадей. Сергей Иванович вернулся к ухабам и к автомобилю. День шел в заполдни, жар спадал. Роман Архипович поминал о реке Лухе и деревне Гоголихе. Арбеков видел Гоголиху, но не был в ней, в этой знаменитой деревне. Лух течет по болотам, среди камышей, так зарастает камышами, так облег трясинами, что до середины его добраться невозможно, — так течет, что в нем водятся двухкилограммовые караси, что жители прибрежных деревень не могут в нем даже купаться, ибо по тине нельзя дойти до воды. И посредине Луха, в том месте, где Лух сливается с Люлехом, расположился остров Гоголи, а на острове — колхоз Гоголиха. С марта месяца до конца ноября, а то и до середины декабря, в Гоголиху невозможно ни пройти, ни проехать, — и не каждый даже проплывет туда на ботнике, ибо надо уметь не заблудиться в тростнике и не утопиться в тине. Славна Гоголиха, кроме колхозного льна, рыболовной артелью и охотниками, убившими прошлой зимою, несмотря на строгости законов, семь лосей. И еще славна комарами и ягодами. А еще славна — страшными преданьями. В Гоголиху можно проехать только зимой на санях, когда вода и трясина промерзнут до глубин. Ездил к Гоголихе Сергей Иванович с Василием Васильевичем Зиминым, который обследовал льны и сельсоветы, были в гостях у председателя яковлевского сельсовета, у Киры Ивановны Бычковой,

выведшей колхозы своего сельсовета весенним севом на красную доску, вдовы и матери троих детей, учащихся так же, как дети художников. С Василием Васильевичем и с Кирою Ивановной были разговоры о колхозах, о колхозниках и единоличниках, — и выяснилось — по палехскому району — о единоличниках, что *единоличниками остались всего лишь те, кто вообще намерен бросить сельское хозяйство и деревню,* нашел себе новый труд в Иванове, в Москве, в Сталинске, в городах и на заводах; выяснилось, что нельзя равнять труды колхозника и единоличника, — *колхозник работает и умней, и продуктивнее, и лучше...* Роман Архипович помянул о городе Угличе, — Вакуров, Котухин и Маркичев были на озере Севане. Озеро Севан будет спущено с гор, разольется по Армении новыми семью озерами, оросив армянские пустыни и кинув электроэнергию всей Закавказской федерации республик. А Углич...

Сергей Иванович в Палехе получил письмо — от реставратора Павла Павловича Калашникова, ехавшего от Москвы до Суздаля.

«Высокочтимый Сергей Иванович!..

Имею честь сообщить Вам, что складень Ваш, икона Пресвятой Богородицы, мною реставрирован и отнесен на Вашу квартиру. Икона, как я уже Вам говорил, ярославского письма и оказалась после расчистки относящейся к концу XVI века. Не знаю, задумались ли Вы, Сергей Иванович, о том, что Вы живете неподалеку от места, где разыгралась как раз в конце XVI века одна из таинственнейших страниц нашей истории. Я подразумеваю Углич и убиение в нем святого царевича Дмитрия. Не была ли наша икона написана в те величественные времена?.. Я вспоминаю об Угличе потому, что в газетах я прочитал о затоплении этого древнего города при постройке Большой Волги. Прошу Вас, достопочтимый Сергей Иванович, прислать мне причитающиеся за реставрацию деньги, так как я возымел намерение безотлагательно съездить в Углич и поклониться величественной его старине».

Тысячелетняя Волга, песенная река, затопит город убийства, город темных русских страниц, где то ли убивали, то ли не убивали царевича Дмитрия, ибо то ли был, то ли не был царевичем Дмитрием Григорий От-

репьев, — и пусть песенная Волга затопит эти русские пергаменты.

Сергей Иванович жил в Палехе, чтобы отдыхать, с друзьями-художниками, с женой и ребенком. Он просыпался вместе с сыном и солнцем. Он ходил и ездил в леса и в поля кругом. Кувшины для воды и кринки для молока он приспособил под веники цветов, запахи которых превращали избу в лесной шалаш и сладко тяжелили голову.

От Александры Михайловны он узнавал несложные события села ее понятий, — о том, что соседская корова потравила у вторых соседей огород, — о том, что Форсик — надворный пес — всю ночь скулил, надобыть, или за клубникой лазили в огород, либо парочка забралась в сад, — о том, что приносили ягод, а к Салапину приехал на побывку внук. Сергей Иванович наблюдал за сыном, за тем, как возрастает человечек, будущий гражданин бесклассового общества, — как у него нарезались и выросли два верхних зуба, — как ест он кисель, мажась им до бровей, — как приучивается он к горшочку, — как он говорил сначала «ап», «па», и сказал наконец «папа»! — как кошку он зовет «ких», и кур зовет «ких», и коров зовет «ких», и вдруг корову назвал «му», а через два дня произнес «ам», «ма» и сказал наконец «мама»! — как сначала он стоял, держась двумя руками и боясь пространства под собою, как стал держаться он одной рукою, — как вдруг он обе опустил руки, у стога с сеном, взяв в руки сухой лепесток, не заметил, что стоит на собственных своих ножонках, заметил, поразился, испугался и возликовал, возликовал перед замечательным открытием, не меньшим для него, чем неизвестное ему открытие Америки, перед открытием того, что и он может стоять на своих собственных ногах!.. — как в зеленые сумерки вечеров над белой кроваткой пела мать на родном своем языке:

Иявнана, вардо нана,
Иавнана нао...
— Фиалочка бай, розочка бай,
Фиалочка баю-бай, —

и как сын подпевал матери, усыпляя самого себя, очень тихо, «иев-а-а»!.. Любовь — это ощущение жизни как мир и мира как жизнь. Любовь пронизывает все, ком-

нату, воздух, платье, цветы, стол, занавеску. Любовь — это больше, чем созерцанье Палехского музея...

За Палехом, за Палешкой сосновый бор Заводы, он пахнул хвоей; за Заводами рос Кудашевский лес, он вырублен; на просеках буйно цвела, а потом созревала земляника, этот сладчайший плод и чуть горьковатый, как любовь. За улицей Голикова, по дороге в Подолино, Оболенское тож, росла березовая роща и под березами росли фиалки, вечерами в березах бродили туманы, и роща пахла березовой горечью, сладкой, как поцелуй на рассвете, как ручонки восьмимесячного сына на шее отца. Дягилевский-берендеевский лес пах можжевеловой горечью, в нем бродили лоси...

Художники заходили посидеть у крылечка, покурить, побеседовать, — обсудить начинанья на завтра после рабочего дня, и доказывали, что обязательно надо побывать на массовом гулянии в Кузнечихе, потому что там старинная водяная мельница, глубокий омут и гуляют там на плотине над омутом и на плотине над омутом водят хороводы.

В среду был базар. Все село по делам и без дела ходило по базарной площади, в пять часов утра мужчины и женщины, товарищество и колхозники, заслуженные и незаслуженные, кланялись, беседовали, расходились и встречались вновь, покупали и не покупали. Продавали: молоко, масло, сметану, яйца, ягоды, свинину, баранину, телятину. Художники предпочитали мясо покупать «на ногах», — то есть, сложившись, покупали бычка, свинью или овцу. Где-нибудь здесь же у базара пайщики резали, свешивали и делили закупленное, иной раз «обмывали ножки», те самые, которые пойдут в традиционный студень.

В субботу, перед баней, приходил друг Алексей Иванович Ватагин с бритвой и с машинкой для стрижки, со страшными ножницами, и подстригал, и брил, как заправский парикмахер, посреди сада перед баней, посадив полуголого остригаемого на старый пень. Воскресенье всегда звенело песней. Палехский музей был рядом, через улицу...

Сон в благоуханье цветов и в удушье избы, когда окна закрыты от комаров, — кажется, что и сны тогда пропитаны запахами, — сон не ограничен, — и дневная явь настоящего, реального, бывшего вчера, бывшего де-

сять лет тому назад, бывшего до твоего рождения (ведь никто не помнит того времени, когда он не был, и того момента, когда он *начал быть*), — в ночи и в запахах цветов явь смешивалась со сном, строя сонные композиции, не менее сложные, чем композиции палехских мастеров, раскрашенные миром, пространством, числом и временем.

РАССКАЗ РОМАНА АРХИПОВИЧА О РАСКОРЧЕВАННЫХ МОЗГАХ

«...наш суровый, боевой, пролетарский век... уменьем, сказкой... социалистический результат десяти летия»...

Сергей Иванович слушал Романа Архиповича в день, когда он получил письмо от Павла Павловича Калашникова.

Роман Архипович рассказывал:

— Ты правильно заметил, — по старой жизни все тогда мечтали, а не все, так многие, — выйти в Сафонова, стать богатым, собственником, хозяином самому себе и мастером, — мечтали о богатстве. Тогда был такой строй, и я тебе расскажу о раскорчеванных мозгах и о том, как меня убивали. Родились мы с Антоном вместе, в слободе, теперь на улице Голикова, пятьдесят семь лет тому назад, по году учились грамоте, а затем пошли в мастерские к Сафонову, учились шесть лет...

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«...конец восьмидесятых, начало девяностых годов, эпоха «мелких дел», Чехов и только что введенные земские начальники. Палех. Иконописцы. Водка. Изба, рассвет, печка. Лучина только-только сменена керосином, который тогда назывался «фотоген». Глиняный умывальник. Хлеб, намоченный в квасе, лук. Отцовские валенки. Мальчик бежит по глубочайшим, синим в рассвете снегам. В мастерской пахнет олифой и махоркой. В мастерской темно и страшно, и каждая рука старшего может миловать и бить. На стенах мастерской снаружи — громадные золоченые орлы. Пер-

вый урок христова «голичка». На третий год — «бецатала»... Посадить на эту «бецаталу» Павла Павловича Калашникова...»

Роман Архипович рассказывал:

— Окончили обучение вместе, в один год, каждому не было еще шестнадцати лет, написали по «выходной», положил нам Сафонов по пятнадцать рублей жалованья, работали мы у него не в мастерской, а на кирпичном заводе, глину месили вместо иконного дела, работали целый сезон. А осенью приехал, к Николе зимнему, наш дядя на побывку, Платон Афанасьевич. Дядя наш, надо сказать, от Сафонова отбился, — работал у хозяйчика Панкрышева, в Москве. Панкрышев тоже наш, палехский, только поменьше Сафонова. Дядя сказал, — чего, мол, ребята у Сафонова глину месят, я их к Панкрышеву определю, — и взялся нас отвезти. Вышли мы в три часа ночи, дядя наш, я да всежизненный друг мой и убийца Антон Иванович. Было это на третий день после Николы, а с самого вечера замела метелица. Матери проводили нас до Красного. Шли мы пешком до Шуи, тридцать верст. Вещей у нас было по котомке, по паре портянок, рубаха, гребешок, сапоги на сменку валенкам, аржаные ватрушки с картофельным пюре в подарок от матери, и все, — подштанников в то время нам не полагалось. Снег глаза лепит, ветер под лопатки забирается, снег под ногами, как пески зыбучие. Дядя наш Платон Афанасьевич с вечера выпивал с родителями на прощание, он отчаялся, говорит: «волки, гляди, не напали бы!» — и слыхать, дрожит дядя. Ночь померкла, день рассвел, а мы все идем и идем, как волки след в след, и чудится, что на самом деле воют волки... Я тебе скажу, Сергей Иванович, про себя, как я понимаю, — нет слаще человеку встретить человека, — пришли мы в Шую, сидели в трактире, я Шую впервой видел, размерами домов поражался, а в трактире я человеческие слова слушал, и они мне теплее тепла были. А про ту ночь я сейчас вспомнил потому, что до сих пор боюсь волков и всякой волчьей породы — и нет для меня приятней встретить человека, человека я не боюсь и люблю человека, а Антон человека боялся и не любил, как я теперь понимаю... Сели мы в поезд, опять впервой за нашу жизнь, в вагон третьего класса, и показалось мне после деревни, что попал я в княжеские хоромы — после нашей деревни,

после нашей избы, где жил я на печке, под печкой жили куры, а за печкой теленок с поросятами, я впервой тогда видел окна без рам и — чтобы стенки поднимались. А в Москве в первый же день я о цивилизацию морду расшиб. Дядя наш Платон Афанасьевич передал нас хозяину Панкрышеву, Панкрышев положил нам жалованья на его харчах восемь рублей в месяц и дал нам три дня отпуска, чтобы посмотреть Москву. Земляк повел нас к Филиппову в булочную, — знали, куда сводить. Этот музей надо понять. Жили мы в деревне, хоть и с иконами, а все же на хлебе и при скотинке, при муке, при молоке, при масле, плохие, а все же хлеборобы, а пришли к Филиппову, я, теперешний колхозник, а тогдашний мужик, поглядел я на плюшки-ватрушки, на калачи, на ромовые бабы, на сахарные баранки, на пирожные безе и наполеоны, — не перечесть, — и не узнал я, мужик, ни сала, ни масла, ни муки-матушки!.. Были мы втроем, провожал нас малец чуть нас постарше, у дверей стоял министр в золотых нашивках, двери господам отворял. Надо быть, министр увидел, как мы слюни распустили, цикнул на нас, землячок крикнул, — «беги!» — я со страху от министра к людям, а людей было много. Вижу, один бежит вроде меня ко мне наискосок, я от него хотел увернуться и — две недели с синяком ходил по всей личности, — в зеркало я врезался вместо людей, морду разбил о цивилизацию. Я ведь допрежь представить себе не мог и не слыхивал, что такие зеркала бывают.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича:

«...Да, от Палеха до Москвы... Палех, перепутавший семнадцатый век с крепостною деревней графов Бутурлиных, поднятый и разоренный сафоновским и панкрышевским капитализмом... Деревенский парень в шестнадцать лет и Москва. Надо полагать, что парню было бы не более странно, если бы его вместо Москвы занесло в Нью-Йорк. Действительно, зеркало филипповской цивилизации отражало действительность совсем не так, как видел ее Роман Архипович... Но Павел Павлович Калашников не растерялся б около калачей Филиппова».

Роман Архипович рассказывал:

— Люди тогда мечтали о богатстве. Богатство было единым светом в окошке. Богатство — сыт. Богат-

ство — одет и обут. Богатство — от тебя зависят. Богатство — власть. Иконники у Панкрышева — почитай все мечтали о богатстве и лезли в него, как рыба в вентерь, — а не выходило — пили... А богатство, я тебе скажу, Сергей Иванович, пословицами — не пойманный не вор, а стыд не дым, глаза не выест, — а трудом праведным не наживешь палат каменных, — ну, и с поклонов шея не болит, — национально-православные пословицы... А ведь по совести сказать, земским начальником да Сафоновым каждый палешанин, да и всякий мужик так был поставлен, что ему мерин иной раз дороже жены, дороже сына, особенно если сын малолеток, и не поротый, — за битого двух небитых дают. Почему мы тогда поехали по шестнадцатому году в Москву? — тогда говорилось — «от нужды» мужик работает, а правильнее сказать — от голоду; мужик, между прочим, для крестьянина, а теперь для колхозника еще более, слово обидное... На самом деле — от трудов праведных не наживешь палат каменных, — откуда Сафонов пошел? — из бурмистров, — барина на мужиках обманывал, мужиков на барине!.. — и послушать все истории богатства — тот купца придавил, тот вдову окрутил, тот обманул, этот ограбил, а сей — обворовал!.. И все Богом прикрыто и нашими иконами, а как иконы делаются — мы знаем, сами их пишем. Капитализм, в книгах пишут, в свое время положительную роль играл, — этого я за свою жизнь не видел, это раньше нас было. Старый мастер пьет, в нищету сваливается, значит, неудачник, сам виноват. Человек богатеет, значит, хороший человек, удачник. А что он, может, жулик, это ему прощалось. И самое главное — темнота, — ух какая темнота! — в двух шагах не видно и непонятно, и узнать нигде невозможно!.. что советская власть знаменито сделала — это глаза развязала, если не я сам, то мой сын все узнать может по своей воле. Молодость — всегда знать хочет, а мы... Стало быть, жили, писали у Панкрышева в мастерской, у Рогожской заставы.

Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича: «...Рааасссия!.. Павел Павлович!»

Роман Архипович рассказывал:

— Пути было для нашего брата, как в сказке, — направо поедешь — смерть, налево — то же. Я тебе,

Сергей Иванович, не об Антоне рассказываю, а о себе, как мне, а не ему глаза и мозги раскорчевывали. Мастер я был средний, и работа была средняя, полумужик, полупролетарий, так сказать по-ленински. Я свое отрабатывал — и все. Революция, между прочим, началась не в Пятом году, а раньше, и не сама она пришла, а сделали ее люди, пролетарии. Если сказку обернуть, — направо ехать — в богатство к Сафонову и Панкрышеву, налево — в революцию, а я, палехский богомаз с крестьянским паспортом на год сроком, жил посерединке, за камень не заезжал. Любил читать книжки, стихи любил, ходил в воскресную школу, ну, и жил. Теперь скажу об Антоне, о моем убийце. Женились тогда в определенное время, так скажем, распределили рабочую силу. Самые хорошие свадьбы были перед Покровом да в рождественский мясоед, — мы женились после Петрова дня, и женились-то в один день, батюшка на сенокосе был занят. После женитьбы и обозначились наши с Антоном Ивановичем жизненные пути. Антон говаривал мне: — «Толку из тебя не выйдет, Роман, проживешь ты жизнь зазря, ты все хахи да хихи, а жизнью не пользуешься!» — я на самом деле был веселым человеком, и был я очень сметливый, но и озорковат был по молодости лет, — я и сам иной раз думал, что Антон Иванович имеет резон против меня. Я любил газетку почитать, любил ходить в театры, особенно к дедушке Коршу, — ну, и в трактир Егорова, в Охотном, где теперь небоскреб, захаживал послушать орган. Был у нас кружок самообразования, в него Маркичев и Иван Зиновьев захаживали, — палехская молодежь складывалась процентами от заработка, покупали книги и сообща читали по вечерам потихоньку от хозяина. Антон Иванович не состоял в этом кружке, но, надо правду сказать, — он меня покрывал перед хозяином, иначе мне несдобровать бы. К женитьбе жалованья мы получали уже по тридцать рублей, неплохое жалованье по тогдашним деньгам. Женитьба по тогдашнему быту — женился — остепенился. А ко мне степенство не пришло. Антон свою жену в деревне оставил, а я свою с собою повез, снял комнату по соседству с нашей мастерской, — «пущай, думаю, живет при мне, пущай поди-

вится!»... — Просыпаемся утром в нашей каморке — смеемся, нам весело вместе. В мастерскую мы приходили в шесть часов утра, — а у Антона Ивановича краски растворены, все в порядке, он сидит — работает молча, — а у меня краски так себе, ну и работа — тоже... Песенку пою. Через год после женитьбы у меня жалованья — все те же тридцать, а у Антона Ивановича — тридцать пять. У меня соберется монета, я раньше срока удеру из мастерской, накажу Антону: «Если, мол, хозяин зайдет, то так, мол, и так, только-только вышел, надо полагать, до ветру», — я заберу мою супругу и туды-сюды, — тогда кино объявилось, я все картинки осматривал. Антон Иванович — сидит, работает. Чтобы сказать про него — скупой человек, — нельзя. Он аккуратный был. Все у него в порядке было, но лишнего гривенника он не тратил. Детишки появились. Мои у меня со мною в Москве, а у Антона Ивановича — в деревне, на вольном воздухе... Лет через пять, как мы стали к Панкрышеву на работу, Антон Иванович в деревне новый дом поставил, пятистенку, с резными наличниками, через семь купил богородскую телку горбатовского красного рогатого скота породы, — купил полукровного жеребенка. Его жена к праздникам, на масляную в Москву приезжала, жила в моей комнате, — пава, городское пальто с лисьим воротником. А у меня, как родители померли, изба стоит заколоченная, еще родительского строения. А у меня как была у жены в приданом суконная борчатка, так она в этой борчатке и щеголяла по Москве, ходила со мной на галерку к дедушке Коршу. Только — разве что моя жена грамоте научилась и вроде меня газетку читала...

Поколение Арбекова не застало России до Пятого года, эпохи капиталистического разроста, строительства железных дорог и заводов, догнивания феодалов, разбивавшихся о Пятый год и о Цусиму, — эпохи, когда назревал Пятый год, когда возникали первые ручьи пролетарского сознания, ища свои русла к Красной Талке и к Красной Пресне еще задолго до Талки и Пресни, когда и Роман Архипович и Антон Иванович на самом деле жили в дремучем мраке сознания, каждый по-своему, — этот Роман Архипович, человек из переулка истории. Для поколения Арбекова та эпоха прошла сквозь их детство.

Роман Архипович рассказывал:

— Любил я людей, и люди меня любили, — сколько хороших людей мимо меня прошло!.. — а вот Антон оказался всежизненным спутником. Я самолюбивый был и, сознаюсь, — завидовал иной раз Антону Ивановичу. Я ведь видел, как он восходит, как его все за это уважают. Ну, знал я, что он и на сторону работал хозяйскими красками, и золотцо можно было через него из мастерской достать, и редкие краски, — так ведь — то хозяйское было, а кто хозяину не враг?.. Ведь таких, как я, — почитай весь Палех, и Вакуровы, и Маркичевы, и Котухины, и Зубковы, вся наша тогдашняя молодежь, а Антон — один гнет и гнет свою линию, — глядишь, поклонится хозяину в пояс и скажет, — покорно, мол, благодарю, не извольте поминать лихом, открываю от сегодняшнего числа свое собственное дело!.. Между прочим, у Антона Ивановича другие мечты были, он по-другому рассуждение имел: «желаю я ни от кого не зависеть, желаю сам себе быть хозяином, — подкоплю еще денег до нормы, как я себе задумал, и поставлю у себя в Палехе на берегу Палешки льнотрепалку и льномаслобойку, налажу сельское хозяйство и буду жить сам по себе!»... — Бывало разговоримся с ним, и я размечтаюсь, — дом у меня будет в Слободе, лошадь лучше, чем у Антона, что, мол, я хуже его мастер, что ли, и не могу как следует разных спасов разрисовывать? — С вечера говорю моей Фиме: «разбуди меня завтра чем свет, остепеняться надо, зайди в полдень в мастерскую, когда все обедать будут, я тебе доску дам залевкашенную, краску, — буду дома по вечерам писать, — весною ты в деревню поедешь, — должны мы копить, как Антон!» — Работаю, не разгибая спины, до рези в глазах, а день на третий вдруг задумаюсь: «На кой леший мне лошадь, ежели я в Москве нахожусь?! — и почему мне мучиться без Фимы в молодые годы?!» — загрущу, выпью, угощу Антона Ивановича, и пошло все по-старому... Надо сказать, Пятый год мне помог, а также наш кружок самообразования. Антон Иванович Пятый год сторонкой прошел, а я был со всеми, с товарищами. Помните, книжечка такая была «Паук и муха»? — я ее раз двадцать перечитал, — замечательная книжечка!.. Началась русско-японская война, затем революция; слышим, в Палехе Сафонова и

Коровайкова сожгли, в Сафонова стреляли. Страшно тогда было и весело, — на этакую силу, на царя, рабочие руку подняли, а я еще от деревни не обсох. Я всем сердцем революции помочь хотел, — а как, не знал. Царь революцию задавил, в Москве революцию разгромили семеновцы, и я затаился, как все. — «Ну, раз ты победил вместе с Сафоновым и Панкрышевым, — твоя сила, только отсюда никак не вытекает, что твоя правда, и никак не выходит, что должен я на Панкрышева работать не покладая рук, силу его против нас укреплять, пропади он пропадом!»... Я вам сказал, Сергей Иванович, что я как в сказке, направо поедешь — к Панкрышеву попадешь, налево — в революцию. Я за камень очень не заезжал, я тогда еще от деревни не обсох, и опять же Зубковы, Маркичев, Хохлов, они пограмотней были, а я — ох, как темен был!.. Царь победил — надо покоряться. А Антон — работает, надеется, старается, он от сказочного камня вправо свернул, революцию он не одобрил, — «не дело, говорит, хочешь хорошо жить, — работай, никто тебе не мешает, разбогатеешь, будет тебе почет!» — Работай!.. — а как так работать, чтобы мне мои труды вернулись, а не Панкрышева растили?! Мы оба с Антоном платичниками были, доличниками, вроде портных, святых в одежды наряжали, скука, а не работа, а работаем на людскую темноту и на надувательство. Произошла реакция после Пятого года, все притихло, царь в силе. Празднует свое трехсотлетие. Вокруг тринадцатого года нам, иконникам, громадная работа была, трехсотлетие дома Романовых, года за три, почитай, был составлен царский маршрут, и везде обновлялись по этому маршруту церкви, в Москве, в Костроме, в Суздале, в Нижнем Новгороде. Антон Иванович в отъездки ездил приказчиком, большие деньги зарабатывал, — весной четырнадцатого года заложил на Палешке льномаслобойку, в силе человек, в почете, все ему кланяются. А я в Москве, борчатка на моей жене совсем износилась, дети до школы доросли, рты о себе сказывают, к Коршу я уж перестал ходить, гривенники на карандаши и на тетрадки пошли детям, дело на расчет наклонялось...

Это Сергей Иванович знал. Все было б совершенно ясным, если б это было эпоху тому назад, если б не было революции. Антон поставил бы маслобойку. Роман Архипович похоронен был бы на Рогожском кладби-

ще, быть может, спился б. Рядом с ним полегла б его жена. В Москве остались бы трое парней, быть может, иконописцев, быть может, ломовых извозчиков, быть может, рабочих с фабрики Гужона. Это был постыдный труд, нечестный труд — иконописание. Люди, конечно, не уважали своего труда. А это самое страшное — не уважать свой труд, то есть, по существу говоря, не уважать своей жизни. Роман Архипович был и жил перекати-полем. Антон... происходило трехсотлетие дома Романовых, торжество империи! — Антон расписывал церкви по пути империи от Ипатьевского монастыря до Москвы. Антон был в режиме. Конечно, Антон был бы в почете. Роман был бы похоронен, как жил, перекати-полем, крест на его могиле сгнил бы в два года, и все было б честь по чести забыто... А жизнь, когда человек — не человек, а вобла, а икринка от воблы в потоке «империи»...

Роман Архипович рассказывал:

— В четырнадцатом году началась война. В пятнадцатом нас, бородачей, белобилетников, взяли в сто восемьдесят второй пехотный запасный полк воевать за царя-батюшку. Махнуло меня в армию с пятнадцатого по двадцатый год. Из царской армии в Красную перешел я добровольным, хоть и беспартийным большевиком, — вещь понятная, — я самого себя открыл. Когда я в Палех приехал, по осени двадцатого года, после ранения, Фима моя жила в избе, совсем в землю зарывшейся, точно шапка набекрень на голове у казака, и, кроме мерзлой картошки, ничего у Фимы в доме не было, — куда там корова или поросенок — тараканы не жили!.. А рядом с моим домом стоит дом Антона Ивановича — полная чаша. Антон раньше меня от солдатчины — отделался, вышел в возраст с царского фронта и поселился на скопленную жизнь. Сейчас я вернусь разговором к Антону Ивановичу, а пока сообщу вам революционные мои мысли. Я, оказывается, и самолюбивый был, и место имел себе в жизни. Не уважал я в старой России трудиться, и не то что трудом праведным не наживешь палат каменных, а сами посудите — иконы!.. Началась революция, батюшки мои, прозрение глазам!.. и понял я — вовсе я не был бездельником и ветродуем, а не хотел в очередь под ярмо становиться, не гнался за грошем, грош ему ломаный цена! — Это мне революция объяс-

нила. И не один я был такой, у которого с глаз повязку сняли, а миллионы и миллионы русских людей. Какие чудеса наделала революция для миллионов людей трудового народа... — Антон Иванович до революции — это, да, авторитет, — и вдруг после революции понял я — ничего подобного!.. И суди сам, Сергей Иванович, я ведь на самом деле был до революции вроде ветродуя, — а как началась революция, я работаю и работаю не покладая рук. И — чего я не боюсь — это работы. И от чего я страдаю и чего больше всего боюсь — это, если плохо работают сейчас у нас и не только у нас в Палехе, а во всем Союзе, я теперь государственно думаю!.. Вождем, вроде Вицина, я не стал, — не стал даже партийным, вроде Колесова, — я сочувствующий бедняк. Богатым я тоже не стал, — а спусти со всех мужиков по нашим местам штаны — под штанами подштанники, лаптей больше не носят. Работа!.. мне пятьдесят седьмой годок идет, старик, подагра, раны, а я на рысях живу и все в работе и в удовольствии. И вот что еще оказалось, — правильно, оказывается, я жил до революции, справедливо, — вот что чуднее всего оказалось!.. — конечно, можно было бы и лучше жить, идти на драку с царем еще с Пятого года, — но тогда я был бы героем, а не богомазом, а я простой человек и бывший иконник. Я весело жизнь прожил! — я по театрам ходил, газетки читал, книжечки, — любимая жена не мучилась от меня в одиночестве в молодые наши любовные годы, мы проснемся с ней утром и хохочем, нам весело и беззаботно!.. Не будь революции, — что бы со мной было? — я бы по детям сдохнул бы, а теперь мой старший сын — дорожный техник. Но я до раскорчевывания мозгов еще не досказал. Этому дело впереди. Приехал я домой — беспартийный большевик, пошел я ко всежизненному моему другу Антону Ивановичу, поцеловались троекратно, по порядку, сели за стол. Дом у него — хоромы, хозяйство — полная чаша. Не вышло у нас разговора. Антон спрашивает меня: «Кто же ты будешь теперь?» — Я ему отвечаю радостно: «Я за большевиков!» — Он крякнул, сказал недовольно: «Таак...» — «А ты кто будешь?» — спрашиваю я. «Эсер», — говорит, и крякнул. Я говорю на радостях: «Карта твоя бита, Антон, зазря лучшую половину жизни прожил, зазря трудился-копил!» — Антон Иванович отвечает невесело: «Выходит, что и зазря,

было у меня в банке восемьсот рублей на текущем счету, я их получил обратно, когда пуд муки миллион стоит». — Я ему: «Революцией, стало быть, недоволен?» — «Просчитался». — Я ему: «Надо заново жить, ты ведь в обществе живешь, стихия против тебя попрет, тебе дальше еще труднее будет, Сафонова раскорчевали, Юрова, Парилова, Белоусова, Солоутина, Шалагина ликвидировали, нашего Панкрышева похерили, — ты, говорят, с Панкрышевым дружбу ведешь? — Ты льномаслобойку зазря завел, ты ее лучше обществу отдай, а то отберут». — Он: «Всю жизнь я во всем сам себе отказывал, а людей не обижал!» — Я ему: «Ну, насчет того, обижали мы или не обижали людей, — помолчим, — иконы-то мы ведь вместе с тобой писали, — и добавляю: — Антон Иванович, всежизненный друг, чтобы ты меня понял справедливо, первое и последнее тебе слово скажу — я с тобой как с братом разговариваю. Ну, прожили вместе жизнь, знаю я тебя за трудовика, ум твой знаю, ну и темноту нашу общую знаю, ну и Пятый год помню, как ты его сторонкой обходил, — не об этом речь, — винить я тебя не собираюсь. Решим, что ни в чем ты не виноват, — да жизнь до революции была виновата, а ты опирался на тот жизненный строй, и он тебя обманул, а не революция, пойми ты мою философию!.. — другие тебя не так знают, как я, видят — водится с Панкрышевым, видят — богатый, стало быть — жулик, вор непойманный, если хорошо поспел в богатстве!.. Ты говоришь, просчитался с революцией, — пересчитывай заново, жизнь дороже твоих богатств, супротив новой жизни не становись!.. — Ты с пуда на маслобойке берешь два с половиною фунта, — как же ты не кулак? — у тебя рысак для праздников, а я от Шуи пешком драл, раненый. Отдай маслобойку обществу, — приди, поклонись, поклонившись, скажи — жертвую маслобойку революции — и будешь ты, как все — не отдашь, силком отберут — и будешь ты, как Панкрышев, последним человеком!» — Уперся Антон, спрашивает: «Был я жуликом или нет?» — «Ну, был, немножко, говорю, скажем, что — нет!» — «Своим трудом я добро накапливал?» — «Своим-то своим, да иконным, — ну, скажем, — своим». — «Значит, все это мое, и, если у меня что отберут, значит — ограбят, значит — грабители, значит — и ты грабителям помогаешь. Маслобойка моя, — *на свои деньги* ее делал,

не хотят, пусть не ездят на мою маслобойку!..» — Я ему: «Антон Иванович, — не ездить же революционному народу в другую волость за двадцать километров! — а с другой стороны, у тебя есть маслобойка, а у других нет потому, что ты в темной воде рыбу ловил!..» — Не вышло у нас разговора. Ушел я от него в сердцах, — жизнь с человеком прожил, другом человек был, — а второй раз к человеку пододвинуться трудно.

Сергей Иванович вместе со своим поколением отлично помнил ту замечательную эпоху перестроения правд, убеждений и верований, эпоху, когда все земли теперешнего *Советского Союза* доказывали свою правоту всем, и в частности — винтовкою и топором в руках, когда в метели событий все тверже и крепче вычерчивалась рука пролетария, бравшая в себя и правду, и время, и земли, и людей.

Роман Архипович рассказывал:

— Теперь я расскажу тебе, Сергей Иванович, о Панкрышеве. Был он лет на двадцать нас старше. Ну, был полный буржуй. Старший сын его и теперь в Москве адвокат, двое других сыновей в белой эмиграции, дочь в Москве замужем за инженером. В отличие от Сафонова, Панкрышев был вполне грамотный человек, хоть и богомаз, — ему грамота против Сафонова помогала. Дача у него для детей в Малаховке была, а сам всегда в Палех приезжал, рыбу удил в Люлехе, с раннего утра чаи гонял, к чаю к нему могли все кому не лень приходить. Он сидел, как венгерец, в пиджаке под названием пижам, лаковые туфли на босу ногу, — и рассказывал перед всеми про свои капиталы, про дома, про детей, как они учатся, какие у него приятели графы Уваровы, археологи. У нас так и говорили: «Пойдем к Панкрышеву чай пить, слушать, как хвастает!» — И так целое лето, пока всего не выбалтывал. Со стороны поглядеть — добрый человек Панкрышев. Пришла революция. Разорили Панкрышева во моргновение ока. Он подался в Палех — и — то ли сам сжег, то ли подпалили его — сгорел его дом. Исчез Панкрышев. Новое лето пришло — появился Панкрышев. И — не узнать человека. Бородатый, в бороде крошки, босой, в портках — надо поискать рванее, да негде, рубаха до пупа разорвана, а на груди оловянный крест. Жить ему негде, ночевал в разоренном кирпичном берлине, в Заво-

дах. Целые дни ходил по Палеху под окнами и предлагал календари, а календари прошлогодние. Вместо икон календарями торговал. И — совсем ненормальный человек. Предложит календарь, его, конечно, не купят, а он привяжется к человеку и расскажет ему, какой он был богатый и знаменитый и что у него было, а теперь пропало. Не дай Бог спросить его, — неужто уж так жизнь обернулась, что опорок ты не можешь достать себе или рубашку зашить? — целый день будет рассказывать, как его разорили. Были наши в Москве, слышали, — Панкрышев и в Москве по трактирам, где больше богомазы бывают, с прошлогодними календарями ходит, зимой босиком. — «Дети-то что ж смотрят?» — спрашивали. — «Дети, — говорят, — от него мучаются, ничего поделать не могут с ним, сын сколько раз его обувал-одевал, а он свое». — «Где ж он живет-то?» — спрашивали. — «У сына», — говорят. — «Чудно, — сын адвокат и такое допускает». Были наши опять в Москве, зимой. Один наш зашел к Панкрышеву. Позвонил в квартиру сына. Отперла незнакомая женщина. — «Вам, говорит, Егора Парфентьевича? — пожалуйста в его комнату!» — Входит, картины висят фряжского стиля, ковер, диван, господский порядок, — и выходит к нему. Егор Парфеныч — в сером костюме, в желтых баретках, барин барином, от дореволюционного обличия только одна борода, да и та чистая и причесанная, не то что у нас в деревне, в крошках. Диву дался наш парень, спрашивает: «Как же это, мол, Егор Парфеныч, какое у вас обличие-то в Палехе, у нас, мол, на вашего сына пеняли!..» А он ему: «Сын у меня — не нахвалюсь, сам видишь, как я живу дома у сына, — а хожу я босой назло, чтобы в рыло людям тыкать, до чего людей в революции доводят, что от революции с людьми получается, — нате, мол, мерзавцы, любуйтесь наглядно, что от революции с хорошими людьми получается!..» А вечером в тот день его видели в пивной — входит с календарями, на голой груди крест, борода клочьями, в крошках, ноги босые, а зима. Все в Палехе от Панкрышева — в сторонку, — и появился у него — вдруг мой всежизненный спутник Антон — время вместе проводили. Умер Панкрышев за лето до коллективизации у нас в Заводах, в яме, босой, вонючий, — со крестом на груди, — его никто хоронить не хотел, наси-

лу схоронили, а в гашнике у него золото и бриллианты зашиты. Мальчишки после его смерти в яме играли и нашли там секретный склад, копченую колбасу, печение, две бутылки портвейна. Вот тебе, Сергей Иванович, какая сверхъестественная сволочь этот Панкрышев! — а первый друг Панкрышева — Антон Иванович.

Сергей Иванович подумал, сопоставляя иконника Панкрышева с иконником Калашниковым.

«...ну, да, — эти были бы вместе. Павел Павлович сидел бы за геранями на стульчике у Панкрышева, смотрел бы во мрак угла святыми своими глазами и говорил бы только: «Святые, святые, таинственные, таинственные дела творились в великом городе Угличе, в одном из трех древнейших русских городов... святые дела творились со святым царевичем Дмитрием!..»

Роман Архипович рассказывал:

— А первый друг Панкрышева — Антон Иванович. Непонятно и горестно за человека... Теперь я расскажу о покушении на убийство и о пожаре, а затем о раскорчевывании мозгов. Революция идет своим чередом. Я прибился к комитету бедноты. Антон ко мне ни ногой, я к нему тоже, — решил: кланяться дураку не буду. И началось с избы, — дом у Антона — пятистенка, четыре комнаты, кухня, полутеплый сортир. Кроме всего прочего и самым первым делом — революция есть народное образование и коллективный труд, и дело не ждет. У нас артели обговариваются, художественная, строчевая, сапожная, валенщиков, — мы школы делаем. В комитете бедноты говорят, — основных буржуев мы раскулачили, а кое-кто еще остался. Антона поминают, — не дело ребятам в закутках учиться, да и старикам пора ликвидировать необразованность, а денег нету, а матерьялов нету, а ждать некогда, революция в самом разгаре, — и дорожка ведет к антонову дому. Решили поставить вопрос на пленум сельсовета, чтобы всенародно было решено, а пока что молчок, ни мур-мур, — Антон Иванович один сам-три, а детишек — по сорок человек в классе. Несправедливости я не чувствовал, потому что сам себя подставлял на место Антона, я б не задумался, отдал бы, ведь жил же я в каморке и имел смысл жизни, а у Антона при маслобойке сторожка из двух комнат с русской печкой. Это значит так, а с другой стороны — прожил ведь я с дураком жизнь рядом,

знаю человека. И надоумился я сдуру, — пойду к дураку, последний раз пойду, скажу ему, как другу, — сам отдай, в строю будешь, — все одно, раз решили, значит, отберут, охолостят, ославят. — Сейчас хорошо знаю, сделал по нераскорчеванности моих мозгов, а тогда не знал, к тому и клоню рассказ. Не вытерпел, — пошел к Антону. И пошел к вечеру, с задов, незаметно. И было это, надо полагать, не больше пяти минут. Встретил меня Антон Иванович на кухне, никого дома не было, он один. Теперь я знаю, Танька за Маньку, Манька за Ваньку, — были у Антона в комитете бедноты уши, шила в мешке не утаишь, знал он про наше решение. И вижу — не человек передо мною, а волк. И вижу — нет у Антона Ивановича глаз, провалились они, дырочки вместо глаз. И вижу, в руке у Антона Ивановича топор, и поднимается медленно рука. Я тебе говорил, Сергей Иванович, я пять лет на войне воевал, — как я хряпну Антона Ивановича по морде изо всей силы, он с ног долой, а я повернулся и вышел. Иду и думаю — это чтобы за народную идею топором рубать, — маком эти шутки! — волков я всю жизнь не любил, и на фронте научился, как с топориками обращаться, эти шутки бросьте, Антон Иванович!.. «Что же это получается, думаю, из-за избы, из-за дерева, стекла да железа на друга топор поднимать? и что же это такое, где же справедливость? — я ведь к тебе, идиоту, как к старому другу, а ты сам себя губишь?!» — А потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо-быть, сам себе вслух сказал: «Ну, а я, я-то? ах, дурак, дурак!.. Я-то что же, провокатором революции оказываюсь, — ведь если пойти другим кому сказать, — мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпионом оказываюсь, я к кулаку ходил наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу, — тебя, шпиона, мало, что кулак хотел зарубать, тебя еще советская власть наказать должна за измену пролетарскому делу!..» Теперь признаюсь, я даже струсил, — и решил про себя, — молчок, конец, больше ни к Антону, ни в Антоновы дела! Точка! Молчу. Теперь знаю, что опять сопортюнил по нераскорчеванности мозгов. Никому ничего я не сказал. Когда дом у него отбирали, я в стороне, маслобойку, рысака, я в стороне, — когда при мне говорили о нем, молчал. А иной раз я даже думал и

даже ждал, — придет, скажет, переломится, покается, станет на народную сторону, в ноги мне поклонится. Трудно человеку было, — отобрали дом, отобрали маслобойку, отобрали лошадей, — и он тоже молчал. Ездил куда-то на заработки, приезжал обратно, — молчал... А потом пришла коллективизация сельского хозяйства, и когда она начиналась, Антон Иванович в одну ночь спалил — прежнюю свою пятистенку, маслобойку свою — и спалил заодно мой дом... Это и есть оппортюнизм, что я кулака на воле оставил, Сергей Иванович, не об Антоне надо разговаривать, — о живой жизни надо говорить и о труде, о миллионах и миллионах людей, которые до революции в нетях жили, а теперь являются замечательными гражданами и трудовиками!.. я в колхозное дело с головою ушел, я для общества работаю, я гражданин государства. Мои мозги теперь раскорчеванны. И об этом теперь прямой мой рассказ. прямой мой рассказ. Я говорил тебе, с декабря месяца по посевную был я по найму через колхоз на рытье Большой Волги — канала, рассказывал я тебе историю с красным знаменем и о заключенной бригаде. Так вот этим ихним бригадиром и оказался мой всежизненный друг Антон Иванович. Он мне всю свою жизнь рассказал, я тебе передам, Сергей Иванович, ты опиши кулака. Сели мы вечерком в тихом месте, на плотине, и проговорили всю ночь. Он мне говорит:

«...в деревне — мрак, вонь, нищета, голод, мы все олифой пропахли, а Москва — что ни дом, загляденье, наряды, пища, роскошь. Я лежу на нарах в мастерской, слушаю про богатство, — чудеса! Я иду к Панкрышеву на квартиру с праздником поздравлять, — пол у него воском натерт, в прихожей фигуры стоят, дочка его за дверями ходит в кисейном платье, как херувим, — сам Егор Парфентьевич выйдет в сером пиджаке и в желтых полсапожках, — красота!.. И мне от этого никак не весело, останусь один, думаю, завидую: «почему же моя такая разнесчастная доля, что я хуже других, что ли?» — И дело наше — иконы, знаю — жульничество, народ обманываем, тоже невесело. Я людей боялся, — я от них мало добра видел, — я так понимал, что, если я с дорожки не столкну, меня столкнут. И решил я, — неужели я хуже других?.. — возлелеял я в себе мечту, — буду каждую копейку беречь, буду работать, буду ко-

пить, — дом себе построю за забором, собаку у ворот привяжу, цепь на калитку пристегну, от людей спрячусь, буду землю пахать, на маслобойке работать, ни от кого не зависеть. Я ведь почему от иконы хотел уйти? — хотел отстраниться от жульничества! Я все справедливо понимал. Думаю — обязательно добьюсь своего. Думаю — каждую копейку считать стану, — не может того быть, чтобы правды на земле не было, — добьюсь правды!.. Наказал я себе урок, — дом поставить, пятистенку, лошадей, коров, овец довести до полной нормы, маслобойку справить, а сверх того скопить тысячу рублей, и тогда — в деревню, жить по совести. Ну, своего труда я не жалел... ну, и хозяйского добра — тоже, — я ведь видел, как хозяин работает, — золотцо там, краска, кипарисовое дерево... Ты думаешь, меня завидки не брали, когда ты с Фимой в театр ходил, а я сидел, на сторону работал потихоньку от хозяина? — или не стыдно мне было, когда ты кликнешь меня, поднесешь мне стаканчик, — а я и богаче тебя, а только и подношу тебе — что спасибочки?.. Это верно, завидовал я тебе, я всем завидовал, но мечта моя и характер брали верх, «я, мол, зато избу новую поставил, богородку купил»... И — как я мечтал! — лягу у себя в мастерской на нарах, свет пригасят, а я вижу в темноте, наяву, как я дом отстраиваю новый, какие в нем будут рамы, — думаю про рамы, и они наяву передо мною в темном помещении около потолка, как я нетеля в свои ворота ввожу, как нетель упирается у подворотни, дурашка, как я ее глажу за ушами и кусочек сахара ей сую, а губы у ней теплые, мягкие, сырые... как баба моя на крылечке стоит, руки скрестила, груди подперла... эх, что говорить!.. Страшное дело — мечта! — просыпался я до света, жил в общежитии от всех в стороне, кроме хозяина, никуда не ходил. Боялся, если позовут, — потому отвечать надо на угощение. Сижу над иконой, расписываю палаты, а сам думаю: «Сегодня Алексей божий человек, телегу, телегу надо налаживать, навоз, навоз надо возить!» — сижу сверх времени, а сам думаю: «Время к полуночи, не забыла ли Ариша коровку подоить, не заспала ли?» — и сержусь на нее. На две жизни жил, — и не год, не два, а два десятка лет. Надо сказать верно, — меня уважали, а еще больше того боялись. — Панкрышев меня приказчиком сделал, у нас с

ним рука в руку. И в деревне все мне кланялись, — тогда такой строй был... Это все верно, Роман. Девятнадцатого июля девятьсот четырнадцатого года мне осталось копить до полной моей мечты сто восемьдесят три рубля, и скопленные восемьсот двадцать семь рублей я получил из банка в девятнадцатом году — и то обманом — когда я мог купить на них один пуд муки... Эх, и страшная для меня началась жизнь! С фронта в деревню я волком приехал, тайком, дезертиром. Какое рушение происходило, как я понимал, — земля на дыбы становилась. Таких, как ты, больше при царе было, чем таких, как я. Вам все нипочем было, войну — долой, царя — долой, усадьбы жги!.. Вы рушили все со зла на империю, я так понимал, и потому, что сами ничего не копили. А писем из деревни нету, что там деется — может, и там рушение, — я записался в эсеры, а потом бросил винтовку, не стерпел от тоски по дому, три дня по ночам кустами с фронта утикал, сел на крышу на теплушку и поехал, на вольном воздухе, с юго-западного фронта через всю Украину. Разное, конечно, было, что а я вижу? — подъезжаем к одной станции, к теплушкам женщины бегут безо всякого страху, — «родимые, говорят, у нас тут сахарный завод мужики делили, на душу пришлось по двадцать четыре пуда, — не надо ли кому сахарку?» — подъезжаем к другой станции, к теплушкам старики и подростки, — «братишки, говорят, тут мы спиртовой завод делили, спирту не требуется?» — на третьем делили мельницу, — на одной станции старичок вышел не старичок, а иконостас, весь малыми в золотых кружочках помещичьими портретиками увешан. На крыше у нас от скуки в три листика австрийские винтовки проигрывали. Я ведь знал, что такое копить, — я и вижу только одно рушение, — сижу на крыше и думаю: «Неужели и меня порушили?» — А тут идет разговор, — на месте обязательно «дезертиров ловят», — «неужли и я в разбойники попал? — Скорей бы домой, думаю, там иконники меня знают, скорей бы объяснить, что я трудовик!» — и на грех ко всему — иконы, — ведь сказать на крыше, что я богомаз, с крыши выкинут, как жандарма какого!.. Всю жизнь уважаемо жил, все ко мне с почтением и страхом, и — на-ко вот, как оборачивается, на крыше жуликом еду. На фронте я не боялся, два Георгия имел, — сижу на крыше, то спрячу Георгиев, то опять

нацеплю. И ничего не понимаю, и спать не могу, душа болит, беспокойство, страх. Слез в Шуе, к Палеху ночью подошел, дотемна у Люлеха в кустах прятался. Иду к своей избе — руки потеют, сундучок в руках не держится. Допрежь того, как постучать, дом кругом обошел, беспорядку ждал. Собака залаяла, я голос узнал, я ее еще щенком из Ипатьевского монастыря привез, порода — дог. Услышал лай, — обрадовался. Стучу. Отперла жена. Дезертиров, говорит, не ловят, почитай вся округа в дизиках. Я вздохнул полной грудью. Всю ту ночь не спал. Всю ночь осматривал хозяйство, дом, двор, руками щупал, на крышу лазил, в подвал к картошке спускался троекратно, — с телушками, с овцами, с лошадьми — без малого, что не расцеловался, а обниматься обнимался. Мое! хозяин! — достиг мечты! — никому ничего не обязан и ничего больше не желаю!.. — На рассвете велел баню истопить, а до бани усадьбу три раза обошел кругом и на Палешку, на маслобойку бегал. Выпарился, лег спать. Проснулся ввечеру, Ариша говорит — соседи, родственники приходили здороваться, спрыснуть возвращение в целости и невредимости, — а мне видеть никого не хочется, мне бы маслобойку наладить, мне бы лошадь новым скребком — с фронта привез, австрийский — вычистить. Сказал жене: «Раньше завтрашнего вечера никого ко мне не пускай, запри ворота, а к вечеру купи самогону!» — А на другой-то день вечером собрание какое-то было, никто ко мне не пришел, я этому порадовался, — не требовалось мне людей. Через неделю Ариша говорит мне: «Прозвание тебе на селе дали — Бирюк», — и я сам выйду на улицу, поговорю с соседом, чувствую — нету ко мне прежней приветливости и почтения. — «С чего бы?» — думаю и — без внимания. Пришла весна, я в поле. Иконное дело кончено, все за лошадей хватаются, а у меня — пожалуйста, все приготовлено, работаю и наслаждаюсь, все у меня хорошо, а кругом у иконников голод, недостача, с лошадьми они обращаться не обучены. Я никуда, ко мне никто. Мне чуть-чуть обидно, однако все без внимания... Это верно. А спокойствия нет. Нету спокойствия. Еще собаку завел. С вечера дом обойду, все запоры проверю. Ночью просыпаюсь, иду с топором маслобойку проверить. Просыпаюсь ночью от сердечного укола, вскакиваю, сердце бьется, сам мокрый, страшный, — прислушиваюсь, —

тихо. «Что же это, думаю, достиг жизненного счастья и опять страшно, — кого боюсь? — к чему бы?» — Беру топор, иду хозяйство осматривать, а на двор выйти боязно, а еще георгиевский кавалер. Днем иду по слободе, соседи, родственники навстречу, а у меня вроде шапка к голове прилипла и язык лыковый. По ночам думаю: «Панкрышева боялся и ему завидовал, теперь народа и революции боюсь и им завидую, — где же справедливость? — что же это будет? — хозяйство в порядке, все есть, все в исправности, работаю, как хотел, от людей освободился, а покою нет и вроде как первый товарищ топор, — как же это так получается? — почему у меня с народом неполадки? — То почетный человек, а то шапку от головы отодрать трудно, Бирюком прозвали!» — Часто я тогда поминал тебя, — ветродуй ты, но мозги у тебя попроворней моих были, и ты к людям липнул, — и я думал: «Ээ, где теперь нечистая сила Романа носит, — я бы с ним по сердцам поговорил бы, спросил бы его, как и что, откуда какой ветер дует и что несет, ты бы шутку мне сказал, мы бы посмеялись вместе и, глядишь, сообща бы что-нибудь и надумали!» — Прошел так полностью девятнадцатый год, прошло время до октября двадцатого, — революция полыхает, — что Сафонова, — Парилова и того раскулачили, я уж о себе остерегаться начал, — а революции не видать конца-краю... И приехал ты... Очень я тебя ждал, Роман, и радовался тебе. А ты мне: «Карта твоя бита, Антон, зазря лучшую половину жизни прожил, ты маслобойку лучше отдай обществу, и так уж тебя Бирюком прозывают, говорил я тебе об этом еще до революции!» — О почтении ко мне и помина нет. Не то, что у нас разговора не вышло, а стал я лютым врагом твоим не на жизнь, а на смерть. Что я просчитался, я и сам видел, зазря лучшую половину жизни прожил, покоя не приобрел, — и не то, что не приобрел покоя, а с топором стал спать, от жены отмалчиваюсь, ночью, как Каин, в поту вскакиваю, — но ведь маслобойку-то, ведь каждую раму-то в окне, ведь скобу-то на пороге, ведь последние мои портки я нажил своим бережением, — ведь в каждом камушке, в каждой тесинке на маслобойке и бережение мое сокрыто, и совесть, — ты думаешь, не страшно мне было у Панкрышева на носу — на его досках, его краской на сторону писать?.. — ведь я

тебя-то, Роман, для поддержки ожидал, для помощи, как брата, может, я твоей защиты искал, — а ты... Несправедливо, разбой! — и разбой этот прикрывает мой извечный друг, то есть ты, Роман, — ведь это все равно, как если ты руку или ногу у меня отрезать собирался, — ведь это есть мой жизненный смысл! — «Был я жуликом?» — сам я себя спрашиваю. — «Нет, свое добро я своей смекалкой нажил — значит, все это мое, значит, ежели отберут, — ограбят, значит — грабители! и первый грабитель — ты, Роман!» — Ночей не спал, работать не мог, есть не мог, позеленел, руки все время в поту. Решил про себя, — «ничего не отдам, через тело мое в маслобойку впущу!» — Ясное дело, я никуда, ко мне никто. Однако — дочка в клуб, дочка — матери, мать — мне — собираются мой дом отбирать под открытие новой школы, решили в комбеде, а в комбеде, между прочим, и ты. Нельзя сказать, что я тут пережил, даже, если верно сказать, у меня мозги отшибло, я как чумовой был, я даже не помню, что я думал, что я делал и как время прошло, — только знаю, — больше всех тебя, Роман, ненавидел, — решил, ты всему делу закваска!.. И вдруг вижу в окошко — идешь ты ко мне. Жена была вместе со мною на кухне, дочка в горнице шила. Цыкнул я на жену с дочерью — надо быть, вид у меня был страшный, у жены из рук ухват повалился, и покорились они обе мне беспрекословно, на цыпочках ушли они в дальнюю горницу и замерли бесслышно, хоть и видели и тебя, и то, как я топор на лавку положил... Ловкий ты, Роман, оказался... а иначе я убил бы тебя, обязательно убил бы, и до сего часа не могу сказать, раскаиваюсь я или нет... Встал я с полу. Тишина в доме, как в гробу. Сколько времени прошло, не знаю. Только вижу, на пороге, как тени, без единого шороха жена с дочерью, в обнимку, прижались друг к другу, и лица у них белые, как у мертвецов, мертвые лица, без единой кровинки, а глаза, как фонари... Тут мой рассказ, Роман, под горку пойдет — или на гору, как тебе покажется, Роман Архипович. Решил я, — донесешь ты, — стал ждать, как меня придут арестовывать. Раскаяния во мне никакого не было, а был страх, — эх, в погреб, что ли, спрятаться, или под лавку залезть, мешками прикрыться!? — Насилу удержался, чтобы на самом деле не прятаться. Я себя кругом правым считал,

а всех — разбойниками. Ждали две ночи и два дня, жена и дочь со мною дома, вечером огня не зажигали. На третий день ввечеру послал жену к соседям, вроде углей горячих попросить, спичек тогда не было, дескать, сплошали с огнем, — а дочь погнал в соцкультуру, в клуб, в бывшие сафоновские мастерские. Жена с дочерью вернулись, — ничего не слыхать, ты в комитете пропадаешь, налаживаешь революцию со всеми безлошадными, о нас никакого разговора нет. Говорю, раскаяния во мне не было. Прошел страх за убийство, — опять вернулся страх за владения, опять не сплю, обратно в памяти все рамы и переборки перебираю. Дочка сказала, — назначен сход, приедут из уезда, будут решать про нас, — еще больше мучаюсь, у, как мучаюсь!.. — Темное дело — собственность, страшное, я тебе скажу, дело. Собрался сход, я, конечно, на нем не был, дали мне три дня сроку сложиться и выехать на маслобойку. Эти три денечка я рукой не двинул, женщины все укладывали и ворочали. Я лютее волка был, свет и мир людской ненавидел. И яснее ясного мне было, что происходит денной грабеж, и самым большим грабителем я считал тебя, Роман, — ну, что, мол, разжился я от Панкрышева кое-какими золотами, — тебе-то зачем об этом болтать? — тебе-то мешали, что ли, то же делать? — и я думал, ты потому на грабеж не приходишь, что тебе стыдно в глаза мне глядеть. И тоже надо сказать — боялся я на самом деле, как волк, которого живьем изловили, людей боялся, своих собственных соседей и родственников. Где мое почтение, где мое бережение, — тю-тю!.. Женщины скотину вывели со двора, — сено, овес, муку, сундуки, столы, шкапы свезли, — спросили меня, как с собаками быть? — одну я оставил, а другую велел вести на новое жительство. И пришло время, жена сказала: «Прибегали из совета, велели сказать, через полчаса новые владетели придут!» — Насилу за...у я оторвал от скамейки. Думаю, сейчас весь мир порушится, а он стоит себе невредимо. Поднялся, глаза в землю, вышел на зады и пошел на новое жительство, как есть волк и еще лютее волка. — «Погоди, Роман!..» — думаю. Пришел. Женщины уж кое-какой порядок навели. Лег я на кровать и — сразу заснул, как убитый. Вот я и говорю, что рассказ мой под горку пошел и темное дело собственность. Про-

снулся, — светло, мороз на окне играет в солнышке, женщины на кухне возятся, пахнет из печки хлебом. И чувствую в себе — чудное дело — покой!.. — чудно, разве это статочное дело, а — покой! — не сравнять с тем, что было, пока я из дома собирался. Встал, помылся, помог кое в чем женщинам, — покой! — Спать лег спозаранку, ночью ни разу не просыпался и никаких снов не видел. Чувствую этот покой и сам себе удивляюсь. Ненависть осталась, этого не надо забывать, — и месть осталась, — «погоди, Роман, и на нашей улице будет праздник!..» — Понимаю, что идет кругом денной грабеж, называемый борьбою классов. А про жалость надо сказать, до тех пор, пока я не отдал дома, пока я только ждал, как его отберут, — жалость была во сто раз больше, чем как перестал я быть владельцем. Ночью сплю без снов. Хоть бы и другую собаку в старом доме оставить. А кроме этого, работы стало меньше, дом меньше — грязи меньше. И совсем уж не так плоха была моя сторожка, многие у нас в деревне, и тебя к примеру взять, хуже жили. А злоба, а ненависть — ух! — ко всему человеческому роду. И особенно ненавидел я эти самые разговоры про классовую борьбу. Через два месяца у меня маслобойку отобрали. Опять неделю мучился, пока собирались отбирать, опять ночами не спал, жена меня за руки держала вместе с дочерью, — собирался маслобойку палить. Отобрали, повесили свой замок, разгородили двор, — опять лег спозаранку, спал до бела дня, и опять проснулся — покой! чудеса!.. А кроме покоя — досуг, дела, почитай, совсем никакого не осталось, — какое там дело — лошадь убрать, за дровишками съездить. Жалости уж нет никакой — пропадай все пропадом к чертовой матери вместе с Россией! — Я так понимал, что со мной вместе весь мир рушится, — думал иной раз: «Не может того быть, станет все по-прежнему, тогда и дом, и маслобойку, и лошадь мне с лихвой отдадут, — мы тогда покажем, как грабить!» — я своими руками с тебя, Роман, шкуру содрал бы и плакать не велел бы!.. Ты понимаешь, Роман, если меня охолостили, значит — все позволено, — дай старому вернуться!.. А ежели все на самом деле пропало, то, значит, нету никакого смыслу жизни... Почему я сказал, что мой рассказ под горку пойдет? — потому, что самое страшное время было про-

меж того, как я тебя убивать собирался и как меня из большого моего дома выгнали. Сначала, как я приехал с фронта, я на людей сверху вниз поглядывал, я сам к ним идти не хотел, я хотел один жить, без людей. Охолостили меня. И я уж поклонился бы тому и другому, поговорил бы, спросил, — да вижу, — на меня уж и не глядят, не принимают во мне человека. В то самое время пришел ко мне Панкрышев с прошлогодними календарями и спрашивает: «Ограбили?» — «Ограбили», — говорю. И получилось так, что Панкрышев один-единственный мне посочувствовал, расспросил все по порядку и сердечно, без придури. Знал я цену этому Панкрышеву, но понимал — у нас с ним одна песня. Он все дурака валял, а со мною говорил как человек и доказывал мне, что и на нашей улице будет праздник. Я ему рассказал, как я у него золото подметал. — «Наплевать, говорит, не то пропало и не то вернем, дай срок!» Он один-единственный меня за вора не счел, оценил мои дела. Во мне надежда от его разговоров получалась... Охолостили меня. До революции я газет не читал, разве возьму у соседа, посмотрю происшествия, политика мне была без интересу, а — тут — стал Катюшку в соцкультуру посылать за московскими газетками. Вычитываю газетки до мозолей на глазах. Читаю и злобствую, выискиваю плохие места. Стал страшным политиком. Весна пришла, — выехал в поле, работал до осени. Все село вместе, а я один, молчу, работаю. Мне никак не весело и злобно. Читаю газетки, нет для меня интересней политики, во всем вижу прореху. И злобствую. И жду, как сказал Панкрышев и как сам понимаю, как нам придется действовать. Читаю газетки, — вся Россия, все равно как наш сельсовет, заодно по газеткам получается. Весь мир против меня стал. Скучно мне. Нету жизненного смысла. Несправедливость. А мужик я здоровый, надел мой обработать, малое мое хозяйство — плевое дело. А кроме того — я ведь в Москве, прежде чем богородку купить, о всех коровьих породах книжечку прочел, про удобрения знаю, про корма. Прожил два года я в деревне, ждал перемены, — дела не делай, от дела не бегай. Смысла в жизни нет, один против всех, — хочу работать, а к чему? — не знаю. И все ненавижу. Поехал в Москву, поискал кое-каких знакомых, — там все то же, что и в Палехе, — скучно и нет смысла. Из Москвы

подавался в Крым на малярное дело. Скучно. Вернулся домой на весну. Лето отработал, поехал в Ленинград. Разговариваю про политику назло. Один раз меня по этому случаю в вагоне гражданин с верхней полки за бороду таскал, — и в вагонах, значит, молчать надо. В Ленинграде — опять скучно, подался на Волховстрой маляром. Каждое лето езжу на родину. Время идет, старею, а перевороту нет. Забытый я человек, вроде волк. И мне уж понятно было, — маслобойка, скотина, дом — на них, правда, я работал, я их потерял, — но потерял еще цель жизни и существования, — у меня смысл жизни раскорчевали. А революция полыхает, конца-краю нет. А газетки я читаю, — капля по капле камень точит. Вот я и рассказал тебе, Роман, как я с горы скатился... Панкрышев все обещал да обещал перемены режиму и вдруг помер, не дождавшись мести, — а умер вонючий, вшивый, грязный. Ко мне пришли, говорят: «Твой дружок скончался, вашему иконописному богу представился, аки Симеон-столпник, иди, хорони друга!» — Стыд смотреть на человека. До какого унижения, до какого юродства дошел человек в ненависти на революцию, — что же, и мне ему вслед идти? — Не наоборот ли получается, — не то, что вся Россия вместе с Палехом против меня и Панкрышева, а я против всех, против России и против народа себя поставил? — газетки правильно пишут — для народа, а не для Панкрышева. О тебе, Роман, вспоминал, — выходит, не врагом ты ко мне приходил, действительно просчитался я молодою жизнью. Выходит, не в вещах вся суть заключалась, — только вот без них мне нету цели жизни. Ну, был я полужуликом, а теперь становлюсь в полной мере заодно с Панкрышевым, — однако старому-то миру я кланялся, Панкрышева дяденькой смолода называл, на праздник в прихожей у него стопку пил с умильной харей, — почему теперь миру не поклониться, какая тут гордость, панкрышевская, что ли? — Умер Панкрышев. — «Это что же, думаю, Панкрышеву вслед идти приходится?!» — И думаю, — вдруг открывается дверь, и входишь ты, Роман, и я тебе говорю: «Твоя правда выходит, Романушко, ведь не жулик же я на самом деле, ну, согрешил, ну, ошибся, — ну, прости меня, я в ножки поклонюсь, я сознаю свои ошибки... Дом отобрали — пропади он пропадом, из-за ба-

рахла до революции горб гнул, а после революции в волчье состояние попал, — будь оно трижды проклято, это барахло! — В моем доме школа, — так разве это неразумное дело, что ли, или обществом, без межей и наделов, по государственному плану, землю пахать, дорогие машины купить, — разве это не резон? — Но почему же в моем доме, на моей земле?» — Так я сам про себя рассуждал. — Умер Панкрышев, — грязный, вшивый, вонючий, — юрод, а не человек, — а юродом-то совсем не был, хотел революцию переюродствовать, а революция его не послушала. Пришла жена ввечеру, говорит: «У сельсовета объявление повешено, призывают в колхоз!» И я понял, — конец! — конец навсегда! никогда не вернется наше, не будет у меня на улице масляной, не смогу я содрать с тебя, Роман, шкуру! — кончено! ничего не вернешь! Панкрышевым вонять не намерен! — Я ору жене и даже весело: «Ариша, беги за литрием, селедки приготовь, огурцов достань, которые получше, а я схожу пока к извечному моему дружку Роману Архиповичу, поздравлю его с колхозом, надо спрыснуть колхоз и нашу дружбу... беги за литрием!» — Жена оторопела, не знает, верить своим ушам или нет. Я еще раз крикнул: «Делай, что велят!» — Взял я в сенцах бутылку с керосином, пошел к твоему дому, Роман, шел не крадучись и не прячась, вошел во двор, плеснул в сенцах керосинцу, кинул сенца, поджег и пошел к школе, поджег конюшни и пошел на маслобойку, вылил остатний керосин, поджег и вернулся к жене и выпил весь литрий, как воду, никакого вкуса не чувствовал и никакого опьянения. Сижу, ем закуску, смотрю на зарево, — покой. Пришли арестовывать меня — покой. Мне отвечать больше за Панкрышева и за всю мою жизнь не перед кем и воли своей у меня нет»...

Роман Архипович помолчал, покурил, сказал:

— А я спрашиваю Антона про красное знамя — ну и как, мол, ты теперь проживаешь? Ты вот на знамя работаешь, — ты что же, в самом деле большевиком стал? — так и прешь со своей бригадой...

«— Нет, мы не коммунисты, — обернись дело...»

«— Ну, и не каешься ты?

«... — Нет...»

— Ну а обернись дело, — убил бы меня?

«— Обязательно убил бы! — самый большой у меня праздник был, когда я твой дом палил! — обернись

дело, я и с тебя, и с Зубковых, и с Маркичевых, и с Котухина, и с Вицина, и с Колесова — шкуру своими руками сдеру, освежую вас, и плакать не позволю!..»

— Вот я тебе, Сергей Иванович, и рассказал об окончательном раскорчевании моих мозгов. Класс на класс — все равно, что с глазу на глаз, — никакого опортюнизма, начистоту. И это есть окончательное пролетарское сознание. Об иконках надо окончательно забыть и не поминать!..

Сергей Иванович знал, — он слушал повесть о социалистической революции. Доказательством «от противного» вскрывалась история палехского пролетарского сознания, — такая ж, как законы обратной перспективы палехских миниатюр. Рассказ Романа Архиповича, бывшего богомаза, превращался в повесть никак не только палехских дел и мечтаний — это рассказ созревания классовых и пролетарских инстинктов, доказанных «от противного». Пролетарии выковывали свое сознание задолго еще до Пятого года, — и какие пролетарии — палехские богомазы, колхозник Роман Архипович, милейший человек, в частности?! — Нет, не они делали революцию. Революция сделала их, — и, как должно, поэтому наш суровый, боевой пролетарский век сумел загореться и изумительностью, и сказкой, — на палехском лаке, в частности, — шире Палеха, не только для Палеха. Повесть рассказывала о социалистической реконструкции сознания и повесть рассказывала о том, что иконнику Павлу Павловичу Калашникову — нет места среди иконников Палеха и среди палехских колхозников, бывших иконников. Павлу Павловичу на самом дела надо спрятаться в Углич, как в Китеж.

Дмитрий Николаевич Буторин, фламандец и певец зари туманной юности, собирался писать пушкинского Балду по предложению книгоиздательства «Academia» и ездил в книгоиздательство для переговоров и для подписания договора. Он приехал в Москву и отправился на Большую Калужскую улицу, угодил в Академию наук СССР, сначала беседовал со швейцаром, сказав ему, что — он, мол, Буторин из Палеха, приехал в связи с Балдой, — затем беседовал с неким делопроизводителем. И отправился на Ленинградское шоссе, угодил в Академию воздухоплавания. Побывал Дмитрий Николаевич также в Тимирязевской сельскохозяйственной акаде-

мии. И только на второй день к вечеру, измученный, добрался до книгоиздательства и уже несмело сказал там швейцару: «Я мол, Буторин, из Палеха, в связи с Балдой». — В книгоиздательстве «Academia» Дмитрия Николаевича очень ждали и встретили высокой честью.

Езживали художники в Москву с женами на свои торжества. Их водили по театрам. Их записывали на звук. Жили они в гостинице «Метрополь». С женами — по дороге с вокзала до гостиницы — художники выдержали целый бой; художники требовали, чтобы жены переоборудовали свои головные уборы, предлагали заехать в шляпный магазин для закупки беретов; жены наотрез отказывались сменить на головах своих извечные свои платки на непотребные беретки. Гостиница «Метрополь» угнетала художников: «Мы не цари, чтобы эдак-то... нам бы дом крестьянина, где внизу трактир, чтобы чайку попить, а здесь и чаю негде, все кофе!» — и согласились на «Метрополь» с условием, что помещены они будут все вместе в одном номере, — «а то в одиночку нам неудобно»... — И больше всего тратили времени художники на ожидание друг друга, ибо они категорически отказывались ходить иначе, как скопом, семеро ждали одного опоздавшего с женой и двигались по московским улицам, держась друг за друга — сразу все товарищество.

Громадный
громадный
трудный
труднейший
пройден путь палешанами — —
— — и замечательный путь — —

«...Они механически перенесены... из классического русского романа»...

«...образ не только весом, перспективен, матерьялен, историчен, он обязательно социален и классов»...

Роман Архипович рассказывал о своих раздумиях по дороге после топора Антона, он рассказал:

« — ...а потом даже остановился посреди улицы, сам себя по лбу стукнул, надо быть, сам себе вслух ска-

зал: «Ну, а я-то? ах, дурак, дурак!.. я-то, что же, провокатором революции оказываюсь, — ведь если пойти другим кому сказать, — мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо, а ведь я кулацким шпиеном оказываюсь, я к кулаку ходил наши революционные карты открывать, я кулацкую руку держу»...

Арбеков месяца за три до поездки в Палех, еще зимою, но много позже смертного беспокойства, то есть тогда, когда он слышал уже гул миллионов и знал, что он в классе и с классом, — Арбеков написал рассказ о стариках, не похожих на Романа и Антона, выводами своими совпадавших с рассуждениями Романа Архиповича о предательстве, написанный именно для этих выводов.

Рассказ назывался «Заштат» в честь заштатных обстоятельств повествования и заштатного мышления его персонажей. Этот рассказ гласил следующее:

«Российское место оседлости, именно — место оседлости и — российское. При царях Иванах здесь была испольная крепость, при императорах — помещался уезд, перед самым Семнадцатым сданный в заштат. Революция планами своими заштат обошла, советское межевание поместило в городе Рик. В начале века у города возникла было некая необыкновенность и погибла с революцией, наладились было в городе покупать дома с садами отставные генералы и помещаться в этих домах на покойную старость. До станции от города — семьдесят один километр. Базар и собор на горе, — собор, впрочем, заколочен. Вокруг базара двухэтажные каменные местожительства бывших почетно-потомственных, с каменными воротами и глухими конюшнями, с собачьими будками и с переросшими в одичание садами. На восток, юг, запад и север от базара и от двухэтажных местожительств этой оседлости — одноэтажные деревянные за заборами, сады, колодцы на перекрестках, выгоны, поля, небо.

Рик — в бывшей управе. Общежитие ответственных работников — в бывшей чайной с номерами. На прежнем базарном постоялом дворе в конюшнях и в двухэтажном камне — ветеринарная амбулатория, в верхнем этаже — старший ветеринар Иван Авдеевич Гроза и там же аптека, — младший ветеринар Климов, Николай Сергеевич, — на дворе во флигеле. Через улицу, как

раз окна в окна, также на втором этаже, жил санитарный врач Лавр Феодосович Невельский, занявший целый этаж, обставленный генеральским красным деревом. Врачей в городе — пять человек, ветеринаров — двое, учителей — человек тридцать. По сельсоветам, естественно, свои медицинские и ветеринарные амбулатории и свои учительские силы.

Ветеринарный врач Гроза и санитарный врач Невельский появились в городе после революции и, встретившись, не подали друг другу руки, не поклонились, не пожелали познакомиться. Тому были причины. Некогда, еще до Пятого года, Гроза и Невельский служили в Калязинском земстве. От Пироговских съездов у санитарных советов в земстве осталась традиция, когда новые врачи принимались в земство исключительно по выбору санитарных советов, причем первый год службы они стажировались в качестве временных врачей, дабы среда врачей могла всячески изучить того, кого она принимает в себя. Это не было законом земских уложений, это была традиция, принятая земской практикой. Председателем земской управы и предводителем дворянства в Калязинском земстве оказался князь Федор Расторов, местный феодал и улан ее величества. Князь Расторов воеводствовал по-своему и пригласил двух врачей, помимо санитарного совета и без стажа, на постоянную службу. Врачи из санитарного совета взволновались и собрались у санитарного врача Лавра Феодосовича Невельского, чтобы обсудить, как им реагировать в защиту пироговских правил. Слово держал Лавр Феодосович, блестящий ораторским искусством и цитатами из земских классиков. Демократы предлагали демократические меры. Было решено собраться вновь и на собранье пригласить тех двух врачей, которых нанимал без санитарного совета князь. Было решено с этими двумя врачами переговорить потоварищески и убедить их в том, чтоб они сами отказались от предложений князя и подчинились бы традициям. Было решено, — в том случае, если врачи откажутся от товарищеских предложений, — не подавать этим двум врачам руки, бойкотируя их. Члены санитарного совета вновь собрались на квартире Лавра Феодосовича Невельского, и туда приходили два новых

врача. Лавр Феодосович Невельский держал блестящую речь, он убеждал молодых не нарушать прекрасных пироговских правил, и он предупреждал, что врачи из санитарного совета будут бороться за традиции путем неподачи руки. Молодые выслушали речь Невельского со вниманием и передали ее князю Расторову. Князь Федор Расторов усмотрел в речах Невельского бунт, экстренно собрал санитарный совет и дал знать врачам, что на этом заседании он представит врачам двух новых коллег и, буде некоторые не подадут им руки, не подавшие руки будут уволены из земства. И врачи — подали руку!.. — кроме двоих, кроме Лавра Феодосовича Невельского и Ивана Авдеевича Грозы. Лавр Феодосович Невельский, — узнав о проектах князя, — за день до санитарного совета подал в отставку, срочно выехал из Калязина, от неподачи руки уклонившись тем самым, и перешел работать в новый уезд. А Гроза Иван Авдеевич, который и не имел особенно прямого отношения к медицинскому санитарному совету, пришел на заседание, и когда князь широким и дружеским жестом представлял новых коллег, Иван Авдеевич спрятал руки за спину, старомодно раскланялся с князем, торжественно сказал: «Извините, князь, но с этими господами знакомым я быть не желаю!» — и был уволен из Калязинского земства в двадцать четыре часа. Невельский штрейкбрехерствовал хуже, чем те обыватели, которые подали руку. Недели через две тогда Лавр Феодосович Невельский приезжал в Калязин ликвидировать свою квартиру, объехал с полулегальными прощальными визитами своих коллег, ему сделан был полулегальный прощальный обед, полный полулегальных речей и пророчеств. Но Грозе прощального обеда не устраивалось. Провожали Грозу фельдшер да амбулаторный сторож. Что касается Ивана Авдеевича Грозы, то пять раз переходил он таким образом из уезда в уезд, сотни тысяч верст исколесив российскими проселками по нерастелам, по ящурам, по сибирке, сапу и мыту. И уже под занавес империи, в год мировой войны, в зное и отдыхе феодальной реакции, в успех второвского капитализма и фон-мекковской индустрии, эти российские проселки завели Ивана Авдеевича Грозу в город Можай. По участкам в Можай-

ском уезде жили ветеринарные врачи, коллеги, реставрируя гоголевский быт. И вскоре после приезда выступил Гроза на санитарном совете с докладом о положении ветеринарного дела в уезде и о мерах развития его. — «Господа члены санитарного совета! — торжественно сказал Гроза. — Практика и опыт всей моей жизни и общественной работы указывают мне, что святым делом мы должны считать общее, общественное дело. Когда мне в общественной моей работе указывают на мои недостатки, я бываю только благодарен, ибо исправлением моих недостатков я улучшаю общественное дело. Поэтому я начну мой доклад с указания недостатков и даже позорных явлений, имеющихся в можайской ветеринарии. Например, один из наших участковых ветеринарных врачей, — имени его я не буду называть, я надеюсь, он сам признается в ошибочности своих поступков, — один из наших врачей выписывает на земские деньги газету «Русское слово», а стоимость газеты проставляет в отчетах, как якобы стоимость бумаги для обертки лекарств, обманывая земство. И этот же врач, равно как и некоторые другие, разъезжает по участкам на вызовы — на племенных земских жеребцах, — разъезжает, ни копейки не тратя, но в разъездных отчетах проставляет за каждую версту двенадцать копеек, якобы он разъезжает на наемных лошадях!»... — Гроза Иван Авдеевич сказал длинный доклад. Врачи из санитарного совета, медики и ветеринары, ездили друг к другу в гости, пили друг у друга водку, ухаживали друг у друга за женами и свояченицами, — доклад был встречен гробовым молчанием, принят был «к сведению». А летом Семнадцатого года, при эсерах, когда эти самые врачи из санитарного совета стремительно заделались комиссарами и эмиссарами временного правительства, — именно за это свое санитарное выступление вылетел Иван Авдеевич Гроза из Можайского земства с треском, как при вулканических извержениях, и осел в заштат, описанный выше, один, старый холостяк, без вещей, старый хрыч. В заштате приемы он начинал в восемь утра, кончал к часу, сам себе готовил обед, сам себе разводил в мензурке пятьдесят грамм ректификованного спирта, ел, пил, ложился спать до трех, в три ехал по уезду, возвращался к закату, осматривал стационаров, опять разводил пять-

десят грамм, пил их в аптеке без закуски, харкая и крякая, в девять поджаривал яичницу и ложился на диван под одеяло из романовской овчины, в сотый раз перечитывал майнридовские романы, пока не засыпал. По осеням над заштатом дули ветры и лили дожди. Драная крыша над Грозой гремела преисподней ветров, и в дожди казалось, что по крыше шествует, обутое в ичиги, Мамаево полчище, которое и на самом деле бывало здесь в довспольные времена. В такие вечера, когда в заштате ни зги не видно, хорошо зажечь много света, хорошо вытопить дом, никуда не спешить и быть с друзьями. Именно так и было напротив, окна в окна, у Лавра Феодосовича Невельского. Лавр Феодосович Невельский приехал в заштат позднее Ивана Авдеевича Грозы. Расставшись некогда без прощания с Грозою в Калязине, Лавр Феодосович Невельский Семнадцатый год встретил губернским санитарным врачом и от марта до октября, сначала от эн-эсов, а затем от эс-эров, занимался государственным строительством, недели две был, называясь губернским комиссаром, на месте городского головы, затем взял на себя здравоохранение губернии, захирел сейчас же после Октября, дважды был обыскан продармейцами, опозорен сокрытием в подвале двадцати семи пудов крупчатки в восемнадцатом году и перевелся в заштат, ехал со станции в заштат на семи возах хозяйственной утвари. В заштате он приобрел себе лучший генеральский этаж, подкупил генеральского красного дерева. Вместе с ним приехала его жена, неимоверно дородная и величественная женщина в пенсне, по профессии фельдшерица и поистине знаток и начетчик всей мировой классической литературы, цитатами из коей ей говорить было удобнее, чем нецитатными словами. Лавр Феодосович Невельский встретил Ивана Авдеевича Грозу в исполкоме, узнал его, и глаза Лавра Феодосовича были даже приветливы. Товарищ Трубачев, предрайисполкома, сказал:

— Иван Авдеич, — новый санитар приехал, товарищ Невельский, познакомься!

И Иван Авдеевич Гроза, так же, как некогда перед князем Расторовым, спрятал руки назад, низко и качая головой из стороны в сторону раскланялся с товарищем Трубачевым, торжественно сказал:

— Извини, Павел Егорович, но с этим господином знакомым быть я не желаю!

Товарищ Трубачев смутился. Глаза Невельского стали стальными, очень сощурились. Вообще же Лавр Феодосович Невельский повадку и внешность имел старостуденческую, народовольческую, ходил в крылатке и шляпе, носил длинные волосы и, как жена, пенсне на черном шнурочке, был худощав и подвижен.

Товарищ Трубачев наедине сказал Невельскому:

— Ты, товарищ Невельский, на него не серчай... Ветеринар он хороший, а человек чумовой, водку, говорят, пьет в одиночку и ночи напролет читает романы...

Товарищ Трубачев наедине спросил Грозу:

— Ты, товарищ Гроза, — чего ж это ты, здорово-живешь, встаешь на дыбки? — или что знаешь? — ежели знаешь — скажи!

Иван Авдеевич Гроза ответил свирепо:

— Ничего я не знаю! и я не желаю говорить о Невельском!

В вечера, когда по осенним заштатным крышам шли в ичигах орды недельных дождей, у Лавра Феодосовича было очень тепло и светло. К нему и к жене его приходили врачи и педагоги, сидели в креслах и на диванах, говорили, даже спорили иной раз о текущих моментах. Лавр Феодосович выписывал «Красную новь» и «Новый мир», вместе с газетами они лежали на отдельном столике, новинки читались вслух, читала Полина Исидоровна, относившаяся к современным писателям исключительно иронически. По крышам и по улицам проходили полчища ночи. Полина Исидоровна занималась общественностью. Она организовала общество краеведения и краеведческий музей, куда собраны были из генеральской рухляди чучела волка, медведя, лисицы, хорька, ястреба и тетерева, где по воле Полины Исидоровны мальчишечьими руками набраны были яйца галок, воробьев, чижей, синиц, кукушки и где развешаны были Полиною Исидоровной всяческих сортов злаковые снопы. Весною Полина Исидоровна впервые ввела в заштат волейбол, увлекаясь им вместе с педагогами. Полина Исидоровна летом устраивала интеллигентско-коллективные поездки на лодках, пикники, рыбную ловлю и уху на природе. А в заштате, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, и прочее. Лавр Феодосович заседал. Но каждый день к шести он

был дома, обедал, и священность вечера и вечернего отдыха он строжайше хранил, по пироговским заветам, нарушая их лишь прогулками затемно, за город, куданибудь к оврагу иль к холму летом, иль к разбитой мельнице весною и осенью, где, несмотря на стареющее его состояние, поджидал он ту или иную молодую учительницу и где рассуждал он о вечности, к чему жена его Полина Исидоровна относилась иронически. Лавр Феодосович был популярен в заштате и уважаем. Он читал лекции, он председательствовал. По пироговским традициям, частная практика запрещена, да и не это является специальностью санитарных врачей, но Лавр Феодосович считался лучшим в заштате врачом, и, не занимаясь принципиально частной практикой, он принимал участие лишь в консилиумах. Сам о себе Лавр Феодосович рассказывал историю, пронесенную им, как живую современность, от калязинской молодости до заштатной мудрости, — о том, что-де на той неделе он подслушал из окошка разговор прохожих у его подъезда, — один прохожий спрашивает второго: «Здесь, что ли, живет доктор?» — «Здесь». — «И ничего доктор, хороший?» — «Доктор очень хороший, только он специальный доктор — не по живым, а по мертвым. Живых он не лечит!..» — А Гроза жил один, одиноко, злобно, в гости не ходил, и к нему в гости приходил лишь его помощник, молодой ветеринар Климков Николай Сергеевич — и то только выпить разведенного спирта. Гроза увеличивал тогда свою порцию от пятидесяти грамм до ста и поджаривал яичницу из восьми яиц. К породе разговорчивых людей Иван Авдеевич Гроза никак не принадлежал. По летам в заштате были очень короткие ночи. На ветеринаров возлагалось страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада, по летам Иван Авдеевич Гроза просыпался в половине третьего утра и ехал на страхование — до восьми, до амбулаторного приема, — с громом на рассвете выезжал с бывшего постоялого двора на улицу, верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе, с громадным портфелем, привязанным над торбой — с овсом, — полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева, Павла Егоровича, его товарищи давно работали в крае иль

даже в Москве, — местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством и в местном городском училище Положения 77 года, шестнадцати лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в двадцать первом, демобилизовавшись, ни учиться не поехал, ни на новые какие-либо места не двинулся, а вернулся в свой заштат, женился на дьяконовой дочке-учительнице, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом Рика, хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она — Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович, отмалчиваясь от жены, на второе приглашение заявил жене строго: «Не пойду, ну их к черту, — интеллигенты!.. — и тебя прошу — не ходи... тоже, Завалишина — словами завалила! — галстуки носят!..» — А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу — лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши.

И наступил порог первого Великого Пятилетнего Плана. В заштат на автомобиле из края приехала комиссия, — заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографисткасекретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек с походкой моряка и бывший моряк, матрос, поместился вместе с шофером в общежитии ответственных работников — в бывшей чайной с номерами Павла Тютина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского, и он вместе со стенографисткой-секретаршей устроился у Невельских. Заседания комиссии и множества подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все пе-

ретряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался им вопрос об аэроэлектрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осьмаки, клинья, подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплочивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов; этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседании собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад, он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения. Что касается ветеринарии, он говорил о ящурах, сапе, сибирке, мыте, о бедствиях, приносимых ими, о способах борьбы с этими бедствиями и о способах их изгнания. Цифры и ораторское искусство указывали, что к концу пятилетия не только эпизоотии повального распространения, сап, сибирка, бешенство, ящур, мыт, но даже вагинит и туберкулез — исчезнут в крупном и мелком рогатом и в конском заштатном стаде. Заведующий краевым земельным управлением сидел рядом с Трубачевым, слушал внимательно и чуть-чуть устало. Заговорили записавшиеся в прениях о медицине и ветеринарии и, надо сказать, говорили невразумительно, ибо оппонентов не было, как не было, по существу, и прений, все соглашались с докладчиком и, восхищаясь его талантами, так строили свои речи о ветеринарии в частности, что на самом деле к концу пятилетки заштатные эпизоотии будут сданы в заштат. Вдоль стен стояли чучела зайцев, лисицы, волка, медведя, по стенам висели кукушки, тетерев, филин. Лавр Феодосович Невельский передал в президиум резолюцию. И тогда затребовал себе слова Иван Авдеевич Гроза. Вид его был свиреп, и был Иван Авдеевич чрезвычайно волосат.

— Господа, — сказал он степенно, смутился, обозлел, поправился, — то есть — товарищи! Я принципи-

ально не желаю говорить о проектах, выдвинутых гражданином Невельским по поводу медицины, но что касается вопросов ветеринарии, то я совсем не понимаю, что тут происходит. Я служу в земстве, — и опять смутился, обозлел еще больше, поправился, — то есть сначала в земстве, а потом при советской власти — двадцать семь лет в общей сложности, — опять смутился и окончательно обозлел. — То есть, товарищи, я хочу говорить совершенно честно. Я не знаю, кого мы собираемся обманывать. Я приведу пример. У Германии соседями являются Франция, Швейцария, Австрия, самая некультурная их граница с Польшей, — и тем не менее в Германии до сих пор имеется эпизоотия. А у нас по степям рукой подать до Волги, а там Казахстан, Средняя Азия, которые в свою очередь граничат с Монголией, очагом всех эпизоотий. Я и должен сказать совершенно честно, я совершенно убежден, что в пять лет мы от эпизоотии не освободимся, для этого нам понадобится несколько десятилетий.

Слово взял статистик-экономист, приехавший из края вместе с заведующим крайзу. Речь его была вежливейша и академичнейша. Он вежливейше потребовал, чтобы Гроза извинился перед съездом, усматривая в речи Грозы оскорбление съезда, ибо Гроза заподозрил ораторов в нечестности. Затем, отталкиваясь от ветеринарной специфики, вежливейший статистик-экономист уличил Грозу в германофильстве и в недоверии к силам революции, в правом оппортунизме и в желании сорвать пятилетку. Оговорки Грозы «господа» и «в земстве» были возвращены Грозе раскаленным железом вежливости и академичнейшего презрения.

Председатель, большевик и бывший матрос, молвил было в защиту Грозы:

— Однако, товарищ, человек ведь действительно указал на факты о границах и на состояние ветеринарного дела у нас и у немцев. Политическое значение речи разрешите уж мне оценить... Может, пересмотрим резолюцию, предложенную президиумом?

Статистик-экономист вновь взял слово и настаивал на том, чтобы Гроза принес извинение съезду. Взял слово Лавр Феодосович Невельский и заговорил тоном, указывающим, что событий не произошло. Он начал речь свою тем, что резолюция написана им, и он от нее

не отказывается. Он единственный на съезде называл председателя именем-отчеством, и он сказал чуть иронически и очень дружески:

— Уж вы извините нас, Иван Нефедович, хотя мы и заподозрены в нечестности, но давайте на этот раз прислушаемся к большинству и проголосуем.

Тогда вскочил с места Гроза Иван Авдеевич. Вид его был грозен. Глаза у Грозы были свирепы. Он не просил слова у председателя. Он заорал чрезвычайно несвязно:

— Имею заявить!.. Требую обсуждений!.. Принципиально не желая иметь дело с гражданином Невельским, имею заявить, что, работая как земец, то есть как врач, двадцать семь лет, я никогда, ни разу не делал ничего нечестного. То, что я сказал об эпизоотии — правильно, но я принципиально уклоняюсь, ибо тут происходит явное передергивание фактов!.. А поэтому имею заявить, извиняться я ни перед кем не намерен и съезд покидаю.

Гроза громко хлопнул дверью. В музейный зал вселился весь летний зной заштата, и в зное вспыхнувших речей и негодования ожили чучела волка, зайцев, лисицы, сороки и даже снопы закачали колосьями. За шумом Невельский, Лавр Феодосович, предложил проголосовать резолюцию и пожал лавры, — было постановлено о ветеринарии в частности, что к концу первой пятилетки исчезнут в заштате эпизоотии, сданные в заштат.

Съезд был заключен товарищеским ужином в доме ответственных работников, в бывшей чайной Тютина. Среди медиков и ветеринаров оказались песенники, пели «Дубинушку», «Марш Буденного», «Кирпичики» и даже «Гаудеамус». Председатель завкрайзу оказался веселым товарищем, простым человеком, он сплясал русскую под аккомпанемент рояля, как плясывал ее некогда на палубе дредноута, причем аккомпанировала Полина Исидоровна, организовавшая бал. Разошлись к рассвету. И на рассвете заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, много уже ночей не спавший как следует, вышел вместе с Павлом Егоровичем Трубачевым к реке помыться, в тумане лугов, спросил у товарища Трубачева:

— А как этот твой Гроза? — и добавил, думая вслух: — Черт их знает, интеллигенты!.. на самом

деле, — заштат, степь, — беги по этой степи бешеная собака, на тысячу верст никто не встретит, не говоря уже о чумной мыши или о суслике!.. а с другой стороны — большинство, ведь не дети ж, не в шашки играют, — ведь понимают же, что дело идет о строительстве социализма, что с ними не шутят, — ведь учились не меньше, чем этот старик!.. — как его, — Гроза? — такая фамилия?

— Именно такая фамилия, — ответил Трубачев. — Работник отличный, а человек... Скандальный человек. Прямо незаметно, но надо полагать, что человек чужой, — ведь сбежал же из Московского земства к нам сюда!..

— А Невельский? — спросил крайзу, — очень поспешный, черт, вроде эсеров!.. Как он у тебя?

— Работает, старается, — ответил Трубачев и начал думать вслух, — черт их знает, говоришь, — интеллигенты!.. — на самом деле, — галстуки на них на всех одинаковые. Говоришь с ним, и не понимает он тебя, и ты его не понимаешь, классового контакта нет никакого и нет общих интересов. Меня с женой Невельский один раз позвал в гости, — так его жена меня ученостью завалила... Работает, старается. Я думаю, — всетаки большинство право, — ты же правильно говоришь, что не дети, ты ж им прямо сказал, что с ними не шутят, а великое дело делают, — ты ж с того и начал, что хочешь знать их мнение, как специалистов. Я и им повторил, приходится верить... галстуки на них, на чертях, на всех одинаковые!..

— То-то — верить!.. — так же вслух начал думать крайзу. — Я приеду в край. Из края пойдет телеграмма в Москву. Ты понимаешь ведь, в Москве на материалах республик, краев, областей Союза, — ведь в Москве в расчетах Пятилетнего Плана в разделе «животноводство», в главе «ветеринария», в параграфе «борьба с эпизоотиями» напишут и примут в расчет: мероприятиями советской власти и ветеринарии эпизоотии у тебя будут изжиты к началу второй пятилетки!.. Это ведь про тебя напишут. Вещь ясная и короткая, рассуди сам.

— Своих надо, — невесело сказал Трубачев, — своих, партийных... Я этим приказываю, они стараются... и — не могу тебе как следует объяснить — верить им

мне никак не желательно. А приходится верить. Я же не доктор!.. А приказ — я могу тебе как следует объяснить — тоже не очень желательно. Интеллигент от приказа на дыбки встанет... приходится верить большинству, а то с одним чумовым Грозой останешься.

Они помылись в реке около старой мельницы, и заведующий краевым земельным управлением, большевик и бывший матрос, сел на «китайского своего мерседеса», как прозываются у шоферов вдребезги разбитые автомобили, и поехал в край. Степь легла довспольным простором.

Иван Авдеевич Гроза не был на балу в доме ответработников. Всю ночь он пролежал с открытыми глазами у себя во втором этаже под овчинным одеялом, слушая ночь. Ни разу он не ходил в аптеку разводить спирт. Руки его лежали неподвижно, как у мертвецов. Глаза его упирались в потолок. Его помощник и единственный его посетитель Николай Сергеевич Климков был на товарищеском ужине и возвращался с бала к себе в ветеринарный флигель на рассвете. Иван Авдеевич поджидал его шаги на улице, он окликнул в окно, сказал: «Зайдите!» — отпер дверь и опять лег на кровать, под овчину, руки вдоль тела, глаза в потолок. Николай Сергеевич вошел в темную комнату, где по углам шарили грязные тени рассвета, где пахло никчемною рухлядью и непроветренной ночью. Николай Сергеевич вошел невесело. Иван Авдеевич протянул Климкову папиросу. Тот взял поспешно, но закуривал очень медленно. Гроза молчал. Николай Сергеевич закурил и сказал не сразу:

— И зачем вы только это, Иван Авдеевич...

— Что зачем?! — крикнул Гроза.

— Зачем вы на съезде вообще выступали?.. а, уж если выступали, почему не отстаивали свою позицию, не боролись, и ушли со скандалом... уважаемый врач, старый практик и...

Гроза перебил вопросом:

— Какую резолюцию приняли?

— Резолюцию Невельского, почти единогласно.

— Вы голосовали «за»?

Николай Сергеевич глянул в окошко, очень невесело, затем рассматривал огонек папиросы, — заговорил:

— Вы ведь Невельского давно знаете? — надо было начинать с этого, надо было разоблачить врага. Раз вы

пошли против него, надо было драться всеми способами до конца, а не уходить со скандалом... да и не это главное...

— А что главное? — строго спросил Гроза, сел на постели, крякнул, заворчал: — Невельского я знаю четверть века, принципиально считаю его предателем, не подаю ему руки и разговаривать с ним не желаю, тем паче дискутировать, — но лично я не предатель и не доносчик, и доносить на Невельского я не намерен. — Глаза старика стали печальными. — Вы голосовали за? — но скажите мне сейчас здесь наедине начистоту, — разве я сказал неправду? — разве мы справимся с эпизоотиями в пять лет?!

— Конечно, правду!.. если не все, то большинство это понимают...

— Так в чем же дело?! в чем дело! — радостно крикнул Гроза. — Ведь я говорил ради нашего дела! я ветеринарному делу помогал и помогал стране!.. и вы — голосовали!..

Николай Сергеевич оторвал глаза от папиросы и глянул в несчастные и в радостные одновременно глаза старика, — заговорил невесело:

— Иван Авдеевич! не мне учить вас!.. — какое дело? — если бы люди даже сознательно говорили нечестные вещи, — ну, разве можно к ним обращаться за поддержкой в честности? — судите сами, разве можно так говорить, как вы?.. Да и не в этом главное. О Невельском я ничего не хочу говорить, думаю, что соловьем поет и сметаной подмазывает он из подхалимства и от любви играет главную скрипку. А вот о нас, о таких, как я, мне хочется вам сказать... учились мы мало, мы беспартийные. Как-то хочется верить всеобщему подъему, силам революции, — а, с другой стороны, ведь никто не знает, что будет через пять лет, — быть может, на самом деле пятилетка сделает чудеса, — быть может, нас никого не будет в живых, — кто знает? Вера в успех, — это одно. Малое знание, — это другое. Ну а вдруг большевики возьмут да и построят вокруг всех наших границ каменные стены, граница будет крепче немецкой, и на самом деле пережгут и перехоронят в цементе всех сапных лошадей, — кто тогда будет прав, — вы или Невельский?.. И еще. Посмотрите на большевиков, — как им хочется, чтобы все хорошо

было. Возьмите наш съезд, — о Трубачеве не говорю, он если не прямо, то косвенно приказал — валяй, ребята! — посмотрите на председателя, отличный человек, матрос, старый большевик, — обратили внимание, как у него рассечено лицо? — он говорил на ужине, полоснул белый казак, — ведь ему хочется, всей его политической и человеческой субстанции хочется, чтобы всем было отлично, — ведь он счастлив, поди считает большим делом и завоеванием наше постановление, что через пять лет у нас не будет эпизоотий, — он жизнь отдал революции, — ну, как против него руку поднять?! — и обидеть не хочется и опять же страшно — власть!.. а власть хочет, чтобы эпизоотии исчезли. Некоторые боятся коммунистов поделом, потому что социально чужды, и правды не говорят и назло, и со страху — страх свою роль играет! А есть и такие, которые ничего не понимают, кроме того, что власти надо говорить приятное, чтобы не портить отношений и тем спасать шкуру... шкура человеческая — страшная вещь!..

Николай Сергеевич помолчал, он неловко кинул в угол к другим окуркам недокуренную и потухшую папиросу, — опять заговорил невесело и горько:

— Не надо было выступать, Иван Авдеевич!.. Шкура человеческая — страшная вещь!.. Ну, скажите мне, — говорил с вами товарищ Трубачев, Павел Егорович, хоть раз по душам? — а ведь работать хочется не только за шкуру, а и за честь, и за долг!.. Вы ведь тоже с Трубачевым по душе говорить не будете, — и не надо, не надо было выступать!.. Конечно, все выступавшие против вас, да и те, которые вообще выступали за резолюцию, знали по-разному и понемножку, что они лгут и прикрашивают, — а вы это сказали вслух, вы правду сказали. Именно потому мы и стали на сторону Невельского, — это я о себе говорю. Можно даже говорить, что товарищи оклеветывали вас, сделав из вас и оппортуниста, и контрреволюционера, и чуждый элемент, — но в том-то и дело, что если человек сделал гадость другому человеку, один день он будет мучиться, а затем — даже не своим сознанием, а всем своим организмом — будет находить оправдание своей гадости, обязательно его найдет и обязательно обвинит в гадости того самого, кому она была сделана... Не надо было

выступать, Иван Авдеевич!.. делу вы не помогли, не отстояли себя, и скажу правду, — если бы вы не окликнули меня в окошко, если бы не дали так по-хорошему папироски, — и я стал бы вашим врагом. Вашим выступлением вы себе только врагов нажили...

— И пожалуйста!! — не прошу, не нуждаюсь! — не заорал, а заревел Иван Авдеевич Гроза, так, что задребезжали стекла в рамах. — Циников и предателей в друзьях не держу! — чести своей никому не продавал! — предателем не был! — не прошу! не прошу-с!!

Через улицу, окно в окно, открылось окошко в квартире Невельского, Николай Сергеевич руки сложил умоляюще, прошипел умоляющим шепотом:

— Иван Авдеевич, — Невельский подслушает, умоляю, потише, умоляю, не надо!.. — я вам, как друг, говорил, по душам, — умоляю, — подслушает!..

Старик лег на постель, прикрылся овчиной, руки положил вдоль овчины, посмотрел в потолок очень внимательно, взгляд стал очень далеким, старик слушал себя, и старик сказал тихо: «...Стар! не понимаю!..»

Николай Сергеевич молвил очень невесело:

— Э-эх, Иван Авдеевич!..

Через улицу, окно в окно, перед рассветом вспыхнул огонь, Лавр Феодосович с Полиной Исидоровной укладывались спать. Совсем на рассвете через улицу, окно в окно, из ветеринарной амбулатории понесся крик Грозы. Оба, и Лавр Феодосович и Полина Исидоровна, поспешно окно распахнули. Крик затих.

— Это совершенный идиот, этот Гроза, фамилийка тоже! — сказал Лавр Феодосович.

— И он так и заявил, что не верит в уничтожение эпизоотий и не желает больше разговаривать, и ушел с собрания? — вот идиот! — так и сказал? — в двадцатый раз спросила Полина Исидоровна, добавила совершенно тихо: — Но у тебя, Лавр, нет опасений? — ты не думаешь, что это чересчур и край потребует пересмотра?

Лавр Феодосович сделал страдающее лицо и страдающе сказал:

— Нет, конечно, — но если бы ты знала, как они мне надоели!

— Кто — Гроза?

— Нет, большевики, конечно, — весь этот сивый бред, все это скудоумие! — если бы ты знала, как все это надоело мне, как меня тошнит от них!.. Что касается Грозы, то завтра я подам протест по профсоюзной линии...

— О да, конечно! — сказала Полина Исидоровна.

Окончательно в рассвет у дома ответработников прохрипел китайский мерседес, и вскоре за ним загремели дрожки Ивана Авдеевича Грозы, выезжавшего на страхование крупного и мелкого рогатого и конского стада. Иван Авдеевич сидел верхом на дрожках, в парусиновом пыльнике и в соломенной шляпе. Сзади него к торбе с овсом привязан был громадный портфель. Полукровка шла весела и нарядна.

На спуске от бывшего собора под гору Ивана Авдеевича повстречал товарищ Трубачев, Трубачев окликнул Ивана Авдеевича:

— Слышь, Иван Авдеевич, чего ты бузу трешь? — ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии, интеллигенты вы, черти, галстуки носите!.. — напутал Невельский — ты скажи по сердцам!..

Гроза ответил очень спокойно:

— Ну, сам посуди, ведь семьдесят процентов наших коров больны вагинитом, — в Голландии, в коровьей стране, и то и вагинит и туберкулез рогатого скота в громадном проценте, — возьми датскую статистику, если не веришь германской...

— Ты подожди наукой сыпать, — ты скажи кратко — останутся или не останутся? — и скажи про Невельского, — молвил Трубачев. — На, закури, Иван Авдеевич!

— Останутся, — твердо сказал Гроза и твердо добавил: — А о Невельском говорить ниже моего достоинства. До свиданья.

Иван Авдеевич перебрал вожжи.

— Ты постой, погоди. Ты куда едешь-то? — ты, может, что знаешь про Невельского? — ты, что же, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? Почему я тебе верить должен?

— До свиданья, — сказал Гроза, — глупости говоришь. Еду на страховку.

В лугах лежали туманы. Трубачев проводил Грозу туманными глазами под гору. А на горе осталось российское место оседлости, при царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат, базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням в дожди по заштатной этой местности шествовали обутые в ичиги мамаевы кочевья ночи и дождей, над заштатом дули ветры и метели... И, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью. Зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими заштат обходила, советское межевание помещало в городе Рик. Снимали в городе в начале пятилетки с церквей колокола, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, народ взбунтуется за колокола, — но колокола сняли и забыли о них. Всколыхнулись деревни вокруг заштата, валом пошли в колхозы, — заштатцы говорили, — ничего не выйдет, — но единоличник исчез, вокруг ложились новые дела. За коллективизацией однажды весь заштат не спал ночи, мальчишки висли на заборах, а молодежь уходила навстречу, — встречали тракторы со станции, никогда не виденные здесь. Тракторы въехали в бесколокольный собор, в соборный гараж. Заштатцы шли за тракторами до собора с восхищением, дня три ходили переосматривать их, и в поле ходили смотреть, как они пашут, — а за тракторами от станции до заштата вместо большака легло шоссе, и по шоссе попер автобус. За колхозами в сумятице от тракторов под горой, на месте разбитой мельницы, зарыкала электростанция, и как должное затребовал заштатец в Рике к себе по домам провода. Многие заштатцы смылись из заштата подобру-поздорову. Многие новые поселились в заштате.

Так прошло четыре года.

В музее краеведения Полина Исидоровна намеревалась встретить порог Второго Пятилетия, был декабрь. Было забыто, но было известно, что эпизоотии в заштатных землях есть. Дом Грозы окна в окна стоял против дома Невельского. И совсем под Новый год, — в Москве тогда только что отошел процесс промпар-

тии — совсем под Новый год, — по новому шоссе пришли в заштат два новеньких автомобиля. Из одного из них вылез, — в овчине, в треухе, в валенках, — бывший матрос, чуть-чуть стареющий, с замерзшим лицом, на котором побелел от мороза шрам, нанесенный некогда саблей. В музее краеведения, перед которым тщательно к празднику были разметены снега, зажгли большое количество электрических ламп, — там заседала комиссия, которая проверяла сделанное в пятилетие. Старый матрос медленно читал пожелтевшие стенографические листы. Рядом с ним над листами склонился, стоя, товарищ Трубачев.

— Эх, ты, — галстуки!.. не дети же!..

Последним разбудили Ивана Авдеевича Грозу, сказали, чтоб сейчас же собирался в музей краеведения. В музейном зале от лампы под зеленым колпаком навстречу Ивану Авдеевичу пошел матрос, протянул руку, сказал:

— Не узнаешь меня, Иван Авдеевич?! — здравствуй, как поживаешь? — мы вот тут стенограммы читаем, — это, вот, помнишь, когда мы составляли первый пятилетний план, — ты тогда говорил, что эпизоотии останутся. Они и остались. Что можешь сказать в свое оправдание?

— Здравствуйте. Узнаю. Были и остались, как я и говорил.

— Ты нам посоветуй, что можешь сказать в свое оправдание? Ведь Невельский нам очки втирал, — его ведь арестовать следовало бы...

— Арестовать? — переспросил Гроза и улыбнулся всеми своими волосами.

— Арестовать, — ответил моряк. — Вот именно поэтому, что ты в свое оправдание скажешь? — ведь, если бы ты о Невельском четыре года тому назад рассказал, может, его б тогда арестовали — для пользы дела. Ты как думаешь, к тебе-то за укрывательство негодяев с уважением относятся, ай нет!.. — Товарищ Трубачев ведь по сердцам с тобой говорил!.. тебе верить можно?

— Можно.

— Тогда — зачем негодяев покрываешь?..

В музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, заштат. В довспольные времена здесь ходили мамаи, была здесь вспольная

крепость. Впрочем, когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили, — ничего не выйдет, — но колокола сняли, забыли о них, и собор в просторечии стал называться «тракторным парком».

В рассказе повторялась та ж, примерно, ситуация, что и в рассказе Романа Архиповича: Невельский — Антон, Гроза — Роман. В рассказ были перенесены традиции «классического романа» и «классического мышления», те, когда «можно взять Льва Толстого, «Войну и мир», положить слева от себя». Арбеков взял *верную* мысль, — мысль о том, что *революции лгать* и быть нейтральным в революции — *нельзя,* — но он описал такую революцию, таких большевиков, такую «композицию» (палехское слово!) отношений Невельского с Грозой и с партийцами, *которых не было, не могло быть.* — Палех и Роман Архипович, реконструкция пролетарского мышления тому свидетели. В революции была *вся страна,* революцию решал для себя *каждый человек заштатов, где*

«революция планами своими обходила заштат, — заштатцы говорили»

и ничего *не делали,* ибо революция проходила мимо них и *делала за них* — таких заштатов не было, они остались только в литературных приемах, перенесенных на социалистические дни от классиков, то есть *они остались в ощущениях и мышлении, не дошедшем еще до социалистического.* Роман Архипович побывал бы десять раз и у Невельского, и у Грозы. А Трубачев не просуществовал бы часу ни в партии, ни над Романом, — ни Трубачев, ни завкрайзу. Коммунистическая партия не была *и не могла быть* «сама собою», — она была в стране, она была страною. А для Невельского и для Грозы свидетели — сын Романа Архиповича, дорожный техник, — дети Вакурова, Дыдыкина, Зубкова, второго Зубкова, Чикурина, племянницы Буторина, — инженеры, врачи, агрономы, учителя. Племянницы Буторина не пойдут на свидание с Лавром Феодосовичем. Сын Чикурина — врач — не только насмех поднимает разговоры об эпизоотиях, но и протолкует просто предварительно их в комсомоле. Статистик из края на проект аэроэлектрификации... Дети Чикурина, Дыдыкина,

Ватагина, — они сами отлично скажут, что им надо для Палеха. И дорога от станции до «заштата» не может пройти «незамеченной», ибо дорожный техник, сын Романа Архиповича, поднимает весь «заштат» и все окружные деревни во главе с отцом Романом Архиповичем на строительство дороги, на коно-часы. Казалось бы, — что может быть заштатнее заштата богомазства?! — нет, товарищ Трубачев, председатель райсовета, женатый на местной дочери дьякона, боящийся галстука, — нет, он не может существовать в реальности, застрявший в классической «композиции». Партия никак не — «сама по себе»!.. В Палехе, кроме предисполкома Василия Васильевича Зимина, живет секретарь райкома Шестернин, живут комсомольцы, — и живет даже начальник милиции, который однажды (палехским законом «обратной перспективы»!) — однажды. —

В Палехе есть драматический кружок самодеятельности, который ставит пьесы в Доме соцкультуры, — ну, ясно, что — Полина Исидоровна была б «душой» этого кружка, — этот кружок однажды назначил день спектакля вывесил рукописные афиши, а потом спектакля не сыграл по недобору актеров — а местный начальник милиции в два часа ночи собрал у себя в отделении всех «артистов», — ну, ясно, в том числе позвал бы и Полину Исидоровну, — собрал со строгим вопросом — почему актеры нарушили пролетарскую дисциплину, крутили вола и надули собравшихся на наслаждение зрителей?! (Полине Исидоровне не перед кем было бы цитировать современную советскую литературу, издеваясь над нею!..)

То есть Палех и Роман Архипович, уча, доучивая Арбекова, на практике указали, как надо писать, — и они ж оставили в заштате заштатный рассказ Арбекова, неверный рассказ, хоть и написанный по поводу верной мысли о нелицемерии перед революцией, о гибельности «нейтралитета», которого в существе вещей не может быть.

Сергей Иванович слушал страну, свою родину, родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории и человеческого сознания, рождения людей из небытия, рождения из небытия городов, индустрии, искусства. Палехские папье-маше и лак, палехская инду-

стрия, искусство палехской миниатюры, город Палех, — они были построены законами «обратной перспективы», — они доказывали «от противного» величие наших дней, проходили судьбы миллионов, прекрасные карьеры, как карьера Романа, рывшая кроме всего прочего карьеры для новой реки, небывалой реки Волги-Москва-канал, той самой, которая «окитежит» Углич в Ивановской области вместе с угличанами, авторами писем из-за гроба времен. Сергей Иванович ощущал путь ледокола истории — путь партии российских большевиков — ледокола, разламывающего глетчеры веков. Все это было чудесно. Разве не чудесно жить — и разве не вдвойне чудесно быть — ну, хотя бы каменщиком, хотя бы карьерщиком эпохи?! Как из тысячи опилок и пыли виденного и слышанного магнит образа отбирает только то, что созвучит сознанию и ощущениям, — так образ эпохи...

Ефим Вихрев, рыцарь и поэт-коммунист, приехав в Палех на организацию палехских юбилейных торжеств, захворал в Палехе смертельной болезнью и похоронен в Палехе около архитектурно-фрескового музея, в том месте, где сейчас проектируется палехский парк, — в том месте, откуда идет новое архитектурное строительство Палеха, то, которое скрестит прошлые века с настоящим и будущим. На могиле Ефима написаны стихи Пушкина:

«В темной могиле почил художников друг и советник...
Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!..»

Ефим умирал страшною смертью — общим заражением крови. Он хворал в доме Алексея Ивановича Ватагина. Захворав, он сразу заговорил о смерти, сразу *ощутил* смерть. Он быстро покрылся трупными пятнами. И он забредил. В бреду он разговаривал с палешанами. И в бреду он разговаривал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Он рапортовал вождю о Палехе. Он благодарил за Палех. Он просил вождя защитить Палех, когда он, Ефим, умрет.

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, — пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, ветра, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки.

Сергей Иванович помногу лежал у ржаных межей, на нескошенных травах, перед закатом, после заката, когда особенно сильно пахнули цветы. Он возвращался домой с вениками ромашек, васильков, чертополохов, татарника, щавеля. Считается, что эти цветы не имеют запаха, — и это неверно.

По ночам от них исходит тот запах, который надо назвать запахом лета, сладости летней, и горечи, и зноя, и пыли, и отдыха, рассветов и закатов. Сны в запахах этих цветов смешивают явь с действительностью, спутывают десятилетия с тем, чего никогда не было, что было вчера. Во сне — Арбеков и Иван, Петр, Сидор — конечно, все тот же Арбеков, — но во сне иной раз Иван говорит Арбекову истины, которых Арбеков не подозревал, и Сидор чинит хитрости против Арбекова, также Арбековым не подозреваемые, — то есть сознание во сне расщепливается так, как никогда в яви, — как в яви только при болезнях.

А сны...

«...советская русская литература имеет уже свою историю... когда человек, класс, эпоха приходят на новые места».

...На Кавказе, в ущелье Трусо, Арбекова застала гроза. Над горами вверху, в небе, горели звезды. Гроза была внизу, гремели громы и громами кидались под ноги горы, под ногами метались молнии. Над грозою у горных вершин можно было думать о космосе. Лошади шли шагом вниз, к долинам. И в отсветах молний направо и налево, впереди, мимо, снизу вверх к ледникам, к Казбеку пошли облака. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долины. Их становилось все больше. Они прятали в себе коней и скалы. И вдруг рядом, в десяти шагах, разорвав тучи, так, что лошади прянули друг к другу, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, о другую, о сотую скалу. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже вверху, громы падали

сверху. Люди были уже не в космосе, но на земле. Через несколько дней тогда Арбеков просиживал утро за арифметическими расчетами, требующими интегрального исчисления, — высчитывал относительность времени, — ту относительность, которая через два года дала ему размышления у ивановского безымянного озера и в первую палехскую соловьино-ландышевую ночь, размышления о гибели «Максима», размышления, направившие мысли Арбекова на Красную Талку... А через несколько дней тогда же на Кавказе, после арифметических интегралов долголетия в удушье Алазанской долины и ночи, в кромешном мраке, Арбеков слушал странные чавкания и крики, идущие с полей. В полях, на табачных плантациях колхозники-грузины ломали созревшие табачные листья и подбадривали себя ночными криками. Они кричали нечто, похожее на «гхам-гхо! гхам-гхо!», — и это гхам-гхо, на разные лады, разными тональностями, перекатывалось с плантации на плантацию, ободряя колхозников в коллективном ночном труде. Табачные листья, чтобы табак был хорош, надо рвать в ночи, и надо до рассвета повесить эти листья на сушилках. Табачные листья похожи на ястребиные крылья. Во мраке скрипели арбы. За арбами к сушильным сараям ползли огоньки фонарей, которые называются «летучая мышь». Табак, когда его листья созревают, надо убрать в несколько дней, запрятав работы над табаком в ночную темень. И раз пять за ночь встречался Арбекову бессонный, веселый активнейший человек, — он поощрял, он не соглашался, он брал на буксир, он хвалил, он говорил шепотом, и он по-орлиному всклекотывал приказом, — он секретарь лагодэхского районного комитета партии большевиков, — он все намеревался видеть своими глазами, он был всюду, он не спал и не дремал, — сейчас он был командиром табачных полей, его армией были колхозники, он был — как на войне, — его врагами были табак, растяпость, время (которое надо было обогнать). В ту ночь в Алазанской долине партия большевиков собирала табак, побеждая его.

...Много севернее Кавказа, на русском северо-западе, на реке Сяси, за Ладожским озером в девятьсот двадцать восьмом году был построен Сясьский бумажный комбинат, давший Леониду Леонову основание

написать роман «Соть». Земли новогородских памятей, Обонежская пятина, Ладога, — Таежная область, Озерный край, — Тихвинская система, — Мурманская дорога. История Петра, Санкт-Петербурга, петровские вотчины. Раньше, до всего этого, до человека — силлурийская, кембрийская, девонская эпохи, оставившие здесь свои камни. Студеная река Сясь. Пейзаж понур: дерево, камень, вода, леса, озера, реки, валуны, пороги. Былинная, студеная Ладога, похожая на море. В лесах — карелы, обрусевшие финны, великороссы. Сясь впадает в Ладогу. В Сясь в четырех километрах от Ладоги впадает река Вальгома. В десяти верстах Мурманская дорога. В июне месяце 1925 года здесь, в белые безнебесные озерные ночи были сосны, песок, река, озеро, валуны, тишина, белое небо, понурые песни крестьян из деревни Носки, прозванной при строительстве Дуракиным, крестьян, где женщины косили луга, садили лен и пасли скотину, а мужчины плавали с плотами по Тихвинской, по Мариинской, Озерами, Невою — летами, чтобы зимами и мужчинам и женщинам уходить в леса, на сотни километров от человеческих жилий, рубить леса, готовить сплавы. Деревня Носки стояла на самом носу, где сливались Сясь и Вальгома. Деревни Носков теперь нет.

В осень 1925 года сюда пришли люди. Людмерили землю теодолитами, жгли костры и сказали носкинцам, что здесь будут — завод, громадный завод, и город. Пришедшие предложили перенести деревню Носки на новое место. Конечно носковцы не соглашались. Конечно, люди от завода победили конечно, носковцы, решили, что они надули городских: горожане договорились, что деревня будет перенесена, что новые земли выкорчуют горожане, что горожане построят школу носковцам и купят трактор. Горожане предложили носковцам построить европейскую деревню, образцовый поселок, — конечно, носковцы не согласились: они потребовали, чтобы деревня была перенесена и поставлена точь-в-точь, как была, — целое лето «мужики» и «бабочки» бегали с новых мест на старые места, отмеривали веревочками, узелком примечая ширину и высоту дверей, окон, пазух, чтобы примеривать узелочками точность размеров и требовать от строителей точности точь-в-точь по узелкам.

Вчера, сегодня, третьего дня, всю зиму двадцать восьмого года в лесах вокруг Ладоги и Онежского озера,

на реках, на сплавах работало четыре с половиной тысячи лошадей и шесть тысяч крестьян, примерно таких же, как носковские, — работали для завода, который возник в устье Сяси, по обеим сторонам Вальгомы, около Ладоги, — готовили сырье для завода, чтобы завод начал работать этим летом. Носковцы поумнели за два года строительства: хотя бы потому, что завод выкидывал в эти места ежемесячно полтораста тысяч рублей жалованьем. Над льдами Сяси склонились колоссальные краны, стальные конструкции, много более высокие, чем местная носковская колокольня, такие, про которые местный батюшка молвил мужикам: «Смотрите, мол, вон какие строят вам, дураки, виселицы, вместо божьих церковочек!» — Эти краны переносят, перекидывают — уже не европейскому, не американскому, но — советскому гиганту десятки миллионов бревен. В лесах, на песке, на валунах Сяси возник завод, похожий на корабль, на грандиозный морской корабль, который пошел в океан лесов и варочный цех которого, одиннадцатиэтажное здание, где стоят котлы в добрые двадцать метров вышиною, — центральное здание завода, — варочный цех которого есть спардек судна, а крыша — капитанский мостик, откуда на сотню километров кругом видны леса, леса, Ладога, реки, безлюдье, таежность. Люди работали на заводе день и ночь. Около завода вырос город рабочих, построенный так, как предлагали выстроить деревню носковцам, строгим планом, лицом к солнцу. Там, где раньше рыскали волки и карелы пели понурые песни, гремит железо и гудят гудки. Механики и монтеры от трубочного дыма еще внимательнее прищуривали глаза около машин, которые они заканчивали сборкой. Вдруг нет гвоздей, вдруг не дослан цемент, администрация не сладилась с завкомом: завод, город в лесах, в Обонежской пятине уже приготовил себе сырье.

...Поезд из Ленинграда на север уходит в десять, Мурманской железной дорогой, в Озерный край, в петровские, Петра Первого, вотчины, к Петрозаводску. В ночи отгорел Ижорский завод. В вагоне — тесно, обрусевшие финны, окарелившиеся великороссы, карелы, люди с белыми глазами и с финками на головах, впереди — Ладога, Онежское озеро. За окнами вагона — звезды и щетина лесов. Гудят глубокой полночью. По-

лустанок Лунгачи, возникший два года тому назад. Рядом Ладога. Ночное удушье вагона сменяется звонким морозом ночи, мраком, снегом. Станцийка уползла во мрак. Спутники шутят. Их волею возник этот полустанок, но начальник полустанка — враг, не говорит, на сколько опаздывает поезд, он выходит на перрон в подштанниках и кричит пассажирам: «Эй, бездельники, покупайте билеты!» — спутники идут во мрак. Там ждет автодрезина. Автодрезина уходит в лес. Небо, мрак, ели, сосны, снег, первобытность. И через какие-то километры — огни завода, лязг железа, шелест заводской ночи, там, где два года тому назад также была первобытность. Спутники идут по шпалам, мимо темных корпусов, около канав и рвов человеческой воли и новых строек. Мост через Вальгому проскрипел морозом, — за мостом поселок, город, построенный строжайшим планом, поэтому не похожий на российские. Улицы горят огнями в этот предрассветный час. Мороз колок, ночной, мартовский. В доме для приезжающих очень тепло, бодр электрический свет. В нижнем этаже и в соседнем доме — спят немцы, приехавшие собирать машины. Немцами называются — и немцы, и шведы, и бельгийцы.

Ночь. Сон. Утро.

Да, за окнами город, кварталы домов. Да, за окнами Обонежская, новгородцев, пятина, сосны и ели подошли к самым домам, — или улицы уперлись в сосны, — лес, снег, валуны. Озерный край. Да, за окнами завод, возникающий волею социалистов. Два года назад здесь были только — Таежная область, Озерный край, новгородские земли. Спутники идут на стройку завода. Земля взрыта траншеями водопроводных линий. Земля завалена цементными бочками, кирпичом, лесом, бревнами — всем тем, из чего возникли вон те корпуса, построенные кораблем, похожие на громадное судно, где капитанским мостиком — одиннадцать этажей центрального здания. Человеческий труд взял эту землю и эти леса под уздцы. Около моста через Вальгому перекинуты конструкции, циклопическая постройка, которая будет выкидывать отработанную воду в Ладогу. Водопроводная станция будет давать заводу воды, завод будет брать воды — больше, чем весь Ленинград. Отработанную воду завод будет выкидывать в Ладогу, чтобы

не отравить Сяси, реки немногим менее полноводной, чем Волга у Калинина. День пасмурен. Леса суровы.

Спутники идут к берегам Сяси, туда, где над гранитом берегов склонились краны, те, что будут кидать заводу миллионы бревен. Рабочий-немец, в треухе, в овчинной куртке, в валенках, немец, который собирает краны, приветствует спутников, русских большевиков и инженеров, строящих завод, просьбою дать третью смену рабочих, чтобы он мог к Пасхе закончить работы. Краны повисли над Сясью и придавили ее. На конструкциях повисли вагонетки, высоко в воздухе, на тросах, которые кажутся толщиною в палец, но свернутые кольца коего, лежащие около для второй и третьей пары конструкций, указывают, что тросы толщины большей, чем человеческая рука около кисти. Небо серо. Снег синь. Этот пейзаж совершенно не похож на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге, но люди, за которыми идут спутники, обдуваемые ветром, — идут петровским шагом. От кранов спутники идут тем путем, коим машины понесут сырье, миллионы бревен, к цехам, к заводу. Спутники приходят в цех, где эти миллионы бревен будут превращаться в древесную труху. Около машин приветствует швед. Спутники идут лестницами, переходами через навороченный камень, под и над лесами, мимо частей несобранных машин, пахнущих маслом и в рогожах. Миллионы бревен, отданные здесь этим машинам, выйдут с завода к железнодорожным шпалам, пройдя десяток цехов волею машин — бумагою, газетными роллами, оберткою, целлюлозой, миллионами пудов фабриката. Новыми траншеями земляных работ, железнодорожных шпал, временных сараев с материалами, кранов и подъемников спутники заходят в цех, где печи из медного колчедана будут делать азотную кислоту и прочие кислоты. Древесная масса, промытая водою в таком количестве, что воды требуется больше, чем всему Ленинграду, отсортированная, смешанная с азотной кислотой, придет в котлы, которые называются варочными. Варочные котлы накрыты одиннадцатиэтажным колпаком капитанского мостика. Их шесть, варочных котлов, каждый из них в двадцать метров вышиною, эти куполообразные котлы, средневековые башни, церковные колокольни. Древесная масса, чтобы попасть в эти котлы, забра-

сывается насосами на крышу их одиннадцатиэтажного колпака. Котлы, где каждый котел больше пятикомнатной кооперативной квартиры, сварят дерево, как хозяйка манную кашу. Котлы отдадут древесную кашу огромным бассейнам воды, чтобы вновь вымыть кашу, отмыть азотную кислоту, выщелочить отработанную, ядовитую воду, выкинуть громадными трубами за пять километров от завода, в студеную Ладогу.

Чистую кашу — или пошлют под прессы, где возникает целлюлоза, — или пошлют в машины, где древесная жидкость рекой втечет в машину и вытечет из машины газетными роллами, готовыми в печатный станок. Спутники ходят час, два, три, четыре, переходами, лестницами, лесами, вверх и вниз, из корпуса в корпус. Спутники поднимаются на крышу одиннадцатого этажа. На капитанском мостике завода ветер дует простором. Под спутниками леса и Ладога, Сясь ушла в туманы далей. Может показаться, что спутники пересмотрели все лондонские картинные галереи, — так притупился мозг. Ноги и плечи налиты свинцом. Один цех в сознании налезает на другой. Спутников ведут дальше и дальше. В Европе есть только один равновеликий этому заводу — завод Вольгоф в Швеции. Инженеры идут в контору, чтобы покурить и просмотреть планы. Контора не отстроена окончательно, деревянный барак, — это существенно, что сначала строятся машины, затем все, что около машин. Инженеры идут в механический цех, он закончен постройкой, потолки его уже закончены работой. На силовой станции, в турбинной у сердца завода собраны две турбины на восемь тысяч киловатт, и на три этажа разместился распределительный щит. Голова налита свинцом, больше чем ноги.

Когда спутники идут обратно, у моста через Вальгому, около водонапорной станции их окликает мужичок карельского типа. Он залихватски натягивает вожжи, его бодрая вятка запряжена в кибитку, в сани с крышей.

— Прикажете прокатить?! — кричит он.

Два года тому назад здесь были камни, леса, вода и небо, да носковские, дуракинские тож, крестьяне обрабатывали землю подзольной системой. Носковцы деревню свою перенесли системой веревочных узелков. Шесть тысяч носковцев режут сейчас в тайгах леса, че-

тыре с половиной тысячи лошадей свозят леса — для этого завода.

Мужичок карельского типа, сидя на козлах кибитки, залихватски задрав голову своей финки, гаркнул залихватски:

— Прикажете прокатить?!

Спрос — предложение. Предложение — спрос. Два года тому назад — тайга. Утром, когда спутники шли на завод, они видели против главной конторы, против кооператива и кооперативной столовой, на главной улице — базар. Им объяснили, что сюда перешла ярмарка из Сясьских Рядов. Бородатый полушубок разложил на снегу глиняное свое производство — корчаги, горшки, свистульки в виде петушков, где полагается дуть в петушиные хвосты. Бабочка разложилась ландринами. Тулуп ковырял кнутом в раздумье снег. Девица размеров и антуража Бориса Кустодиева смущалась от «тэжэ»-вежливостей паренька в сапогах и в куртке: паренек совал ей конфетину размером в четверть аршина с кистями на обоих концах. Спутники купили себе свистулек.

Вечером, после заседания, где все «увязывалось» как требуется, после ужина в заводской столовой, спутники пошли пройтись по улицам. «Немца» сразу узнаешь по походке и по тому, как он кладет руки в карманы. «Немцы» гуляли по большаку — с русскими барышнями. Барышни были в шляпах. Наши — тоже гуляли с барышнями, со своими — с нашими: у наших были на ногах сапоги, на головах платочки. Мужчина, сопротивляющийся пространствам, уперся любовно в грудь, дохнул бутылкой водки, любовно сказал:

— Выходной, выпили.

Местный работник рассказал смешное, к случаю:

— Сметою, видите ли, кутузки не предусмотрели. Пришлось выйти из сметы. Экономную построили. Плотник хвалился, секретную щель сделал, на случай, если сам угодит, чтобы убежать. Секрет открывает только друзьям.

Клуб, освещенный празднично, через стены в мороз улицы бросал слова радиоговорителя. Местный работник рассказывает о героизме работ зимою, в таежные морозы, когда галки падали с неба от мороза. Завод строился круглые сутки. Спутник осязал свистульку в

кармане и думал — о чудесности человеческой жизни, о силе человеческой жизни. Две девушки проходят мимо, прошли, рассмеялись! — жизнь начата! — начата жизнь не узелковых измерений, а вот этих домов рабочих, жилых корпусов, выстроенных линейкой, подчинивших себе Дуракино, перестроенных волей большевиков в два года.

В доме приезжающих спутники внимательно осматривали стены, хотелось найти таракана, — таракана они не нашли. Дуракинцы обернулись к заводу свистульками. Завод двинулся на носковцев капитанским мостиком варочного цеха. Все ясно без комментариев. Чудесная жизнь!

Очень трудно вставать ночами, когда человек заснул час тому назад. Небо светило ущербной луной, луна цепляла за вершины елей. Во мраке пересвистывались сторожа. Траншеями строек спутники пошли к дрезине. Окликнул милиционер. Жизнь этого дня, вырванная из ночи, начата. Станция Лунгачи, возникшая вместе с заводом, имеет начальника свирепой субстанции, полагающего, что все бездельничают около него. Рассвет идет упорно. Спутники в безделии говорят об Америке, о Соединенных Штатах, о том, что тридцать лет тому назад Штаты были экстенсивнейшей сельскохозяйственной страной. Это — продолжение дневного разговора о калькуляции целлюлозы, о том, что завод окупит себя в три года, о том, что капиталы социалистического накопления должны расти геометрической прогрессией и через десять лет этот завод должен иметь пять таких же братьев. Большевики говорят о пафосе творчества. Мозги перепутаны ночью и впечатлениями. Одного из спутников надо назвать — Мартемиан Петрович Шевченко, внук Тараса Шевченко, украинский крестьянин, ныне председатель Ленинградского бумажного треста. Это не случайно для рассвета. Тарас Шевченко был крепостным. Окна станции Лунгачи краснеют рассветом. Мартемиан Шевченко говорит об Америке, где он только что был.

Все, созданное человеческим гением, записано на бумаге, весь человеческий мозг за все тысячелетья человечества всегда проливался на бумагу, все созданное и сделанное человеком, все достойное в человечестве, его истории и строительстве. Завод предназначен к

тому, чтобы делать целлюлозу, то, из чего образуется бумага, и делать бумагу. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн, три миллиона пудов целлюлозы, идущей на бумажные фабрики. Этот завод производит пятьдесят тысяч тонн газетной бумаги, роллы которой расходятся по всему Союзу республик. Этот завод делает миллион триста пятьдесят тысяч пудов древесной массы, той, ради которой в лесных землянках зимою двадцать седьмого-восьмого зимовали шесть тысяч человек и четыре с половиной тысячи лошадей. Из отбросов целлюлозы оберточно-бумажный цех производит двести семьдесят тысяч пудов оберточной бумаги.

Этот завод, этот город возникли в лесах, чтобы делать бумагу, делать величайший двигатель культуры, где записывается человеческая мысль, — этот завод, похожий на громадный океанский корабль, где капитанским мостиком — крыша одиннадцатиэтажного варочного цеха. У этого судна, что бы там ни было, путь один — в социализм.

...На северо-восток от Лагодэхи, на юго-восток от Сяси, в Азии, в Казахстане строилась Туркестано-Сибирская железная дорога, Турксиб. В тот день, когда из Москвы ушел поезд торжествовать открытие Туркестано-Сибирской железной дороги, около Айна-Булака, то есть около места смычки северного и южного путей Турксиба, сколачивались последние километры северного пути. Правительственный поезд, понесший из Москвы представителей правительства, рабочие делегации, советских журналистов и литераторов, от американских до японских, уходил в степенность ночи степенностью людей, отобранных из тысяч своими именами, положениями и делами. Вагоны поезда, в притушенных сиреневых рожках сна, засыпали отдыхающими людьми. Поезд шел в Азию, в первобытность, в пустыни песков. Это было в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля 1930.

Под самым Айна-Булаком, к двадцатым числам апреля южный укладочный городок уперся в скалу, догнав каменоломов, и укладчики, сменив свои костыльные молоты на лопаты, пошли помогать каменоломам, работая круглые сутки. Наступала ночь на двадцать первое. В закат гремел аммонал, разворачивая скалы, вдвигая пути в горы. Днем лил дождь. Закат

багровел древностью, в пустыне, в колоссальных тысячах километров отовсюду, где — за зноем и песками — почти не ступала нога человека последние сотни лет, — закат грохотал аммоналом. И вслед аммоналу пошли люди. Ночь наступила черным мраком. И в ночи было небывалое. Меж развороченных аммоналом скал повисли газовые фонари, тепловозы залили ущелье белым светом прожекторов. Сверху лил дождь, огни индустрии резали мрак, оставляя на свету скалы, ущелья, человеческие спины, шпалы, кирки, молоты, ломы, лица, усмешки, бодрость, усталость. Из мрака возникали вагонетки, скрипели, уходили в мрак. Огни меняли свои направления, и видимыми становились новые ноги, головы, лица казахов и русских, склоненных над кирками и над гранитами. Вагонетки и тепловозы спешили, уходя, приходя, звеня по рельсам, посвистывая, без сигналов, мешая свои звуки и звуки работы с русской-казахской дубинушкой:

Ой, раз! — Взяли!
Ошшо двинем!

Перекликались люди, гремел камень, звенели сигнальные колокола, стрелял пневматический бур. И было понятно в этом смешении камня, машин, людей, света и звуков, что здесь командует и двигает — индустрия. В ста шагах направо, в ста шагах налево — были пустыня, мрак, тысячекилометровые пространства песков и безлюдья. В ста шагах впереди — была скала, гранит, отвес, который надо пробить, чтобы проложить рельсы. По этим рельсам первым пройдет тот поезд, который в этот день вышел из Москвы. 22 апреля, когда литерный московский поезд спал перед Оренбургом, в семь часов утра укладчики вместе с каменоломами убирали из ущелья последние глыбы гранита, а в час дня, когда литерный поезд завтракал, эти укладчики шагали по шпалам с костыльными молотами, чтобы укладывать рельсы. За скалою, рядом, был Айна-Булак. Оставался еще один мост перед самым Айна-Булаком. К южанам навстречу пришли северяне-укладчики, чтобы познакомиться с товарищами, которых они никогда не видали, но навстречу к которым — навстречу друг к другу — шли два года. За эти два года многое

было... На Чокпарском перевале, у реки Или укладочную партию заметали метели в морозах пятидесяти градусов. Партия шла поездом теплушек и табором юрт. В морозах и метелях дохли собаки, но работали люди. В этих тысячах километров мороза, снегов и пустыни не всегда вовремя привозились — хлеб, топливо, инструменты. Днями в морозах горного перевала работали над путями, а по ночам тащили вперед обоз поезда и табор жилищ, чтобы оставлять дни для работы. Однажды свалился с рельс, в метель, в ночи, вагон-кузница. Надо было ночью ж поднять вагон, чтобы с утра работать. Был такой буран, когда не видно было собственной протянутой руки. Для подъема вагона надо было подвезти шпалы, чтобы из шпал сделать домкрат. И за шпалами во мрак метели уехал Султан Бастылбаев. Бастылбаев провалился в вой ветра. Бастылбаев пропал в метели. Тогда оставшиеся, раскинувшись цепью, перекликаясь, пошли искать погибающего. Бастылбаева нашли свалившимся вместе с лошадью под отвес, откуда он не мог выбраться, тонущий в снегу. Через какие-то часы тогда проморoженный отряд двинулся вперед на свои рекордные километры, одновременно очень короткие и колоссальные, *ибо эти два-три километра метелей суть рекордные, обогнавшие Америку, прокладочные километры.* У Балхаша и по всем пространствам этой степи-пустыни кочуют барханы песков, превращая степь в пустыню. Там, где идут пески, там нет воды, там ничего не растет, кроме саксаула, и ничего не живет, кроме ящериц и черепах. И уже не пятидесятиградусные морозы, а семидесятиградусные знои были над балхашскими песками. И бывали ветры. В ветры песок поднимается, как снег, дуют песчаные метели, песок слепит глаза, вместе с дыханием летит в легкие, скрипит на зубах и в пище. Песчаные сугробы идут с места на место, все заметая и путая. В таком песке не пройдет автомобиль и застрянет арба. По этим пескам, по этим зноям, по этим песчаным буранам — шли укладчики, прокладывая рельсы. В этой пустыне не было воды. Воду привозили из-за далеких километров. И воду, в этом отчаянном зное, люди пили по пайку, по литру на человека в сутки. У людей болели глаза, избитые песком. Песок разъедал раны. В песке и безводье отказывались у грабарей ра-

ботать лошади. Люди шли вперед, часы досуга отдавая тому, чтобы убивать тарантулов, фаланг, скорпионов, ядовитых змей. Люди проходили эти пустыни, индустрия, строившая железные пути в пустыне. А веснами, когда бесились реки, гонимые горными потоками, люди работали в солончаках по колено в соленой воде, которая съедала кожу. Нежданные, негаданные воды бросались иной раз на шпалы, размывали насыпи, грозили уничтожить сделанное. Люди боролись с водою, с той самой, которой так не хватало летами, боролись без расписаний часов труда, круглые сутки без сна, оторванные иной раз от других людей. И это было, когда неделями укладочные партии не видели ничего, кроме горизонта и кроме неба, не слышали ничего, кроме песен своих машин, да ветра, да птиц, да писка ящериц.

За Оренбургом для литерного поезда сразу настала пустыня, катастрофически просторная, катастрофически нищая, желтая, беспредельная, в апреле уже выжженная солнцем и знойная, как Сахара. Это казахская Азия засыпала песками и жгла зноем весь путь до Арыси, до Аулие-Ата, Алма-Ата, Айна-Булак. Днем были знои, и морозы ночью. Пустыни барханов, сметенных так же, как сметаются снега метелями, полынь, камень, пески, пески, барханы, соленые озерца, где соль лежит на берегах белым снегом. Изредка юрты. Изредка верблюды. Изредка скачущий каза́х: казахи, завидев поезд, из-за десятков километров мчали ему наперерез, состязая в беге коней и паровоз. Аральское море лужей упиралось в пустыню, море как пустыня. Пустыня желта, как шерсть верблюда, и пространства обожжены солнцем, как лица монгол. Путь поезда обогнал московское время на три часа: на три часа отстало московское время. За Аральским морем на горизонте возникли снеговые вершины отрогов Тянь-Шаня, за Тянь-Шанем, совсем рядом, — Китай. Солнце палило пятьюдесятью градусами. Поезд скрипел шпалами и песком. Поезд шел шпалами Турксиба: скинуть с горизонта эти две змеи, и пейзаж будет таким, каким он был тысячелетия. Всадники-казахи обгоняли, стремились обогнать те два паровоза, которые тащили вагоны литерного поезда.

Пустыня.

Но вот: с гор идет ручей, этот ручей взят в ватерпасный расчет, каждая капля его воды учтена. Это: ир-

ригация древностей, арычная система, — мюрабы, которые жили у головных арыков, командовали течениями рек. Ныне арыками командуют инженеры, и здесь, около этих арыков, около плоскокрыших домов, выставивших наружу только глухие стены, здесь — субтропическая растительность, цветет урюк, грецкие орехи, миндаль. На полях, вымеренных ватерпасом, хлопок, рис; богары принесут пшеницу. Город Алма-Ата, столица Казахстана, точный перевод с казахского — отец яблок. Ирригации древностей могут перестраиваться и могут строиться новые ирригации. В Среднюю Азию приехали американские инженеры. Инженер Дэвис, который у себя на родине в США был директором правительственного ирригационного департамента, говорил людям литерного поезда, что он в ближайшие пять лет намерен в Средней Азии переоборудовать такое количество водного расхода и оросить такое количество ныне мертвых земель (например, Голодную степь), — такие количества, какие в США он ирригировал в течение двадцати лет. Работы уже ведутся, и эти новые воды изменят пейзаж пустыни. Пустыня, зной! По откосам кое-где растет хандрилла, жирные зеленые лопухи, растение, содержащее в себе каучук. По Балхашу, у Иссык-Куля, по тальвегам Или растет дикий кендырь. На горизонте с востока величествуют горные хребты, минералы, металлы. Катастрофический простор!

В Азию, удостоверить открытие Турксиба, в литерном поезде ехали иностранные корреспонденты. Их телеграммы и радио из Айна-Булака пошли во все концы земного шара. Путешествовали иностранцы подобно бабушкам, везли с собою по свиной ноге, по ящику с вином, по ящику с нарзаном, бидоны консервов, кофейники, чайники, хотя в вагоне-ресторане кормили отлично. Имелись у иностранцев два граммофона с фоксами, коктейлевые справочники, фотографические аппараты, даже киноаппарат. Ели иностранцы за бабушек, пили за дедушек, по американскому чину играли в покер, отдыхали фоксами и неграми, на станциях стреляли фото и кино в просто верблюдов, в себя с верблюдами, в казахов, в казахские юрты, от фотографического

утомления восстанавливаясь коктейлями. По новому мосту через реку Или, по которому поезд проходил впервые (первый поезд впервые по мосту), некоторые иностранцы боялись ехать, как некогда бабушки, и обходили мост пешком.

На горизонте виден одинокий дом у шпал да три-четыре юрты — это полустанок, разъезд. Дома еще не достроены. Поезд шел к станции, и по пустыне простора к станции мчали джигиты, казахи-всадники, их кони стлались по земле в карьере. На станции казахи становились в тесный табун. Лица их были первобытны. В зное казахи были одеты в овчинные халаты, в овчинные штаны (но иные босы, неглижебельно поддерживая стремя одним большим лишь пальцем!). Треухи их шапок были также овчинны. Кони необыкновенно малы и необыкновенно быстры. На седлах казахов лежали одеяла, и седла выкрашены в красную краску. Казахи охотно давали своих коней прокатиться, — москвичи падали с этих бессильных, казалось бы, кляч. В юртах у казахов стоят сундуки, на земле разостланы ковры, посреди юрты — камелек. Казахи, кажется, не знают еще потребности умываться, от них пахнет конским потом и кумысом. Не на одной, а на нескольких станциях казахи спрашивали:

— Ленин едет с вами? Покажите его, — они не знали, что Ленин умер.

Казахи залезали в поезд, щупали, трогали, ухмылялись, — в этот первый поезд, который они видели впервые на своей земле. Два казаха пришли в вагон-ресторан, и — их лица изобразили ужас. Они со страхом глянули друг на друга. Они протянули руки вперед. Они увидели себя в зеркале. Они показывали в зеркале друг на друга. Они корчили страшные рожи. Они хохотали. Они со страшком тыкали пальцами и нагайками в стекло зеркала. Эти два казаха впервые в жизни увидели себя в зеркале, каждый самого себя рассматривал в зеркале впервые, знакомился с собою. Иностранцы стреляли в казахов кино и фото. Казахов можно было угощать папиросами. Они приветливо улыбались. Их можно было попросить спеть. Тогда два казаха садились друг против друга на шпалы, смотрели внематель-

но в глаза друг друга, сдвигали на затылки свои треухи. И возникали звуки пустыни, длинные, как пески, сухие, как зной. Эти песни были коротки, в одну фразу:

— «Казахи пасли свои стада в степи, но в степь пришла железная телега»,

или:

— «Царь называл казахов собаками, но пришла советская власть, и казахи стали — казахами»,

или:

— «Казах пас свои стада, но прошла железная телега, и казах поступил на строительство рабочим».

Была ночь, когда поезд пришел в Айна-Булак. И в ночи возникли — древность, неповторимое, единственное. Станция Айна-Булак лежит в долине, развернувшей свои склоны на десяти квадратных километрах, проваливаясь в пустыню на западе, упираясь в горы на востоке. Все холмы и все долины светились кострами кочевья. Поезд стоял, остановив свои шумы, и из мрака, с десятка километров, шли звуки орды, ржанье коней, рев верблюдов, гортанные людские крики. Пахло дымом, кизяком, конским потом. Рассвет открыл становище, которое было таким же, как оно было при Батые, Тимуре, хромце-Тамерлане. Все холмы были усыпаны всадниками. Всадники ехали одиночками, толпами, полчищами, армиями. Столбы пыли, заметаемые конями, уходили в небо. Казахи приехали на торжество из-за пятисот, семисот километров (Казахстан ведь больше Европы!). На конях, кроме мужчин, были и женщины, и дети. Трехлетние детишки сидели в седлах-люльках. Семидесятилетние старухи дремали на кованных серебром седлах. Головы женщин белели белыми чалмами. В долине, где три недели тому назад ничего не было, кроме весенних тюльпанов да полыни, на шпалах стояло несколько составов литерных поездов, привезших людей со всего мира. Поезда стояли паровозами друг к другу, ибо между ними не были достроены шпалы — всего несколько метров, которые достраивались в день торжества, в день открытия дороги. Казахи приехали торжествовать и видеть невиданное. В тринадцати местах над пустыней холмов дымили фабрики-кухни. Управление Турксиба угощало пирогом всю собравшуюся

степь. На этих пирах, под навесами из теса, в пятидесяти градусах жары, в овчинных халатах, казахи ели руками плов и пили нарзан, как водку, сидя на кошмах с подогнутыми под себя ногами, пир Батыя, ловившийся киноаппаратами. В заполдневный зной конные казахи с пира поехали за холмы к степи, несколько десятков тысяч конников, ликовать по-своему — праздновать байгу, козлодрание. Там, в степи эти тысячи построились каре вокруг кургана. Рыскулов, зампред Совнаркома РСФСР, казах, командовал на коне около кургана. Десяток тысяч коней казахов вокруг кургана стали. В середину, на пустое место к кургану выезжали батыри, единоборцы. Таким образом выбирался совет старшин: два батыря должны были бороться друг с другом, один из них должен был вылететь из седла, — победители нападали друг на друга, тащили друг друга из седел, их кони ржали враждебно и кусали друг друга. Затем старшины начали байгу — козлодрание. Бросался живой козел. Каждый имел право схватить этого козла, вскинуть на седло и нести. Победителем был тот, кто привозил этого козла к кургану. Каждый имел право отнять козла. В борьбе одному казаху вывихнули руку, он упал в обмороке, его рука небывало изогнулась. Сейчас же, тут же, казахским способом, этого вывихнутого взвалили на коня, тут же вправили ему кости в суставы, он очнулся от обморока и — бросился в единоборство. Несравненный, небывалый вой покатился по степи, когда пустили козла. Пыль, более густая, чем лондонские туманы, поднялась над ордами, визг, вой тысячи глоток. Конные орды бросились в одну сторону на десяток километров, свернули вправо, помчали обратно. Тот, кто победит, будет героем на тысячу километров вокруг, — эти тысячи, пытавших свое счастье, карьером, вопреки стихиям, держась на конях, мчали по степи. Столбами пыли и косами коней в вое орд мчалась тайга. Древность! Куликово поле!.. Так открывалась казахами дорога — не только дорога Казахстана, Сибири, Средней Азии, СССР — но и дорога земного шара. На одной из станций Турксиба в вагон-ресторан литерного поезда вошли четверо: двое рабочих и молодой инженер с женщиной, должно быть, с женой. Был

вечер; вошедшие сели в стороне и заказали себе ужин из европейских блюд. Жена инженера раскладывала поданное на тарелки. Мужчины были бодры, здесь, в пустыне Чингисхана, гуннов и казахов. Поезд нес в себе быт и обычаи не только Москвы, РСФСР, но и Европы, и заокеанских стран. В вагоне — кроме русских, кроме европейцев континента, сидели новосветные американцы и древнесветные японцы. Коридоры поезда пахнули «вирджиниа».

Вагон-ресторан блестел крахмалами скатертей, как люди — воротничками. Поезд стоял под знойными песками саксаулов и барханов, — в вагоне-ресторане был ледяной нарзан. Станция, на которой в вагон-ресторан приходили ужинать четверо, была такой, где начальник станции командовал путями, стрелками и телеграфом из временного тесового сарая. Вокруг станции толпилось шесть юрт. Около станции протекал арык. За арыком, за юртами на юг, запад и север шла пустыня степи, — на востоке леденели вершины Тянь-Шаня, по хребту которого проходит граница Китая. На этой станции литерный поезд был встречен криками «ура», казахи на своих конях подъезжали под самые окна поезда. Сен-Катаяма, член президиума исполкома Коминтерна, говорил речь на английском языке. Зной спадал в мороз. Заря на западе долго горела и смеркла. Пустыня ушла во мрак, запахло полынью. Люди в поезде отдыхали, утомленные зноем дня и перед днем торжеств Турксиба. Паровоз в темноте медленно набирал воду. Эти четверо сели за крайний столик. Мужчины были одеты по-походному: в высоких сапогах, в гимнастерках. Им было весело. Они шутили между собою и чокались стаканами. Они заказали замысловатые кушанья и не спешили. Вагон-ресторан блистал электричеством. За соседним столиком американцы. Устало пили вино, утверждая англо-саксонскую истину американского быта. Подошел паровоз, толкнул поездной состав. Официант предупредил, что поезд отправляется.

— Ничего, — сказал инженер, — мы сойдем с поезда на подъеме.

Поезд ушел во мрак. Через полчаса поезд замедлил ход, стал взбираться в горы. Инженер расплатился по

счету. Все четверо встали. Американцы увидали, что и на женщине были смазные сапоги. Гости вышли из вагона-ресторана на площадку. Паровоз сипел, трудясь на подъеме.

— Куда это вы собираетесь? — спросил проводник.

— А обратно на станцию, — весело ответил инженер.

Первым соскочил с поезда старший рабочий. За ним спрыгнула женщина. Дракон поезда, сопя паровозами, в тщательно спущенных занавесках, поскрипывая подъемом, прошел мимо оставшихся, завернул на скалу, растворился во мраке, — ушел, унес людей торжествовать открытие Турксиба. Эти же четверо шли холмами, без тропинок, привыкшие к степям и бездорожьям. Они шли, бодрые и веселые. Через час пути далеко внизу во мраке загорелся чуть видный огонек станции. Всю дорогу четверо пели русские песни. Еще через час пути вокруг станции в степи стали видны огни костров: это казахи, приезжавшие встречать поезд, устраивались на ночлег, кипятили каменный свой чай и жарили баранину. А еще через час путники были на станции. С пригорка все сразу они крикнули темноте станции:

— Идем! — возвращаемся!

Из землянок, из юрт вышли люди, собрались у костра против одной из юрт.

— Ну-с, сообщайте про ваш выигрыш.

На станции, мимо которой прошел литерный поезд, стояла гидроэлектрическая изыскательная партия, на склонах холмов паслись верблюды, в юртах отдыхали люди, у юрт, задрав вверх дышла, стояли арбы с шурфовальными и буровыми инструментами, с химической лабораторией, с несложным скарбом изыскателей. Эта партия уже два года шла по пустыне, отыскивая и проверяя воду, ее количества, ее месячные расходы, ее горизонты, ее состав, — ту воду, которая дает жизнь Туркестано-Сибирской. В составе партии было человек семьдесят рабочих, инженеры-гидрологи, геологи, межевики, были три женщины-химички. Этот изыскательный табор шел от увала к увалу, от

булака к булаку, от реки к реке, искал воду и на земле, и на сотни метров под землею, в памяти у отряда были и нестерпимый зной лета, и снежные метели на перевалах, когда ветер в клочья разметывал юрты и заносил снегами верблюдов. Вся дорога этого табора прошла около кочевых костров ночами, в героическом подвиге дней, — этого табора, который должен был принести Турксибу воду, а вместе с нею — жизнь. Этот отряд еще долго будет идти по пустыне, ползти арбами, на которых свалены аппараты, юрты, скарб, стоять юртами и задранными в небо дышлами, отдыхать кострами, работать зноями. Люди в отряде сжились братьями. Ночи у костров рассказали все о каждом от детства. Те четверо, что были в вагоне-ресторане, были: рабочий-горняк из Баку, землекоп-черниговец, молодой инженер, окончивший два года тому назад Московскую горную академию, молодой коммунист, сын коломенского рабочего, четвертой была его жена, химичка в изыскательной партии, приехавшая на строительство Турксиба из Томска. Так были собраны все остальные работники партии. Мир был отрезан от изыскателей, — лишь радио, которое изыскатели таскали за собою, прикрепляя антенны к юртам, говорило о том, что творилось в мире. В тот день, когда проходил литерный поезд, партия отдыхала. Поезд, который шел из Москвы, ожидали, как радость. Поезд опаздывал. Люди поднимались на холм, чтобы увидеть этот первый поезд, который пройдет по местам, где три месяца назад не было ничего, кроме пустыни. Один из рабочих тогда удивился самому себе:

— А ведь, странное дело, — сказал он удивленно, — в поезде будет вагон-ресторан! Я уже два года не был в ресторане!

Через полчаса тогда партия собралась для лотереи, в шутках, веселии и озорстве. Всем пойти в вагон-ресторан возможности не было. Розыгрышем выбирали четырех счастливцев.

— Ну-с, рассказывайте про ваш выигрыш, — сказал старший инженер.

— Ели! — ответил рабочий из Баку, сдвинул фуражку на затылок, — с салфетками, на скатерти.

— Нарзан пили!

— Подождите. По порядку. Кто докладчик? — сказал старший инженер. — Говорите по порядку. Влезли в вагон. Сели. Заказали. Что заказали?

— Чего у нас нету, все сразу. Я салфетку под бороду засунул, как американец! — сказал землекоп-черниговец.

У юрты в котле варилась баранина. Над юртами в небе, в широчайшем просторе степного неба горели соленые звезды. После зноя на пустыню наступал мороз. У костра, стоя на корточках и лежа, изыскатели расспрашивали счастливцев и хохотали после каждого ответа, расспрашивая обо всем до мелочей, начиная от качества салфеток, кончая американскими очками. И только поздно ночью изыскатели разошлись по своим юртам спать. Молодой инженер залез за занавеску на кошму своей юрты, заложил руку за голову. Он вспоминал Москву, студенчество, он думал о том, что завтра произойдет соединение Северного и Южного путей Турксиба, Сибирь соединится с Средней Азией, на открытие соберутся люди, журналисты всего земного шара, приехавшие на открытие Турксиба, пошлют телеграммы и радиограммы, которые в сутки опояшут земной шар. — Он думал о том, что вслед за этим первым правительственным литерным поездом пойдут многие сотни поездов, — и он совсем не думал о том, что он — в этой безводной пустыне, где вода предрешает все, что он и его товарищи дали дороге самое главное, решающее, главное — воду, воду! За эти два года он видел, как у пустыни отнимается пустыня, как в пустыню идут железные рельсы, неся за собою все, что они могут принести. В знои лет были видны на горизонтах миражи несуществующих городов, — и в реальности возникали города. Место, где ныне станция Аягуз, было пустыней, заселенной пятью мазанками и четырьмя юртами. Место, где была пустыня, ныне есть город Аягуз. По август тысяча девятьсот двадцать восьмого года там, на холмах, шумел ветер да текла под обрывом речка Ботань. В сентябре того года там появились колышки изыскателей, не на бумаге был распланирован поселок.

А в мае двадцать девятого там возникал город. Там возникли — и просторный клуб, и светлая столовая, и починочные мастерские, телеграф, телефон, больница, кузницы у железнодорожного моста. — Починочные мастерские выросли в завод. Там строились, достраивались, достроены, — крупнейшие на Турксибе паровозное депо, хлопкопрессовальный завод, мясохладобойня, электростанция — и город, город домов, палисадников, улиц, скамеечек у домов, вывесок у кооперативных лавок, радио, гуда мотоциклов и автомобилей, где живут люди, работают, отдыхают, родятся. Неподалеку от Аягуза был старый город военных казарм, построенный при императорах для солдат, которые должны были хранить монархию — в пустыне, — город Сергиополь. И город Сергиополь, живые в этом городе ушли на Аягуз. То есть на Турксибе не только рождались города, но и умирали, множество таких местечек, станций, разъездов, аулов. В начале своего пути партия видела, как по пустыне, — из Китая и в Китай, в Монголию, по Казахстану, из Киргизии и в Киргизию, в Узбекистан и из Узбекистана — шли караваны, верблюды. Эти корабли пустыни отмеривали мертвым шагом тысячи километров с товарами пустыни, с хлопком, с рисом, с кожами, с русскими ситцами и мелкими металлическими поделками, с хлебом, с лесом, с шерстью, с пушниной, и это степное сырье и ресефесерские фабрикаты шли тысячи километров от и до Ташкента, Семипалатинска, Алма-Аты. И партия видела, как Ташкент и Семипалатинск идут друг к другу навстречу, чтобы сократить, сдвинуть тысячи километров пустыни, пододвинуть Западный Китай к Айна-Булаку так близко, как не был он никогда за все десятитысячелетия существования этих пустынь. Караваны меняли свои дороги. Партии шли степями казахов. Партии видели юрты казахов, их коней, их стада, колоссальную, ни с чем не сравнимую бедность и леность, созданную бедностью, мир и быт, ограниченный пустыней, юртою, кобыльим молоком, шараварами жены (или нескольких жен), болезнями овец, да ветрами, да морозами, от которых казахи прятались так же, как от зноя, — в овчины,

никогда не сменяемые. Партии видели первобытность жизни казахов, когда их быт нельзя было назвать даже средневековым. Партии видели сначала, как испуганно смотрели казахи на их колышки и работы. Партии видели, как казахи пошли затем к ним ратать землю, рыть и отвозить ее, чтобы строить ложе путям. И в конце своих работ партии видели, что на многих станциях и полустанках Турксиба, почти на каждой, стрелочником, смазчиком, кондуктором, весовщиком, сторожем служат казахи, — а на узловых станциях Турксиба построены школы и курсы для казахов, где казахов учат быть машинистами, слесарями, начальниками станций, телеграфистами, конторщиками, бухгалтерами!.. Железные пути перестраивают пространства. Пути перестраивают человека. Пути перестраивают хлеб и право на хлеб. Вдоль путей пошли ирригации, которые зальют десятки миллионов га под рис, хлопок, кенаф, кендырь, рами. Сколько песен было пропето о великом пути — ночами у степных костров из кизяка — и партиями, и казахами!..

Двадцатого из Москвы вышел правительственный литерный поезд праздновать открытие Турксиба. Сизым блеском вагонов Пульмана поезд прошел по шпалам Турксиба к Айна-Булаку. Поезд к Айна-Булаку пришел в ночь и стал на главном пути. Горы вокруг Айна-Булака горели огнями древнего становища, ибо праздновать открытие Турксиба собрались казахи из-за сотен километров вокруг. Горы Айна-Булака и казахи на холмах около костров имели вид такой же, как при Батые.

И Сясь, и Турксиб — в обиходе, в жизни, в порядке вещей, — в истории, родящей новые пространства, и новое время, и новых людей.

...В избе у Арбекова увяли и вянули снопы и веники васильков, ромашки, мяты, щавеля, полыни.

Растет по болотам под Палехом страшная трава багун. Охотники боятся этой травы. Запах багуна почти незаметен, — но, если пробыть в местах, где растет багун, не больше даже получаса, — человек падает в

обморок, у него заходится сердце, у него звенит в ушах, его тошнит. Если друзья не унесут отравленного багуном, если не уползет человек, если он одинок, человеку смерть от багуна. Ни зверь, ни человек не живут около багуна. Но багун исчезает вместе с болотами. Болота же уничтожает человек.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Рожь, когда она опылилась, когда оплодотворился хлеб, она пахнет пылью и человеческим телом. Но эти запахи едва уловимы, застланные запахами дня, солнца, полыни, васильков, колокольчиков, ромашки.

Если лежать во ржи и смотреть сквозь ржаные стрелки в небо — день должен быть обязательно солнечен и синь, должен быть бездонен небесный простор... А вечером сквозь высокие стрелки ржи должна пробираться луна, и тогда кажется, что месяц в небе — хрустальный — звенит... Рожь — хлеб, — какая громадная человеческая культура! — гро-мад-ная, — от тех времен, когда человек по колосьям отбирал рожь среди сорняков и посеял ее, от сорняков охранив!.. И рядом с рожью — изумрудные коробочки льна, только-только отцветшие голубыми своими колокольчиками, — не менее громадная человеческая культура ткани, одежды, украшения, платья.

Уже цвела липа, отходили первые ягоды земляники и гонобобеля. Созревала в лесах малина. Четырнадцатого июля, в день взятия Бастилии французским революционным народом, художники ушли в отпуск, на сенокос. От каждого двора в Палехе понеслись кузнечные шумы, — художники отбивали косы.

Собирались к художникам приехать дорогие гости — Сергей Петрович Аггеев, Яков Станиславович Ганецкий, Михаил Осипович Лифшиц. Заслуженные присмотрели на базаре «на ногах» барана, сложились деньгами, купили его, пустили до времени в свое стадо. На базаре продавались громадным изобилием ягоды, яйца, молоко и масло. Продавались бараны, телята и

свиньи. Продавались куры. Заслуженнейший и мудрец Иван Михайлович Баканов всегда все на базаре покупал самолично и был на базаре все базарные часы, степенный, медленный, внимательный.

На базаре были куплены две курицы. Связанными их понесли домой, несла Александра Михайловна, рядом с ней шел Сергей Иванович, и Сергей Иванович впервые в жизни видел зрелище, которому никак не удивлялась Александра Михайловна. Все петухи от базара до дома Александры Михайловны, мирно покоившиеся со своими курами в придорожной пыли в бурьянах, видя на руках Александры Михайловны связанных кур, становились свирепыми и бросались на Александру Михайловну, свирепые, страшные, клевали, царапали когтями, били крыльями, грозно кричали, призывая петушиных товарищей на помощь. Александра Михайловна прятала связанных кур под фартук и отбивалась от петухов. Совершенно естественно, петухи не умели взять в свои когти дубину (ту самую, с которой началась человеческая цивилизация, отличившая человека от зверя), — иначе б они били Александру Михайловну дубинами. Перед казнью к обеду куры были положены в садике на скамейку. В садике на ковре сидел восьмимесячный сын Сергея Ивановича, который уже стоял однажды самостоятельно, который сделал еще одно замечательное дело, а именно: никем не поддерживаемый, по своей инициативе, вполз с земли на крылечко дома Александры Михайловны, прополз целых пять ступенек! — сын сидел на ковре; в руках у него был стебелек василька с тремя цветками; около сына лежали игрушки; он благодушествовал и занимался еще одним новым своим делом, также только что открытым, а именно: орал во всю свою восьмимесячную глотку, — что — совершенно точно — считалось у него пением, — совершенно точно, — так как стоило сказать: «Ну, Воробушек, — спой», как он начинал это свое орание; куры лежали на скамейке покойно; вдруг на заборе появился петух, он прокукарековал и заклекотал повелителем; одна из куриц откликнулась ему, она затрепыхала связанными крыльями, она истерически закудахтала, она упала со скамейки в сто-

рону ковра; сын на ковре прекратил свое пение, он затих и затаился, как жучок; курица кудахтала, она еще раз трепыхнула связанными крыльями, она стала еще ближе к ковру, сын окончательно затаился, неподвижный и сжавшийся в комочек, — Сергей Иванович впервые увидел в глазенках у сына страх, — сын смотрел на курицу затаенными глазами; курица опять трепыхнулась и еще приблизилась к ковру; затаившийся сын бесслышно переменил позу, он стал на колени; он готовился к обороне; отец крикнул сыну:

— Воробушек! — ты это что же, брат, трусишь?!

Сын на момент глянул в сторону отца, он не видел отца до этого; и этого момента было достаточно, чтобы все переменилось; лицо сына изобразило угрозу, он грозно крикнул: «Ких! ких!», и он со скоростью четвероногого жука ползком и грозно бросился на противника, навстречу врагу; он нападал на врага; в руках его был васильковый стебелек; совершенно по-боевому он замахнулся васильком на курицу; он был грозен, уверенный в победе и в том, что его защитит отец; он делал грозный вид, чтобы запугать врага; *в руках у него была дубина* (та самая, с которой началась человеческая цивилизация, отличавшая человека от зверя), дубиною служил стебелек василька; дубина была взята *сознательно*. В саду над сыном и над курицей цвели липы и цвело солнце. Сын, кусочек человеческого мяса, созрел в человека. Отцу и эпохе надо было позаботиться, чтобы человек вырос в гражданина бесклассового общества, для того, чтобы социализмом вытравить тот древний — и страшный инстинкт, который прошел через все века человечества до социализма, — инстинкт дубины.

Восемнадцатого июля к художникам прибыли дорогие гости — на автомобиле с женою приехал из Иванова Сергей Петрович Аггеев, на аэроплане из Москвы прилетел с женою и дочерью заместитель всесоюзного автодорожного мастера Цудортранса (того самого, которого часто поминал Яков Андреевич Синицин), прилетел Михаил Осипович Лифшиц. Их ждали, и все же они приехали неожиданно — во всяком случае, баран «на ногах», которого должны были художники на бере-

гу Люлеха за рыбною ловлей превратить в шашлык по рецептам, вывезенным с Кавказа Котухиным и Маркичевым, — баран оказался в стаде, а стада на полдни не пригоняли, а стада в лесу не нашли, — и дорогие гости были встречены не шашлыком, но традиционным холодцом, капустой, солеными огурцами, яичницей с зеленым луком и, конечно, чарою серебряной, на золотом блюде поставленной. Дорогие гости ходили из дома в дом знатнейших художников, чтобы никого не обидеть, ходили, окруженные художниками и песнями, смотрели работы художников, выслушивали легенды и истины об охоте и о сенокосе, и все это было точь-в-точь, как на миниатюрах гулянок и демонстраций. Гости уехали ввечеру. Художники были возбуждены. В возбуждении изумленный народ пел чарочку серебряную, на золотом блюде поставленную — «всем, всем, всем!..».

Ввечеру пригнали стадо, вместе со стадом пришел баран, купленный «на ногах», — и художники, пусть без гостей — («уж как жаль, что вот так-то получилось, без дорогих гостей приходится, конечно, да... да, это уж да!»), — художники отправились на Люлех жарить барана, слушать берендеев лес и есть кавказское кушание — шашлык. Когда стемнел лес и пошли туманы полночи, когда прогорел маркичевский костер, Дмитрий Николаевич Буторин пел свою биографию:

На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу.
...С ней зима — весна, ночь — ясный день...
Не забыть мне, как последний раз
Я сказал ей, — прости, милая!..

А совсем уже за полночь, когда были одни только дыдыкинские звезды во мраке, когда деревья пододвинулись к кострищу, подернувшемуся пеплом, художники, поговорив о сенокосе, который начинался с понедельника, заговорили — *о кладе* от Пятого года. Он был зарыт под окнами, под третьим окном со двора около маркичевской избы. И художники решили наутро же откапывать клад.

Это было воскресенье. В три часа дня художники пришли с лопатами к дому Ивана Васильевича Марки-

чева. Была вырыта яма аршина в три глубиной против третьего окна. Рыли под вторым окном. Рыли ближе к первому. Перекопали весь двор Ивана Васильевича Маркичева, Ивана Забелого, заслуженного деятеля искусств.

И клада не нашли, не выкопали.

— Да... конечно, это уж да...

— Пистон, как же ты не помнишь, где ж ты его закапывал?

— Да, ишь, тридцать лет прошло... Я его ночью копал, действительно, вот на этом месте и не так глубоко... А копать — копал — на этом самом месте!

Клада не нашли, не отнесли его в музей, как собирались. Решили клад искать заново. Клад остался в жизни, бывший, как Красная Талка, от которой также ничего не осталось на ее месте; в начале революции, в годы восемнадцатый-девятнадцатый, когда ивановцы трудно голодали и мерзнули, лес на Красной Талке был сведен ивановскими рабочими на дрова; поле около Талки, где собирались рабочие, за тридцать лет застроено рабочими поселками; около моста, который сейчас проведен через Талку, как раз на той излучине, где была лесная сторожка, стоит цементный памятник — на том месте, где в Пятом году был убит, растоптан сапогами черносотенной сволочи Федор Афанасьевич Афанасьев, по кличке Отец, один из руководителей большевистской рабочей ивановской организации Пятого года; на горе за памятником, где тридцать лет тому назад рос дремучий лес, сейчас разместились огороды. Талка навсегда останется заповедником революционных памятей, пусть от нее ничего не осталось. Какая жизнь, какая жизнь начиналась на этих берегах дремучей лесной реки!.. — пусть нет уже этого леса, пусть туда наступил город — все же Талка — заповедник!..

А в понедельник, в три часа утра, художники пошли на сенокос. Травы уже созрели. Впереди шли мужчины с косами на плечах, рядами, — женщины за ними ворошили травы. Под косами падали на землю созревшие пыреи, ромашки, кашки, щавели, иваны-да-марьи. Художники заботливо обходили косами осоку, мордву, чертополох, полынку. Под косами падали благородные травы, на полях происходили события, сошедшие с ла-

ков Баканова, Ватагина, Зубкова. Траву косили художники и колхозники вместе, те и другие — артельщики.

А двадцать первого июля, часов в двенадцать ночи, когда свет был уже погашен и из-за открытого окна тянуло запахом свежего сена, запахом, которым пропахнул весь Палех, — у избы Арбекова рявкнул автомобиль. — Постучали. Арбеков спросил:

— Кто там?

— А это я приехал за вами, — Сергей Иванович услыхал голос Якова Андреевича. — У меня вчера отпуск начался, и сегодня утром я выехал из Москвы. Я за вами заехал, Сергей Иванович. Чего вам тут второй месяц с богомазами сидеть, небось замучились, как с тем монахом, который с нами из Москвы до Суздали ехал!.. Я составил маршрут, — осмотрим Ярославский автозавод, на Горьковский заедем. Можно Ивановский текстиль обследовать. Ознакомимся с нашей соцпромышленностью. На Балахне побываем. Я в автомобиле усовершенствование сделал, — пристроил к потолку походную люльку, как у американцев, на пружинах. Воробушек будет в ней спать, как дома, ни на одном ухабе не тряхнет. Также сделал походную керосинку. Заехал за всем вашим семейством. Имеется палатка. Ознакомимся с промышленностью. У меня отпуск со вчерашнего дня. Заедем в Углич, обследуем, как его там затапливают.

— Вы чего же телеграммы не прислали? — спросил Сергей Иванович.

Яков Андреевич ответил:

— Н-ну, телеграммы... это к чему ж, бумагу марать? — мне заехать удобней. У меня все предусмотрено, ночлег, питание. Спать будем в лесу, умываться по рекам, — ознакомимся с социалистической промышленностью. А телеграмма — зря деньги тратить!

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

Палех — Иваново — Ярославль — Иваново — Горький — Суздаль — Владимир — Балахна.

Лагодехская заготовка табака — Сясь — Турксиб — Палех — Иваново — «№ 504 Iswestia Ziks Jemen Sanaa

Аравия». — «Урумчи. Западн. Китай» — Sydney MSW. Австралия» — «Pretoria. Южн. Америка» — СССР — СССР — СССР —

За окнами на тесном дворе зисы грузились газетными тюками. Свежая бумага привозилась с вокзалов, с Сяси и из Балахны. Газетные тюки шли на вокзалы — семь вагонов бумаги и полторы тысячи килограмм типографской краски в каждом ежедневном выпуске газеты. На парадном «Известий» работал лифт, как термометр, поднимаясь от нуля первого до температуры шестого этажа, до редакционных кабинетов, до мозга газеты. Лифт ходил по этажам температур страны. В одном из номеров «Известий», — то есть на семи вагонах бумаги и полутора тысячами килограммов типографской краски, — был напечатан небольшой подвал Арбекова о Палехе. Это было осенью. Роман Архипович работал в лесу, промерз и затемно возвращался домой. На колхозной конюшне он распрягал голиковского коня. На пороге дома он соскреб грязь с сапог, вошел в избу, промокший и усталый. Подросток-сын, ученик живописного техникума, протянул газету, сказал весело:

— О нас! — о нас написано!..

Глаза Романа Архиповича сделались веселыми и испуганными одновременно, никак не усталыми.

Палех, 11 июня — 28 июля 1935 г.

Соляной амбар

Р о м а н

«Философы лишь различным образом о б ъ я с н я л и *м и р, дело заключается в том, чтобы* и з м е н и т ь *его».*

К. Маркс

«Неуклюжая кляча обывательского разума, конечно, останавливается в недоумении перед гранью, отделяющей сущность от явления. Если, однако, ты отправился на охоту по очень изрытой ухабами дороге абстрактного мышления, то не садись на клячу».

Фр. Энгельс

Глава первая

ОТЦЫ И ПОКОЛЕНИЯ ГОРОДА КАМЫНСКА

Бабенин, Николай Евграфович, капитан-исправник, полицейский чин, сын коллежского советника из дворян, начав свое существование в пехотном полку российской армии, дослужившись до чина поручика, достигнув двадцативосьмилетнего возраста, — то есть возраста, в коем, по правилам российской армии, офицеры могли жениться, — женившись на помещичьей барышне, — вышел в отставку по армии, перешел на мирную полувоенную должность в полицию, сменил военный на гражданский чин надворного советника, приехал. городничим в Камынск, родил двоешек-девочек, неотличимых друг от друга, Веру и Надежду, а также сына Николая. Девочки-двоешки родились в тот год, когда весь земной шар облетела весть о рождении сиамских близнецов, и в честь них Вера и Надежда были переименованы камынскими остряками в Дэку и Родэку. Первыми воспоминаниями детства сын Николая Евграфовича — также Николай — запомнил отца плачущим над его постелью по поводу того, что и отец, и сын, и Дэка, и Родэка покинуты справедливостью, —

той самой, в силу которой совершенно закономерным образом в ближайших приятелях у полицейского исправника оказался аптекарь Израиль Иосифович Шиллер, — что дало даже повод предполагать в капитане-исправнике либерализм.

Верстах в десяти от Камынска проживал наездами на охоту в родовое поместье улан ее величества граф Уваров, человек отчаянных страстей. В Камынске граф заночевывал в Дворянском Клубе, в Клуб тогда переселялся за графом повар, а в парадные комнаты собирались — как приглашенные графом, так и не приглашенные — все всегдашние посетители Клуба, на угощение. Капитан-исправник приходил с молодою женой. Капитан-исправник Николай Евграфович ночью однажды у себя в кабинете нашел записку, где жена прощалась и извещала о своем исчезновении. Через неделю в Камынске знали, что жена городничего, прожив с графом четыре дня в его родовом, отбыла с графом в Париж. Надворный советник Бабенин, как дворянин, писал графу письмо, приглашая его на дуэль. Граф за делами сразу приехать на дуэль не смог. А через полтора года нежданно примчал на квартиру к исправнику и скрежетал зубами, — оба, два дворянина, вместе скрежетали зубами в грустях, ибо и граф оказался покинутым в Париже ради французского маркиза. Дуэли не состоялось, было выпито немалое количество грога с лимоном.

Израиль Иосифович Шиллер слыл не только аптекарем, он слыл интеллигентом, выписывал «Вестник Европы», и был также промышленником. У того же графа Уварова и у предводителя дворянства князя Верейского Шиллер арендовал угодья, где разводил целебные травы, по поводу которых писал статью в журнал «Фармация». Обеих дочерей своих Шиллер назвал Маргаритами — в честь гетевской Маргариты. Израиль Иосифович никогда не забывал, конечно, что он — еврей, для интеллигентов — торговец, для торговцев — интеллигент. Он был жизнерадостен, Израиль Иосифович. Он хотел жить, как все. Он был приветлив ко всем, кто был приветлив к нему. На любительских спектаклях в Дворянском Клубе он играл комиков и благородных отцов. И — примерно в то же время, когда жена

Бабенина отбыла в Париж, — жена Шиллера умерла от четвертых родов.

В то же время примерно, когда Бабенин и Уваров пили грог в память неверной жены и любовницы, покинувшей их, — в Камынск приехала драматическая труппа, целую неделю подряд ставившая все в том же Дворянском Клубе на каждый день по новому драматическому произведению, начав, как подобало по традициям, с «Горе от ума». Бабенин и Шиллер каждодневно присутствовали на спектаклях, Бабенин — по должности, Шиллер — по страсти. И — то ли дела труппы были на излете, — ведь надо ж было заехать в Камынск, где артисты бывали не чаще раза в пятилетие, — то ли эти две артистки разуверились в искусстве, несмотря на молодой свой возраст: от уехавшей труппы отстали две примы, игравшие в «Горе от ума» Софью и Лизу. Прожив с неделю в Клубе, они переехали — Софья к Бабенину, Лиза — к Шиллеру.

Это было событием в Камынске: Бабенин не состоял в разводе с законною женой и не мог по имперским законам законно жениться на Софье, — Софья оказалась — кем? женой? — но законные жены законно венчались в церкви, — содержанкой? — но содержанок содержали потихоньку, прятали. — О Шиллере разговаривали меньше, — еврей, все равно вне закона, — и даже лишь тень на Бабенина. Но — Бабенин?! Бабенин никому «представить» Софьи не мог и ни к кому пойти с визитом не осмелился.

Англоман и пуританин Феодосий Лаврович Федотов, генерал в отставке и воинский начальник, встретив Бабенина на прогулке, не отдал чести.

Предводитель дворянства князь Виталий Аристархович Верейский присылал к Бабенину розовую секретку, просил к себе и принял Бабенина в кабинете за закрытыми дверями.

— Послушайте, голубчик, я говорю приватно, как дворянин дворянину, — сказал расстроенно князь и приложил к губам шелковый носовой платок, — ведь вы же — блюститель порядка и нравов, и... как это сказать?.. — актриса, и... у меня подрастает дочка Оленька, у вас — ваши дочки... Очень наглядно, голубчик, даже безнравственно и вообще безрассудно, — какой пример дочерям и населению? .. и вас, наконец, не при-

мет ни один порядочный дом... Я понимаю, конечно, мы все были молоды, — ну, припрятали бы где-нибудь на Подоле... А так, — вы посудите, — наподобие Шиллеру, а Шиллер...

Бабенин ответил, расправив усы, точно грудь для дуэли:

— Ваше сиятельство, я не признаю лицемерия и не предвижу статей закона. Мы живем в просвещенный век, и я не нарушу посторонних традиций. Обвенчаться в божьем храме сейчас я не могу, ввиду отсутствия законного разводного свидетельства, и сделаю это в момент получения его, а дама, с которою я встретился и пока что сошелся гражданским браком, не только артистка, профессию свою, к слову, сейчас бросившая, но одновременно с этим окончила институт благородных девиц в Саратове, дочь благородных родителей, сделавшая жизненную ошибку, увлекшись театром, кою сейчас совместно мы исправляем на благо общества, так что я лично считаю поступок мой благородным и до выполнения бракоразводных формальностей со старой женой и бракосочетания с новою, само собой разумеется, ни в ваш дом, ни в какие-либо иные дома, даму мою, почитаемую мною невестою, вводить и не намереваюсь...

— Да-да, батенька, — сказал князь, — уж избавьте. Вон генерал Феодосий Лаврович порешил даже не здороваться с вами, а моя супруга спряталась от вас, почитай, на кухню.

Князь помолчал.

— Не одобряю, не одобряю, — сказал лирически князь, — но — понимаю и... повременю писать... на основании ваших словесных кондиций...

Разводы в империи производились тремя путями: высочайшим соизволением, когда император мог приказать зачесть такую-то снова в девицы, — громадной взяткой святейшему синоду — иль свидетельскими показаниями, удостоверяющими, что они, свидетели, своими собственными глазами видели «прелюбодеяние» в момент его совершения. Естественно, такой справки бывшая жена Бабенина из Парижа не присылала. Естественно, Бабенин не посылал в синодальный суд такой справки о самом себе, — тем паче, что, если б он такую справку послал, по закону возложена была бы на

него церковная эпитимия, наказание, трижды в день он должен был бы ходить в церковь на покаяние к священнику, а, самое главное, одновременно с эпитимией лишился бы права лет на пять вступать во вторичный брак. Закон Николаю Евграфовичу не подходил.

Израиль Иосифович должен был принять православную христианскую веру, чтобы законно жениться на русской, на православной, но у него были дети и были отцы, а новая жена не настаивала на законном браке.

Недели через две после разговора Бабенина с князем выехала из бабенинских ворот на паре в дышлах — в артистическом платье, под зонтиком Софья Фамусова — и проехала в аптеку к Лизе, в гости к подруге.

Израиль Иосифович был приветлив ко всем, кто был приветлив к нему.

Лиза поехала к Софье с ответным визитом.

У Софьи и Лизы вдруг появилось по дамскому седлу и амазонке. Шиллер приобрел для себя английское седло. И Шиллер на английском, Бабенин на кавалерийском-офицерском — на лошадях из полицейского участка — сопровождали дам к Козьей горке, к реке, купаться и пить у лешего в сторожке молоко. А затем дамы появились на — первых в Камынске — велосипедах; передние колеса у велосипедов были больше задних, точно дамы по ровному месту ехали в гору, и одевались дамы к велосипеду в небывалые костюмы — в жюб-кюлоты — в юбки-штаны.

Ни к Бабенину, ни к Шиллеру никто не ходил, никуда не ходили ни Бабенин, ни Шиллер, и даже ощущали себя ввиду этого личностями исключительными, хотя попросту говоря их никто к себе не пускал. Осенью, когда под дождями месилась грязь, артистки при Дворянском Клубе организовали постоянный драматический кружок под названием «Вечерняя заря», где брали себе главные роли и режиссировали. Шиллер играл благородных отцов. Любители-мужчины найдены были в казначействе, женщины — на телеграфе, старые девы, ибо по имперским законам женщины-чиновники почтово-телеграфного ведомства не имели права быть в замужестве. Шиллер приглашал к себе Софью с супругом, Софья приглашала к себе Шиллера с

женой, — хочешь не хочешь, они говорили о «нравах провинции», о «предрассудках». Молодые и необыкновенные жены заставляли мужей быть в подтянутом состоянии, оба супруга на ночь на сон под носы себе надевали наусники, хранившие бравую форму усов, чем аптекарь и исправник достигали внешнего сходства. Дэка и Родэка учились в местной прогимназии, Шиллер отправил старшую Маргариту к брату в Смоленск. Жизнь устроилась.

Генерал Федотов по-прежнему не кланялся с Бабениным, англоконсерватор, каждый день готовивший себя к войне. Он помнил еще времена Николая Первого, считал их правильными и, хотя не служил при Николае, все ж именовал себя николаевским солдатом. Он дрался под Плевной. Освобождение крестьян считал он надувательством — и крестьян, и помещиков. Он читал английские и военные романы. До генерала дослужился он усердием. Много позже Плевны, перед отставкой он женился на старой деве, родил сына, — но быт его протекал помимо жены, и жены его никто никогда не видал. Генерал почивал на походной кровати, питался солдатским пайком, каждое утро выливая на себя ледяной воды, ожидал начала военных операций, ибо война являлась для него естественным мужским состоянием. Сын с пеленок умел маршировать. Жена передвигалась тенью. Естественно, находился генерал в жестоком одиночестве, и ближе жены, ближе сына был генералу громадный его сенбернар, исполнявший сторожевую службу и приносивший трижды в день из казарм караульной роты судки с харчами.

Князь Верейский блюл нравы дворян, как земский начальник Разбойщин блюл крестьянские нравы. Князь недоумевал наедине с самим собою: он видел своими глазами и знал на фактах: с шестьдесят первого года судьбы крестьянства, хранимого им, сломаны — князю казалось — самим же дворянством. Бабенин не шел в счет, не столбовой и не помещик, и тем не менее — гражданские браки... Как хранить эти дворянские судьбы — и даже не только хранить, но создавать их процветание? — Князь устанавливал скорбно: помещик беднел и, беднея, дичал — вплоть до гражданского брака!.. Сам князь обладал имением с усадьбой, с каменным домом в девятнадцать комнат, с колоннами. Дом

построен был дедом. Дед отапливал весь этот дом, при отце отапливалась четверть дома, — а Виталий Аристархович совсем не отапливал, приезжая в усадьбу лишь летом. Вольное Экономическое Общество в шестидесятых годах оповещало о новых *принципах* сельского хозяйства в полуизвестной Америке, — большие участки посевов, усовершенствованные машины, химическое удобрение, — Общество печатало советы российским помещикам. Конечно, разумно, — сам князь знаком был даже с теорией «тюненевских поясов» и одобрял ее, — конечно, разумно, — на то и существовал Дворянский Банк, — взять ссуду, оборудовать хозяйство по-американски, ввести семиполье, купить симменталов, провести к имению железнодорожную ветку, построить винокуренный завод, молочную ферму на отбросах с завода... Но — как-то так получилось, — деньги из Банка были взяты еще отцом, бестолково прожиты, а имение обрабатывалось детьми и внуками тех самых отцов и дедов, которые обрабатывали эти ж земли при крепостном праве, — и теми ж самыми трехпольными способами, — с тою лишь разницей, что деды-мужики, работая на деда-князя, отдавали князю натуру, снятую с полей, а теперь сыновья и внуки платили Виталию Аристарховичу деньгами арендную плату. Собирая через приказчика рубли с крестьян, Виталий Аристархович печально полагал, что он — «капитализируется», — а капитализм он презирал не менее генерала Федотова... — Виталий Аристархович страдал оттого, что никак и никому не обязательно было доподлинное знание: художник Нагорный был вправе начинать летоисчисление от Фридриха Барбароссы, как вправе генерал Федотов, кроме английских романов, читать Четьи-Минеи сорок лет подряд на каждый день, — как учитель Богородский и доктор Криворотов одновременно увлекались — один толстовством, в силу чего вегетарьянствовал, а другой — Бюхнером и Эрнстом Геккелем, ради коих хоронился инфекции и отрицал простуду, — истину каждый искал по-своему, и князь Верейский Виталий Аристархович возлюбил эпоху Александра Первого по романам того времени, по московским и деревенским главам романов. Князю казалось, что тогдашнее время было — «некапиталистическим», — и было медленным, сердечным, как Карамзин, семейственным и философским. Князь играл на

рояле, любил сумерки, любил гостей в сумеречный час и домашние концерты. Дом его был обставлен мебелью александровских времен. Дочь Оленька обучалась у бонны и мамы. Князь декламировал Апухтина и Фета. Рассчитываясь с кучером, кухаркой и горничными, князь оставлял им деньги на кухне, на краешке стола под шелковым своим носовым платком...

И князь Верейский никак не походил — блюститель дворянства — на крестьянского блюстителя Афиногена Корниловича Разбойщина. Земский начальник Разбойщин, кучера которому не полагалось, — этот от кухарки требовал расписку в получении жалованья, где вместо подписи по безграмотности ставился крестик, заверенный дежурным на кухне десятским иль сотским. Ездил Разбойщин исключительно на крестьянских лошадях. Князь Верейский раза два в году устраивал благотворительные балы, по примеру александровской эпохи, но для современных целей — в пользу Общества Народной Трезвости, в пользу детского сиротского приюта, на рождественскую елку в женской прогимназии, — и князь знал опытом: к Разбойщину с подписным листом посылать бессмысленно, Разбойщин не подпишется, спрячется на кухню от подписного листа, скажется отсутствующим — в силу своего происхождения от дьяков и подьячих времен царя Алексея Михайловича.

Разбойщин блюл крестьянские нравы на помощь помещикам и государству. Земскому начальнику не полагалось знать таких слов, как, например, — кризис, — и Разбойщин никак не знал, что вообще-то земские начальники возникли именно из-за кризиса. На английских и германских биржах цены на хлеб падали совсем не вровень тому, как стояли в Российской империи арендные цены на земельные угодья, — «мужик» — по здравому смыслу — должен был бунтовать, императоры никогда не забывали «о пугачевщине»: этих тонкостей Разбойщину знать не полагалось, но Разбойщин знал отлично, зачем он приехал в Камынск на смену выборным от дворянства мировым судьям, — в строгости, в защите того же дворянства. И Разбойщин знал, что у того же князя Верейского в сельце его Верейском, как доносил Разбойщин —

«...сельское население постепенно пришло к полному разорению и воспитало в себе злобу к его

сиятельству... в текущем году, поразившем уезд недородом хлебов и трав, верейковцы обратились к его сиятельству с настоятельной просьбой снизить им арендные расценки, но удовлетворения не получили, в силу чего крестьянин сельца Чертанова Иван Нефедов произносил противозаконные речи, грозился пустить «красного петуха», написать жалобу его императорскому величеству... и был осужден мною по вышеизложенным причинам на шесть месяцев тюремного заключения...»

Так писал Разбойщин о селе Верейском, а о графе Уварове, покорителе женских сердец, писал иначе:

«...сельское общество села Уваровка обратилось к управляющему его сиятельства с настоятельной просьбой сдать им в аренду по примеру прежних лет семь с половиною десятин земли, врезавшихся клином в их село Уваровка и расположенных притом таким образом, что означенный клин отделяет село от водопоя и лишает возможности удержать скот от потравы, ввиду коей скот систематически штрафуется графской конторой. Управляющий затребовал 175 р. вместо прежних 70-ти, а поскольку сельский сход, обсудив безвыходность своего положения, согласился на уплату означенной суммы, управляющий сообщил сельскому старосте, что им написано донесение его сиятельству, но его сиятельство находится в Пятигорске на излечении и ответа по сему крестьянскому предложению прислать не может, в силу чего крестьянин села Уваровка произносил противозаконные речи и был осужден мною по вышеупомянутым причинам на шесть месяцев тюремного заключения...»

Земский начальник Афиноген Корнилович Разбойщин никому и ничему на свете не верил, даже жене, равно как убежден был в том, что и ему никто не верит. Деньги на обед Афиноген Корнилович выдавал кухарке самолично и жене не давал денег ни копейки. Не реже, чем раз в неделю, по ночам, когда сын спал, Афиноген Корнилович обыскивал сыновние карманы и порол сына в субботу, если находил в кармане у него карандаш, стащенный с отцовского письменного стола.

В субботу вечером и в воскресенье утром Афиноген Корнилович ходил в собор — ко всенощной и к обедне, — в вицмундире, при шпаге. Гостей Разбойщин приглашал к себе два раза в год и сам ходил в гости не чаще раза в месяц исключительно к людям по чину. Никто никогда не видел, чтобы Разбойщин улыбался. Дом его был кругом заперт, и спал Разбойщин, подложив под голову кинжал и револьвер. Никто никогда не слышал от Разбойщина незаконной фразы и не слышал ни разу ни одного обобщения.

В Камынске знали: если ставни в кабинете Разбойщина закрыты круглые сутки, если круглые сутки заперта на засов калитка и около нее днюют крестьянские ходоки, — значит — Разбойщин пьет. Розово-лысый, совершенно аккуратный, — даже в запое Разбойщин оставался аккуратным, если не считать, что в запои он сидел в кабинете, ходил по дому в подштанниках и в нижней рубашке. Он приходил к жене, держась за стены, он садился против нее на корточки и хихикал, невозможно-розовый.

— Вы, мадам, мечтали о беличьей ротонде к зиме? — а я их пропиваю... я знаю, это глупо. А я их и зарабатываю!.. Или вы, мадам, мечтаете о графе Уварове и о Париже?... — по-моему, вы с лица для Парижа не вышли... Я прошу вас, мадам, станьте на четвереньки. Пожалуйста!.. Не хотите?.. Тогда я стану на четвереньки. Ну, вот, видите? — станьте рядом со мною, я прошу вас, мадам, станьте на четвереньки, мы поползем обедать... Ну, прошу вас ко мне. Вы видите, мадам, я унижен, я подобен свинье, я плачу... я требую, наконец, как муж!.. — не надо доводить до прошлого раза!.. Ну, вот так, вот так... Послушайте, мадам, есть люди верующие в Бога и неверующие, есть христиане и есть буддисты, — а все одинаково, и это отмечено даже в медицине, все одинаково всегда видят все одного и того же зеленого черта, православного черта, который обыкновенно вылезает из горлышка бутылки, а сейчас лезет у вас, мадам, изо рта... я хочу спросить, — почему даже буддистам видится православный черт? — к чему бы!?

Совершенно естественно, трезвея, Разбойщин писал доносы, в первую очередь на всех тех, кого боялся и кому завидовал, — а боялся он многих, и завидовал всем, и никого не любил.

И больше всех — председателя земской управы Павла Павловича Аксакова, — и потому, что Аксаков был родственником, хоть и дальним, писателя-славянофила Аксакова, и потому, что Аксаков окончил Константиновский Межевой Институт в Москве, и потому, что «институт» земских начальников обворовывал права земств. Аксакову ж на Разбойщина было — наплевать. Аксакову вообще на все было наплевать. Он был очень веселый. Считалось, что проживал он со старухой-девушкою сестрой во флигеле своей усадьбы, ибо главный дом сгорел, — но на самом деле разъезжал все время по уезду, где в каждой деревне было у него по любовнице и рождались дети. Разъезжая по уезду, хохотал с утра до вечера Аксаков басом, дружил со всеми, особенно с подрядчиками, на коих и походил громадной овсяной своею бородою, — со всеми во всем был согласен, с «третьим элементом» в частности, а также и с крестьянами, — никому ни в чем не отказывал, никому ничего не делал, на самом деле любимой его поговоркою было — наплевать!.. Поэтому именно во флигеле у него рамы прогнили, спал он, если заночевывал дома, в ватном халате без простыней, — по утрам на завтрак съедал полдюжины громадных с луком рубленых котлет, приготовленных сестрой-старухой, — ел и ехал в пыльнике и смазных сапогах, верхом на дрожках по делам и к любовницам, обильно родившим.

«Третьим элементом» были доктор Иван Иванович Криворотов и учитель Богородский, Феоктист Феоктистович. Оба они считали себя «критически мыслящими личностями», по слову русского философа Лаврова.

Учитель Феоктист Феоктистович толстовствовал, доходя до того, что не ел летом ничего вареного, ел одни сырые ягоды и овощи, морковь и репу, а поэтому был отчаянно тощ, с кадыком неимоверных размеров и очень раздражителен. Был учитель Богородский «на подозрении» у Бабенина и у ротмистра корпуса жандармов Цветкова, хотя толстовство свое тщательно скрывал, развивая идеи непротивления злу только лишь среди учительства и до таких пределов, когда сокрытие своих идей от начальства он также считал непротивлением злу. Учитель утверждал, что корень человеческого зла лежит не в том или ином человеческом общественном устройстве, но в самой человеческой природе, — то есть,

если б все, начиная с царя, были б толстовцами и непротивленцами злу, — то зло исчезло бы. По летам в каникулярное время Феоктист Феоктистович ходил в леса и поля, собирал цветы, ландыши, васильки, незабудки. Жизненным делом своим Феоктист Феоктистович считал ожидание часа, когда все станут толстовцами, и, по мере непротивления злу, подталкивал этот час. Он был холост, естественно. Руки его всегда потели. Вместе с Феоктистом Феоктистовичем жила родная его сестра, вдова, руководившая хозяйством Феоктиста Феоктистовича. Необразованная, сестра трепетала пред братом, пред его образованием, толстовством и умом, — и даже пред тем, как братец попрекал ее куском хлеба и всем необразованным ее существованием. У вдовы была дочь, безмолвствовала перед ученым дядей примерно так же, как безмолвствовала перед генералом жена генерала Федотова. — Доктор Иван Иванович Криворотов — он также ждал часа, когда, если не все, то «разумное большинство» окажется «критически мыслящими личностями», все по тому же Лаврову, а отчасти и по Михайловскому. Но — по традициям от народничества, от Михайловского — в ожидании этого часа, Иван Иванович не забывал текущей жизни, он полагал, что он — «ушел в народ».

Сын уездного лекаря — доктор Криворотов самым почтенным писателем считал Щедрина. Окончив Казанский университет и унаследовав от волжан любовь к пению, Иван Иванович, отказавшись от чиновничьей карьеры, сознательно пошел работать в земство и сознательно ж — в уезд. Он чтил заветы Пироговских съездов. Он носил крылатку и черную шляпу, как шестидесятники. С утра он шел в больницу, где лечил все те тысячи болезней, которыми хворал российский народ, — чирьи, чесотки, глисты, куриную слепоту, трахому, сифилис, язвы кишок — и резал — человеческие руки, ноги, животы, спины, те же чирьи, грыжи, саркому, сшивал раны, отрезал руки и ноги, — подбирал очки и рвал зубы, ибо дантистов «мужику» не полагалось. Российская империя родила тогда не в родильных приютах, но у себя по домам, в деревнях — по избам, под руководством старух и знахарок, — и в совершенно неурочные часы, в три ночи и в три дня, в десять утра и в десять вечера, доктор ездил по неблагополучным родам на те-

леге, за ним приехавшей, поспевая предпочтительно к смерти. Иван Иванович ездил по уезду также, когда в уезде начинались повальные заболевания — голодный, он же сыпной, тиф, брюшной тиф, холера, скарлатина, понос. И ездил еще на вскрытия, когда в уезде убивали человека, — хотя совершенно достоверно было, что человек помер от пролома головы, все же для суда требовалось медицинское освидетельствование. Ездил Иван Иванович обязательно с ветеринарным врачом, в тех случаях, когда от бешеной собаки заболевал бешенством человек; третьим спутником бывал Мишуха Усачев; ветеринарный врач собирал всех собак в деревне иль в селе, где заболевал бешенством человек, — Мишуха тут же их вешал, — а доктор Криворотов разъяснял сельскому сходу давно известные крестьянам особенности заболевания бешенством; врачи требовали двоих понятых и увозили на крестьянской телеге больного, связанного бешеного человека; врачи по очереди сидели у больного, понятые ломали больному лопатки, когда он бился; больного довозили до больницы, где, запертый в одиночную камеру, он дня через три помирал.

Вообще ж доктор Криворотов любил порядок. В нормальные дни, после операций в больнице, в час дня возвратившись домой, пообедав, до вечернего обхода в больнице Иван Иванович ложился почивать с очередною книгой «Русского богатства», «Вестника Европы», толстого журнала.

И каждый раз, когда в неурочный час приходили за доктором, прежде чем выслушать, кричал Иван Иванович на посетителя так, что даже рассказывали по этому поводу анекдот. Пришла будто бы в этакий неурочный час «баба» с кошелкой, — молвила:

— Барин...

Доктор Криворотов, в одних чулках, с шалью на плече, с очками на лбу, махая книгой, — заорал на весь переулок:

— Прием от девяти до часу! сколько раз вам говорить!? На дверях ясно написано, — прием от девяти...

— Да барин... — молвила «баба».

— Молчать! — ревел доктор. — Я говорю, — разрешите уж и мне высказать мысль, — дайте уж и мне поговорить!.. Пойми, мы, стремясь к культуре и уважая труд, в первую очередь неминуемо должны уважать время...

— Да ба...

— Молчать!..

Доктор начал читать «бабе» лекцию.

«Баба» смолкла в покорности. Доктор рассуждал не менее получаса, пока не устал. «Баба» тогда сказала покорно:

— Барин, касатик, я твоей барыне, как велели, сметанки принесла...

— Ну, так бы и сказала сразу, бестолочь такая!..

Доктор хлопнул раздраженно дверью и пошел дочитывать намеченное на сегодня.

Частной практикой доктор Криворотов не занимался, называя ее чаевыми, и орал до пределов своего волжского баса, когда ему предлагали деньги. Рассуждал доктор много и часто о народном здравии и образовании, — трехклассные земские школы принципиально порицал, в целесообразность их не верил, считая, что следует сначала «мужика» накормить и вылечить, ибо иначе — проучившись три года — голодный и от голода больной, не имеющий ни единой книги в избе и в селе, мужик неминуемо возвратится в безграмотность. И тем не менее был Иван Иванович попечителем земской школы в сельце Чертанове, собирал у себя каждую пятницу учителей, чертановских и городских, — назывались эти встречи «кружком самообразования», — читались в этом кружке особо интересные статьи и рассказы из толстых журналов, выписываемых в библиотеку имени Ломоносова при Дворянском Клубе; читанное подвергалось общественной критике. В чертановской земской школе доктору Криворотову удалось создать горячие завтраки для ребят, добыть валенки и полушубки для неимеющих. Суббота в земстве была нерабочим днем, — и каждую субботу с утра направлялся доктор в школу, тащил земский проекционный фонарь, показывал детишкам и взрослым туманные картины и сопровождал их своими собственными рассуждениями, — и был за это так же, как учитель Богородский, «на подозрении».

В два часа в субботу в земской управе под председательством Павла Павловича Аксакова собирался санитарный совет, врачи с уезда обсуждали всеуездные земские чирьи и земскую борьбу с ними. Аксаков спешил и со всем соглашался. Врачи говорили речи часов до

семи, а в семь шли к Ивану Ивановичу обедать, ели, пили водку и пели студенческие песни, залог революционности, — «Дубинушку», «умрешь, похоронят, как не жил на свете», запитый водкой с пьяным попом, — песня «Трансвааль» тогда только-только запевалась в рабочих кварталах и в столичных трактирах, до Камынска еще не добравшись. Запоздно вечером врачи прощались, приглашая друг ко другу, рассаживались по своим тарантасам, дрожкам иль санкам — по времени года — и разъезжались во мрак уезда, в волости, в больницы, тащились проселками, остерегались темноты...

Изредка доктор Криворотов, грея над лампою валенки — женины, сына и свои собственные, чтоб не замерзли ноги, — собирался в гости на участки, к коллегам. Жена и сын садились сзади на сено, Иван Иванович влезал на козлы, прятал в ноги топор, ощупывал за пазухой револьвер. И — ехали полями, лесами, перелесками. Перелески при этом и, главным образом, овраги полны были не очень разнообразных былей. В том-то перелеске убили купца, и наследники на месте убийства поставили крест. Здесь убили помещика. В том-то овраге убили опять купца, и крест уже свалился, и здесь же ограбили почтовую карету. А там — и убивали, и убивают. В этих местах Иван Иванович вожжи собирал в левую руку, ехал бесшумно, придерживаясь правой рукой за топор. В домах участковых врачей пахло родными запахами иода и иодоформа, и после еды обязательно повторялись — «Дубинушка», а за нею, конечно —

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой
Собралися мы сюда
Ради вольности веселой,
Ради вольного труда!..

Вся жизнь и все дела доктора Ивана Ивановича, вместе взятые, считались им «общественным служением» народу, «служением долгу». А наряду с этим, с последнего курса студенчества, у доктора появилась — не то чтобы мечта, а этакое убеждение, что так, мол, все же покойнее: доктор получал жалованья без эмеритурных сто сорок семь рублей сорок семь копеек и ежемесячно откладывал в государственное казначейство со-

рок семь рублей сорок семь копеек с тем, чтобы, отслужив «долгу» двадцать пять лет и скопив таким образом тринадцать тысяч тридцать один рубль плюс проценты к ним, — купить усадебку и зажить «на земле», никого не зная и ни от кого не завися; Иван Иванович намеревался в имении своем разводить йоркширских свиней; на второе за обедом поэтому у доктора Криворотова полагалась каша, в экономии на будущее сельское хозяйство, и у сына поэтому ж никогда не было вторых непорванных башмаков...

Промышленную силу представлял в Камынске подрядчик и промышленник Сергей Иванович Кошкин, сосед доктора Криворотова, забор в забор. И был Сергей Иванович камынским ницшеанцем, даже во сне не слыхав о Ницше. Крепостной отец Кошкина выбился до крепостного приказчика князей Верейских, сын пошел за отцом и обошел отца. Смелый человек, Сергей Иванович Кошкин ездил куда больше председателя Аксакова по уезду, в Москву, в Нижний Новгород, покупал и продавал леса, арендовал и строил мельницы, строил больницы, школы, бараки, дома на казну, на земство, частновладельцам, поставлял шпалы железной дороге, сводил леса без зазрения совести, при доме держал столярную мастерскую, — деньги собирал в изобилии, — пил с утра шустовский коньяк, бороду подстригал два раза в году, к Рождеству и Пасхе, носил лакированные гармонией сапоги, родил детей, командовал домом, женой и любовницей Машухой, детьми, столярами, плотниками, мельниками, лесорубами, не спешил, всюду поспевал.

Он первый привозил в Камынск различные чудеса техники, безусловно затмив велосипеды и жюб-кюлот дам Софьи и Лизы. Он привез электродвигатель, осветил электричеством дом и мастерскую, поразив городское население, когда — светило, а не воняло. Он первый привез граммофон и, чтобы показать городскому населению, кто такой есть для Камынска он, Кошкин, объявил, что шестого числа на «крещение» в трактире Общества Народной Трезвости граммофон будет бесплатно для всего города играть музыку, петь песни и говорить слова. Народ в трактир не вместился. Кошкин приказал своим столярам за его личный счет рамы в Трезвости выставить, чтобы народ слушал с

улицы. Городское население глазам и ушам не верило, заглядывало под стол, — где, мол, спрятан фокусник? — Население поражалось, обсуждало неубежденно, а затем примолкло от удивления. Кошкин клялся населению в отсутствии мошенничества, кланялся, самолично вертел граммофонную ручку и поднимал скатерть со стола, показывая под столом пустоту. Население склонно было думать, не окончательно забыв крепостное право, что — все же Кошкин обманывает, купил, наверное, карлика, и сидит карлик в граммофонном ящике. Кошкин, перекричав и перепев все свои пластинки по три раза, заморозив трактир и слушателей, направился с граммофоном домой, позвав к себе почетных граждан — отца протоиерея Иоанна, доктора Криворотова, податного инспектора Молласа, — крутил дома граммофон еще много раз, пил коньяк, поил коньяком, угощал заливным поросенком и философствовал.

— Что есть я? — серый мужик и сын крепостного холуя, и сам бывший холуй. А кто первый привез вот эту штуку в Камынск? — опять я... Для гордости и для поучения. И никто никому не мешает, — делай что хочешь, а мне не мешай!.. хочешь — голодай, хочешь — граммофоны вози!.. Я вот голодать не хочу, — сказал себе — не хочу — и стал денежки делать, работаю и другим не мешаю, кто мне не мешает. Дело-то, лесовто — непочатый край, — иди, пили, руби, торгуй. Мы с отцом с голого места начали. А если который не хочет, — голодай, твоя вина. А если который хочет, да не может, — тоже сам виноват, не родись дураком, я ему не помощник. И на дороге мне не попадайся. Хочешь со мной бороться, — давай поборемся, кто кого под микитки, — ты подомнешь, ты молодец, — я подомну, не пищи, я на тебе поеду и плакать не позволю. Никто никому не виноват, и, конечно, я повалить себя не позволю, — я зла не желаю... А по совести говоря, — я на тебя сел, ты подо мною дохнешь, — туда, дураку, тебе и дорога... Пейте коньячок, гости дорогие, — он дурацкий!..

Этак рассуждал Сергей Иванович Кошкин часто — и с доктором Криворотовым, и с Павлом Павловичем, и с другом своим Евграфом Карповичем Сосковым, верейсковским трактирщиком.

Иван Иванович Криворотов говаривал иной раз:

— Так ведь это же самая что ни на есть сукинсынская философия, Сергей Иванович.

Кошкин отвечал благодушно:

— А я и есть сукин кот!..

И все же вдруг ни с того ни с сего наш Сергей Иванович не направо от своего дома к трактиру Козлова с номерами, а налево, вниз по улице, заходил в сад к Мишухе Усачеву, устраивался в Мишухином мурье между собак и клеток с птицами, вынимал из кармана бутылку с коньяком, пил и спрашивал Мишуху:

— К чему бы, а? .. — живу, плутую, гну людей, коплю деньги, сплю с двумя бабами в одном доме, — к чему бы, а? ..

— Это, конечно, уж эдак, — отвечал Мишуха.

— Знаю, что эдак. А к чему?.. Ты вот собак душишь, — не страшно? — сколько ведь на тебе собачьих душ, почитай, что на мне человечьих слез, хоть я их и не того, не обожаю... Ну, а ты, кроме собак — с детишками там вроде Никиты Сергеевича, птичек ловишь и ту же собачью породу при себе держишь, спишь с собаками и птицами. Вот этого я не могу понять. Расскажи ты, как это у тебя?..

— Это, конечно, уж эдак, — отвечал Мишуха.

— Ну, вот ты и расскажи, как это эдак. Расскажи про птиц. Я ведь мальчишкой их тоже ловил, а ты до старости возраста ловишь... Ну, расскажи, что ты сегодня делал. Подробно рассказывай, почему ты хоть и собачий душитель, а благородной души человек.

— Да, это конечно... Первый проснулся я, еще затемно, чуть светало. Закурил, услыхали собаки, тоже проснулись, блох половили, поздоровались со мной, сходили на двор до ветру. А еще раньше проснулся Сысой-соловей, клювик почистил, слетал на песочек, водички попил. Я самовар раздул, пошел на огород снасти расставить на птиц, щегол сейчас на лопухи летит... солнце начало подниматься, пузатое...

И Сергей Иванович, не слушая рассказов Мишухи, всхлипывал под коньяк.

Через улицу против Кошкина жил купец Коровкин, в каменном доме за каменным забором. Многое количество лет подряд в шесть часов утра Коровкин выходил во двор, рыкал на ломовых и шел в торговые ряды,

в гостиный ряд, открывал торговлю и торговал многими предметами сразу, дугами и хомутами, шлеями и вообще конской сбруей, а также яловочными сапогами и козловыми полусапожками с резиновыми проймами, топорами и лопатами, пилами, боронами, табаком, лампадным маслом, керосином и солью; солью Коровкины торговали еще от тех времен, когда отец, и дед, и прадед держали соляные откупа,на соли Коровкины и прославились. За прилавком у Коровкина горели лампады, Коровкин сидел в конторке, читал газеты и многие книги, тощий старик. Из дома, из-за глухих ворот, когда уезжали ломовые, выходили на улицу — и видны были за забором в саду — на подбор отчаянно толстые и заспанные женщины. «Самои» у «самого» трижды менялись, ибо первые две жены померли бездетными, а третья, последняя, была на тридцать семь лет моложе мужа, родила сына и дочку, Егорушку и Лизу, — молодая жена толстела, как приживалки. На все семейные праздники звал Коровкин в дом к себе духовенство, и в «чистой» зале, вообще нежилой, заставленной фикусами и застланной ковриками, на втором этаже священнослужители служили обедни. Ворота на этот случай не запирались, и соседи могли приходить к Коровкину, помолиться в чистой зале. Для нищих на дворе в такие дни ставился стол с соответствующей случаю пищей, скоромною или постной.

Были в Камынске художники.

Художник Нагорный был чужестранцем. Он появился внезапно. Весною, великим постом он приехал в Камынск, длинноногий, черно- и длинноволосый, с длинной бородой и без усов, с черными глазами, в громадной шляпе. Он обошел город, поднялся на гору, на огороды, долго стоял там, один, опираясь на палку, осматривая пространства, — оттуда прошел к подрядчику Кошкину. Кошкин вместе с ним в санках на добротном полукровном жеребчике возвращался на гору. Ночевал Нагорный в Дворянском Клубе, посылал в полицейское управление паспорт на фамилию Латрыгина. Кошкин двое суток просидел в Дворянском Клубе с Нагорным за чертежами, за эти ж двое суток откупив у огородников все огороды на горе. Латрыгин уехал в Санкт-Петербург и вернулся оттуда с женою, с мольбертами, с красками — на гору, где Кошкин поста-

вил дом с башнею, вокруг которого Кошкин же рассадил дремучий сад. По паспорту жены через полицейское управление узналось, что жена Латрыгина — урожденная баронесса Врангель, с которой венчался художник за неделю до второго приезда в Камынск. Через три месяца по приезде у художника родился первый сын, через пятнадцать месяцев второй. Баронесса гуляла в саду, художник в башне писал рыцарей, похожих на него самого. Никто к ним, они ни к кому не бывали, не было даже писем к ним. Но через семнадцать месяцев, то есть через два месяца после рождения второго ребенка, письма возникли. Почтмейстер разгласил их содержание. Баронесса написала письма тетке в Крым и дяде, военному атташе российского правительства, в Рим. Ответов не последовало. Через месяц баронесса написала еще раз этим же дяде и тете — и брату, в Санкт-Петербург, в гвардейские казармы, прося прощения и умоляя дать денег. Брат перевел по почте, без сопроводительного письма, семьдесят пять рублей. Еще через два месяца баронесса написала вновь, вновь умоляя прощения и сообщив, что она начинает голодать. О муже и детях она ничего не писала. Ответа не было, но были письма из Рима и из Крыма к предводителю дворянства князю Верейскому, содержания которых почтмейстер не разглашал. И пришло письмо из Крыма, на французском языке, — почтмейстер двое суток переводил его со словарем, не перевел, заходил к генералу Федотову, тот выгнал почтмейстера вон и грозил написать губернатору, — к жене фабриканта Шмуцокса почтмейстер пойти постеснялся, перевела классная дама из прогимназии. В письме были тексты тети и дяди — военного атташе, — по совещании всей фамилии решено было простить баронессу с тем, что никто никогда не услышит о ее «фо-па» — «ошибочном шаге», — что о разводе ее с «господином Латрыгиным» фамилия позаботится, что дети ее, к сожалению, уже имеющиеся, должны остаться у господина Латрыгина и им будут посылаемы ежемесячно семьдесят пять рублей, — сама ж баронесса должна проехать в Крым, в родовое имение баронов, и жить там до времени, которое будет указано фамилией впоследствии. И через два года и два месяца после приезда баронесса уехала — без вещей и без детей — в сером пальтецо,

под вуалькой, с одною-единственной кожаной сумочкой на ремешке через плечо.

Через два дня после ее отъезда отправился в Москву со своими картинами художник Нагорный — и вернулся через неделю с теми же картинами, картины не продались. Дети остались с нянькой, с громадногрудою огородницей. Через неделю после отъезда баронессы на имя «Его высокоблагородия Господина Латрыгина» пришли по телеграфу семьдесят пять рублей, — и стали приходить ежемесячно. Через десять месяцев после отъезда баронессы у громадногрудой огородницы родился сын — и сыновья стали родиться ежегодно.

Художник Нагорный пошел было с визитами к Верейскому, к Бабенину, к Разбойщину, даже ко Криворотову, — и не привился там, ибо нес в разговорах нечто несообразное с Камынском о неминуемых новых каких-то рыцарских крестовых походах, об аскетизме, о подвиге православия и народности, о венецианских гондолах, о Ренессансе, — а «сам» «жил» с нянькой. Раза два интеллигенты любопытства ради заходили к Нагорному в башню, со стен там свисали перечерненные рыцари в забралах и в замках, небывалые борзые около голой — одной и той же — огородницы-няньки; интеллигенты смотрели недоуменно, говорили о погоде, об англо-бурской войне и о телеграмме Вильгельма Второго бурскому президенту Крюгеру, — а затем интеллигенты исчезали. Нагорный одиночествовал и писал рыцарей. Дети росли, ничему не обучаясь, при огороднице, гоняя по саду собак. В дом на гору привозилась ежемесячно — на семьдесят пять рублей полностью — гречневая каша, мешки от которой художник загрунтовывал под холсты для картин. Раза два в году все же кто-то таинственный покупал рыцарей Нагорного, — он отсылал их почтой в ящиках, и через почту же на все деньги выписывал красок. Дети росли разбойниками.

Единственный дом, где бывал Нагорный, помещался на Подоле: там жил второй в Камынске художник мещанин Полканов.

Сорок лет мещанин Полканов простоял за прилавком, на Подоле же, в своей собственной «Торговле» против кузницы, — продавал мыло, веревки, гвозди, свечи, а впоследствии, когда они появились, — стекла для ламп

и керосин. Были у него жена, дети, — померли. И с пятидесяти пяти лет, закрыв «Торговлю», схоронив последнего сына, в совершенном одиночестве, начал Полканов писать картины, разложив скопленные рубли и будущие проценты с них на те же двадцать пять лет, что и Иван Иванович Криворотов, с другим лишь расчетом на каждый месяц, ни больше ни меньше, предрешив, должно быть, помереть не раньше и не позже восьмидесяти лет и до этого ж возраста оставив в расходах рубрику «предвиденные расходы». Дни Полканова в светлом его домике рассчитывались как годы: столько-то на подметание полов, столько-то минут на топку печи, — а все рабочее время — картинам и подготовке материалов для картин. Он склеивал листы ученических тетрадей до толщины ватмана и в размер своей стены. Он рисовал исключительно акварелью и исключительно девушек, приличных, образованных, благородных, в кисейных платьях, с розанчиками. Он только копировал. Он оказался, должно быть, талантливым человеком. Не смущаясь тем, что «Три грации» с яблоком Париса написаны Тицианом, Полканов, никогда не видев красок Тициана и ничего не зная о Парисе, писал граций заново, писал больше года, выписывал не только каждую складку, но каждую петлю на ткани, — и ухитрялся создавать свое ощущение краски.

Два художника — один в широкополой шляпе, безусый и длиннобородый, другой в купеческом сюртучке, оплывший, зеленый, в зеленой щетине седины, — один окончательно обуглившийся от рыцарского творчества, другой в покойствии хитроумия — художники разговаривали об искусстве.

— Гениально! — кричал Нагорный. — Ренессанс!.. вы переписываете классиков наново, создавая новую краску...

Полканов посматривал хитроумно, и говорил хитро:

— Что такое есть красота? — красота есть девственность, и не голая, извините, как рисуете вы, а прикрытая скромность. Я вот в Бога веровать перестал, ни во что не верю, — а — рисую, вот, и молюсь сам, чему рисую, и осеняю даже себя крестным знаменем, когда касаюсь кисти...

— Гениально!.. — кричал Нагорный, — и верьте мне, придет час, когда нас откроют, как Рембрандта, когда к нам придут изо всех академий мира...

— Это мне ни к чему-с... — говорил Полканов, — что обо мне другие скажут, извините, мне начихать...

— Как!? Каак!? Король Ричард Второй... вы знаете историю Ричарда? ..

— И это опять же мне ни к чему-с...

— Но его крестовые походы!..

За окошками Полканова — на Подоле — проходил большак, мостом перебирался через речку, заплотиненную кошкинской мельницей. У моста располагались кузницы с коновязями, с навозом и с голубями. Большак полз в гору, в Кремль. Крайними на Откосе стояли дома князя Верейского и надворного советника Бабенина, друг против друга. В деревьях меж ними виднелась соборная колокольня. У самого собора, рядом с протоиереем отцом Иоанном, проживал жандармский ротмистр Цветков. Полканов смотрел на мир из-под горы, на гору ходил к одному-единственному человеку — и один-единственный человек, кроме Нагорного, спускался к Полканову на Подол, — жандармский ротмистр Цветков. В домике Полканова Цветков принимал секретных своих агентов, это было официальным поводом дружбы. По профессии Цветков жил уединенно — и еще более уединенно жил потому, что в молодости, надо полагать, хворал сифилисом. Тем не менее он славился по камынским холостякам громадным собранием порнографических картинок и гордился горничными, которые менялись у него каждые две недели, — и называл себя «канцеляристом», что значит в переводе с латинского — «любящий служанок». Полканов к Цветкову приходил, чтобы любоваться картинками. Цветков к Полканову — как-никак, в прихожей у Цветкова дежурил жандармский унтер, — приходил, чтоб в тишине полкановского дома и картин наслаждаться устройством так называемых афинских вечеров. В складчину — Полканов брал деньги по рубрике «предвиденные расходы» — Полканов и Цветков требовали себе проституток из публичного дома, тут же с Подола, «с бережка», — требовали, чтобы проститутки раздевались — все четверо пили коньяк, танцевали, — и называлось это у Цветкова — чертогоном.

Художник Нагорный был чужестранцем в Камынске, — но был там и настоящий иностранец, немец, германский подданный Карл Готфридович Шмуцокс, странной фамилии иностранец, ибо точный перевод на русский «Шмуцокс» — значит — «грязный бык», — в переводе на русский фамилия значила Грязнобыков. Жил герр Шмуцокс в особняке за кротегусами, где расположилась настоящая Германия, где по саду среди георгин бегали голые и свирепые доги, меж парников для салатов, в Камынске невиданных, — доги славились свирепостью, как тигры. Немец сторонился русских, русские сторонились немца. Была у немца под городом на Марфином Броде шелкоткацкая фабрика, оставшаяся от крепостной мануфактуры. Герр Карл Шмуцокс из дома своего за голохвостыми догами ездил на Марфин Брод для моциона верхом — на лошади, у которой подстрижены были челка, грива и хвост таким образом, что лошадь начинала походить одновременно на догов и на немца в куцем пиджачке, в крагах, в каскетке, со стеком. Ездил также герр Шмуцокс на Марфин Брод парою в дышлах, если ехала с ним прокатиться семья, жена и единственный сын Леопольд. Ездил же также иной раз и так, что мадам с сыном находились в коляске, а сам герр сопровождал коляску верхом на бесхвостом коне. Дорожки меж георгин во владениях Шмуцокса посыпались песком, и прохожие слышали удары деревянных шаров, это мать с сыном играли в крокет, — и слышались полеты деревянных снарядов, это отец для гимнастики сам с собою упражнялся на кегельбане. Герр Шмуцокс первый вступал в столовую к фриштику, одновременно появлялась жена из своей комнаты, — тогда на минуту входил сын, поцеловать руку папахен и мама, отец целовал сына в лоб, сын откланивался и уходил из столовой. На дубовом столе мама последний раз осматривала кипящий на древесном спирте кофейник, в сухарнице лежал поджаренный и теплый хлеб. Папахен клал себе в первую очередь кусок ветчины, обязательно с салом. С точностью можно было знать — «в этой свинской России» — ни сегодня, ни завтра никто не приедет, никто не позвонит в электрический звонок у парадного. Герр Шмуцокс отлично играл сам с собою в карамболь и в кегли. С женой он играл в шашки. Он, конечно, скучал, герр

Шмуцокс. Такие, как он, там и сям пребывали в Российской империи. Они ездили друг к другу — на неделю, не меньше. Когда к Шмуцоксу приезжали гости, — он блаженствовал. Мужчины чистили ружья и примеряли охотничьи костюмы, баварские шляпы с петушиным пером, — мужчины хотели походить на тех первобытных тевтонов, которые воевали Европу. Призывался Мишуха Усачев, и ему наказывалось — по сезону — приготовить шалаши на тетеревов и глухарей, найти лучшее болото с утками, обложить волчью стаю. Верхами, с перьями на шляпах тевтоны отправлялись охотиться. Дамы дома, переодеваясь трижды в день, томно подкрашивая глаза, с утра катались по городу и за городом на русских тройках, торжественно ждали мужей, придумывали развлеченья и кушанья к вечеру. Один раз обедали в саду, другой раз на Козьей горке. Обязательно устраивались костюмированные вечера, где все были в масках. И ездили, конечно, на Марфин Брод, на фабрику, где гости не ходили, конечно, по корпусам, но в конторе, как в лесной сторожке, пили прохладительные напитки, иной раз шампанское, и любовались кусками отличных шелков — «французскими» для продажи в России, «азиатскими» для экспорта в Европу. У фрау Шмуцокс в эти дни особенно глубоки были глаза. Герр был активен и весел.

Блаженных же в городе, кроме Мишухи Усачева, было еще двое. Один назывался — Пенсионер, а другой Тига-Гога. Пенсионер и был пенсионером, бывший чиновник, явно хворавший сифилисом, разбитый параличом до косноязычия, до невозможности найти в пенсионерском лице человеческого смысла. Скорченный, с мертвыми пальцами, он получал тридцать восемь рублей пенсии, громадные деньги по мещанскому быту, и переселялся из комнаты в комнату от одного до другого мещанского дома и от одного до другого скандала, когда нападал пенсионер на кого-нибудь из домовладелиц в поисках женской нежности. Тига-Гога от рождения был идиотом, волосатый полунемой, умевший только есть и бояться.

Рядом с Кошкиным под вывеской «Лужу-паяю» жил род слесарей и лудильщиков Шмелевых. Дед Артем Шмелев каждое воскресенье, возвращаясь из трактира на четвереньках, до дому добраться не мог и зано-

чевывал часто под окнами Криворотова иль Кошкина, шептал, засыпая, миролюбиво, нараспев:

— Погодите, люди божие, погодите!.. придет час гласа велия, вострубит труба иерихонская... погодите!..

Глава вторая

ГОРОД ОТЦОВ, ГОРОДА И ЗЕМЛИ

Город жил и не переделывался, надо полагать, века от семнадцатого. Московская улица, она же Большая, она же Базарная, одним концом упиралась в базарную площадь, а другим рассеивалась в безымянные переулочки, в пустыри, огороды, в кладбище. Базарная площадь, обставленная двухэтажными каменными домами, с торговым, он же гостиный, рядом от времен царя Алексея, когда торговцы назывались гостями, — с кабаком, с трактиром Козлова, со столетним конским навозом, — торговая площадь упиралась в ров и в мост через ров. За рвом на холме располагался Кремль, уже не существовавший, оставивший от себя трижды после пожаров перестроенный собор, «святой» колодец, бывшее крепостное водохранилище, да известняковые лысины крепостных стен по обрывам. Кремль обрывался откосом. Под Откосом помещался Подол, — старинное слово, оставшееся только в Киеве, хотя еще в восемнадцатом веке Подолом называлась, в частности, часть Московского Кремля, идущая от дворцов к Москвереке. На Подоле — огородики, садики, домики, кузницы, мельница, ямская слобода, публичное заведение. За Подолом, за Монастырской рощей — в широчайшем просторе лесов и полей, за лугами — деревни, села, помещичьи усадьбы, Верейское, Уваровка Над Подолом, в Кремле, в домах за колоннами и с мезонинами, проживало начальство, дворяне, располагались начальственные учреждения, — полицейское присутствие, суд, камеры земских начальников. Вокруг собора жили отец протоиерей, звонарь, причетник, дьякон. В Кремле было нешумно. Трижды в день, в утреннюю зорю, в полдень, в вечернюю зорю, с обеденным котелком в пасти ходил из Кремля от бурого с белыми колоннами дома до ка-

зарм караульной роты громадный сенбернар генерала Федотова, забирал в казармах солдатскую пищу и приносил ее генералу, — генерал окликал сенбернара из окошка *по-аглицки.*

Купцы жили предпочтительно вокруг Торговой площади.

Близь Торговой площади помещалась земская управа.

«Третий элемент», врачи, учителя, агрономы, статистики, жили по неурочным местам, при управе, при больницах и школах, при сельскохозяйственном складе.

Обыватель жил повсюду и, вообще говоря, не известно, чем проживал.

Боком к Кремлю и базару расположилась улица, идущая к станции и от станции, по которой раз в году проезжал в имение к себе царственный поэт великий князь Константин Романов, при проездах его купеческие приказчики бросали в небо шапки. Боком к этой улице прилегал бульвар, никем не посещаемый. Напротив бульвара располагался громадный желтый дом, разделенный надвое, на государственное казначейство и на государеву тюрьму. Упиралась улица в мост, за которым находилось сельцо Чертаново, Казачья тож. Сбоку у моста, на городской стороне у оврага находился старый соляной амбар. На этой улице располагался Дворянский Клуб. Жили на этой улице и домовладельцы.

...И у этой улицы, и у всего города был обычай — чаще, чем к Богу по церквам, чаще, чем в трактир Козлова для собеседований — различные городские сословия ходили в Кремль на Откос. Бюрократы и интеллигенты, прогуливаясь и раскланиваясь почтительно, смотрели на Подол, за Подол, в поля, в луга, в просторы, в пространства, в небо, — особенно веснами в разливы рек и по осеням, когда в небе кричали журавли, летевшие на юг к синему морю. Артем Шмелев любил весной, по первой травке, выпивать на Откосе. Молодежь и любовники назначали на Откосе свидания. Чиновники с Откоса уходили в трактир Козлова, выпить по полбутылке с «приличной» закуской. Обрыв уходил к закату, к западу. Иван Иванович Криворотов примолкал, глядя в пространства, в небо, в то единственное просторное, что было в его жизни, — так же, по тем же причинам, должно быть, по коим в классической русской

литературе описывалась природа, как отрыв от действительности, уход в раздумье, в одиночество, в простор... Обыватель после Откоса в трактирах заказывал пару чая, в постные дни с постным сахаром, пил чай, собеседовал, ощущал общество, социальную значимость и соподчиненность человека, — узнавал события, спорил, обсуждал, создавал суждения.

Генерал Федотов дважды в день выходил на Откос для прогулки. Под Откосом, за Подолом жили крестьяне, — «мужики», как именовал их Федотов. Федотов много командовал ротами, — и генералу «тяглый русский народ», «мужик» казался на одно лицо, бородатый, как при царе Алексее, в полушубках, шапках и валенках алексеевских времен. Это было неверным представлением, потому что каждый крестьянин во всех этих деревнях был так же отличим от другого, как художник Нагорный от генерала Федотова: в отличии этом, подобно тому, как генерал Федотов и художник Нагорный одинаково ели гречневую кашу, один для здоровья, для солдатской выправки и для наблюдения за солдатскою пищею, а другой по страсти к рыцарям, доводящей до нищеты, — в парадокс к каше «мужики» пахали землю трехпольем, недоедали, кустарничали испоконными промыслами, скорняжили, гончарничали, лычничали на лапти, плели для господ корзиночки...

Таких городов на Руси, как Камынск, существовало до тысячи, от Симбирска, родины Ленина, до Путивля, города первой русской Крестьянской войны, — и до сотни тысяч лежали вокруг деревни российской земли.

И пребывала Москва, где про Арбат, про Тверскую, Мясницкую говорили, что они *улицы*, а переулки вокруг них называли *задами*, — и давали адреса —

«на Арбате, в приход Успенья-на-Могильцах, третий дом от угла, там спросить» — —

«на Мясницкой, позадь Гребневской Божей Матери в переулке, так спросить» — —

Тогда впервые поехали по Москве двухэтажные конки, таскаемые лошадьми. Вошел уже в обиход для освещения в Москве керосин — и первые поехали к Императорским Театрам и к Аглицкому Клубу бочки с осветительным «газом». Каждый июнь — сенокосное время — градоначальник издавал приказ дворникам о

выщипывании травы с московских переулков. Тверская, Кузнецкий мост, Белый город были каменными, но *зады*, как при Алексее, оставались деревянными, изредка раздвигаясь помещичьими особняками, похожими на сельские усадьбы. При царе Алексее меха были, как известно, разновидностью русской денежной системы, — «сорок соболей», — по традиции от Алексея от городских усадеб к вокзалам ехали медвежьи дохи, на Кузнецкий мост и на Тверскую в Аглицкий Клуб ехали бобры мужского пола, и горностаи, и соболя женских ротонд. Эти никак не были, подобно «мужикам», на одно лицо, они носили бобров в почести, — и тем не менее они не больше разнились друг от друга, чем те же Нагорный и Федотов, хотя в Аглицком Клубе они ели остендских устриц, пате фуа гра, а у Доциара на Кузнецком покупали настоящих рыцарей, не похожих ни на рыцаря-Федотова, ни на тех, что писал Нагорный. Во всяком случае они больше напоминали друг друга, чем Иван Нефедов Евграфа Карповича Соскова.

И вторая была столица — имперская — Санкт-Петербург, блестящий и твердый, как гвардейский палаш. Там жили император, немецкие банкиры, боязнь Англии, начало дружбы с Францией, чиновники и гвардия. Город строился империей — из гранита, но на болотах. Империей построилась первая железная дорога. От Санкт-Петербурга по империи пошли железные пути на Москву, на Украину, на Урал, — к новым, непохожим на Камынск, городам и местам оседлости — в Криворожье, к Солянску, к Екатеринославу на Украине, на Урале к Екатеринбургским заводам. Уральские заводы были все на одно лицо: горы, леса, река, лощина, — плотина в лощине, превратившая реку в озеро, — под плотиной завод, — на косогорах вокруг плотины избы рабочих, упершиеся в лес и в горы. Украинские заводы упирались в небо вышками шахт и доменными заревами...

Из Аглицкого Клуба в Москве бобрам бесспорно казалось, что рабочие, мол, уж конечно все на одно лицо, — эти, мол, гольтепа бездомная и бесштанная, не справившаяся со своим домом и землей, бросившая свои «души» наделов, побежавшая куда глаза глядят от рода и племени, как бегали в старину к разбойникам бунтовщики, безженные, бездетные, а если уж же-

натые, то обязательно на потаскушках, таких же бездомных, как мужья, — эти — «на одно лицо»!

Земли Российской империи лежали широко. Рельсы Российской империи уперлись в Желтое море, в Китай. Когда рельсы дошли до Порт-Артура, вдруг в Южно-Русской, как называлась Украинская, и в Уральской в русской металлургии исчезли заказы. Российский текстильщик тогда ж установил, что «деревня» текстиля не покупает. Фабрикант и заводчик решили, что виноват рабочий, все тот же российский «мужик», толпами бежавший из деревень, готовый работать за картошку и хлеб.

В Санкт-Петербурге, в столице империи, купцы именовались не только Синебрюховыми, но предпочтительно — Айваз, Розенкранц, Сан-Галли, Нобель, Чешер, Крук, Кольбе, Парвиайнен. От этих блестящих и нерусских имен рельсами шел Санкт-Петербург по империи — до Сан-Донато, Демидов тож, на Урале, до Могучих на Севере, до Витте, тоже купец, на Дальнем Востоке... И Дмитрий Широких, двоюродный брат Климентия Обухова, запомнил с детства, как пороли отца.

Это было на Украине, на заводе и на рудниках маркиза Сан-Донато, граф Демидов тож, — и это было так же примерно, как с полоцкою артелью на строительстве Николаевской железной дороги.

Смена поднялась из шахты, и вторая смена в шахту не полезла, до предельной ясности поняв, что дальше так жить невозможно. И обе смены — а это были все рабочие, ибо каждая смена работала под землей по двенадцать часов — пошли к конторе. В тот же час к конторе на кошеве — было это в сорокаградусный мороз, подкатил земский начальник Машкевич с приставом Левкоевым.

— Я вам царь, бог и отец! — крикнул земский начальник Машкевич.

— Молчать! осади! — крикнул пристав Левкоев, ткнул левым кулаком первого попавшегося рабочего в грудь, а второго попавшегося правым кулаком ударил по лицу.

Люди пришли мирно разговаривать. Пристав начал «разговаривать» кулаком. И неизвестно, как, чьими руками, сотнею рук одновременно — стащены были с

кошевы земский начальник и пристав, биты сотнями рук и сапог, — до тех пор, пока пристав и земский не поползли на четвереньках, кланяясь в ноги толпе, ободранные, плакавшие и умолявшие рабочих, —

— Простите, Христа ради, люди добрые...

Их простили.

Заводская контора была пуста.

Волостное правление пустовало.

Кто-то пасхальным благовестом ударил в церковный колокол.

Рудник и завод, как положено, расположился в лощине меж гор, под плотиною и под озером за плотиной, рабочий поселок полз к соснам и лиственницам, к каменным глыбам, где из-под пустых пород выпирали железняки, мартиты и колчеданы.

Два дня поселок пробыл без властей, которые исчезли. Два дня толпами и в празднике рабочие ходили по поселку и ждали, как посулили земский и пристав, прибавки к заработку гривенника ежедневно, отмены штрафов, а самое главное ежемесячного жалованья, ибо жалованья рабочие не получали, получая за кубы руды, — жалованья на тот случай, когда рабочие работали впустую, откатывая пустые породы, докапываясь до руды.

И на третий день на горах над поселком появились конные солдаты, медленно спускались с гор и вскачь промчали к конторе. Сразу объявились все рудничные и заводские власти. Уездный исправник, примчавший вместе с солдатами, сказал в конторе:

— Придется пороть!

И через четверть часа в рабочем поселке знали — будет порка.

Отец, как и все, был у конторы, когда били земского, и понимал, что земского били справедливо, как и сам земский с тем согласился, валяясь в ногах у рабочих, прося прощения и обещая исходатайствовать для рабочих — и гривенник в сутки, и расценку за пустую породу. Два дня отец был весел и счастлив, два дня вместе со всеми ходил по улице, — и Митьша бегал за ним, — когда все были друзьями и братьями, и жизнь была полной и радостной... В избу постучали еще до рассвета, сказали: солдаты слезли со станции, целый поезд

приехал с солдатами. Утром сказали, что солдаты спрятались на Шайтанской горе. Затем солдаты промчали по пустым улицам.

В горнице отец сидел у стола, — у себя дома, как гость. Пришла соседка, — задами, перебралась через забор, — сказала:

— Будут пороть.

Соседка ушла. Отец не молвил ни слова. Мать всхлипнула громко.

— Цыц! ты! — цыкнул отец и сразу ж добавил беззлобно и ласково, — Мань, дай водички, попить...

Когда мать давала кружку, отец взял мамину руку, подержал в своей руке удивленно, как незнакомый предмет, и положил мамину руку себе на голову. Мать больше не плакала. Отец сидел у стола.

И пришел — в башлыке, заиндевевший от мороза, живший на углу — полицейский Малафеев, не поздоровался, содрал сосульки с усов, вытер руку о полу шинели, вынул бумагу из-за рукавного обшлага, развернул, положил на стол, поводил пальцем по строчкам, нашел фамилию отца, по неграмотности отца поставил против фамилии красную галочку красным карандашом, — сказал, ни к кому не обращаясь:

— Широких Алексей. На двор пожарной команды.

Полицейский ушел, не попрощавшись.

Отец просидел минут десять неподвижно. Отец поднялся из-за стола, снял с крюка куртку и шапку, оделся, сказал:

— Я, значит, пошел, Манюш...

Мать ничего не ответила, отвернулась к печке. Отец улыбнулся еще раз, совсем удивленно, и вышел из каморки. Мать не плакала.

Опять пришла соседка, теперь уже через калитку, сказала:

— Порют под пожарной каланчой, начали, и смотреть никому не запрещено, порют у всех на глазах, разбойники, стыда не имеют.

Соседка ушла.

Митьша сказал матери, улыбнувшись точь-в-точь как отец, и по-отцовски:

— Я пойду, маманька...

Мать ничего не ответила.

На улице скрипел мороз и небо было бездонным. Отец — это высший закон, справедливость — и высшая

любовь, конечно, отец — это судьба: этих слов не было у Митьши, но ощущения были. На пожарном дворе за открытыми воротами расставили скамейки. Командовали приезжий исправник и местные пристава, пороли жандармы — вицами, запасные вицы лежали на розвальнях посреди двора. У приставов в руках были списки рабочих, свободной рукой пристава грели уши и, когда освобождалась очередная скамейка, выкрикивали по списку:

— Бурков Николай! Двойников Василий!

Люди подходили к скамейкам, бросали на снег свои куртки, у каждого дрожали руки, когда он развязывал гашник, медлил, — и каждому спустить штаны помогали жандармы двойным ударом, — один жандарм бил человека в скулу, а второй, в тот момент, когда человек поднимал руки, чтоб защитить лицо, сзади сдергивал штаны до колен. Люди сами ложились на скамейки, лицом вниз. Один из жандармов становился у головы человека, двое по бокам. Пристав повторял еще раз:

— Бурков Николай! — восемьдесят пять!

Жандармы пороли, — хак, раз! хак, два! — хакая, как мясники, когда рубят мясо. Люди кричали и выли при первых ударах, затем затихали, как мертвые. Иных сталкивали со скамейки, отсчитав положенные им удары. Иные, упав на снег, лежали неподвижно, затем поднимались на четвереньки, вставали на ноги, подтягивали штаны, шли с опущенными глазами к воротам, домой, забывая на снегу свои куртки. «Бабы» — сестры, жены, соседки — подбирали тогда куртки и за воротами помогали одеться в рукава, чтоб не замерзнуть человеку.

И пристав крикнул:

— Широких Алексей!..

У пристава изо рта шел пар, пристав приложил руку в перчатке к обмороженному уху. Над приставом, над каланчой синело отчаянное небо...

Митьша пришел домой раньше отца. Ему стыдно было попасться отцу на глаза, он понимал, — отцу стыдно было б знать, что сын был на порке. Митьша шел домой тяжелыми шагами, теми, которыми возвращался отец с работы. Митьша знал, — все, что угодно, — лечь вместо отца на скамейку, пойти вместо отца в шахту, подставить руку под кран кипящего самовара, — он сделал бы все, чтоб отцу было легче...

Дома мать уже знала от опытных и бывалых соседей, что надо делать. Все тряпки, все одеяла, все перины и подушки она стащила на постель и взбила их, она заварила чай из сушеной малины и примочку из шалфея, вынутых со дна сундука, она сбегала в шинок, где отдала в заклад за бутылку водки шаль, хранившуюся у нее еще от венчания.

Отец вошел в каморку с пустыми и опущенными глазами. Он улыбнулся виновато и удивленно. Он стоял, чуть расставив ноги, около притолоки. Он не мог двигаться. Он упал на четвереньки. Заплакали младшие. Мать и сын понесли отца на кровать. Они раздели его. Мать держала голову отца, сын совал в рот отцу стучащий стакан водки. Что есть мочи сын напрягал свои мышцы, — это было единственное, чем мог он помочь.

За Уралом железная дорога шла до Порт-Артура. Отец Дмитрия работал на рудниках маркиза Сан-Донато. В Санкт-Петербурге проживали Сан-Галли, Айваз, Парвиайнен. Железнодорожный санкт-петербургский вокзал упирался в Невскую перспективу. Мать Дмитрия Широких была молчаливой. У Айваза, у Розенкранца, кроме мужчин, работали женщины. Когда они собирались поступать на работу, они приходили к заводским воротам и толпами дожидались мастера, мастер командовал, —

— Ну, куцая команда, стройся! —

проходил по рядам и выбирал пальцем наиздоровых, а наикрасивым говорил шепотком в сторонке:

— Зайдешь ко мне вечером, захвати полбутылки приличной, — там обсудим про работку!..

И женщины — ходили к мастеру, если заболевал муж, если болели дети, когда нечего было есть, — шли от детей с какой-нибудь Спицыной дачи, где дети оставались одни на весь рабочий день, запертые, мочились на полу и ползали по своим лужам, где на камору жило человек по двадцать пять, взрослых и детей, много семейств, иной раз с подвесными нарами, как в товарных вагонах на «восемь лошадей — сорок человек», — на каждом товарном вагоне был такой штамп...

Все это было примерно так же, как с полоцкою артелью на строительстве первой большой русской железной дороги, соединявшей столицы. Строилась дорога,

как и должна была строиться от Санкт-Петербурга, — с болот, давно уже забитых человеческими костями. Император Николай ногтем по карте провел прямую линию от Петербурга в Москву, — это был «рабочий проект», трасса, и на линию ногтя посланы были десятки тысяч людей, которые, естественно, жили под дождем и в болотах, в лучшем случае копали землю лопатами, а то и сошниками, надетыми на палки, — в лучшем случае возили землю в грабарках и тачками, а то таскали в подолах рубах, — в лучшем случае были сыты хлебом, а то и голодали. Естественно, люди охранялись жандармами и иногда бунтовали. Жандармский начальник барон Тизенгаузен писал однажды:

> «...пятого июня в 10 часов утра сбежали с работы рабочие Витебской губернии Полоцкого уезда в числе 80 человек из-за того, что подрядчик Кузьмин не выдавал им заработную плату. Поручик корпуса жандармов Анисимов с унтер-офицером Сименцовым отправились за ними в погоню и настигли их в 15 верстах, где они расположились отдыхать. Никакие угрозы и обещания не помогли вернуть рабочих, — вооруженные дубинами и палками, с криками «ура» они двинулись дальше, но принуждены были, преследуемые жандармами, свернуть в болото...»

Николаевскую дорогу строили — уездами, со всех уездов сгоняя «людишек», — полоцкие, убежав со строительства по единственной причине отчаянной голодухи, все до одного были переловлены жандармами, барон Тизенгаузен рассылал эстафеты по всем волостям, где проходила бунтовщицкая артель, за людьми охотились, как за зайцами, ловили пачками и в одиночку, всех вернули на строительство, и все они перемерли на строительстве.

За мостом у соляного амбара, отделявшим Камынск от Чертанова, в сельце Чертанове жили крестьяне, жил портной Фрей, жила семья железнодорожного рабочего Обухова, а дальше за околицей пролегали железнодорожные рельсы, катившие поезда во все пространства Российской империи. Железнодорожный рабочий Артем Обухов был двоюродным братом Алексея Широких, занесенный в Камынск по железной

дороге. В казармах, построенных железной дорогой, где жили Обуховы, в пятистенной избе, то есть в избе, разделенной надвое, — во второй половине жили сезонные рабочие, предпочтительно женщины, приезжавшие из голодных губерний артелями, зимою разметали снег, летом пололи траву под шпалами и укладывали камни. Это были молодые и здоровые женщины, главным образом «девки», как говорилось тогда, вдовы и солдатки, согнанные с деревень нуждою. Они слыли худою славою. Получив работу, они ели досыта хлеб и картошку. Они обладали всеми естественными человеческими инстинктами. Сплошь они были безграмотны. Здоровые, молодые и сытые, оторванные от своих деревень и от быта, — грязные, запыленные иль промокшие, потные, — баня была при станции Камынск для женщин в две недели раз, — они задевали мужчин, пели неприличные частушки, приманивая мужчин, а ночами все сразу выли иной раз отчаянными слезами бессмыслицы.

В Чертанове жили крестьяне — и жили подобно крестьянам верейковским и уваровским, о коих писал земский начальник Разбойщин. И те и другие из-под горы знали, что на горе в городе живут разных сортов и отличий, но все вместе взятые — баре, господа, владетели и владельцы, — а Климентий Обухов, кроме того, знал еще слово от отца про господ, запретное слово — эксплуататоры. Любви иль почтения у чертановцев ко всем этим барам, естественно, не было — даже к доктору Ивану Ивановичу Криворотову, который добивался этой любви, попечительствуя в чертановской школе, привозя волшебный фонарь, рассказывая научные истории о жизни и землях разных людей, кроме русских. Сердечный вопрос задавали Ивану Ивановичу раз и другой «мужики»:

— Как, мол, насчет землицы? — ведь вон наши луга отъяты у нас городскими ассенизационными полями, под самые под наши избы дерьмо из города возят, нюхай городскую вонищу, а на луга ездий в объезд от собак, одичали собаки на свалке, на людей бросаются.. нам бы вспахать эти поля, огород бы устроить, весь город накормили бы капустой с огурцами... — как, мол, насчет этих самых ассенизационных полей?..

На это доктор Иван Иванович отмалчивался, разводил руками, говорил негромко:

— Это дело не моей компетенции, господа! — называл Иван Иванович «мужиков» «господами» и добавлял еще тише, как заговорщик: — Если хотите, чтобы я был попечителем вашей школы, устраивал завтраки, следил за преподаванием и учебниками, — вопросов таких мне не задавайте, я не компетентен, господа!..

А что такое «мужику» компетенция, раз это слово не русское? — и что «мужику» раз в неделю туманные картины и завтрак детишкам, когда нету земли, а стало быть, нечего жрать, надо ловчиться только к тому, чтобы с голоду не подохнуть? — И «мужики» рассуждали:

— Уж не то, что Разбойщин, который ни в глаза не глядит, ни кланяется, или Аксаков, который и на поклоны отвечает, и в глаза заглядывает, и за девками в овинах по ночам таскается, а на деле ничего не делает, — эти оба приставлены «мужика» вязать по рукам и ногам, — а и доктор Иван Иванович далеко от них не ушел, хоть и лечил крестьянские чирьи. Ездил Иван Иванович в Чертаново по собственному своему удовольствию и для собственной выгоды, чертановцам не «компетентной».

Ванятка Нефедов, Васятка Барсуков, Егорка Царев, — равно, как и Климка Обухов, — знали: утро начиналось еще до зари, когда просыпалась мать, затапливала печь и варила — в лучшем случае картошку, — а то просто воду; детишки гомошились на печи иль на полатях, в отчаянных блохах и в тесноте, причем спали в том же, в чем бегали, на голом кирпиче иль на голых досках, все вместе вповалку; скатившись с полатей, детишки бежали на зады иль в коровник оправиться, — отхожих мест при крестьянских избах во всем уезде не было ни одного; на крылечке детишки плескали себе в лица ледяную воду, предварительно набрав ее в рот и пуская затем изо рта на руки; ели в избе — в лучшем случае — картошку с солью, обыкновенно — мурцовку, то есть немного картошки, немного хлеба, немного лука и соленых огурцов, растертых в воде, — и пили «чай», то есть шалфей или липовый цвет, заваренный на кипятке. В избах по зимам, кроме людей, жили под печкой и в закуте за печкой — куры, теленок, поросята, ягнята, в моче и вони-

ще. В избах всегда сидели лишние рты над мурцовкой. И было известно:

— и руки есть, да девать их некуда, и узнать неоткуда, куда их девать с умом, — и есть руки, и есть ноги, и есть голова, а связаны «мужики» по рукам и ногам, а голове положено лучше не думать, а глазам не видать, потому как — податься некуда! — ну, на самом деле, хоть бы эти самые ассенизационные поля вскопать, какой огород получился бы, не только Чертаново, но и город сыт был бы, — а дерьмо городское, так его ж рассортировать надо, его ж развезли б задаром, одно на поля, а мусор — в Филимонов овраг, все равно размывает овраг-то!..

Ванятка Нефедов запомнил первым своим детством, как помирал дед, отец матери, и как рассекли ему, Ванятке, губу, оставив шрам на всю жизнь. У деда было две дочери и не было сыновей, — Варвара, мать Ванятки, и тетка Дарья. Выданы Варвара и Дарья были у себя ж в Чертанове и жили через дом. Дед, давно уже тому назад определив дочерей замуж, жить остался вдвоем со старухою в своем доме на краю к железной дороге. Дочери ходили к отцу редко, только в праздники. Еще реже ходили внуки. Еще реже приходил дед к дочерям. Затем померла бабушка, жена деда Егора, — и сразу в Чертанове стало известно: дед Егор собирается помирать вслед старухе.

У деда оставались — изба, мерин со сбруей, корова с телком, сундук добра, обужа-одежа и так кое-что по хозяйству, дед был богатый. И мать в воскресенье пошла за дедушкой Егорушкой, звать его вместе обедать.

Дед пришел — летом в валенках и в овчине, — шамкал, ел лепешки на кислом молоке, много крестился. После обеда деда положили спать против завалинки на травке, на солнышке, прикрыли его же тулупом. Отец и мать были очень приветливы и детям велели — кланяться дедушке, избави Бог, попрекнуть куском. Ванятка водил деда за зады до ветра, когда дед выспался, дед опирался на Ваняткино плечо.

В будние дни, когда все работали, мать наказывала детишкам — надо-не надо забежать к дедушке, навестить, спросить, не надо ли чего дедушке, поклониться.

А потом к матери пришла тетка Дарья с мужем, — и пришли они неспроста, — тетка Дарья шаль накинула, дядя Назар надел новый картуз. Мать самовар взду-

ла. затормошилась, точно тетка Дарья с мужем пришли издалека, а не из-за дому. Ванятка летал за отцом в Филимонов овраг, отец прутья для корзин резал. Отец вернулся домой на рысях, тоже нарядился, одел пиджак, выменянный в городе на корзины. В избе нависло — как перед грозой.

Сели чай пить. Мать дала каждому по свежему огурцу с солью.

Ванятка убрался на печь.

— Папаша-то помирать собираются, — сказала тетка Дарья и перекрестилась.

Все перекрестились.

— Царствие небесное, — сказал дядя Назар.

— Может еще поживет, — сказала мать.

— Где уж!.. — сказала тетка Дарья. — Ты вон, соседи сказывают, обедать его уж призывала, лепешки уж пекла, спал он у тебя...

— Ну-к, что ж, — сказала мать, — не грех, чай, родителя попотчевать.

— Это я к слову, — сказала тетка Дарья, — меня-то не кликнула к себе.

— А чтой-то я видела, будто он и к тебе проходил, — ответила мать.

Помолчали.

Дядя Назар погладил бороду для солидности, крякнул для храбрости, заговорил рассудительно:

— Куда ни кинь, а время папаше помирать, и нам, его сродственникам, время об этом подумать с умом, кому какое добро от него пойдет. Ты вот его к себе зазывала, ну, и моя Дарья не отстает от тебя. А я думаю, раз мы все ему сродственники и других сродственников нет, то надо подобру-поздорову, без обмана... Сказывают соседи, будто ты его совсем к себе сманиваешь, будто жить, — стало быть, он помрет, все добро тебе... А это не по-сродственному.

В избе нависло — вот-вот гром грянет. Глаза у всех стали, как иглы.

Помолчали.

— А ты как думаешь, Назар Парфеныч? — спросил отец и опустил руки под стол.

— Я, Иван Лукьянович, думаю — надо подобру-поздорову, по-сродственному, — по душам. Душ у меня сам-семеро, а у тебя сам-шестеро, стало быть, детей у меня пятеро, а у тебя четверо... Вот избу,

стало быть, продать Силковым, они делиться собираются, а деньги...

— Неправильно! — крикнула мать, — я вон на четвертом месяце хожу, и, может, у меня еще семеро детей будет, а папаша один раз помирает!..

— Ну, вот, стало быть, и обсудили одну статью, — сказал дядя Назар, — как у папаши две дочери и они главные наследницы, то и продать дом Силковым, они делиться собираются, а деньги разделить пополам... Теперь другая статья — скотина и мерин. Ты, Иван Лукьянович, корзиночками занимаешься, корзиночки плетешь на продажу, и у тебя лошади нет и не было испокон веков. А я живу по хозяйству, моя кобылка совсем никуда не годится, совсем ног не таскает... А у тебя лошади нет и испокон веков не было, — и думаю я, как по-божьи, лошадь тебе ни к чему, ты корзиночки плетешь... Отдай ты мне, как по-божьи, папашиного меринка, а себе бери корову...

Зрачки у дяди Назара расплылись, как у кошек в темноте, в мечтательности. Зрачки у отца еще больше стали походить на иглы.

И гроза разразилась.

— Эдак ты, как по-божьи, придумал?.. — в тишине произнес отец, — жил я испокон веков без лошади, и хочешь ты отнять у меня последнюю мою мечту. Жулик ты, Назар Парфеныч, среди бела дня и больше ничего, — у тебя кобыла восьми лет, а тебе пару лошадей захотелось... Жулик ты среди бела дня и грабитель, был ты и есть испокон веков лесной вор!..

Разговора у родственников подобру-поздорову не вышло, проводили отец и мать тетку Дарью и дядю Назара матерными словами не подобру и не поздорову. Дядя Назар и тетка Дарья, ноги унося, словами в долгу не оставались.

Дня три после этого — на задах через соседский огород — поливали из своих огородов две родные сестры самыми последними словами и тормошили дедушку ежеминутными посылками детишек — не надо ль, мол, чего дедушке, не придет ли он повечерять?

Через две недели дедушка умер у себя в избе. Как помирал дед, этого никто не видел. Помер он, надо полагать, ночью, нашли его мертвым у порога на полу, —

шел, надо полагать, от лавки, на которой спал, в сенца к ведерке, чтобы попить, и не дошел до ведерка.

Гроб, чистые порты и рубаха у деда припасены были своевременно.

Тетка Дарья и мать, надев праздничные юбки и кофты, хоть и босые, прошли в избу дедушки, сняли новые юбки, засучили рукава у праздничных кофт, подоткнули выше колен исподние рубахи, — сходили к колодцу за водой, затопили печь, согрели воду, — обмывали дедушку, нарядили в ненадеванные порты и рубаху, положили в гроб, гроб поставили на стол, — мылись затем сами, причесывались и опять надели праздничные юбки. Выли тетка Дарья и мать все время так громко, что слышны были за много домов, и женщины, проходившие мимо дедушкиного дома, тоже выли, плача, а мужчины снимали картузы и крестились на дом. Мать и тетка Дарья мирны были друг ко другу, не ругались, не пеняли друг друга и даже несколько раз — когда поднимали дедушку с пола на лавку и раздевали его, когда сами разделись для работы, когда, обрядив, положили дедушку на стол — без воя уже, плача страшными слезами, падали сестры в объятия друг другу, обнимались, клали голову на плечи друг к другу и плакали.

Хоронить повезли деда на собственном его мерине.

Шагом за мерином шли все родственники и свойственники, мужчины без шапок, женщины с воем — до церкви, внесли гроб в церковь, там недолго молились. Звонарь панихидно — снизу, не поднимаясь на колокольню, — ударил в колокол. Вынесли гроб опять на телегу, под пение «вечной памяти». Поп и дьячок распрощались с гробом у паперти. Пошли к кладбищу — через Филимонов овраг, в обход от городских свалок. Гроб опустили в могилу, пели своими силами «вечную память», плакали, женщины выли, закопали могилу.

И на обратный путь — зловеще — сели на грядки телеги с одной стороны дядя Назар с теткой Дарьей, с другой — мать и отец. Ванятка примостился меж ними, чтоб прокатиться в торжественности.

И в деревне уже, как раз против дома, отделявшего дом дяди Назара от дома Ванятки, отец повернул мерина вправо к своему дому, — дядя Назар схватил вожжи и дернул мерина влево к своему дому. Отец обутой ногой толкнул дядю Назара в спину, железным каблу-

ком в позвонок. Дядя Назар упал с телеги. Мать и тетка Дарья вцепились в волосы друг другу, каждая стараясь усидеть на телеге. Против дома, разделявшего сестер, сложены были, запасенные с зимы, дрова. Дядя Назар схватил два полена и бросился с ними на отца. Полено попало в лицо Ванятке. Ванятка вспомнил себя в больнице против доктора Ивана Ивановича, когда фельдшер держал Ванятку за голову, а доктор Иван Иванович — кривою иглой и шелковой ниткой — шил Ваняткину губу... Мерин остался за родителями по предписанию волостного старшины.

Доктор Иван Иванович был попечителем чертановской школы. Сельцо Чертаново, Казачья тож, входило в Верейковскую волость, волостным старшиной «ходил» одиннадцатый год бессменно друг подрядчика Кошкина Евграф Карпович Сосков, трактирщик и — «арендатор». И Назар Парфентьевич, и Иван Лукьянович раздругой сердечно спрашивали доктора Ивана Ивановича, — как, мол, насчет ассенизационных полей? — и доктор Иван Иванович отвечал тихим голосом, что в подобных вопросах он не компетентен. Школа подчинялась земству, председателю Аксакову, — но начальством над школой оказывались все, кому не лень, и князь Верейский, и земский Разбойщин, и волостной старшина Евграф Карпович. Учителями в школе служили — Григорий Васильевич Соснин да Надежда Андреевна Горцева.

Григорий Васильевич происходил от кантониста-отца, из военно-крепостных, сам «мужик», — «мужика» знал, как себя, одевался по-крестьянски, говорил с новогородским акцентом, получал земельный надел при чертановском сельском обществе, имел лошадь и корову, сам пахал землю, помалкивал, читал множество книг, — всего в жизни добивался собственным своим горбом. Евграф Карпович Сосков обходил Соснина и относился к нему, как к «мужику».

Надежда Андреевна Горцева окончила гимназию и Лесгафтские женские курсы, — ей в столицах бы жить. И в первое воскресенье ее приезда под окошком собрались «мужики», одни сели на траву, другие стояли. Десяцкий постучал в окошко, попросил «учительшу» выглянуть — и отошел от окошка. Надежда Андреевна вышла к собравшимся.

— С приездом поздравить, — сказал десяцкий, — вашу милость...

«Мужики» сняли шапки, переминались.

Надежда Андреевна поблагодарила собравшихся.

— То есть, значит, с приездом, значит, вас, — сказал десяцкий и ухмыльнулся, — то есть, значит, поздравить. Нас староста назначил — мост чинить, доски перебрать, окопать, где надо, прочистить проток. Может, вам придется по мосту пройтись, а мы вам дровец привезем, снег почистим, бабы — понадобится — на огороде помогут... Гвозди нам для моста необходимы... Сколько с вашей милости будет, на том и поздравляем, так что беспокойства от вас не требуется.

Надежда Андреевна денег на мост дала.

Запоздно тот вечер, до вторых петухов горланили у моста пьяные голоса — «последний нонешний денечек». А наутро пришли другие «мужики», еще больше народа, так же сидели на травке, так же вызывали Надежду Андреевну.

— Стало быть, поздравить с приездом вашу милость... Общество порешило — ведро...

— Какое ведро? — спросила Надежда Андреевна.

— Известно, стало быть, царской, для поздравления. Стало быть, выпить за ваше здоровье. Вчерась вы давали на четверть, а нас на мосту не было...

— Да я на гвозди давала!

— Это так говорится... И что б, стало быть, всему обществу поровну, как по-мирскому, выходит с вас на ведро. А сбегать в казенку, вот у нас Назар Парфеныч всегда бегает, он востроногий... Выпить, стало быть, за ваше здоровье с приездом.

Денег на водку Надежда Андреевна — не дала.

Через день приехал волостной старшина, вкатил во двор, привязал лошадь, окликнул из коридора:

— Есть кто крещеные дома?!

Поздоровался за руку, отрекомендовался:

— Сосков, Евграф Карпович, местный властитель, хе-хе... Завернул познакомиться, сказывают, пожаловали к нам из столицы. Что ж, будем знакомы. Слыхали, слыхали. Мужички очень довольны, — почитай, всей деревней целую ночь колобродили, а которые не доспели — в обиде, что мимо рта их обнесли...

— Да я и не давала на водку...

— Думаю, больше можете пока и не давать, а то перекалечатся, их надо в строгости держать... а там, когда придется, на сенокос, например, вы уж затребуйте, чтоб без обмана поровну делили.

— Да я же на гвозди, — сказала Надежда Андреевна.

— Ну какие там гвозди, — явное дело на водку. Дай миру денег, — все стащит в казенку... Я лично казенную не обожаю, предпочитаю — рябиновую...

И заезжал затем председатель земской управы Павел Павлович Аксаков. Этот не просил водки. Этот шутил и разговаривал о природе, о прекрасных пейзажах в уезде, предлагал не откладывая съездить с ним и посмотреть на эти пейзажи.

А после Соскова и Аксакова прибегал явно встревоженный староста, благодарил за водку и утверждал, что лучше бы ее и не было, — расспрашивал со страхом, о чем говорили Сосков и Аксаков, — и рассказывал, как полюбилась Надежда Андреевна миру, как вызывали его, старосту, в волость к Соскову, а оттуда в город к Разбойщину, наказывали глядеть в оба и доносить в случае чего, — и вот он, староста, и пришел потому, что очень она полюбилась миру, Надежда Андреевна, и уж в случае чего сама б сообщала старосте об этих случаях, чтобы староста знал, о чем доносить...

Вечером после старосты постучался к Надежде Андреевне учитель Григорий Васильевич Соснин, сел у окошка, смотрел за окошко, говорил, не глядя на Надежду Андреевну:

— Вам бы в столице жить, красоваться бы... А вы приехали учительствовать. Я тоже учитель, но сам я крестьянин, Надежда Андреевна, и знаю, о чем говорю, а живу здесь так же, как вы, не только из-за куска хлеба... Если хотите жить и учительствовать, давать крестьянству знание и быть полезной, — запомните: ничего никогда не давайте крестьянам. Не потому, что это благотворительность, и не потому, что от ваших гвоздей ночью мужья били жен, — а потому, что вас же за ваши подачки никто не станет уважать, вас растащат копейками, вас сочтут человеком не в своем уме, «дикой барыней». Вам никто ничего не даст, это считается правилом, — и вы считайтесь с ним, не будьте исключением. И затем. Вы дали денег на водку крестьянам, —

и только поэтому к вам приезжал Сосков, а не ограничился вызовом старосты в волостное правление, — и не за рябиновой приезжал, на которую напрашивался, рябиновая сама собою, между прочим, — приезжал проверить самолично, — что, мол, за явление приехало к нам из столицы, окончившее высшее учебное заведение и — потакающее мужику, — и чем?! — ну, не диво бы водкой, а то — гвоздями!.. — явно подозрительно. И приезжал Сосков не по своей инициативе, но, надо думать, по секретному распоряжению Разбойщина или Цветкова. А поэтому же приезжал и Аксаков. Этому безразлично, на подозрении вы или нет, ему наплевать. Но вы — молодая женщина, красивая и одинокая, и вы вдруг поступаете не как все. Он, должно быть, психически болен, Аксаков, — он занят тем, что бегает за женщинами, но — прокатитесь с Аксаковым по уезду, — наутро школьный забор будет измазан дегтем, через неделю к вечеру приедет Сосков и будет ломиться в вашу комнату, а через две недели вы же от земской управы, где председательствует Аксаков, по настоянию отца протоиерея и земского начальника получите волчий билет с увольнением...

Григорий Васильевич помолчал, глядя за окошко и прислушиваясь к тишине.

— Я не согласен с доктором Иваном Ивановичем, — сказал тихо Григорий Васильевич, — Иван Иванович считает, что наша работа паллиативна, он полагает, крестьян надо сначала накормить и раскрепостить экономически. Это все верно, но все же мы даем человеческие проблески... и надо же сберегать свою собственную совесть не замаранной, не идти же в приказчики или в чиновники...

В те годы много говорилось о соках земли, о власти земли над российским «мужиком-богоносцем», о мистической любви «мужика-богоносца» к земле, к ее оврагам, лесам, омутам, перелескам... Евграф Карпович Сосков, громадный, веснушчатый и рыжий, ездил по волости по старостам, начальствовал, и — холуем ездил в город к предводителю дворянства, к земским председателю и начальнику, — «ходил» волостным старшиной. Лет двадцать содержал он у себя в Верейском трактир, где за стойками стояли жены его сыновей, на подбор дебелые, как дебелы были и сыновья. За волост-

ными делами в трактире у себя сидел Евграф Карпович полугостем. Так же лет двадцать прошло, как начал Евграф Карпович скупать по округе и арендовать у князя Верейского землю, на которой также бывал полугостем, сдав хозяйствование землею и мужиками на земле старшему сыну. Даже дома, во втором, в деревянном для здоровья этаже над трактиром был Евграф Карпович полугостем... И тем не менее — самым большим наслаждением Евграфа Карповича было, домой приехав, выпарившись в бане, выпив пятнадцать стаканов чая, перепотев пятнадцать раз, — выйти к полночи на заднее крыльцо под навес крытого двора, послушать, тихо ли, не ворует ли кто, услышать, как рыгают и чавкают коровы, как хрюкают во сне борова и свиньи, как чешутся овцы, как шелестят крыльями на насестах куры, — кашлянуть громко, чтобы все это животье ощутило хозяина, чтобы петухи прокукарековали с испуга, а за ними вскудахтнули б куры, чтобы взвизгнули борова, чтоб проснулись коровы и овцы, чтоб племенной жеребец приветствовал хозяина дружеским ржанием, — чтобы все это спросонья зашевелилось, завоняло, замочилось, зачавкало б в навозе, — чтобы хозяин всласть ощутил: мое! сытое, природное, кровное! — естество, земля! — мое!..

...У города был Откос над Подолом. Обрыв уходил к закату, к западу, и люди примолкали на Откосе, глядя в пространства, в небо, в то единственное просторное, что было в жизни.

Город возник, надо полагать, при царях Иванах, ровесник Москвы, и до сих пор нес на себе следы семнадцатого века, начала царей Романовых. Кое-кто на Откосе помнил времена начала Романовых. Были крестьянские войны Болотникова, Ивана Заруцкого, второго Самозванца, Степана Разина, Булавина, Емельяна Пугачева, крестьянские «бунты» вокруг двенадцатого года «отечественной» войны, «бунты» вокруг освобождения крестьян, «холерные» и против барина «бунты» конца века, — о них помнили крестьяне вокруг Камынска. Потомственный цеховой камынский лудильщик и паяльщик через дедов помнил, что были июньский «мятеж» в Москве при тишайшем Алексее в 1648-м году, псковский «мятеж» в 1650-м году, Медный «бунт» в 1662-м году, — все при тишайшем Алексее, — по-

мнил со времен Алексея — и так до порога последнего века. На Откосе шепотом помнили, что не было ни одного императорствования, которое не было б в кровеубийстве. Петр убил сына, сыноубийца. Екатерина убила двух императоров — мужа и Ивана Антоновича, мужеубийца. «Благословенный» Александр убил Павла, отцеубийца. Николай «палкин» отравился, самоубийца. Александр Второй был убит народовольцами, казненный. Николай Второй начал императорствование ходынкой... И очень немногие понимали цепь событий: медный «бунт» 1662-го года, — стрелецкие «бунты» при Софье и Петре, «бунты» екатерининских солдат при Пугачеве, «бунт» Семеновского полка, бунт Черниговского полка, «бунты» военных поселений. 14-е декабря 1825-го года. Землевольцы. Народовольцы, — Александр Ульянов, — ежегодные с 1876-го года студенческие «беспорядки»... — А с 1844-го рабочие «беспорядки», начатые на бумагопрядильне Лепешкина в Дмитровском уезде. 1865-й год — рабочие ж «беспорядки» у Тихона Морозова в Орехове-Зуеве, 1869-й — рабочие ж у Коншина в Серпухове, 1870-й — на Кренгольмской мануфактуре. 6-го декабря 1876-го года — первая в империи в Санкт-Петербурге у Казанского собора демонстрация рабочих и «бунтовщиков-студентов» — и первое избиение демонстрации. 1878, 1879. Студенты и рабочие, ткач Петр Алексеев, столяр Степан Халтурин, — Желябов, Софья Перовская, Вера Фигнер... Для этих — очень немногих с Откоса — еще с восьмидесятых годов зазвучало имя — Маркс... В последние четыре года века перебастовало в Российской империи полмиллиона рабочих, на западе и востоке, на севере и юге. Все это подсчитывал статистик Нил Павлович Вантроба.

А за этими датами, на Земном шаре.

— по подсчетам американского генерала Ли за последние три тысячи четыреста лет человечество не воевало в больших и малых войнах ровно двести тридцать четыре дня!.. В начале века на Откос принесена была песнь, —

«Трансвааль, Трансвааль, страна моя...»

Эту песню пела тогда вся Россия рабочих и подмастерий, когда буры на той половине Земного шара, где осень бывает весною, а весна осенью, оказались родными брать-

ями... В тот год была путаница с проводами столетия: 1900-й ли год иль 1901-й есть начало нового века? — в морозы Российской империи 99-й год провожали с такой же торжественностью, как встречали 901-й.

В Москве проживал адвокат Вантроба, — как он встречал новый век!..

Адвокат Вантроба был специалистом по делам «угнетенных», он выступал на рабочих и крестьянских процессах со стороны рабочих и крестьянских обществ. Он и его «помощники присяжного поверенного» разъезжали всюду по империи. Проживал Вантроба в двух квартирах — на Арбате в Успенском переулке возле церкви Успения-на-Могильцах да на зимней даче в Петровском парке по 4-й Вятской, — и никогда никто толком не знал, где адвокат находится, на Арбате ли, в Петровском ли парке иль на процессе в Тамбове. Семья жила на даче. Отец и дети общались друг с другом необычно — перепиской на стенах. На двери в отцовский кабинет значилось написанное крупно, красным карандашом, —

«Отец есть глава семьи!» —

и сбоку приписано было не менее крупно чернильным карандашом:

«Папка! не забудь три рубля в субботу на театр!»

«Каков поп, таков и приход», — гласила со стены прихожая.

Сыновей у Вантробы было пятеро, дочерей — четыре.

На 4-ю Вятскую приходили к Вантробе ходоки, деревенские и фабричные, ждали сутками.

— Ну что, приперли, аж невтерпеж? — а я, думаете, задаром буду на вас работать?.. — Рассказывайте, обдумаем, как выкрутиться. Стало быть, и ни так, и ни этак. Значит, всех уже вас перепороли, а земля все же ваша... Так. Пороных же... конечно, не восстановишь, а землю — вернем... Эй, сыновья! Серега, Женька! кто там жив?! — идите, запишите страдания людей.

На 4-й Вятской отец вместе с детьми издавал рукописный еженедельник под лозунгом «Из гроба встает барабанщик!» — Мать секретарствовала в журнале. На двери в комнату матери значилось, —

«Прошу, сказал Собакевич».

Ни единого целого стула в доме не имелось.

В Успенском переулке на Арбате пребывали у Вантробы чопорность и тепло. Предполагалось, что там принимает Вантроба ответчиков, но предпочтительно пребывал там Вантроба с холостяками-друзьями, — а ответчики ловили Вантробу предпочтительно в клубах, в Аглицком и в Коммерческом.

Промышленники речи свои начинали:

— Егор Палыч, послушай сюда минутку...

— Ну, ну, время деньги, — отвечал Егор Павлович.

— Знаю, что деньги, к тому и речь. Там к тебе забегали мои... Ну, действительно, взорвался котел, людей пошпарило, убило двоих, руку там оторвало... Ну, меня ведь при этом не было... Ты уж, пожалуйста, полегче, того... на суде.

В Аглицом Клубе речи начинались иначе.

— Разрешите честь иметь быть знакомым... Разрешите отужинать вместе... Шабли или мозель?..

Провожал столетие и встречал новый век Егор Павлович Вантроба с яростью, два новогодья подряд, всюду, на 4-й Вятской, на Могильцах, в клубах, и говорил вдохновенные речи о проклятьи веков и о свете прогресса нового века.

Младший брат Вантробы — Нил Павлович — служил в камынском земстве статистиком. Быть может, он единственный понимал в Камынске, почему русские рабочие и подмастерья запели в начале века песню «Трансвааль» и почему дела Трансвааля касались русских рабочих. Но встречал он новый год у Никиты Сергеевича Молдавского. Это было под 900-й год. Ночью, проводив столетие, все бывшие у Молдавского ходили на Откос, смотреть в пространство. Нил Павлович — был студентом. В последний год века, в феврале 99-го, над всеми российскими университетскими городами — всероссийская — прошла студенческая забастовка, она выгнала Нила Павловича из университета и прислала его в Камынск, полуссыльным. Ночью бывшие студенты, доктор Криворотов, Моллас, Кацауров, Вантроба, пели у Никиты Сергеевича —

«С вином мы родились,
С вином мы умрем,
С вином похоронят
И с пьяным попом!..»

пели и знали: империя, «полосатые версты», «мужик» — и Трансвааль.

За Камынском проходили железнодорожные рельсы. С эпохи раскрепощения крестьян рельсы уперлись в каменный уголь, в железную руду Тагила, Екатеринбурга, Екатеринослава, Криворожья. На рубеже веков рельсы и рельсопромышленники процветали, как лопухи на пустырях. Над сельской же Россией... — еще с 82-го года статистики Чикагской, Лондонской и Гамбургской хлебных бирж установили мировой сельскохозяйственный кризис. Из-под спуда кризиса выяснилось: сотни тысяч российских крестьян ушли с земли на фабрики и заводы, — работали там за «ради Христа» — за кусок хлеба, чтоб не умереть с голода; барин, оставляя землю в состоянии первобытном, не имея хороших возможностей даже продать ее, перезакладывал земли в Дворянском Банке и вздыхал о «начале века»; не прогадал в деревне один Евграф Карпович Сосков с Сергеем Ивановичем Кошкиным. Сосков подбирал земли за бесценок у барина и у «общинника», разбежавшегося по заводам. Кошкин валил леса. Кризис кончился с началом века. Хлеб вздорожал на Гамбургской бирже, в Лондон-Сити, в Чикаго и в Аргентине, — а, стало быть, вздорожал и на Санкт-Петербургской бирже. Империя была первым поставщиком для Европы, ржаным и пшеничным, — цены на земли удвоились вслед за ценой на хлеб. Барин ободрился, — «мужик» разорялся окончательно: ни землю арендовать, раз своей не хватает, ни хлеба купить, раз подорожал он в неизвестном Гамбурге, — недоволен был даже Евграф Карпович в компании с Кошкиным. «Мужик» новыми толпами побежал в города. Российские железные дороги прошли в Среднюю Азию и в Закавказье, прошли через всю Сибирь, от Москвы до порта Дальнего и до Порт-Артура. Российская металлургия делала рельсы, — на Сибирском пути русская металлургия возросла вдвое. И вдруг, когда рельсы дошли до Порт-Артура, в русской металлургии — исчезли заказы и стали падать акции Сан-Донато. Рабочие толпы разбивались о замки заводских ворот. Крестьянские толпы бежали из деревень, — и второй российский промышленный капиталист, текстильщик, который работал, главным образом, на Азию, но все же и на собственную

империю, — текстильщик установил, что российская империя — российская деревня — покупать перестала, не может, отказывается... Российский крестьянин и российский рабочий ощутили себя «бурами», когда русский барин и российский промышленник оказывались хуже, чем для буров «англичанка», которая — «гадит»... 19 февраля первого года нового века на улицы в Харькове вышли рабочие — в демонстрации — в революцию. 23-го февраля им откликнулась Москва ткачей. В марте вышли на Невский проспект петербургские металлисты, тогда же на Головинский проспект вышли тифлисские рабочие. И тогда же, с не меньшим гулом, чем городские демонстрации рабочих, вспыхнули помещичьи усадьбы; вокруг Камынска, за Камынском, по империи ночами полыхали зарева, по проселкам мчали стражники, охраняя земского начальника Разбойщина, который судил поголовною поркой крестьян, а дома, за ставнями, писал донесения в губернию и в министерство внутренних дел:

> «...как уже доложено было в свое время вашему превосходительству, населения в сельце Иванькове в душах — 581 душа, а земли в их владении 22 десятины 113 кв. сажень, так что наделов у них к сему времени не оказалось, кроме земли приусадебной. В связи с повсеместным вздорожанием земли коллежская асессорша Шевелева, помещица сельца Иванькова, вознамерилась арендные цены на земли повысить. Сельское общество, отговариваясь отсутствием средств, вступило с помещицей в торг. И вдруг, по неизвестным причинам, обратившись даже предварительно к священнику села Бородино с просьбою о молебствии, ссылаясь на то, что «царь не допустит, чтобы народ помер с голоду», все общество сельца Иванькова, пешком и на телегах, с топорами и вилами, явилось в усадьбу помещицы коллежской асессорши Шевелевой, разгромило амбары и разделило их содержимое между собою поровну, вывело всех лошадей и скот, а самою усадьбу сожгло. Выехав срочно на место происшествия с отрядом стражников во главе с исправником Бабениным и выпоров предварительно все мужское население сельца Иванькова,

имею препроводить в распоряжение вашего превосходительства троих нижепоименованных зачинщиков, для предания их суду, а именно...»

Или писал тот же Разбойщин:

«...в деревне Снетково по четверти десятины на душу мужского пола и нет ни одной коровы...»

Глава третья

ДЕТИ ОТЦОВ, ПОКОЛЕНИЕ

Мать родила ребенка. Мать склонилась над сыном. У матери были просветленные глаза, заглядывавшие в будущее, уничтожавшие смерть, хотевшие только прекрасного. Ребенок сосал материнскую грудь. Через полгода ребенок сел. Через год ребенок пошел. И с первого ж месяца бытия ребенок собирал знания. Через два года, когда к ребенку подходил чужой человек, ребенок, пятясь, строго покрикивал, —

— *Он* не хочет!

И он же просился на руки отца или вслед за матерью — словами:

— Возьмите *него!*

И он просил вкусное:

— Дайте *нему!*

Надо было понять, что в ребенке уже ощутилось его собственное *я*, то *я*, которое впоследствии будет играть громаднейшую роль судьбы, сначала противопоставленную миру, затем соподчиненную.

Все начинается с «абсолютов»: абсолютны мать и отец, окно, в которое идет свет, солнце, холод, они вещественны, как деревянные предметы, — все кончается уничтожением абсолютов. Проходят два года, три, пять, семь, — и наступает время расчетов с первоначальным детством — больше, чем смерть матери или отца, сильнее, чем болезни — бывает установление своего собственного *я*, — первый расчет, ибо расчетов с *я* — большое множество. Установление *я* приходит в девять лет, — тогда страшна и человечески ненормальна та среда, в которой рос этот девятилетний; установление приходит в тринадцать лет, нормально; оно задерживается лет до семнадцати, — тогда страшно за этого сем-

надцатилетнего и стыдно за его отца... *Я* родился (*я* этого не помню), *я* увидел солнце, *я* окликнул маму: из небытия *я* есть тот центр, вокруг которого вращается бытие, — *я* центр бытия, бытие исходит из *я*, познан *я*, подчинен *я*, — *я* — центр. И приходит час, когда это ощущение, осознанное, исчезает, смененное разумом: нет, *я* вовсе не центр, точно такое же *я* имеет каждый человек, *я* ничему не противопоставлено, — *я* только элемент и должно двигаться вокруг других элементов, в лучшем случае соподчиненное, но у громадного большинства — просто подчиненное. В девять лет такое установление, — стало быть, ненормальное, «битое» детство. Восемнадцать лет — это возраст для недорослей.

Дальше идет познавание. Каждый человек, возвращаясь в комнату, в которой прошло его раннее детство, если с детства он не был в ней, в первую очередь поражается размерами комнаты: для взрослого комната оказывается меньшею ровно во столько раз, насколько увеличился его рост от детства, — сорок шагов делал в детстве он от угла до угла и ныне проходит этот путь в семь шагов, — в детстве он не доставал до подоконника, а сейчас он выше фрамуги!..

Это сквозь сон детства, — то, как впервые возникло ощущение света; угол комнаты; кусок света, первый, оставшийся в памяти, он поистине пробрался на подоконник, сел, заиграл. Мать — нечто громадное, теплое, растящее, охраняющее, беспрекословно любимое. Отец — он уходит куда-то в неизвестное и приходит оттуда, принося право на жизнь. Затем первый снег за окном и первая весенняя оттепель. У *я* уже множество понятий — тепло, холодно, свет, мрак. Затем растут пространства — двор, около дома, переулок, — и расширяются живые предметы, кроме мамы, папы, братьев, бабушки, начинают определяться соседи-люди и соседи-звери, и звери понятнее людей. Еще неясно, что такое в точности — живые существа, — *я* говорит уже много больше, чем «мама» и «папа», — он смотрит на картинку, где изображены санки, а на санках дети, и он кричит:

— Эй! зямите него! кататься!

Картинка молчит. Он недоумевает и говорит обиженно:

— Без него! сами! едут!.. Какие, — сами!

Он разговаривает с кошкой всем своим запасом слов, всем доверием и недоумевает, — почему кошка молчит?

И множество уже обретено запахов, — запах слесаря Шмелева никогда уже не забудется, как на всю жизнь от детства памятен запах хлеба, неощутимый впоследствии, как все многоповторяемые запахи. Ночи появились много позже понятий зимы и лета, — не зимние студеные вечера, которые заливали синью окна, но именно ночи, обязательно весенние, гулкие, просторные, пахнущие и звенящие птицами...

Поколение родилось в последнее десятилетие прошлого века, поднявшее впоследствии на плечи мировую войну и революцию. В первом сознании поколение слышало, как пели «Трансвааль», как отцы путали начало века, встречая его дважды, — где-то сквозь сон детства слышно было о холерных «бунтах» и о голоде на Поволжье.

Но первое, что, кроме возникновения своего *я*, осталось в памяти от живых воспоминаний детства у генеральского сына Гришки Федотова, — это денщик навытяжку с задранным кверху лицом и кричащий на денщика отец — и то, что крик отца, мертвое лицо денщика — естественны.

Николай Бабенин, сын капитана-исправника, вместе с сестрами-двойняшками Дэкою и Родэкою, помнил полицейских на кухне и отца в детской, плачущего на полу по поводу того, что все они — отец и дети — покинуты мамою, — в ночи, без военной своей формы, в подштанниках, с голыми пятками, отец сидел на полу у дверей в кабинет, срывал с багетов гардины, бил голыми пятками по полу...

Одним из первых понятий — за первым пробуждением сознания — Ипполит Разбойщин, сын земского начальника, знал, что существуют «мужики», которых нельзя пускать дальше порога, иначе можно набраться вшей, а все мужики обязательно плуты, налогонеплательщики и сквернословы, — и все это было испокон веку и так должно быть.

Одним из первых слов Андрея Криворотова было — «пациент», — равно как одним из первых знаний оказалось, что подавляющее большинство человечества — «пациенты» — больно, хворало, хворает, будет

хворать, лечилось, лечится, будет лечиться, — так же, как Мишуха Шмелев с братьями одним из первых слов установил — «заказчик» — и знал, что человечество живет в железе, жести и меди с кастрюлями, противнями, замками, засовами, самоварами, лампами, которые постоянно ломаются на радость отца и деда.

Васятка и Ванятка, и Митя, и Петя, и Коля — подрядчика Кошкина — первой запомнили мастерскую, где мастера делали двери и рамы, столы и скамейки, ругая «хозяина» и не стесняясь при этом детей помоложе. Васятка и Ванька с самого ж раннего детства ощутили истинную хозяйку дома, любовницу отца ключницу Машуху, которую мать Анна Потаповна, также не стесняясь детей, корила за чаем на кухне мирными словами:

— Кошка и кошка, чистая сука и есть ты, Машка, живешь с моим-то, а не родишь, а я мучайся за вас каждый год по ребенку без передыху...

Леопольд Шмуцокс, сын фабриканта-немца, одним из первых понятий имел — русское, русские и все, что русское, то обязательно плохо, — совсем не так, как у детей Шиллера, для которых — русское, русские было страшным понятием, потому что Шиллеры — евреи.

Первый, кто обучил сверстников сквернословию, был Егорка Коровкин, купеческий сын, который в возрасте лет трех, наслушавшись на дворе у себя ломовых, удрав на улицу от приживалок-мамок, ходил понуро среди поколения и повторял, чтоб не забыть, необыкновенный ломовой лексикон, — был перехвачен мамкой-приживалкой и порот у ворот отцом для всеобщего страха.

У поколения, как и у прошлого детского десятилетия, были друзья — Мишуха Усачев и Никита Сергеевич Молдавский.

По вёснам, передаваемые старшими, у поколения образовывались страсти — бабки, чижик, лапта. И к осени во весь свой громадный рост вставал собачник и птицелов Мишуха Усачев.

Мишуха служил в земстве на позорной должности. По должности от земства обязан был Мишуха ловить по Камынску всех бродячих иль загулявших собак, сводить в собачник к себе на огород, содержать там их три дня, — на случай, если о собаке спохватится хозя-

ин, — вешать затем собак и свежевать, снимать с собак шкуру для продажи татарам Саддердиновым на поделки, на шапки и воротники. От сада Мишухи Усачева всегда неслись собачьи вои, а по рассветам, кроме воев и визгов, еще и хрипы удушаемых собак, развешенных на яблоновых сучьях. У взрослых людей Мишуха назывался — собачьим палачом, — и тем не менее любим был не только детьми. Он был кругом одинок, без жены, без матери, без брата. Кроме тех собак, которые в собачнике ожидали очереди на яблоновом суку, у Мишухи были свои собаки, жившие и спавшие вместе с ним, евшие трупы повешенных собак, — лучшие собаки в городе и округе по определению собачьих знатоков, две борзых, две гончих, один сеттер и — одинединственный в мире совершенно беспородный и человечески умный Фунтик. Мишуха был косноязычен с людьми, — с собаками он говорил, как поэт, — и, как поэт, с детьми Мишуха говорил о собаках, о зверях, о птицах, о рыбах, об их обычаях, делах и повадках. Он никогда не пил, Мишуха, но по осеням он казался пьяным, — каждую осень земство собиралось его рассчитывать, он забывал ловить бродячих собак.

Утром, когда к нему забирались детишки, они заставали его уже вернувшимся с охоты. У порога лежали довольными те собаки, которые сегодня ходили на охоту, у двери на гвоздиках висела добыча. Мишуха рассказывал о росе иль заморозке, о первой зорьке, о луговинах и перелесках. Он вынимал из карманов и раздавал ребятишкам мохнатые, созревшие, но еще не высохшие, волоцкие орехи. Ребятишки и он были равноправны. На окнах в горнице и на окнах на улице висели клетки и западенки с чижами, щеглятами, скворцами, дроздами и со знаменитым на весь город соловьем Сысоем. В сенцах лежали яблоки, которые можно было есть без спроса. Они были равноправными, Мишуха и дети. И Мишуха шел с детишками по очередным делам, — в лес, где припрятанными хранились, не донесенные с утра, прикрытые сухими листьями от чужого глаза, белые и рыжики, — в ольшаники, где водится чижик, на пустыри с лопухами, где водятся щеглята, на коноплянники, к западням и пленкам, расставленным еще до зорьки, к птицам, пойманным сегодня утром. Пустыри, леса, ольшаные перелески и грибные овраги

оказывались естественным дополнением Мишухи. Мишуха разглядывал белый пушок у клюва красавца щегла, только что пойманного, показывал всем, и все вместе решали — самец!.. День пахнул последним солнцем, срезанной коноплей, антоновскими яблоками, запиханными за пазуху. Все знали, что — все друзья, а Мишуха — первый друг и вождь...

К сумеркам Мишуха отправлялся в трактир Козлова, — куда он всегда уходил с почтительным страхом и явным сознанием своей никудышности. Дети шли по домам.

Сын рассказывал матери о том, как с Мишухой Усачевым поймали они щеглиху, как Мишуха застрелил двух зайцев и одного хорька, что прилетели уже, кроме щеглят, синицы и гаечки, а скоро будет зима и прилетят снегири, а поутру был заморозок, — и иная мать давала сыну подзатыльник, возмущаясь за сына, за пропащий день, — как не стыдно иметь дело с собачьим палачом?!

Никита Сергеевич возникал к зиме — и затем, на многие годы, друг детей. Он был моряком, Никита Сергеевич, капитан первого ранга в отставке. Как у Мишухи Усачева, у него не было ни жены, ни детей. Он жил один. С ним жили неинтересные личности. Старик, он все знал, для него не было тайн. Он был светел, как светел был его дом. Он был совершенно добр — и совершенно строг. Он совершенно проводил правду. Его сад и дом принадлежали всем. До часа дня дети и взрослые, приходившие к Никите Сергеевичу, безмолвствовали, — Никита Сергеевич работал у себя в мезонине. С часа до трех он шел с детьми на реку, дети играли там в гуси и лебеди, — если была зима, он шел с детьми на каток, иль кататься с горы на салазках, иль кататься на лыжах, — лыжи для всех, у кого их не было, Никита Сергеевич делал сам на верстаке у себя в кабинете, — лыжи брать мог любой, у кого их не было, и обязан был после катания, вытертыми, ставить их в коридоре, чтобы они были готовы для другого, некатавшегося. От трех до половины пятого Никита Сергеевич оставался один у себя в мезонине. С половины пятого до шести Никита Сергеевич рассказывал детям все, что он знал о морях, по которым он плавал, о людях, которых он видел, о книгах, которые он прочитал, — и дети

могли спрашивать Никиту Сергеевича обо всем, что им надо было знать. В шесть к Никите Сергеевичу приходили взрослые. В половине десятого Никита Сергеевич ложился спать. В доме — в единственном в Камынске — для тех, кто был принят в дом, — никогда не запирались наружные двери, чтобы взрослые могли пройти в любое время, найти в столовой под салфеткой молоко и заночевать в столовой на диване. Он был светел и строг, Никита Сергеевич, и первым условием дружбы ставил — правду и доверие. Ну, сломалась та же лыжа, — чего проще сказать, не знаю, мол, не видал и этих лыж не трогал, — и поступить так никак не возможно; никто не мог точно указать, с кем это случилось, — но все ребятишки знали, что случилось-таки так, один разбил термометр у Никиты Сергеевича, а другой сломал лыжину, и оба скрыли, —

— Что было! что быыло! — Никита Сергеевич сердился!..

Что, собственно, было, ребятишки не знали, потому что этого, кажется, вообще не было, — но знали: сломал ту же лыжу, вырезал на столе перочинным ножом крестик в задумчивости, никак не предполагая предосудительности такой резьбы, попал неожиданно мячиком в лампу у потолка, — иди скорей и жалуйся на самого себя Никите Сергеевичу, — увлекся очень, играл в горелки, сшиб товарища, — жалуйся Никите Сергеевичу сам на себя, — Никита Сергеевич не рассердится, не пожалеет разбитого стекла в окне, будет доволен прямотой и правдивостью. Никита Сергеевич, как на море, был строг в режиме, — пришел до часа даже взрослый, сиди безмолвно, не мешай работать Никите Сергеевичу у себя в кабинете. Ну, действительно, скучно и очень трудно молчать, чего бы Никите Сергеевичу выйти из кабинета хотя бы половина первого, — вызвать бы, — поступить так возможности не было даже у взрослого, —

— Что будет! что буудет!

И будто бы было уже, позвали будто бы Никиту Сергеевича из кабинета из мезонина без уважительных причин, — Никита Сергеевич не поздоровался, ни слова не сказал, взял вызывальщика за руку и вывел без слов из комнаты.

Врунов и бездельников Никита Сергеевич вообще к себе в дом не пускал, — и поступал так же со взрослы-

ми, с теми, кто нарушал свои убеждения. Никита Сергеевич уважал убеждения каждого, признавая свободу убеждений, — но не уважал и выводил из своего дома также каждого, кто убеждений не имел или, еще хуже, менял — убеждения. Сам Никита Сергеевич убеждения имел — строгие, был принципиальным слугой своих убеждений, — об этом все в городе знали, от детей до взрослых.

Никто точно убеждений Никиты Сергеевича не знал, или знали немногие, а дети вообще неясно представляли, что такое — убеждения, хотя и ощущали необычность убеждений. Когда и как ушел капитан первого ранга в отставку, никто точно не знал, и Никита Сергеевич об этом молчал, — не знали даже точно, сколько лет Никите Сергеевичу, — старик, он не старился, светлый, чистый, только что с капитанского мостика.

Земский начальник Разбойщин и исправник Бабенин сыновьям своим ходить к Молдавскому запрещали категорически. Оленька Верейская бывала у Никиты Сергеевича изредка, вокруг рождественских каникул, когда Никита Сергеевич устраивал живые картины со стихами, которые дети учили наизусть. Бабенин раскланивался с Молдавским недоуменно. Федотов и Молдавский — два отставных военных — холодно отдавали друг другу честь. Разбойщин и Молдавский делали вид, что не замечают друг друга.

У Бабенина и ротмистра Цветкова имелись «достоверные сведения», неизвестно откуда взявшиеся, столь фантастические, что исправник и жандарм поистине имели резоны недоумевать: — ну, дворянин и воспитанный человек, это ясно, не беден, тоже ясно, — ну, играет с детишками, тоже ничего особенного нет, другие от скуки кошек бреют или разводят левкои, — ну, пускает к себе жить всякую шантрапу и дом на ночь не запирает, не очень ясно, но все же можно допустить, — но вот капитан первого ранга в отставке два раза в году, говорят, пишет верноподданнические письма его императорскому величеству... как это понять?! — Писем этих ни Бабенин, ни Цветков не видали ни разу, но глубоко верили в них, исходя из всего облика Никиты Сергеевича, и шепотом даже предполагали между собою, что копии верноподданнических писем ходят по рукам у камынской интеллигенции, а в каждом пись-

ме по недоумению: царю — верноподданнические — и одновременно с этим — «бог его ведает», что пишет Молдавский царю, нос на сторону воротило у капитана-исправника от одних предположений, — царю и — о том, как нищают мужики, царю — и о том, как дичают помещики, жульничают и шаромыжничают, царю — и об ассенизационных бочках и вообще о санитарном состоянии Камынска и окружающего Камынск населения, о трахоме, чесотке, о недоедании!.. Бабенин писем этих не видел, но был убежден, что так писал Никита Сергеевич, с такою правдивостью и сердечностью, с такою реальностью, что — пойди, попробуй придерись к такому письму, пойди отбери у населения такое письмо, — Молдавский и об этом царю напишет, как его притесняют в писаниях — и кому? — самому царю!.. А царь... то ли доходят до него письма, то ли нет, говорят — Молдавский посылает. А царь... да вдруг царь на самом деле прочтет, что письма к нему перелистывает и конфискует надворный советник Бабенин, — от Бабенина сырого места не останется!.. Бабенин знал, что Молдавский пуще всего стоит за прямоту и правдивость, — правды этой пуще всего и боялся Бабенин, быть может, даже сам Бабенин и выдумал со страха легенду о письмах царю, о которых на самом деле шептали в Камынске. Он по ночам иной раз рассуждал сам с собою, — неужли ж только правдивости ради пишет Молдавский царю? — и есть же счастливые люди, могут честно думать, жить и не бояться правды!..

Никита Сергеевич ходил с детишками на Козью горку, к реке, в поле, в Монастырскую рощу, — в те же места, куда ходил с детишками Мишуха Усачев. По следам Мишухи родилась поэзия, — по следам Никиты Сергеевича шло знание, — то есть та же правда, как в поэзии. Никита Сергеевич рассказывал, как цветут и опыляются цветы, как вода превращается в лед, почему вода превращается в лед, — и почему Мишухе Усачеву надо верить, хотя он ничего не знает.

У Николая Бабенина, у Гришки Федотова, у Ипполита Разбойщина отцы кричали:

— Как?! — к собашному холую и с холуйскими уличными мальчишками?! — и это мой сын?!

И на самом деле, Гришка Федотов, Разбойщин, Бабенин очень скоро познали, что они — дворяне, а осталь-

ные — холуи, для них не стать и не общество. Они и были всего по разу у Мишухи Усачева. Они плохо приходились к компании по бабкам и лапте. Они больше ездили на прогулки — на своих собственных лошадях, дома кормились отдельно от взрослых, им не позволяли много бегать и им чистили зубы два раза в день, против их желания.

Егорке Коровкину и братьям Кошкиным зубов чистить не полагалось, как и Шмелевым, — они хлобыстали, как и Шмелевы, но знали, что они — купеческие, гильдейские, у их отцов торговля и подряды, а поэтому — Бабенин, Верейский — хоть и бездельники, но — дворяне, образованные, требующие почтения, — а Мишка Шмелев — цеховой, к нему почтения не полагалось. Сыновья-разбойники художника Нагорного также не чистили отличных своих зубов.

Андрей Криворотов, сын врача, мог дружить с Леопольдом Шмуцоксом и с Маргаритою Шиллер, со Шмелевым, с Кошкиными. Он очень дружил с Климентием Обуховым из Чертанова. Он мог бы дружить с Гришкой Федотовым, если бы тот не был старше на семь лет, — как-никак военный. Он должен был — по отцу — отрицательно относиться к Николаю Бабенину — полиция! — и к Ипполиту Разбойщину — реакция! — но он не должен был этого — по отцу — показывать и даже с ними мог вести знакомство.

...Это было ровно столько раз, сколько перебыло на земле людей, когда мать склонялась над ребенком с просветленными глазами, устремленными в будущее. И эти ж матери впоследствии давали детишкам подзатыльники, вскрикивая:

— Ах, наказание Божие!..

Мир становился все шире, шире и объемней. Мир становился — русским. В одну из первых очередей дети познали — русских духов. Как в самом раннем детстве с картинок сходила реальность, так теперь с реальности сходили и образовывались за реальностью — духи и главный из них, строгий, злой, непонятный и троичный — Бог. Когда Андрей Криворотов пошел в земскую школу, шестилетним в первый класс, из-за троичности Божьей его изгнали из школы. Батюшка рассказывал:

— Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой — един, но троичен в лицах.

Как раз в то время в ветеринарной больнице появился, заспиртованный в банке, уродец, теленок с двумя головами, — и Андрей Криворотов спросил батюшку с парты:

— Значит, Бог у нас урод?

Богом заведовали батюшки, главным заведующим был протопоп отец Иоанн, его боги хранились в кремлевском соборе, невидимо путешествуя оттуда по городу, охраняемые родителями. Вокруг церковных Богов и вокруг отца Иоанна жил основной божий враг, противобожий забияка черт. Кроме Бога и черта существовали нейтральные полубоги и получерти, без точных их отношений к Богу и черту. В каждом доме под печкой и в темных углах жил домовой, он же проживал в конюшне. В реке жил водяной, в лесу леший. Эти Боги жили без заведующих. Иные из них проживали реальными личностями, — на той улице жила ведьма Неверова, колдунья, заговаривала зубы, — кажется, на самом деле ведьмою была ключница Машуха у Кошкиных, приворотившая к себе хозяина Сергея Ивановича, — лесник Данила на Козьей горке, друг Мишухи Усачева, был явным лешим, — каждый цыган и особенно каждая цыганка обязательно оказывались колдунами, — в каждой водочной бутылке сидел зеленый змей... — И тайны, везде тайны, святые тайны и таинства, государственные тайны, семейные тайны, торговые тайны, — тайны и секреты, торговый секрет, семейный секрет, праздничный секрет, — и даже у Шмелевых — свой собственный секрет луженья самоваров!.. Все это было достоянием совести и накладывалось на совесть, как сено на телегу. Совесть обязан был иметь — каждый, в тех или иных размерах определенную *богом*. Бог был непонятен и неудобен. И все знали: с телеги совести, — сора из избы не выносят, нехорошо даже рассказывать, какая каша была сегодня на обед, вообще лучше помалкивать, — и совершенно необходимо скрывать все, что делается дома, а уж если рассказывать, то только для того, чтобы хвалиться, такая, мол, гречневая каша, лучше всех. Это и ради рода, и ради Бога, — ради совести. А людей — лучше всего побаиваться, хорониться от них и сторониться, — именно из-за Бога, рода и гречневой каши, по совести, — моя хата с краю. И сами по себе понятия — ложь и лицемерие —

совершенно таинственны, никак нельзя угадать, где лгать хорошо и мама похвалит — и где от мамы будет подзатыльник? — сын пришел, сказал маме, творчествуя, —

— А знаешь, мама, а Мишуха Усачев на той неделе застрелит тигра, Егорка сказал!

И сказала мама:

— Врунишка!

К папе-Криворотову или к отцу-Кошкину пришел человек, требуя отца иль папу под окошко, — и образуются непостижимости: если пришел пациент к Криворотову, а к Кошкину крестьянин за долгом, и сын скажет, что папа дома, — будет явное неудовольствие, — но, если пришел гость к Криворотову, а к Кошкину крестьянин-ходок насчет продажи леса, и сын скажет, что папы нету дома, также будет явное неудовольствие!.. — Все это очень таинственно — лицемерие, ложь, секреты, тайны, — и страшно!

И неизвестно откуда вдруг получилось твердое знание того, как образовывались в Камынске из девочек девушки. Сони, Кати, Липы с той или с этой улиц прошлое и позапрошлое лето бегали босиком в одних платьях-рубашках, простоволосые, с цыпками на руках, — на зимы они исчезали по домам, увеличиваясь в росте к каждой весне. И вдруг к Пасхе им сшили отдельные кофточки и отдельные юбки, нарядные, — им купили высокие башмаки на пуговицах, чулки на резинках, кружевные панталоны. На плечи они накинули кисейные косынки. У Кать и Лип оказались настоящие косы, одна или две. И не бегом уже, не вприскок, а медленно, под ручку с подружками, *барышни* отправились гулять в Кремль на Откос, любоваться Подолом среди пасхально-праздничных взрослых, равнодушные и серьезные, в разговоре серьезном и шепотом.

Я родилось, *я* окликнуло маму, *я* увидело солнце, *я* — центр... Первая в том поколении ощутила — раньше всех, очень рано, — что вовсе она не центр, что все имеют такие же *я* и гораздо весомее, — первой это ощутила Анюта Колосова, дочь ткачихи, — тихая девочка, единственная принятая в компании Мишухи Усачева. Она и жила в усачевском саду, в бывшей бане, за яблонями, на которых Мишуха развешивал собак. По матери она была — *бедной*, она не помнила отца,

утонувшего в реке в половодье. Ее мать работала на Марфином Броду у Шмуцокса. Звали мать Клавдией, — и отчества ее никто не знал. Клавдия была — никому не нужной. Марфин Брод располагался в четырех верстах от Камынска — за Подолом и за рекой. Муж Клавдии утонул как раз на Марфином Броду. Каждый день Клавдия ходила по сходням через реку в том месте, где утонул ее муж. Клавдия работала по двенадцати часов ежедневно, Клавдия получала на круг ежемесячно десять рублей сорок копеек, — сорок копеек ежесуточно, — и понятно, как жили мать и дочь. В метели по зимам, в осенние дожди и в весенние грозы — Клавдия шла четыре версты до Марфина Брода, приходила в корпус, становилась к станку и следила за челноками, ткавшими шелка в замысловатейшие узоры, в золотую и серебряную нитку. Температура в фабричном корпусе всегда стояла за сорок, и из котельной всегда пускали в корпус отработанный пар, чтобы воздух был жарок и сыр, как требовали шелковые нити и — «процесс производства». Шелка и парчи получались отличными. После двенадцати часов над станком Клавдия возвращалась домой через брод, где утонул вместе с мужем смысл ее жизни. Дочь долгими часами сидела одна на пороге развaленной бани в саду, мать работала, с Анной оставался Мишуха. Мишуха был случайно грамотен, — по воле матери, почти с трехлетнего возраста, учил Мишуха Анну грамоте, российской абевеге, которою мать не обладала, но по поводу которой знала твердо, что она улучшает жизнь. А Мишуха в досуги рассказывал Анне:

— Волк, например... он в своем месте не гадит, он в чужое место жрать ходит, верст за тридцать от своего места. Он даже свое стадо от чужих волков сторожит. В старину даже пастухи радовались, когда свои волки заводились, — они стадо стерегли от чужих волков... И знаешь ты, Анютка, из чего взялся пес, собака, мой, например, Фунтик, который умнее предводителя дворянства князя Верейского?.. В старину собаки находились, — как теперь волки, тоже дикие. Собака заслышит, что идет, например, тигр или слон, на которых собаке не сладить, — собака начинает лаять для страху, — человек слышит, — человек остерегается, чтобы совладать со слоном, — собака посмотрела, послушала,

поняла — надо полаять и следующий раз. А также обратно, — собака полаяла, человек приготовился совладать с тигром, притаился, собаке сказал — тсс, — собака поняла, что не всегда след лаять. И третье, — человек слона убил, что надо взял себе, остатнее выкинул, — собака поела, сыта, видит — зла от человека не вышло, сама пошла за человеком... И вот теперь волк? — что такое есть волк? — волк есть гад и народное бедствие!.. — и кто виноват? — дай мне время, я с волком общий интерес найду, я с ним вместе заниматься буду, я из него Фунтика сделаю, ему со мной интереснее будет, чем по лесам рыскать... А то ведь те же собаки, — одних я на сучьях вешаю, а с другими сплю на одной постели, как с родными родственниками... Я же тебе говорю, Анютка, волк — к чужому стаду жрать ходит, он в своем месте не гадит, — с этого места и начать надо приучать волка...

Я родилось, *я* увидело солнце... — в то время, когда Анна поняла, что вовсе она не центр, что ее *я* не только соподчинено, но и просто подчинено, — в то время она была уже грамотной, и очень много книжек таскала к себе в разваленную баню от Никиты Сергеевича, — и тогда же началась ее дружба с Климентием Обуховым. Климентий, сын железнодорожного рабочего, так же, как Анна, знал от отца, что им никто не поможет. При станции было депо сменных паровозов, отец Климентия работал в депо. У станции жили люди всех железнодорожных служб, служившие на дороге, потерявшие ощущение пространства, обязательно глядевшие в даль рельс, в ту даль, которая, в противоположность откосной за Подолом, не создавала ощущений одиночества — именно потому, что она уничтожала пространства. Дорога работала круглые сутки, и круглые сутки на блоках, в депо, в станционной дежурке бодрствовали люди, сцепленные энергией движения. Дорога уходила далеко за Камынск, во все веси Российской империи. Климентий Обухов знал от отца, что им никто не поможет, — и он же, дожидаясь отца в полутемной конторке, где фонари кондукторов бросали свет только на ноги, затемняя лица, как второстепенность, — на всю жизнь он ощутил — пространство, движение, громадный мир, которого никак не было в Камынске, — громадную сцепленность и соподчиненность труда и дел — отцовских и товарищей отца.

Глава четвертая

ВОЙНА, «ЕСТЕСТВЕННОЕ МУЖСКОЕ СОСТОЯНИЕ», КАК ОПРЕДЕЛИЛ ГЕНЕРАЛ ФЕДОТОВ

Российские рельсы дошли до Желтого моря, уперлись в Порт-Артур. Российское императорское семейство собиралось разрабатывать лесные концессии на Ялу, в Корее. Никки ездил в гости к Вилли, то есть российский император ездил на сердечное свидание к германскому императору, Николай к Вильгельму, «второй» ко «второму». Мировой кризис кончился. Весной, с Пасхи, и летом 1902-го года по всей Российской империи горели помещичьи усадьбы и разбирались помещичьи амбары. Летом 1903-го по всему югу империи, от Одессы до Баку, прошли рабочие забастовки, бастовало двести тысяч человек. На Пасху двое суток подряд лавочники, впоследствии организовавшиеся в «Союз русского народа», — та социальная человеческая разновидность, которая много позднее в Германии и Италии породила фашистов, — лавочники вместе с полицией избивали по всему югу евреев, убили и искалечили несколько сот человек, разворовали и изгадили более тысячи домов, — и именно после погромов громадной волной пошли рабочие забастовки, когда в городах потухало электричество, исчезала вода, исчезали газеты, пропадали булки в булочных и соль в бакалее, переставали к вокзалам подходить поезда и начальство переставало появляться в своих кабинетах, — еврейские погромы не помогли.

Плеве, министр внутренних дел, разочарованный в погромах, заговорил о «маленькой победоносной войне», — для поднятия бодрости в национальном «духе» и для улучшения лесных императорских концессий на Ялу. В газетах рассказывалось, что японцы, во-первых, язычники, то есть полулюди, а во-вторых, «желтолицые», то есть явно не люди; вообще о японцах в России знали немногое, — некий журналист из «Нового времени» написал «историю» происхождения японского народа, так сказать, его естественно-исторические истоки; японские острова, по информации журналиста, были необитаемы человеком, на островах жили обезьяны под названием макаки, — а у китайцев в то время существовал закон,

по которому мелких жуликов и воришек, не достойных смертельных наказаний по мелкой своей преступности, — этих воришек просто-напросто выбрасывали в море; большинство их тонуло, но некоторая часть — на обломках разбитых кораблей — доплывала до японских островов; так как человеческого населения на островах не было, эти воришки ловили себе в жены самок-макак; и именно из помеси китайских мелких воришек и обезьян, по сообщению журналиста из «Нового времени», возник японский народ. Прозвище «макаки» к японцам прилипло по воле журналиста крепко. Написано было в газетах, что японцы — замечательно мелкорослы, вдвое меньше русских по размерам, а один казак равен по силе семи японцам. В газетах же сообщалось, что русские японцев «шапками закидают». Военная победа предрешалась сама собою, надо было назначить лишь срок, когда империи удобно будет уничтожить японцев.

Японцы ж оказались на самом деле «жуликами». Они не стали ждать, когда российский император начнет «кидаться шапками».

Январь был снежен, еще с декабря мели метели, наметали сугробы у домов, у заборов, на оврагах. Просторы под Откосом на Подоле так блестели снегами, что о снег можно было порезать глаза. Камынск пребывал в снегах, как империя.

23-го января японцы отозвали из Санкт-Петербурга своих дипломатов, — российский император издал манифест к народу о «коварстве», газеты строго крикнули о шапках.

В ночь с 26-го на 27-е января японские миноносцы с русскими опознавательными знаками, не перемененными российским адмиралтейством по природному ротозейству, вошли в порт-артурскую гавань и отправили на порт-артурское морское дно два лучших российских военных корабля.

В Камынске мели метели еще с декабря, глубочайшие намели сугробы. Между городом и Чертановом пролегал овраг, по оврагу пролегал каменный мост, а к мосту и к оврагу с городской стороны прилегали — слева соляной амбар, еще от соляных откупов принадлежавший Коровкиным, справа заборы скорняков Саддердиновых. Овраг сровняло метелями. Сугробы завихрились по саму крышу соляного амбара.

Иван Иванович Криворотов жил сзади саддердиновских заборов, за углом. Сыну его, Андрею, шел уже десятый год, он готовился в гимназию, учился дома, но дружбу вел, по народнической воле отца, главным образом с чертановскими ребятишками — и в первую очередь со старшим, Климентием Обуховым. Обучаясь дома с мамою таблицам умножения и десяти заповедям вразбивку, Андрей, естественно, подражал родителям, руководимый родителями, — и, если у отца был «кружок самообразования», то и к Андрею приходили чертановские ребятишки, — всем им, вместе собравшимся, мама Андрея читала вслух «Руслана и Людмилу» Пушкина, «Тараса Бульбу» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, а также Майн Рида и Жюля Верна. Естественно, все, начиная с Андрея, были одновременно Русланами, Остапами и Ястребиными Когтями, — Фарлаф — это считалось самым последним понятием и оскорблением.

И в первое воскресенье русско-японской войны, в день, свободный от школьных занятий, утречком чертановские русланы вместе с русланом Андреем, вооруженными лопатами, направились к соляному амбару — строить в снежных сугробах свой Порт-Артур. В строительстве выяснилось, что одних лопат недостаточно, — на дворе Криворотовых русланы раздобыли бочку с салазками, в бочке к строительству привезли воды. Крепость строилась так, как изображались крепости на иллюстрациях к Руслану и Тарасу. Из снега делались стены и поливались водою для неприступности. В сугробах под стенами рылись пещеры. В пещерах складывались снаряды, то есть комья снега, смоченные в воде и оледеневшие, — они назывались «огнестрельным оружием». В пещеры стаскивались также булавы, мечи и пики, «холодное оружие», — то есть палки от метелок и колья из заборов.

Среди дня началась война — без объявления войны. Напротив, на дальнем углу саддердиновского забора, к дому Андрея Криворотова, заканчивался строительством форпост. В форпосте сидела засада. И засада «огнестрельным оружием», с первого ж боя для синяков, обстреляла двух городских мальчишек, направлявшихся мирно кататься с горы.

Крепость закончена была к вечеру.

К вечеру лазутчики донесли, что на площади, на бульварчике против казначейства-тюрьмы и против Дворянского Клуба строится городскими ребятами свой Порт-Артур.

Вечером произошло первое столкновение армий. Чертановские пошли к городскому Порт-Артуру, городские пошли к чертановскому, — встретились, кидали друг в друга глышками, — врукопашную не сходились, — кричали друг другу:

— Эй вы, японцы! морду разобьем, только попадись!..

Неделя прошла, главным образом, в караульных дозорах и в усовершенствовании крепостей. За неделю пришли новые вести с Дальнего Востока, — японцы оказались, главным образом благодаря своего малого роста, куда подвижнее русских, — в газетах писалось, что японцы то тут, то там в разных и никак не русски названных местах прошли такие-то и такие-то расстояния и высадились в таких-то и таких-то не русски названных местах, — и к концу недели само собою стало понятно, что чертановцы — в силу малых своих количественных размеров против города — японцы, а городские — русские.

Первый бой разыгрался в следующее воскресенье, после обеден в церквах. В чертановской школе, кроме чертановцев, обучались также игумновцы и одинцовцы, они пришли на чертановскую сторону. С утра производились мелкие вылазки тех, кто не посылался матерями к обедне и кто не дожидался дома воскресного после обедни пирога. Часам к двенадцати русских, то есть городских, собралось великое скопище.

Городские пошли на приступ — брать чертановский Порт-Артур.

Чертановцы штурм выдержали. Ледяные стены оказались неприступными. Глышки чертановцев ставили отличные синяки, хотя те же глышки так же отлично ставили синяки и на чертановских скулах. Русские расположились кругом в расстоянии полета глышки, прекратив стрельбу. Русланы также перестали стрелять, сберегая снаряды. Вылазки русланов оказались невозможными, за их малочисленностью. Война принимала затяжной характер, становилось даже скучно.

И в это время, примерно к часу дня, на помощь чертановцам пришли одинцовцы и игумновцы, те, кото-

рые были у обедни, — пришли с пиками и булавами, а также с колчанами, то есть со школьными котомками, набитыми самым замечательным «огнестрельным оружием» — с оледеневшими глышками конского навоза. С моста они бросились «на ура» на русских и в рукопашный бой. Крепость сделала вылазку.

«Ура» каждого из русланов ему самому казалось самым громким. Огнестрельное оружие уже не годилось. Зазвенели уши и посыпались искры из глаз, из носов потекла кровь от палочных ударов куда попало, по рукам, по плечам, по головам, посыпались синяки и поползли ссадины, от которых не было больно в геройстве дня.

Должно быть, на самом деле никакой рукопашный бой не длится больше минуты, — городские дрогнули, побежали вдоль улицы к своему Порт-Артуру. Должно быть, на самом деле все отступления губительны, — городских били булавами по спинам и шеям, сшибали с них шапки огнестрельными глышками.

Бой оказался за чертановцами.

Правда, городского Порт-Артура они не взяли, но уличный городской простор принадлежал чертановцам, городской Порт-Артур был обложен и вылазок не делал. И та, и другая сторона отдавала должное бойцам. У городских хорошо дрались братья Шиллеры, хорошо дрался Николай Бабенин, — неплохо Леопольд Шмуцокс, он кидался глышками без промаху и дальше всех, а еще того лучше он сам уворачивался от глышек — и не только увертывался, а на лету подхватывал враждебную глышку, точно в мячик играл, бросая глышку сейчас же, одним махом по врагу. У чертановцев лучше всех дрался Барсуков, силач, ударит — с ног долой, а храбрее всех был Андрей Криворотов, он не боялся синяков и лучше всех умел дразниться, такое кричал, что даже городские смеялись. Чертановцы — скопом — бились ловче городских.

День прошел к вечеру за шутками у стен городского Порт-Артура, как в «Тарасе Бульбе».

Еще прошла неделя, мел уже февраль.

Город решил победу оставить за собою.

В новое воскресенье полки собирались с утра и после обедни. На углах стояли дозоры. Ни тот, ни другой Порт-Артур вылазок не делал.

Русланы оказались менее выдержанными. Построившись рядами по куреням деревень, они пошли на городской Порт-Артур, подошли к Порт-Артуру, кричали зловеще:

— Эй вы! русские! морду разобьем, только попадись!..

Тогда русские со стен городского Порт-Артура бросились на вылазку, а одновременно из-за кошкинского забора, из засады — с саженным колом в руках — выскочил дурачок Тига-Гога, бородатый и нечеловекоподобный. Сделав ось из себя, вертясь с шестом вокруг оси, бородатый городской идиот сразу по десятку валил японцев. Чертановцы, игумновцы, одинцовцы бросились к своему Порт-Артуру. На их плечах русские ворвались в крепость, во главе с Тигой-Гогой.

На мосту по воскресному времени прогуливались саддердиновские ученики-скорняжники и фреевские подмастерья, с гармонией. Увидев, что в детскую игру вмешался Тига-Гога, и решив, что это «не игра», парни бросились на Тигу, а также на всех тех, кто попадался им под руку.

Победа, полная победа осталась за чертановцами, — русский Порт-Артур был взят и разгромлен, стены расковырены пиками, пещеры провалены танцами на них.

Андрей Криворотов вернулся домой с надорванным ухом и совершенно счастливый, в отличных проектах на будущие замечательные бои. Отец срочно отправил сына в заднюю комнату, запретив ему оттуда выходить в наказание. Мать промывала сыну ухо борною водой и присыпала иодоформом.

Затемно к дому Криворотова подъехали санки с медвежьей полостью. Из санок вышел исправник Бабенин и позвонил в парадное — дернул за проволоку, прогремел в прихожей валдайским колокольцем. Андрей, сидевший в наказание без огня, разглядев исправника, потихоньку проюркнув в коридор, отпер исправнику дверь, сказал почтительно:

— Здравствуйте!

Исправник приветствия не заметил, торжественно прошел холодным коридором, в запахах нужника. В прихожей исправника встретил отец — доктор Иван Иванович.

— Здравствуйте, Иван Иванович! — сказал Бабенин.

— Здравствуйте, Николай Евграфович! — прошу в гостиную, — сказал Иван Иванович и добавил: — А я только что собирался к вам.

— Надо полагать, по одному и тому же делу, — сказал Бабенин, — очень рад.

Прошли в гостиную, сели около круглого стола, закурили, улыбнулись друг другу.

— Я к вам по поводу детского населения, — сказал исправник.

— Я тоже по этому поводу намеревался к вам, — сказал Иван Иванович.

Оба вновь улыбнулись и затянулись.

— Мой сын Коля пришел домой сейчас с синим глазом...

— А мой Андрюша с оторванным ухом...

— Разумеется, — сказал исправник, — я могу поставить на следующее воскресенье городовых на посты к соляному амбару и на бульвар, хотя вообще, будучи военным, я не против детских военных игр. Но дело не в этом. Дело в том, — вы подумайте только!.. — крестьянские дети сельца Чертаново сами себя называют — японцами?! — где патриотизм?! — каково?! — А в придачу к этому кучка крестьянских мальчишек сельца Чертаново, называя себя японцами, систематически побеждает городских мальчиков... Недопустимо! — как это должно выглядеть со стороны?..

— Это, конечно, — да, явно неудобно, — сказал Иван Иванович.

— Я позволил себе обеспокоить вас, Иван Иванович, по двум причинам, — сказал исправник. — Во-первых, по всем сведениям, имеющимся у меня, коноводом со стороны детей сельца Чертаново является ваш, Иван Иванович, сынок Андрюша, единственный мальчик интеллигентных родителей, а следовательно, поскольку он также причисляет себя к японцам, на вас, Иван Иванович, может упасть нежелательная тень отсутствия патриотизма. Во-вторых, вы, Иван Иванович, являетесь попечителем чертановской школы... Вам понятно, Иван Иванович, — сейчас, во время войны, когда все сословия русского общества едины в патриотическом своем порыве, вмешательство полиции в детские заба-

вы, да еще военного характера было б неудобно... Если я просил бы вас, Иван Иванович, переговорить от своего лица с учителями чертановской школы... или даже собрать сход мужиков и сделать им внушение... я тогда мог бы ограничиться разговором с вами, Иван Иванович, и не выставлять посты в следующее воскресенье ни на бульвар, ни к соляному амбару...

Иван Иванович вполне согласился с Николаем Евграфовичем.

Они выкурили еще по папиросе, поговорили о войне, как два патриота, о наглости японцев, об организации в Камынске общества Красного креста, которое намеревалось, организовавшись по инициативе Николая Евграфовича, провести среди населения сборы для постройки двуколок на предмет развоза раненых, — поговорили о будущей победе и распрощались.

Сын отправлен был снова в темную комнату. Отец покричал на сына, — черт, мол, знает, что такое, путайся теперь с исправником!.. затем отец успокоился и ушел к Никите Сергеевичу, потолковать о войне. Мама, уважая распоряжения папы, из дальней комнаты Андрея не выпустила, — но к Андрею пришел Климентий, и мама, со свечкою, чтобы полунарушить папино распоряжение, читала Андрею и Климентию вслух о детях капитана Гранта.

На следующий день, после приема в больнице, не ложась спать, а следовательно, в расположении духа пасмурном, Иван Иванович пошел в Чертаново. В школу Иван Иванович не заходил, не нашед принципа, от которого удобно было бы говорить с учителями, — прошел к старосте и сказал старосте сурово:

— Мое почтение, Сидор Наумович. Что ж это такое, а? — сам посуди!..

— Честь имеем! — сказал староста. — Честь имеем спросить, какого пункта касаетесь?

— Да вот насчет этой самой войны у ребятишек. Бог знает, что такое, — бегают, орут, бьют друг друга палками, называют друг друга японцами... Мордобой — разве это детское дело? — это офицерское дело, дружок, а не детское, пусть офицеры и бьют рожи друг другу!..

— Это вы, значит, насчет того пункта, как ребята в Порт-Артур играют? — действительно, все с синяками

ходят, — сказал староста и облегченно вздохнул, — а мы думали, по какому серьезному делу.

— Вот именно, — сказал Иван Иванович, — про детскую войну... Я и пришел обсудить с тобою, Сидор Наумович, как нам тут быть? — Ведь перекалечат друг друга... И мой сын, говорят, — первый коновод?

— Андрюша ваш, действительно, да, у них за Еруслана, первый заводила.

— Ну, так вот, как ты думаешь, Сидор Наумович?

— Это дело простое, — сказал староста, — повелеть всем родителям, чтобы они сыновей выдрали по первое число либо загодя в субботу, либо в воскресенье под самый ихний бой.

— Да, ну?! — сказал доктор.

— А что ж, очень просто. С драных с них вся отвага слетит. Она известная — порка... И тебе, Иван Иванович, придется драть первому, для примеру всему обществу, для показу.

— Да, нуу?! — сказал доктор.

— А что ж, очень просто.

Родители помолчали.

— А я думал было его в чулане запереть на воскресенье, — в раздумье молвил доктор.

Помолчали.

— Ну, ладно!.. — шепни родителям, а детям пока ничего не говорите, — сказал доктор строго, поправил строго шапку и ушел, в рассеянности не попрощавшись.

К новому сражению готовились новые силы, город и Чертаново подсчитывали витязей. В воскресенье, еще задолго до окончания обеден, у Порт-Артуров собрались курени. Доктор Иван Иванович в тот день на прием не пошел. Андрей из дома выбрался часов в семь, пока спал отец, направился непосредственно в крепость.

Когда полки были в полной готовности к боям, на мосту появились доктор Иван Иванович со старостой Сидором Наумовичем. Доктор Иван Иванович крикнул с моста, обращаясь к крепости:

— Андрей, пойди сюда!

Сын пошел к отцу с двойными чувствами, — в гордости всех тех ребячьих глаз, которые остановились на его плечах, которые он должен в чести принести к отцу,

и — в страхе, что вдруг, как обещал, спокойно, отцовским абсолютом, папа скажет, — «домой!» —

Отец ждал сына молча. Сын подошел. И молча вдруг отец — впервые в жизни — ударил сына по затылку так, что шапка съехала на нос. Отец поправил шапку на голове у сына, взял левою рукою сына за здоровое ухо и, молча, ничего не говоря, направился с сыном к дому.

Сквозь пропасти позора Андрей слышал, как крикнул староста Сидор Наумович:

— Сенька, подь сюды!..

В тот день японцы были выпороты всем родительским селом.

Доктор Иван Иванович вел сына за ухо, едва касаясь уха, со всяческою осторожностью, — пред собственной совестью доктор мог сказать, что больно он не сделал сыну, что подзатыльник дал он исключительно для поощрения крестьян, из своего демократизма, сознательно коснувшись только шапки сына, но не головы, чтоб шапка съехала на нос «герою», — и также перед совестью своей сын знал: весь в синяках пришел домой он прошлым воскресеньем, все тело ныло в боли, но он, Андрей, был счастлив, — отец тащил домой за ухо, и боли не было, — и как же больно, смертно больно было всему существу.

В четыре часа дня в тот день в помещении земской управы по инициативе князя Верейского и Бабенина собиралось инициативное собрание для организации Камынского общества Красного креста и обсуждалось предложение Николая Евграфовича о сборе денег среди населения для закупки двуколок на предмет перевозки раненых.

Вечером на квартире доктора Криворотова собирались интеллигенты и провожали агронома Дмитрия Климентьевича Лопатина, мобилизованного в маньчжурскую армию. Дмитрий Климентьевич пришел совершенно незнакомым и нереальным — в офицерской форме. Сняв в прихожей шинель и папаху, рядом с шинелью на вешалку повесил Дмитрий Климентьевич кобуру с револьвером и шашку. Затемно уже к Андрею пришли Климентий Обухов и Ванятка Нефедов, — Климентий единственный не поротый в Чертанове. Друзья утешались тем, что порото было все Чертаново. Втроем они, когда гости уселись в столовой, всласть в прихожей

налюбовались на настоящие саблю и револьвер, — так всласть, что у Андрея даже отлегло от сердца.

В столовой говорились речи. Грустную речь произнес Никита Сергеевич — о том, что японцы победят Россию, должны победить. Андрей, Ванятка и Климентий сидели на корточках за дверью, — и всем троим им стало приятно, что японцы победят, — «так городским и надо!..» — Заговорил речь Иван Иванович, говорил долго и невразумительно.

— Итак, — закончил он свою речь. — Правде надо глядеть в глаза. Я убежден, что Дмитрий Климентьевич вернется из этой авантюры цел и невредим. И — однако, что бы ни было, — пусть кости погибших на маньчжурских полях будут залогом светлого будущего нашей земли, обильной, богатой и — и неустроенной!..

Маньчжурские поля, конечно, казались столь же необыкновенными, как слова Ялу, Нагасаки, Ито, Тоги, — и над белыми русскими костями летали там голошеие майн-ридовские кондоры...

Иван Иванович после своей речи выходил на парадное и на кухню, слушал мороз, поправил занавески в гостиной и в столовой, — и в столовой запели, —

«Вихри враждебные веют над нами»...

Нежданно-негаданно у крыльца зазвенели бубенцы, проскрипели полозья, — на тройке прикатил помещик Вахрушев, также мобилизованный в армию, также в офицерской форме. Он загромыхал на весь дом кавалерийской саблей и зазвенел шпорами. Он попросил разрешения не раздеваться. Он на лету поцеловал у хозяйки руку. Он заехал проститься, он хотел условиться с Дмитрием Климентьевичем Лопатиным о дне отъезда «на театр военных действий», чтобы не скучать три недели в поезде. В шинели, бряцая шпорами, он вомчался в столовую, ему налили стакан вина. Он оглядел всех мутным глазом, крикнул не то предостерегающе-злобно, не то злобно-иронически:

— За веру, царя и отечество!

Выпил залпом, разбил стакан о пол и исчез, прямо с крыльца прыгнув в сани, крикнув в полете кучеру:

— П-шел, желтолицый! — к Верейскому!

Мимо Камынска на Дальний Восток шли длинные поездные составы, состоящие из одного-двух желто-синих вагонов первого и второго классов, из красных товарных вагонов с белыми надписями «сорок человек — восемь лошадей» — и из платформ с пушками, покрытыми чехлами. На станции солдаты бегали в буфет за кипятком и за водкой, товарные вагоны ревели песнями, главным образом, тем, что —

«Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...»

В классных вагонах за громадными зеркальными стеклами окон на столиках стояли бутылки. Около бутылок в расстегнутых мундирах офицеры играли в карты. Эти вагоны не пели.

Поезда шли по рельсам Витте. И по этим же рельсам с Дальнего Востока пошли невероятные слухи, — об офицерской игре в кукушку, например, когда офицеры в дальневосточных ночах и в желтолицей скуке, напиваясь жженки и грога — офицерских напитков, тушили в комнате свет, завязывали глаза всем, кроме одного, — этот один бегал по комнате, кричал «ку-ку», а все остальные стреляли из револьверов по направлению крика «ку-ку». И по этим же рельсам стали приходить слухи о совершенно необыкновенных и особенных кражах, продажах, хищениях на Дальнем Востоке — о «гомерических». Гомер же был уже известен Андрею Криворотову.

Февральские метели сменились над Камынском мартовскими ручьями, давно уже прилетели грачи. В мартовскую ночь тогда на многих заборах в Камынске, даже на воротах казарм караульной роты, где помещался призывной пункт, даже на парадных Верейского и Федотова, — расклеенными оказались стихи, размноженные явно на «Рэнэо» земской управы, —

Вынул ты жребий мне дальний.
Смерив грудь, крикнул — гож!..
Что ж ты стоишь так печально?
Ведь в царскую службу пойдешь!
Правда, сынки богатея
Подмажут кой-где кой-кого
И дома остаться сумеют,
Ты же пойдешь. Ничего!
Верно, рекой разольются

Мать, твой отец иль жена, —
Ну, да небось обойдутся, —
Царская служба нужна!
Ведь сила-то царская в войске,
Нужно, чтоб пулей, штыком
Ты расправлялся геройски
С братом своим мужиком.
Если, забитый, рабочий
Вздумает вольно вздохнуть,
Гибнуть за грош не захочет, —
Целься верней ему в грудь.
Ну, если вспомнишь, бывает,
Как это братья твои
Тяжким трудом добывают
Хлеб для голодной семьи,
Как их теснят, угнетают,
Как богатеи из них
Слезы и пот выжимают, —
Вспомнишь далеких родных,
Вспомнишь, быть может, — «Придется
Несть самому этот гнет!» —
Сердце до боли сожмется,
Стыд щеки кровью зальет.
Совесть прогонит отвагу,
Дрогнет на братьев рука...
Помни устав и присягу, —
Бей бунтаря-мужика!..
Правда, к присяге-то этой
Силой тебя подвели,
Против Христова закона
Клятву попы завели...
Поп не видал, как с дворянством
Царь кровь народную пил, —
Жертв крепостного тиранства
Разве не поп хоронил?
Разве не поп равнодушно
Связанных в церкви венчал,
На смерть пороли в конюшнях,
Поп-то чего же молчал?
Он не видал, как меняли
На кобелей мужиков...

. . . .

В то же утро исправник Бабенин проследовал к ротмистру Цветкову, а от Цветкова вместе с Цветковым — к предводителю дворянства Верейскому, а затем Верейский, Цветков и Бабенин приехали в земскую управу к председателю управы Павлу Павловичу Аксакову.

Павел Павлович разводил руками, говорил весело:

— Ничего не могу понять!.. «Рэнэо», действительно, управский. Его крутит всегда управский сторож Нико-

лай, кривой хрыч. Я его допрашивал с пристрастием, — говорит, ни вчера, ни третьего дня никто ничего на «Рэнэо» не крутил. Я этого хрыча знаю, — не врет, уверен... А стишки, говоря между нами, правдоподобные, не без юмора.

— Павел Павлович, — сказал ласково князь, — говорить о правдоподобии данных стихов во время войны... Ротмистр и Николай Евграфович совершенно правы, — эти стихи — крамола... Я просил бы вас, Павел Павлович, опечатать ваш... инструмент для размножения бумаг...

В тот день и князь, и Бабенин, и Цветков тщательно переписывали стихи в своих рапортах по инстанциям, — кроме них переписывал стихи так же тщательно Афиноген Корнилович Разбойщин — не в донесении, но в доносе. А через два дня доносили в губернию Цветков и Бабенин, что —

> «...в трактире Козлова неизвестные личности, по всем вероятиям рабочие из железнодорожного депо, пытались вышеуказанные стихи петь на мотив песни «Вышли мы все из народа»...

Тогда же, в сумерки и в неурочный час, чтобы потише и незаметней, пришли к Ивану Ивановичу Криворотову чертановский староста Сидор Наумович Копытцев и корзинщик Иван Лукьянович Нефедов, Ваняткин отец, — прошли через двор на кухню, сняли шапки, поклонились, сказали:

— Нам бы барина, скажи, мол, чертановские пришли, мол...

Иван Иванович позвал в столовую. Крестьяне стали у двери, с шапками в руках.

— Садитесь, господа, — сказал Иван Иванович.

— Да мы ничего, мы уж так... — сказал Сидор Наумович.

— Садитесь, я говорю! — прикрикнул Иван Иванович. — Раздевайтесь. Настя, чаю!..

Крестьяне сняли поспешно полушубки, положили их у дверей, сели к столу, на краешки стульев.

— Чем могу служить? — сказал Иван Иванович. — Рад видеть у себя в гостях... Настя, подайте к чаю белого хлеба и сливочного масла!.. Итак, господа?..

— Мы, между прочим, конечно, без пункта, проходили мимо, решили обеспокоить... — сказал Сидор На-

умович. — Как, мол, у вас насчет сена?.. Говорят, жеребчика нового купили, опять же коровка...

Иван Иванович оживился, сказал:

— Сено мне, действительно, нужно, до весны не хватит воза два... А почем? — хорошее, луговое?

— Да мы не продаем, мы так... — сказал Сидор Наумович. — Сено у нас самих давно кончилось, считай с Рождества соломой кормим. Об этом пункте и разговору нету...

Помолчали.

— Вы вот, Иван Иванович, попечителем нашей школы ходите, премного вам благодарны, а я сельский староста, — назначили меня и хожу в старостах, маюсь... — Сидор Наумович помолчал. — Мальчишек в тот раз, как они в войну играли, как вы велели, всех перепороли...

Помолчали.

Сказал Иван Иванович, строго:

— Вы вот что, ребята, — туда-сюда языком болтать бросьте, — я вас насквозь вижу, — говорите, какое у вас дело? — А ребятишек мы все пороли по общему сговору.

— Вот мы и говорим, по согласию, — сказал Сидор Наумович. — А дела у нас нету никакого, война, мужиков на войну гонят, — вот мы и вспомнили про порку... Читали, может, на улицах, на заборах стихи печатали про новобранцев?..

— Это какие стихи?

— Да так, мол, и так— выбрал, дескать, ты жребий суровый...

— Ну, читал. А что?

— Ничего... не слыхать, кто сочинил-то их?.. У нас в Чертанове тоже расклеивали, некоторые старички их наизусть выучили... Интересно, кто такие стихи сочинять умеет, — не слыхали?..

— Нет, не слышал, не знаю, — и знать не желаю, и вам не советую!

— Мы, конечно, так, между прочим... Дело к весне идет...

Сидор Наумович и Иван Лукьянович выпили по чашке чаю, чашки опрокинули, на донышки положили огрызки сахара, — до хлеба и масла не дотрагивались. Благодарили, кланялись, извинялись.

Ушли.

Шли молча, глядя в землю, по сторонам не оглядываясь, — пошли не через мост, но через овраг, по полю. В поле остановились, оглянулись кругом, глянули невесело друг на друга.

— Разве он скажет?

— И знает, да не скажет!..

Глаза Ивана Лукьяновича стали очень печальными, —

— Если бы знать, знать бы ежели, — пойти да и спросить... Пишут в стихах, а до конца не дописывают, вишь ты, что делать-то? — делать-то что мужику, чтобы правду найти и с голоду не сдохнуть?!

— Не говорит...

— А ведь здешние, наши, — сказывали, на управской машинке отпечатано... Узнать бы, кто отпечатал, спросить бы, чтобы сообща, чтобы объяснили...

Иван Лукьянович помолчал. Печаль сошла с его лица. Глаза стали злыми и действенными. Сказал:

— Не скажет!.. уух, темнота!.. и глаза есть, и голова есть, и руки есть, и сила есть, — уух, темнота!.. — ведь тут, возле нас ходят, может, нас ищут, — а не найдешь. Ну что ты теперь мужикам скажешь, раз они нас с тобой в ходоки послали?.. — Так бы взял бы сам себя за свои глаза и дернул бы за них, чтобы темноту с них сдернуть!..

И в это же примерно время к Афиногену Корниловичу Разбойщину приехал неожиданный гость, студент.

Ипполит, сын Разбойщина, одинокое существо и тем не менее существо любопытное, которому разрешалось уже дружить с Николаем Бабениным, узнал о приезде гостя от кухарки утром, когда папа и мама еще спали, — приехал, мол, ночью, нежданно-негаданно, и спит сейчас в гостиной на диване, — а сам-де — студент и из одного города с папой, с папиной родины...

Ипполит пробрался в гостиную.

На спинке стула висела потрепанная и мятая, никак не похожая на папины вицмундиры, студенческая куртка, на стуле лежали также мятые синие диагоналевые брюки с порванными штрипками. Стул загораживал лицо студента. «Студент» — было словом таинственным.

Ипполит сделал шаг в сторону на цыпочках, чтобы поглядеть на нежданного гостя, увидел бодрые, веселые глаза — и испугался, замер на месте преступления. Гость изобразил на лице ужас, передразнивая Ипполита, и поманил его таинственно к себе пальцем. Ипполит покорно подошел.

— Как зовут? — спросил дядя.

— Ипполит... Поля...

— Ага. Так. Ипполит? Пороха еще не выдумал?

— Нет, — ответил испуганно Ипполит.

— Я и вижу, — сказал студент. — Куришь?

— Нет...

— Даже тайком с товарищем? — ни разу?

— Один разик...

— И врешь, восемь раз курил. Я по глазам вижу, надо полагать, ты врун. Ты — как? — народник, анархист или, быть может, даже социал-демократ?

— Я не знаю.

— А слова эти знаешь?

— Нет, тоже не знаю...

— Ага. Так. Научим. Иди поищи для меня папиросу.

Ипполит — в совершенном разрушении мироздания — пошел в запретный папин кабинет и вернулся с пустыми руками.

— Там заперто на ключ.

— Где?

— У папы...

— Ага. Так. Закономерно!.. — Я думал, у тебя свои есть... — студент порылся в брюках, вынул из кармана три копейки. — Беги в лавку, купи — три копейки десяток — «Трезвон» или «Тройку». Отцу — ни гу-гу. Я тебя сейчас буду отучивать от курения.

Мироздание рушилось: Ипполит, не боясь родительской порки, первый раз без разрешения переступал порог калитки, — «благородный» мальчик — и в лавку!..

Гость Леонтий лежал по-прежнему, когда вернулся Ипполит. Дома еще спали.

— Ну, закуривай, — сказал Леонтий. — Нет, не так. Кури, как я. Кури и затягивайся. Глубже. Полным ртом. Так... Теперь бери вторую папиросу. Так... Что? тошнит? — все равно, кури. Бледнеешь? — не можешь? — тошнит?..

— Да...

— Брось и знай, — если еще раз закуришь, я тебя насквозь по глазам вижу, — я тебя пять папирос подряд курить заставлю, рвать будет, — все равно курить заставлю, а кроме этого отцу все расскажу. Ступай, выпей холодной воды. Завтра начну учить тебя — как порох выдумывать.

Ипполит был пухл, розовощек, круглолиц. Мироздание, созданное отцом, рушилось. Дядя студент был необъясним и великолепен. Ипполит подчинился дяде, голова от папирос действительно кружилась до тошноты, — но именно папиросы и связывали кругом Ипполита, сделав дядю студента — повелителем.

Проснулся папа, проверещал тенорком из спальни:

— Матрена, воды в умывальник!..

Папа в халате, еще до кофе, прошел в гостиную к студенту, плотно прикрыв за собою дверь. Ипполит сел на сундук в прихожей — около окошка на двор и у двери в гостиную.

— Леонтий Владимирович, — говорил папа, — сейчас нету никаких каникул, время напряженное, империя находится в состоянии войны. Вчера ночью я не успел задать вам вопроса, вы все шутили, — почему вы оставили университет? — Мне это крайне важно знать.

Дядя Леонтий молчал, — должно быть, курил и затягивался.

— Вам неудобно сказать? — спросил папа.

— Да нет, не очень, — иначе, должно быть, сюда не заехал бы, — ответил дядя и добавил безразличным голосом, — выслали меня сюда под надзор полиции.

Теперь замолчал папа и крикнул затем, как кричал на «мужиков»:

— Как?! каким образом?!

— Очень просто, — как высылают.

Папа спросил шепотом:

— Вы... как это, вы что же, народники или — как там — марксист?

— Это второстепенно.

— Нет, это крайне важно!.. вы же знаете мое служебное положение!.. Я должен знать, кто вы...

— Афиноген Корнилович, я уже сказал, — выслан под наздор полиции. Ваше служебное положение —

я узнал только вчера — от вас. Вы же некогда учились в университете. Я помнил вас студентом в нашем городке. А здесь у меня нет ни единой живой души... Земский начальник, — то есть тоже разновидность полиции, — никак не ожидал!.. А стало быть, вам известно, что, во-первых, допрашивали меня уже достаточное количество раз с пристрастием и без пристрастия, и вам утруждать себя в этом едва ли нужно, а во-вторых, еще в Библии сказано, что и камни иной раз вопиют, и мне казалось, что вы хотя и начальник, но все же земляк. Вопрос ясен. Ночи еще холодны и мокры, на улицах сыро, — а сейчас утро. Я могу через четверть часа покинуть ваш дом, — или, точнее: не то что могу, а — должен буду покинуть, ибо мне нечего делать — ну, с теми камнями, которые не вопиют... Не забывайте, что и я, как земляк, могу допросить — с пристрастием и без пристрастия...

— То есть — как? — спросил папа.

— Очень просто, — именем элементарной человеческой честности вашего отца, ваших сестер и младших ваших братьев, нищенствующих у нас на родине, — какой процент порядочности — ну, хотя бы в работе земского начальника?..

Кто-то из земляков ударил кулаком по столу. Изза двери потекла тишина.

— Я прошу вас, — зашептал отец, — я прошу вас, господин...

Леонтий перебил папу папиным голосом:

— ...господин Шерстобитов, — я прошу вас оставить мой дом... Так, что ли?!

— Нет, зачем же так крайне резко? — сказал растерянно папа, — так же, должно быть, как Ипполит, когда дядя студент спросил его в лоб о курении. — В столовой готовится чай...

— Нет, совсем не резко, но логично, — сказал Шерстобитов безразличным голосом. — Я сейчас оденусь и уйду. Скажите на всякий случай вашей местной полиции, чтобы особенно меня не трогали и не трепали, — все-таки я у вас ночь ночевал... Дайте мне две папиросы, ибо свои я выкурил, а эти две будем считать лекарством...

Ипполиту показалось, что под ним поплыл сундук.

Дядя продолжал:

— Будем считать их лекарством... Я оденусь сейчас и пойду искать себе в городе крышу. Если хотите, можете также пойти со мною к жандарму и к исправнику, — как их? — Цветков и Бабенин? — я должен представиться им, а вы сдадите меня с рук на руки...

Папа — почти рысью, поддерживая обеими руками халат на животе, никак не заметив Ипполита, — пробежал в спальню. Он крикнул из спальни:

— Ипполит, возьми, отнеси папирос дяде!..

Дядя Леонтий, по воле которого папа бегал за папиросами, как Ипполит, — дядя Леонтий был необъяснним и великолепен.

— Дядя Леонтий, — прошептал Ипполит заговорщицки, — а жить вам лучше всего будет у Никиты Сергеевича Молдавского, — там все порядочные люди живут — революционеры...

— Ага. Так... Значит, слово — революционеры — ты знаешь?

— Да...

— Откуда?

— От папы...

— А что это значит?.. — это слово?

— Папа их называет мерзавцами, а из его же слов выходит, что они — порядочные люди...

Дядя Леонтий и папа вместе ушли за калитку.

Папа вернулся домой в одиночестве. Папа крикнул из кабинета угрожающим криком:

— Жена, водки!.. Из Маньчжурии пришли опять неприятные вести!..

Глава пятая

«...ИМЕНЕМ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОРЯДОЧНОСТИ...»

В городе произошло событие — в город приехал ссыльный — революционер и марксист — и ссыльный марксист поселился у Никиты Сергеевича Молдавского, и революционер ищет частных уроков.

Дамы Бабенина и Шиллер — бывшие артистки — сообщили мужьям за обедами о том, что на прогулке встретили Никиту Сергеевича, а он познакомил их со

студентом Шерстобитовым. Бабенин опустил усы в тарелку. Шиллер взволновался, — он рассудил, что если студент Шерстобитов на самом деле революционер, то, стало быть, человек без предрассудков, а значит, положительно относится к гражданским бракам, и, следовательно, его можно пригласить к себе в гости, но надо предварительно пойти к нему с визитом...

Андрей Криворотов, Климентий Обухов, Анюта Колосова вышли уже из того возраста, когда нет ничего замечательней, как в марте следить за течением ручья, за потоком его, как выбивается он из-под дряхлого льда, студеный, прозрачный, отражающий солнце, — идти вдоль ручья, помогать ему в трудных местах, пройти за ручьем через площадь до оврага, до моста, за которым, изъеденные солнцем, дотаивали остатки Порт-Артура, — остановиться на мосту, ибо дальше за ручьем нельзя уже идти, ибо много уже ручьев слилось в овраге, они шумят в стремлении, они уже сильнее Климентия и Андрея, — остановиться на мосту, но мыслями идти за потоком до реки, до Оки, до Волги, до Каспия... а там на Каспии, в жесточайшей жаре, в жарчайшем солнце, быть может, вот эта капля воды, которая только что пробежала под мостом, поднявшись в воздух паром, отнесена будет ветром в Индию Киплинга, — иль возвращена будет ветром — сюда же в небо над Камынском, чтобы заново начать свой путь...

Климентий Обухов, Анюта Колосова, Михайло — слесарев — Шмелев, Андрей Криворотов — старшие после уроков в школе — пришли к Никите Сергеевичу, оставив лужи на площади и водопады в Кремле своему самотеку. В доме Никиты Сергеевича в тот час пребывало безмолвие. Было около трех, солнце стало залезать в пустую гостиную.

Прошел по коридору человек в студенческой куртке, ничего не сказал, — ребятишки прошептали все сразу, —

— Он!..

Никита Сергеевич разговаривал наверху у себя в кабинете со взрослыми. Минута в минуту в три Никита Сергеевич пришел к детям.

— Никита Сергеевич, — сказал Андрей, — к вам, говорят, приехал революционер.

— Да, в этом доме поселился ссыльный студент, — сказал Никита Сергеевич.

— Покажите нам его, — сказал Мишуха Шмелев.

— Хорошо, — сказал Никита Сергеевич и крикнул на лестницу в мезонин: — Леонтий Владимирович!..

Сверху спустился тот самый студент, который проходил по коридору. Он поздоровался со всеми за руку и сел на подоконник, как атаман.

— Будем знакомы, товарищи, — сказал он. — Какую программу вы намечаете на ближайшее будущее? — ну, естественно, рыбная ловля в первую очередь, с кригою, на суводях, я вас научу. Также, естественно — бабки, как подсохнет земля, а также чижик и клёк. А еще того раньше, — чуть-чуть не забыл, — не сегодня завтра начнется ледоход. Как он начнется, собирайтесь скорее, всех своих созывайте, — пойдем на Козью горку, — так называется, кажется? — будем жечь костры и смотреть на разлив. Ну, а там лето, товарищи, — какая ж общественная программа будет у нас на лето? — прошу, продумайте сообща и предложите мне. А сейчас, если можно, пойдемте гулять, покажите мне город и его достопримечательности.

Достопримечательностей никаких ребятишки не примечали раньше и рассказать о них ничего не могли, — но по городу *товарища Леонтия* водили с усердием и рассказывали всё, что знали. Здесь живет сапожник Галкин, очень дерется шпандырем, когда пьяный. Здесь живет Пенсионер, пристает к женщинам. Там за кротегусами живет фабрикант-немец Шмуцокс, разводит голохвостых догов. На горе живет художник Нагорный, рисует рыцарей и ест гречневую кашу.

Вечером в тот день ребятишки, возвращаясь домой, — Михайло, Анюта, Андрей, Климентий, Ваня Кошкин, Антон Кацауров, — называли друг друга — товарищами. Половодье было — *в программе*, — ребята обсуждали небывалое слово и небывалое дело — *программы*.

Весною, — чтобы лето оставить для реки и полей, а осень иметь на случай провала, — Андрей Криворотов, Ваня Кошкин, Антон Кацауров должны были держать экзамены в гимназию, ехать для экзаменов в ближайший губернский город. Папа-Криворотов сообщил маме при сыне, что он собирается к студенту Шерстобитову, попросит его репетировать сына к экзаменам, и

делает это принципиально, во-первых, для того, чтобы сын наверняка сдал экзамены, а стало быть, покойно прогулял последнее детское лето, во-вторых же, для того, чтобы помочь идее революции в лице ссыльного.

Андрей стал ходить в дом Никиты Сергеевича в семь часов вечера и в девять утра, то есть в часы, когда детей в доме Никиты Сергеевича не было.

И на Андрея пролилась сказка, которую, кажется, знали мама и папа, но о которой никогда не говорили Андрею, — и сказка существовала давно уже, с тех пор, когда в Камынск приехал Никита Сергеевич. Дом Никиты Сергеевича оказался не просто домом, — но домом, в котором была *коммуна*, в котором жили — *коммуною*. Само слово — *коммуна* — звучало как сказка, дом-коммуна!.. Пустой, как казалось детям, с неинтересными людьми, и солнечный, как было на самом деле, дом Никиты Сергеевича — оказалось — жил, полный людьми, которые стали вдруг полны таинственного содержания и необыкновенными, замечательными людьми!..

В угловой комнате внизу жил и все вечера сидел под лампою над книгами Илья Ильич Стромынин — не просто конторщик с фабрики Шмуцокса, но — член коммуны.

В другой угловой комнате внизу жил и рылся в кипах бумаги статистик Нил Павлович Вантроба, о котором и раньше было известно, что он все знает, но который также вдруг оказался — членом коммуны.

Внизу же в комнате за столовой жили не просто чертановская учительница Надежда Андреевна Горцева, переселившаяся из деревни, и не фельдшерица из земской больницы Елена Сергеевна Волгина, но — коммунарки.

Наверху, рядом с Никитою Сергеевичем, жил — товарищ Леонтий.

И не было вечера, чтобы не приезжали и не заночевали в коммуне — учителя и врачи из уезда, фельдшера, лесничие, агрономы. И каждый вечер приходили горожане разных сословий.

Все, кто жил в доме, — жили коммуною. Никита Сергеевич не был главным, он был — старшим среди равных. Никита Сергеевич был молчалив со взрослыми, — он больше слушал взрослых любящим вниманием. В коммуне не было прислуги, — коммунары сами,

по дежурствам, убирали комнаты и готовили обед. Никита Сергеевич каждый день подметал сор за детишками. Никита Сергеевич научил, и мужчины мыли полы в доме шваброю, как палубы на кораблях. Деньги собирались в общее достояние, и из общего достояния покупались книги и отрезы на платье коммунаров, для всех, кроме Никиты Сергеевича, который много уже лет донашивал свою морскую форму, — выписывались журналы и — мешок сахару, мешок муки. Елена Сергеевна и Надежда Андреевна сами шили платья себе и мужчинам рубашки, по вечерам, когда в столовой за самоваром мужчины читали вслух. У каждого в коммуне был свой рабочий режим, и когда дверь в его комнату была закрыта, никто не мог даже постучать к нему. Никита Сергеевич говорил, — «дом мой — крепость моя», — но двери в коммуну не запирались. В коммуне всегда кто-нибудь работал, — и кроме тех часов, когда дом звенел детскими голосами, и от шести до восьми, когда все отдыхали в столовой, — дом пребывал в просторе рабочей тишины. Всегда от воздуха в доме, от чистоты комнат, от звука голосов, которые слышались в доме, исходила бодрость.

Оказалось, что так было в доме очень давно, с тех пор, как Никита Сергеевич приехал в Камынск. Люди менялись, уезжали, приезжали новые, иные приезжали и уезжали по нескольку раз, — Никита Сергеевич оставался на прежнем месте, не старился, прямой, светлый, добрый, строгий и незаметный среди взрослых...

Андрей сидел за столом, покрытым громадным красным листом промокательной бумаги. На подоконнике рядом сидел Леонтий Владимирович.

Леонтий Владимирович говорил:

— Ну, девятью девять, — сколько будет?.. Прижми по два пальца на каждой руке, остальные растопырь. Сложенные сложи, растопыренные перемножь. Сколько будет?

— Сорок девять, — отвечал Андрей и спрашивал: — А вот вы вчера в столовой рассказывали, я чтой-то не понял, — про людей в коммуне...

Леонтий Владимирович говорил:

— Семью семь будет сорок девять, а девятью девять, дурень, будет восемьдесят один. Смотри на мои руки, учись, раз зазубрить не можешь, хотя зазубрить было

бы и неплохо. Надо говорить — не чтой-то, а — что-то... Ну, и представь себе, что все люди, все человечество будет производить только разумные и нужные вещи, не будут, например, делать пороха и пистолетов и не будут убивать друг друга, люди будут размножаться и делать столы, стулья, штаны, сапоги, дома, шарабаны, дороги, — и будут всё делать на фабриках и заводах, где одна машина может наделать столько стульев в один день, сколько и сто человек не наделают, и все сделанное будут складывать, ну, в такие огромные сараи, в сто раз больше, чем ваш соляной амбар... Сейчас, например, Шмуцокс верхом катается и гоняет по охотам, а на него работает триста работниц, — он получает в день, предположим, пятьсот рублей, а Клавдия Колосова, Анютина мама, тридцать копеек. Ну-ка, раздели пятьсот рублей на тридцать копеек... А тогда все будут получать поровну. Работал ты сегодня восемь часов, работал я четыре часа, — всякий труд одинаково почтенен, что столяра, что математика, — идем мы в тот громадный сарай и берем за свою работу кому что нужно, ты — шкап, а я — задачу. А кто не работает, тот не ест, как сказал апостол Павел, — за исключением идиотов, которые не виноваты, что они родились уродами. А так как будут делать только разумные вещи, то вещи будут хорошими, — а также будут разумно трудиться, вещей будут делать ровно такое количество, сколько нужно, лишнего и впрок делать не будут, чтоб не заваливалось. И таким образом людям можно будет работать не двенадцать часов, как у Шмуцокса иль Кошкина, а восемь, семь, шесть и даже меньше. А остальное рабочее время пойдет на книги, на таблицу умножения, на театры, — и все поумнеют. Так как люди будут работать на самих себя, а все люди хотят жить хорошо, то наделают вещей так, что у всех, и у Клавдии Колосовой, и у Мишухи Усачева, дома будут не хуже кошкинского, а еще того лучше, штаны и стулья у всех будут, как у князя Верейского, а юбки еще красивее, чем у Дэки и Родэки. Не будет ни графов, ни баронов, ни Уварова, ни Верейского, а будут все равноправными гражданами и товарищами. И будут все, как товарищи, сердечны и честны друг к другу. А так как никто не будет, как Клавдия Колосова или тот же Кузьма Шмелев, Мишкин отец, сидеть за работой с утра до ночи, а будут читать книги и учить-

ся арифметике не хуже тебя, то, как я тебе уже вдалбливал, будут все знать Пушкина и то, как из воды получается пар, почему получается и почему гремит гром и почему люди должны быть равноправными. Все будут товарищами, а те, которые не захотят сначала, — ну, тех мы посадим в сумасшедший дом, — и все будут еще более честными и умными, чем мы с тобой... Понял?.. Семью семь... Складывай пальцы.

В коммуне Андрей ощутил *время*. В коммуне не просто жили, — в коммуне осмысливали *время*, жили во *времени*, ожидали *время*, обвиняли *время*, ценили *время*. Время оценивалось на смысл его затраты, на сделанное не только за день, но даже за час. Люди жили в движении.

После уроков — Андрею трудно было уходить из столовой. Елена Сергеевна, — ох, какая красавица с такими бодрыми глазами и в таком добром, именно добром, синем суконном платье, — она не просто устала от перевязок в больнице и от ночного дежурства, она помогала людям возвратиться к труду и устала, приняв на себя весь тот труд, который она вернула людям и который был бы потерян, если бы ночью в больнице не ходила б она от койки до койки больных, — и разве это усталость, когда все это *средство*, как она сказала при Андрее... Конторщик Илья Ильич Стромынин, — он сидит над книгами, чтобы догнать упущенное *время*, получить знания и — стать достойным коммуны, чтобы возвратить эти знания — *будущему*... И молчаливый, и светлый, и добрый до строгости, и строгий до доброты — Никита Сергеевич, который создал этот дом...

Леонтий Владимирович говорил:

— Ну, поучился, поболтали, — иди домой спать. Завтра в девять будем долбить закон Божий, там понять можно только долбежкой!..

Следовало бы уходить давно уже. Надо было бы застать друзей на мосту на тумбах около соляного амбара, пока они не разошлись за поздним часом. Каменные тумбы у моста — не стояли, но лежали, неизвестно сколько лет тому назад привезенные к мосту земством, сваленные и забытые. Тумбы на солнечном припеке оказались отличным клубным местом для ребят.

Андрей говорил на тумбах, — сурово, как пророк, и таинственно, как фокусник:

— Ты, товарищ Анка, и ты, товарищ Минька, — вы будете жить в доме лучше Кошкина и Шмуцокса, а одеваться будете, как Виталий Аристархович и как Дэка-Родэка, а Виталий Аристархович больше князем не будет. Все будут поровну трудиться и будут делать только разумные вещи, и твоя мамка, товарищ Анка, жалованья будет получать сколько Шмуцокс и больше половины дня будет сидеть дома, читать книги, чтобы стать прямою.

Климентий молчал, молчала изумленно Анюта. Молчал Ванятка Нефедов.

Мишуха Шмелев говорил удивленно:

— О?!

Егорка Коровкин сказал:

— На-кось, выкуси! — и подставил дулю под нос Анюты, — так тебе и жить, как Кошкины или мы!..

Антон Кацауров сказал:

— А ты почем знаешь? — чай, они не дурее тебя, а твой отец такой же хам, как и Шмелев, купец толстопузый. Разбогатеет товарищ Минька и будет богаче твоего отца.

Сказал Андрей Криворотов:

— Да нет же, не надо богатеть, наоборот, наш соляной амбар перестроят в сто раз больше, все будут носить туда, кто что наделает, и все будут брать оттуда, кто что заработал. А которые будут мешать, тех — в тюрьму!

— Соляной амбар — наш, — сказал Коровкин, — захотим мы его отдать или нет, еще неизвестно.

— А мы тебя — в тюрьму!

— А я Кольке Бабенину пожалуюсь.

— А мы тебе за ябеду морду раскрасим.

Ваня Кошкин сказал рассудительно:

— Да что ты против всех делать будешь? А с Андрюшкой и с Антошкой — весной мы поступим в среднее учебное заведение, они в гимназию, а я в коммерческое, а потом мы станем студентами, а все студенты — бунтовщики.

Спросил строго Мишуха Шмелев:

— Когда ж это будет, чтобы всё поровну?

— А вот... война с японцами кончится...

Коровкин крикнул в азарте:

— Ты что — опять за японцев, как зимой, когда в Порт-Артур играли?! тебя тогда отец мало выдрал?!

Андрей смутился. Климентий сказал Андрею строго:

— И чего ты болтаешь зря?!

Климентий вообще молчал.

Андрей опять сидел за столом, покрытым громадной промокательной бумагой, на подоконнике рядом сидел Леонтий Владимирович. Леонтий Владимирович говорил:

— Ну, теперь долби: «Птичка божья не знает ни заботы, ни труда»...

— ...«Хлопотливо не свивает долговечного гнезда»... А я чтой-то не понял, когда ж это будет?..

— Не — чтой-то, а — что-то. Что именно?

— Когда все начнут сносить всё в эти сараи, а Клавдия Колосова будет получать столько же, сколько Шмуцокс?

Леонтий Владимирович ответил не сразу и без шутки:

— Точно тебе сказать не могу. Что касается Шмуцокса, с ним мы скоро поспорим, — а когда вот построим сараи, — это не очень еще скоро... Но — построим!.. А что нам надо делать, чтобы скорее построить, — об этом я тебе скажу точно. Никогда не надо жить, откладывая на завтра то, что можешь сделать сегодня, и не надо дожидаться этого завтрашнего дня. Надо быть образованным и честным, и надо всем, чем каждый из нас может, — надо помогать, чтобы завтрашний день был как можно скорее. Надо быть честным, храбрым и убежденным, — надо знать, что это — то есть твои амбары — обязательно будет, надо знать и надо делать...

— Никита Сергеевич — тоже знает и не ждет? — спросил Андрей.

— Ах, Никита Сергеевич!.. он знает, делает и — ждет, — ждет большее количество лет, чем твоему отцу от роду... Как будет хорошо, если он дождется...

Андрей засиделся в столовой, — давно уж пора было б идти на столбы, — но в столовой Никита Сергеевич выставлял зимние рамы, из сада в столовую должны были двинуться весна, запахи земли, весны, должны были заполнить столовую, — и Андрей с Леонтием Владимировичем ковырял замазку дотемна, пока не открыли рам, пока не сказал Леонтий Владимирович, что пора спать.

Андрей вылез из окна в сад навстречу весне, пошел садом по просохшей дорожке, застрял около Надежды Андреевны, помогал ей рыть клумбу под цветы. В сад вошел Леонтий Владимирович, с можжевеловой дубинкой в руках, с которой он ходил по городу, — сказал:

— Ты еще здесь болтаешься? — марш отсюда!

Леонтий Владимирович вышел за калитку вместе с Андреем.

— Ты куда же теперь?

— На тумбы.

— По дороге.

Тумбы пустовали. Леонтий Владимирович пошел дальше, в темноту, к соляному амбару. Андрей присел около тумб в надежде, что придет кто-нибудь из товарищей. Тумбы отделялись от соляного амбара площадью, амбар был на возвышении. Андрей долго видел голову Леонтия Владимировича на фоне зеленого, как прудовая заводь, неба. По мосту прошел Артем Обухов, отец Климентия, — постоял у моста, оглянулся во все стороны, направился к соляному амбару, вслед Леонтию Владимировичу, — и опять долго виднелась голова на зеленом небе. Андрей видел, что еще чья-то голова прошла по небу с другой стороны площади, от станции, — и показалось, что вспыхнул на секунду и потух спичечный огонек в развалинах соляного амбара. И тогда со дна оврага на мост к тумбам выполз Климентий.

— Твой папа и товарищ Леонтий сейчас пошли в соляной амбар, ей-Богу! — крикнул Андрей.

— И чего ты врешь на всю улицу? — ответил Климентий.

— Я не вру, я сам видел, головы на небе.

— А раз видел, зачем орешь.

Климентий сел рядом с Андреем, степенно, как старик.

— Все учишься и книжки читаешь?

— Да.

— А я на станции пропадаю.. И интересные есть книжки?

— Очень интересные... Товарищ Леонтий сказал, — точно неизвестно, когда будет, — а что делать, об этом он сказал точно. Нельзя жить, откладывая на завтра все, что можно сделать сегодня...

По мосту прошел еще человек — Григорий Васильевич Соснин, чертановский учитель. Андрей примолк. Григорий Васильевич постоял у моста, свернул к соляному амбару.

— Пойдем, посмотрим, — шепотом сказал Андрей.

— И смотреть нечего, — сказал Климентий. — И чего ты все время болтаешь зря и нос суешь, куда не надо... Что в интересных книжках-то написано?..

Андрей ушел с тумб, когда небо стемнело окончательно, пересказав Климентию все прочитанное. Климентий остался один. Он опер локти о колени, скрестил руки, на руки положил голову, дремал, караулил весеннюю ночь — до тех пор, пока — обратным путем из соляного амбара — пошли поодиночке отец, молотобоец из депо Воронов, Григорий Васильевич, Илья Ильич Стромынин, Леонтий Владимирович.

Леонтий погладил голову Климентия...

— Ну, как? — не уснул?.. С тобой тут Андрей сидел?

— Сидел... болтает он все зря.

Через день, когда Андрей сидел за промокательной бумагой, Леонтий Владимирович сказал почти такими же словами, как Климентий:

— Ты, между прочим, Андрей, зря ничего не болтай.

— Я и не болтаю, — ответил Андрей. — А Никита Сергеевич, между прочим, всегда учил, что говорить и думать надо только правду...

— Это верно — правду, — сказал Леонтий Владимирович, — да только правда-то не для всех одинакова. Другу, товарищу, с которым у тебя одна правда, говори всегда все до конца, иначе — предатель. Врагу — никогда ничего не говори, иначе — опять предатель. Понял? — А если сразу не знаешь, кто друг, кто враг, — предварительно молчи и спрашивай у меня, я тебе друг, то есть буду говорить только правду...

В мае Андрей Криворотов, Иван Кошкин, Антон Кацауров держали экзамены, выдержали, но осенью не поехали в губернский город учиться: на империю надвигалась революция, ее ждали все.

На Дальнем Востоке в мае было сражение при Тюренчене, и русские войска были разбиты. В июне сражались при Вафангоу, и русские войска были разбиты. В июле 15-го числа, вслед за предшественником Сипя-

гиным, бомбою был взорван министр внутренних дел фон Плеве. 12-го августа был добит японцами порт-артурский русский военный флот. 24-го августа начался бой под Ляояном, русские лагеря были разгромлены. В ночь с 8-го на 9-е октября на смех всему миру адмирал Рождественский принял в Немецком море английских рыбаков за японцев, стрелял в них, но попадал, главным образом, в свои собственные корабли. В октябре же Куропаткин сражался вновь и разбит был на реке Шахэ. 6-го ноября в Санкт-Петербурге собрался самовольный съезд земских деятелей и заговорил о конституции. В ноябре ж император Николай под своим председательством собрал совещание о введении народного представительства и закончил совещание — шампанским, но не представительством.

Наступала зима. Наступал новый, 905-й год.

12 декабря его величество Николай то ли обещал, то ли нет государственные реформы в будущем. 20-го декабря под Рождество и под Новый год со всеми войсками, пушками и остатками флота сдался японцам Порт-Артур. В России была старая патриотическая солдатская песня, начинавшаяся словами, —

«Дело было под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра...»

Вдруг повсеместно, и в трактире Козлова в частности, запели на мотив Полтавского дела:

«Дело было под Артуром,
Дело скверное, друзья,
Тоги, Ноги, Камимуры
Не давали нам житья!..»

Мимо Камынска шли поезда с Дальнего Востока, везли раненых и — «гомерические» — вести о пьянстве офицеров, о развале в армии, о воровстве и взятках.

Новый год наступил. Очень крепко держались крещенские морозы.

3-го января в Санкт-Петербурге забастовал — военный, металлургический — Путиловский завод. 9-го ян-

варя в Санкт-Петербурге на площади перед Зимним дворцом расстреляли рабочих, — в тот день в рабочем Питере строились первые русские баррикады.

10-е января в Камынске было очень морозным, дым из печей столбами поднимался в небо, газеты пришли к сумеркам. И в сумерки показалось, что Санкт-Петербург вовсе не за тысячи верст от Камынска, но совсем рядом.

Бабенин проследовал к Верейскому.

— Ваше сиятельство, слышали?

— Да, голубчик!..

— Революция.

— К несчастью, на самом деле так...

В штатском платье, то есть переодетым, хоронясь под заборами, пришел к Верейскому жандармский ротмистр Цветков.

— Революция, ваше сиятельство.

— Да, голубчик.

— Ваше сиятельство, может быть, сядем поиграть в преферанс?..

Разбойщин на замок запер калитку, на замки и засовы запер все двери в дом, на замок заперся в кабинете, через дверь крикнул жене, что его нету дома, — вынул из книжного шкапа водку — и не пил.

Доктор Криворотов взял в руки голову жены, положил женину голову к себе на плечо, сам склонился на плечо жены — и заплакал.

В трактире Козлова и Общества трезвости всю ночь сидели люди, до рассвета, в молчании, как на станции. В Чертаново петербургские вести пришли в час, когда свет в избах был уже погашен, — и избы одна за другой начали вновь светиться оконцами. Люди не спали.

Страна фабрик и заводов ответила на 9-е января забастовочной волною, прошедшей по всей империи, 4-го февраля в Кремле в Москве против арсенала бомбою взорвали дядю императора и наследника престола — великого князя Сергея. 11-го февраля начался разгром русских армий под Мукденом, закончился к концу февраля, когда по всей империи шли рабочие забастовки...

Новым мартом потекли новые ручьи из-под дряхлых снегов к соляному амбару, за амбар, до Волги, до Каспия, до бесконечности. Климентий Обухов отстал

от компании, пропадая на станции все часы, кроме тех, которые отнимало у него городское — по положению 77-го года — училище. Рельсы уничтожали пространства, катили вести со всех весей империи. Бастовала Москва. Рижские и варшавские расстрелы прошли уже. Бастовала Юго-Западная железная дорога. На станции Камынск обсуждался Всероссийский железнодорожный союз, — инициатором был Артем Обухов. В солнечный май панихидой империи отгремел Цусимский бой. В Москве интеллигенты собирали Союз союзов. В Иванове собрался первый в мире Совет рабочих депутатов. Вилли, то есть германский император Вильгельм Второй, советовал Никки, то есть российскому императору Николаю Второму, — кончать войну; американский президент Рузвельт послал японцам и русским посредническую ноту. В Лодзи произошло настоящее сражение между полицией и рабочими. На Черном море восстал «Потемкин».

Глава шестая

РЕВОЛЮЦИЯ ОТЦОВ

6-го октября — по приказу Казанской — остановились железные дороги всей Российской империи, сразу воссоздав пространства и разъединив мир. Смолк железнодорожный телеграф. Бастовали Сосновицы по соседству с Германией и Ашхабад по соседству с Персией, Тифлис в субтропиках и Архангельск в приполярье, — мукомолы и сапожники, портные и пекаря, металлисты и ткачи, адвокаты и судьи, бухгалтеры и кассиры, — все, все — в первую очередь рабочие.

Еще в январе исправник Бабенин писал по начальству:

> «...а также имею честь сообщить вашему превосходительству, что революция в Камынске в полном смысле слова небезопасна для основного населения города и уезда, нежелательные факты кругом и справиться с ними я мог бы только в том случае, если прислана будет вашим превосходительством на помощь мне самое меньшее сотня казаков»...

Ротмистр Цветков писал:

> «...а во-вторых, имею честь донести до сведения вашего превосходительства, что в полном смысле революция в Камынске и уезде выходит из моих рук, так как революционно настроены все слои местного общества и населения и новых агентов завербовать невозможно, а мои агенты, как жандармские унтер-офицеры, так и секретные, всем известны в лицо и, где бы они ни появились, все кругом них замолкают, а переодетых в штатское унтер-офицеров несколько раз избивали именно потому, что они переодевались по моему приказанию, так как некоторые обыватели полагают, что за избиение в форме одна ответственность, а за избиение переодетых — меньшая. В силу изложенного имею честь ходатайствовать перед вашим превосходительством, в целях правительственных, прислать в мое распоряжение свежих секретных агентов, местному населению в лицо неизвестных...»

С того времени, как появилась на заборах в Камынске песня о том, что «вынул ты жребий мне Дальний», — многие десятки стихов и прокламаций появлялись на камынских заборах, десятки книжечек и книг и журналов прошли по камынским рукам. Еще в ноябре 904 года Павел Павлович Аксаков ездил в Санкт-Петербург на съезд земских деятелей и рассказывал затем не без смущения о санкт-петербургских земских банкетах.

В феврале было первое выступление камынских «радикалов». 18-го февраля император Николай издал туманный рескрипт о привлечении

«достойнейших, доверием народа облеченных, избранных населением, людей к выработке и обсуждению законодательных проектов».

Через день после получения газет с рескриптом в помещении Дворянского Клуба собрались члены камынской общественной библиотеки имени Ломоносова. Были: князь Верейский, Аксаков, Бабенин, даже земский начальник Разбойщин, даже купец Коровкин, Григорий Елеазарович, — были врачи и учителя, в полном составе была коммуна Никиты Сергеевича. Собра-

ние собралось без запроса на то разрешения у исправника. В «повестке дня» значилось:

«1. Вопрос по поводу предоставления правительству резолюции для улучшения библиотечного дела в России согласно указу 18-го февраля.

2. Текущие дела.

Инициативная группа»

Председателем собрания избрали Павла Павловича Аксакова, секретарем — Леонтия Владимировича Шерстобитова. Заговорили ораторы — обо всем, что угодно, не только о книгах, ибо все кругом было плохо. Судя по речам, люди собирались заседать несколько суток подряд.

Попросил себе слова Шерстобитов, был весел и краток, — прочитал резолюцию инициативной группы. Резолюция была веселой, в резолюции было всё, начиная с негодности монархического строя — от отсутствия свободы совести и слова — до необходимости восьмичасового рабочего дня, который дал бы рабочему хотя бы час для книги.

За резолюцией последовало молчание.

Заговорил купец Коровкин, Григорий Елеазарович. Он высказал мысль, что в резолюции много лишнего, не касающегося библиотеки, — и погрозился, что покинет собрание, если председатель не прекратит явного озорства.

Закричали с мест, десятка полтора голосов:

— Просим! просим!..

— Чего? — спросил строго Григорий Елеазарович Коровкин.

— Да чтобы вы ушли!..

— В таком случае я и посижу, — сказал, залившись маковым цветом, Коровкин и сел, взявшись обеими руками за стул.

К двери мелкими шагами и бесшумно пошел Разбойщин, Шерстобитов крикнул:

— Земляк, не бегать! сядьте на прежнее место — и просвещайтесь!..

Аксаков предлагал принять резолюцию за основу, но поручить ему и князю Верейскому ее проредактировать. Шерстобитов предложил весело — голосовать. Сначала голосовали вопрос о том, голосовать или не голосовать, и проголосовали 47-ю голосами — за, 6-тью —

против, при 7-ми воздержавшихся. Затем голосовали самую резолюцию и приняли без поправок 47-ю голосами против 6-ти при 7-ми воздержавшихся. За резолюцию голосовали — не только Шиллер, не только гражданская его жена, но также и жена Бабенина. Резолюцию приняли аплодисментами.

За аплодисментами поднялся со своего места Разбойщин и, бледный, сказал:

— Прошу записать в протокол. Я воздерживаюсь от голосования резолюции как государственный чиновник, который по сути своей обязан быть вне политики и только на страже законности...

К маю всё же прислали Бабенину двадцать пять конных казаков. За чертановским оврагом на поле казаки практиковались в верховой езде, чтоб не разучиться, и с гиком рубили саблями прутья иль глиняных баб, а вечерними сумерками и ночами, по двое, ездили по Камынску и за Камынском. Жандармский ротмистр Цветков, коллежский советник Бабенин — знали и не могли изловить, потому что не было предателей: на Козьей горе, в Монастырской роще, в Загорском лесу — то там, то здесь — возникали маевки, сходки, собрания, читались газеты и книги, обсуждалось будущее, — расплескавшись революция по лесам и рощам, по лугам и реке, точно природа была дополнением к революции. Цветков и Бабенин знали, что чья-то рука организовывала и собирала стихии, — и эта рука была неуловима, ее следы скрывались, быть может, в доме Молдавского, ее следы наверняка уходили в железнодорожное депо. Казаки революцию искали в лесах. 1-го мая не вышли на работу рабочие железнодорожного депо. 1-го мая, впервые с возникновения, со дней «отечественной» войны, не вышли на работу женщины с фабрики Шмуцокса. Бастовала земская управа. Люди разошлись по соловьиным рощам и по полям в первых цветах. «Рука» обозначалась ясно.

Через кремлевскую площадь напротив дома Молдавского располагался дом Цветкова. Он пустовал и безмолвствовал, этот дом. Парами каждые сумерки выходили из этого двора жандармские унтера и приводили с собою — учителей, управских письмоводителей, железнодорожных рабочих, работниц с фабрики Шмуцокса, — приводили туда Григория Васильевича Соснина, Артема Обухова, Клавдию Колосову, — одним ротмистр Цветков предлагал папиросы из серебряного

портсигара, на других кричал, грозясь Сибирью. По ночам ротмистр писал:

«...во исполнение приказа вашего превосходительства... агенты не приобретаются, а волнения в других городах и печать все более и более развращает местное население. В данный момент, например, все местное население открыто собирает деньги на помощь лодзинским рабочим несмотря на то, что Лодзь находится от нас в полутора тысячах верст».

Бабенин доносил:

«...сего числа в 7-м часу вечера, когда денная смена на немецкой фабрике господина Шмупокса выходила, а ночная собралась, чтобы заступить на работу, у ворот среди женщин появились неизвестные мужчина и женщина, по предположительным сведениям, ссыльный студент Шерстобитов и фельдшерица Волгина, в сопровождении мужской охраны из неизвестных лиц. Неизвестные, начав разговаривать с передними, выждав, когда подошли задние и сгустилась толпа, взобрались на штабель досок и обратились к женщинам с речами возмутительного содержания в духе выходимых за последнее время в Камынске прокламаций, частью цитируя из них целые фразы от имени РСДРП фракции большевиков, а также разбрасывали листовки и распространили три экземпляра газеты «Вперед», изъять кои не удалось...»

Ночью того же числа исправник сообщил, что тот же агитатор выступал в паровозном депо.

На следующий день исправник снова писал губернатору о той же агитаторше, собравшей толпу на мосту через Марфин Брод.

«...причем рабочий люд держал себя покойно, но при словах о восьмичасовом рабочем дне прогремело ура. Неизвестная вскочила на велосипед и скрылась в неизвестном направлении...»

От природы Бабенин любил — преферанс, поросенка с гречневой кашей, мягкую мебель стиля Александра Третьего, романы графа Салиаса; он считал себя даже либералом с тех пор, как проживал с артисткой в гражданском браке. Ему было очень тяжело, Бабенину. Он никому не доносил, что даже жена его, пусть

гражданская, изменяла ему, вместе с подругой, гражданской женою Шиллера, — ходила в дом Молдавского, пропадала там часами. Сын Николай отбился от рук и вопил на весь дом «Марсельезу». Утешали лишь дочери. Окончив прогимназию, оставшись из-за революции дома, девушки по семнадцатому году, они никак не были увлечены революцией и увлекались Гришей Федотовым, сыном генерала, окончившим кадетский корпус и отдыхавшим перед юнкерским училищем. Гриша с двоешками катался на лодке и гулял за рекою. Верейский писал:

«...пока брожение не разразилось еще окончательно, но разразится неминуемо»...

Акцизный чиновник Коцауров — в том же Дворянском Клубе — собрал чиновников и предлагал присоединиться к партии Народной свободы, говорил о булыгинской думе, о том, что она, конечно, представляет лишь хвостик свободы, но все же свободы. С места крикнул Шерстобитов, появившийся на собрании без приглашения:

— Хорошо, — хвостик! — но если вы полезете вверх по хвосту, в какое место правительства вы угодите?!

6-го октября началась Всероссийская железнодорожная забастовка, и 6-го же октября в седьмом часу утра, когда менялись смены на фабрике Шмуцокса, обе смены, в дожде и мраке, прошли за реку на луг, там было общее собрание работниц, и фабрика забастовала. Делегатом от работниц на фабрику пришел конторщик Илья Ильич Стромынин. Он принес с собою двадцать три пункта рабочих требований к господину Шмуцоксу. В тот же день в городе казаки отстегали нагайками семь человек женщин-работниц с фабрики Шмуцокса.

Андрей Криворотов в тот день проснулся поздно, — он сдал экзамены в гимназию уже год тому назад, в этом году гимназия открылась в самом Камынске, но занятий в гимназии не было, по революционному времени. За окнами лила серая изморозь. Отец в столовой громко стучал ложечкой о стакан, размешивая сахар, — явно расстроенный, в нерешительности. В доме знали уже о железнодорожной забастовке и о забастовке на фабрике Шмуцокса, — и папа пребывал в домыслах. Андрей слышал уже о партиях и намеревался

быть или социал-демократом, или эсером, вообще революционером, ясных представлений в этих вопросах не имея: отец на эти темы с сыном не разговаривал, считая вопросы о партиях не его делом и тем паче не сыновним за малым сыновним возрастом, — с Леонтием Владимировичем Андрей не занимался уже, сдав экзамены; Леонтий Владимирович был очень занят, его почти никогда не было в коммуне, или он был окружен взрослыми, — и даже с Климентием Обуховым, другом и товарищем, Андрею не удавалось поговорить как следует; Климентий пропадал на станции и отмалчивался, дружба явно иссякала; Климентий упрекал все время друга в болтовне, а сохранение тайны для Андрея действительно было примерно тем же, что сохранение горячего угля в кармане штанов... За окном моросил дождик. Андрей сел против отца в столовой, как отец, громко размешивал сахар в стакане.

— Не шуми, сынок, — сказал папа.

— Забастовка! — во здорово!.. — сказал Андрей. — Папа, что же теперь будет?!

Иван Иванович помолчал, ответил сердито:

— Я не пророк Иезекииль, чтобы на глупые вопросы отвечать, здорово или не здорово... И ты не суй носа не в свое дело. Молод еще!.. Пей чай, пока он есть, и не шуми.

Грязищи развезло за окном неимоверные. Делать дома было совершенно нечего и сидеть дома — не к чему. Посмотреть на забастовку — казалось необходимым. Все эти дни были необыкновенными, когда никак не известно было, что делать, а поэтому ничего у Андрея и не делалось, даже до скуки. Очень захотелось повидать Климентия, расспросить, как и что, поделиться своими соображениями, — сходить вместе на фабрику Шмуцокса посмотреть, как бастуют. Андрей стал в прихожей напяливать на себя шинель и ботики.

— Ты куда? — спросил отец.

— Погулять.

— В этакую-то грязь?

— А ты сам говоришь, что простуды не бывает...

— Действительно, простуды, как таковой, не бывает, но охлажденный организм создает наиудобную среду для развития инфекционных бактерий... Сиди дома.

— Я к Климентию, в козла поиграть.

— Пошли за ним Настю.

Андрей повесил на место шинель, сел у окна заниматься рисованием, — подождал, пока отец углублялся в раскладывание пасьянса. — Оделся потихоньку и вышел в слякоть и изморозь, направился в Чертаново. Улица пустовала. Климентия дома не было. Ванятка Нефедов также отсутствовал, ушел в город. Андрей решил в одиночестве идти на Марфин Брод, через город. Дошел до Кремля. Улицы здесь также пустовали, в мокроте. У съезда с Кремля на Подол стояли два верховых казака. В стороне под навесом часовни расположились наблюдатели. Бородатый казак преградил дорогу Андрею, крикнул строго:

— Эй, гимназистик, тебе куда?!

— Мне?... я прогуляться.

— Ну, тогда гуляй другой дорогой. Ишь, под дождем ему прогулки!

Андрей отошел под навес к часовне. Люди под навесом стояли мокрые, настороженными, злыми, стараясь походить на безразличных.

— Гады и есть скорпионы, — сказал сапожник Галкин так, чтобы слышали все, кроме казаков. — Все дороги обложили, мальчонку и то нельзя по своему делу пройти... .

Из-под горы, с Подола, усталые, вымокшие до нитки, в грязи до колен, поднимались женщины, человек пятнадцать, работницы с фабрики Шмуцокса. Среди них была Клавдия Колосова, мать Анны. Ноги женщин скользили по слякоти съезда, женщины поднимались с трудом, медленно. Казаки поехали навстречу женщинам.

— Смиррна! — заорал бородатый казак. — Ни с места! шагай обратно!..

— Откеда? — коротко, злобно спросил молодой, безбородый, с вихром из-под фуражки, — и наехал на переднюю женщину.

— Не озоруй, охальник, — сказала женщина, пятясь от лошади, поскользнулась и упала на четвереньки.

— Откеда? — спросил тихо чубатый казак. — С фабрики?

— А то откуда же? — с фабрики, с каторги!.. — крикнула женщина, стараясь подняться.

— Аксанов, стегай их! — сказал безбородый, наклонился, свис с седла и ударил нагайкой женщину, упавшую около его лошади.

Казаки хлестали женщин по плечам и лицам. Женщины закричали. Женщины побежали обратно, вниз на Подол, скользили, падали. Казаки гнали их до полгоры.

Люди под часовенным навесом не двигались. Сапожник Галкин шептал побледневшими губами:

— Ух, гады, гады, прости Господи, силы моей нету...

Андрей пришел домой совершенно разбитым. У него дрожали челюсти, и их сводило в зевоту до слез. Он незаметно пробрался в свою комнату. В комнате было темно от дождя. Андрей поспешно переменил белье и с непонятным ему удовольствием надел старые, не гимназические, догимназические штаны и рубашку. Челюсти не переставали дрожать. Андрею хотелось, чтобы дома было, как до гимназии. Вошел отец, спросил грозно:

— Где был?

— Я?.. я нигде... к Климентию ходил, его дома нету... Папочка, пожалуйста, если можно, сыграй со мной в шахматы, — и позволь зажечь лампу...

— Ты чего дрожишь? — я же тебе говорил, что ты можешь вымокнуть. Прими аспирину. Некогда мне играть с тобой в шахматы.

Андрей лег на кровать лицом к стене и заплакал. Все кругом было непроходимо плохо и скучно.

Пришли, тайком выбрались из домов, Мишуха Шмелев и Ивашка Кошкин, — тайком пробрались в комнату Андрея.

— Что делается, что делается, — сказал Мишуха, — забастовщиц на горе казаки пороли!..

— Так им и надо! — сказал Иван.

— И врешь! — сказал Мишуха, — пойди поживи на ихнем месте. Весь город за них плачет!..

— Тоже! — весь город у вас на дворе!.. Мой папаша старику Коровкину говорил, — так им и надо, — а старик Коровкин сказал, — то ли еще будет!..

— Известно, — черная сотня твой Коровкин! — сказал Мишуха, полный яда.

Андрей молчал, лежа на кровати, чтобы не видели его заплаканных глаз.

Сказал примирительно Иван:

— Ребята, мне отец новые карты дал, — давайте играть всяк в свои козыри...

В тот день по всей России забастовали железные дороги.

Ночь под этот день Климентий не спал. С вечера он караулил из-под моста соляной амбар, в кромешном мраке и сырости. Из амбара разошлись к полночи. Леонтий Владимирович, Нил Павлович Вантроба и Илья Ильич Стромынин — в чужих пальто, совершенно мокрые — на велосипедах по грязищам — поехали к Марфину Броду. Отец, молотобоец Воронов, учитель Соснин и с ними Климентий пошли в Чертаново, Григорий Васильевич — в школу, отец, Воронов, Климентий — домой. Мать завесила на кухне оконце, привернула лампу. Все трое — Климентий, Воронов, отец — разулись, надели сухие чулки. Мать согрела самовар, подала студня и черного хлеба. Ели и грелись чаем. Молчали. Во втором часу приехал Леонтий Владимирович, один, забрызганный грязью до бровей, — жадно, грея руки о стакан, пил чай, ел студень. Мать и ему предложила сухие чулки и рубашку, — надел. Стали собираться.

— Мальчонку-то дома оставил бы, — сказала мать.

— Ничего, пригодится, — ответил отец, нахмурился, ласково обнял жену. — Ты, того... не робей!.. Пускай знает, что к чему.

В поле, в непроглядном мраке, хлестал косой дождь. Впереди горели станционные огни, выли и фыркали сменные паровозы. Дождь холодил, но было жарко от ходьбы. Ноги вязли в глине.

Прошли в депо. Депо никак не спало, полное внимательными людьми. В депо собрались все смены. Воронов и отец прошли в конторку, вернулись, вместе с ними ушел Леонтий. Климентий остался у ворот. Кто-то крикнул, как кричат в лесу, переаукиваясь:

— Гасии огнии!..

— Товарищи, сейчас, в данную минуту по всей России останавливаются поезда и громадная армия железнодорожников вступает в борьбу, — и мы, рабочие депо станции... — говорил отец, Артем Обухов.

Отца перекричал решительный, веселый голос:

— Знаем! Чего еще там говорить! гуди в паровоз! начинай-давай!.. Бросай-бастуй!..

Загудел паровозный гудок, прогудел, и стало очень тихо. Забастовка — началась. Шумел дождь. Климентий стоял у открытых ворот. Мимо шли серьезные люди. Из паровозов высыпали шлак, глушили топки, шлак сыпался золотыми искрами. Климентий смотрел в мокрую темноту, куда уходили люди, и видел всю Российскую империю, где по всем железнодорожным путям громадная армия железнодорожников останавливала поезда. Он не думал о том, что где-то, совсем близко и тем не менее в громадной глубине его сознания и его сердца лежит высокая гордость за отца, который громко позвал товарищей к революции, к действию...

Депо пустело. У ворот стали дежурные. Отец, Воронов, Леонтий Шерстобитов долго не выходили из конторки и, вышед, пошли на станцию, в дежурку, не заметив Климентия. Климентий отлично понимал, что дела их гораздо важнее, чем наблюдение за ним, — и был горд, что он также в этих делах. Климентий был один и чувствовал себя со всеми, ему совсем не требовалось задерживать на себе внимание.

В тот день по всей России забастовали железные дороги.

В полдень в тот день на холмах за Чертановом черным дымом загорелась, заполыхала усадьба графа Верейского.

Через станцию Камынск железнодорожники пропускали лишь воинские эшелоны с Дальнего Востока, отвозившие демобилизованную армию. В офицерские вагоны приходили люди в коротких мастеровских куртках, в картузах, низко спущенных на глаза; приходившие предлагали офицерам сдать оружие, — иначе эшелоны дальше не пойдут, а оружие будет отобрано при помощи тех же солдат, которые спешат на родину в эшелонах. Офицеры оружие сдавали. Поезда уходили. Затем, к вечеру на станцию прискакали все двадцать пять бабенинских казаков, — казаки выстегали двоих рабочих, сидевших в буфете первого класса и рассказывавших, как офицеры пугались дружинников. В этот час в железнодорожной сторожке, в версте от станции сидели — Воронов, Артем Обухов, Соснин, грелись у железной печки, в картузах, низко опущенных на гла-

за. Печку топил Климентий. Пришел рабочий Цвелев, сказал:

— Казаки на станции, шарят, двоих отстегали.

Бывшие в сторожке поднялись, вынули из-под лавки шашки, револьверы и пошли в сторону от шпал, дальше от станции, в поле, в темноту. Климентий засунул по револьверу в оба кармана штанов. В темноте расстались. Воронов и Цвелев вернулись в сторожку, дежурить.

— Если понадобимся, — сказал Артем, — знаешь, где найти, там и Леонтий...

— Ээх, мне бы казацкую винтовку, я бы им показал, как людей пороть!.. — сказал Цвелев, уходя к станции.

Все время хлестал косой дождь. Опять шли холодным полем по глине. Впереди был кромешный мрак, сзади горели станционные огни. И из темноты, точно из-под земли, в двух шагах выросли два человека.

— Кто идет?! — крикнули из темноты.

— А кто стоит? — спросил Артем Обухов.

Из темноты крикнули счастливо, —

— Артем, Обухов, — ты?!

— Я.

— Со станции?

— Со станции.

— Григорий Васильевич, учитель, — неужли ж и ты?! — вот бы раньше-то знать! — неужли ж — ты?!

Из темноты подошли вплотную староста Сидор Наумович Копытцев и Иван Лукьянович Нефедов.

— Со станции? с забастовки? — спросил весело староста и приказал Ивану Лукьяновичу: — Ванюша, вот они, видишь, офицерские сабли несут, — открывайся вчистую!

Иван Лукьянович присел, прислушался, приклонился к земле, чтобы от земли оглядеть горизонт, нет ли кого чужого поблизости, — и от земли зашептал счастливо:

— Видели, Уваровка сгорела? — мы сожгли, я!.. Сгорела Уваровка, тю-тю, — мы, я!.. А как стемнело, — сюда пришли. Наших тут — все поле, и чертановские, и одинцовские, и игумновские, со всех сторон станцию караулим, — кто пойдет со станции с офицерскими саблями, значит — свои, забастовщики... Значит, открывайся им и спрашивай. — Иван Лукьянович поднялся с земли, голос его отвердел. — Сожгли. Дотла. Не спо-

рюсь. Одно удовольствие клопов морить! — голос повеселел в радости. — Я тебе скажу, Артем Иванович, откроюсь, и тебе тоже, Григорий Васильевич, — вот бы знатье. Мы к доктору ходили, — вас искали. Нам спросить надо. Без городских обойтись нельзя, на кого налечь, за кого заступиться, — кому земля, кому хлеб, — чтобы сообща нам. Мы в трактир своих людей посылали, в управу, к Молдавскому, — вас искали, чтобы сообща. Вместе нам надо, — потому, — сожгли барина, не спорюсь, удовольствие, — однако комара с одного бока дымом выкуришь, он на другой бок тебе сядет. Надо его еще в самом пруду изничтожить, под корешок... Вы скажите нам, давайте вместе. Скажете?

— Скажем.

Тогда Сидор Наумович присел к земле на корточки, оглядел горизонт и свистнул в два пальца, громко, конокрадским посвистом.

— Что ты делаешь? — крикнули сразу Артем Обухов и учитель Соснин.

— А я своих собираю, они тут в поле лежат, станцию стерегут. Вы не бойтесь. Ежели тут в нашем поле чужой кто затесался либо даже все исправниковы казаки заехали, — так наши с вилами, мы их в темноте на нашем поле всех переколем... А собираю я всех, чтобы все сразу слушали, без спору.

Из темноты собирались крестьяне. Они подходили бесшумно, точно вырастали из-под земли, с разных сторон, с топорами, с вилами, косами. Они были священнодейственны. Они стали кругом. Рядом с Климентием стал Ванятка Нефедов, как незнакомый.

Учитель Григорий Васильевич Соснин заговорил:

— Иван Лукьянович правильно сказал, — выкури комара с одного места, он на другое сядет, — сожгли помещичью усадьбу, помещику в банке ссуду дадут, он новую усадьбу построит, а деньги взыщутся с крестьян...

Климентий пошел за отцом. Опять Климентий оставался на посту, когда отец уходил в соляной амбар, — караулил. Проехал на велосипеде к амбару Леонтий Владимирович, прошли пешком Илья Ильич Стромынин, две работницы с фабрики Шмуцокса и две коммунарки, Горцева и Волгина...

На второй день Андрей застал Климентия дома. Климентий спал на печи, а был уже двенадцатый час.

Андрей едва растолкал Климентия, сидел в шинели у окошка, пока Климентий умывался.

— Ну, здравствуй? — сказал Андрей.

— Здравствуй.

— Где ты все пропадаешь? — Дождик, я к тебе вчера приходил, книга у меня есть новая, я хотел с тобой на Марфин Брод сбегать, посмотреть на забастовщиков, — казаки не пустили, — видел, как Клавдию Колосову, Анютину маму, нагайкой били... Я тебе скажу, домой пришел, никому не говори, — зуб на зуб не попадал, как их били... Мама говорила и будто бы это Никита Сергеевич сказал, — революция это гроза, которая все освежает... ну, как гроза, — перед ней шума нет, душно, пыльно, нечем дышать, а пройдет гроза, шум, гром, молнии, ливень, — и воздух другой делается, все освежается и все легко дышат...

— Кто освежается, а кто и нет, — сказал Климентий.

— Это, наверное, в Москве гроза, — задумчиво сказал Андрей. — Где ты-то вчера был?

— У Ивашки Нефедова, в козла играли.

— И врешь, я у Ивашки вчера тоже был, его самого дома не было... а ко мне потом Мишка с Ванюшкой пришли, играли в свои козыри... Скажи, Клим, гроза или не гроза?

— Кому гроза, а кому — нет... Не гроза, а борьба. Старый мир кончается, новый мир со старым миром борется... Понял?

— Нет.

— Пойди спроси у папы.

— Да я спрашивал, а он сердится...

В тот же день в Чертаново приехали — исправник Бабенин с двумя казаками, земский начальник Разбойщин, волостной старшина Сосков. Лил дождь, деревня была пуста и безмолвна. Начальство прошло в избу старосты Копытцева. Сидор Наумович кланялся в пояс.

— Ну, здравствуй, Сидор, — грозно сказал Евграф Карпович Сосков. — Это что же такое, а?

— Честь имеем! — ответил староста. — Честь имеем спросить, какого пункта касаетесь?

— Ты нешто не слыхал, — имение его сиятельства графа Уварова сожгли...

— Это вы, значит, насчет того пункта, что сгорело имение господина графа Уварова? — сказал облегченно Сидор Наумович и заметно повеселел. — А я думал— насчет податей... не платит народ!.. А насчет пожара — действительно да, ума не приложишь...

На улице в это время к коляске на резиновых шинах, к казакам подошли два подростка, Климентий Обухов и Ванятка Нефедов, — рассматривали с любопытством — резину на колесах, красные казачьи лампасы...

— Пороть — это, конечно, господская воля, и Чертаново можно выпороть, и Игумново, и Одинцово, — а я и ума не приложу, кому ж бы это надобно барина палить. Наши мужики, между прочим, про это и не волнуются, — сгорел, мол, и сгорел барин, помоги ему Бог, — а ежели промежду мужиков какой разговор идет, то — насчет того пункта, как бы подати уплатить в срок... а насчет пожара, — мало ли кто горит?..

В этот же день, 7-го, в земской управе собрался «третий элемент», была принята резолюция:

> «1. Выразить глубокое негодование военным чинам, состоящим во главе казачьей полусотни.
>
> 2. Выразить негодование чинам полиции, произведшим бестактностью действий панику на станции и в городе.
>
> 3. Выразить глубокое порицание городской управе, приютившей казаков в городе Камынске.»

Земский начальник Разбойщин тем же вечером запоздно, вместе с ротмистром Цветковым, пришел к Бабенину. Ротмистр молчал. Говорил Разбойщин, шепотом и очень мягко:

— Я лично уклоняюсь от политической деятельности, как государственный чиновник, но вы можете действовать как частное лицо, и вы можете привлечь через городской суд всех лиц, подписавших резолюцию, к ответственности за оскорбление частной личности...

Бабенин был глубоко расстроен, вполне соглашался с Разбойщиным, но, к сожалению, считал себя лицом государственным, а поэтому находил необходимым предварительно донести по начальству и испросить его указаний.

Еще от прошлого века, наряду с Обществом Народной Трезвости, имелось при соборе в Камынске Добро-

вольное общество хоругвеносцев, председательствовал там Григорий Елеазарович Коровкин. И к Коровкину в тот же вечер после Бабенина пришли Цветков и Разбойщин. Цветков молчал. Афиноген Корнилович говорил доверительно:

— Хотя лично я, как государственный чиновник, обязан от политики уклоняться, тем не менее по крайнему моему разумению полагаю я, а господин ротмистр имеет на то прямые указания свыше, — что настало время для организации действий истинно русских людей. Полиция оказывается бессильной перед крамольниками, даже исправник подвержен революционным идеям, не говоря уже о председателе земской управы, — князь Верейский — и тот оказывается бессильным благодаря природного мягкосердечия... Русский престол в опасности. Должны русские люди стать на защиту царя, отечества и веры, как Минин и Пожарский...

Черная сотня памяти Минина и Пожарского образовалась в Камынске из купцов, огородников, немногих приказчиков, двоих трактирщиков, одного содержателя публичного дома вкупе с духовенством. Неурочно в пятницу загудел в набат соборный колокол от отца протоиерея Иоанна, — и от городской управы в собор пронесено было и установлено в соборе знамя камынского союза русского народа памяти Минина и Пожарского, шествовал крестный ход. После крестного хода организаторы собрались у Коровкина в зале за фикусами, писали донос:

> «...прилагая при сем местные возмутительные прокламации и резолюции, просим обратить твое внимание, батюшка наш господин генерал-губернатор, на подлую партию рабочих и недоучек-студентов, а также негодяев-разночинцев, втуне пожирающих казенный хлеб... Негодяи сходятся и собираются везде, где только собирается толпа, открыто проповедуют свои идеи и пишут резолюции на глазах полиции, которая как бы не видит подобных подлостей. Между тем развратники эти живут открыто и собираются Бог весть где, а также в доме капитана 1-го ранга в отставке Молдавского, а также у жида-аптекаря Шиллера, проживающего открыто в незаконном браке с актеркою, и наконец в ближайшем лесу на Козь-

ей горке, а также на лугу против немецкой фабрики и в железнодорожном депо, которые совершенно одурманены и предаются забастовкам... При этом, кроме дома Молдавского, явно имеется в городе таинственная злодейская организация, которая»...

Эдаким стилем излагалось многое количество страниц. Последняя фраза и подписи гласили:

«...подобных примеров у нас в Камынске превеликое множество, и халатное отношение полиции крайне нас удивляет, почему мы решаем действовать самостоятельно и довести до твоего сведения, батюшка наш господин генерал-губернатор. Помоги и спаси русский народ от страшных агитаторских целей!..»

Патриоты города Камынска памяти Минина и Пожарского, верные царские слуги, глубокоуважающие правительство и послушники начальства —

Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!»

Телеграф молчал. Бездействовали дороги. До губернского города легли вместо ста железнодорожных — сто пешеходных верст. Донос свой Михайло-архангельцы послали в губернию на лошадях. По верстам шла молва. В Камынске исчезал керосин. В молве и во мраке город не ложился спать и людям трудно было оставаться наедине с самими собою. Снег еще не падал, но одним казалось, что город погребен в сугробы. Уже опали листья с деревьев, но другим казалось, что земля цветет... Город вынут был из футляра обыденности.

И вдруг телеграф заработал, повсюду, сразу, — в церквах и управах, на площадях и в трактирах зачитался императорский манифест о даровании конституции. Городу показалось, что он отдан в собственное свое распоряжение, освобожденный от всяческих футляров. Опять, как весть о 9-м января, манифест пришел в Камынск к вечеру. Опять доктор Криворотов брал в обе свои руки голову жены, клал ее голову себе на плечо, клал свою голову на ее плечо — и плакал, плакал от радости. Опять Бабенин и Верейский были расстроены. В трактире Козлова и в чайной Общества Трезвости не спали всю ночь, пели революционные песни. Все было неясно, почти на ощупь, как в октябрьскую ночь, и

очень многим, громадному большинству, было весело, как в половодный май.

По праву свободы собраний и слова впервые в Камынске сказано было громкое слово — *митинг*, — и в земской управе собралось на *митинг* все мужское население города.

Павел Павлович Аксаков крикнул со слезами в голосе:

— Шапки долой перед царскою милостью!..

Статистик Нил Павлович Вантроба, близорукий человек, с папкой бумаг под мышкой, опубликовал расходы «на содержание высочайшего двора» Николая Второго, сравнивая их с расходами иностранных дворов, сообщил затем, сколько на рабочую и крестьянскую душу тратится золотых рублей в Америке, Англии и России, затем перешел к делам строительства Сибирской железной дороги, лесных концессий в Корее на Ялу, расходов на японскую войну, — говорил о действительных причинах как войны, так и ее проигрыша.

Речь Нила Павловича прозвучала панихидой на свадьбе манифеста.

В толпе прозвучал исступленный голос:

— Долой монархию!..

В толпе прозвучал измененный голос:

— Караул! к царю в карман залезли!..

В окна с улицы, к столу с ораторами под царскими портретами полетели камни. Камень ударил в голову Аксакова, Аксаков упал без сознания. Белый Бабенин выхватил шашку из ножен, махал ею над головой, чтобы никого не задеть, орал благим матом:

— Прошу разойтись!..

Народ разбегался от кирпичей истинно-русского народа.

Истинно-русские двинулись к саду и дому Молдавского.

Вдоль забора от ворот Молдавского вышли навстречу истинно-русским двое в мастеровских куртках, в картузах, низко спущенных на глаза, с руками в карманах.

Кто-то среди черной сотни сказал громким шепотом:

— Это — которые у офицеров на вокзале оружие отнимали, деповские!..

Истинно-русские остановились. Один из встречных нехотя вынул из кармана руку, в руке был маузер. Человек сказал нехотя:

— Мимо катитесь. Нечего зря шуметь.

Истинно-русские прошли мимо — до площади — и били на площади стекла, двери, банки, мебель в аптеке Шиллера, — устроили еврейский погром, чтобы не отстать от остальной черносотенной России.

За Подолом лежали луга в просторе на многие десятки верст. Далеко за Камынском река делала громадную петлю. На далеком горизонте за Подолом, за лесами в ясные дни видны были колонны белого дома князя Верейского. В тот час, когда камни летели в окна квартиры Шиллера, когда разорялась аптека, — за Подолом, за лугами вспыхнули два далекие и зловещие зарева. Горели верейковская и еще неизвестно чья помещичьи усадьбы...

Через два дня газеты принесли весть о восстании матросов в Кронштадте. В тот день утром на немецкой фабрике собрались работницы по приказу Шмуцокса. Шмуцокс выступал перед работницами, — и прямо с собрания, верхом, со стеком в руках, в крагах, в сопровождении двоих холуев, примчал к обессиленному Бабенину. Бабенин лежал с полотенцем, смоченным в уксусе. Шмуцокс кричал — вообще и на Бабенина в частности:

— Я немец, а не русский! я плюнул на вашу революцию!.. я требовал, чтобы мои рабочие переставали бунтовать! — они разговаривали со мною, как с хамом!.. Я хотел ударить моего конторщика, — и меня чуть-чуть не разрывали бабы. Бабы вывозили на тачке моего уполномоченного и соотечественника герра Шульца, написывая на тачке, — «жил с грехом, а увезен со смехом!..» — Под суд их, мерзавок!..

— Батенька мой, Карл Готфридович, — говорил ласково и тоскливо Бабенин, — не спорю, вся страна виновата, хотя и обидно это высказывать иностранцу... Ну что могу я поделать?! Самая желательная мера, конечно, в полном запрещении всего, но... как я могу дать делу ход? — ведь вы не свидетель, а пострадавший. Найдите свидетелей. Мы обсуждали с Цветковым подобные случаи, — он отказывается изобретать свидетелей, — а настоящих найти невозможно, все они — соучастники... Полицию бьют... Вы спрашиваете, кто виноват?.. — теперь новое дело прибавилось —

загорелись усадьбы. Это посерьезней вашей фабрики. Если мужик весь поднимется — нам полная гибель... то есть, капут по-вашему!..

— Но я есть германец в конце концов! — кричал герр Шмуцокс, — и мне плюнуть на ваших мужиков!..

— Ничем не могу помочь. Изыщите свидетелей. Обратитесь в Союз истинно-русских людей...

Шмуцокс вдруг смолк надолго и затем спросил без шума, конфиденциально:

— А может быть, на самом деле прибавить им немного и сократить рабочий день?.. — на самом деле, зарабатывают мало.

Бабенин обрадовался.

— На самом деле, прибавьте, батенька Карл Готфридович, — чего проще?! на самом деле, дерем мы с них как с сидоровых коз...

— С кого? — спросил Шмуцокс, насторожившись, ибо перевод его фамилии на русский был — Грязнобыков, и всякие поговорки о животных его настораживали.

— Ну так по-русски говорится, с сидоровых коз, поговорка, — сказал Бабенин.

— Ах, так, слышал, — ответил Шмуцокс, — как шерсть с сидоровой козы. Я подумаю до завтра и, наверное, прибавлю работницам жалованья...

Дэка и Родэка Бабенины не увлекались революцией, — они увлекались Григорием Федотовым. Николай Бабенин орал на кухне и в конюшне «Марсельезу». Николай Евграфович не спал от революции ночей, в полном расстройстве ума и чувств. Гражданская его жена София Волынская все вечера проводила в коммуне. Николай Евграфович дважды имел с женой объяснения — и оба раза был принципиально бит. Артистка София Волынская говорила супругу:

— Николай! нас связывает не общественное положение, но общее чувство свободной любви, пока ты не повенчался со мною. Венчайся, введи в общество, создай равное нам общественное положение, тогда требуй от меня общественной для себя опоры, — или, наверное, я потребую тогда, чтобы ты пошел за мною, оставив свои погоны!..

Николай Евграфович в тоске крутил усы.

21-го октября вечером Коровкин с черной сотней разгромил аптеку Шиллера. Бабенина о предполагае-

мом погроме не предупредили. Он узнал о погроме дома, после скандала в земской управе, в тот час, когда истинно-русские растаскивали аптеку по домам и когда полыхали зарева усадеб Верейского и коллежской асессорши Шевелевой. Дом был пуст. Гражданская жена не возвращалась после собрания и побоища в земской управе. На дворе цокали копытами лошади стражников. Надо было садиться на лошадь и скакать со стражниками среди ночи, черт его знает, на пожарища усадеб, где из-за куста могут еще пристрелить. В спальной, у туалета жены городничий долго рассматривал себя через зеркало. Еще раз пришел вахмистр и доложил вторично, что лошадь оседлана.

Исправник вернулся с пожарищ на рассвете, оставив на пожарищах стражников с приставами. Жена дома не ночевала. Это было уже однажды, — когда законная жена не ночевала дома, сбежав с графом Уваровым в ту самую усадьбу, которая открыла собою пожарища усадеб, — Бабенин со страхом оглядел свой письменный стол, нет ли записки от гражданской жены. Лежала записка от Верейского. Верейский просил прийти немедленно после приезда, не дожидаясь утра.

В кабинете Верейского за табачным дымом и в алкогольном перегаре сидели в дыму и страхе, не спавшие ночи, — Верейский, Цветков, Аксаков. Бабенин доложить мог немногое: никого вокруг усадеб не найдено, горели одни жилые барские дома, никого на пожарищах не оказалось, даже слуги из людских изб, которые не горели, и те разбежались от стражников; пожаров никто не тушил. Верейский держал платок у губ и рассказал к слову, как в мезонине сгоревшего дома впервые поцеловал он женскую шею, а строился сгоревший дом дедом также после пожара, после французов в двенадцатом году. Цветков молчал. Гардины в кабинете плотно прикрывали окна, в комнате оставалась ночь.

Бабенин вышел от Верейского вместе с Аксаковым. На улицах пребывало будничное осеннее утро. Моросил дождик.

Аксаков спросил негромко:

— Вы были предварены — о погроме?

— Нет, — ответил Бабенин, — ни Шиллера, ни усадеб...

— Ну, насчет усадеб никто не был предварен, а насчет Шиллера Верейский знал заранее. Организовали погром — Цветков и Разбойщин, Цветков — по секретному предписанию свыше, — сказал негромко и пасмурно Аксаков, помолчал, добавил: — Дело пошло всерьез, усадьбы жгут, евреев громят. Это уже не шутки. О погроме Шиллера имею поставить на вид, — ни вам, ни мне не доверяют. Примите к сведению. Имейте в виду, если дорожите службой. Не с революционерами же нам на самом деле.

Павел Павлович Аксаков, внук декабриста, говорил, как заговорщик. Бабенин, в сердечном расстройстве, просил Павла Павловича зайти к нему по дороге, выпить кофе иль рюмку водки после бессонной ночи, — Бабенину не хотелось оставаться одному и очень хотелось взвесить все по душам о революции и погромах. Аксаков спешил. Попрощались, посмотрели по сторонам. На углу на заборе — мокрый от дождей, отпечатанный в типографии — висел императорский манифест от 17-го октября, — и рядом висел второй манифест, отпечатанный явно на «Рэнэо» земской управы:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Мы, милостью штыков и нагаек, Николай Второй и последний, Данник Японский, Погромщик Одесский, Ростовский, Прибалтийский, Кавказский, Сибирский, Громитель Севастопольский и Кронштадтский, Палач Польский, Клятвопреступник Финляндский и проч., и проч. мерзости Совершитель, объявляем всем своим угнетаемым подданным...»

Манифест был длинен, как императорский манифест.

Аксаков и Бабенин прочитали манифест молча, без комментариев и без видимого волнения, не сорвали. Еще раз попрощались. Аксаков пошел к подрядчику Кошкину — рядиться на новые стекла в земской управе, выбитые на митинге черною сотней.

Бабенинский дом пустовал. На печи в кухне вместе с кухаркой спал дежурный городовой, кучер не переселился еще из конюшни на полати в кузню, — кухарке и дежурному никто не мешал. Дэка и Родэка также почивали. Николай уже исчез из дома. Постель жены осталась нетронутой.

Бабенин гаркнул по дому:

— Эй, кто там?!

Примчал городовой с печи.

Бабенин прошептал грустно:

— Революция на дворе, а ты с бабой по печкам, мерзавец?! — с ними!..

Городовой стащил с исправника грязные сапоги, понес их чистить. Бабенин лег на диван в кабинете, курил, босой, но в мундире, — заснуть не мог.

Жена вернулась в полдень, прошла в спальню, хлопала всеми дверьми, каждую тщательно и с шумом за собой закрывая. Дом притихнул в зловещии. Капитан-исправник на цыпочках, в чулках, пошел к спальне, постучал, не ответили, еще постучал, подождал, открыл дверь. Жена стояла спиною к двери. Гардероб и комод были открыты, открытый на двух стульях лежал чемодан, на кровати, на полу, на диване валялись платья, шляпки, белье, как перед отъездом. Капитан обомлел.

— Соня... — сказал капитан.

Жена не ответила, не обернулась.

— Соня... — еще раз позвал капитан. — Что ты делаешь, милая?..

Жена не ответила. Зловещее росло.

— Что ты делаешь, Соня? — грустно спросил капитан.

Жена ответила быстро, громко, в презрении:

— Что я делаю?! — очень просто! — я отбираю белье и платья для Лизы!.. Вы думаете, — вы будете громить, а я оставлю подругу без платья?!. — Это мерзость, мерзость, мерзость, — как вам не стыдно, Николай Евграфович?! — вы — блюститель порядка, и у вас на носу грабят ничем не повинных людей!.. Это мерзость! я все отдам Лизе!.. — Убирайтесь вон отсюда!.. я своей совести никому не продам! убирайтесь вон!.. — и артистка Софья Волынская, затопав ногами, упала на кровать не в артистической, но в самой настоящей женской истерике. — Пусть я ничтожная, пусть я бездарная актриса и содержанка, но я тоже человек!.. вон, вон!..

В российском лексиконе были слова — «самоед», «зырянин», «сарт», «малоросс». Русский язык приказано было считать законным языком всей Российской империи и тех народов, которые жили в империи. Те, которых называли «самоедами», то есть съедающими самих себя, сами себя называли ненцами. Те, которых

называли «малороссами» в противопоставление величию «великороссов», сами себя называли украинцами. Слово «зырянин» в переводе с языка коми на русский язык значит — оттесняемый, гонимый, равно как слово «сарт», то слово, которым именовались все сразу, узбеки, таджики, туркмены, «сарт» значит в переводе на русский — желтая собака. «Желтою собакой» империя именовала таджиков, узбеков, туркменов, всех вместе, — так же, как карелы, финны, эстонцы, латыши, все вместе, именовались — «чухонцами», «чухною». Для евреев — так же, как «сарты» — было второе имперское слово — «жиды».

Израиль Иосифович Шиллер родился около Минска, в «черте оседлости», с шести лет долбил талмуд, чтобы затем забыть из него все, кроме анекдотов, но так, что именно зубрение помогло Израилю Иосифовичу словчиться и попасть в аптекарские ученики, написать два еврейских рассказа, напечатать их в еврейской газете, сдать экзамен на фармацевта, перечитать десятка два русских романов, приобрести гильдейский купеческий патент, перекупить нереальными векселями у дяди аптеку в далекой Великороссии, приехать в Камынск со всем сердцем доброжелателя, обрусеть и не только содержать аптеку, но — для процветания медицины — разводить целебные травы на арендованной у графа и у князя земле, писать о целебных травах статьи в журнале «Фармация», играть комиков в любительских спектаклях. Конечно, ему хотелось играть роли не только комиков и не только в любительских спектаклях. Он хотел быть — как все люди. Буржуа, который хотел быть интеллигентным, он рад был всем, приходящим в его дом, он рад был пойти навстречу каждому, кто его позвал, и вдвойне радовался, когда не оставался в долгу. Он гордился женою-артисткою... Узбек ли, он же «сарт», «зырянин» ли или «чухонец», безразлично, — человек, который ничем не виноват, кроме того, что его родили мать и отец «сартом» или «чухонцем», — человек, который хочет быть, как все, хочет жить, как все, — человек видит через окно, что к его дому идет свирепая и бессмысленная толпа врагов, когда он ничем не повинен...

...Необыкновенное — влюбленность — не подозреваемая, с самых первых дней возникновения детского

я... В ранней влюбленности очень часто мальчик хочет быть девочкой — тою, в которую он влюблен, — переселиться в нее, превратиться в нее, стать ею, — чтобы быть идеальным, как его ощущенья ее, чтобы ощущать, как ощущает она, чтобы подкараулить, узнать, подсмотреть, что содержит в себе идеальное, — как необыкновенное и любимое, явно лучшее — живет, думает, чувствует, смотрит в окошко, пьет чай с молоком, — не так, как все люди, и не так, как он, полюбивший и не знающий еще ни о любви, ни слова «влюбленность». В девятилетнем возрасте девочки при мальчиках, в которых они влюблены, испытывают онемение. В девятилетнем возрасте в мальчиков при девочках, в которых они влюблены, вселяется буй. Наедине часами мальчики могут думать о том, как замечательно было бы, если б он, Ипполит, иль Андрей, иль Климентий, переселился б в Маргариту, иль Олю, иль Анну, — об этом до сладости страшно думать, потому что — ну, как тогда они пойдут, вдруг они зашибут дорогое коленочко, сделают больно? — В присутствии Маргариты иль Оли, в нестерпимом смущении, приходят наглость и буй, нельзя сидеть на месте и не двигаться, невозможно, нету на это сил; если это в саду, надо лезть на забор или на дерево, на самую вершину — и оттуда, из безопасности, кричать, чтоб обратить на себя внимание; если это в доме, надо лезть на шкап или под стол и петь оттуда все, что угодно, что влезет в горло, «Варшавянку» и «Коль славен»!.. В Камынске проживали — как там тогда говорилось — две старых благородных девицы: Либих, Марта и Альма Генриховны, некогда окончившие институт благородных девиц, не вышедшие в свое время замуж и содержавшие частную — как тогда говорилось — подготовительную школу для благородных камынских детей, которая называлась «Классы Либих» и в которой учили всему, что угодно — музыке, французскому языку, вышиванию на пяльцах, рисованию, обязательно манерам и вежливости по институтским правилам, танцам; в «Классах» готовили в восьмой класс женских институтов и в седьмой кадетских корпусов, — в восьмой и седьмой потому, что в институтах и корпусах для необыкновенности благородства счет классов начинался не с первого, но с последнего; в седьмой кадетский класс давалось то же знание десяти за-

поведей вразбивку и четырех правил арифметики, как и в первый класс гимназии, куда так же подготавливали благородные старухи благородных детей. Революция принесла в Камынск новшество: женская прогимназия осенью 905-го года превратилась в министерскую женскую гимназию — и заново открылась классическая гимназия — мужская, первых два класса с тем, чтобы каждый год открывалось по новому классу. Гимназии не оказались помехою Либих. — Старшая Маргарита Шиллер кончала в тот год гимназию в Смоленске и не поехала в Смоленск, оставшись в Камынске, потому что занятия в гимназиях прерывались по революционному времени. Младшая Маргарита в «Классах» у Марты Генриховны готовилась к экзаменам в первый класс Камынской гимназии, а у Альмы Генриховны брала уроки музыки и немецкого языка. Ипполит Разбойщин обучался уже в гимназии, но изучал с Альмой Генриховной французский язык, манеры и, так же, как Маргарита, музыку, пианино. Он был влюблен, как помнил себя. Его жизнь была не сладка, Ипполита Разбойщина, — даже в «Классы» он ходил не один, его провожала туда кухарка, и кухарка иль мама приходила за ним. Ему до самого лета повязывали башлык, чтобы он не простудился. Он на три года был старше Маргариты, а за ней никто не приходил в «Классы», она повязывала или не повязывала башлык по погоде. Из дому один Ипполит отлучался — и то с разрешения мамы потихоньку от папы — к Оле Верейской и к Коле Бабенину. Даже на реку летом и на каток зимой Ипполит ходил только с мамой, и даже летом мама боялась простуды, а на катке приказывала кататься в ватной шинели, долгополой, сшитой на рост. И тем не менее, — в «Классах», когда входила к Альме Генриховне Маргарита, Ипполит бросался за парту и корчил оттуда страшные рожи, — а на катке, несмотря на то, что поздороваться за руку с Маргаритой мужества у него не хватало, ибо — как тронуть за руку при всех Маргариту?! — в теплушке все же он бросался к ногам Маргариты, привинчивал Маргарите снегурочки, по льду летал перед Маргаритой, как вихрь и как вепрь, в теплейшей и долгополой шинели, и задним ходом на скорость, и гигантскими шагами, и всячески, чтоб обратить на себя ее внимание. И в прихожей «Классов Ли-

бих», одеваясь, Ипполит сунул в ранец Маргариты пакет. Пакет оказался очень необыденным, конверт, в конверте еще конверт, третий, пятый, самодельные из тетрадочной бумаги, отчаянно заклеенные гуммиарабиком. В последнем конверте лежал микроскопический листок со словами:

«Маргариточка я т л Ипполит».

Через день Маргарита засунула к Ипполиту в ранец такой же многоклеенный пакет, где был листок бумаги со словами:

«И я».

Было это прошлой весной.

...В стекло полетел камень, стекло разбилось. В стекло полетел второй камень, разбилось стекло, и со стола упала ваза, — Израиль Иосифович несколько лет тому назад купил эту вазу в подарок к именинам жены, в подарок к православно-христианскому празднику в честь ангела, хранящего человека по христианским правилам, — ваза упала на пол и разбилась. Из буфета сыпались стекла стаканов. У окна упал столик с банками цветов. Все это собиралось годами, для жизни, как у всех. Камень ударил в висячую керосинокалильную лампу, лампа вспыхнула и погасла. В тот момент, когда гасла лампа, на пороге остановились глаза старшей Маргариты, одни глаза, в вопросе — почему? Внизу взрывами бомб лопались бутыли с кислотами и с эфиром, —

— «...осторожней, осторожней, ведь эфир может взорваться!..»

Кислотами и эфиром запахло на втором этаже, защипало глаза. На пороге появился помощник, в белом халате. Он держал за руки сыновей Израиля Иосифовича — Исаака и Иосифа.

Помощник сказал из реальности:

— Что же вы думаете, Израиль Иосифович? вы хотите, чтобы вас убили или сожгли вместе с домом!? — они уже ломают двери, которые я запер!..

Дети — старшая Маргарита и девятилетняя младшая, сыновья Исаак и Иосиф — прижались к отцу, как к защите, как к спасению. Внизу у парадного орала толпа.

— Где Лиза? — спросил Израиль Иосифович в реальность.

— Она пошла с митинга вместе с Бабениной.

Помощник сбрасывал на пол белый халат, остался в жилете. Новый камень ударил в окно. Толпа внизу хрюкала.

Темная лестница. Темный двор, у будки провыла собака. Темный сад, невидимые сучья деревьев, забор. Дети, все четверо, каждый крепко держался за отца, не мог отпустить. У забора дети, все четверо, обняли отца. Помощник, с белыми руками из-под жилета, остановился у забора, загородив забор от детей.

— Дети могут простудиться, Израиль Иосифович. Вы подумали, куда нам спрятаться на ночь? — или вы не подумали, что они могут убить нас среди улицы?

Дети прижимались к защите, к отцу, обнимали защиту, сковывали движения и мысли отца.

— Где Лиза? — спросил Израиль Иосифович.

— Вы уже спрашивали. Можно думать, она находится у Никиты Сергеевича. Она — русская, ее не убьют.

— Она русская, ее не убьют... — повторил Израиль Иосифович. — Может быть, и нас не убьют у Молдавского?

— Ну конечно же, — да! Спрячьтесь здесь, за крыжовник. Я пойду и узнаю. Если придут сюда, прячьтесь в соседний сад, прячьтесь от людей, пока я не приду... Ради Бога, не выходите на улицу.

Помощник влез на забор и исчез за забором.

В деревьях, в заборе, в кустах под забором притаилось октябрьское ночное безмолвие, — помощник ходил не менее часа, быть может, столетие или, быть может, двадцать минут, — как дети, все четверо, стояли прижавшись к защите, к отцу, сцепивши движенья и мысли отца, — пока уходил помощник, ни разу не шелохнулись ни отец, ни дети, ни двинулись, ни обмолвились словом.

«...Детство, талмуд в хедере, фармацевтические экзамены... каким образом не взорвался эфир, и хорошо, что не вспыхнул, — иначе пожар на всю улицу. Лиза — русская»...

За забором прошумели шаги.

— Где?

— Здесь.

— Тише.

На заборе появились четверо. Помощник сидел на заборе в чужом пальто, не по плечу широком.

— Израиль Иосифович, где вы? — идемте, позвольте, я помогу детям, — заговорил Леонтий Шерстобитов. — Жена вне опасности. И вы вне опасности, иначе мы перестреляем мерзавцев.

За Шерстобитовым стояли Нил Павлович Вантроба и рабочий Воронов. Младшую Маргариту передали через забор с рук на руки. За забором лежала пустая улица. Вдруг показалось, что воздух на улице и воздух за забором по-разному омывает легкие. Шли темными переулками и пустырями. В сад к Молдавскому пробрались с Подола. Шерстобитов нес на руках младшую Маргариту. Прошли в дом. В свете ламп лицо Шиллера мартвецки бледнело, лоб Шиллера был рассечен то ли осколком стекла, то ли сучком в саду, на царапине запеклась кровь. Шиллер — он улыбался предупредительно, что называется светски, — его улыбка означала, — ах, зачем такое беспокойство, — извините, пожалуйста, за беспокойство, — ну, чего особенного?!

В комнату за Шиллером никто не пошел, кроме жены. Не замечая жены, не видя, должно быть, даже детей, Израиль Иосифович стал раздевать детей, всех сразу от старшей Маргариты, расстегивать крючки и пуговицы, снимать башмаки. Руки его дрожали. Израиль Иосифович говорил:

— Вот, детки сейчас разденутся, вот, детки умоются сейчас, зубки почистят, и лягут спать, и будут покойно-препокойно спать-почивать, и папа им расскажет сказку, и детки будут здоровенькие и умненькие, и они сразу заснут.

Русская Лиза — гражданская жена — вскрикнула и побежала к двери. Израиль Иосифович глянул недоуменно. Старшая Маргарита, полураздетая, бросилась из комнаты за водою для мачехи.

У калитки на улицу, на дворе перед домом, всю ночь ходил — руки в карманы — Нил Павлович Вантроба. У заднего забора в саду, над обрывом к Подолу — руки в карманы — всю ночь до рассвета ходил Артем Обухов. На рассвете к Обухову вышел Шерстобитов.

— Все покойно?

— Покойно.

На востоке далеко за речными лугами лиловело небо. Догорали зарева усадеб. Сизым инеем лежал заморозок.

— Идите спать, Артем Иванович. Замерзли?.. И идите нижней улицей, чтобы не заметили.

— Холодновато.

Помолчали.

— Всерьез так всерьез. Стенка на стенку. Я укладывал сейчас Шиллеров... и разговаривал с Никитою Сергеевичем, — ох, святой человек!.. Драться надо, Артем Иванович. Оружие надо собирать, побольше.

— Я тоже так думаю. Сейчас или... умереть благородно.

— Спать идите, голубчик, я стану на караул. Вантробу сменил Илья Стромынин... Оружие надо собирать. Если бы вы видели, как Шиллер укладывал детей!.. Никита Сергеевич говорил мне сейчас, — революционер — это честность, революционер — это разумность, революционер — это разумное, честное действие, революционер — это убежденность, все лучшее — революционер, все лучшее — к революционеру, революционер — это, конечно, мужество, за революционером — революция, это она — убежденность, разумность, честность, действие, за революцией — новая прекрасная страна новых прекрасных дел и людей!.. А я кричал ему, и он не понимает, что все это так, но прежде всего, раньше всего революционер — это действие, это борьба одного мира с другим миром!.. Борьба! стенка на стенку!..

...К дому в саду за двором в целебной ромашке — к коммуне — в ту весну, в то лето, в ту осень пробилось немало новых тропинок. Дом был, как всегда, светел, по-прежнему шли часы Никиты Сергеевича. Дом стал очень полон людьми и еще более полон действиями. С вечера до рассвета дом за деревьями светил всеми своими окнами. Весною с детишками Никита Сергеевич сажал за террасою левкои, табаки, резеду, гелиотропы, астры, — одичавшие в саду росли яблони, вишни, черемуха, сирень, жасмин, ландыши, ирисы, целебная ромашка, — и с весенних подснежников до осенних астр — черемухой, вишнями, яблонями, сиренью, ландышами, жасмином, левкоями, табаками, ромашкою — пахнул дом с открытыми окнами, освещенными в ночь, и Никите Сергеевичу казалось, что запахи дополняли

образ революции. В коммуне всегда зналось не напечатанное в газетах, самое последнее и самое разумное. В коммуне — из-за пространств, из-за сообщений и слов, из полуреальности — революция переводилась на реальную камынскую землю. В коммуне всегда оказывалась последняя книга, а в тот год были книги, которые нечестно было не знать. В коммуну шли за новым воздухом, за уничтожением одиночества, пробыть в коммуне час или два, вечер иль утро, когда вечера казались рассветами, обязательно молодые. В коммуну сходились не только из города и уезда, в коммуну приезжали из губернии. Каждый, пришедший в коммуну, должен был принять ее режим и время в коммуне, как дело. Быть может, коммуна в тот год была перевязочным пунктом революции. Наверное, коммуна была сейсмографом революции. Раньше всего каждый пришедший обязан был узнавать о событиях, — за познаванием каждый должен был установить свое место в действии и делах, по своим силам. Быть может, в тот год коммуна была складом революции, — каждый, приходящий в коммуну, приносил то, что он мог принести. В коммуне каждый себя чувствовал — человеком, и хотел быть полезным, храбрым и честным. Наверное, коммуна была водоразделом революции в Камынске.

Те, которые помнили путаницу с рубежами столетий, пришел ли новый век в 900-м году иль в 901-м, помнили «хату с краю» и камынскую «совесть», выпавшую из футляра времени, — они несли в коммуну, что могли. Учителя приносили свое знание о деревне, земцы — о земстве. В коммуну ходили учителя и врачи, конторщики, рабочие со станции, работницы от Шмуцокса, — даже художник Нагорный, даже Шиллер, даже дамы Шиллер и Бабенина, — конечно Иван Иванович Криворотов, конечно толстовец Богородский.

Тот год — от морозов 9-го января до отцветающих астр манифеста — принес на самом деле столько же и так же, как в марте дряхлые снега приносят тысячи, миллионы звонких студеных ручьев.

Старший сын Нагорного дорос уже до шестнадцати лет, и он ушел от отца, он поселился в коммуне, взяв в коммуне на себя дела садовода и дворника, он по пятам ходил за Леонтием Шерстобитовым, а когда Шерстоби-

тов уходил и не позволял идти за собой, он упоенно читал книги, оставляемые для него Надеждою Андреевной Горцевой. А старший Нагорный, художник, вдруг не менее упоенно, чем сын над книгами, сдвинув к черту в угол, доспехами к стене, всех своих рыцарей и голых женщин, — первый раз, должно быть, за все свое художничество написал рабочего с молотом в руке, — того рабочего, репродукция с которого на открытках долго ходила по России памятником 905 года, — единственная вещь, сделанная Нагорным, которая не осталась у него в башне. Художник появился в коммуне, как сын. Он хотел делать все, что ему указывали, он хотел учить рисованию, он вешал на стенах в коммуне плакаты в будущее и карикатуры на бывшее, на старый мир, которыми бредил ночами у себя в башне.

Генерал Федотов, тот, который называл себя николаевским солдатом, то есть солдатом Николая Первого, который всегда отдавал только холодную честь Никите Сергеевичу, — даже он раза два намеревался свернуть к революции, как ему казалось, и дважды держался за кольцо калитки Никиты Сергеевича. Он намеревался прийти в коммуну попросту, не по-военному, — всем пожать руки и — также попросту, не по-военному — заговорить с Никитою Сергеевичем, бывшим военным, об аглицком парламентаризме и о парламентаризме вообще; он предполагал договориться с моряком Молдавским — о том, что именно аглицкий парламентаризм дал Англии возможность стать владычицей морей. Генерал Федотов дважды держался за кольцо калитки и не переступил порога в коммуну лишь из-за сына. Сын был уже взрослым, сын ждал вакансии в Николаевское кавалерийское училище, — сын говорил отцу, уже имел право говорить, —

— Стыдись, отец!..

Кошкин, Сергей Иванович, трижды, выпив по бутылке коньяка, менял дорогу и, вместо Мишухи Усачева, шел в сторону коммуны, подходил к забору, останавливался, заглядывал за забор, стоял в нерешительности, махал сокрушенно рукою и — шел к доктору Криворотову, говорил каждый раз одно и то же:

— К революционерам ходил, да не дошел, боюсь — не пустят, куда, дескать, с суконным рылом в калашный ряд, а... перехитрить их я не могу... Что ж это бу-

дет, растолкуй ты мне, Иван Иванович!.. Правильно, все правильно. Коровкин насупротив заворачивает черную сотню, — разве это дело? Ведь Коровкин — простой мерзавец, что он, что Разбойщин, ихний пророк. Ничего не скажу, подгнила империя. И эти тоже — Аксаков, председатель по бабочкам, или Верейский — сам, как барыня с носовым платочком, — они не дураки, они — плуты, они, Иван Иванович, коты в сметане, как я... Ведь стыдоба, — стыдоба смотреть на Россию. Грех и смех!.. А вот... собрался я пойти к Никите Сергеевичу — и не дошел... Правильно! все правильно! — А раз правильно, то мне, коту Сергею Кошкину, чтобы вместе с Аксаковым и Коровкиным в этой самой сметане не потонуть, надо всю сметану эту сдать студенту Шерстобитову... А я привык спать в пуху, как сметана, и привык вот коньячок лопать, как кот сметану... Мне наплевать, кто куда. Я со всеми, только бы мне лучше. Мне господину студенту в глаза смотреть неудобно, — видать, не дурак, а ногтем прищемить его я не могу. Не знаю, куда подаваться. Ты скажи мне, Иван Иванович, есть, говорят, такая книжечка, чтобы я имел себе оправдание? — или на самом деле так оборачивается, — собирай весь свой бутер-мутер студенту и — давай, мол, не откладывай, строй скорее полную революцию, как по совести, а меня определяй, если грехи мои простишь, старшим мельником на бывшую мою мельницу?! Так мне ж тогда в гроб ложиться, а я — жить хочу в удовольствии... Кто ж кого к ногтю?..

Чертановские крестьяне — ни Сидор Наумович Копытцев, ни Иван Лукьянович Нефедов — не приходили больше к Ивану Ивановичу Криворотову, к чертановскому школьному попечителю. Но пришел вдруг Евграф Карпович Сосков, волостной старшина, уваровский трактирщик, друг Кошкина, — пришел в сумерки и незаметно, как приходили однажды к Ивану Ивановичу Сидор Наумович и Иван Лукьянович, прошел через кухню, крестился, Настя провела его в столовую.

— Садитесь, — сказал Иван Иванович. — Чем могу служить? — Настя, чаю!..

Евграф Карпович сел солидно, вздохнул, от чая не отказался, —

— Мы, между прочим, мимо проходили, думаем, — дай-кось навещу доктора, — может, может, чего по

сельскому хозяйству надо, сенца там, картошки на зиму...

— Сена мне надо, — сказал Иван Иванович, — и чтобы хорошее, луговое. Имеется?

— Дай как же не иметься? — для вас всегда найдем, как не найти.

— Цена? — строго спросил Иван Иванович.

— Вы, как по убеждениям, подарков не принимаете, — сказал Евграф Карпович и вздохнул, — какая же в таком случае цена?..

— Подарков не принимаю принципиально. Почем?

— Тогда сочтемся... Базар цену скажет. Сена у нас — первый сорт.

Выпили по стакану чая.

— Я к вам, Иван Иванович, вопросик имею, как сказать, по секрету... Сами знаете, — времена...

— Какой вопрос?

— Я бы, конечно, мог спросить по начальству у господина земского начальника Разбойщина, но у них антирес особенный, а вы с образованием и антиресу у вас в земле нет... Земля!.. Гляди, не обойтись без того, что землю мужику отдать придется. Этого господину земскому начальнику сказать нельзя, — у них свой антирес... А мужик... со мной, конечно, мужик помалкивает, да я его насквозь вижу, — мужик из оглобель лезет, этого не скроешь... Земля! не обойтись землю мужику отдавать... А как?.. — без выкупу ее отдать невозможно, — я, например, имею кое-какую землишку, — так я ее прикупил, за нее кровные денежки дадены. А мужик хочет задаром, — я, говорит, и деды мои испокон века на ней работали, давным-давно всё уплатили... А господа и про с выкупом слышать не хотят, у них не только статья дохода, у них, сказывают, дворянская честь... Вот и возникает вопросик, — прямо скажу, ночей не сплю, все ворочаюсь, даже страх находит, хоть руки накладай...

И Иван Иванович, с чертановскими крестьянами о земельных вопросах принципиально не разговаривавший, — вдруг, неожиданно для самого себя, разговорился с Евграфом Карповичем о сельском хозяйстве и о сельской жизни. Иван Иванович долго философствовал — о постепенности, как, по Дарвину, развития ви-

дов, так и развития человеческих отношений, в силу которых происходит наряду с парцелляцией земли нарастание латифундий. Затем Иван Иванович высказал философскую точку зрения на труд в сельском хозяйстве, где результаты труда всегда налицо, где человек и его труд зависят не от человека, а тем паче не от начальства, но только от природы и своих собственных рук. Наконец Иван Иванович рассказал, что лично он, врач и общественный деятель, вполне обеспеченный и всеми уважаемый человек, имеет жизненной мечтою на старости лет купить именьице, поселиться в нем навсегда и разводить поросят йоркширской породы...

— А ежели землю-то продавать не будут? — спросил уставший от философии Евграф Карпович и вздохнул.

— То есть — как? — строго спросил Иван Иванович.

— Да в том-то и дело, — мужики болтают, — сделать, дескать, землю, как воздух, ничьей, — за воздух никто не платит... Не будете же вы сами за свинками, извините, помет убирать на старости лет? — а раз сам не работаешь, — уходи с земли, отдай, кто своими руками работает... Вот о чем мужики болтают, и об этом самом и есть мой вопросик...

— Этого не может быть! — строго и авторитетно сказал Иван Иванович.

— Болтают...

— Болтовня!

— Ну, а ежели вдруг? — ведь мне тогда петля с помещиками вместе, а антиресу мне в помещиках нет, я — тоже мужик...

— Не может быть!

— А вдруг?..

Дамы Шиллер и Бабенина несли в коммуну, что могли. Они организовали в коммуне театральные курсы для подростков-рабочих, где Никита Сергеевич читал подросткам классические пьесы, а Софья и Лиза учили, как надо читать стихи, говорить монологи, жестам, движению, — это тоже шло на склад революции, — потому что Леонтий Шерстобитов и Нил Павлович Вантроба также говорили с подростками, прокладывая мостки от «Ревизора» к империи. — На курсах учились Анна Ко-

лосова и Климентий Обухов; Климентий приходил со станции, чтобы погружаться в мир братьев Мооров, короля Лира, Гамлета, Чацкого. Вечером, после занятий Анна и Климентий шли вдвоем до калитки в сад Мишухи Усачева. Иногда, если было не поздно, Климентий провожал под деревьями Анну до двери в хибарку. Иногда, если светили звезды, Анна и Климентий садились на крылечко хибарки. Светило небо. Перестаревшие яблони пахнули лесною прелью: Анна была рядом, вдумчивая и настороженная. Сознание было заполнено грохотом вестей, приходивших на станцию, гамлетовскими «быть или не быть». Климентию не были любы гамлетовские «слова, слова, слова», — он ощущал дорогу дел, дорогих дел. Анна была рядом. Климентий рассказывал ей о посреднической ноте Рузвельта, о расстреле лодзинских рабочих, о восстании броненосца «Потемкин», — все, что слышал на станции. И вместе они говорили о Леонтии Шерстобитове. Анна умела слушать. Леонтий Шерстобитов, Нил Павлович Вантроба, Волгина, Горцева, члены коммуны, были — об этом знал не только Климентий, но знала и Анна — были членами РСДРП фракции большевиков. Об этом никто не должен был знать. Еще меньше кто-либо должен был знать о том, что в этой же фракции состояли отец Климентия, Воронин, Соснин, Стримынин. Это они и с ними товарищи по всей империи подняли железнодорожную забастовку. Это они разоружали офицеров в солдатских эшелонах. Это они заставили Шмуцокса просить милости у работниц. Это они писали, печатали, а Климентий расклеивал — прокламации с точным указанием, что надо делать, чтобы расшатать ту страшную «хату с краю», которая называлась Российской империей. С ними были товарищи во всем мире. И возникал громадный мир действий, борьбы, победы, новой, рабочей, пролетарской справедливости.

Глава седьмая

СТАРЫЙ МИР — НОВЫЙ МИР

С Дальнего Востока, демобилизованные, вернулись агроном Дмитрий Климентьевич Лопатин и помещик Вахрушев. Лопатин сейчас же снял офицерскую форму

и поселился в коммуне. Помещик Вахрушев в офицерском наряде с неделю летал по Камынску на тройке каурых, хвосты у которых были подвязаны по грязному времени, пил стаканами водку, шумел, рассказывал, что, мол, всему вина Рузвельт, что, мол, еще неделя войны, и русские раздавили б японцев, как цыплят, — хвастал о том, какое наслаждение испытывал он в боях, когда, как пчелы, со свистом, летали вокруг него вражеские пули, а он крушил и крошил врага. Через неделю помещик Вахрушев осел в доме купца Коровкина, никак не желая возвращаться в одиночество своей родовой усадьбы после пожаров в Уваровке и Верейском. У купца — и особенно у молодой купчихи — отказа в наливках не было, помещик Вахрушев бряцал шпорами на весь дом, охраняя шпорами дом от «жидов» и «красной сотни», выходил из дома только к Цветкову, поговорить о войне и заново выпить, да к юному другу Григорию Федотову, поговорить о китаянках и о кореянках.

В ту ночь, когда Шиллеры после погрома ночевали у Молдавского, — до рассвета сидели в столовой около самовара женщины, Елена Сергеевна Волгина и Надежда Андреевна Горцева, отдавшие детям Шиллера свои постели, Софья Волынская и Елизавета Андреевна Зорина-Шиллер, терявшие свои дома. Израиль Иосифович Шиллер всю ночь простоял над детьми. В мезонине, в кабинете — от письменного стола до верстака, от верстака к дивану, от дивана к письменному столу — ходил Никита Сергеевич. Потолки в мезонине были низки, голова Никиты Сергеевича была за слоями дыма у потолка. На диване сидели — по-турецки скрестив под собою ноги, с глазами в потолок, Леонтий Шерстобитов и, положив локти на колени, опустив глаза в пол, Григорий Васильевич Соснин.

Люди пережидали ночь и молчали, переутомленные.

Никита Сергеевич шептал иногда:

— Какая гадость, какая гадость!..

Никита Сергеевич ходил от письменного стола к верстаку, от верстака к дивану, от дивана к столу. Раза два за ночь он присаживался к столу. На большом листе он писал длинную логарифмическую формулу, — брал логарифмические таблицы, вычислял логарифмы

и корни, упорно, как иные раскладывают пасьянсы. У стола против глаз Никиты Сергеевича висела выцветшая фотография Веры Фигнер.

Перед рассветом был недлинный разговор. Едва брезжил восток. Шерстобитов поднялся, подошел к окну, постоял, спросил громко и не сонным голосом:

— Ну, как же, Никита Сергеевич, всё по-прежнему — «критически мыслящие личности», «повремените», личная честность и сила солому ломит?..

— Это... почему вы спрашиваете? — ответил Никита Сергеевич.

— Да вот, дело всерьез пошло, стенка на стенку, без отлагательств.

— Но вы же понимаете, они раздавят нас, они уничтожат всё, что сделано нами, останутся одни Коровкины да Сосковы, а остальные будут деградировать в полуживотных... Поберегите себя, Леонтий. Вы нужны народу и человеческой чести. Они перестреляют и перегромят нас, поймите! — Никита Сергеевич остановился за письменным столом у второго окна. — Вы же не можете не верить моей старости и всей моей жизни.

— Не верю. Не аргумент — ваш возраст. Убежден, что одной правды и одной чести для всех не бывает. По вашей единой правде в вашу революцию, чего доброго, придут Аксаков и генерал Федотов. Для вас революция — гроза, освежение, а для меня — борьба. Возможно, нас перестреляют и перевешают, — но знаю также, что Коровкин, Сосков, Шмуцокс, Верейский, землячок мой земский — одни не останутся, одним им некого угнетать, не на чем быть захребетниками, — а стало быть, будут и такие, как мы. А мы — мы также останемся, пусть через виселицу, — примером... Ты как думаешь, Григорий Васильевич?

Соснин ответил негромко, не двигаясь:

— Думаю, что нас лично раздавят, но наше дело — нет. А может быть, не раздавят и нас.

— Может быть, и не раздавят, вы слышите, Никита Сергеевич? — вы слышите, — если не сегодня, то завтра будут биты — они. Что касается меня, я всегда предпочитал не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Стенка на стенку!.. А там... Поймите и вы, Никита Сергеевич, мне стыдно ждать, — как дважды два, я знаю, что так не может, не смеет быть дальше!..

Вы видели, как Шиллер укладывал детей? — а Шиллер мне не друг, ему к Шмуцоксу ближе. Пусть новая ссылка, каторга, виселица, — не сердитесь, Никита Сергеевич, — мне стыдно дальше ждать, мне стыдно перед шиллеровскими детьми... Будет! всерьез так всерьез!..

Никита Сергеевич ходил по комнате, двигая за собою табачный дым.

— И тем не менее — честность, и тем не менее — добро... И тем не менее — гроза!.. и — да, вся моя жизнь! — сказал Никита Сергеевич.

— Смотрите, один останетесь! — крикнул Леонтий.

Никита Сергеевич опустил голову, сказал не сразу:

— Да, я вижу, как вы покидаете меня... и это — не первый раз в моей жизни.

Сказал Леонтий, так же тихо, как Никита Сергеевич:

— И честность, и добро, и даже гроза... Не мы покидаем вас, но вы покидаете время. Рабочему нечего делать с вами, — а вы честнейший человек. Рабочий не хочет ждать, и он тогда научится курить сигары, когда будет их иметь. И рабочий не хочет ждать, когда ему — вы дадите, он сам возьмет!.. — Смотрите, Никита Сергеевич, как бы мы не пришли раньше туда, куда вы идете всю жизнь!..

Леонтий отошел от окна, взял с книжного шкапа револьвер, вышел из комнаты, спустился вниз, в сад. У забора над обрывом — руки в карманы — ходил Артем Обухов. Лежал сизый заморозок.

— Стало быть, всё по-прежнему? — спросил Артем Обухов и усмехнулся, — гроза?!

— Да.

— Подморозило за ночь... на грозу не похоже.

Затемно в этот день собрались в развалинах, в подвале соляного амбара — Шерстобитов, Обухов, Воронов, еще двое из депо, Соснин, Стромынин, еще двое с фабрики Шмуцокса, Волгина, Горцева, Вантроба. На улице морозило. В подвале оставалось еще летнее тепло, пахло прелью. Сидели на корточках. Рабочие курили махорку. Шутили. Торжественности не было и страха не было. Было весело и бодро. Говорили о том, как достать оружие.

...К Шмуцоксу позвонили в сумерки. Отперла горничная в белой наколке. Четверо появились, ни о чем

не спрашивая, один остался в прихожей, один прошел в кухню, двое пошли в кабинет.

Над диваном на стенах, между шкапами, над камином висели винчестеры и маузеры, льежские Три кольца и крупповские нарезные трехствольные Гаймы, — вся та охотничья роскошь, которой гордился Шмуцокс перед гостями.

Шмуцокс найден был в биллиардной, он крикнул:

— Кто смеет?! — я есть здесь ни при чем, я иностранец!..

Ему ответили:

— Хальт! — не волнуйтесь, подержите руки вверх. Где у вас оружие кроме того, которое висит по стенам в кабинете?

Шмуцокс краснел и бледнел необычно, у него лиловели шея и уши.

Через пять минут Шмуцокс объяснял почти с увлечением и во всяком случае подобострастно, как владеть германскими пистолетами и — какая разница между германским офицерским и русским офицерским принципами стрельбы из пистолета в цель, — германцы стреляли на вскиду, на поражение противника в любое место, русские обязательно целились в голову на убой и промахивались.

К Бабенину пришли ночью. Бабенин спал в кабинете, в отдельности от жены. Никто не слыхал, как вошли в дом.

Бабенина потрепали за плечо, он спросил спросонок:

— Соня?

— Нет, — ответили ему. — Где ключи от письменного стола и от шкапа? — Лежите покойно.

Минут двадцать, арестованный, в ночном белье, пролежал Бабенин на диване неподвижно, пока неизвестные люди, светясь электрическими фонариками, собирали оружие с точностью, точно они предварительно знали, где оно спрятано. У раздетого Бабенина отобрали даже шашку...

Люди ушли. Дом безмолвствовал. На цыпочках Бабенин отправился в кухню. Чадила привернутая лампа. На печи возле стряпухи, свесив с печи голые пятки, спал городовой. На лавке лежали — полицейская шинель, картуз, ремень, от которого отстегнута

была шашка, расстегнутая кобура, из которой вынут был револьвер, — под лавкою лежали сапоги и по ним ползали рыжие тараканы. Люди вошли и ушли через кухню.

Бабенин подкрался к пяткам городового. Бабенин уперся предварительно коленом в печку. Что есть силы сдернул Бабенин городового за пятки. С двухаршинной высоты городовой слетел вниз, ударился лицом о лавку — и сейчас же стал во фронт перед капитаном-исправником, хлюпая носом.

Бабенин трясся от гнева, в гневе не находя слов.

— Где твой револьвер, скотина?! — где твоя селедка, смерд?! — Издохни, а сейчас же мне покажи их!..

В невозможном гневе — что есть силы — бил Бабенин городового кулаками по скулам, пока городовой не пополз на четвереньках к скамейке, а от скамейки, от пустой кобуры и от отстегнутой портупеи, в сенцы и на двор.

Обессиленный Бабенин прошел к жене. Она спала. Он разбудил ее.

— Ты ничего не слышала?

— Нет.

— Ты знаешь, что нас ограбили?

— Нет.

— Ты нигде, ничего не говорила об оружии?..

Жена глянула на мужа презрительно.

— Может быть, и говорила! — сказала она.

На пороге в спальню вслед за отцом появился сын Николай. Николай видел второй раз в жизни, как отец сидел на полу, в подштанниках, в истерии, в бессмыслице, в бессилии, бил голыми пятками по полу...

...Влюбленность у детей приходит иной раз с возрастом первого возникновения *я*, влюбленность, необыкновенное. В дом земского начальника Разбойщина пришло очередное утро. Мама распорядилась, чтоб Ипполит в этот день никуда не выходил из дома, даже на двор, — такие распоряжения длились уже несколько дней, их нельзя было объяснить боязнью простуды. С самого утра, еще до рассвета к папе приходил купец Коровкин, они запирались в кабинете, кухарку посылали за ротмистром Цветковым, но Цветков был у Верейского. Рано утром приехали во двор верховые стражники и, окруженный ими, папа уехал на пролетке кня-

зя Верейского. Тогда кухарка рассказала, что громили земскую управу и — на базаре — аптеку Шиллера, а кроме того, сожгли усадьбы Верейского и Уварова, — папа поехал усмирять «мужиков», а Шиллеры — провалились сквозь землю.

Авдотьин рассказ прозвучал громче, чем библейский гром среди ясного неба, —

Маргарита! Маргарита Шиллер!.. Тайком от всех, даже от самого себя, часами Ипполит ощущал, как он — пусть красноухий и в длинной шинели на вате — перемещался в Маргариту, — эти ощущения несли физическую сладость, они были самым лучшим в жизни, когда одно имя — Маргарита — наполняло сердце трепетом...

Больше Авдотья ничего не рассказывала. Места для Ипполита во вселенной не находилось. Оставаться дома Ипполит не мог, надо было пойти к Коле Бабенину и узнать все о Маргарите, — Маргарита не могла, не имела права провалиться сквозь землю! — никто не имел никакого божьего права проваливать Маргариту сквозь землю! — и — что такое «сквозь землю»?!

Ипполит бесшумно стал натягивать шинель, — и сразу из спальни вышла мама, — как папа, топнула ногой, крикнула, как папа, —

— Не сметь выходить на воздух!

О простуде не могло быть и речи. Время стало пустым и бессмысленным. Ипполит сидел у окошка к калитке на улицу. Часам к двум за окном полил мелкий дождик, ветер гонял по двору мокрые листья, куры убрались в курятник. Часам к четырем дождь перестал и, должно быть, опять заморозило. Мама безмолвствовала в спальне. Раза два на кухне Авдотья начинала петь «Лучинушку» и замолкала испуганно, вспомнила наказ хозяев не раздражать скулением. Обед прошел в безмолвии. У мамы была мигрень.

Мама крикнула из спальни:

— Авдотья, затопи печи!

Авдотья грохнула дровами в гостиной, сказала:

— Гляди, не сегодня — завтра вместо изморози снег пойдет. Дело к зиме...

И в сумерки у калитки зазвонил колокольчик. Мама быстро прошла в кухню, притворила за собою дверь, Ипполит расслышал конец фразы:

— ...тогда не отпирай!..

Еще зазвонили.

Авдотья разговаривала через забор, долго не отпирала, отперла.

В калитке стоял Леонтий Шерстобитов.

Студент Леонтий не приходил ни разу с тех пор, как Ипполит попался в курении, когда дядя действительно Ипполита от курения отучил.

Авдотья хотела, должно быть, студента не пустить, загородила дорогу, — Леонтий отодвинул Авдотью за плечи, пошел в дом через кухню. Мама встретила Леонтия с испугом, как чужого, не предложила даже раздеться. Она сказала:

— Мужа нет дома, а у меня мигрень, и я лежу...

— Ничего, — ответил Леонтий, — идите ложитесь. Я подожду.

Леонтий снял шинель, снял трепаные галоши, хозяином прошел в гостиную, сел на диван. Мама громко хлопнула дверью в спальню. Леонтий устало закрыл глаза. Он не заметил Ипполита, Ипполит онемел перед чудесным дядей. Прошло минут десять, дядя, должно быть, спал. Колени Ипполита онемели. Ипполит хотел поправиться на стуле бесшумно, стул заскрипел, — и Леонтий открыл усталые глаза, увидел Ипполита, — глаза повеселели, стали затем страшно строгими.

Леонтий спросил свирепо, как тогда про курение:

— Пороха еще не выдумал?

— Нет, — ответил покорно Ипполит.

— Ага. Жаль. Курить бросил?

— Бросил.

— Лучше. Ты помнишь, я тебя спрашивал, — ты теперь определил, кто ты — народник, анархист или марксист?

— Не знаю.

— А слова эти знаешь?

— Знаю. Папа говорил маме, что ты — марксист, и еще говорил, что все революционеры — негодяи, а ты — тоже с ними...

— Так и говорил?

— Да.

— Это твой папа соврал.

— Я и не верю.

— И не верь. Мы с тобой целый год и шесть месяцев не виделись, а ты еще не революционер!..

Глаза дяди Леонтия потухли, опять стали очень усталыми и сонными, безразличными. Дядя опять дремал, прикрыв глаза.

— Дядя! — прошептал Ипполит.

Леонтий приоткрыл уставший глаз.

— Что? — спросил Леонтий безразлично.

— Дядя, где Маргарита?

— Какая?

— Маргарита Шиллер. Авдотья сказала, что они провалились сквозь землю...

Леонтий открыл оба глаза. Ипполит пылал, точно на нем было двадцать ватных шинелей, сшитых на рост.

— Враки, — ответил дядя Леонтий медленно и спросил быстро, опять свирепо, как про курение: — А что твой папа говорил о Шиллерах?

— Что они жиды.

— И ты веришь?

— Нет... Где Маргарита?

Глаза Леонтия повеселели, никак не сонные, озорные, Леонтий сказал окончательно свирепо:

— Ах ты, плут-плутище! — я ж тебя насквозь вижу и на восемь шагов под землю, и ты со мной не лукавь. Я всё про Маргариту знаю.

— Откудова? — спросил Ипполит и побледнел.

— Сильно влюблен?

— Да...

— Пойди на цыпочках, чтобы никто не слышал, посмотри, что делают мама и Дуняша, — тогда поговорим.

Бледный Ипполит ушел бесшумно, бесшумно вернулся, прошептал:

— Они не услышат.

Леонтий ходил по комнате веселый, озорной, никак не уставший.

— Слушай — и ни гугу. А то все расскажу Маргарите. Ты вот не знаешь слов, — марксист, например, — и не имеешь об этом понятий, — а зря, папа твой про них врет так же, как про Маргариту... И ты — здорово влюблен, плут?

— Да...

— Ты Майна Рида или кого там про индейцев — читал?

— Да...

— Хочешь спасти Маргариту?

— Да!

— На Маргариту и на ее друзей напали — не то чтоб индейцы или разбойники, но просто мерзавцы... — Глаза дяди Леонтия стали внимательными, не озорными. — Знай, Ипполит, если кто-либо узнает о нашем разговоре... Дай честное слово, я передам его Маргарите.

— Даю. Никогда, никому не скажу!..

— Верю. Ты вот пороха еще не выдумал... А для борьбы с мерзавцами нужно оружие. Сколько у твоего папы — пистолетов, револьверов, ружей, а самое главное, патронов к ним?

— Три револьвера и одно ружье. Один револьвер под подушкой, один на шкапу, один папа носит с собою в шинели, а ружье на стене в кабинете...

Дядя подвел Ипполита к окну.

— Видишь вон ту скамейку под яблоней, около забора, вон ту, которая подальше?

— Вижу.

— Сегодня же ночью снеси под эту скамейку все три револьвера и ружье. Да патроны не забудь!.. Ведь с Колькой Бабениным небось таскали у отцов револьверы, стрелять потихоньку?

— Таскали.

— Ну, то-то. Вижу. Если попадешься, скажи — взял поиграть. Если тебя заподозрят, — отпирайся, пусть отец хоть запарывает до смерти. Если никак нельзя будет выйти из дому, отопри на ночь дверь на парадном, — я приду ночью сам. Понял? — Повтори. Дай еще раз честное слово. Будь — как могила. Повтори!..

Дядя Леонтий ушел, не дождавшись «земляка»-земского начальника. Авдотья на засов и на замок заперла калитку.

Стемнело.

Первый раз в жизни у Ипполита был смысл. Первый раз в жизни у Ипполита не было страха ни перед кем и ни перед чем, даже перед папой. Первый раз в жизни страсти владели Ипполитом — в том числе страсть ненависти к мерзавцам. Первый раз в жизни было сказано вслух — *любовь*, ибо тогда, давно уже, когда писалась бумажка — «я т л», — вслух и перед вто-

рым человеком слово — любовь — не произносилось, и даже можно было отпереться, сказав, что «я т л» значит — «я теперь латинист». Дядя Леонтий был великолепен и непостижим!..

И в первые четверть часа, когда вернулся отец, когда он тщательно проверял запоры на воротах и дверях в дом, когда он мылся, а мама собирала ему белье, Авдотья ж подогревала обед, когда папа прошел в халате в столовую и прикрылся там с мамой, — патроны, револьверы, ружье — в отличной закономерности лукавства, которые возникают только в инстинкте самосохранения, — пусть погибнуть, но не предать, — револьверы, патроны, ружье и даже кинжал вынесены были Ипполитом в сад под скамейку, а там прикрыты рогожею... Розовощекий, пухлый, вялый мальчик вошел в столовую, как только отец вышел из спальни от умывальника. Мальчик приластился к маме. Отец сказал строго:

— Чего ты трешься около взрослых? — иди в детскую или даже пора уже спать!..

— Мама, пожалуйста, дай молока, и я пойду мыться, — сказал ласковый мальчик. — Покойной ночи, папочка и мамочка!

Через час после того, как приехал Разбойщин, к забору подошли двое, взрослый и подросток, прошли вдоль забора раз и два.

— Ну, Климентий, становись мне на плечи, цепляйся за верх, — сказал Леонтий Шерстобитов.

Климентий Обухов вспрыгнул на забор.

Через два часа после того, как вернулся Разбойщин, по дому забегали привидения. Земский начальник, в халате, со свечою в руке, за ним жена и Авдотья, также со свечками, пятились от собственных своих теней, и земский визжал фальцетом:

— Тише, тише, не ходите в сортир, он спрятался там!.. где топор или лом?! — Нет, на двор невозможно... Дуня, вы проверили двери на чердак и в чулан?.. — Ах, при чем тут Шерстобитов, ты же говоришь, что он не заходил ни в кабинет, ни в спальню, где ты лежала с мигренью, и Авдотья запирала за ним, — а кроме этого, мой браунинг был все время со мною... Он, должно быть, приходил как наводчик!.. Тише, тише!.. Дуня, посмотрите под диваном в гостиной, — ну, чего ты стоишь?! — Ты была уже в детской?..

В детской спал пухлый розовощекий гимназистик и счастливо улыбался во сне. На стуле рядом с кроватью, как приказывал папа, аккуратнейше сложенные по разглаженной складке, лежали гимназические брюки...

У офицера-помещика Вахрушева оружие отобрали просто на улице. Он не уезжал из Камынска, боясь деревни и охраняя дом Коровкина. Он шел со свиданья с Цветковым. Ему сказали негромко:

— Руки вверх, господин офицер.

Руки Вахрушев поднял поспешно. У него вынули из кобуры револьвер, от него отстегнули саблю. Сказали:

— Вы, господин офицер, кажется, демобилизованы? — погоны носите не по праву.

С него сорвали погоны.

Сказали:

— Теперь бегите рысью с бубенцами, как на тройке!

Помещик Вахрушев действительно побежал в галоп.

По империи мерзостью шли еврейские погромы. 28-го октября в Кронштадте восстали матросы, 2-го ноября восстание было подавлено царем. По фабрикам и заводам шли забастовки-протесты против расстрела кронштадтских матросов. Эхом восстал и погиб на Черном море лейтенант Шмидт.

...Глубоко за полночным часом Леонтий Шерстобитов пришел домой, в коммуну. Никита Сергеевич не спал, в неурочное время он постучал к Леонтию. Двое, они прикрыли плотно за собою двери в кабинете Никиты Сергеевича.

— Садитесь, Леонтий...

Никита Сергеевич отошел к окну, молчал. За окном в ночи гудел ветер.

— Леонтий, вы и ваши товарищи, вы все дальше и дальше уходите от меня. Вы уже не говорите при мне о ваших делах. Я знаю, оружие в городе отбираете вы, но вы об этом молчите...

Леонтий молчал.

— Сейчас поздно, а мне хотелось бы, с утра, на бодрую голову, совсем по-деловому, рассказать вам мою жизнь, всю мою жизнь и все мои мысли, чтобы мы поняли друг друга. Я ждал вас сейчас, чтобы спросить, почему вы уходите от меня? — Вы молчите, Леонтий?

Леонтий ответил не сразу.

— Не мы, не я уходим от вас, но вы уходите от времени, от идей и от дел этого времени — или оно уходит от вас, не знаю... — Леонтий помолчал, сказал сурово: — Через день, через два, через три в Москве начнется вооруженное восстание рабочих, — вы, конечно, против него? — Вы слышите, — начнется — вооруженное — восстание — рабочих... Я и мои товарищи, — мы едем в Москву. Этим все сказано.

Никита Сергеевич быстро отошел от окна, стал среди комнаты.

— Это... это предрешено?

— Да.

— Оно готовится?

— Да. И мы едем. Вы же считаете это бессмыслицей? — как вам поверит Артем Обухов, который также едет в Москву, но у которого пять человек детей?..

Леонтий говорил жестким голосом.

Никита Сергеевич вернулся к окну, лицом в ночной мрак.

Молчали.

— Я поеду с вами, Леонтий, — сказал Никита Сергеевич.

Леонтий поднял голову, посмотрел на старческую спину Никиты Сергеевича, глаза Леонтия стали ласковыми.

— Я еду с вами, — повторил Никита Сергеевич.

Леонтий поднялся с дивана, веселый, неуставший, подошел к Молдавскому, обнял сзади за плечи, — сказал:

— Стало быть, все же на самом деле с нами, с рабочими, с пролетариатом, за рабочее будущее человечества?! — не гроза, а водораздел миров? — не народничество, а марксизм?!

Никита Сергеевич стоял, не оборачиваясь к Леонтию.

— Восстание начнется послезавтра, старик, завтра ночью мы уезжаем. Вам не надо ехать, — мы вернемся к вам и пришлем наших товарищей, если понадобится зализывать раны. Елена и Надежда, они тоже не едут, — поберегите их, старик!.. А длинный разговор... —я так давно не спал, я пойду спать, я хочу выспаться до завтра. А когда я вернусь, вы расскажете мне вашу судьбу. Я знаю, — то, что вы сейчас сказали, — это ее завершение. Не сердитесь, отец, послезавтра восстание!..

...6-го декабря в Москве началось вооруженное восстание рабочих.

С 4-го на 5-е ночью по дну оврага к задам пустого и заброшенного соляного амбара, что стоял у моста между Камынском и Чертановом, подъехали сани, запряженные лошадью учителя Григория Васильевича Соснина. Ночь легла черной, заметал первый снег. Амбар безмолвствовал, пустой и заброшенный. С моста, с пустынной площади перед мостом, с саддердиновского переулка, с чертановских задов поодиночке к задам соляного амбара сошлись люди. Их было немного. Они были молчаливы. Последним от моста пришел Климентий.

Из развалин амбара люди вынесли и сложили в сани — мешок, набитый револьверами пополам с картошкой, дерюгу с решетами, куда вместо сеток вставлены были ружья, еще дерюгу, зашитую так же, как зашивал свои корзинки для отправки в Москву чертановский Иван Лукьянович Нефедов, отец Ванятки.

Лошадь пошла по дну оврага к его началу, к полям. Впереди и сзади лошади в дозоре шли люди. У начала оврага, в ольшанике, люди остановили лошадь, собрались все вместе, уславливались, прощались.

— Вы, Артем Иванович, поездом, как уговорились, езжайте на разъезд Уваровский, переговорите еще раз с товарищами, задержите какой-нибудь товарный или воинский, мы будем там часа через три, поедем нижней дорогой, там потише. Если на полустанке что-либо, казаки там, что ли, — предупредите, — говорил Леонтий Шерстобитов.

Высокий, на полторы головы выше Леонтия, Никита Сергеевич снял шапку, молча, по очереди, обнял, перецеловал товарищей.

Шерстобитов мерзнул на ветру в студенческой фуражке, маленький и нахохленный в холоде. Никита Сергеевич поцеловался с ним с первым.

Никита Сергеевич стоял с опущенною непокрытой головой.

Ночь была очень черна, еще не окончательно зимняя. Лошадь тронулась, двинулись люди. Никита Сергеевич остался один, растворяясь во мраке.

— Товарищи! — крикнул из мрака Никита Сергеевич, — желаю счастья, товарищи!..

— Надежду и Елену не забывайте! — ответил из мрака Леонтий.

На перекрестке дорог от саней к станции отделился и исчез во мраке Артем Обухов. Ночь лежала беззвездной и черной, заметал снежок и холодил людей.

Последним за санями шел подросток. На втором перекрестке дорог подросток сказал:

— Товарищ Леонтий, товарищи! — разрешите и мне тоже с вами в Москву...

— Нет, Клим, не надо. Ты еще молод, голубчик... Ты еще пригодишься, ты ведь старший в семье, семью тебе растить, если что с нами случится... Клавдия Колосова осталась ночевать в коммуне, пойди к Анюте, постереги ее... Иди, милый!.. Если... ежели что — катись на Урал к дяде, спроси на меднорудном Фому Талышкова, — скажи, мол, отцу голову проломили...

От саней к Чертанову отделился и исчез во мраке Климентий Обухов. Был полночный час. Климентий прошел мимо своего дома в Чертанове, через мост у соляного амбара, мертвым переулком с темными в полночи окнами. Сад Мишухи Усачева стоял пустой, безмолвный. Дверь в хибарку была отперта. Анюта спала. Климентий сел к столу у окошка, положил голову на стол. Анюта окликнула:

— Мама?..

— Нет, это я, Клим... Уехали. Леонтий Владимирович сказал, — помереть, это еще не так страшно, как жить сукиным сыном... Ты спи, Анюта, мама в коммуне останется... Не взяли меня... Отец и Леонтий Владимирович сказали: — если, ежели что, на меднорудном живет Фома Талышков...

В доме было безмолвно, когда вернулся Никита Сергеевич. В столовой рядом, обнявшись, сидели у печки и грелись фельдшерица Елена Сергеевна Волгина и учительница Надежда Андреевна Горцева. У стола дремала ткачиха Клавдия Колосова.

— Уехали?

— Уехали...

И всю ночь до рассвета в мезонине, в кабинете Никиты Сергеевича горел керосиновый свет, под потолком ходили синие тучи табачного дыма. Громадные, многозначные и многодробные, явно несходящиеся, неразрешимые писал Никита Сергеевич алгебраические формулы, логарифмировал их, извлекал из них слож-

нейшие корни, заслоняя свой мозг логикой цифр. За все время со дня приезда Никиты Сергеевича в Камынск — много лет тому назад — впервые в ту ночь наглухо заперты были калитка во двор и все двери в дом, и всю ночь мерзнули на дворе, против воли Никиты Сергеевича, отец и сын Нагорные в очередь с Мишухой Усачевым и с его собаками.

В ночи с 5-го на 6-е, с 6-го на 7-е, 7-го, 9-го, 10-го, 13-го, 15-го — одиннадцать ночей — двери в коммуну были заперты глухо. Елена Сергеевна и Надежда Андреевна уходили на работу, возвращались и долго стучали у калитки. Дни Никиты Сергеевича шли по регламенту, в детские часы он спускался из кабинета в зал, но дети отсутствовали, — а ночи напролет, без регламента, Никита Сергеевич сидел за письменным столом, писал и разрешал громадные, сложнейшие неразрешимые многочасовые логарифмические задачи. Против его глаз висела выцветшая фотография Веры Фигнер.

В ночь с 16-го на 17-е — на тринадцатую ночь, — много за третьими петухами, со стороны сада в освещенное окошко Никиты Сергеевича чуть слышно ударился ком снега, еще раз. Никита Сергеевич открыл форточку. Светила громадная луна. Громадная ночь прошла в мезонин морозом и могильной тишиной. В лунных тенях за елками пряталась человеческая тень.

— Кто там? — спросил тихо Никита Сергеевич.

— Отоприте, и, пожалуйста, так, чтобы никто не слышал.

Из-за елей к дому шел Григорий Васильевич Соснин, в чужой куртке.

Никита Сергеевич отпер двери. Молча обнялись. Молча прошли в мезонин, в кабинет. Соснин прикрыл за собою двери, сел на диван, опустил голову, глядел в пол.

— Из Москвы?

— Да.

Молчали.

— Леонтий Владимирович Шерстобитов и Дмитрий Климентьевич Лопатин убиты на Пресне, — стреляют из артиллерии. Нил Павлович Вантроба — ранен и взят полицией. Илья Ильич Стромынин арестован. Артем Иванович Обухов ранен в ногу осколком шрапнели, я его привез с баррикад домой, чтобы не отдать полиции.

Молчали.

— Нил Павлович и Илья Ильич будут опознаны, — не сегодня завтра придут сюда... Разошлите всех, кому надо спасаться... а я... я не спал все эти ночи, я пойду домой спать...

У калитки Никита Сергеевич сказал:

— Послушайте, оставайтесь здесь, я пошлю за Обуховым, его приведут сюда... Крестьяне, Иван Нефедов, знают, что вы были в Москве, они выдадут вас...

— Крестьяне? — спросил Соснин, — меня? Обухова? Никогда не выдадут, никогда, — те, конечно, которые знают о нас...

Через час, в неурочный час, из трубы над домом Никиты Сергеевича повалил дымок, — Елена Сергеевна, Надежда Андреевна, Никита Сергеевич жгли бумаги.

18-е декабря приходилось на воскресенье, — суббота, стало быть, выпала на 17-е, день всенощного церковного бдения. Учитель Богородский почитал себя толстовцем и «критически мыслящей личностью», он развивал среди учительства — в раздражении — идеи непротивления злу, он был тщеславен, он хворал давнишнею чахоткой, громаднокадыкий, впалогрудый, с мокрыми руками. Он был холост, вместе с ним жила родная его сестра, вдова, которая трепетала пред братом — за все, за кусок хлеба, за свое существование, — перед величием и образованностью брата; у вдовы была дочь, которая должна была безмолвствовать, когда дома находился больной и мыслящий дядя. Летом, в каникулы, дядя ходил по полям и собирал цветы. Он был холост, он хворал туберкулезом, — всем незамужним учительницам в Камынске он делал предложение руки и сердца, — ему отказывали. Он делал предложение Надежде Андреевне Горцевой и Елене Сергеевне Волгиной, обе они ему отказали. Он ходил в коммуну, когда туда ходили все. — 17-го вечером, в час, когда по церквам шло православное церковное бдение, в двери учителя Богородского постучались два жандарма. Через четверть часа из школьных ворот вышли учитель Богородский, а в десяти шагах сзади — два жандарма. Так, в расстоянии десяти шагов друг от друга, они прошли до парадного дома Цветкова. Ротмистр был красив, как греческий бог Адонис, и приветлив, как истинный друг. Руки учителя жестоко потели. Учителя и ротмистра разделял письменный стол.

— Хотите папирос?.. — не курите... Стакан вина?.. — жаль. Чаю? с лимоном? с печеньем?.. — ну, право, какой вы!.. Итак, вам все понятно, и понятно, почему вы здесь... мне все известно!.. Я хочу только спасти вас, как толстовца...

Учитель был бледен и нем. Над ним рушились громы. Он говорил:

— Если... если вы дадите честное слово, что вам все известно... все останется между нами... я, как непротивленец...

— Даю слово офицера.

— Если... если никто никогда не узнает... Нет, что вы, что вы... Я — принципиально и честно, как... как... против зла...

— Ну, понятно, понятно, — совершенная тайна. Итак?

— Я... не тайна, но истина... нет, однако, и тайна... я должен говорить только честно и правду... О Молдавском?.. — он, как вы знаете, бывший офицер, он всегда молчит... о Волгиной и Горцевой?.. что касается... Во всяком случае, вы понимаете, я совершенно честно... Во всяком случае, забастовку на фабрике Шмуцокса организовали — студент Шерстобитов, конторщик Стромынин и... и учительница Горцева с... с фельдшерицей Волгиной... Я принципиально...

— Может быть, все-таки чаю с печеньем?.. Может быть, вы нуждаетесь в деньгах на лечение?.. — Ну, зачем же так волноваться! — просто знак дружбы и, если хотите, внимания. Мы должны беречь друзей... Вы категорически отказываетесь от клички? — но это самый лучший вид конспирации... — жаль!.. Итак, слушаю дальше. Шерстобитов, Стромынин, — железнодорожный рабочий Обухов?..

Учитель Богородский ушел. В прихожей он столкнулся с Коровкиным. Коровкин поздоровался, как друг.

Цветков сказал:

— Ну, вот и отлично. В будущем прошу вас встречи иметь с Григорием Елеазаровичем и через него для конспирации иметь со мною связь...

Коровкин осматривал пустоту улицы перед тем, как выйти Богородскому.

Коровкин остался. — В тот день еще с сумерок Цветков посылал унтера на Подол к Полканову, мещанину-художнику, просил на вечер устроить чертогон, запастись проститутками из публичного дома. Григорий Елеазарович Коровкин не принимался в расчет чертогона, — пришел и не уходил. В сердечной благодарности Цветков позвал Коровкина с собою.

— Ох, старость моя и — опосля всенощной... я уж только одним глазком... — сказал Коровкин и с радостью пошел.

На стенах у Полканова висели картины — полкановское представление о человеческом достоинстве и красоте.

Проституток раздели догола, проститутки должны были плясать все, что им приказывали. Утром Цветков мылся в ванной и тер себя щетками. Из Москвы пришла шифрованная телеграмма, дополнявшая сведения, данные учителем Богородским.

И вечером 18-го, в воскресенье, громко задубасили в калитку Молдавского.

Калитка была отперта.

Парадное было открыто.

В дом ввалились жандармы.

В доме были — Никита Сергеевич, Елена Сергеевна, Надежда Андреевна, Клавдия Колосова. Цветков делал обыск. У Цветкова был ордер, им же написанный, на арест Волгиной и Горцевой. Елена Сергеевна и Надежда Андреевна стояли у печки в столовой, покойны и ясны.

Цветков сказал Никите Сергеевичу:

— Итак, капитан первого ранга, — революция кончена? — Вы сожалеете, конечно, что мы живем в стране строгих законов и узаконений, которые не дают мне возможности выдвинуть в данное время против вас ту или иную статью закона? — иначе вы имели бы удовольствие, — не скрою, к величайшему стыду моему, как русского офицера перед русским офицером в отставке, — имели б удовольствие пойти вслед за мною с вашими дамами...

Никита Сергеевич отвернулся, ничего не сказав.

Клавдия Колосова, женщина, о которой в первую очередь зналось, что она всячески бедная и всем обделенная, малограмотная, ставшая старухой с двадцати трех лет,

когда утонул ее муж, женщина, которая за всю свою жизнь ни разу на людях не сказала больше одной фразы, главным образом «да» или «нет», — Клавдия Колосова закричала в презрении, в бесстрашии, ненависти:

— Ах, мерзавцы, что делают! Зенкам твоим не стыдно тебе на свет смотреть?! ведь наплевать в них — мало!.. Приличный человек, офицер, говоришь, — сам посуди, — единые-разъединые честные люди нашлись, девушки-красавицы, умницы, — а ты — арестовать!.. Ах, кот сытый, а еще приличный человек!.. Есть у тебя стыда хоть на грош иль нет?!. Ух, кот глаженый!..

— Кто? — спросил кратко Цветков.

— Это я-то кто?! — самый я последний человек, света я ни единый денек не видела, кроме как вот с этими красавицами-умницами, а ты их хочешь у меня украсть, — а говорю я тебе и знаю, — не то что пыль от их башмаков тебе лизать, а и моих подметок ты недостоин!..

— Арестовать! — крикнул Цветков.

— Арестуй, кот сытый, офицер-господин!.. — Арестуй, хуже не будет.

Никита Сергеевич остался один.

Пустой дом остался кругом открытым.

Восстание в Москве было подавлено.

В вечер, когда это стало известно доктору Криворотову, Иван Иванович, как в первый день революции, обнял жену, положил свою голову на плечо жены, — но слез не было.

И в тот же вечер в трактире Козлова был арестован чертановский корзинщик Иван Лукьянович Нефедов. В тот час, когда в трактир пришла весть о гибели московского восстания, — узкогрудый, с выцветшими глазами, в бороде клочьями, — казавшийся пьяным и тем не менее не выпивший ни капли алкоголя, — поднялся над головами людей человек, выцветшие глаза которого засветились настоящим фосфорическим светом, — этот человек протянул вперед руки и прошептал так, что слышали все:

— Всем говорю, миру говорю, — и Уваровку, и Верейское, и все прочие усадьбы сжег я, один я и больше никого. Вяжите меня за всех...

Его вязали. В трактире была страшная драка, ибо большинство бывших в трактире не хотело отдавать полиции Ивана Нефедова.

Глава восьмая

ОТЦЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ РАВНОВЕСИЕ

Князь Верейский написал записку Бабенину, просил к себе. Бабенин пришел.

Верейский принял Бабенина — даже не в кабинете, но в приемной, стоя, едва поздоровавшись. Князь долго мял в руках свой носовой платок.

— Голубчик, я говорю приватно, как дворянин дворянину... Ведь вы же блюститель порядка и нравов и... как это назвать?.. Я говорил уже на эту тему... актриса, незаконная жена и... и посещала Молдавского... У вас отобрали оружие...

— Ваше сиятельство, оружие отобрали у многих...

— Да. И даже у меня. Но я не военный... Я ставлю вопрос принципиально... Дама должна покинуть ваш дом. Это — безотлагательно и немедленно. Иначе вы вынуждены будете подать в отставку... Я говорю приватно, как дворянин дворянину... — Голос Верейского стал еще более мягким и ласковым. — Ну, если не можете справиться со страстью... ну, заведите на дому простую девку... или даже новую даму, только где-нибудь подальше, ну, поселите хотя бы в Чертанове.

Бабенин слушал скорбно и сказал скорбно:

— Ваше сиятельство, она сама покидает меня.

Князь ласково обрадовался, ласково воскликнул:

— Сама покидает?! — вот и отлично, вот и отлично, голубчик!.. Куда же она исчезает в сиянье голубого дня?..

— Госпожа Волынская, — молвил грустно Бабенин, — сама не желает жить со мною, как с исправником, и сняла себе уже комнату у художника Латрыгина-Нагорного...

— У Латрыгина?! — возьмите обоих их на заметку, голубчик...

...Нагруженный коньяком и взволнованный Сергей Иванович Кошкин примчал к доктору Ивану Ивановичу Криворотову, — крикнул с порога:

— Есть! нашел! вот она!..

— Что нашли? — спросил сурово Иван Иванович.

Кошкин размахивал книгой.

— Книжечку нашел. Помните, говорили, — чтобы найти себе оправдание. Правильно, все правильно!..

Вот она эта книжечка сочинения Фридриха Ницше, называется— «Так говорит Заратустра», — про сверхчеловека, — там сказано, — «падающего подтолкни!»... — Про меня написано. Никакой то есть совести!.. Я все к Никите Сергеевичу собирался, как бы он меня не обошел, — теперь не пойду. Правильно, все правильно, и смех, и грех, никакой то есть совести, — и даже про женщин написано, что их хлыстом надо. Тут все про сверхчеловека написано, как раз для меня. Падающего — подтолкни. Женщину — хлыстом. Одним словом — слабых долой!.. К ногтю!.. — Кошкин передохнул облегченно, стер со лба пот. — А вы, между прочим, я слыхал, с Аксаковым, с Коцауровым в кадеты организуетесь, — в конституционно-демократическую партию?

— Я принципиально беспартийный, — сказал в суровости Иван Иванович, — но кадетам сочувствую, цвету интеллигенции.

— А зря, — сказал Сергей Иванович.

— Что зря?

— Книжечка книжечкой, про сверхчеловека, то есть, для оправдания, стало быть, денного разбоя, а хитрить надо, партию делать надо, и именно кадетскую. А то нам так-эдак зря не пройдет.

— Что такое — так-эдак?

— Известно, — революция. Студента Шерстобитова убили, железнодорожника Артема Обухова то ли повесят, то ли на каторгу, фельдшерица то ли на каторгу, то ли в ссылку, — ну, так черное от этого белым не станет, правда-то за ними. Мне хитрить необходимо, чтобы уцелеть. На их место придут другие, без этого не обойдешься, — и при Коровкине с Верейским скорее, чем при кадетах, — а я хочу помереть в удовольствии... Давайте партию делать, Иван Иванович, кадетскую, для хитрости, как сверхчеловеки, — вы человек порядочный, не украдете.

— Не могу, — ответил Иван Иванович. — Принципиально беспартийный.

— А зря... я — было и деньжонок на партию захватил. Значит, надо с Аксаковым Павлом Павловичем сговариваться?.. Жалко, — с вами бы лучше, по соседству и без обмана. Павел Павлович — он главное дело по бабочкам, денег я ему не доверю... — Сергей Ивано-

вич вздохнул раздумчиво. — А книжечку Фридриха Ницше, если хотите, я дам, для души, почитайте. Никакой, то есть, совести!.. Я ее сразу десять штук купил, для знакомых. Адвокат Вантроба, Нила Павловича, убитого, брат, в Москве для души посоветовал... Так, значит, к Аксакову? — и смех и грех!..

— Ты прости меня, Сергей Иванович, — сказал Криворотов, — но ведь ты — вроде как бы принципиальный мерзавец.

— А ты как понимал? — спросил Кошкин, — только вот насчет принципиальный я с тобой не согласен!..

...Артистка Софья Волынская переехала на гору к художнику Нагорному. Нагорный в башне загрунтовывал холст, на котором собирался писать не просто рабочего, но рабочего-рыцаря, — и на стены Нагорный вернул старые свои рыцарские полотна...

Два с половиной с лишним месяца, до крещенских морозов нового, 906-го года, на базарной площади стоял брошенный и разгромленный дом с вывеской, повисшей на одиноком гвозде и со сбитыми на сторону двуглавыми орлами, — «Аптека — Apotheke Sciller», — и два с половиною месяца никто не видел на улицах в Камынске ни Израиля Иосифовича, ни детей его, ни жены его, ни помощника Наума Соломоновича Хейфеца. Разгромленный дом на площади заметало снегом, горожане обходили его стороной. В базарные дни на площадь съезжались крестьяне с возами сена и с дровами, — дом служил за общественную уборную.

Израиль Иосифович после нескольких ночей у Молдавского поехал было к брату в Смоленск, но там ждали погромов, — поехал было в Москву, но там не прописывали, взяли на подозрение, могли арестовать, — вернулся в Камынск, намереваясь временно снять у кого-нибудь две комнаты, но никто не сдавал. Приходилось жить, рассовав детей кое-как, гостем по знакомым, которые были не рады гостю, — страшно было появляться днем на улицы.

И в крещенские морозы в осеннем пальто помощник Израиля Иосифовича Наум Соломонович Хейфец прошел в два камынских учреждения — в государственное и в общественное — в канцелярию уездной полиции и в городскую управу, — в оба с одним и тем же вопросом, написанным на бумаге: разрешается или

не разрешается аптекарю Шиллеру взять новый патент на новый 1906-й год?

В уездном полицейском правлении начальствовал Бабенин, в управе — Коровкин. Наум Соломонович не доходил до них и собеседовал не с ними, а со столоначальниками, — и не собеседовал даже, а подал каждому столоначальнику в отдельности по заявлению, со вложением в заявления по «красненькой», то есть по десятирублевой бумажке. Столоначальники обещали подумать, велели прийти завтра. Назавтра столоначальники велели написать по новому заявлению в учреждения и намекнули, какие, на какую сумму и для кого должны быть вложения в новые заявления.

Через день Наум Соломонович принес Израилю Иосифовичу — предписание, именно:

«Г. фармацевту И. И. Шиллеру.

Предписание.

Ввиду того, что за истекший 1905-й год вы являлись содержателем Аптеки в городе Камынске и от вас не поступало отказа от дальнейшего содержания указанной Аптеки, одновременно же с этим с октября прошлого года Аптека не функционирует и находится в антисанитарном состоянии, распространяя вокруг себя зловония и не соответствуя благоустройству г. Камынска, Уездное Полицейское Правление предписывает произвести текущий ремонт в Аптеке и открыть означенную Аптеку для пользования населения, во избежание штрафа в десятидневный срок, и впредь содержать Аптеку в состоянии, соответствующем городскому благоустройству.

Уездный исправник надворный советник Бабенин.

Столоначальник коллежский регистратор Винтов».

И утром, ни на кого не оглядываясь, первый раз за два с лишним месяца днем, первый раз за это время в сторону аптеки, — Израиль Иосифович в сопровождении Наума Соломоновича пошел осматривать свой дом.

Дверь на улицу, некогда стеклянная, была сорвана с петель и отсутствовала. Не только нижний этаж, но и верхний являл собою зловонные нужники. Стены изрыгали остроумие сортирных надписей. Шиллер долго стоял на пороге в спальню, — здесь умерла первая его жена, мать его детей. Из спальни Израиль Иосифович прошел в детскую, прислонился к дверному косяку. На

белой двери, сорванной с петель, но не украденной, синим карандашом изображались большая девочка, два мальчика и маленькая девочка, лица и волосы у всех разрисованы были красной половиной карандаша. Года четыре тому назад эту картину нарисовала маленькая Маргарита, — тогда от отца она получила нагоняй, а вымыть дверь, оказывается, забыли...

— Израиль Иосифович, — угрожающе сказал Наум Соломонович, — я же говорил вам, что вам не надо сюда идти, пока не ходил я. Я же все сделаю сам и сам приведу подрядчика!.. Если вы опять будете сходить с ума и плакать, — я тоже могу попасть в сумасшедший дом!..

— Помните, Наумчик, на этой картине Маргариточка изобразила себя, старшую Маргариточку, мальчиков, и, если бы она сама не показала мне, никто бы и не заметил, потому что дверь открывалась в коридор к сундуку... А я тогда наказал Маргариточку...

На санках к аптеке подъехал Сергей Иванович Кошкин, —

— Ах, сукины дети, ну и пейзаж!.. Всё изгадили, — ах, сверхчеловеки!.. Но — ничего, то ли бывает, Израиль Осипович, — вставим сначала тепляки, прогреем, просушим... даже вьюшки у печей украли?! — ну и сверхчеловеки!..

Аптека ремонтировалась три недели. Обновленная вывеска повисла на прежнее место, с двуглавыми орлами, — «Аптека — Apotheka-Sciller». На прежнем месте в окнах стали стеклянные шары, у входа загорелась газокалильная лампа.

И за конторку вышли в белых халатах Израиль Иосифович Шиллер с Наумом Соломоновичем Хейфецом — в ожидании клиентов.

Первой пришла «баба» в овчинном полушубке, в шали, перекрестилась, сказала:

— Дай ты мне, Христа ради, буры на три копейки, тараканы детей заели, сил моих нету... Тебя, значит, не окончательно добили? — ну, Христос с тобой!..

Пришел учитель Богородский заказать тиоколу, — облокотился на конторку, сказал, оглянувшись по сторонам:

— Поздравляю, поздравляю, — какое безобразие, а?..

Ответил Наум Соломонович, очень громко, почти угрожающе:

— Вы же сами первый толстовец и держитесь за непротивление зла! — Наверху, на кухне Лиза—артистка Елизавета Андреевна Зорина — в фартуке, с засученными рукавами, после целого дня уборки, поставив на табурет — за отсутствием кухонного стола — керосинку, на корточках варила картошку, а на второй табуретке разделывала сельдь. Рядом с Елизаветой Андреевной, также на корточках, сидели Маргариты и Софья Волынская, бывшая Бабенина.

...Прошли без вестей три месяца, пошли четвертый и пятый, как арестовали Елену Сергеевну, Надежду Андреевну, Клавдию Колосову. Дом Никиты Сергеевича пустовал, безмолвный и всеми покинутый, даже детьми. И к калитке Никиты Сергеевича подъехали салазки, запряженные в Мишуху Усачева, в Климентия Обухова, в Анюту Колосову. Высоко на салазках, друг на друге, располагались, средь домашней утвари, клетки с птицами, западенки, пленки, силки, — клетка с Сысоем-соловьем. Вторым заездом от сада Мишухи Усачева везлись на санках собачьи тюфяки, кастрюли, кочерги, превыше всего лежал луженый самовар. Затем Мишуха провел в сад Никиты Сергеевича всех своих знаменитых собак, двух борзых на смычке, двух гончих, огненного сеттера и единственного в мире Фунтика. Дом Никиты Сергеевича наполнился птичьим чириканьем и собачьим чиханием, от непривычного воздуха.

Мишуха Усачев сказал Никите Сергеевичу:

— Мы к вам на жительство, пока Клавдюша в тюрьме находится, — будем сообща возиться, Анютку обучать. Я — по хозяйству, что надо, Анютка — по учению, а то боюсь я, Никита Сергеевич, неподходяще вам одному, без человечьей души. Человеку без живой души не положено быть, Никита Сергеевич! — оставить вас одного я никак не могу!..

Проходил февраль. Мишуха Усачев пробивал траншеи среди снегов от парадного к калитке. Каждый вечер по траншее в дом проходил Климентий Обухов, — отец его, как мать Анны, сидел в тюрьме, оба ждали суда. Анна жила в комнате Надежды Андреевны — как раз под кабинетом Никиты Сергеевича. Наверху в кабинете Никита Сергеевич сидел у мате-

матических формул. В столовой Мишуха разговаривал с Фунтиком...

Климентий был сух и не речист. Не речиста была и Анна. Климентий и Анна читали вслух друг другу книги, оставленные Леонтием Владимировичем. Нового года в тот год не встречали. Не сказано было — и сказано было: революция кончена, ушла в подполье подсчитывать раны, собирать новые силы...

Отсветом революции всю весну, все лето, всю осень в тот год во всей громаде империи полыхали кострища помещичьих усадеб, зловещими заревами, — бунтовала крестьянская Россия, и по проселкам, в оврагах, в заревах, мчали казачьи сотни — пороть «мужиков», жечь и расстреливать шрапнелью деревни, — а из городов, с заводов, по рекам, по железным дорогам, по большакам — на север к Белому морю, на восток к Охотскому морю, на юг за Каспийское море — по тюрьмам, по этапам, по ссылкам, по каторгам — империя разгоняла честных людей — и вешала, вешала, вешала, ибо сказано было и сказано не было, что революция — кончена.

Бабенин со стражниками и с Разбойщиным мчал от села к селу. Дома у себя Бабенин по-новому распределил комнаты, кабинет перенес в бывшую комнату дочерей, спальню уничтожил, в бывшую спальню вселил Дэку и Родэку, бывший кабинет отдал Николаю. Вера и Надежда — Дэка и Родэка, — двоешки, были в совершенстве похожи друг на друга, неразличимы, так, что даже отец каждую в отдельности из них не окликал, чтобы не ошибиться. Сестры замечательно дополняли одна другую. Они не могли быть друг без друга. Когда они учились в прогимназии, одна готовила уроки только по русскому языку, а другая только по французскому, каждая отвечала по своему предмету за обеих, ибо их не различали учителя, — обе имели одно и то же знание. Обе они откликались и на Веру, и на Надю. Когда они разговаривали, одна начинала фразу и вторая кончала. Закончив обучение, они жили дома без дела, играли немного на пианино, немного пели, немного читали, много спали, любили вышивать на пяльцах. Они не запоминали лиц людей, цвета волос или глаз, но помнили без ошибки цвет материи, фасон и цвет гребенки и башмак. Кроме прозвания — Дэка и Родэка, — славились девушки по Камынску также необыкновен-

ною своею походкою, так широко расставляли при походке носки туфлей и так близко держали пятки, что непонятно было, как они держатся на ногах и почему не отдавливают сами себе пятки.

Николай Евграфович считал дочерей примером для всех. Они одни не увлекались революцией, ни даже любительскими спектаклями. Они увлекались офицерами, молодыми помещиками — и в первую очередь Григорием Федотовым. Николай Евграфович, когда ушла от него Софья Волынская, не переживал ее ухода столь же страстно, как уход «законной» жены к графу Уварову. Николай Евграфович, по совету Верейского, нанял горничную и перестал фабрить усы. Он очень много разъезжал по уезду — и очень берег часы для дома, предпочитая разъездам домашний уют в беличьей куртке и заячьих сапогах. У сына Николая увидел однажды Николай Евграфович книгу «Маугли» Киплинга, — отобрал для ознакомления, не крамольная ли книжка? — прочитал — и вдруг, нежданно для самого себя, увлекся чтением, купил для личного пользования по указанию сына, поставил в книжный шкап, рядом с сочинениями графа Салиаса, запирал от сына полные собрания сочинений Фенимора Купера, Майн Рида, Жюля Верна, Киплинга, Сетона Томпсона, — зачитывался ими и перечитывал их по многу раз.

Проходило лето крестьянских зарев над помещичьими усадьбами, прошло, — и глубокой осенью однажды, вечером, когда Николай Евграфович в беличьей куртке и в теплейших заячьих сапогах мчался вдоль Сиерры-Невады на диком мустанге с закинутым для броска лассо в погоне за кровожадным индейцем, похитившим белолицую дочку фермера, — в комнату вошли, постояли на пороге, упали разом на колени, опустив головы, Дэка и Родэка.

Отец не сразу заметил дочерей за отчаянной скачкой от прерий к скалам, — но, заметив, сразу почуял недоброе. И действительно, случилось недоброе. Дочери каялись, стоя на коленях. В совершенстве похожие друг на друга не только телами, но и душами, с рождения путаемые, с рождения одного и того же воспитания, одних и тех же платий, знаний и страстей, — они обе с одинаковой силой влюбились в юнкера Гришу Федотова. В обеих них, совершенно похожих, не только телом

и душою, но даже голосом и платьем, не то чтоб дополнявших друг друга, но раздвоявших друг друга и неразделимых вместе с тем, — в них в обеих сразу влюбился юнкер Гриша Федотов. Юнкер Гриша Федотов, оказывается, также разговаривал о «революции», только лишь «нравственной», — о «всесжигающих моментах», «об экстазах» и о «свободной любви», — Гриша водил барышень по окрестным полям еще прошлым летом, за грозной тишиной октябрьской всеобщей забастовки Гриша наладился проводить тайком девушек к себе в мезонин, потихоньку от отца-генерала, а потихоньку от папы-исправника лазил к девушкам в спальню через окно, когда папа усмирял «мужиков». Дэка и Родэка чувствовали одна за другую, каждая хотела и должна была испытать так же и то же, что испытывала каждая из них, — тайн между сестрами быть не могло, ни помыслов, ни дел. Девушки признались на коленах отцу, что обе они, вместе, одновременно, беременны от Гриши Федотова, и беременности пошел седьмой уж месяц, когда Вера и Надежда скрывать ее бессильны, а Гриша уехал в Санкт-Петербург в Николаевское кавалерийское училище и жениться не может как юнкер, с одной стороны, а с другой потому, что он любит обеих их одинаково, а жениться законным браком может только на одной... Мустанг—не первый раз уже в жизни Бабенина — сорвался и полетел на землю со сиерра-невадских скал...

С осени того года старшая Маргарита Шиллер уехала в Смоленск кончать гимназию, и в тот самый день, когда Вера и Надежда стояли перед отцом на коленах, Израиль Иосифович получил из Смоленска письмо, указавшее на отдаленную и тем не менее зловещую связь судеб Шиллера и Бабенина. Брат из Смоленска сообщил, что дочь Израиля Иосифовича, старшая Маргарита, вместе с двумя подругами-гимназистками, завезена была в соседнюю помещичью усадьбу офицерами полка, расквартированного в Смоленске, напоена алкоголем до потери сознания, изнасилована офицерами, заражена и повесилась на чердаке братниного дома...

Надворный советник Бабенин отвез своих дочерей в Москву, в Родильный дом на Солянке, 12, — о детях их никто ничего не слыхал. Дэка и Родэка больше не возвращались в Камынск. Много времени спустя их

видели в Москве у Мюра и Мерилиза, в наигромадном московском универсальном магазине, — Вера и Надежда служили там живыми манекенами в отделе готового женского платья. Их обязанности заключались в надевании платий новых фасонов. Походка их перестала быть необыкновенной, как в Камынске.

В то время, когда Вера и Надежда стояли перед отцом на коленах, а Маргарита висела где-то на пыльном чердаке, — в те дни с Откоса в Камынске, за Подолом, за лугами уже не полыхали кострища пожаров. Откос пустовал, как дом Никиты Сергеевича. И — за многими месяцами тишины, — в доме Никиты Сергеевича собрались — интеллигенты. Никита Сергеевич — не был хозяином.

Были — доктор Иван Иванович Криворотов с женою и сыном, Антон Антонович Коцауров с женою и сыном, Игнатий Леонтьевич Моллас с женою, — вообще все были с женами и детьми, — были Нагорный с Волынской, были учителя и врачи из уезда, — заезжал на пятнадцать минут даже Павел Павлович Аксаков и нежданно-негаданно затесался на весь вечер Сергей Иванович Кошкин. Стол накрывался во всю длину столовой. Стол накрывали — Сергей Иванович Кошкин и жены-организаторши. Собрались все нарядными. Павел Павлович Аксаков, врачи — пришли в сюртуках с белыми бантами галстуков. Все протекало в торжественности, Мишуха Усачев в прихожей принимал пальто. На лучшее, на парадное место за столом — первый раз за всю жизнь в Камынске — посадили Израиля Иосифовича Шиллера, с женою, с сыновьями, с маленькой Маргаритой, с помощником. Израиль Иосифович был очень взволнован. И первое слово для тоста взял себе за столом Иван Иванович Криворотов.

Встав в торжественности, поправив усы и галстук, выждав, когда все глаза собрались на нем, Иван Иванович заговорил:

— Я буду краток, господа!.. Вам всем известна цель нашей встречи. Мы собрались сегодня, чтобы чествовать проводы Израиля Иосифовича Шиллера в Америку. Да, Израиль Иосифович решил искать нового счастья, — пожелаем же его ему и мы!.. Израиль Иосифович решил поехать за счастьем в самую демократическую страну — в Северо-Американские Соединенные

Штаты. Израиль Иосифович ищет себе новую родину, навсегда покидая Россию, которая, стало быть, не стала его родиной... — Иван Иванович выдержал паузу. — Я подчеркнул бы, — которая, стало быть, не стала его родиной... Не скрою от вас, господа, — отъезд Израиля Иосифовича — большое событие в нашей жизни. И кто из нас, господа, услышав об отъезде Израиля Иосифовича, не последовал мыслью ему вслед? — кто не представил себе громадный Атлантический океан и за ним громадную, необыкновенную, самую демократическую в мире страну, по праву названную Новым светом... я повторяю, — Новым светом... И кто из нас не поставил себя на место Израиля Иосифовича, — я сказал бы, — не позавидовав ему, — и не позавидовав главным образом в том, что Израиль Иосифович находит себе родину, соответствующую его идейным убеждениям... Я обещал быть кратким. Прежде чем поднять бокал, я хотел бы подчеркнуть и сказать, что я был бы счастлив, если бы у Израиля Иосифовича не было причин покидать его старую родину, а у нас не было бы причин завидовать новой родине Израиля Иосифовича... Итак, господа, я поднимаю бокал. За счастье Израиля Иосифовича, которое недоступно нам! — за новую родину! —ура!..

Все крикнули «ура» и выпили стоя.

Сказал Сергей Иванович Кошкин, подвыпивший, пока расставлялись бутылки:

— И чего ты плутуешь, Иван Иванович?! — говори прямо, все равно все поняли. Желаешь, мол, американский строй в России, а то до того довешались, что не только евреи, а и русские скоро завопят от матушки-родины. Я, например, с удовольствием стал бы американцем, если бы по-американски понимал... Там, говорят, одни купцы проживают... Ура за американских купцов в Российской империи!.. Ура, говорю?!

«Ура» Сергея Ивановича никто не поддержал. Сергей Иванович разрушил своими пустыми словами всю программу торжественных речей по поводу общественной значимости отъезда Шиллера и собрания интеллигентов.

— Ну, хотя бы и так, — очень недовольно сказал Кошкину Криворотов, — вы всегда, Сергей Иванович, вульгаризируете идею...

Торжественных речей не получилось и не получилось общественной демонстрации в пределах дозволен-

ного. Мог получиться даже скандал: Кошкин мог не знать подробностей американского строя, но Антон Антонович Коцауров знал, а Коцауров к тому времени склонялся в партию октябристов и мог, стало быть, проводы Шиллера со скандалом покинуть. Остался только факт — знакомые провожали знакомого. Растроганный и растерянный Израиль Иосифович показывал всем заграничный паспорт. Уезжал Шиллер не всею семьей, но с женою и с младшей Маргаритой, — сыновей он оставлял Науму Соломоновичу, которому оставлял и заведывание аптекой, — на всех не хватало денег, надо было устроиться сначала в Америке, найти работу, и тогда Израиль Иосифович намеревался выписать всех остальных, сыновей и Наума Соломоновича.

Выпили, ели заливного поросенка и мороженое, — и разошлись по домам. За заборами торчала луна, лаяли собаки. Где-то далеко за ночью и за землями плескался Атлантический океан... Никита Сергеевич не был хозяином вечера — и был очень грустен в тот вечер.

Шиллер уехал.

Месяца три спустя от него пришло письмо, которое прозвучало, как сказка, почти неправдоподобностью. В Нью-Йорке Израиль Иосифович работы не нашел и поехал, по совету знающих людей, в городок Блюменфельд, штат Иллинойс, откуда он и прислал письмо, сообщая, что работы все еще нет, но утром в день написания письма он заходил в местный блюменфельдский молочно-мучной магазин — познакомиться с мэром города, хозяином лавки и евреем по национальности, родом из Минска...

От того времени, когда Вера и Надежда стояли на коленах перед отцом, и до отъезда Шиллера в Америку, — в те месяцы и в тот год империя — вешала, вешала, вешала, виселицами отгораживаясь от революции. — Первым человеком ходил по Камынску Григорий Елеазарович Коровкин, сухой, иссохший, руки которого на глаз должны были б — лиловые — быть очень горячими, но на ощупь оказывались холодными, как у мертвеца.

И в Камынск пожаловала выездная сессия военно-полевого суда, чтобы судить в Камынске. На суд допускались немногие, — Коровкин, само собою разумеется, свидетель. И вызван был также на суд в качестве сви-

детеля учитель Феоктист Феоктистович Богородский. Учитель Феоктист Феоктистович Богородский, и так уже желтый, в сутки стал походить на кощея бессмертного, высох, — в сутки свидетельских «показаний». Суд вынес приговор: Волгиной и Горцевой — «ссылка на поселение» — по пять лет Восточной Сибири. Артем Иванович Обухов, «мещанин» —

«...совершивший ряд вооруженных ограблений оружия, как-то предводителя Дворянства кн. Верейского, фабриканта, иностранного подданного, Шмуцокса»...

и пр.

«...активно участвовавший в Московском вооруженном восстании»...

«...то есть принимая во внимание статью Уголовного Кодекса»...

был приговорен к смертной казни через повешение.

Тогда же Клавдия Колосова получила три года ссылки в административном порядке.

Первым свидетелем на суде был Григорий Елеазарович Коровкин, и с заседаний суда из «верноподданнейших» свидетельских показаний Коровкина, вечером в тот день, когда вызван был на суд учитель Феоктист Феоктистович Богородский, — из зала суда протекло известие, что учитель Богородский — провокатор, предатель... Толстовец действительно был к тому времени в доме Коровкина своим человеком, наряду с помещиком Вахрушевым, с которым играл в шахматы, — и даже не только толстовец стал своим человеком, но и его сестра — вдова с дочерью, ходившие к молодой жене Коровкина, развлекать ее безделье и приглядывать за буйным помещиком.

В дни суда над Камынском пахло трупным тленом.

Без малого три года тому назад у камынского моста через овраг к Чертанову и у бульварного заборчика в городе против казначейства-тюрьмы строились Порт-Артуры и происходили русско-чертановские войны... Егорка Коровкин, единственный и любимый сын Григория Елеазаровича, по принципиальному желанию родителя в гимназию не поступавший и обучавшийся в городском четырехклассном училище, — в дни сессии военно-полевого суда, в порядке русско-японских игр, — устроил под своим председательством в забро-

шенном саду Мишухи Усачева военно-полевой суд над племянницей учителя-толстовца, дочерью его вдовы-сестры, шестилетней Машей, приходившей вместе с матерью к матери Егора; военно-полевой суд «выявил» причастие Маши, подобно Артему Обухову, к РСДРП фракции большевиков, приговорил к смертной казни через повешение, — и Егорка повесил Машу на яблоне в саду Мишухи Усачева — на одной из тех яблонь, на которых вешал в свое время Мишуха Усачев бездомных собак... Девочка умерла.

В Камынске, на юг за Подолом, на север, вокруг, ползли запахи трупного тлена. Испокон веков по российским уездам, по волостям, по проселкам, по оврагам ездили, остерегаясь темноты, крестясь набожно, с топором под козлами, — и помнили, что перелески и, главным образом, овраги полны не очень разнообразных былей, когда в том-то перелеске убили купца, в этом овраге убили помещика, там-то ограбили почтовую карету и опять купца-целовальника, а здесь убивали и убивают. В тот год к старым былям прибавились новые были. Коровкин, Григорий Елеазарович, отец Егорки, был первым человеком в Камынске, председатель «истинно русских», и был купцом. И к былям прибавилась быль: в Монастырской роще под самым Камынском, как раз против овражка к монастырю, куда ехал купец помолиться Богу, убили купца Коровкина, Григория Елеазаровича, и убил его не какой-нибудь ночной разбойник, а учитель-толстовец Феоктист Феоктистович Богородский, сын дьякона, — а убил не в месть за племянницу, повешенную сыном купца, а потому, что купец на сессии военно-полевого суда выдал учителя, был-де учитель-толстовец секретным агентом полиции и — провокатором.

И тогда же умер — нежданно-негаданно — земский начальник Афиноген Корнилович Разбойщин. В день, когда в Камынске узнали, что Коровкин убит и убит Богородским, Афиноген Корнилович, победитель, спешно прошел к себе в кабинет, лег на диван, крикнул на весь дом:

— Жена, водки!..

Три дня подряд пил Афиноген Корнилович водку стаканами, не вставая с дивана, и помер от разрыва сердца. За гробом Разбойщина никто не шел, кроме

жены и сына. Через неделю тогда жена продала дом за забором, купила другой дом, меньший, но двухэтажный, чтобы сдавать внаймы верхний этаж. Сын Ипполит со дня похорон отца перестал ходить в гимназию.

Нового года в тот год никто не встречал.

Пришли еще письма от Израиля Иосифовича, — работы в Америке все не находилось. Письма адресовались на дом Никиты Сергеевича, безмолвный дом...

Глава девятая

ПОКОЛЕНИЕ ГОТОВИТСЯ К ЖИЗНИ

Единственное, казавшееся реальным, что получил Камынск от революции, — это классическая мужская гимназия, с преподаванием латинского языка в обязательном порядке, а греческого — по желанию родителей.

Гимназия — это длинные коридоры с дверями в классы направо и налево, в первый приготовительный, во второй приготовительный, в первый, второй, третий — и так до восьмого, основные и параллельные. Классы — это ряд парт, каждая для двоих. За партами — ряды гимназистов. Гимназисты подстрижены все одинаково — под первый номер. Гимназисты одеты в форму, все одинаково, — в серые суконные полувоенного образца куртки и брюки навыпуск, — куртки опоясаны кожаными ремнями с бляхой, — на бляхе выгравировано— «К. Г.» — Камынская Гимназия. Аккуратность ношения бляхи — то же примерно, что ношение погон у офицеров. На улицах гимназисты одеты также все одинаково — в серые драповые военного офицерского покроя шинели с никелевыми, как у военных чиновников, пуговицами, с синими петлицами в белом канте. Покрыты гимназисты синими фуражками офицерского образца с белым кантом и с никелевой кокардой из двух лавровых веток и с «К. Г.» среди веточек. К форме полагался также на зиму, как у офицеров, башлык, обшитый серебряной тесьмою. Никакие иные головные уборы не полагались, и зимою поэтому в морозы ниже двадцати пяти градусов по Реомюру, как в военных казармах, занятий не бывало, чтобы не обмо-

раживались уши. К форме гимназистов полагался также ранец для ношения учебников и завтрака образца ранцев у наполеоновских гренадеров, но покрытый не медвежьей шкурой, как у французов, а — тюленьей. Гимназисты в классе по команде обязаны были вставать и садиться. Каждый класс имел своего классного наставника и надзирателя — офицера и унтера. Роты классов разделялись на взводы основных и параллельных. Полк гимназии шеренгами парт и ротами классов вел гимназистов на фортеции привилегированных российских профессий. Окончивший гимназию молодой человек, не заглядывая даже в университет, при поступлении на государственную службу сразу получал первый государственный чин в чиновной лестнице табели о рангах — коллежского регистратора.

Второе, также реальное, что получил Камынск с осени 905-го года, — это кино Великий немой, организованное Обществом Народного Знания по инициативе Ивана Ивановича Криворотова и Сергея Ивановича Кошкина, на средства Кошкина.

Андрей Криворотов, Иван Кошкин, Антон Коцауров, Игнатий Моллас, братья Шиллеры, Леопольд Шмуцокс, Николай Бабенин, Ипполит Разбойщин, еще многие, — шеренгою классов за учителями в синих вицмундирах с золотыми пуговицами, пошли в лучшее будущее. Ипполит Разбойщин и Николай Бабенин, впрочем, скоро сломались: Разбойщин перестал ходить в гимназию сейчас же, как умер отец, предавшись лени, а Бабенин, несмотря на все связи отца, изгнан был из гимназии за безделье, за негодяйство, за неподчинение дисциплине, за единицы, — был переведен в губернский город, в кадетский корпус, изгнан был оттуда — и был направлен отцом в Москву, где определился — также связями отца — в Московские околоточные полицейские надзиратели. Леопольд Шмуцокс подъезжал к гимназии на лошади, за кучером в шапке с павлиньими перьями.

Годы, как классы, двигались ротами, — 906, 7, 8, 9, — серые, как гимназическая шинель, похожие, как шинели, незапоминаемые, как гимназическая парта. Время от чертановско-русско-японской войны прошло, и было — как те дни ноября, когда с вечера еще осень, почти еще лето, еще не облетели астры, а наутро

зима, — на партах сидели человеческие индивидуальности, считавшие себя уже взрослыми, со стыдом иль лирически вспоминавшие чертановско-японскую войну и все, что было до нее. Каждый по-своему воспринял и пережил революцию — и по-своему сохранил, не мог не сохранить ее для будущего. Иван Кошкин выходил в первые ученики, он знал все уроки, вообще все знал, обо всем читал, — он носил крахмальный воротничок, как Леопольд Шмуцокс, и, как отец, разговаривал о сверхчеловеке, и о том, что «все позволено», — не как отец вежливый и аккуратный.

Андрей Криворотов распрощался с друзьями — с теми, что не пошли в гимназию. Мишуха Шмелев сел было возле отца и старшего брата за верстак и за горн, слесарить, лудить, паять, — и вдруг, когда умер отец, сделался вместе со старшим братом настоящим американским бизнесменом, сменил вывеску — «лужу, паяю» — на необыкновенную и краткую вывеску — «Максим». Ванятка Нефедов, сын чертановского корзинщика, после того, как отец Иван Лукьянович по недоказанности обвинений в поджоге помещичьих усадеб — отправлен был в Мезень, а избу его описали и пустили с молотка в пользу пострадавших помещиков, — Ванятка подался в город Москву.

И в глухом декабре 907-го года Андрей Криворотов прощался с Климентием Обуховым, с верным другом и вождем своего раннего детства, — того времени, когда для них, для Клима и Андрея, мать Андрея перечитала всего Гоголя, всего Пушкина, Майн Рида, Вальтер Скотта... С того времени Климентий редко бывал у Андрея. Революция для него стала большим, чем гимназия для гимназистов. Из революции Климентий, шестнадцатилетний, вышел уже не подростком, но взрослым человеком, — Климентий прожил революцию в уничтожении пространства на станции, за отцом и за товарищами отца, за делами коммуниста Леонтия Шерстобитова, он делал революцию вслед отцу — и заплатил за революцию виселицей отца. Климентий оставался старшим в семье, кормильцем. Взрослым человеком пришел Климентий прощаться с Андреем. На Урале на рудниках жил дядя Климентия, родной брат матери, Алексей Широких, — и Климентий собрался на Урал, чтобы не умереть с голода, — и там же жил Фома Та-

лышков, к которому — ежели что -- посылал Леонтий Шерстобитов.

Андрею было уже четырнадцать. Он прочитал уже тургеневский «Дым» и «Бесов» Достоевского, — он только что прочитал «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева и арцыбашевского «Санина». Он двоился, Андрей, — гимназический классный наставник требовал, чтобы волосы были пострижены под первый номер, так же, должно быть, как и у Печорина, но Марк Волохов и, должно быть, Санин носили волосы лохматыми, — Андрею очень нравился Печорин, гимназический ремень Андрей стягивал — по-печорински — до кровоподтеков на коже, но по поводу лохматости волос он получал каждодневно замечания от классного наставника — и не стриг их. В тот вечер, когда к Андрею пришел Климентий, Андрей собирался в кино, куда должна была прийти Оля Верейская.

Климентий и Андрей сели в комнате Андрея. Андрей молчал совсем так же, как молчат старики в тяжелые минуты. Климентий был прост.

— Повесили? — спросил Андрей.

— Повесили... — ответил Климентий.

— Повесили... — повторил Андрей. — Отомстишь?

— Отомщу...

— Послушай, Клим... Помнишь разговоры Леонтия Владимировича, он разговаривал с нами, как с щенятами. Помнишь, — переделать соляной амбар в общественный склад, все будут обуты и сыты, как Шмуцокс... Ты знаешь, что теперь пишут в газетах, — и знаешь, — эсеры, — меньшевики, большевики... Прости меня, я хочу спросить, — ты веришь, что правда за революцией, что она победит?..

— Не верю, а знаю.

— Послушай... Вот, «Рассказ о семи повешенных» или «Морская болезнь» Куприна, — ты не читал?.. Что дала революция, — виселицы, ссылки, споры... что дала революция твоему отцу?.. Тебе не страшно?

— Нет.

— Человек живет один раз, — помнишь у Лермонтова, в «Валерике», — «жалкий человек! чего он хочет?.. небо ясно; под небом места много всем; но беспрестанно и напрасно один враждует он... зачем?»... — не проще ли на самом деле жить, как солнце...

Климентий ничего не ответил.

— Как началась революция, ты совсем пропал, совсем перестал ходить ко мне, а у меня было столько хороших книг, — сказал Андрей. — Ну, скажи, что тебе дала революция?.. Я больше всего помню, как казаки избивали женщин, шмуцоксовских работниц в кремле, — как тебе объяснить?... — очень страшно...

Климентий ответил не сразу.

— А я больше всего помню... Ты спрашиваешь, почему я не ходил к тебе?.. — Лучше всего я помню, как крикнули в депо, — «чего еще там говорить! гуди в паровоз!» — как загудел паровоз и началась забастовка, — как началась забастовка и как я знал, что она началась во всей России, что нету для нее пространства, — и как я знал, что мы победим... А ты мне из «Валерика», — а тогда, когда я две ночи не спал, ты пришел и сказал о революции — гроза, очищение!.. Климентий помолчал. — Ты прости меня, ты попомни на будущую жизнь, — тебе революция развлечением была, а мне делом, ты прости за правду, пригодится...

— И ты веришь, что революция — победит, на самом деле?

Не верю, а знаю, и ты смотри, — не только победит, но — должна победить, иначе не может быть, — сказал Климентий. — Вот, видишь мою руку? — я сжал пальцы, они сжались... И победят — большевики. Пусть все говорят, что черное называется белым, — белое от этого черным не станет. Когда Коперник сказал, что земля вертится вокруг солнца, его сожгли, — но земля-то вертится... Не верю, но — знаю. И все, кто знают, — не могут, не смеют не верить, — иначе — либо идиоты, либо и вернее мерзавцы. Леонтий Владимирович упрощал, говоря с нами, но он вправлял мозги так, чтобы ясно было. Попомни.

Андрей молчал.

— Помнишь, — сказал Андрей, — я еще готовился в гимназию с Леонтием Владимировичем. После уроков я пришел на тумбы, и мимо меня в соляной амбар прошли — Леонтий Владимирович, твой отец, учитель Соснин, еще кто-то. Мост, у которого тумбы, находится в низинке, амбар на горке — и я долго видел на зеленом небе одну голову Леонтия Владимировича... Так он для меня навсегда и остался в памяти...

Андрей — в форменной шинели и в фуражке с кокардой «К. Г.» — пошел проводить Климентия. Расставание в молодости — это совсем не ощущение потери. Андрей собирался в тот вечер в кино, — товарищи детства распрощались, пожав друг другу руки. Андрей не заметил, что он прощается с Климентием навсегда. Климентий это знал — уже по тому одному, как Андрей его провожал.

Был глухой декабрь. И был глухой вечер, в снегах и звездах.

Климентий пошел к Никите Сергеевичу.

На кухне, окруженный собаками, пил чай Мишуха Усачев. Никита Сергеевич сидел за столом в своем кабинете.

Климентий пришел в час для взрослых, и Никита Сергеевич принял его как взрослого. Прощаясь, они обнялись трижды, — прощание прошло в ощущениях потери.

Ипполит Разбойщин написал однажды — «Маргариточка я т л», — сколько миллионов раз так писалось в детстве?—Климентий зашел в комнату Анны. Анны не было в комнате. — У калитки, в шубке, прикрыв голову шалью, Анна ждала Климентия, — той минуты, когда он выйдет от Никиты Сергеевича, чтоб ни Никита Сергеевич, ни Мишуха не видели их прощания. Над головою светили звезды. Она всегда была молчалива, Анна. Ее глаза всегда упорно и строго, очень строго смотрели на все, что было вокруг. — *Я* родился, *я* увидел солнце, *я* окликнул маму, *я* — центр, — она первая в том поколении потеряла это ощущение... Миллиарды раз — ровно столько раз, сколько на земле перебыло людей, — мать, склонившись над ребенком, просветленными и счастливыми глазами заглядывала в будущее, уничтожавшее смерть, — и как это так получается, что те же матери клянут впоследствии судьбы — и свою, и рожденного ею ребенка?.. — Просветленными глазами Анна следила за звездами, глаза были счастливы, они заглядывали в будущее, которое должно было случиться сейчас. Климентий очень долго не шел, и под шубку забирался мороз. Анна стояла в неподвижности. Была глухая ночь. И наконец шаги Климентия заскрипели по снегу от крыльца к калитке. Анна протянула Климентию руку, она сказала решительно и шепотом:

— Ты ждал меня в моей комнате, я ждала тебя здесь. Я все знаю, Клим. Мы очень долго с тобой не уви-

димся, — и я решила тебе сказать, Клим, на прощание, что я тебя люблю... Я навсегда люблю тебя. Когда тебе нужно будет, ты позовешь меня, Клим. Мы никуда не уйдем друг от друга.

Не Климентий, но Анна, раскинув шаль и подняв ее над Климентием, как крышу, приняв Климентия под шаль, как в дом, обняла Климентия. Она была сильной и была уже девушкой, она по-девичьи прижалась к Климентию всем своим существом и поцеловала его. Во мраке под шалью она прошептала, по-женски обессиленно:

— Навсегда?

— Навсегда! — ответил Климентий.

Высоко в небе светили зимние, безмолвные и холодные звезды. Последний раз в юности Климентий перешел мост, отделявший Камынск от Чертанова, веснами, под которыми стремились буйные ручьи...

...В тот же ночной час далеко на северо-западе от Камынска, в ночи Балтийского моря, среди шхер, другой человек уходил из России по льдам, трещавшим у него под ногами. Сзади у него оставались Санкт-Петербург, дача в Финляндии в Куоккала «Ваза», Стирсуден в лесных и каменных недрах Финляндии, финская изба в Оглыбю. По пятам шла полиция, проваливались дом за домом, и день за днем — все глубже и глубже надо было уходить в подполье. В Петербурге на каждую ночь надо было находить новый ночлег, — но надо было не терять революции, надо было встречаться с товарищами, надо было готовиться к партийному съезду. 27-го апреля 1906-го года открылась Государственная дума, и 8-го июля дума была разогнана, в Кронштадте и Свеаборге поднимались и раздавлены были матросские восстания. Шпики не шли уже по пятам, но хватали за рукава. Надо было не терять революции, надо было работать с людьми и писать для пролетариев. Он скрылся в Финляндию, в глухую, громадную, пустую и пустынную дачу «Ваза», — перед ним на «Ваза» жили эсэры-террористы и делали бомбы. В глухих соснах на «Ваза», кроме жены, с ним жили большевики Лейтейзены, Богдановы, Дубровинский. Полиция еще не знала о «Ваза», — и двери дачи не запирались на ночь, в столовой на ночь оставлялись молоко и хлеб, на диване постилалась постель, — для товарищей, которые могли прийти ночью. На пустынную дачу почтарь с соседней

станции приносил почту, а по ночам люди, которые хотели, чтобы их никто не видел, привозили почтовые тюки из Петербурга — и увозили в Петербург. Надо было работать, надо было писать, чтобы руководить революцией. 20-го февраля 1907-го года собрался второй созыв Государственной думы и разогнан был 3-го июня, — в тот же день к ночи большевистские депутаты Государственной думы собрались на даче «Ваза». С дачи «Ваза» надо было уходить, полиция шарила кругом. Он не спал неделями, не ел, —и жена отвезла его в финляндские недра, в Стирсуден, в места «дичее дикого», — жена вернулась на «Ваза» и жгла архивы, так жгла, что снег вокруг почернел от пепла, — а он, ее муж, в первые дни Стирсудена детишками Книповича прозван был «дрыхалкой», — он засыпал от переутомления каждую минуту, под елью, у камней, в столовой, утром, днем, вечером — и не спал ночей. Надо было работать, писать, бороться против бойкота третьего созыва. Полиция пришла в Стирсуден, — он скрылся в Огльбю. Отоспавшись, он писал работу по аграрному вопросу, всем своим знанием взвешивая опыт революции. Полиция искала его по всей Финляндии, «Ваза» давно уже была разгромлена, давно уже опустел Стирсуден, — надо было работать, никак, ни на одну тысячную секунды нельзя было подумать о ликвидаторстве, о сдаче на милость победителя, ибо победителя — не было. Полиция подходила к Огльбю. Надо было уходить дальше. Дальше были море, заграница, Швеция. Железнодорожные станции и пароходные пристани были закрыты для него, полны полицией. Вдоль границ ходили полицейские дозоры. Надо было уходить по льдам от острова к острову, в шхерах, чтоб там уже, где-нибудь в открытом море с пустынного острова доплыть на лодке к уходящему кораблю. Финские товарищи помогли, два финских крестьянина пошли с ним по льду, чтобы указать дорогу. Это было в ночь, когда Климентий прощался с Анной. Был декабрь, но льды не окончательно еще смерзлись. Два финских крестьянина выпили по стакану коньяка, чтобы храбрее рисковать жизнью. От одного из островов до другого они шли три километра по льду. И лед закачался под ногами, затрещал, стал уходить из-под ног, под ноги потекла ледяная вода. Один из финнов заплакал среди темных ледяных просторов, ощутив ужас гибели.

— Как не стыдно, товарищ?! — мужайтесь! — сказал Ленин. — Глупо так погибать!..

Надо было работать, надо было взвесить опыт, — ни на тысячную секунды нельзя было сомневаться, ибо все знание и весь жизненный опыт, все ощущения и понятия справедливости, разума, чести утверждали правоту его дел... За гранитами островов плескалась ледяная Балтика. Низкое небо опускалось на каменные глыбы шхер и на льды. Позади оставалась Россия — никак не покидаемая навсегда... Восемьдесят девять лет тому назад, в мае, на Рейне, в городе Трире, в адвокатской семье родился мальчик, названный Карлом-Гейнрихом. На выпускном экзамене в гимназии, семнадцатилетним юношей, он написал:

> «Мы не всегда можем достигнуть положение, к которому считаем себя призванными: наши отношения к обществу в известной степени начались раньше, чем мы сами смогли определить их!»...

но сам он — начиная с этой фразы в юности — свое отношение к обществу определил громадною волей разума. Тогда же, восемнадцатилетний студент, сын адвоката и еврея, взял в свои руки руку спутницы на всю жизнь, девушки на четыре года старше его, красавицы и аристократки, имя которой — Женни фон Вестфален. Дед этой девушки был тайным советником великого герцога Брауншвейгского, начальник штаба герцогской армии, королевский политик, — отец этой девушки был правительственным советником и поверенным прусского канцлера в Трире, — двадцатидвухлетняя Женни пошла за восемнадцатилетним студентом, дед которого был еврейским раввином. Они обручились без ведома ее родителей. Она была его поэзией. Он поехал добывать знание и право в жизни. Они венчались через семь лет после обручения, ему шел двадцать шестой год, ей тридцатый. Семь лет они ожидали брака. На всю жизнь их брак был замечателен, достойнейшее человеческое супружество... — И Климентий, вот сейчас, на мосту, под которым воды веснами текли в Каспий, — перед жизнью, после виселицы отца, — не на смерть, а на жизнь, — шептал в декабрьскую ночь:

— Да, Анна, навсегда!..

...И тот человек — семнадцатилетним уехал из Трира. Он очень много знал, тот человек, и всю жизнь добывал новые знания. Кроме еврейского языка и латыни,

языка средневековой учености, он знал немецкий, английский, французский, как родные, и изучал даже славянские языки, русский. Студентом, двадцатилетним юношей, он принят был в берлинский Докторский клуб философов, где самые младшие члены клуба, Бауэр и Кеппен, были на десять лет старше его. Он изучал Гегеля и историю философии, Аристотеля, Спинозу, Лейбница, Канта. Еще за два года до свадьбы в Иене он сдал докторскую диссертацию о различии демокритовской и эпикурейской натурфилософий, получив общественное в Германии положение — доктор Маркс. Он был уже вождем в Докторском клубе философов, младогегельянец, в ряду Бруно Бауэра, Арнольда Руге, Макса Штирнера, Людвига Фейербаха. Он писал философские и публицистические статьи — двадцатичетырехлетний с сорокалетним Руге — повел за собою демократическую «Рейнскую газету». Газета была закрыта прусским правительством, — и тогда он, человек, для которого могли быть открыты двери всех германских университетов, он решил, что с Германией надо — рвать, во имя убеждений и дел, — он написал:

> «...В Германии мне больше делать нечего. Здесь только фальсифицируешь себя».

Это было весною в год его женитьбы. Летом он повенчался с Женни фон Вестфален и покинул с женою Германию, родину. Он и Руге в Париже создавали международный демократический журнал «Немецко-французские ежегодники», они пригласили работать в журнале Луи Блана, Пьера Леру, Прудона, Гейне, Гервега, Якоби, Бакунина, революционеров европейского мира. Маркс работал, — Руге писал, что Маркс —

> «...дорабатывается до болезни и по три-четыре ночи не ложится спать».

Маркс освобождал социализм от утопизма. На истории Франции Маркс изучал историю человеческих отношений и вскрывал законы классовой борьбы. Прусское правительство через своих послов перед французским правительством ходатайствовало о выдаче германских эмигрантов германской полиции. Гизе полувнял пруссакам: Маркс, Руге, Бёрнштейн, Бернайс получили французский правительственный приказ — выехать из Франции. Маркс переселился в Бельгию, в Брюссель. В год бельгийского изгнания Маркс нашел друга — не меньшего, чем друг и жена Женни Вестфален, друга на всю жизнь, замечательный

пример человеческой дружбы, дружбы единомыслия, воли и дел, — Фридриха Энгельса, работа которого продолжала и дополняла работу Маркса. — И здесь, на мосту, Климентий думал о друге, о дружбе...

Вдвоем они, Маркс и Энгельс, решили написать книгу, —

«чтобы покончить счеты с нашей прежней философской совестью».

Первый том этой книги — «Капитал» — в конечной форме написан был Марксом через двадцать один год, — вторые же два тома доработаны были Энгельсом уже после смерти Маркса, — но тогда, весною 1845-го года в Брюсселе был решен вопрос с совестью: коммунизм, диалектика классовой борьбы и развития классов, научный социализм; диалектика Гегеля уходила из мира идей в мир действий. И тогда же, 1-го декабря 1845-го года, Карл Маркс отказался от прусского подданства, не взяв никакого иного, гражданин мира...

Руге восстал против Маркса, отстав от Маркса. Прудон восстал против Маркса, отстав от Маркса. В Брюсселе вокруг Маркса собралась коммунистическая колония. В Брюссель к Марксу приехал часовщик Иосиф Молль из Лондона от Лондонского Союза Справедливых с предложением к Марксу вступить в Союз Справедливых, потому что Союз принял воззрения Маркса, — возник Союз Коммунистов, членами которого были англичане, бельгийцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, первый предвестник Интернационала. Марксу и Энгельсу, двоим им, Союз Коммунистов поручил написать манифест о программе Союза, и они написали — Коммунистический Манифест, скрижаль коммунизма, которая заканчивается словами:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Это было в 1847-м году. 24-го февраля 1848-го года во Франции — в революции — пал король. Революция вспыхнула в Бельгии. 13-го марта революция победила в Вене. 18-го марта революция победила в Берлине. 1-го марта Маркс выехал из Брюсселя в революционный Париж. Вслед революции он поехал в Германию. С 1-го июня стала выходить в Кельне коммунистическая «Новая Рейнская газета», под редакцией Маркса, и возникло «Демократическое общество», во главе с Марксом...

Реакция победила в Германии...

Над рейнскими коммунистами был суд. Маркс сказал защитную речь, прозвучавшую обвинительным ак-

том феодализму и мракобесию, но столь убедительную, что присяжные заседатели оправдали коммунистов.

10-го декабря 1848-го года президентом французской республики избран был лже-Бонапарт. Прусский король уцелел, как Николай Второй в 905-м году. 10-го марта 49-го года полиция вдруг открыла, что в Кельне проживает человек, —

«не имея там права жительства, как иностранец».

11-го мая Маркс был изгнан из Германии. В приданом от родителей у Женни Маркс были серебряные ложки, вилки, ножи, — Марксы заложили эти вилки и ложки во франкфуртский ломбард за двести гульденов, — Женни с детьми и с этими гульденами выехала из Германии в неизвестность и нищету, — Маркс и Энгельс из Франкфурта пробрались на баррикады и поля сражений Баденско-Пфальцского восстания, а оттуда — эмиссарами восставших — в Париж, для борьбы против Бонапарта. Их арестовывали по дороге, Маркса и Энгельса. Маркс пробрался в Париж, когда там побеждали роялисты...

Маркс поехал в третье и в последнее изгнание — в Англию, в Лондон. Российская империя громила венгерскую революцию. Часовщик Молль пал в битве при Мурге. В Лондоне собрались члены Союза Коммунистов, — наступала реакция, — Союз Коммунистов раскололся, распался. Это было 15-го сентября 1850-го года. Маркс и Энгельс остались вдвоем, не изменив коммунизму. Энгельс уехал в Манчестер, зарабатывать деньги, служить, — Маркс с семьею остался один в Лондоне. Университетские товарищи Маркса и товарищи молодости — за буржуазной революцией 48-го года — шли в социальную — тех времен — гору, благополучествовали, становились ректорами университетов и музеев, государственными прокурорами, министрами... В ноябре 49-го у Марксов родился четвертый ребенок, мальчик Гвидо. Из первой лондонской квартиры Марксов, которую они перекупили у квартирной хозяйки, их выкинули просто на улицу, так как, хотя они и платили квартирной хозяйке, квартирная хозяйка не платила за них домохозяину, — шесть лет затем прожили Марксы с детьми в двух комнатах в болотном переулке около Сохо-сквера, позади Британского музея. Маркс писал во Франкфурт товарищу, просил его выкупить из ломбарда и сейчас же продать серебряные ложки и вилки, — продать все, кроме детского столового прибо-

ра маленькой Женни, старшей дочери, подаренного внучке дедами. Старшая Женни, жена и мать, хворала в сохо-скверских болотных туманах, изнуряясь «в самой мелочной житейской борьбе». Маркс писал другу в феврале 52-го года:

«Вот уже вторая неделя, как я дошел до столь приятного положения, что не выхожу из дому за отсутствием сюртука, отправленного в ломбард, и не ем мяса ввиду отказа в кредите»...

Женни Маркс, жена и мать, писала:

«На пасху 52-го года заболела тяжким бронхитом наша бедная маленькая Франциска. Три дня несчастная девочка боролась со смертью. Она так тяжело страдала! Маленькое бездыханное тело ее покоилось в задней комнате, а мы все перешли в переднюю комнату и, когда наступила ночь, легли спать на полу. Трое живых детей лежали здесь же, и мы плакали о маленьком ангеле, холодном и бледном, покоившемся рядом с нами. Смерть милого ребенка произошла в момент нашей самой горькой нужды. Я побежала к одному французу-эмигранту, который жил поблизости и незадолго до того приходил к нам. Он отнесся ко мне с большим участием и дал два фунта стерлингов. На эти деньги я заказала гроб, в котором мирно покоится моя бедная девочка. У нее не было колыбели, когда она родилась на свет, и ей долго было отказано в последнем маленьком обиталище»...

Маркс писал:

«Жена моя больна, Женичка тоже, у Леночки нечто вроде нервной лихорадки. Доктора я не мог и не могу позвать, потому что у меня нет денег на лекарство. Последние восемь—десять дней я кормил семью хлебом и картофелем, и еще вопрос, удастся ли мне раздобыть на сегодня и это»...

...Пусть так! —Маркс просыпался утром, уходил работать в Британский музей, работал там до того времени, когда закрывалась библиотека, приходил домой, когда засыпали дети, и ночами работал дома. Все лучшее на земном шаре, что было написано до него и сделано до него, было изучено им. Все, происходящее на земном шаре, было известно ему. Он был духом и мозгом Первого Интернационала, вождем рабочих на земном шаре. Им написан — «Капитал». Каждый день,

каждый час своей жизни — он работал для лучшего человечества, недоедая и недосыпая. Жена и дети дома называли его — Мавром. Его мысль была — делом. Превращение его мысли в реальность — должно было стать делом человечества.

Климентий уезжал из Камынска в места, где под землею рабочие рыли руду, — в такие места, где по статистике тех лет на тысячу шахтеров в год каждые три дня было по увечью или смерти, где на триста саженей под землей в кромешном мраке, с фонариком на голове или на груди, рабочие рыли руду — от семи утра до семи вечера, чтоб никогда не видать солнца.

На Урале, на заводе и на рудниках князя Сан-Доната, граф Демидов тож, — на Вагульской улице под Шайтанской горой в трехоконном доме жила семья шахтера Широких. Сын Дмитрий, одним из первых воспоминаний запомнивший, как пороли отца, — навсегда помнил, как сыну хотелось все, что угодно — лечь вместо отца на скамейку, пойти вместо отца в шахту, подставить руку под кран кипящего самовара, — все, что угодно, чтобы отцу было легче. Теперь Дмитрию шел семнадцатый год. Он уже работал в шахте. Пришло письмо из России, — собиралась приехать тетка Арина, сестра отца, с детьми, после того, как ее мужа повесили, — спрашивала, можно ли приехать? — Писал письмо двоюродный брат Климентий. Мать и отец плакали, получив письмо, о гибели родственника — и совещались о куске хлеба для родственников, — Пятый год прошел, рабочих вновь прижимал кусок хлеба, решили родственников звать. Дмитрий написал ответное письмо.

И родственники приехали.

Отец Алексей Николаевич с сыном Дмитрием, попросив лошадь у соседа-конника, ездили на станцию. Брат и сестра не виделись восемнадцать лет, встретились родными и незнакомыми, расплакались. Мать Мария Никитишна приготовила пироги с рыбой и чай с сушеной малиной. Мать Арина Николаевна все же привезла подарки, несмотря на нищету после гибели мужа, — Марии Никитишне — шаль, Алексею Николаевичу — форменную новую железнодорожного образца суконную шинель, оставшуюся от мужа, Дмитрию — записную книжку, по совету Климентия.

За чаем и за пирогами сидели — и родственниками, и незнакомыми. Мать Арина Николаевна рассказывала — то немногое, что она знала о московском восста-

нии, о суде и о виселице мужа. Отец Алексей Николаевич рассказал о забастовках Пятого года, о собраниях за Красным камнем, о казачьих и полицейских расправах, кого из соседей надо остерегаться, кто — свои. И плакали по-родственному, и сторожились друг друга, ознакамливаясь.

Рассказала мать Мария Никитишна:

— Шумим, шумим!.. я сама на демонстрации бегала, чего только не было!.. Теперь вон и казаков им мало, дирекции, — ингушей нагнали. Ихняя верх берет. И до чего додумались? — не дают деньгами в конторе, как при крепостном, — талонами дают. Директор Брюге говорит, — нету денег, потратились на Пятый год, вот продадим Салдинскую ветку, железную дорогу, значит, тогда расплатимся, — а вчера сказал, дом в Петербурге продавать будут для расплаты с рабочими, очень уж обеднял Демидов... Дают талоны, а на рынке их не берут. Придешь, купец спрашивает, — на талоны? — «Да». «Куплю твои талоны по двадцать копеек за рубль!»... — А другой — смилуется, говорит, — «на много ли талонов? на пятнадцать рублей? — муки небось надо? — бери зато конфетов!» — Просишь его, сватаешься, торгуешься, — даст мешок, а на остатки на девять рублей залежалой бакалеи насует... Что наши некоторые делают? — идут в контору и прикидываются — у кого корова сдохла, у кого печь провалилась, — молят, им дают деньгами... Я тоже придумала, к попу ходила, говорю, — «напиши, батя, записочку, покойник у меня», — про твоего мужа помянула, не сказала, конечно, что и как, — дала бате рубль, написал... Вот мы тебя и потчуем за упокой души...

Женщины поплакали, обнявшись. Разговаривали за чаем медленно, только старшие.

Дмитрий с Климентием после чая вышли на улицу. Климентий никогда не видел гор и смотрел поверх улицы.

— Ты нам ответное письмо писал? — спросил Климентий.

— Я, а что?

— Грамотно пишешь.

— Ты тоже грамотно.

— Я о тебе, как родился, все время слышал от отца и от матери. Есть, мол, такой замечательный вольный да высокий Урал, и есть на Урале брат Дмитрий... Не знаю почему, а всегда очень приятно было об этом думать... Думал про тебя как про друга...

Светила луна. Улица, уходившая в гору, лежала в тяжелых снегах. Внизу, у плотины горели электрические фонари литейного, горели электрические фонари на горах, у отвалов.

— А ты про Фому Талышкова ничего не слышал? — спросил безразлично Климентий.

Дмитрий насторожился.

— Про кого?

— Фома Талышков, рабочий с меднорудного.

— А тебе зачем?

— Есть у вас такой, в вагоне разговаривали.

— Кто разговаривал?

— А так, рабочие...

— Кажись, есть... особенно не слыхал.

— Покажи, где живет.

— Особенно не знаю... На Тагильской или Напольной...

В сумерки на другой день Климентий постучался в приземистый дом на Напольной улице.

Из-за двери спросили:

— Кто?

— Да если не запамятовал, — голову проломили...

Дверь отперли. Высокий рабочий сказал, оглядывая Климентия.

— Не признаю что-то...

— Леонтия Владимировича Шерстобитова помните?

На лице рабочего появился страх.

— Да, ведь, он...

— Вы и есть товарищ Талышков?

— Да.

— Леонтий Владимирович действительно убит в Московском восстании, я вот к Вам пришел за него, два года добирался...

На второй день после знакомства с Талышковым, в субботу во время всенощной, чтоб было незаметней, — Климентий позван был на партийное собрание. Дома Климентий сказал, что идет погулять. На углу Тагильской и Напольной Климентия ждал Талышков. Вдвоем они, не разговаривая, в нескольких шагах друг от друга, пошли в поле к горам. Собрание заседало на заброшенном кирпичном заводе, в обжигной яме, без огня, во мраке. Собралось человек сорок, говорили о талонной системе капиталистов, о борьбе с нею, прочитали при свечке проект воззвания против талонов, решили размножить. Председательствовал Талышков — товарищ Фома. Рядом с Климентием вспыхнул огонек

папиросы, и Климентий узнал брата Дмитрия, — отодвинулся от него. Разошлись уже запоздно. Расходились по одному, по двое, не оглядываясь. Климентий вышел вслед Дмитрию, — прошед шагов десять сзади, нагнал, крепко положил руку на плечо. Дмитрий не испугался, обернулся, — лицо выражало суровость, суровость сменилась радостью.

— Клим, ты?

— Я!

Светила поздняя луна. Друг против друга в пустом поле стояли два счастливых человека и счастливо смотрели друг другу в глаза.

— Друг?!

— Друг!

— Так это ты чего ж?!

— А ты чего?..

— Так я ж тебя спрашивал о товарище Фоме?!

— А откуда ты его знал?!

— Большевики, значит, — братья?!

— Явно!

— Друг?!

— Друг!..

Братья счастливо смотрели друг другу в глаза.

Заговорил Дмитрий:

— Ты сказал, — как родился, все время слышал обо мне, есть, мол, у тебя брат Дмитрий. Мне тогда совестно показалось за тобой повторять, а теперь скажу другу. Я тоже так — есть у меня брат Клим, живет в России, и приятно... А сейчас — друга нашел! ...Ты меня похвалил, — грамотно пишу. Видишь? — Дмитрий вынул из-за пазухи, показал сложенный лист бумаги. — Воззвание, которое обсуждали. Будем вместе на гектографе отпечатывать, ошибки исправим, раз грамотные!..

— Я тебя нарочно на собрании не окликивал, хоть и видел, отодвинулся от тебя, — нарочно сзади по плечу ударил, — лучше всего человека узнаешь, когда сзади положишь руку ему на плечо, трус даже на солнышке вздрогнет, шкура у него задрожит... Ты не дрогнул!..

Климентий схватил брата под мышки, поднял, повернулся с ним вокруг себя, как вокруг оси, — поставил на снег, ударил по плечу, —

— Заживем?!

Товарищи долго в тот вечер ходили по морозной ночи, ушли в горы, в сосны, в снег, далеко от человеческого жилья, чтобы никто не слышал их слов. Каждый хотел все рассказать о себе, чтобы друг стал участником

его дел. Все же об Анне Климентий не сказал ни слова. Им было очень весело, братьям, друзьям, единомышленникам. Ночью же, когда все уснули, хоронясь от всех, Климентий вздул лампу и писал Анне — о друге...

Фома Талышков нашел работу Климентию в меднолитейном у мартенов. Партия же — Фома Талышков с товарищами — нашли комнату для Климентия, где под половицами спрятан был ящик гектографа. Мать Арина Николаевна с младшими осталась у брата Алексея, пошла на отвалы сортировщицей. Как в комнате Леонтия Владимировича, стол у Климентия покрывал громадный совершенно чистый лист промокательной бумаги, лежали книги, Климентий купил себе настольную лампу. За стенами сорокаградусными морозами в тяжелых снегах проходили уральские ночи. Ночами Дмитрий и Климентий трудились над гектографом. В сизые рассветы Климентий шел к мартенам. В праздничные дни, в отдыхи Дмитрий и Климентий говорили о Якове Свердлове, о Леонтии Шерстобитове, о революции, о будущем, о Пятом годе в Камынском депо. Климентий написал Андрею Криворотову, просил книг, Андрей прислал арцыбашевского «Санина», сообщил, что эта книга запрещена. Товарищ Андрей, он же Яков Михайлович Свердлов, прислал Климентию тогда, услыхав, что Климентий ищет книг, целый ящик с замечательными книгами.

Через месяц после приезда Климентия, в феврале, товарищ Фома Талышков погиб. Он шел с собрания от Масленникова, собирались в подвале для картошки под домом, разошлись часов в двенадцать. Недалеко от его дома пировали свадьбу, веселились, играли на гармонике. У ворот стоял знакомый, проветривался, пригласил зайти. Талышков зашел, пробыл недолго. Когда он вышел оттуда и пошел домой, за воротами его ударили сзади поленом по голове. Он потерял сознание. Его били поленами и ногами. Его оттащили от свадебного дома, чтоб там не заметили избиения и не вступились. Талышкова бросили около его ворот. Его били переодетые полицейские — и рассчитывали, должно быть, что он убит. Его подобрала жена. Дома он пришел в сознание на третий день, стал поправляться — и на десятый день его подняла с постели полиция в тюрьму, где он и умер. Тогда же арестовали Масленникова. Товарищ Андрей — Яков Михайлович Свердлов — скрывался в Екатеринбурге. Климентий и Дмитрий вдвоем написали, отпечатали на гектографе, рассыпали по поселку правду о смерти товарища

Талышкова. И в ту ночь, когда Климентий и Дмитрий, полные возмущения и ненависти, печатали этот скорбный листок о товарище Фоме, — Климентий рассказал Дмитрию об Анне, о своей любви... Занавеска на заснеженном окне Климентия и лампа на столе у окна стали условными знаками явок — вместо приземистых оконцев Талышкова... Брат Дмитрий был — другом.

В Камынске же шеренгами классов гимназисты уходили в роты лет — 907, 8, 9, 10-й, — серых, как шинель, и незапоминаемых, как парты.

Глава десятая

ПОКОЛЕНИЕ ОБУЧАЛОСЬ В ГИМНАЗИИ

Классы шли ротами. На самом деле те годы малое оставляли в памяти.

Андрей Криворотов — по отцу — был исключением из социальных камынских температур: детство его прошло в чертановской дружбе, где первым другом был Климентий Обухов, — гимназия его привела в новую среду, где первыми друзьями были Иван Кошкин и Леопольд Шмуцокс. Андрей мог дружить с Анной Колосовой и Оленькой Верейской.

Гимназия создавала строгий режим. Надо было просыпаться всегда в половине восьмого утра, каждый день в один и тот же час. По часам надо было умываться, пить и есть. Без десяти минут девять гимназические роты выстраивались в актовом зале на общую молитву, и до двух часов двадцати минут дня хронометрически шли классные занятия. Обед дома был в три. После обеда было полчаса на гуляние, затем до шести — уроки. От шести до восьми можно было гулять, читать книги, идти к товарищу. В камынской гимназии каждый год открывалось по новому классу, сама гимназия только что открывалась, — у Андрея и его одноклассников не было старших товарищей, которые служили бы примером, — традиции создавались наново, привносились немногими рассказами отцов и через прочитанные книги, как пособиями по изучению традиций, не только «Гимназистами» Гарина, но и «Бурсой» Помяловского.

Самым трудным был первый гимназический год, когда все время забывалось, что перед учителем надо

вставать во фронт, когда он заговаривал, учителю обязательно надо говорить неправду обо всем, кроме уроков, надо зарабатывать пятерки всеми хитростями и бояться двоек, — обязательно надо каждый день совершенно вовремя приходить в гимназию и учиться на людях... В первый гимназический год, гордясь гимназическими блестящими пуговицами, все же очень любил Андрей дома, особенно в мокрые вечера, особенно в метельные вечера, надевать догимназические фланелевые штанишки, рубашку с цветным пояском и читать книги, сидя на коленях у стола, у лампы, не считаясь со временем, сколько захочется, а не сколько положено режимом. Время за книгами останавливалось и росло в пространства, раздвинутые книгами, — а вообще время в гимназии было очень длинно. В первый гимназический год Андрей очень ждал весны, лета, чтобы жить так, как он жил до гимназии; лето пришло — и вдруг выяснилось, что время невозвратимо, а гимназический режим поставил очень большой забор, отделивший Андрея от Чертанова. Оказалось, что с товарищами по гимназии — естественнее и свойственней. В хорошие дни в часы отдыха гимназисты ходили на Откос, в Кремль, туда же приходили гимназистки. В слякотные дни гимназисты собирались в читальном зале библиотеки имени Ломоносова, шептались и мешали всем, почитаемые в читальне за бедствие, — туда же приходили гимназистки. Никита Сергеевич и Мишуха Усачев остались позади. Превыше всех местом свиданий почитался кинематограф, «Великий Немой». Первым летом после гимназического года выяснилось, что жизнь имеет три слагаемых: из этого гимназического года, из всего того, что было реальным до гимназии, и из прочитанного в книгах, причем прочитанное в книгах казалось более реальным, чем жизнь и гимназия, но и то, и другое, и третье не было дополненным...

Еще до гимназии, еще у Никиты Сергеевича, в год самой большой чертановской дружбы, примерно во время русско-чертановских войн, перед масленичными живыми картинами детишки играли у Никиты Сергеевича в прятки. Детишки долгое время шили костюмы и отдыхали за прятками. Детское общество было необычно, — была даже Оленька Верейская, приглашенная через папу-князя Иваном Ивановичем Криворотовым и принесшая с собою папины и мамины маскарадные костюмы. В прихожей Андрей залез под шубы на вешалке,

там кто-то уже стоял, спрятанный, Андрей щекой своей ощутил тепло щеки соседа. Сосед не двигался.

— Ты кто? — шепотом спросил Андрей.

— Оля, — прошептал сосед, не двинулся, замер. — А ты Андрюша?

— Да...

Не двигаясь, онемев, щека к щеке, они простояли до тех пор, пока их не нашли. Это было счастье — прикосновение щеки к щеке.

Через несколько дней, в день живых картин, при папах, Оленька сказала Андрею:

— Когда будет лето, приходи к нам в сад, играть в крокет.

И весною, уже после экзаменов в гимназии, в гимназической фуражке и в форменных брюках, один, Андрей постучался в калитку княжеского дома, —

— Мне бы Олю, пожалуйста, — сказал Андрей дворнику.

Княжне — «докладывали», — как в романах. Играли в крокет. Андрей не мог, у него не было сил, у него не было возможности, — у него срывался молоток, и Олин шар, якобы случайно, катился от молотка Андрея на нужную Оле позицию, — это было наслаждением гонять Олины шары на позиции. На учебнике Ветхого завета закона Божьего, на последней странице у Андрея давно уже было написано и разрисовано цветными карандашами — «княжна О. В...» — «Княжна» — это было таинственно!..

Годы зашагали ротами классов. В тот день, когда Климентий пришел прощаться с Андреем, уже заправский гимназист и человек традиций, с голосом, ломающимся от петуха на бас, — Андрей, возвращаясь из гимназии, нарочно завернул на Откос, встретил там Оленьку, гулявшую с папой, поклонился, дважды поправив фуражку, что значило — «жду сигнала!» — и Оленька, отвечая на поклон, погладила правую бровь, что значило — «буду сегодня в кино».

В шесть пришел Климентий, неожиданно. Четверть восьмого Климентий и Андрей расстались. Половина восьмого Андрей входил в кино. Кроме Оли Верейской и ее подружек-гимназисток были Иван Кошкин и Ипполит Разбойщин. Ипполит, Иван и Андрей сидели на ряд сзади Оли и ее подружек, шутили, говорили гимназисткам приятные слова, особенно много — Ипполит. После программы, как подразумевалось, Андрей пошел

провожать Олю. За ними вышел на мороз Ипполит Разбойщин, в штатском пальто, в лайковых парчатках, с тросточкой. Он приподнял мерлушковую свою франтовскую шапку, — сказал, щелкнув каблуками:

— Разрешите и мне быть в вашем созвездии, Ольга Витальевна!

— Пожалуйста, — ответила Оленька.

Андрей нарочито не двигался от парадного, ожидая Ивана Кошкина и гимназисток, чтобы идти в таком случае всем вместе, — и Андрей прозевал, как Ипполит, заправским франтом, взял Оленьку под руку, заговорил черт его знает каким языком, только не русским, ерническим, как понял Андрей — о содержании кинокартины фирмы Патэ. Оля пошла окруженная подружками, Андрей пошел рядом с Иваном. Андрей не мог видеть Оленьку и Ипполита, идущих под руку, он смотрел в небо, спотыкался, смотрел себе под ноги, опять спотыкался, опять смотрел в небо. В вышине были звезды — те самые, которые в тот же час рассматривала Анна Колосова. И Андрей сказал неизвестно к чему:

— Леля, остановитесь на минуточку, посмотрите... Вы видите свет от звезд?.. Свет одних из них идет до земли три года, от других сто лет, а еще от других тысячи и даже миллионы лет... Мы смотрим на небо и видим свет звезд, которые, может быть, давно уже, тысячи лет тому назад, потухли... Но они светят. Так бывает иной раз и с людьми...

— Увы и ах! — ернически-галантно сказал Ипполит.

Андрей смолк и опустил голову к земле, чтобы не заметили, как он покраснел до слез.

Ипполит предложил прогуляться на Откос, гуляли по Откосу.

У калитки своего дома, уже попрощавшись, Оля сказала вдруг:

— Ах, да, Андрюша, у меня том вашего Бальмонта, я сейчас его верну вам.

После того как Оля шла всю дорогу под руку с Ипполитом, бальмонтовский том был залогом для новой встречи и для объяснений и — «верну» — прозвучало похоронами. Оля вынесла книгу, завернутую в «Новое время». Книга захолодила руки, как мертвец.

На обратном пути, когда они остались вдвоем, Иван сказал:

— И чего ты смотришь? — Леля учится дома, Ипполит нигде не учится, он к ней днем приходит, когда мы в гимназии, и они уже два раза вместе гуляли. И чего ты смотришь? — если ты не можешь одурачить его в глазах Лели, — я бы на твоем месте завел его в темный угол да набил бы ему морду!..

Андрей ничего не ответил. Морозило. В вышине светили звезды, умершие тысячу лет тому назад. Дома надо было бы перед сном подолбить историю ассиров и вавилонян. Любимый том Бальмонта, завернутый в «Новое время», мертвил руки, — Андрей кинул его на кровать, подальше от себя. На столе под лампой лежало недочитанное, раскрытое тургеневское «Дворянское гнездо». Прикрыв дверь, чтобы его не видели, с коленями на стуле, как не позволял папа, с кулаками у скул Андрей погрузился в судьбу Лизы Калитиной. Время остановилось, — те обстоятельства, что история недоучена и что завтра надо вставать в половине восьмого, забылись в романе. К полночи роман был закончен. Андрей закрыл книгу и — заплакал слезами злобной грусти. Ногою, злобно он сбросил том Бальмонта на пол, «Новое время» развернулось, — из-за книжной обложки выпала фотографическая карточка, наклеенная на паспарту. Оля ласково улыбалась с фотографии. На обратной стороне фотографии Оля написала: «Андрею на память от княжны Лели». — Андрей вновь заревел — громко уже — от счастья... Книги оказывались реальнее жизни. В половине восьмого наутро было еще темно. Без четверти девять — в классе — еще не рассвело окончательно. Стены класса казались серыми. Выбеленный забор за окнами и небо были серыми. Гимназические куртки были свинцового цвета. Андрей на ходу долбил историю ассиро-вавилонян. Дома, в чулане Андрея, над столом висела фотография Оли Верейской...

Книги для Андрея были реальны, как жизнь. Их было двое в классе — книгочеев, — он и Иван Кошкин. Иван читал книжки совсем не так, как Андрей. Книги для Ивана были как леденцы, которые можно поедать банками, когда угодно, но которые не заменяют хлеба. И жизнь Ивана была — как леденцы. Кошкинский дом был просторен, сыт, несвеж. Жизнь протекала на кухне, где мать Анна Потаповна все время пекла кулебяки, щи, каши, гусей и все время пилила ключницу, «ведьму» и мужнюю любовницу Машуху, попрекая ее

тем, что она не родит, а жиреет. Комнаты в доме проветривались редко. Дом жил двумя режимами: когда «сам» был дома и когда «самого» дома не было. Когда «сам» был дома — обязательно полубосой, немытый и нечесаный — слышен был только его голос, дом жил только для него и в доме пахло коньяком. Когда «самого» дома не было, каждый жил сам для себя, с кухни слышалось разноголосое пение и по углам нарастало еще больше жирного сора. Иван не был старшим из сыновей, — он был единственным, который пошел «по образованию», — и он был единственным в доме, исключение. Неизвестно откуда, Иван построил для себя в доме режим заправского барича — и на самом деле режим. Старшие и младшие его братья жили и спали все в одной комнате, пряча от отца полбутылки водки, — Иван переселился в парадные комнаты, в комнату около гостиной и ненужного отцу кабинета, завладев постепенно и гостиной, и кабинетом так, что в кабинет к себе отец входил со страхом, а спал либо с Машухой, либо с Анной Потаповной, выселившись из той самой комнаты, куда вселился Иван. С точностью до четверти часа можно было знать, чем занят Иван. Обед для всех дома был в двенадцать, — Иван стал кормиться отдельно от всех, и Машуха накрывала ему одному в парадной столовой, с салфеткой, на скатерти. Иван был совершенно аккуратен в одежде, с тринадцати лет он начал носить крахмальные воротнички и манжеты, брюки его всегда были выутюжены до блеска. С четырнадцати лет Иван стал носить английскую прическу на прямой пробор, с припомаженными волосами, — он настоял перед отцом, и три раза в неделю, в семь часов утра, к Ивану приходил парикмахер Егор Карпович по вывеске Эжен, как ходил Егор Карпович в городе еще к двоим — к Верейскому и Бабенину, ибо Аксаков — тот уже сам приходил к Эжену в парикмахерскую. Руки Ивана были бессильны с отлично выточенными и совершенно чистыми ногтями. Был Иван высок, худощав, строен, красив. Был Иван молчалив, рассудителен, совершенно вежлив. Был Иван в классе первым учеником, сплошной пятерочник. На гимназических балах был он первым танцором. В «Классах Либих» он брал дополнительные к гимназическим уроки французского и немецкого языков. Товарищи по гимназии Ивана не любили, но заискивали перед ним. Даже отец Сергей Иванович Ивана побаивался.

Гимназистки влюблялись в Ивана восторженно. И — Иван читал книги. Непонятно, как он успевал их читать. С первых гимназических лет Иван научился спать не больше шести часов в сутки. В своей комнате Иван был только у стола, в легкой позе бездельника и — за книгой. К нему одному в доме надо было приходить не через кухню, а через парадное. Приходившим он всегда предлагал монпансье Ландрина, которое всегда стояло около него и которое он сосал, читая книги. Кроме книг Иван проводил время с девушками. Читал Иван все, что попадалось под руку, — так же, как ухаживал за девушками, за гимназистками-одноклассницами и за барышнями-мещаночками, старшими его по возрасту, за телефонистками с почты и за соседскими горничными, конкурируя с казначейскими чиновниками и с писарями из ведомства генерала Феодосия Лавровича Федотова, — и даже за гимназической учительницей.

Иван был на год старше Андрея.

Андрей метался от книги к книге, каждый новый герой новой книги поражал Андрея, в каждом Андрей находил сходство с собою. Он успел уже побывать не только Онегиным и Печориным, но — даже самими Пушкиным и Лермонтовым. Каждая новая книга была для Андрея материалом для громадных разговоров и суждений. Андрей любил поспорить. Иван успевал читать больше Андрея. Андрей завидовал. Иван читал книги — как ухаживал за телефонистками и как сосал леденцы. Андрей, прочитав книгу, орал в возбуждении:

— Ты читал Ибсена, «Строитель Сольнес»?..

— Да, конечно, — отвечал ясно Иван.

— Что ты находишь в этом типе? какие выводы ты делаешь для себя?

— Ничего, интересно, — и Иван не проявлял никакого волнения, такой, как всегда.

Должно быть, Ибсен и Гамсун свели Андрея с Леопольдом Шмуцоксом. Начитавшись их, Андрей чувствовал себя скандинавом. Один, он ходил гулять на Козью горку и жег там костры, как капитан Глан. Леопольд был одинок в классе. Он приезжал и уезжал из гимназии на лошади с кучером в неизвестную жизнь, единственный в классе. На улицах, на катке и на Откосе он появлялся всегда с матерью. Степенный дом Шмуцоксов, отгороженный от мира кротегусами и догами, был — иностранным домом, единственный в Ка-

мынске. И Андрей, суровый, как капитан Глан, сказал Леопольду во время перемены:

— Чего ты никогда не позовешь к себе?

— Пожалуйста, буду очень рад, — ответил Леопольд очень охотно, — сегодня же, поедем со мною, обедать. Я познакомлю тебя с мамой. Заедем к тебе, ты предупредишь свою маму...

— Вот еще! — ответил Андрей, — поедем и без предупреждения.

Андрей поехал — как Глан в цивилизацию. Чистота и аккуратность в доме все же напугали Андрея. За обедом он мучился с вилками и ножами, не зная, что к чему, и высматривая, как ест Леопольд. Леопольд показывал свои книги современных русских поэтов, переплетенных в парчу собственной фабрики. Началась дружба.

Леопольду шел уже шестнадцатый год. Сын родился здоровьем в мать, швейцарскую немку, родным языком которой был французский язык. И родным языком Леопольда оказался — ни немецкий, ни французский языки, но — русский. Леопольд по-русски говорил без акцента, строя русские фразы французской грамматикой. Тогда только-только дошел до Камынска Александр Блок, и Андрею Криворотову показалось, что Леопольд похож на Блока. Леопольд походил на девушку, с ямкой на подбородке, с девичьим румянцем, физически застенчивый, как девушки, давно уже разучившийся кидаться снежками так, как кидался он ими в чертаново-русскую войну. Андрей Криворотов утверждал в рассуждениях с Леопольдом, — что-де одни люди до старости чувствуют некую виноватость перед жизнью, иные никогда не чувствуют своего права на жизнь, пребывая виноватыми тем, что живут, — а Леопольд с ранних лет бессознательно знал, где начинается и где кончается его право жизни, он был прав жить просто потому, что живет. Жизнь за голохвостыми догами и за стройными кротегусами, за дворником в белом фартуке и за горничными в белых наколках, переставшая уже казаться ибсеновской, — по рассуждениям Андрея, — не чинила Леопольду событий, он родился лириком, он был чист в своих делах и помыслах. Друг читал вместе с Леопольдом стихи современных поэтов, Бальмонта и Брюсова. Андрей любил — философские разговоры. Они, Леопольд и Андрей, были в том возрасте, когда одно из первых мест занимает у юношей — любовь и все, что связано с нею. Андрей установил, что

пробуждение мужских инстинктов, полового инстинкта и связанного с ним инстинкта смерти, у Леопольда проходили незаметно и безболезненно. Андрей знал раньше, что каждый раз, когда гимназисты, братья Шиллеры и Антон Коцауров затевали разговоры о горничных, Леопольд отходил в сторону. Леопольд даже дома, наедине прерывал Андреевы эротическо-философские разговоры:

— Ерунда, неинтересно.

Андрей быстро освоился с традициями дома за голохвостыми догами. Папахен играл в кегли и в шахматы сам с собою, для моциона мускул и мозгов, — уезжал до обеда на фабрику. На Рождество надо было всею семьею ездить в Москву, пересматривать все постановки московских театров. Каникулы сына надо было проводить в Германии, чтобы сын не забывал родины. Сын выписывал «Старые годы», «Русскую мысль», «Аполлон». В парчовых переплетах на полках книжного шкафа у Леопольда стояли поэты-символисты, русские и французы Бодлер, Верлен. Любимым был Блок, —

Это была семья людей, оторванных от родины и не нашедших родину. Дом был просторен, по-русски тепл, широкопазый, удобный для медленных российских вечеров, для русского чая, для книг матери и сына. Отец с утра практиковался на кегельбане и в половине десятого садился в санки с медвежьей полостью, —

— Нун, гутен морген! — говорил заиндевевшему на морозе Ивану, русскому «мужику», второй десяток лет сидевшему на козлах Шмуцокса. Серый рысак в яблоках нес барина на Марфин брод, барин черпал воздух и серебряный снежок просторов. В конторе директор отдавал распоряжения, скучал и мчал обратно. Заиндевев просторами и косыми лучами красного солнца, барин сбрасывал в теплой прихожей бобровую шубу на руки горничной в наколке. В умывальнике готова была теплая вода. В столовой снималась женой крышка с суповой миски, в клубах горячего пара. Герр Шмуцокс, вымытый, только что опрыснувшийся одеколоном, входил в столовую священнодействовать за едою. Он целовал руку жены, жена целовала его в лысый лоб. Затем у герра Шмуцокса был кабинет в отчаянной скуке безделья — до вечернего чая, до ужина, до ванной на ночь, до постели. Он даже сдружился, после Пятого года, герр Шмуцокс, с князем Верейским, с Цветковым, с директором мужской гимназии латинистом Вальде. Он чаще

и чаще выезжал, герр Шмуцокс, из Камынска — в Москву, в Санкт-Петербург и по таким же городам, как Камынск, к таким же немцам, оторванным от родины, как он сам. Каждый день с обеда до постели перед сном герр Шмуцокс усердно пил пиво, выписываемое специально из Баварии. Он был очень аккуратен и чистоплотен, герр Шмуцокс. Он был даже немного скуп. Он широко роскошествовал только в те дни, когда к нему приезжали погостить соотечественники, — тогда он не останавливался перед выдумками и затратами, устраивая балы и охоты.

Тогда выходила из своего онемения и фрау Шмуцокс, наряжалась, улыбалась, веселилась... Но в обыденные дни — она была всегда одна. Она приелась герру Шмуцоксу так же, как он приелся ей. Ей шел тридцать шестой год. Ей думалось, что она счастлива — домом, мужем, ребенком, своими делами и заботами, которых у нее не было. У нее был единственный сын, родившийся в первый год ее замужества, больше детей у нее не могло быть. У нее было очень много безделья. Фрау Шмуцокс имела отчаянно много пустого времени, но у нее было — «общественное положение». По утрам и в сумерки она играла на рояле. Вместе с сыном и за сыном она ходила на лыжах по окрестным полям и горам. Вместе они катались на катке. Вместе они гуляли по Откосу. В солнечные дни на Откосе — в феврале, — от солнца пахнет уже мартом. В заполдни Подол и поля за Подолом виднелись на громадные пространства, и свет, и снег были так остры, что ими можно было порезать глаза. На Откосе иной раз трудно было дышать от мороза, мороз шел инеем, иней садился на ресницы, а обоз, который виден за двадцать верст на Подоле, уходивший вдаль, мог уносить за собою волю фрау Шмуцокс, как весною и осенью уносили человеческую камынскую волю журавлиные крики, — так ей казалось...

Вместе с сыном она вызубривала таблицу умножения на русском языке, когда сын готовился в русскую гимназию и когда не поехал учиться в Германию только потому, что мать не могла оставаться без него. С первых гимназических лет сына мать вставала утром вместе с ним, чтобы напоить его кофеем и сделать завтрак в гимназию своими руками с неожиданным каким-нибудь сладким. Каждый день она ожидала часа, когда должен был вернуться ее сын. Она проходила в комнату сына и становилась у печки. Сын — юноша, как девушка — отцовски ходил по комнате. Мать спрашива-

ла о преподавателях и уроках. Вместе с сыном она изучала русскую грамматику и стихи Блока, помогая сыну в подлиннике читать Метерлинка. Вместе они шли на воздух в часы отдыха, на Откос, на каток, на лыжах по окрестностям.

Андрей Криворотов был шумен, романтичен, разговорчив. Увлеченный сразу всем прочитанным, все же, по примеру отца, он путал Белинского, шестидесятников с российскими сапогами, — убежденный Писаревым, он отрицал Пушкина — никем не убежденный, он восхвалял бодлеровские «Цветы зла». Сын отцовской эстетики, он наизусть знал множество стихов Брюсова и Бальмонта, книги которых хранились под кроватью, ибо отец Иван Иванович издевался над ними, подсовывая Бокля и Бюхнера, не прочитанных сыном. Дружбу ж Андрей понимал как Белинский, — как братство, как клятву, как подвиг, когда у друзей нет тайн, когда один должен быть готовым все сделать и все отдать для другого. Он рос несуразен, Андрей; Печорин был побежден гамсуновским капитаном Гланом, и класса с третьего Андрей всегда был без пояса и с волосами, как у Марка Волохова, доставлявшими множество непогод Андрею за гимназическими партами. По законам «Бурсы» Помяловского, гимназию Андрей презирал. Прочитав «Бурсу», Андрей мечтал о «пфимфах» — то есть об идейном свинстве, которое можно было бы учинить учителям. Он придумывал их со страстью. И начало дружбы с Леопольдом закрепилось «пфимфой».

Однажды таинственно через кухню Андрей пробрался в комнату Леопольда и спрятал нечто под Леопольдову кровать. Пятнадцатилетним басом на все комнаты требовал он у горничной трехцветную ленточку от пирожного и, получив ее, смущенно покрякивая и потряхивая нигилистскими волосами, просил уйти из комнаты фрау Шмуцокс. Фрау Шмуцокс ушла. Андрей прикрыл дверь и торжественно вытащил из-под кровати завернутую в газету лошадиную ногу, копыто с костями до колена, с мясом, не доеденным собаками, все промороженное инеем. Андрей разложил на столе Леопольда, отодвинув в сторону фотографии Блока и матери, бумагу из кондитерской, принесенную с собой, и тщательнейше завернул ногу в кондитерскую бумагу, перевязал ленточкой, как в кондитерской. Леопольд был изумлен — и Андреем, и лошадиною ногою. Андрей объяснил, что сегодня име-

нинник классик Сега и что намерен он, Андрей, отнести эту ногу Сеге в подарок с визитной карточкой директора Вальде, украденной в свое время из директорского кабинета, то есть устроить «пфимфу».

С Сегою шла старая война из-за Бальмонта и Блока, из-за Гоголя в брюсовском освещении с символических позиций, когда Гоголь объявлялся символистом, Андреем был признан как символист, а Сега считал все это глупостями. Андрей страдал уже из-за Сеги, послав однажды ему письменную «пфимфу» — издевательскую поэму, начинавшуюся словами, —

Наш бедный, бедный Сега
Скрипя зубами, как телега...

Автор поэмы был узнан по почерку и едва уцелел в гимназии.

Леопольд с ужасом смотрел на лошадиную ногу. Он отговаривал от затеи, грозившей окончательным исключением из гимназии, он напоминал историю с поэмой, — он презрительно пожимал плечами и доказывал, что все это совершенно не символистично и не остроумно.

Андрей был непреклонен. Леопольд оказался безвольным, — он подчинился. Гимназисты вышли на улицу с кондитерским свертком ноги. Конская нога сыграла тогда целую судьбу в истории камынского Великого Немого. Горничная классика Сеги не могла не знать в лицо Андрея и Леопольда, мог отпереть сам Сега, — скандал казался неминуемым.

Леопольд сказал безразличным голосом:

— Я сегодня на прогулке видел Лелю Верейскую. Княжна велела тебе приходить в кино.

— На какой сеанс?

— На второй.

Гимназисты прошли шагов десять.

— А сколько сейчас времени?

— Через десять минут начало...

Гимназисты прошли еще шагов десять.

— У тебя деньги с собою есть?

— Есть, а что?

— А у меня нет... Я думаю, не зайти ли нам сначала в кино, а потом отнести ногу?

— Пойдем.

В тепле кинематографа нога потекла сукровицей. Андрей положил ее на окно за портьеру, в холодок.

Леля не пришла в кино. Андрей загрустил. Нога осталась в кино, в фойе за портьерою, на подоконнике — на удивление уборщику. На другой же день на гимназических партах стало известно похождение ноги, — и на долгое время с тех пор каждый гимназист, отправляясь в кинематограф, почитал за долг стаскивать туда всяческую дрянь, старые тряпки, опорки, коробки с мусором, — в таком количестве, что Сергей Иванович Кошкин, вдохновитель кинодела в Камынске, ездил к директору Вальде, предупреждал — либо кино будет закрыто, либо гимназистам будет сделано внушение.

«Пфимфа» с ногой не расстроила дружбы Андрея и Леопольда. Иван Кошкин никогда не принимал участия в «пфимфах». Пришла весна и прошло лето. Иван Кошкин нашел у отца связку книг — десять неразрезанных экземпляров «Так говорит Заратустра» Фридриха Ницше. Один экземпляр отдал в руки Андрея, — Глан был забыт, но куплен был том Шопенгауэра... Все летние вечера подряд Андрей толковал об истинной человеческой свободе, пришед к заключению, что истинная свобода стеснена рудиментарными инстинктами совести и что, стало быть, надо найти способы отделаться от совести, построив свою мораль только разумом. Печалуясь наличием у себя совести, изыскивая способы ее уничтожить, Андрей пришел к выводу, что с совестью надо кончать срочно, — необходимо было что-нибудь украсть, или ограбить человека, или убить. Леопольд разделял убеждения Андрея. И неожиданно Иван Кошкин также предложил свое участие в ликвидации совести, — он согласен был на убийство или грабеж, — он хотел проверить себя, как говорил он, — воровство казалось Ивану неэстетичным. Решили — убить, в худшем случае — ограбить. Андрею поручено было найти объект для убийства.

Была уже осень. В гимназии начались занятия. Андрей сообщил на уроке, через парту, что нашел человека, которого можно ограбить или убить. Вечером гимназисты собрались у Леопольда для обсуждений. Все трое украли у отцов револьверы. Несколько раз все трое ходили за Козью горку обучаться стрельбе. Затем темным вечером гимназисты вышли на грабеж. Иван оказался водителем, он никак не волновался. Не волновался и Леопольд. Андрей трусил. Гимназисты спустились на Подол, обогнули Монастырскую рощу, вышли на дорогу к Марфину броду. Было темно и холодно...

Андрей выследил, что каждый вечер здесь от Марфина брода до рощи ходит мужчина с руками назад, с тросточкой между лопаток. Решено было убить — или взять пальто, часы и деньги.

Человек появился во мраке. Гимназисты поставили револьверы на «feu». Леопольд и Андрей должны были крикнуть — руки вверх!..

Навстречу шел мужчина, прямой, как палка, с руками назад. Гимназисты пошли на него. Тот вгляделся в Леопольда, и в тот момент, когда гимназисты готовы были крикнуть — руки вверх! — неизвестный почтительнейше сказал:

— Здравствуйте, господин Леопольд, — что вы тут делаете?

Леопольд ответил вежливо:

— Здравствуйте, господин Клинкер!.. — и приподнял фуражку.

Это был новый управляющий на фабрике Шмуцокса, ближайший помощник папахен, у которого недавно умерла жена от туберкулеза.

Управляющий прошел мимо. Гимназисты стояли в недоумении. Знакомого человека убивать и грабить было неэстетично — и опасно, могла узнать полиция и родители, а это не входило в расчет потери совести. Леопольд и Иван выругали Андрея. Андрей почесал затылок. Пошли домой, недовольные. Андрей виновато рассуждал, что существенен не факт, но осознание факта, тем паче, что многое бывает глупо как факт.

Вечною музой своей Андрей считал Оленьку Верейскую, но это не мешало ему влюбляться в гимназисток, иногда даже в нескольких сразу так, что он даже не знал, в кого же он влюблен, — так получалось потому, что Оленьку редко пускали из дома, а к ней приходить можно было только летом на крокетную площадку, ибо в доме очень стеснял папаша длиннейшими своими рассказами. Андрей не умел хранить тайн. Все свои бурные тайны Андрей тащил куда угодно и к Ивану, конечно, к Леопольду, к фрау Шмуцокс — также бурно, как прочитанные книги и несправедливость в гимназии. Иван был совершенно замкнут. Тайны Леопольда были просты, будничны и коротки, — когда в комнате не было матери, Леопольд становился к печке на материнское место, грел руки и говорил самые простые вещи. В гимназисток Леопольд не влюблялся. Леопольд решал за Андрея задачи. Андрей за Леопольда

писал сочинения по русскому языку. Непременным элементом их дружбы была дружба с фрау Шмуцокс. Леопольд никогда не ходил к Андрею, и тем паче не бывала в доме Криворотовых фрау Шмуцокс. Андрею очень нравилась нерусская тишина шмуцоксовского дома.

Все же, несмотря на «пфимфы», в гимназии на уроках иногда Андрей долговязо поднимался из-за парты и говорил физику Нежданову:

— Евгений Иванович, вы вывели мне в четверти тройку по физике. Прошу мне поставить пару, ибо сам знаю, что знаю только на двойку...

Физик Нежданов переправлял отметки по просьбе Андрея, — но словесник Сега кричал, — когда также Андрей просил исправить отметки, —

— Кта?! Цто?! Сам знаю, сколько ставить, хоцю цетверку поставлю, хоцю — кол!..

Гимназия шла шеренгами классов. Годы шли ротами. Парикмахер Эжен не только расчесывал волосы Ивана Кошкина на прямой пробор, но подбривал уже пушок на подбородке Ивана. Братья Шиллеры давно уже брили свои щетины, — Шиллер-отец писал добрые письма из Америки, но работы не находил, и сыновья вот уже годы ожидали вместе с Наумом Соломоновичем Хейфецом, когда Израиль Иосифович позовет их к себе, в ожидании не замечая, что по второму над аптекой полупустому этажу давно распространился псиный запах одинокости. Поколение взбиралось на плато седьмого класса. Новая была — и золотая — осень. В гимназии сменился преподаватель французского языка, вместо известного француза мосье Йони с осени стала обучать гимназистов французскому языку мадемуазель Гоголева Валентина Александровна. Ей было всего двадцать два года, она только что окончила курсы Берлица в Москве. Она сняла комнату у Шиллеров в полупустом втором этаже. Братья Шиллеры стали бриться аккуратнее, предпочитали сидеть дома, в доме стало чище. Валентина Александровна привезла с собою первую весть об Анне Ахматове, — от нее же пришли первые вести об Игоре Северянине. Она была уродлива, Валентина Александровна, длинноносая, большеротая, сухая, но от нее пахло необыкновенными всегда одними и теми же духами, она, единственная в городе — красила киноварью ногти и губы, у нее были неуездные платья. В своей комнате у Шиллеров она повесила репродукцию

с Гойи. Среди гимназических преподавателей она оказалась исключением. Интеллигенты не одобрили ее платья и пальцы. Должно быть, она на самом деле была очень одинока, если ее занесло в Камынск. Она пошла к художнику Нагорному, — он расхохотался истерически, когда она заговорила о Гогене, — больше она не ходила к нему.

Это случилось на большой перемене. Дежурные преподаватели и гимназисты гуляли по двору и саду. На дорожках в саду под ногами шелестели опавшие листья. Был золотой полдень в заморозке. Одна Валентина Александровна шла по дорожке, старательно загребая листья носками лаковых туфель. В почтительном расстоянии сзади шли Андрей Криворотов и Иван Кошкин. Андрей стал громко декламировать, —

Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...

— Вы знаете Бальмонта? — спросила Валентина Александровна и остановилась.

— Конечно, — ответил Андрей.

— И вообще символистов?

— Да...

— Символисты отживают уже свой век, — сказала Валентина Александровна. — Вы читали акмеистов?

— Кого? — переспросил Андрей и смутился.

— Я знаю Ахматову, — сказал Иван.

В тот же день Андрей забрал у Ивана томик Ахматовой, только что вышедший, и зубрил его на ночь. Наутро, не дождавшись большой перемены, Андрей продекламировал перед Валентиной Александровной, —

...но человек не погасил
До утра свеч, и струны пели...
Лишь утро их нашло без сил
На черном бархате постели...

— Чье это? — спросил Андрей в отместку за то, что он не знал об акмеизме.

— Иннокентия Анненского, — ответила Валентина Александровна гордо.

Андрей смутился и молвил без храбрости:

— А словесник Сега их не знает и считает ерундой...

Валентина Александровна усмехнулась, как союзник в презрении к Сега.

На большой перемене, опять в саду на шуршащих листьях, Андрей рядом с Иваном, на почтительном расстоянии от Валентины Александровны — стал читать Ахматову.

— Вы уже знаете наизусть? — спросила Валентина Александровна.

— Я давно знал, — сказал Андрей.

— Не поэтизируй, — не верьте, Валентина Александровна, — за ночь вызубрил, чтобы поразить вас! — сказал лукаво Иван.

— А может, и так! — сознался безобидно Андрей.

Валентина Александровна рассмеялась. Заговорили о современных поэтах. Андрей поймал-таки Валентину Александровну, — она запамятовала бодлеровскую «Красоту» в переводе Эллиса. Валентина Александровна сказала чуть-чуть недовольно и лукаво:

— Это почти уже классицизм, эта «Красота», хотя Бодлер, конечно, не классик, — и только поэтому я забыла... Я не люблю классиков, они — как гимназическая арифметика, — не люблю ни в поэзии, ни в живописи, ни в музыке... Вы не слыхали Скрябина? Скоро мне пришлют из Москвы мое пианино, и я сыграю его вам, — вы услышите Скрябина. Я позову вас к себе. Приходите.

Гимназисты пришли к Валентине Александровне, когда золотые заморозки сменились неделями дождей. Пианино из Москвы еще не прислали. Диван в комнате Валентины Александровны, служивший и кроватью, был покрыт украинской плахтою. На рабочем столе, рядом с ученическими тетрадями письменных работ по французскому языку, лежали книги о французской живописи. На стене был Гойя. Валентина Александровна сама кипятила кофе и к кофе подала московские, чуть подсохшие пти-фуры. Валентина Александровна принимала гимназистов как джентльмен джентльменов. Она была рада гостям. Она сказала даже:

— Хотите немножко ликеру? — спросила она и смутилась.

Гимназисты тоже смутились, отказались, очень польщенные. Андрей рассматривал книги и не умолкал.

— Вот бы Сегу сюда, он умер бы от этих книг, — сказал Андрей.

Валентина Александровна и Андрей читали друг другу стихи современных поэтов. После кофе Валентина Александровна закутала абажур на лампе в голубую ко-

сынку, создала полумрак. Она рассказывала о Москве. Она была в Петербурге в «Бродячей собаке», видела живого Блока. Главным собеседником и внимательнейшим слушателем был Андрей, но заботливостью Валентины Александровны явно пользовался Иван, молчаливый и рассеянный ницшеанец и барин семнадцати лет.

Наутро Оська Шиллер, старший, устроил Ивану и Андрею «пфимфу»: когда они вошли в класс, гимназисты громыхнули откидными крышками парт и провыли — «яаа», — еще раз громыхнули и провыли — «ваас», — громыхнули и — «люблююю», — громыхнули — «Валентина», — громыхнули — «Александровна!». — Класс издевался дружественно.

Гимназисты были у Валентины Александровны дважды и трижды. Для Андрея знакомство с Валентиной Александровной было почтительно-священно. Мир Валентины Александровны казался необыкновенным, небывалым и чрезвычайным, — казалось, прозябая в Камынске, она не видела его и жила французами от Матисса и Гогена до Пикассо, от Бодлера до Валери, русский Бальмонт для нее уже устарел, русская живопись для нее начиналась только с Врубеля, путь русской живописи прокладывала Наталья Гончарова, только-только тогда появившаяся и никому не известная. Валентина Александровна предчувствовала футуристов.

Кончалась первая четверть.

Иван Иванович Криворотов, как врач, заходил иногда в аптеку к Науму Соломоновичу Хейфецу как к фармацевту. Наум Соломонович сказал однажды:

— Что делается в гимназии, Иван Иванович, я не понимаю... У нас сняла комнату француженка мадемуазель Гоголева. Мои мальчики подтянулись, моются и чистят зубы, это хорошо, но они не идут в гимназию, пока она не выходит из своей комнаты, и провожают ее, как кавалеры, а они немногим моложе ее... А ваш Андрюша с Ванюшей Кошкиным таки ходят к ней в гости, как взрослые, пьют кофе, читают стихи и зубоскалят насчет других преподавателей... Вы же член педагогического совета от родителей, Иван Иванович?..

— Да, к сожалению, член, — ответил доктор Криворотов.

Кончалась четверть, гимназисты подзубривали. Иван пришел к Андрею, чтобы прояснить ему алгебраические дебри. Гимназисты сидели в Андреевом чулане. Иван Иванович сидел за стеной в гостиной, рас-

кладывал пасьянс. Путаясь в алгебраических «а» и «в», Андрей сказал:

— После четверти в пятницу пойдем к Валентине Александровне, она сказала.

Иван Иванович насторожился за пасьянсом.

— Ты долби... — сказал Иван. — И подзубри французскую грамматику. Она сказала, что письменная завтра будет обязательно.

— А ты где ее видал?

— На последней перемене...

Иван Иванович считал себя — прямолинейным человеком. И был педагогический совет, и на заседании, в «текущих делах», Иван Иванович произнес речь, —

— Господа, — сказал Иван Иванович. — Я хочу коснуться одного щекотливого вопроса... Как можно предположить, к моему сыну ходят товарищи, и я слышу их разговоры, потому что сын близок ко мне и не имеет от меня тайн, а с другой стороны, я встречаюсь с другими воспитателями, как, например, Наум Соломонович Хейфец... — Иван Иванович вздохнул и обратился к Валентине Александровне. — Валентина Александровна, я и многие здесь присутствующие преподаватели много старше вас и годились бы вам в родители, — поэтому выслушайте дружеский опыт старшего товарища. Избави Бог, чтобы я хотел помянуть нравы «Бурсы» Помяловского, я дальше всего от этого!.. — Иван Иванович развел руками и обратился ко всем. — Но... мне известны факты, что у Валентины Александровны собираются гимназисты старшего класса, ведут критические разговоры по поводу остальных преподавателей и выпытывают через нее, — явно пользуясь ее неопытностью, — когда, в частности, будут письменные работы...

— Это ложь! — прошептала Валентина Александровна, и на глазах ее повисли две тощих слезы.

— Если это ложь, я буду абсолютно точен, — ледяным голосом вежливости сказал Иван Иванович. — Мой сын Андрей и сын Сергея Ивановича Кошкина, Иван, ходят к Валентине Александровне и читают там стихи Бальмонта. Исаак и Иосиф Шиллеры чуть ли не каждый день бреются и провожают Валентину Александровну из гимназии и в гимназию, а они юноши уже на возрасте... Кроме того, третьего дня я сам, своими собственными ушами слышал, как Иван Кошкин предупреждал моего Андрюшу, что назавтра будет письменная работа, и сообщил это со слов Валентины Алек-

сандровны, которая сказала ему об этом на последней перемене...

— И тем не менее — все это ложь в лучшем случае, — сказала Валентина Александровна. Она оправилась от первого раската «пфимфы», губы ее постарели, она говорила ледяным голосом брезгливости. — И тем не менее все это ложь. Действительно, третьего дня на последней перемене я просила Ивана Кошкина передать классу, что наутро будет письменная работа и чтобы класс принес с собою тетради. Действительно, гимназисты Шиллеры, живущие без родителей, очень неряшливы и стали подтягиваться от моего присутствия, что я считаю положительным. Действительно, они ходят в гимназию вместе со мною, так как я живу в одном доме с ними и, конечно, перееду оттуда после сегодняшних информаций доктора Криворотова, после чего, как хочет доктор Криворотов, гимназисты Шиллеры перестанут бриться... Действительно, три раза был у меня сын доктора Криворотова, разговаривал со мною о современной литературе, которую в Камынске, к сожалению, гимназисты знают лучше, чем их родители, — и я встречала гимназистов у себя дома, действительно полагая, что «Бурса» изжита в нашей гимназии. Действительно, я давала Андрею Криворотову несколько книжек для чтения, — и он дал мне однажды «Ноа-Ноа» Поля Гогена, книгу, которую я забыла в Москве, которая была нужна мне для чтения, которая имелась у Андрея и которую он, как он передавал мне, преподавателю, прячет — по законам «Бурсы» — от глаз родителя под матрас...

Получалась — на самом деле — «пфимфа», и не в честь Валентины Александровны, но в честь Ивана Ивановича. Доктор растерялся. Валентина Александровна оказалась — из молодых да ранняя. Педагогический совет «инцендент» замял, — замяли, — перешли к дальнейшим «текущим делам»...

Иван Кошкин не всегда докладывал Андрею, когда он встречался с Валентиной Александровной. В день педагогического совета с одиннадцати вечера Иван стоял на углу против гимназии, мокнул под дождем, прятался от прохожих в тень фонаря. В начале двенадцатого из ворот вышли преподаватели, пошли в разные стороны. Валентина Александровна, одна, свернула в тот переулок, где в тени за фонарем прятался Иван. Иван вышел из тени, приподнял фуражку, поклонился почтительно, —

— Здравствуйте, Валентина Александровна!

Она прошла мимо, едва кивнув головой. Иван пошел следом, придерживаясь теней. Так прошли они половину переулка. В самом темном месте Валентина Александровна повернулась круто и сказала, точно продолжала разговор, в запальчивости:

— Вы знаете, что сегодня сделал доктор Криворотов?! — вы можете меня не караулить больше в переулках!.. Он вынес на педагогический совет, как принципиальный вопрос, что вы бываете у меня. И все это со слов вашего друга, Андрея!..

Иван стоял против Валентины Александровны почтительно, но не испуганно. Вскоре они двинулись дальше, уже рядом, темными переулками, в сторону Козьей горки.

Всевышние силы уберегли Андрея от двоек в четверти. Большего сам от себя он не требовал. Без четверти девять наутро он пришел в класс. Иван стоял у окна. Андрей протянул дружескую руку. Иван спрятал руку за спину и глянул на Андрея, как на пустое место. В напомаженных волосах Ивана отражалась оконная рама. Глаза его смотрели ясно.

— Провокаторам я не подаю руки, — сказал Иван.

Сзади стали братья Шиллеры, ощетиненные, как ежи.

— Тебя избить мало, доносчик!—сказал Иосиф. — Тебя надо предать бойкоту. Что ты наделал, ябеда?!

Исаак поднес кулак к носу Андрея. Иван отошел в сторону, к партам.

— Ты знаешь, что наделали ты с отцом? — сказал Иосиф.

— Отец нас не касается, — сказал от парты Иван. — Нас касается предательство бывшего товарища.

Андрей слушал историю педагогического совета молча и бледнея. Когда Иосиф кончил рассказ, Андрей повернулся и вышел из класса. Он не помнил, как он вышел из гимназии, в физическом ощущении катастрофы, — он не помнил дороги домой. Отец не уходил еще в больницу. Пасмурный, должно быть со вчерашнего педагогического совета, отец пил чай в столовой, старательно размешивая сахар. Сын стал у порога. У него немели губы.

— Ты... ты — предатель и болтун! — прошептал сын, едва собирая губы, и что есть силы хлопнул дверью в столовую.

Отец свирепо вскочил из-за чая. Он нашел сына в его чулане. Дверь была заперта на крючок. Отец не заметил, как сорвал крючок с винтов. Сын безразлично лежал на кровати. Глаза его были сухи.

— Что ты сказал, повтори! — крикнул отец грозно, но не очень храбро.

— Я сказал, что ты провокатор, болтун и хвастун, был и есть, — ответил совершенно покойно, по складам Андрей. — Убирайся отсюда вон!

Иван Иванович вытаращил глаза и долго рассматривал — сына, потолок в неуютной чуланообразной комнате сына, стены, стол, точно видел их заново. Он увидел на стене у стола фотографию Оли Верейской. Он сдернул фотографию и бросил ее под стол. Сын не двигаясь и безразлично лежал на кровати.

— Я полагаю, — сказал Иван Иванович, — что в таком случае тебе удобнее отсюда убираться вон...

Андрей медленно поднялся с кровати, —

— Пожалуйста, не задержусь! — сказал он безразлично.

И он стремительно выбежал из комнаты, из дома, на улицу, за угол.

Как в первый гимназический год, когда становилось грустно, всегда появлялась потребность надеть догимназические штаны, — так сейчас, когда вселенная была пуста, как первый гимназический год, Андрей прятался в детство. Он пошел к Чертанову. По-прежнему у моста валялись забытые тумбы. По-прежнему стоял соляной амбар. Андрей пошел в развалины амбара. Капал дождик. Развалины окон и дверей заросли бузиной. В амбаре было темно и сухо. Гнилые — дубовые — лестницы вели в подвалы. Андрей сел на камень, памятный с детства, отшлифованный временем, Андрей думал о том, что его время расколото надвое: с гимназией и с домом покончено, ни в дом, ни в гимназию путей не было, — надо было начинать новую жизнь, и она началась вот сейчас, в амбаре... Отец казался — и казалось, что об отце так думал Андрей всегда, — отец казался болтуном и предателем. Идти к Валентине Александровне, объяснять свою невиновность и тем не менее просить прощения казалось бессмысленным, раз жизнь разорвана надвое. Иван, — друг детства, — если он мог так поступить, не выслушав объяснений, если он не хотел объяснений, — какой же он друг? — тем паче, что он, конечно, прав, Иван... Сегодня обо всем узнает Оля... — пусть! все равно, ее фо-

тография порвана. — Надо было начинать новую жизнь и надо было думать о ней. Куда идти? в каменщики? в бродяги?.. Мысли не клеились.

В разваленном окне, из-под бузины глянули два кошачьих глаза. Андрей не слышал, как кошка пришла на окно, он не смотрел на окно, он ощутил на себе чужой взгляд. Андрей оглянулся. Глаза кошки замерли. Кошка долго осваивалась с неподвижным Андреем. Она бесшумно спрыгнула в амбар, постояла, пошла по гнилым ступенькам в подземелье. Андрей сидел неподвижно, без мыслей, весь поглощенный кошкой. Кошка была старой и одичавшей. Она долго оставалась в подвале. Она вышла из подвала, долго рассматривала Андрея и храбро подошла к Андрею, приластилась, пригладилась к колену Андрея, выгнула спину, замурлыкала. Андрей протянул руку, чтобы погладить кошку, полный нежности, — кошка отпрыгнула, прижала злобно уши к голове, убежала в подвал. Больше она не выходила из подвала. Несколько раз она поднималась на верхнюю ступень, рассматривала Андрея, — из темноты подземелья вспыхивали зеленые огоньки кошачьих зрачков. Андрею стало страшно от кошки, которая принесла было нежность, так нужную Андрею... За амбаром лил дождь. Андрей реально ощутил, как холодные капли дождя заливаются за воротник бродяги...

В пять часов вечера, уже затемно, Андрей пришел в дом Никиты Сергеевича, к Анне. Андрей долго стоял у окна Анны в темноте двора. Анна была памятником детства. У Анны все было прямо, честно и чисто, — как необходимы были Андрею чистота и честность!.. — Андрей не думал об этом и не задавал себе вопроса, почему именно Анну он хотел сейчас видеть.

— Ты ничего не слыхала обо мне? — спросил Андрей. — Нет? — ну, услышишь. Дай мне адрес Клима, я хочу уехать к нему.

Анна спросила покойно:

— Что произошло? — новая фантазия?

— Ты все равно узнаешь, — ответил Андрей. — Не смейся над моими фантазиями, я в них не виноват. Дай мне адрес Клима, мне трудно говорить... У тебя все хорошо? у тебя нет горя?.. Когда ты узнаешь обо мне, знай, что это случайность, что я не предатель... Ну, пожалуйста, дай мне адрес... Как? Напольная улица, семнадцать?.. Меня боится даже кошка, она подошла ко мне, потерлась о мою ногу и бросилась от меня, ког-

да я протянул руку... Не надо, чтобы у тебя было горе!..

— Ты опять с фантазиями? — спросила Анна.

— Нет! — крикнул Андрей и выбежал из комнаты Анны, из дома Никиты Сергеевича.

В девятом часу — в Чертанове, на дальнем конце сельца — Андрей постучался в школьное оконце учителя Григория Васильевича Соснина. Все по порядку Андрей рассказал Григорию Васильевичу. Григорий Васильевич слушал молча, внимательно, не перебивал вопросами, — сказал:

— Хорошо. Оставайся у меня.

— И вы даете слово, что никому, ни отцу, не скажете, что я у вас?..

— Да. Живи в библиотеке, читай книги, думай. Сейчас будем ужинать, а затем пойдем убирать на ночь корову и лошадь.

Григорий Васильевич говорил на *о*, медленно, покойно. Готовили вдвоем ужин, грели гречневую кашу со свиными шкварками, — Григорий Васильевич говорил:

— Не умеешь шкварки поджаривать? — учись, помешай на сковородке, — завтра сам поджарь.

С фонарем и с ведрами, вдвоем, они пошли на двор, ходили под дождем к колодцу, сваливали с сеновала сено, напоили, задали корму, — Григорий Васильевич подсел к корове, стал доить, — сказал:

— Не умеешь? — попробуй поучись, — возьми на пальцы вазелину...

Легли спать. Андрей устроился в школьной библиотеке, в большой комнате, на диване у печки. Две стены комнаты выходили в поле, и всю ночь по стенам снаружи шелестел дождь, обдуваемый ветром, непривычными для Андрея шумами. Утро началось необыкновенно. Андрей начинал новую жизнь и чувствовал себя уже в ней. Вместе с Григорием Васильевичем, за равного, он кормил и убирал скотину, топил печку, пил чай, резал картошку для супа к обеду. Все было ясно. В школу собрались деревенские ребятишки, Григорий Васильевич ушел в класс. В библиотеке, положив около себя с десяток книг для прочтения, один, бодрый, Андрей сел к столу, чтобы написать Климентию. Он написал и перечеркнул — «дорогой друг» — «друг детства» — «дорогой друг детства» — просто «друг» — просто «Клим»!.. — За окном было пустое, промокшее поле. Как ночью, по бревенчатым стенам шелестел

дождик... Андрей не заметил, как давно уже высохли на пере чернила и как смокла бумага от его слез. Дальше «друга Клима» — письмо не ушло...

Иван Иванович Криворотов до десяти часов вечера ожидал сына дома, в жестокой суровости к сыну, в твердом намерении сына жестоко наказать, — он знал даже первую фразу, которой он собирался встретить сына, — «аа, пришел, пащенок!»... — В десять родительское терпение истощилось. Доктор послал Настю к Кошкину и сам, извиняясь за поздний час, позвонил к Шмуцоксам, — ни там, ни там Андрея не было. В четверть одиннадцатого доктор сам отправился на поиски. Сын не находился. К двенадцати гнев сломался в докторе, перешел в растерянность. В двенадцать отец Иван Иванович звонил из аптеки от Наума Соломоновича директору гимназии Вальде, извинялся, просил срочного свидания и в заполночь принят был директором. Ночи Иван Иванович не спал, — ночью Иван Иванович думал, что, черт его знает, как-то это так получается нетактично у него в жизни, несмотря на первоначальные благие побуждения и незлобивость... Утром в половине девятого Иван Иванович вторично был у директора, — в актовом зале, после общей молитвы, директор Вальде сообщил ученикам, что вчера пропал с утра и не приходил ночевать домой гимназист Криворотов и что, если кто-либо знает о его местонахождении, тот обязан об этом сообщить в преподавательскую комнату, где находится в данный момент отец гимназиста Криворотова доктор Иван Иванович.

Иосиф Шиллер прошептал Ивану Кошкину:

— Вот, дать бы ему раза два по роже, и все в порядке, — а то — бойкот!.. Может, он утопился?..

Иван ничего не ответил, глянув на Иосифа ясными глазами.

Половина первого в чертановской школе обедали, Андрей поджаривал картошку. В два Григорий Васильевич направился в город, за газетами, в лавку, в управу. Андрей очень просил его поспешить, Григорий Васильевич обещал быть к четырем. Андрей улегся на диване с книгами — и не читал; обдумывал письмо к Климентию — и не понимал, почему оно не пишется; в мыслях письмо складывалось так, что Андрей получался героем, — но Климентий, как и Анна, не любил хвастовства, героем же себя Андрей никак не чувствовал — и не понимал, как получался героем в письме...

Действительно побывав на почте за газетами, Григорий Васильевич пришел к доктору Криворотову, попечителю школы, поздоровался, поговорил в столовой о погоде, попросил Ивана Ивановича в кабинет, сказал не спеша:

— Я дал Андрею честное слово, что никому не скажу, где он находится. Я сказал так после того, как выслушал всю его историю и не нахожу его виноватым, равно как не нахожу виноватыми и его товарищей по гимназии...

Иван Иванович со свистом втянул и выпустил воздух из носа, побарабанил пальцами по колену, положил ногу на ногу, еще раз свистнул носом, — сказал иронически:

— В таком случае виноват, стало быть, я!..

— Да, — не спеша ответил Григорий Васильевич. — И именно поэтому я дал слово Андрею, а вы согласитесь, что мне, народному учителю, неуместно не быть педагогом. ...И вы мне поможете в этом.

Григорий Васильевич замолчал. Помолчал и Иван Иванович.

— Что же прикажете делать? Извиняться пред моим собственным сыном? — спросил Иван Иванович почти уже без иронии. — И где же он прячется?..

— Я думаю, — извиняться — это вообще устаревшая форма... Не сегодня, а завтра, — чтобы у Андрея было время подумать, — вам надо встретиться с ним и помириться, признав свою ошибку, — и вам надо позаботиться о том, чтобы об этом знал класс, так как перед классом он ничем не виноват...

Григорий Васильевич замолчал. Помолчал и Иван Иванович.

— Вы полагаете — завтра? а нельзя ли сегодня? — спросил Иван Иванович уже без всякой иронии и тоскливо. — Где же он?

— Нет, лучше завтра, чтобы был предупрежден класс. Он у меня. И вам надо зайти или заехать ко мне как бы случайно.

— Хорошо. Я приеду...

Вечером в тот день к Григорию Васильевичу пришла Анна. Она была своим человеком у Григория Васильевича. Она приубралась в комнате Григория Васильевича, она поджаривала шкварки и поставила самовар. Она не удивилась Андрею, — Андрей растерялся, увидев ее, — и очень обрадовался.

— Написал Климу? — спросила она.

— Нет...

— А я написала, — я слышала о тебе.

Анна ни о чем не спрашивала, она разговаривала, точно ничего не произошло. Андрей не понимал, осуждает она его или нет.

— Я все-таки напишу, и я уеду к нему, буду работать вместе с ним...

Анна ответила не сразу.

— Едва ли, — сказала она. — Григорий Васильевич думает, что это бесцельно, а по мне — может быть, и не плохо было бы поехать.

Ужинали и пили чай равноправными хозяевами одной семьи. Андрей недоумевал, — когда ж Анна успела поговорить о нем с Григорием Васильевичем? и неужели Григорий Васильевич советуется с Анной? — Разливал чай Григорий Васильевич. Анна и Григорий Васильевич понимали друг друга с полслова. Анна приходила просто посидеть, поменяться книжками. Уходя, в коридоре, Анна сказала Андрею:

— Знаешь, Андрей, у человека все должно быть, как тебе сказать, — должно быть ясно, и надо знать, где пустяки, надо уметь ограничивать себя... А ты все — я да я, да как со мною. А это — не главное. Ты об этом подумай, и о других подумай, раз ты в гимназии остаешься.

— Я и не собираюсь оставаться.

— Фантазируешь, останешься...

Ночью по бревенчатым стенам шлепал только ветер, гудел в застрехах, — дождя не было, похолодало. Лампа не освещала всей комнаты. Диван в углу и Андрей на диване казались Андрею очень маленькими. Андрей до тоски ощущал различие между этим диваном и его собственной постелью у себя дома. Наутро Андрей проснулся в ощущениях, что надо одеваться, спешить, собирать учебники и идти в гимназию. За окном было пустое поле. Впереди был день, как поле. Андрей подумал, что нельзя же вечно оставаться у Григория Васильевича. Ужели действительно идти на станцию и покупать билет на Урал? — страшно было даже подумать. Ужели возвращаться домой, покориться отцу? — и мерзавцем, бойкотируемым пойти в гимназию, сесть за парту рядом со Шмуцоксом?.. — это было так привычно.

В сумерки приехал отец, — этот болтун и обыватель. И все получилось не так, как мог бы представить себе Андрей: отец заплакал, увидев сына, и отец ни-

щенски протянул вперед руки, — и сын бросился обнимать отца, — вот этого, старого, несчастного, конечно, очень любимого, единственного, недостатки которого и то любимы... Отец и сын обнялись, плача. Отец сказал сыну, что он, отец, считает себя неправым, — и он, отец, сделает все, чтобы исправить отношения сына с классом. Сын ощутил защиту. Отец сказал сыну, чтобы он, сын, еще на один день остался у Григория Васильевича, — отец не объяснил, почему так надо, но сын поверил, что надо именно так, и остался покорно. Отец уехал. Андрей и Григорий Васильевич, вдвоем, готовили ужин, убирались на дворе, — но смысла в этом уже не было, шкварки поджаривал Григорий Васильевич. Наутро, до начала уроков в гимназии, к чертановской школе подъехала коляска Шмуцоксов, в коляске были Леопольд Шмуцокс, Иосиф Шиллер, Антон Коцауров, — они приехали за Андреем, Андрей вышел к ним веселым отшельником. Класс встретил приветственным воем, рукопожатиями, хлопками по плечам — все, кроме Ивана Кошкина. Кошкин первым не протянул руки Андрею, Андрей первым не протянул руки Ивану, — они поклонились друг другу без улыбки. Учителя подшучивали над Андреем в доброжелательстве — все, кроме Валентины Александровны. Дома был пирог с яблоками. Над столом в комнате Андрея на прежнем месте висела фотография Оли Верейской. Папа предложил партию в шахматы... Еще по дороге домой Андрей встретил Олю Верейскую, она гуляла с родителем-князем, — Андрей раскланялся, дважды поправив фуражку, что значило — «жду сигнала». Оля дотронулась до губ, что значило — «следи за лампой». В шесть часов Андрей выбегал из дома на полчаса, прошел мимо княжеского дома, — в мезонине лампа под белым абажуром стояла на среднем окне, что значило — «буду завтра в кино». Папа предложил еще партию шахмат. Все было отлично...

Ночью, в своей постели, довольный всем, вдруг ощутил Андрей, что — все же, где-то — он негодяй и все кругом негодяйство. Андрей стал думать — где негодяйство? почему? — и решить не мог. Он перебрал в памяти все четыре дня. Кошка в амбаре вдруг стала походить на Ивана Кошкина, одинаково страшные. Валентина Александровна — большеротая, пудреная — вдруг показалась лягушкой, с лягушачьей кровью, хотя — сухая, как доска — на самом деле Валентина Александровна походила на ворону. Негодяйства не

было только около двоих людей, около Григория Васильевича и Анны. Андрей не понимал, почему, но знал, что где-то и как-то он должен исправиться, — что-то должно быть исправлено решительно и до корней, — а до тех пор ему трудно будет теперь прийти к Анне. Андрей вспомнил, что они—Иван Кошкин, Леопольд и он — они намеревались отделаться от совести, — Андрею стало стыдно.

Дней через десять Андрей встретил на улице Анну, Анна сказала:

— Ты так и не написал Климу и ни разу не заходил к нам с Григорием Васильевичем. А зря.

— А ты откуда знаешь, что я не написал? А к вам я все время собираюсь...

— Я писала Климу о тебе и о том, как тебя сделали даже героем. Клим мне ответил, он думает, нехорошо, что у тебя в жизни мало препятствий...

— Я совсем не герой.

— Конечно, — Анна сказала очень просто.

В гимназии Андрей не заговаривал с Иваном, Иван не заговаривал с Андреем. Прошла вторая четверть, всевышние силы упасли от двоек. Веселились на рождестве и на святках. Пошла третья четверть, — «солнце на лето, зима на мороз», — очень заметно вырастали дни, и рабочее время от этого уменьшалось. Понятия дружбы у Андрея от осенних событий росли. Дружба по правилам Андрея была рыцарским качеством, воспитанная верностью Остапа Бульбы, сына Тараса. И на Откосе однажды, когда гимназисты гуляли в пустой урок, в полдень, веселым февральским морозом, Леопольд, внимательно рассматривая поля за Подолом, те снежные просторы, о которые можно порезать глаза, сказал Андрею:

— Знаешь, Андрюша, я, наверное, скоро застрелюсь.

Это было в пустой урок после большой перемены.

Андрей заволновался, затеребил Леопольда.

— В чем дело, Лео? — как ты пришел к такому выводу?! — объяснись!

Леопольд не сказал больше ни слова, замолчал. Андрей возмущался. Гимназистам надо было идти в класс. После уроков гимназисты задерживались на репетиции перед масленичным балом-спектаклем. День прибавился уже часа на полтора, — Леопольд вернулся домой в закатный час.

Мать стояла у окна в гостиной. В комнате были густые сумерки, за окном текла густая синь, золотело

облако в небе. В комнате залегла тишина натопленных печей и покойствия. Лица матери видно не было, виден был один силуэт. Она смотрела в окно, не заметив прихода сына. Голова ее была опущена, плечи поникли под тяжелым пледом. Леопольд подбежал к матери, прижал голову к ее груди.

— Мама, мама, какая страшная вещь — жизнь!.. Ты прости меня, я слежу за тобой. Человеку дано жить, вот, каждым днем, каждым часом. Затем будет смерть. Ты встаешь по утрам, провожаешь меня и папу, и у тебя такие длинные дни, один, как все. Я не могу передать словами... Все мы, все мы умрем, — и вот каждая твоя минута — к смерти... Я знаю, почему ты изучаешь английский язык и стыдишься говорить на нем, не умея произносить слова, — это для того, чтобы заполнить пустое время, тебе нечего делать... Это очень страшно, — пустое время!.. Для этого ты читаешь мои книги, для этого ты ходишь со мною на каток, — все это тебе неинтересно, — ты убиваешь время. Я не умею найти слов, — это очень страшно!.. Если бы я мог умереть за тебя, мама...

В тот вечер мать была активна. Она одна ходила на Откос, долго ходила по морозам Откоса, решительными шагами, в лунной тишине. Герра Шмуцокса дома не было. На него нападала очередная тоска от лютого одиночества, — в этот вечер он отправился к Верейскому на винт, — к масленице собирался в Москву. Леопольд сидел у себя, за уроками и потом за книгой. Дом покойствовал тишиной и теплом, как кот на печи, отдыхал во мраке незажженных ламп.

Звонил по телефону герр Шмуцокс:

— Марихен, я играю в винт у князя. Скажи, чтобы заложили лошадь, приезжай сюда. Тут имеются вкусные вещи из Петербурга, от Елисеева. Ждем!..

— Да, я приеду, — ответила фрау Шмуцокс, — и весь вечер проходила по темной гостиной бесшумно, не зажигая света, кутаясь в плед. Сын не выходил из комнаты.

В тот вечер Андрей был занят на репетициях в гимназии, его не отпускали, он рвался к Леопольду. Леопольд должен был прийти в гимназию и не пришел. В десять у Шмуцоксов ворота запирались на замки.

Наутро в рисовальном классе Леопольд медленным глазом выверял голову Зевса, чтобы нарисовать ее на бумаге, покоен и молчалив. На втором уроке —

на физике — Леопольд сунул под партой Андрею свой дневник, где на отдельной странице было написано:

«...есть такие дела, которые должен решить каждый только для самого себя, так как эти дела касаются только одного, — по-своему решить любовь и смерть... Этими делами человек определяет свое место к другому человеку. И тогда совершенно безразличными становятся — страдания, завтрашний день, даже люди, которые вокруг него...»

— Что это значит?! — прошептал за партой Андрей.

Леопольд не ответил.

Пятый урок был уроком Валентины Александровны. Андрей прикинулся захворавшим и ушел с пятого урока. Он пошел к фрау Шмуцокс. Он находился в окончательном расстройстве, — он не заметил, что поступает примерно так же, как поступал его отец, придя со своими рассказами на педагогический совет, — Андрей не знал лишь, предает ли он или не предает дружбу? — Он сказал без вступлений:

— Знаете, Мария Адольфовна, я вчера гулял с Лео по Откосу, и он мне сказал слово в слово, — «знаешь, Андрюша, я, наверное, скоро застрелюсь»... Я стал его спрашивать, он молчит. А сегодня он дал мне выписку из своего дневника, философию, которую я не понял, к чему она. У меня есть жизненный опыт, и все в жизни чепуха, как, например, со мною и учительницей французского языка. Но чепуха может стать катастрофичной.

В комнату шли мороз и свет через хвощи доледниковых эпох на стеклах, в комнате был белый, очень резкий свет. Мороз в окнах казался холодным и пустым. Все морщинки у глаз и на висках фрау Шмуцокс вдруг стали очень видны. Шаль упала с плечей фрау Шмуцокс. Фрау Шмуцокс крикнула, совсем как кухарка:

— Узнайте, что с ним! — узнайте сейчас же! — узнайте во что бы то ни стало! — идите! узнайте!..

На секунду Андрей ощутил себя кухонным мужиком. Фрау Шмуцокс овладела собою, она опустилась лирически на диван.

— Андрюша, голубчик, — вы его друг, он единственный у меня... Андрюша, голубчик, узнайте, что с ним, ради материнской любви...

Леопольд пришел в тот день после уроков — деловитым и медленным, как всегда. Мать видела через

окно, как он, сойдя с санок, взял под козырек перед кучером Иваном, поклонившись. Мать встретила сына в прихожей. Сын медленно раздевался.

— Здравствуй, мама, — сказал он.

Он прошел к себе в комнату, мать пошла за ним. Мать прикрыла за собой дверь, плед сполз с ее плечей. Она протянула руки сыну, она положила руки на плечи сына, сощуренными глазами она глядела в глаза сына. Мать казалась бессильной и решительной. Сын обнял мать. Сын стал искать своими губами губы матери. Сын залепетал:

— Мама, мама, милая, милая...

И сын оттолкнул от себя мать, закинул свои руки себе за шею, сжал свою шею руками, побитой собакой пошел к кровати, упал лицом на подушку.

Сын крикнул:

— Уйди, мама! — мама, уходи, уходи от меня, прошу тебя, мама!

Мать не ушла. Фрау Шмуцокс собою прикрыла голову сына, защищая сына от чего угодно. И фрау Шмуцокс кричала, опять как кухарка:

— Что ты хочешь, Лео, сын мой, родной мой, что ты хочешь? — я все сделаю для тебя!.. ну скажи мне, ну скажи мне, что с тобою, я все сделаю, что ты хочешь!..

Леопольд освободил свою голову от матери, чтобы удобнее дышать. Он отмалчивался, и он сказал:

— Только никогда, ни о чем не говори папахен. Клянись!

— Клянусь! — сказала мать.

Мать приготовилась слушать. Сын понес несуразное, —

— Я ничего не могу рассказать тебе, мама. Я не могу, пойми меня. Уйди от меня сейчас же. Сейчас приедет папахен. Я ничего не сделаю против твоей воли, я обещаю тебе. Уйди от меня, мама.

На самом деле приехал папахен, мать пошла навстречу без пледа. Супруг вышел в столовую, потирая руки от мороза и от удовольствия перед едой. Сын поцеловал руку отца, отец поцеловал сына в лоб.

Андрей вышел в тот день от Шмуцоксов после разговора с матерью — как дует сентябрьский ветер, без толку и направления. Дома, в его комнате, книги полетели со стола по углам, — чтобы свободнее думать. То сидел Андрей за столом, оперев голову на ладони, то ложился с башмаками на кровать, то метался по своему чулану,

энергически отплевываясь, то садился писать дневник, — дневник повелся после осенних событий. Волосы Андрея торчали уже не нигилистически, но — дикообразно. Андрей проявлял явное страдание. Позвонили в парадное, дернули за проволоку, загремел в коридоре валдайский колоколец. Изумленная Настя сказала:

— Андрюшка, тебя Шмуцоксова барыня требует, специально к тебе.

На самом деле приехала фрау Шмуцокс, не раздевалась, стояла на пороге Андреева чулана. Она была покорна, фрау Шмуцокс. Как взрослого и заговорщика, она просила Андрея — выпытать все у Лео. Она вступала с Андреем в заговор, — она с мужем уезжала на вечер в гости к директору Вальде, специально для того, чтобы Лео остался один и чтобы Андрей мог свободно говорить с ним. — Мать успела уже выкрасть у сына и прочитать его дневниковую запись о смерти.

Андрей не хотел поступать так, как поступил с ним Иван Кошкин в осенних событиях. В условленный час Андрей отправился к Леопольду — ставить категорически вопросы дружбы и требовать дружественных прав. Разговор произошел. Леопольд стоял у печи, Андрей метался по комнате, штурмуя Леопольда. Дом засел в тишине, в тепле, в редких потрескиваниях мороза на улице да в медленной песне дворника на кухне, пока господ нет. Тень Андрея бегала от лампы по стенам и по потолку, изображая черта.

И Леопольд рассказал свои тайны.

— Да, я хочу застрелиться, — говорил Леопольд, — потому что со мною случилась страшная вещь, которую определить я не могу и с которой бессилен справиться. Я люблю свою мать. Нет, подожди. Ты любишь Лелю Верейскую, которая об этом даже не знает, — но ты ее любишь, как идеал, — и ты же пристаешь к своей горничной Насте. Я никогда не любил никаких Лель, я никогда не приставал к женщинам, потому что мне это омерзительно и совершенно не нужно... И вот, как ты любишь Лелю и свою горничную, и как Иван Кошкин любит девок из публичного дома, — так я люблю свою маму, только гораздо сильнее. Я люблю ее больше жизни, больше всего на свете и гораздо больше самого себя. Мне стыдно и позорно. Я молюсь на свою мать, как на бога, самое лучшее, все лучшее — она, — но не раз, точно случайно, я входил в ванную, когда мылась мама, — она меня не стыдилась, я больше не делаю этого, потому что

боюсь, что у меня разорвется сердце... И я готов убить отца от ревности и от ненависти, — и я убил бы его, если бы не знал, что у него от Марфина брода до Москвы, везде рассованы содержанки и он оставляет мать в покое...

Леопольд стоял у печки неподвижно, говорил, точно отвечал урок, плакал. Он смотрел вверх остановившимися глазами, и по щекам текли слезы. Андрей бегал по комнате и тоже утирал кулаками глаза, чтобы не мешали слезы, которых не было. Гимназисты иной раз подолгу молчали. Андрей обнимал иной раз Леопольда, иной раз бегал на кухню пить воду, сидел подолгу на стуле верхом, положив голову на спинку стула, раздавленный горем и невероятностями.

— Постой, погоди, давай обсудим здраво! — кричал Андрей и не находил слов. — Ну, ты... ну, я... — и бегал по комнате, гоняя свою тень и тряся головой, точно хотел стряхнуть свои мысли. — Ну, ты... — ты разлюби... Впрочем, ерунда!.. ну, я...

— Мне надо застрелиться, — говорил Леопольд, — потому что ничего иного я не могу придумать. Я не могу посягнуть на мать, я не могу убить отца... А может быть, могу сделать и то, и другое, — потому что я мечтаю о маме и о том, как я убью отца. Я думал, — я ничего не понимаю... Всю жизнь самым близким человеком мне была мама, и я сейчас ничего не могу ей сказать, потому что я не смею оскорбить ее... И я оскорбляю ее, потому что я целую ее не как мать, а как любовницу...

Андрей стряхивал мысли с волос и говорил:

— Постой, погоди, давай обсудим здраво. Надо обсудить. Это же нарушение естества — любить свою мать. Понять этого я не могу. Ты прости, ведь это же мерзость и вообще противно, даже эстетически, кроме того — против естества... Это уж — сверхницшеанство... Впрочем, ерунда!.. ну, я...

— Мне надо застрелиться, — долбил Леопольд и плакал.

На парадном привычною рукою зазвонил герр Шмуцокс. Андрей, по уговору с фрау Шмуцокс, не должен был попадаться на глаза герру, — через кухню он пошел срочно домой. Прощаясь, он целовал Леопольда, мазал слезы и шептал на ходу:

— Постой, погоди... Ну, ты дай мне слово, что не застрелишься, пока мы не обсудим все как следует... Впрочем, ерунда!.. — Дай неделю на рассуждение.

Андрей убежал.

Герр Шмуцокс зашел в комнату сына.

— Ты, я вижу, не спишь.

— Не сплю.

— У тебя, я вижу, кто-то был.

— Никого.

— Что за манера отвечать? — почему слезы?

— Какую нахожу нужным! какую нахожу нужным, слышите! — закричал Леопольд, — какую нахожу нужным!..

Леопольд бросился к кровати, упал на кровать лицом в подушку.

Герр Шмуцокс наутро уезжал в Москву.

Перед сном в спальне, надевая длинную немецкую ночную рубашку, герр Шмуцокс сказал жене рассудительно и негромко:

— Я полагаю, Марихен, что у нашего мальчика настало время... ну, разреши мне присмотреть на фабрике какую-нибудь здоровую и красивую русскую девку, ее можно будет отправить на освидетельствование к доктору Криворотову, — и пусть наш мальчик... у него уже настало время...

С фрау Шмуцокс произошла истерика, как только что у сына.

Андрей, ушед от Шмуцокса смятенный делами друга, пошел на Откос, чтобы проветрить мозги. Луна светила простором, мороз разбрасывал алмазы по снегу и шелестел шагами Андрея. Тень Андрея сиротливой собачкой вертелась у ног Андрея, — такою же сиротливой, как мысли Андрея. Андрей на самом деле ничего не понимал и мучился. Смерть друга ему казалась реальною, он не хотел смерти друга, он физически чувствовал приближение смерти в его компанию и испытывал страх смерти, такой же гнусный, как этот его вечерний с Леопольдом разговор. Это было так же страшно, как кошачьи глаза в амбаре. Здоровым телом, мурашками по позвонку он чувствовал противоестественность и мерзость. Тишина комнаты Леопольда, разговоры — здесь на Откосе — казались Андрею страшными, как капли осеннего дождя у бродяги за воротником. Андрей целовал Леопольда — и здоровым телом ощущал, что ему противно целовать этого красивого юношу, точно Леопольд — гнилой внутри. Страшнее, чем поцеловать бы Валентину Александровну, пудреную лягушку. Кроме всего прочего, Андрей чувствовал на себе ответ-

ственность за друга, — и ему хотелось играть роль героя, чего он не замечал, конечно.

Андрей долго стоял на Откосе, смотрел в снега за Подол и повторял вслух:

— Должен застрелиться. Нет. Должен застрелиться. Нет...

Андрей заснул у себя в чулане не раздеваясь и проснулся наутро в головной боли, в придавленности, в ощущениях страшного и нечистоты, когда лучше и не просыпаться, — в тех же ощущениях, как первое утро Чертановской школы. Он проснулся с решением, как тогда в Чертанове о новой жизни, — да, пусть Леопольд стреляется, — но в подсознании он ощутил, как и в Чертанове, что этого не будет, не бывает, его не послушают, а дружба — дружба кончена, тошнотно увидеть Леопольда и очень любопытно с ним поговорить еще раз на столь необыденные разговорные темы. С фрау Шмуцокс было условлено еще вчера, когда она приходила к Андрею, что наутро он не пойдет в гимназию, герр Шмуцокс уедет с десятичасовым поездом в Москву и он, Андрей, придет к фрау Шмуцокс в половине одиннадцатого, когда никого не будет дома. Андрей пошел мыться, мылся холодной водою, полагал, что промораживает мозги. Домашним он сказался нездоровым, отец, доктор Иван Иванович, посмотрел его язык, пощупал пульс, определил, —

— Да, небольшой налетец на языке. Прими касторку.

В половине одиннадцатого, пробираясь задними переулочками, чтобы не заметили случайно гимназические надзиратели, Андрей пришел к фрау Шмуцокс. Он готовил речь, — и сказал совсем не то, что заготовил. Вдруг к ужасу своему он рассказал все, как было на самом деле, — говорил и ужасался тому, что говорил, — ужасался и злился, потому что ужасался, — захлебывался и говорил бессвязно, все по очереди.

Закончил он злобно:

— Я предаю друга, мне нельзя теперь с ним встречаться, я дал честное слово, что все будет втайне. Ему надо застрелиться и больше ничего, и пусть стреляется. Это касается именно вас. Я снимаю с себя ответственность за его смерть. Он любит вас, как женщину, он подглядывал за вами в ванной, он ревнует вас к Карлу Готфридовичу. Прощайте! — вам тоже надо застрелиться. Прощайте. Ему надо застрелиться!.. — пусть стреляется!..

Андрей стоял посреди комнаты, когда говорил это.

Он выбежал вон из комнаты, шмыгая носом, всовывал ноги в калоши и никак не мог всунуть. Фрау Шмуцокс не заметила, как убежал Андрей. Она опомнилась, когда Андрей хлопнул парадной дверью. Она побежала за ним и догнала его у калитки на улицу, крикнула, как кухарка:

— Вы никогда, никому не смеете говорить об этом!..

Она спохватилась, она съежилась, она сказала лирически:

— Да-да, Андрюша, это очень страшно. Никогда не говорите, никому не говорите об этом... Знайте, — я ваш друг, если даже вы потеряете дружбу Лео...

Голова фрау Шмуцокс поникла, плечи ее опустились. Она улыбнулась, как улыбаются во сне. Брови ее опали в бессилии — и сразу же собрались в строгости и решимости. Раздумье сменило улыбку — и опять пришла улыбка, как во сне. Андрею показалось, что фрау Шмуцокс совершенно голая, — он крикнул:

— Мария Адольфовна! на улице моро́з, вы раздетая, идите домой!..

Фрау Шмуцокс подняла голову в гордости, неизвестно зачем поднялась на цыпочках, — крикнула почти озорно:

— Никогда, никому, Андрюша!..

И фрау Шмуцокс громко хлопнула калиткой, оставив Андрея на улице, Андрей ощутил себя мусором, выметенным за калитку.

Домой возвратился Андрей действительно полубольным и залег в постель. Он попросил маму, как в детстве, почитать ему вслух. Вечером он приставал к отцу, чтобы отец поиграл с ним в шахматы. Перед сном мама на кухне заготавливала тесто на завтрашние блины, отец и сын толкались около мамы. Доктор Иван Иванович доказывал кухарке, что осьмушку дрожжей положить в тесто иль целый фунт — безразлично, так как дрожжи есть не что иное, как грибки, и размножаются с молниеносной быстротой. Наутро в гимназии ни слова не сказал Андрей Леопольду и ни слова не сказал Леопольд Андрею.

Доктор Иван Иванович заметил дня через два, что сын его Андрюша явно похудел, и в сумерки подсел к Андрею для душевного разговора. Он поговорил о гимназии и вообще о жизни, — «жизнь — это борьба», го-

ворил Иван Иванович, но жизнь есть также «постепенное развитие», — затем Иван Иванович заговорил о сущности дела, —

— Я замечаю, сынок, — сказал Иван Иванович, — что твои настроения связаны с фотографией, которая висит около твоего стола... Ну, с фотографией барышни Верейской... Я опускаю то обстоятельство, что ты сын лекаря и имеешь гордость русского разночинца, а она феодальная княжна, феодально воспитываемая, то есть вы не пара друг другу. Я хочу говорить о другом, о любви. Любовь есть естественная потребность организма. Когда ты не голоден, естественно, ты не хочешь есть, — то есть ты хочешь есть, когда в этом потребность. Так и любовь... Ты не сердись на меня, сынок, я бы снял эту фотографию со стены, чтобы она тебя не волновала...

На масленице были балы, спектакли и вечеринки. К концу масленицы любопытство у Андрея по поводу того, что делается в доме Шмуцоксов, взяло верх над всем остальным, — и к этому времени прошла неделя, оговоренная Андреем и Леопольдом на раздумье перед самоубийством. В гимназии был бал.

Андрей остановил Леопольда в пустом коридоре и сказал заговорщиком:

— Сегодня ровно неделя...

— Какая? — спросил Леопольд.

— После нашего разговора...

— Какого? — спросил Леопольд.

— Ну... о самоубийстве...

— Ах, да, — сказал Леопольд и взял Андрея под руку. — Давай условимся никогда больше об этом не говорить. И это должно остаться тайной для всех.

Леопольд пошел в танцевальный зал.

В тот вечер нашла на Камынск — последняя, предмартовская — метель, сыпала снегом, выла ветрами, заметала дороги, дома, улицы. Бал закончился в час ночи, великий пост уже начался час тому назад. За Леопольдом приехали сани с медвежьим пологом, кучер ожидал его в раздевальной с кенгуровой шубой.

Дом Шмуцоксов выл трубами и чердаком в метельной ночи, крепко натопленный. Дом пребывал во мраке. По крыше, по стенам бегал, плакал, кричал ветер. Леопольд приехал, когда дом уже спал. Он быстро прошел в ванную и затем к себе в комнату. Дом заглохнул. Из спальни, со свечою в руке, без пледа, в ночном халате, вышла фрау Шмуцокс. Она обошла дом,

все комнаты, кухню, заглянула в каморку к кучеру и дворнику, в каморку к женской прислуге. Она плотно прикрыла двери из кухни в коридор, из коридора в столовую. Движения ее были действенны. В столовой потухла свеча. Скрипнула половица на пороге в комнату Леопольда. От кровати Леопольда светился огонек папиросы. Огонек папиросы полетел в угол к печке.

— Иди сюда, мама...

За день до бала в мужской гимназии был бал у гимназисток. На балу были и Иван Кошкин, и Валентина Александровна Гоголева, учительница французского языка. — Тогда, после истории с бойкотом Андрея Криворотова, когда погибла дружба Андрея и Ивана, — дружба Ивана и Валентины Александровны упрочилась. Бойкот был предложен Иваном, — не потому ли, что именно Иван оставлял за собою Валентину Александровну?.. Валентина Александровна на самом деле жила в жестоком одиночестве и на самом деле недействительной жизнью, из молодых да ранняя. Учительница грамматики и правильного произношения слов по-французски, она хотела поэзии, — обыкновенная, она хотела необыкновенного, как многие интеллигенты тех лет, — одинокая, она боялась одиночества по законам тех лет, —некрасивая, она хотела красоты, как каждый, и добивалась ее, как умела, краскою на губах и картинками Гойи, — как у многих в те годы, ее понятия о чести походили на чемодан книг, прочитанных в свое время по указанию родителей, но не перечитанных теперь и не освоенных, оставшихся в чемодане за неупотреблением при наличии — Ницше, предположим. И все же Валентина Александровна жила в реальной жизни и, презирая ее, тем не менее не могла не хотеть реальностей и не ограничиваться ими. Она съехала с квартиры Шиллеров-Хейфеца сейчас же после «пфимфы» педагогического совета и поселилась на краю города в пятиоконном домике, где парадный вход принадлежал только ей, у вдовы-мещанки, уши которой ничего лишнего не слушали по своему вдовьему опыту, — Валентина Александровна знала, конечно, что не совсем уж неправ был на педагогическом совете доктор Криворотов, а она хотела для себя свободной жизни так, как понимала, подсмотренную в петербургской «Бродячей собаке». Из Москвы Валентина Александровна получила, наконец, пианино, вскоре после «пфимфы». Две

ее светлых комнаты, с отдельным входом, построенные некогда для пригородно-огородного мещанского бытия с лежанкой и заваленкой, украшенные ныне Гойей и Матиссом, — не стали камынской «Бродячей собакой», — и не стали людными. Единственный, кто бывал у нее, — это Иван Кошкин. Он умел приходить так, и к этому привыкла Валентина Александровна, — что об этом никто не знал. В гимназии Иван был почтительным гимназистом, с которым после «пфиммы» Валентина Александровна здоровалась так же сухо, как с Андреем... — Был вечер. Иван пришел так бесшумно, что не слыхала, должно быть, даже вдова. Занавески были плотно опущены. Валентина Александровна варила кофе, и они, она и Иван, выпили чуть-чуть ликера. Валентина Александровна играла Скрябина, — Валентина Александровна принадлежала к той категории людей, музыка для которых ощутима, как слова, как краска, как вещи, — и для которых — музыка ж уничтожает вещи, краски, слова. Это уже не первый раз Валентина Александровна играла Ивану, и Иван следил за ее игрою. Иван сидел на диване, Валентина Александровна сидела на припианинном вертящемся табурете, играя. Иван подошел сзади к Валентине Александровне, коснувшись обеими своими руками ее плечей, — она продолжала играть. Иван повернул Валентину Александровну на табурете лицом к себе. Лица оказались рядом. Глаза Ивана глядели покойны и ясны, Валентине Александровне они показались жестокими и горящими. В глазах Валентины Александровны были — ужас, счастье и покорность. Она поднялась с табурета. Иван обнял ее за талию и притянул к себе.

— Что вы делаете? — прошептала она покорно, она не улыбалась и сразу постарела, глаза ее стали виноватыми.

Иван молчал. Валентине Александровне показалось, что у Ивана вспыхнули глаза, таинственно, как у кошек в темноте. Иван чуть-чуть улыбнулся. Он подносил свои губы к губам Валентины Александровны. Левая рука Ивана опускалась вниз, Иван сгибался, — и вдруг, с ловкостью кошки, он поднял Валентину Александровну на воздух так, как не поднимали ее, должно быть, с детства. Руки Ивана, которые казались бессильными в выхоленности, Валентине Александровне показались стальными. — Валентина Александровна была

девушкой, когда она сошлась с Иваном. Иван знал много уже девушек и женщин, когда он сошелся с Валентиной Александровной.

За день до бала в мужской гимназии был бал у гимназисток. Масленица путала время и вообще все порядки, — можно было вставать вместо половины восьмого в двенадцать и в двенадцать надо было есть блины, — к товарищам можно было приходить не только до восьми, но и в полночь, если окна были освещены и из-за стен вырывался шум, и уходить можно было не в десять вечера, а в три утра. На балу в женской гимназии были и Иван, и Валентина Александровна. Как всегда на людях, Иван веселился далеко от Валентины Александровны, — Валентина Александровна скучала около жены директора Вальде. Весь вечер Иван танцевал с гимназисткой, красавицей Анной Гордеевой. Все же Валентина Александровна окликнула однажды Ивана, —

— Кошкин, почему вы не пригласите меня на вальс? — сказала она и, танцуя, с лицом, как на уроках, она прошептала:

— Меня приглашал сегодня после бала на ужин директор, но ровно в двенадцать я пойду домой. Приходите. Ровно в двенадцать...

Валентина Александровна ушла с бала ровно в двенадцать часов ночи. Кошкин танцевал с Гордеевой до половины второго, когда стали привертывать лампы в танцевальном зале, а начальница гимназии кричала по классам, —

— Ну, господа, господа гимназисты, пора и честь знать!..

Иван провожал Гордееву и долго гулял с ней по Откосу, пока довел ее до сиротского приюта, где она жила.

И был бал в мужской гимназии. В этот вечер по площадям, по улицам, под домами и под заборами шаталась метель, сыпала снегом, выла ветрами, заметала дороги, дома, улицы. На балу Леопольд взял Андрея под руку и сказал:

— Ах, да!.. Давай условимся никогда больше не говорить об этом...

На балу Иван все время танцевал с Гордеевой, — и один-единственный раз танцевала с Иваном Валентина Александровна.

— Ты не пришел вчера ко мне, — сказала Валентина Александровна, она хотела сделать лицо, как на уроках, но глаза ее глянули на Ивана виновато. — Почему?

Глаза Ивана были ясны. Люстра отражалась в брильянтине его волос...

— Я вчера провожал Аню Гордееву, — сказал Иван, кавалерски улыбаясь.

— Я опять сегодня уйду ровно в двенадцать. Хорошо?.. Ты должен прийти. Да?

— Нас могут заметить, Валентина Александровна, — сказал Иван, кавалерски улыбаясь и так, что его действительно можно было услышать.

В тот вечер, впервые после бойкотной «пфимфы», Валентина Александровна заговорила с Андреем вне классных разговоров. Она остановила Андрея в коридоре и спросила его, почему он не танцует, — он ответил, что он вообще не умеет танцевать. Она спросила, какие новые книги прочел он, — он ответил, что, за гимназическими уроками, сейчас ничего не читает. Они разошлись. Это было после того, как Валентина Александровна танцевала с Иваном.

Метель выла трубами и чердаками, заметала дома и дороги. Валентина Александровна ушла с бала ровно в двенадцать. К двум потухли огни в гимназических залах. Часа в три Валентина Александровна выходила на крыльцо своей избы, — ей казалось, — в последний раз. Она осмотрелась по сторонам в метель и ушла обратно. Она выходила опять и опять. Ей казалось, что кроме метели стучится Иван, — и она играла Скрябина.

Бал был шумен и весел. Можно было посыпать друг друга конфетти. Гремела музыка, и все танцевали. Андрей вообще не танцевал и стеснялся танцев. Оля Верейская отсутствовала, — она с родителями уехала на всю масленицу в имение к знакомым помещикам. За отсутствием Оли в начале бала Андрей занят был неизвестной ему маленькой гимназисткой. Она пришла со старшей сестрой, — также неизвестной Андрею и не заинтересовавшей его. Ей было лет десять, этой девочке, которую с таким вниманием рассматривал Андрей. Она была одета в старенькое гимназическое платьице, она была худенькой и некрасивой. Маленькая, бледная, с красными от морозов руками, эта девочка не вызывала ничьего внимания, чужая на балу и возрастом, и тем, как она была одета. Но она не замечала этого, ей было безразлично, что она никому не нужна, что туфли у нее с помпонами, самые дешевые, а чулки подштопаны. Она радостно, открыто — и очень ласково, и с явным интересом — рассматривала людей. Голубые ее глаза смот-

рели необыкновенно простодушно и ласково, — такими они казались Андрею. Ее все интересовало. На нее никто не обращал внимания. Она пришла со старшей сестрой и теребила сестру. Сестре было лет шестнадцать, она была хорошенькой, она была в аккуратном гимназическом платье, и чулки ее не были штопаны, — она, чужегородная и приезжая «иностранка», уверенно ждала, когда ее пригласят на вальс, — и маленькая сестренка явно надоедала ей, мешая своими расспросами. Сестра отвечала невпопад, — быть может, сестра стыдилась сестренки в туфлях с помпонами. К сестре подошел Антон Коцауров, щелкнул каблуками, наклонил набок голову, томно сказал:

— Разрешите представиться. Антон Коцауров. Разрешите пригласить.

Сестра передала сестренке концертную программку и взяла под руку Антона. Сестренка крикнула вслед сестре:

— Ты поскорей! — и прикусила язык, улыбаясь.

Сестренка осталась одна. Мимо нее проходили незнакомые люди, которым не было до нее дела. Сестра не приходила. Андрей разглядел на лице маленькой девочки на минуту задумчивость, а затем страх, — она стояла у стены не улыбаясь.

Андрей отправился в буфет, раздобыл бутылку Ланинской воды и пил ее не менее получаса, — за лимонадом он обдумывал свои дела с Леопольдом, обдумал, решил сейчас же найти Леопольда и объясниться с ним. Маленькая девочка по-прежнему стояла в полупустом коридоре с программкою в руках, одна. Андрей о ней уже не думал. Он нашел Леопольда в танцевальном зале и вывел его в коридор. Коридор был пуст. В дальнем конце коридора у окна стояла маленькая девочка. Андрей сказал заговорщически:

— Сегодня ровно неделя...

— Какая? — спросил Леопольд.

— После нашего разговора.

— Какого? — спросил Леопольд.

— Ну, о самоубийстве...

— Ах, да, — сказал Леопольд и взял Андрея под руки. — Давай условимся никогда больше не говорить об этом. И это должно остаться тайной для всех...

Леопольд говорил чужим голосом. Леопольд не сказал больше ни слова, он пошел в танцевальный зал, оставив Андрея в коридоре.

Коридор был пуст. Их было двое в коридоре — Андрей и маленькая девочка. Андрей прошел мимо нее — и, пройдя уже несколько шагов, вдруг вспомнил, что на глазах у маленькой девочки в туфельках с помпонами он видел слезы. Он круто повернулся и пошел к девочке, чтобы проверить, — на самом ли деле на глазах у девочки слезы? — да, под голубыми и наивными глазами маленькой девочки, на наивненьких ресницах повисли две громадные слезы. Андрей не заметил, не замечал, как слезы потекли по его щекам. Андрей протянул руки к девочке и крикнул, не понимая, что он кричит, и никак не полагая, что он говорит о себе:

— Это еще успеется, это еще придет, пусть потом!.. Хотите Ланинской?! —Идемте танцевать!..

Андрей не заметил, как девочка в испуге попятилась от него. Андрей схватил ее за руку и потащил за собою. Девочка подчинилась, онемев в беспомощности. Андрей, никогда не танцевавший и не умевший танцевать, выскочил на середину залы и прыгал, прижав к себе девочку, которая по росту приходилась ему ниже груди. Маленькая девочка увидела в зале сестру, она заплакала громко, навзрыд, как плачут дети, вырвалась из рук Андрея и побежала к сестре. У сестры было злое лицо. Секунды две Андрей прыгал один, он плакал и рукою сжимал рот, чтобы не реветь. Андрей был один посреди зала. Это было около двух часов ночи. Директор крикнул с эстрады:

— Мадемуазель гимназистки и господа гимназисты, — бал окончен!

Андрея увели в учительскую. Рядом с ним шел, поддерживая его, Иван Кошкин. Андрею предлагали из нескольких стаканов и из нескольких бутылок Ланинской воды. Андрей не хотел пить. Он успокоился сразу, — должно быть, он не помнил, что было с ним.

— Что с вами, Криворотов? — спросил директор.

— Я даю вам честное слово, что со мною ничего, ничего не произошло, — ответил Андрей. — Мне вдруг стало жалко эту девочку. Она весь вечер была одна. Мне вдруг стало страшно за ее одиночество, — и я позвал ее танцевать... и — я не знаю почему, я — вот — расплакался. Извините меня. Я хочу домой... Где эта девочка? — чтобы я извинился.

— Это дочка нашего истопника, она учится в городе Рогожске, она уже пошла на ночной поезд, — сказал директор. — Вы можете извиниться завтра перед ее от-

цом. Если вы действительно здоровы и хотите домой, я сейчас прикажу найти для вас лошадь, я не могу вас отпустить пешком, на дворе метель.

— Мне бы хотелось пешком и одному, — сказал беспомощно Андрей.

— У меня случайно есть лошадь. Мои родители прислали мне санки, чтобы я покатал товарищей в последний масленичный вечер, — сказал Иван Кошкин. — Я могу отвезти Криворотова... Ты поедешь со мною, Андрей?

Андрей внимательно поглядел на Ивана и улыбнулся — очень ласково.

— Это ты, Ваян? — Он назвал Ивана дружеским прозвищем. — У тебя есть лошадь?.. — а я думал, что мы никогда уже больше не будем друзьями...

— Едем! — сказал Иван и улыбнулся ясно, как всегда.

— Вы его подвезете? — спросил директор. — Очень хорошо. В таком случае я никого не буду посылать с вами. Я попросил бы вас только выйти не через парадный ход, где толпятся еще гимназисты, и лошадь я прошу подать к моему подъезду.

Из раздевальной принесли шинель Андрея. Директор провел Андрея своей квартирой. Иван отпустил кучера, в санях у него оказались две шубы, одну из них надели на Андрея. Поехали молча. Андрей казался совершенно покойным. Дороги замело снегом, и лошадь шла шагом.

— Почему ты сегодня вдруг решил помириться со мною?.. неужели из-за этих идиотских слез? — сказал Андрей. — Спасибо тебе.

Иван не ответил. Это был тот час, когда Валентина Александровна Гоголева, учительница французского языка, выходила на крыльцо неудавшейся своей «Бродячей собаки» и прислушивалась к метели, потому что ей казалось, что кроме метели к ней стучится Иван.

— Почему у тебя вдруг лошадь и ты взял две шубы? — Ты куда-нибудь собирался после бала, и я тебе помешал?

— Я хотел покатать Аню Гордееву, — масленица...

— Так почему же ты ее не взял с собою? — отвезли бы меня, поехали бы — или вместе покатались бы...

— Я так и думал, но директор приказал подать к его парадному. Неудобно. Еще накатаемся, будет время.

Замолкли. Андрей ежился в шубе, должно быть мерзнул. Иван свернул лошадь с прямой дороги, поехал переулками, к окраинам.

— Ты, — ну, после того случая, после бойкота, — неуверенно сказал Андрей, — ты тоже перестал встречаться с Валентиной Александровной, не бываешь у нее?

— Нет, не бываю.

— Жалко. Как глупо тогда получилось. Ты все же извини меня... А Валентина Александровна, — что ж, одинокий человек и жить хочет получше, как все мы. И ее тоже жалко... А Гордеева? — влюблен, ухаживаешь?

Иван не ответил.

Иван спросил сурово, дружеским приказом:

— Из-за чего произошла с тобою истерика? — не из-за этой же истопниковой девчонки?

— Из-за нее.

— Не верю.

— Верь.

— А о чем с тобою говорила Валентина Александровна? — неужели чего-нибудь из-за нее? — ты, ведь, — философ!.. О чем она говорила?..

— Так, что читаю.

— Это первый раз она с тобой говорила после, ну, того случая?

— Да.

— Звала к себе?

— Нет.

Помолчали. Андрей казался очень усталым.

— Из-за чего же была истерика? — неужели из-за того, что не было Лели?

— Нет, не из-за этого, но, может быть, из-за нее, — во всяком случае, наверное, я отошлю ей завтра ее фотографию, если, если... — Андрей помолчал. — Но это совсем не потому, что ее сегодня не было.

— Я тебе уже говорил и скажу еще раз одно правило — о Леле, об Ане, о ком хочешь. Познакомишься ты с девушкой или женщиной, безразлично. Будешь ты ей говорить, какие, мол, звезды, какие, мол, идеалы, Чехов, мол, Тургенев и Флобер, а вы непременно Лиза Калитина, — и она тебе тоже про звезды, про Чехова и про цветы, — поцеловать она себя в таком случае не позволит из-за несоответствия со звездами и идеалами... И подойду я к этой же самой девушке, и разговаривать-то много не буду, чтобы мыслями не мешать, а, так, между слов, глазами доказывать буду, какие, мол, губки, какие коленки, какие, мол, ножки, очень хочу их потрогать, — без звезд и литературы, — и через неделю я буду цело-

вать ее губки и трогать ее ножки, — а через три недели они будут моею собственностью.

— И Олины, и Анины? — спросил безразлично Андрей, чуть ежась от ветра.

— И Лелины, и Анины.

Андрей ничего больше не спрашивал. Он казался очень покойным и очень усталым.

— Я, конечно, пошутил насчет Лели, — сказал Иван.

Андрей не ответил.

— Поедем к дому, — сказал Андрей, — мне холодно.

Иван повернул лошадь. Проехали улицей, где издалека в переулке сквозь снежную муть светилось оконце Валентины Александровны.

— А ты, Андрей, не собираешься больше ходить к Валентине Александровне, раз она первая заговорила с тобой о стихах?

— Нет, не собираюсь.

— А зря. Я пошутил насчет Лели и Ани, но насчет Валентины Александровны я думаю, что это именно так. Недаром она губы красит всем напоказ, — попроси, отдаст за бесценок, а на улице такие не валяются, все-таки учительница...

Андрей ничего не ответил. Он был совершенно покоен. Подъехали к дому.

Метель завывала всю ночь. Рассвет застал Андрея у себя в чулане. Он сидел за столом. Голова его была опущена на раскрытую страницу общей тетради, в повисшей правой руке был револьвер, украденный у отца. Лампа выгорела и чадила. Метель утихла. Рассвет шел медленный и грязный. Андрей спал. На свежей странице общей тетради было написано:

«Стреляюсь потому, что жизнь есть мерзость».

Андрей спал с револьвером в руке, не успев застрелиться.

Андрей проснулся, не заметив, что он спал.

Он приписал в тетрадь:

> «Не стреляюсь, потому что боюсь, а стало быть, не только жизнь есть мерзость, но мерзавец и я».

Он снял со стены фотографию Оли Верейской, завернул ее в бумагу, заклеил гуммиарабиком, — в отдельном конверте он написал:

> «Я возвращаю Вашу фотографию потому, что я недостоин ее.
>
> Прощайте!»

Часы показывали семь, — время заметно уже прибавилось. Андрей разделся и лег в постель. Половина девятого проснулся отец и пришел к сыну. Сын спал, отец разбудил.

— Почему не в гимназии?

— Голова болит.

Отец осмотрел комнату.

— А где фотография, ну, барышни Верейской?

— Уничтожена.

— Ага, так, — это хорошо. Ну, тогда спи...

Отец еще не слыхал о гимназической сыновней истерике.

В час, когда кончились гимназические уроки, Андрей пришел к Ивану. Иван сидел у барского своего стола с очередною книгою, в легкой позе, с леденцом во рту. Андрей вошел, как приходят по делу.

— Ты помнишь, конечно, Иван, — ты, Лео Шмуцокс и я, мы ходили расстреливать совесть. Я думаю, что все это делали мы зря, потому что расстреливать было нечего. Не так ли? Но это второстепенно. Ты сказал мне вчера ночью, что к одной и той же девушке, если к ней подойти со звездами, она звездами и откликнется, — и она же, если ее хватать руками... Ты так серьезно думаешь, — это — что же, ницшевский хлыст? — я спрашиваю очень серьезно.

— Нет, это просто мои наблюдения.

— И от гимназисток и от горничных?

— И от телефонисток и от огородниц...

— Тебе удобнее руками, чем мозгом, —и тебе безразлично, горничная или Валентина Александровна?

— Предположим.

— Я пришел к тебе сказать, что мы зря ходили расстреливать совесть. Ее никогда и не было. Я не знаю, почему это так. Но все это я говорю о тебе, то есть то, что у тебя никогда и не было совести. Теперь уже не ты мне, а я тебе не подам руки.

Андрей вышел от Ивана, не попрощавшись.

Андрей пошел в Кремль, к дому Верейского, позвонил в парадное, передал горничной конверт и пакет, пошел домой, — дома ожидал родительский разговор о вчерашней истерике.

Горничная отнесла пакет и конверт в комнату ее сиятельства Ольги Витальевны, как именовала княжну горничная по приказу князя. Оля горько расплакалась, прочитав письмо Андрея, она упала лицом на подушки,

она плакала безмолвно. Ей стало очень страшно. Она была анемична в отца. Она жила в привидениях. Привидения начинались от предков, по законам которых должен был жить дом, и она была — ее сиятельством княжною, по законам которых она жила за страшными — и тоже призрачными — заборами, построенными от предков, где надо было от первых проблесков сознания изучать музыку, но вообще учиться и познавать жизнь — только дома, отдельно от всех, когда Тютчев и Фет были границей, допускавшейся князем-родителем. Дом привидений был страшен не только привидениями на самом деле, но и реальной жизнью, приходившей в дом, как привидение. Привидением было место рождения — старая усадьба, построенная прадедом после 812-го года, сгоревшая, как привидение, в 905-м году, сожженная привидениями-крестьянами... Вчера ночью, в метель, Оля вернулась из деревни, из имения маминого брата. Папа и мамин брат, мама и жена маминого брата — все масленичные дни говорили только о привидениях — предков, Государственной думы, государственного совета, столыпинской реформы, которая проводилась несмотря на то, что сам Столыпин был убит, прошед, как привидение, в рассказах папы... Усадьбу у маминого брата охраняли ингуши, — и жена маминого брата, женщина по возрасту ближе к Оле, чем к маме, родившаяся в Санкт-Петербурге, разглядывая ингуша в бурке и папахе, разговаривавшего у крыльца с горничной, спросила задумчиво Олю, отрываясь от своих раздумий:

— Ужели тебя еще ни разу не поцеловал ни один мужчина?..

И Оля плакала у себя в комнате над своею фотографией горькими слезами, потому что прошлым летом, в июле, когда только-только расцвели табаки, у нее в саду за крокетной площадкой ее поцеловал Андрей Криворотов и, поцеловав, сказал, что она самое дорогое в его жизни и самое чистое, — в тот вечер тогда папа спросил, чем она так возбуждена? — она скрыла истину, — Андрей единственный не был привидением.

Дома отец доктор Иван Иванович уже знал о гимназической сыновней истерике. Он ждал сына для объяснений. Сын пришел и прошел в свою комнату. Отец — в домашних туфлях, на цыпочках подошел к двери в комнату сына, вкрадчиво постучался, — и в сыновней общей тетради от того вечера осталась запись, —

«Папа, милый папа!.. он говорит и думает так, как подсказывает ему его совесть, но, когда он делает то, что вытекает из его рассуждений по совести, — это получается обязательно не так, как у всех, и обязательно очень тяжело, для него в первую очередь!.. Я никогда никого не хочу судить: я не имею права, я не имею права, — но папа, он хочет ходить своей собственной дорогой и спотыкается о собственного сына, когда надо не самому ходить по своей дороге, а для всех сделать хорошие пути. Папа, так же, как и я, в лесу, в громадном темном лесу ходит с завязанными глазами!..»

Это было страшное время Андрея, страшные месяцы. Он совершенно изменился, он вырос, он замолчал. Он остриг волосы. Он старался, чтобы его никто не замечал — никто из старых его друзей. Он на пятерки стал знать уроки и быть примерным в классе, состязаясь с Кошкиным и обгоняя Кошкина в гуманитарных предметах. Он мало читал. Он часто появлялся на Откосе в часы, когда гимназистки уже не гуляли и гуляли те, которые неизвестно как образовывались в Камынске из девочек в девушек, совсем недавно бегавшие еще с цыпками на руках и на зимы пропадавшие по домам, а теперь гулявшие до поздних вечеров и неизвестно чем занимавшиеся дома. До класса доходили темные вести. Исаак Шиллер принес однажды весть о том, что Андрей Криворотов будто бы получил пощечину от гимназистки Полочанской за то, что на третий день знакомства схватил ее за колено. Антон Коцауров и Игнатий Моллас своими глазами видели будто бы, как Андрей Криворотов гулял на Подоле, прячась в темный переулок, с дочерью огородника Потапова... А чертановский староста Сидор Наумович сказал шепотом Ивану Ивановичу Криворотову, попечителю чертановской школы, встретив его на базаре:

— А я тебе, Иван Иванович, давно про один пункт объявить хотел. В том самом доме у нас, где раньше в половине Обуховы жили, во всем дому проживают теперь дорожные работницы, подметальщицы, — ну, известно, женский барак... Так, значит, аптекаревы Шиллеровы двое, Коцауров Антон, Молласов сын да твой Андрей с ними, гимназисты, одним словом, совместно с фреевскими подмастерьями приладились в этот барак на гулянки, видать, водку таскают, девки песни орут...

Андрей делал дневниковые записи в общей тетради, между учебных записей, — и ни одну из них не заканчивал.

«...Вот, я обернулся спиной к свече и увидел на стене свою тень. Кривляющаяся, вздрагивающая, безлично-жалкая, бежала она по полу и поднималась к потолку. Вот такая же и моя жизнь — кривляющаяся, безлично-жалкая, скорченная. Днями я спокоен. Днями я могу говорить обо всем, что угодно, даже о бывших моих апостолах, о Геккеле и Мечникове, днем я еще согласен на их фронэму и манэру... Но вот приходит ночь, и мне не до мироздания. Ночами приходит тоска. Кажется, из темных углов темной комнаты выходит она и, обвиваясь вокруг тела, как змея, вползает в грудь и оттуда, из защемленного сердца, расходится по всему телу — будто капли яда. Я вспоминаю ушедшее и думаю о настоящем. Я — люблю ушедшее, презираю настоящее — и боюсь, не любя, презирая, будущее. Я люблю мое ушедшее — мое милое, далекое, никому не известное, никому не нужное — детство... Я люблю мое ушедшее и — ненавижу, ненавижу его! — потому что оно дало мне сказки. Первая — великая сказка — жизнь и о жизни. Вторая сказка — о моем *я*. И третья сказка — о девушке, для которой я придумал даже имя, единственное в мире — Тэлла. С этими звонкими сказками я жил, верил им, растил и лелеял их, мечтая, мечтая о них все мое детство. Этих сказок нет больше. Они разбиты. И я ненавижу прошлое, давшее мне эти сказки!..»

«Я не могу быть предателем. Я не могу им быть физически. Иван Кошкин может сегодня на законе Божьем говорить так же убежденно, как на уроке физики, — он может подписать чужое и написать сегодня то, что совершенно исключает вчерашнее, например, он может написать, что я герой, и сейчас же написать, что я мерзавец. Я не могу так поступить физически. И мне физически страшно, потому что я знаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что необходима чистота, чистота, чистота, но — где она?!»

«...Я, я, я, — как мне отделаться от этого я?!»

«Я свернул в переулок с пути жизни, а я ее еще не знал. Тогда не было еще камней, из которых я построил мост, соединяющий пропасть между жизнью и смертью. Я знаю, тоскуя, что сейчас, в молодости, я уже разбит и сломан, что я упускаю мою жизнь, что она идет

где-то, настоящая жизнь, сторонясь меня, унося в своем ярком потоке — радость и счастье, радость и счастье, которых у меня нет, потому что я не знаю, что делать мне с первым моим врагом — с моим *я*. И вердикт для моего *я* готов — оправдательный для смерти, обвинительный для жизни. Я физически не могу быть предателем — и я не знаю: не есть ли моя жизнь предательство, потому что вся наша жизнь — предательство!.. Я ничего не знаю. Я хочу чистоты... Как хочется мне смеяться и радоваться! и как хочется мне говорить языком всех людей!..»

«...Я ничего не знаю. Нельзя уничтожить совесть. Я хочу чистоты. Нельзя, нельзя быть нечестным, как Иван, — я хочу быть — как все. Я хочу быть, как все, — но кругом червивые рожи!.. и опять — *я, я, я*!..

«Мы живем, потом придет смерть, тело превратится в другие вещества, душа — скопление впечатлений — умрет или останется в том, что оставит после себя человек: в письмах, сочинениях, работах... Папа говорит о Пятом годе и докторе Гаазе. Доктор Гааз жил при Николае Первом и при нем проводил немало добрых дел. В Пятом году добивались республиканского строя, а Максим Горький описал «Город желтого дьявола», — вот тебе и республиканцы!.. — у нас хоть живут и мыслят, а там — и говорить нечего. Суть в том, что и при конституционном управлении и при монархии могут быть мерзавцы и можно быть честным человеком, добро делать тебе никто не запретит. Если бы все были достойными людьми, самоусовершенствующимися и заботящимися о своей чести, то все министры теперь должны были бы делать одно добро, и неважно, республиканские они или монархические. Суть не в правлении, а в людях. Так рассуждает теперь папа... Ну, князь Верейский хороший, и Сидор Наумович тоже хороший, — значит, пусть Верейский хорошо управляет, а Сидор — хорошо голодает?!.. Не согласен!.. Ничего не знаю!..»

Эти записи в общей тетради Андрея располагались между черновыми решениями алгебраических задач, записей о заданном и прочем, — Андрей не успевал приспособить отдельную тетрадь для дневника.

Весна пришла к лету, гимназисты перешли в восьмой класс. Весной в тот год — 4-го апреля 1912-го года — на приисках русско-английского золотопромышленного общества «Лена-Гольдфильдс» — в гробо-

вой российской тишине — прогремели залпы Ленского расстрела, когда солдатами было убито пятьсот человек рабочих. Наступило глубочайшее камынское лето... Все это было на самом деле, — на самом деле гимназистка Полочанская ударила Андрея по лицу, когда он хотел с ней поступить так, как учил Иван Кошкин, на самом деле Андрей неудачно таскался на Подол за дочерью огородника Потапова, пока Потапов не погрозился поленом переломать ноги и Андрею, и своей собственной дочери, на самом деле Андрей таскал водку в чертановские женские железнодорожные казармы. Было глушайшее камынское лето, когда время отчаянно пустовало. И пришла осень.

С тех пор, как Андрей жил у Григория Васильевича Соснина в дни ухода из отцовского дома, Андрей ни разу не был ни у Григория Васильевича, ни у Анны. Анну он избегал. И в осенний вечер Андрей пришел к Анне, подобранным, деловым, неразговорчивым, — пришел без дела, присел, говорил о второстепенностях, по малкивал.

— Как поживаешь? — спросил Андрей.

— А — ты?

— Я? — так, ничего... Как поживает Григорий Васильевич?

— По-прежнему.

— Давай, сходим к нему.

— Что же, сходим, ты когда собираешься?

— А пойдем сейчас...

Анна согласилась. Они пошли. В школе у Григория Васильевича ничто не изменилось за год. Анна по-прежнему была своим человеком. Андрей говорил односложно, ничего не рассказывал, отмалчивался, — точно следил за Григорием Васильевичем и Анной, — но по своей инициативе спрашивал, не надо ли принести воды и дров, накидать с сеновала сена? — поджаривал шкварки, наливал в лампу керосин, стараясь быть совсем домашним и незаметным. Григорий Васильевич был, как всегда. Уходя вместе с Анной, Андрей спросил:

— Можно мне еще как-нибудь зайти к вам и даже пожить у вас несколько дней? — без скандала, конечно, — я от вас ходил бы в гимназию, но вечера и ночи проводил бы у вас, и к нам приходила бы Анна... Мой отец, я уверен, не будет возражать.

— Приходи, — сказал Григорий Васильевич.

Андрей ушел вместе с Анной, провожал ее до дому и всю дорогу молчал.

Через день он опять зашел к Анне, и вместе они пошли к Григорию Васильевичу. Как в первый раз, Андрей отмалчивался и натаскивал в бочонок на кухню воды. Он ушел вместе с Анной.

И опять через день он пришел к Анне, чтобы вместе идти к Григорию Васильевичу.

Он был заметно неровен в этот вечер. Он молчал еще больше, чем первый и второй раз, когда бывал у Григория Васильевича, — но первое, сказанное им, было о том, что он, если позволит Григорий Васильевич, останется сегодня ночевать в школе, чтоб Анна не беспокоилась, он ее проводит и по дороге предупредит дома, чтоб не беспокоились о нем. Торопясь, он натаскивал воды и дров, он затопил плиту. И за ужином, за кашей со шкварками и со стаканом молока, Андрей вдруг заговорил. Разговор был случаен, — случайно вспомнили о грибах, и Григорий Васильевич, рассказывая о том, как в детстве он любил собирать грибы, вставая вместе с бабушкой до рассвета, вдруг сам себе задал вопрос:

— А почему, собственно, у настоящих грибников обязательно полагается вставать на рассвете? — действительно, обязательно на рассвете, хотя можно собирать грибы и выспавшись... действительно, такая традиция, — почему?..

И Андрей вдруг сказал, громче, чем следовало бы в этом разговоре о грибах за кашей, взволнованно:

— Я не случайно не был целый год — ни у вас, Григорий Васильевич, ни у тебя, Анна, хотя я очень, очень благодарен вам обоим и все время помнил это чувство благодарности... Тогда, в тот день, когда за мною приехали сюда гимназисты и повезли в гимназию, а домашние встретили дома с пирогами, когда я мог бы чувствовать себя счастливым и на самом деле все старались делать мне только приятное, и мне все было приятно, — дома тогда вечером, засыпая, я вдруг ощутил, что все же где-то я негодяй, все кругом негодяйство и негодяйство, в частности, то, что я, обрадовавшись, ушел от вас в старую жизнь. Мне было очень хорошо дома — и это было уже негодяйством. И я ощутил тогда еще второе, а именно то, что до тех пор, пока это ощущение негодяйства не покинет меня, не будет мною объяснено, до тех пор я не могу встретить вас — ни вас, Григорий Васильевич, ни тебя, Анна, — по-

этому ж тогда я не написал Климу. Это было совершенно осознанное ощущение... И — вот, я пришел к вам, извините меня. Впрочем, извинения ни к чему. Я не буду рассказывать обо всем, что было со мною, это неважно. Я скажу, что главный мой враг — это я сам себе. Но и это неважно. Тогда я не мог определить, почему я ощущаю негодяйство и почему я негодяй. Теперь я знаю о негодяйстве. Это — вся наша жизнь, все кругом в нашей жизни, все. Кроме этого, я ничего не знаю. Что мне делать?.. Папа, прочитав «Город желтого дьявола», говорит опять, как до революции Пятого года, о новом типе «критически мыслящей личности», что каждый в отдельности должен делать добрые дела, самоусовершенствоваться, — но это тоже негодяйство!.. — я это очень хорошо испытал на себе. И я знаю, почему мне стыдно было приходить к вам, — я принимал ту жизнь, которая была негодяйством, я убежал в нее от своей совести и от своего ощущения справедливости, которые были чисты у меня в соляном амбаре, — помните, с кошкой, — и были чисты у вас в библиотечной комнате на диване, где по стенам хлестал голый ветер... Я не знаю, почему так получилось. Наверное, вы здесь ни при чем, но просто отсюда я мог бы начать новую жизнь по моим ощущениям справедливости... и мне хочется опять остаться одному на вашем диване, слушать ветер и подумать, потому что так, как было в этот год, так дальше быть не может!.. Мне это очень хотелось сказать вам. Я должен сейчас или уже никогда окончательно решить, где я, но пока я знаю только то, что я ничего не знаю... А грибы, — действительно, почему грибы полагается собирать только на рассвете?..

Анна слушала удивленно. Григорий Васильевич был медленен и покоен, как всегда. Он принялся за свою недоеденную кашу, ел и съел ее медленно, в общем молчании.

— Ну-с... — сказал в раздумии Григорий Васильевич. — Нам действительно надо с тобой поговорить, но сразу я не могу передать тебе все мои мысли... Обо всем этом надо говорить не сразу. Ты — обязательно оставайся, поживи у меня. Обязательно поговорим — и много.

Вечер прошел в случайных разговорах. Андрей провожал Анну, заходил домой и вернулся к Григорию Васильевичу. За стенами в библиотечной комнате шу-

мел ветер. Андрей улегся на диван, у изголовья поставив лампу, раскрыл книгу, не читал, слушал тишину. Перед сном Григорий Васильевич пришел к Андрею с книгою в руках, присел на краешек дивана, помолчал.

— Ты не читал этой книги?

— Нет.

— Прочти до наших разговоров. Начинай со второй главы, затем прочитаешь и первую. Начинай сегодня же...

За стенами шумел ветер, приходивший с полевого простора...

...Сорок пять лет назад от 1912 года — в апреле 1867-го — Маркс писал:

> «В прошлую среду я выехал на пароходе из Лондона и в бурю и непогоду добрался в пятницу до Гамбурга, чтобы передать там г. Мейснеру рукопись первого тома. К печатанию приступили в начале этой недели, так что первый том появится в конце мая... Это, бесспорно, самый страшный удар, который когда-либо пущен в голову буржуа»...

— так писал Маркс по поводу книги, на осуществление которой он потратил двадцать один год своей жизни, когда, по существу говоря, он жил в Британском музее, уходя туда утром и приходя домой после закрытия музея, когда дети его уже спали, — когда для осуществления этой книги он брал все лучшее знание на земном шаре... его дети называли его — Мавром, — он знал и изучил все лучшее в мире, но он же говорил, что —

«дети должны воспитывать родителей».

...И три года назад от 1912-го — в 1909-м — в Сольвычегодске, в сольвычегодской тюрьме 1-я рота Сальянского полка избивала палками ссыльных и заключенных людей по законам Российской империи расправы с честными. По законам это называлось проведением «сквозь строй», — солдаты со шпицрутенами в руках становились двумя шеренгами, между этих шеренг проходил человек (или его вели, если он противился, или его тащили, если он падал, забитый), каждый солдат по очереди бил человека что есть силы шпицрутеном, то есть палкою. И в сольвычегодской тюрьме — ссыльный, человек громадной убежденности, громадной воли и громадного презрения к империи —

прошел сквозь строй 1-й роты Сальянского полка — медленным шагом — с открытою книгой, с тем томом, по поводу которого Маркс писал, что —

> «Это, бесспорно, самый страшный удар, который когда-либо пущен в голову буржуа».

Григорий Васильевич дал прочитать Андрею — «Капитал» Маркса. Это было вторым рождением Андрея. Все заново получало смысл, и все в мире становилось на свои места. За бревенчатыми школьными стенами шумел ветер в ночи, в ночах, с пустых полей, — но там уже не было пустоты и не было мрака, — пустота заполнялась не только знанием, но образами. Конечно, не Иван, Петр, Сидор должны проделывать себе новые дорожки, но надо уничтожить все старые пути, чтобы все шли новыми дорогами. *Я, я, я,* которое угнетало Андрея, уже не болталось в пустоте по ветру, — был товарищ, товарищ с большой буквы, великий товарищ — пролетариат, — и, стало быть, было действие, громадное поле для действия в убежденности. Все становилось на свои места, — не только он сам, Андрей, не только люди и человеческие отношения в Камынске и по всей земле, но — время, честь, долг и — дела, дела!..

Андрей прожил у Григория Васильевича три недели. Григорию Васильевичу многих трудов стоило сделать так, чтобы Андрей оставался в режиме. Андрей едва удерживался, чтобы молчать. Андрей едва удерживался, чтобы не начинать — действовать — сейчас же. Андрей вдруг вновь весело заговорил с товарищами в классе, — это были случайные слова и разговоры, но они освещались новым светом, — и Иосиф Шиллер, немудрящий человек, однажды сказал Андрею, —

— Черт тебя знает, ты знаешь, кого ты стал мне напоминать? — и даже не могу понять — чем?

— Нет. Кого?

— Леонтия Владимировича Шерстобитова... То ли он так же приветливо-иронически шутил?..

Андрей стал казаться приземистее.

В те дни, когда Андрей собирался пойти к Анне и Григорию Васильевичу, — тогда же, после них, он хотел пойти к Оле Верейской, взять обратно у нее ее фотографию. Андрей знал теперь, что он никогда не пойдет к Оле Верейской: не Лелю окружали привидения, но Леля была призраком... Тогда, давно, когда к Андрею приходил прощаться Климентий, — Андрей спешил тогда на свидание с Олей, — и Андрей, и Климентий думали тогда,

что они никогда больше уже не встретятся товарищами, — они ошибались.

У Андрея совершенно обозначилась воля.

Андрей был совершенно взрослым человеком.

Глава одиннадцатая

ИППОЛИТ РАЗБОЙЩИН ПРИШЕЛ К ЖИЗНИ

Дневники в Камынске писали многие, — и самыми обстоятельными оказались дневники Ипполита Разбойщина. Если б эти дневники были проведены через всю жизнь Ипполита, они б дали ему право быть камынским писателем, как был камынским художником мещанин Полканов. Дневник велся в щеголеватых клеенчатых тетрадях. Кипа клеенчатых тетрадей исписана была, главным образом, фамилией — Ippolit Razboicshin или просто Поля, —а также стихами, сотнями стихотворений, под которыми изредка подписывалась фамилия поэта, но всегда — фамилия Разбойщина и приписки, — «списано из альбома Молласа», «списано из альбома Бетси Коровкиной», «нравится, но не очень, знаю наизусть». В то время, когда Леопольд Шмуцокс и Андрей Криворотов увлекались стихами Брюсова и Блока, Ипполит выписывал стихи — Козлова (десятка два стихотворений), Лермонтова (все его поэмы), Красовского, Жуковского, Пушкина (выписана «Русалка»), Некрасова, Надсона (очень много), Минаева, Шабловского, Перцова, Майкова, Гриневской, Чирова, Славина, Дмитриева, Артамонова, Чемисова, Батова, Коробова, Чирикова, Олега Леонидова, — и очень много стихов без подписи, с пометкою — «из численника»...

Ипполит Разбойщин писал:

. . . .

«Что было раз и вновь едва ли повторится!..

Мой девиз: прощай мое вчера — скорее к неизведанному завтра!..

У КОРОВКИНОЙ . . . .

Вот как уже две недели исполнилось сегодня второго июля, как я провожу все вечера у О. Н. Коровкиной... У нее есть дети, которые устраивают детский спектакль — меня тоже пригласили к себе, слыша, что я играю порядочно, а главное никогда не откажусь сыг-

рать... Действительно, я согласился, но только с условием, чтобы и моего товарища Нагорного Федю тоже пригласили. Мне одному играть страшно не хотелось в кругу маленьких подруг Бэтси, во-вторых если взрослых — но неинтересных. И вот я просил на основании этого пригласить Нагорного играть...

Просьбу уважили...

Ну я конечно счастлив и доволен — что я теперь хоть не один, а то прямо горюха вокруг тебя все маленькие девочки — отвратительные дочери пристава Сампсоновы Зоя и Лидка.

Преотвратительный да еще недруг Мишка Шмелев-Максим.

Так что совсем не знаешь куда попал видя таких типов окружающих тебя!

Ну слава Богу чем дальше стало как-то получше... пригласили в качестве капельмейстера Мишку-Максима, в качестве декоратора Нагорного Федю по моей протекции... В общем стало как-то поделикатеснее. А время-то шло, незаметно подружился опять с Сампсоновой Лидиею с которой я и проводил вечера у Коровкиных во время репетиций.

Но недолго это ухаживание продолжалось вышел скандал маленький между нами и ею с нашим режиссером комическим Алекс. Вас. Нагорным, Фединым родителем.

1) Она меня в чем и как-то оскорбила.

2) Режиссер просил ее неоднократно посерьезнее относиться к своей роли и получше вести себя во время хода репетиций — Ужасно играла?!?! и во 100 раз хуже вела себя...

За первое я ужасно был обижен на нее.... Да! и правду сказать, на каком основании эта кикимора заморская может оскорблять меня?!!!

Ну это не так важно как второе... а именно все артисты и артистки если так можно назвать наших любителей, и даже некоторыя из девиц играли сорвав сердце и соврав своим родителям, что она не играет!! — Вот даже до чего дошла, подругам и то даже не велят быть с нею...

Нечего больше и говорить — приехали...

Да! и вот, значит, режиссер просил ее получше вести себя на репетиции... Все эти выговоры она принимала как бы с усмешкой — и представьте себе она после выговоров держала себя еще несноснее. Это еще ничего,

но эта египетская мумия соблазняла своими различными фильтиками и других!!!

И вот за 3 дня до спектакля мы просили ее оставить своим присутствием наш кружок, потому что дальше вынести ее из нас (из артистов, сама хозяйка и артистки) никто не мог. Она ушла... за нею ушли и ее подруги и один артист (Моллас). Вообще с ее уходом, верней выставкой — выбыла вся шайка-лейка знаменуемая под буквами Л. С. (ее инициалы)....

Так! Половина штата кружка ушла, осталось всего ничего.

С оставшейся частью к спектаклю готовиться больше было нельзя — но не потому что осталась гадость — нет, нет, а потому мало просто народу, а нужно много........

И вот с уходом шайки Л. С. мы пустились по городу в погоню за артистками и -стами. Но их не было..... а если и были то не соглашались из-за какого-то проклятого принципа.

Принцип вот какой...

Постараюсь объяснить кратче — мне кажется, поймут...

Уж больно хозяюшка-то того!!!!!

Прославилась по всему Камынску после события убийства старого мужа-купца. Мужа ее убили — сын ее Жорж повесил племянницу учителя-убийцы — сама она была взята купцом в третьи жены и он ее замордовывал... и вот теперь прославилась всей своей плохой стороной — всех своих родственников разогнала, торговлю закрыла, живет на капитал как аристократка, слывет за пьяницу... Да! Да!..

Зная таким образом что за птица эта самая Коровкина и что представляет ее дом —

никто не пускает, конечно, ни одно порядочное семейство своих детей к ней... ...ТАК И БЫЛО: из девиц, которыя принимали у нас участие в спектакле — 1) родители которых не знали Коровкину или же девицы отчаянныя, которым 2) наплевать на выговоры своих родителей...

Да! Девиц мы не нашли, которыя могли бы заменить ушедшую шайку Л. С. Делать было нечего как только отложить спектакель с Петрова дня до 11-го июля — до дня имянин хозяюшке Ольге Николаевне.... сама об этом просила....

Все согласились... ..не согласился один только наш режиссер А. В. Нагорный-Латрыгин — старик больно комический — ссылаясь на то, что он следующую неделю будет занят в Дворянском клубе, где расписывает декорации и занят суфлером.

«А, а, а, — Вы заняты суфлером — тогда милости просим очистить Ваше занимаемое место режиссера» — сказали мы, все участвующие. и мы все артисты и -стки не сожалели о нем потому что имели в виду всем известную Софью Ивановну Волынскую; последняя согласилась радуясь за нас, что мы отставили ее гражданского супруга-рыцаря.... из ее слов было видно итог — что она согласилась играть потому, что не режиссирует ее муж. Софья Волынская привела с собою несколько девиц своих учениц...

Так. Собрались на другой день — распределили всем роли — и видно было, роли у всех есть — больше ничего не нужно, только не хватает суфлера, но этого нашли на другой день... Этот — Исаак Шиллер, который даже сам хотел предложить свои услуги.

Так!.. и мы начали. Все взялись за дело!!!...

С этими репетициями время шло совсем незаметно. Собирались к 7-ми и тут же начинали и к девяти кончали. Домой идти рано — вся молодежь (женская) расходилась по домам, а наш брат оставался. Начинались похождения всех артистов....

1) По вину — (что очень легко можно достать у хозяюшки, угостит и сама выпьет).

2) за Наташи... родственница Ол. Н. и в тоже время горничная — (она тоже вином заведует, когда нет дома хозяйки)... Большими симпатиями пользуется у нее гимназист Иван Серг. Кошкин.

Не дремлет и сама хозяюшка — она тоже всегда бывает окружена 2-мя или 3-мя поклонниками — но взрослыми, как например офицер Федотов Гр. Феод. и помещик Вахрушев, ее старый любовник и в то время репетитор ее сына Егорушки, «Жоржа»... частенько у нее бывают и другие типы, чиновники из казначейства, а также такие, которых ей-Богу не знаю.... но скажу, — но и типы!!! Со своими поклонниками она пьянствует, во время чего ведет пикантные разговоры, а подчас, когда сама в настроении, и обнимается в саду...

Вообще весь дом живет и наслаждается!!!....

Начиная с дочки «Бэтси». Ей 12 лет, загремела на второй год во втором классе гимназии... в голове уже сидит Антоний Коцауров, целый день только и вертится ряженая около зеркала, пудрится да румянится, да поминутно твердит имя святого Антония. Нечего сказать, девица вполне XX века! увы и ах!!!

Брат ее Жорж, вешальщик, парню семнадцатый год, учится в Москве в Коммерческом частном училище в третьем классе совсем погибшее существо... жулик, вор, негодяй, алкоголик, каких мало...

Вот и весь элемент коровкинского дома. И все наделали деньги!!!!

Да! живя в такой обстановке незаметно как-то проходит время.

Настал день спектакля и в то же время день именин нашей дорогой всеми любимой хозяюшки Ольги Николаевны, слава Богу, мучение окончилось с этими приготовлениями к спектаклю...

Встали вместе с Федей Нагорным в 10 часов утра, он у меня ночевал, вчера уж больно загулялись чуть ли не до четырех часов утра.... Встали и тут же уселись пить чай, за оным много смеялись — репетировали свои роли. В двенадцатом часу пошли с ним в цветоводство за цветами... за букетом, который я хотел преподнести О. Никол., подарок в день ангела. За два рубля чистокровные букет достал — пришел домой — закусил и отправился к Коровкиным — было скорее нужно прийти к 2-м часам. Назначена генеральная репетиция...

Мне пришлось немного опоздать — и когда пришел все обрадовались мне — что я не заставил себя долго ждать, а главное все были заинтересованы, что-то у меня в руках.... никто не мог догадаться, что это цветы..... Как не приставали, я не показал все-таки, что у меня принесено. Никто из других артистов -сток не догадался сделать хозяюшке знак вежливости и принести подарок.

Отделавшись от шайки любопытных, пошел в комнату Ольги Николаевны... где пришлось поздравить и вручить цветы. Поздравил как следует трижды поцеловались с пожеланием всего наилучшего...

Все это происходило в ее будуаре, изолированном от взглядов посторонних... После поздравления под ручку отправились к месту где у ней бутылочки... сама догадалась! Выпили по 4 рюмки и разошлись по

делам, она пошла в кухню, а меня с нетерпением ожидали мои коллеги зачем-то...

Просьбу уважил и пришел к ним. Во-первых, взаимно поздравили с дорогой именинницей. — «Ну, ладно, хорошо! — сказал я, — в чем же дело!?»

Они ответили: — «Нужно было бы помочь бы поставить декорацию!...»

Скорчив неприятственную гримасу лица спешил ретироваться под крылышко Ол. Николаевны. Да! и правду сказать — очень тепло у нее!... За букет цветов или вообще так ко мне питает расположение духа (отличное) — прямо заугощала.

Интересно!!! Ребята в это время работали, когда я с ней выпивал. Это они заметили и не будучи дураками ежеминутно приходили с поздравлениями: «Ольга Николаевна, недурно было бы выпить! — и добавляя — «а Вы посмотрите, сколько мы сработали — и не дать рюмочку это стыдно, вон Разбойщину Вы даете не за что!»... — но на это Ольга Николаевна, прижавшись ко мне, подчас обнимая и целуя меня, говорила: — «Поличке, будущему моему зятьку да не дать, нет, нет уж этому не быть!» — и первому наливала и угощала.

Это продолжалось с 2-х часов дня и окончилось часов в 7-мь, результат 5 бутылок рябиновки и бутылка спотыкача. Всего интереснее были Николай Бабенин и Исаак Шиллер. Как же! — сделав скамейку они приходили к ней — говоря: — «Ольга Николаевна, надо бы спрыснуть, а то не будет стоять!» — и она давала.

Я в это время отстал, боясь, как бы провалить свою роль... Бабенин и Шиллер, чуть ли не вбив только гвоздь, приходили тоже спрыснуть его... ей-Богу интересно??!

Но наконец время к пяти с половиной часам. Все на сцене готово. Осталось только пригласить господ артисток и -стов к началу репетиции! и мы с Бабениным пошли разыскивать... 1-е пошли в сад — там наткнулись на несколько парочек, — без всякого стеснения их мы разогнали... Далее в глуши сада на лавочке за столом встретились с самой Ол. Ник., с каким-то типом... нездешний, кажется из Уваровки, ее хороший знакомый, к слову сказать, здорово хлопнувши, то есть выпивши — и сидят обнявшись растрепавшись... Видя с Николаем, что попали не туда, извинились и ретировались... после чего ужасно много смеялись, да как и не смеяться нельзя, уж больно смешно. Картина, ей-Богу!!!!!!

Всех артистов с грехом пополам к шести с половиной собрали. Осталось найти только Федю Нагорного, куда сгинул — неизвестно. Решили наконец Генеральную Репетицию начинать без него — но к счастью он не заставил себя долго ждать, явился на сцену слегка качаясь. После репетиции спрашивали, где он был? — он объяснил, что спал с 3-х часов на сеновале, напился через мерку, заугощала хозяюшка.

Репетиции окончились к 8-ми часам. Пришел парикмахер гримировать. С его приходом начала приходить и публика — и в какие-нибудь полчаса двор был полон (играли на дворе). Мне гримироваться последним пришлось — так что не теряя времени даром пошел к воротам посмотреть, что за публика....

Наш спектакль посетило много девиц, много интересных для меня, но больше, конечно, не интересных...

На контроле стояли Ник. Бабенин и Иосиф Шиллер с которыми много смеялись около ворот с девицами — я старался немного развеяться — сильно волновался перед спектаклем....

Цель моя стоять около ворот — это было то — посмотреть не придет ли Оля Верейская — но увы как пришлось узнать — она не придет. Оля больна — она лежит в больнице на операции, у ней аппендицит!.. Узная — долго, долго сожалел и вспомнил мой идеал мою мечту Маргариту Шиллер! она еще дальше Оли — она в Америке!!!.. Мне стало очень грустно.

Наконец публика вся пришла, ворота заперли и я пошел гримироваться. Идти страшно не хотелось.

«Ее здесь нет, она не будет!»...

Я вспомнил Маргариту... и что было со мной до моего выхода — одному Богу известно, очень грустил.

Но слава Богу моим терзаниям конец! — сценариус Антон Коцауров сказал «приготовиться, сейчас твой выход!»... Собравшись с силой и приготовившись — я вышел. С партера было слышно — это Разбойщин, Разбойщин, Разбойщин...... Все с нетерпением ожидали моего выхода! Моя роль — «На волосок от смерти» — сына купца Малобрюхова, сильно подгулявшего. Роль свою провел великолепно. Сильно вызывали. После спектакля сильно поздравляли и желали в будущем играть лучше и не отнюдь не бросать этого искусства. Пьяных я играть горазд! Все в восторге от моей игры, все говорят, что лучше меня никто не играл.... Правда ли только??????

После спектакля было исполнено концертное отделение под управлением Мишки Шмелева-Максима, слесаря. Вся антимония кончилась в 12 часов ночи. Все артисты и -стки хозяюшкой были приглашены в дом, где устраивала Ольга Ник. бал в честь своих именин. Замечательное совпадение со днем спектакля!!!

Разгримировавшись отправились вместе с Волынской в дом.....

Там пир горой. Старики и пожилые заняли две комнаты, а наши господа участвующие заняли отдельную комнату изолированную от взглядов посторонних неприятностей. Колька Бабенин за старшего.

Только что сев за стол и выпив рюмку простого — Софья Волынская обращается с просьбой «не пить так много!»... Ну, это маком думаю про себя. Она дала мне слово провести вместе весь вечер и идти ее провожать, если я не напьюсь. Я ей на это дал честное слово. Рюмки поминутно наполнялись и мгновенно уничтожались. Пошли все вдурь, начались песни, гром, гам, битье посуд... Колька Бабенин не давал прямо покоя — приходится пить и некогда совсем закусывать. Организм начинает просить немного пить меньше.

Меня из дома товарищи вывели в сад — где угостили сельтерской и разошлись. Я уселся на лавочку и толковал о том зачем я так напился... теперь я отравил себе все, весь вечер, все, все... Проклинал Молласа — зачем он подпоил меня. Вообще ужасно сожалел зачем я напился!!!!

Одному долго побыть не пришлось — пришла сама Софья Ивановна — уселась около меня — обняла и стала читать нравоучительные морали, не надо пить вино так много что говорится до положения риз.... Я целовал ее руки, твердя, «простите меня, простите!» — и умолял ее никуда от меня не уходить прибавляя, «мне жаль расстаться — я знаю, что мы видимся последний раз с Вами!!» — при этих словах я рвался от нее и от Ивана Кошкина, последний все время находился с нами. Она меня не пускала, но я убежал. Кошкин поймал меня усадил опять рядом с Соней...

Она проговорила «Поля если ты меня любишь то ты не сделаешь над собой самоубийства — ведь так?!?!»... — и добавила «а что же я буду делать, когда тебя не будет на свете... мне придется страдать. Нет, нет, ты не сделаешь этого!...» И бурно схватив ее крепче в свои объятия, я впился губами в ее губы...

Столько было в этом поцелуе упоения, отчаяния, исступления страсти и такая беззаветная любовь!.. что я готов был голову потерять, захваченный ураганом страсти. Оторвавшись от губ я заглянул ей в глаза и снова привлек ее к себе, осыпая поцелуями ее шею и руки. Помню — у ней в это время вырвался какой-то глухой стон, «ах, как жаль, что ты пьян»...

Да, дорогая Соничка, я сплошал и выпустил ее из объятия... Минута проходила за минутой, и каждая была вечностью, и каждая была полна воспоминаний. Затем Соня отправилась в дом танцевать, а я остался в саду по причине это проклятое вино меня совсем развезло вместе с этими поцелуями...

Да! этими поцелуями она дала мне дивную иллюзию счастья — только иллюзию... но все же счастья!!!! Эх! такие иллюзии мне пришлось испытать только 2 раза за все мои шестнадцать лет! 1) раз с Маргаритой Шиллер, с любимым предметом моим идеалом... но это было давно или даже никогда не было... 2) раз с Олей Верейской.... и 3) раз с Софьей Ивановной Латрыгиной (Волынской по сцене)... Да! она дала мне дивную иллюзию первого раза, как не больше, ей я много обязан....

С уходом Волынской я остался один, комбинируя в своей голове, что произошло... в это время пришел ко мне Коцауров, но увы и ах я заплакал и во время слез в конце концов закричал, что я с Вами больше незнаком!..

На крики сбежались товарищи, помочили мне голову — на основании собственного соображения — сельтерской и решили уложить меня спать. Но нет!!! черта лысого! я не с кем не хотел идти кроме С. Волынской.

Она согласилась — проводила меня под руку до постели — уложила меня... и собралась уходить. Но не тут-то дело! я не пускал ее и распевал спьяна...

Не уходи, побудь со мною,
Мне так отрадно и легко??!..

и т. далее. Она слушала меня и при разлуке пожелала «покойной ночи». Оставшись один я порядочно еще не мог уснуть. Перед глазами стояла она — я видел прекрасную пикантную фигуру, я видел ее густые, отливающие золотом волосы (шиньона)... белые как снег зубы за чувственными губами... и меня всего пронизывал электрический ток. Да!

Счастье было так близко, так близко, но увы оно улетело!!!...

Среди ночи я проснулся и пошел посмотреть что делается. Часы показывали шесть часов утра — ребята допивали в гостиной — свалившиеся с ног спали где придется — в комнатах на полу, на дворе, в конюшне — девицы спали в саду в беседке, а около беседки на траве спал Коля Бабенин... Но кто поразил меня до глубины души — это наша дорогая хозяюшка Ольга Николаевна!!!??? — на середину двора неизвестно кто вывез фаетон, Ольга Николаевна сидела в фаетоне с помещиком Вахрушевым, а пьяный официант без малого на четвереньках носил им туда закусить и выпить, а они изображали, будто плывут на пароходе по Волге...»

. . . .

Ипполит Разбойщин записывал будни:

«Посвящается Иосифу Шиллеру, Николаю Бабенину и Антону Коцаурову:

«Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем!!!!! ВЕРНО!!!!»

Царапинки:

1) Уж давно известны нам любовь мужчин и дружба дам!..

2) Мы не можем вырвать ни одной страницы из истории нашей жизни, хотя самую книгу легко бросить в огонь...

3) У кого на сердце неясно, у того и в ясный день дождь идет....

4) Я был счастлив, но увы и ах, даже записка от нее успела истлеть, а сама она уехала в Америку...

Скажу, как провел Великий Пост и совсем не заметил... Очень и очень скоро....... Это явление легко объяснимо.... потому что весь почти что день занят на проклятой фабрике господина Шмуцокса с 8-ми утра до 6-ти вечера, а это ведь не шутка ходить на Марфин брод. Время проходит совершенно незаметно, этому я радуюсь...

1-ю неделю провел слишком скучно. Все увеселительные места не функционировали, поэтому было очень плохо, хотя посещал ежедневно Откос после 7-ми вечера. С нетерпением я ожидал второй недели, чтобы поскорее побывать в Великом Немом.

Пришла 2-я седмица, и я регулярно посещаю Великого Немого, деваться же больше некуда... На этой неделе 2 раза встречался с Олей Верейской в синематографе — она все такая же, удивительно, что не дурнеет пора бы ей подурнеть от Андрея Криворотова, которого я презираю... Встречаемся и расходимся совершенно как незнакомые друг другу люди.... По вечерам 2 раза приходил Мишка Шмелев-Максим играть в карты, но это как обыкновенно, играли в дурака вместе с мамой...

Пришла 3-тья неделя — время такое же скучное, как и на 2-й, всё старое и шаблонное, Великий Немой, Откос.

Приходит 4-я неделя, и эта еще скучнее — потому что Великий Немой не функционирует ввиду Крестопоклонной Седмицы. Без Великого Немого очень скучно, как ни как в Великом Немом можно встретиться со многими, посмотреть картины, послушать граммофон и как будто станет лучше... Хотя удовлетворение мизерное, но всё же лучше шамонания по Откосу...

Из картин в Великом Немом особенно понравилась «Хромой скрипач», где он представлен преотвратительным стариком, но еще с отзывчивым сердцем к любви. И наконец встречая по пути к любви преграду, обезумевши от жалкой любви, он ищет себе смерти! на скале около моря... И в последний раз своей жизни не разлучается со скрипкой, со своим верным товарищем, играет последний раз свою заунывную сонету под аккомпанемент волн. Не могши более слушать грустный и жалобный прибой волн, он бросается ища в них забвения..... где из дряхлого старика он олицетворен в стройного красивого молодого человека, окруженный вещими русалками, играя на скрипке, и от такого содержания музыки русалки придавлены счастием и приходят в восторг.... награждая холодными поцелуями его ланиты.....

На этой неделе только раз был в увеселительном месте на лекции в Дворянском клубе — лекция была на тему «Русская поэзия в XX веке» и особенно лектор «Грифцов» много говорил про декадентство... На этой лекции я услышал много нового, доселе мне неизвестного. Лекциею остался доволен вполне.... во всех отношениях... 1) самой лекцией... 2) было много порядочных гимназистов и -сток... хотя я с ними т. е. с последними совсем — не говорил и не подходил к ним. Все время находился с Коцауровым и с Нагорным...

После лекции пришлось много шамонаться по улицам богоспасаемого Камынска критикуя все услышанное на лекции...

2-й лекцией остался не так доволен — неинтересна содержанием и лектором — доктором Ив. Ив. Криворотовым... На этой лекции говорилось про бактерии и про бациллы, про состав воды и про чуму... интересного пришлось узнать мало... хотя из некоторого я извлек интересное, и даже очень интересное — это только одно, а именно «Криворотов» сказал: «Марфин брод — это есть врата для всех заразительных болезней в Камынске... и причина — в о д а, которая вытекает с фабрики, а что за вода после мойки шелка — всем известно!!!

Пятая неделя пришла и прошла как будто интереснее и незаметнее всех. Между прочим замечу, что один раз на этой неделе на службу не пошел... Почему так? трудновато ответить на это... Уж больно хорошо стало на дворе. Прилетели грачи и жаворонки, оглашая своим голоском весенний воздух..... вообще весна вошла в свои права. На улице стало почти что сухо. Так что всё вместе взятое отвращает совсем от занятий. Со службы чуть ли не с 4-х часов собираешься домой, когда нужно в 6-ть часов. Заниматься ужасно не хочется...

Но увы на гуляние приходится слишком мало времени. Приходишь с этой проклятой фабрики в 7-м часу домой, пропустишь чаю и закусишь, глядишь уже семь с половиной времени..... спешишь, как угорелый, на улицу...... где шамонаешься часов до 10-ти или 11-ти... но с товарищами замечу, а не с товарками, их уже никого нет в эти часы, все сидят дома за уроками... Их время для шамонания от 4-х до 6-ти как пришлось заметить в день когда прогуливал службу... От 4-х до 6-ти можно с уверенностью сказать, что увидишь всех гуляк лабазных, но только из учащихся. Гуляют из примадонш порядочно — но кто они я не скажу и не открою!!! проминается и Леля Вер. со своей шайкой рабов как-то Бабенин (его выгнали из кадетского корпуса, Криворотов и вообще порядочно в этом роде... тут и вечный прохвост, и регулярный шамонала Исаак Шиллер... Ах как они мне противны!!!....

С 8-ми до 10-ти вечера Откос кишит людьми дела т. е. учащихся сменяют другие лица, лица службы и чиновники... Да! очень много праздношатающихся типов девиз которых «прийти раньше всех — уйти позже всех»!!!! и

как все эти созвездия по Откосу ничтожны и отвратительны... но они — свободны! свободны! а я?!?!....

В один из светлых теплых весенних вечеров (вполне) на этой неделе разразилась гроза, т. е. горюха над гимназистами, а именно: их в числе пятнадцати человек здорово побили подгулявшие типы из чиновников... и побили не на шутку здорово вообще. Этот вечер я назвал В а р ф о л о м е й с к и м вечером, хотя и неправильно ну да ладно сойдет.... сравнение: подобно тому как избивали гугенотов «Варфоломейская ночь», так избили гимназистов на Откосе Великим Постом...

Шестая седмица прошла без всяких фактов. Как пришлось слушать из достоверных источников и самому в этом нарочно убедиться за О. В. в последнее время сильно ухаживает Н. Бабенин, который мне не раз сам говорил, что очень трудновато добиться желаемого успеха взаимности — и причина А. Криворотов, в которого влюблена как кошка..... жаль Колю!....

Ко всенощной под вербное сходить не пришлось.... Эта всенощная наводит на меня массу дорогих, еще до сих пор свежих впечатлений... Да! что было два года назад в этот вечер.... Я любил О. Верейскую... Она стояла всю всенощную в Соборе и вместе много говорили... Увы и ах! и это — все... ну и удивительно как один год не похож совершенно на другой.... остались одни обо всем лишь мечты... О, Tempora!..

Страстная седмица...

Ох горюшко горе... Понедельник, Вторник, Среду и до 12-ти часов Четверга пришлось заниматься на фабрике вернее пришлось только выйти на исполнение служебных обязанностей. Интересно, за все дни я не стукнул на службе пальцем, да и смешно трудиться не вовремя?!?..

Ну, слава Богу работу кончили — надоело признаться ходить по грязной дороге и утомляться. Пришел домой и только успев пообедать — вваливается Михаил Шмелев перекинуться в картишки... Резюме игры я выиграл 4 рубля. Хорошо!!! В 7-мь часов пришел Нагорный Федя... в церкви читают 12 Евангелий, а мы режемся в карты, вот это не так хорошо, ну да ладно!!!

Мишка ушел от меня в 1-ом часу, а Федя остался ночевать.... перед сном порядком толковал о Леле В., она говела у Иоанна Богослова и кроме того говело еще много гимназисток. Ах, жаль, что не пришлось говеть...

Пятница и суббота — вставать пришлось ровно в 10-ть часов — тревожили все время с уборкой к празднику. В 12 часов я покидал дом и отправлялся за покупками к предстоящему торжеству... ....к 4-м назначенному часу для игры в карты возвращался восвояси, успея только раздеться придя с улицы игра начинается в полном смысле азартная. Время за этими картами летит совершенно незаметно.

После этой игры у меня осталось большое впечатление — сидя за картами мы слушали, как во всех церквах трезвонили к концу одного Евангелия и к началу другого..... я все время рвался в церковь но игроки не пускали говоря «ишь, ты выиграл и хочешь бежать!!!» Мишка все время подтрунивал «не спеши, все равно Леля с Андрюшкой Криворотовым».... Нет! я не потому рвался в церковь и кончить игру в карты — а мне просто хотелось.... Да! как много неизъяснимой сладости, задушевности и какой-то своеобразной тоски и грусти — чувствуется в каждом, редком, чисто отчеканенном ударе колоколов, эхо которых как-то вливается в душу и наполняет ее каким-то очаровательным мило-дорогим восторгом... Ну! пора кончать эту мрачную философию а то пожалуй допишешься черт знает до чего!!!!.... Могу сказать в последний раз — что так проводить время невозможно!!! Да! Да!??!.

2-е апреля — 20-е апреля...

Время за это время провел довольно сносно.

До шести часов конечно я на службе. Но наконец, слава Богу стрелка приближается к 6-ти... Обед приготовлен с чаем — скоро пообедав пропускаешь 2—3 стакана чаю, отправляешься на Откос... Изредка встречается Оля В..... ах! скорее бы то время, когда она станет совсем дурнушкой!?!?...

13-го апреля к нам переехал в комнату новый жилец, он ветеринарный фельдшер и латыш, говорит порусски плохо хотя понятно. Играет на мандолине на цитре и больше и лучше всего на скрипке... Это его любимый инструмент... Всем бы он парень хорош, но большое горе — не курит, не пьет, не валандается на Откосе... Недоразумение, а не человек!... И вот у этого Карла Петровича, как зовут его, собирается частенько, вернее каждый день, маленькая но теплая компания. Время проводим очень весело. Карл Петрович играет на скрипке, Федя поет, а мы все танцуем и во время танцев выкидываем разные фильтики, что не засме-

яться никак нельзя... своего рода закон!!!... Один раз мы открыли всемирный чемпионат по французской борьбе, но Карл Петрович всех нас подмял и мы бросили.... Мое житье с Карлом Петровичем немного улучшилось.... Почему? — да вот почему... время, время я стал убивать веселее.....

20-го апреля в гор. Камынске состоялась продажа «Белой ромашки», организованной доктором Криворотовым на почве с борьбой чахотки. Я был продавцом ее...

Я торговал до 5-ти часов, потом сдал кружку и пошел смотреть как торгуют другие преследуя цель т. е. пошаманаться по улицам и посмотреть на хорошеньких продавщиц белого цветка... Но увы вышло не так как я предполагал! я здорово попал этим хорошеньким черт бы их побери!!!... встречаясь на улице продавщицы неотступно приставали ко мне и не только ко мне но и ко всем.... отказать же было неловко както — я клал в кружку.... по отзывчивости сердца к предпринятому делу и теплого сочувствия и сострадания к туберкулезным.....

И на фабрике можно было бы тоже не скучать, если бы я занимался работой, но в том-то и дело, что я работой тяготился — надоело в полном смысле слова работать..... моя душа рвалась на свободу из этой душной противной фабрики, и я ежедневно все больше и больше тяготился.

Карл Готфридович Шмуцокс обещал мне дать расчет 1-го мая и об этом по правилу меня известили за две недели. Зная что расчет мне будет дан я успокоился и даже в душе радовался что, слава Богу все устроилось благополучно... Но несмотря на то, что меня рассчитывают мне приказано было являться к исполнению своих служебных обязанностей... я приходил — но работать черта с два и смешно работать когда мне расчет... Ведь это понятно!?!?...

1-го мая.... Встав как по обыкновению в 7-мь часов тронулся на фабрику последний раз (за расчетом). Пришел — от делать нечего, верней от скуки, уселся переписывать книгу (приходящего материала).... только что разработался — вдруг слышу трещит звонок... Мой товарищ по службе пошел в кабинет и через пять минут вернувшись, выпрямившись по-солдатски, восклицает «Поля, тебя приглашает расчетный стол за получением расчета!»....

Сердце что-то екнуло.....

Не спеша отправился... меня уже поджидали. Вручили мой паспорт, дали мою ассигновку за № 337 на получение денег — попросили расписаться и обряд был кончен... Замечу между прочим, что пришлось быть свидетелем, как моя фамилия была вычеркнута из списка «Книги Господ Служащих»... Помню в моей памяти промелькнуло сравнение с тем как будто бы меня вычеркивали из списка жизни...

И мне взгрустнулось!!! ...грустно... правила, требующие официальность — закончены и я свободен... Простившись со всеми сослуживцами и со своим начальником, счетоводом Буфеевым — замечу — я уловил при разлуке их теплое отношение ко мне и во-вторых самые лучшие пожелания... И с фабрикантом Шмуцоксом то же самое...

С Ив. Як. Буфеевым то же самое да плюс он мне читал нравоучительные морали. Во-первых сказал, что все хорошо так случилось... Жаль что не вовремя умер твой папа всеми уважаемый Афиноген Корнилович, а ты в силу этого отбился от гимназии, но упущенного не воротишь, снявши голову по волосам не плачут... Тебя увольняют — и ты не сожалей — тебе не здесь место — твое место и тебе будет лучше, если поступишь в земство или на железную дорогу в чертежники, опирайся конечно всего более на память твоего родителя и на протеже, попроси маму сходить к его сиятельству князю Верейскому или полковнику Цветкову... ведь ты знаешь как в настоящее время прекрасно иметь протеже и как плохо не иметь оного, лови его, не упускай... с твоей головой пропасть трудно, конечно если ты выкинешь из нее кое-что..... поясняет далее мою халатность и беззаботность!!! — я противоречу, «Иван Як. да! я не спорю правда я был таким, но если так неужели я был неисправим в деле, разве я не исполнял свое дело к сроку когда поступил к вам под начальство».

Иван Як. говорит «Не в том дело, Поля — вот оно и указывает, что ты еще не сведущ в службе. Нужно и наш хозяин требует к тому чтобы все его конторщики неустанно работали... ты же нет... исполнив свою работу ты сидишь, а это не нравится Карлу Готфридовичу. Он мне не раз говорил о тебе, нежели Разбойщин исполняет все что Вы ему даете? — я говорю — да... Он удивляется, да и я поражен — насколько ты голова..... Эх! Поля! такой работник как ты был у меня и больше

такого не будет у меня работника!!!!! Ты подавал большие надежды и вдруг...»

Испрашиваю «что вдруг?!...

Он отвечает: «тебя у меня берут по причине что ты сам не сошелся с фабрикантом и он с тобой... а он хотел тебе помочь в память твоего многоуважаемого родителя...»

Да! Иван Яковлевич! — сказал я ему «сойтись с таким человеком как Карл Готфридович очень очень трудно, чтобы сойтись с ним и можно работать — нужно подлизываться и унижаться, а я не умею да и не желаю, это не в моем характере...»

Правда сказал какой-то ученый: служить-то легко да прислуживаться трудно!!!

При расставании с директором Карлом Готфридовичем я хотел выкинуть какую-нибудь штучку — но подходя к нему — я не смог... Чем это объяснить?!?... не тем ли что благовоспитан я или благородством души — ей-Богу не знаю... А все-таки нужно было бы выкинуть фильтик, это значит задеть за живую струну... Не вышло, ну и черт с ним!!! Вышло же у меня напротив всякого ожидания, совершенно противоположное тому что хотел совершить вперед... Мы как друзья пожали друг другу руку да еще плюсик к этому я промолвил как-то невнятно «не поминайте меня лихом!»... Зачем я это сделал — совершенно не понимаю, это лишнее.

Теперь все кончено с фабрикой. Я рад.

Но вопрос — я буду требовать от этого лета...

Мое желание..... проводить время как можно веселее (обобщаю), т. е. пить, кутить, гулять, веселиться и т. п. п. п.... но Боже меня избави влюбиться! свободу, купленную долгой мукой — ни за что не променяю на любовь к какой-нибудь гимназистке.... Боже, Боже меня избавь!!!! Последнее быть может лето проведем его так беззаботно, брать от жизни нужно все, даже то чего она не дает.....»

. . . .

Ипполит Разбойщин записывал события, прямого отношения к Камынску не имевшие:

«Несколько слов о жителях Италии и о их нравах.....

Молодые итальянки очень красивы и главная их красота заключается в чудесных глазах, роскошных волосах и в темных изящных руках и ногах... Старые и пожилые итальянки в полном смысле похожи на

старых ведьм. Мужчины тоже очень красивы с их бритыми лицами, тонкими чертами лица своего профиля, страстностью и гибкостью фигур...

Италия — страна стихов и пения и жители этой страны любят свое искусство, которое играет значительную роль в их внутреннем домашнем быту.... Как Испания страна «пляски», так Италия страна «пения »!!!!

Афоризм путешественника по Италии.

Итальянца можно лишить сигары и шоколада, итальянку — ее мантилии и веера, они будут огорчены и опечалены, но лишите их возможности читать сонеты и петь Баркаролу — они умрут!???...

В песнях Италии столько страсти, столько жизни, что они сделались образным языком передавать все эмоции жизни, при помощи вибрации звуков, иногда гораздо красноречивее, чем это в состоянии сделать обыкновенная человеческая речь.... Итальянский распространенный мотив это канцона, чрезвычайно национальный, и он всегда является «песней любви» со всей ее лихорадочной эмоцией... Италия — родина композиторов, певцов и певиц.... Россини, Пуччини, Леонковалло, Верди и еще до черта!.. Жители Италии действительно словно созданы самой природой для песни. Мужчины стройны, тонки, ловки и гибки. Женщины прекрасно сложены, худощавы, с природными тонкими талиями, с роскошно-темными волосами, с маленькими на диво сложенными ножками с природным картинным жестом, выразительностью глаз и мимикой лица... Да! не тот праздник, если не присутствует испанская певица или поэтесса! говорит один путешественник.........

Самый изящный мотив «Баркарола» поется исключительно в гондолах. Самая изящная форма стиха «Сонет» иначе сказать четырнадцать строчек, особо рифмующихся. В начале этого сонета тягучая медленная мелодия, дающая материал для ленивых томных поз и телодвижений, потом быстрый почти внезапный переход к бурному темпу, полному движения и страсти, этот сонет чрезвычайно красив своей хореографической фактурой контрастов.... Терцина — три рифмованных строчки. Замечательно, когда исполнительница его поет с танцами.... плечи и руки исполнительницы покорно опущены, она точно в каком экстазе, потом вдруг внезапно она выправляется, делает прыжок и декламирует в быстром темпе под стук нервно встряхиваемого бубна.....

Излюбленный танец Италии — это Танец Среди Мечей, несомненно древнеримского происхождения. Самые популярные из итальянских народных музыкальных инструментов это окарина, мандолина, скрипка страдивариуса, Кремайские скрипки. Как известно, Италия создала Оперу-Сэрна и Оперу-Буффа.... По судорожным своим движениям тела танцовщицы опера-Буффа в начале своего возникновения считалась еще сладкостраснее. Опера Сэрна опьяняет — Опера Буффа зажигает, говорит один ученый-путешественник...... Канцона — родная сестра этих двух опер и в начале всегда сопровождалась танцами, теперь она танцуется под звуки гитары и кастаньет...

Жаль только что нет в мировой литературе, правду сказать очень бедной исследования танцев Италии — страны поэзии....

Ипп. Аф. Разбойщин......
8 час. вечера. На улице слышны шаги хромого нищего. Мама и Марфа играют на кухне с дворником в дурачки.......

Дура-акростих......
Долго долго я старался
Угадать характер Ваш...
Раз я сорок ошибался,
А теперь узнал я вас...

Заметки о писателях..... для памяти.....

Куприн.

Рассказы Куприна представляют собою маленькую энциклопедию (разностороннее образование человека). Не только сведения, но и советов и проектов, требующих знакомства с политической экономией, с санитарией, с техникой военного дела. Сила Куприна в описании... (См. стр. 49. П. Коган. «Русск. Литер.»)

Арцибашев.

Поэт тела, исследователь физической природы человека. Несомненно прежде всего его герой Санин...

Сологуб.

Поэт этого дьявольского маскарада. Его герой «Передонов» из «Мелкого беса».

Зайцев.

Поэт радости. Во всем прежде всего видит светлые и счастливые тона...

Смерть одного законопроекта...
Умер бедняга в комиссии думской,
Долго, родимый, лежал....
Долго его октябрист бессердечный
Этак и так истязал....
Ругань, насмешки, обиды, укоры,
Молча он все выносил....
«Всё, мол, снесу, лишь бы вырваться в думу,
Лишь бы хватило, мол, сил.......

Нищий вчера, я сегодня богат, богат без границ, без предела... а много ли дали? — один только взгляд..... Оли Верейской....

Самоубийство в эти скорбные минуты — ты одно осталось мне!.. изречение римского мудреца....

Мое хождение туда и мои мысли...

Встал, как обыкновенно в одиннадцатом часу... уселся пить чай... Посидел немного, что-то стало мучительно скучно, решил отправиться к Бабенину, благо он не у дел как и я (отец хлопочет устроить его в Москве в околоточные, из корпуса его прогнали без возврата)..... ведь вдвоем как-никак и скучать лучше... В разговорах между прочим поведал ему как попался сегодня в воровстве своей прислуге Марфе... Дело было так.... мама ушла в баню и оттуда к Коровкиным чай пить. Воспользовавшись таким удобным случаем пошел действовать. Через сломанный мною (часть) комода, пришлось проникнуть в следующий ящик, где разыскал ключи и ими отпер один из сундуков. Взял где только один флакон духов «Ландыш», 2-е колоды карт и монету Франции синк сентимес. При всем моем желании похитить еще что-нибудь не удалось.... нужно было на это время, чтобы разобраться и поискать. Похитив вышеописанное — наша прислуга Марфа черт бы ее подери неслышными шагами вошла в комнату, ну и конечно увидела на месте преступления... Делать было нечего. Сознаваться — но на этот раз не желал, был с ней в ссоре.... Вышло не ахти важно, придет мама, всё узнает.... прислуга не из тех, чтобы молчать....

И вот все это я поведал другу Коле Бабенину, но увы он мне не посочувствовал, а только обругал по двум пунктам... 1) что попался ни за что и 2) что не пришлось стащить ничего ценного, чтобы переплавить в водочку.......

После этого долго молчали и наконец придумали.... У Коли нашлось 50 коп. Не теряя ни минуты времени тронулись на Откос там достали у Шиллера еще пятак и отправились в трактир Козлова выпить графинчик...

Выпили с приличной закуской, разыгралось желание выпить еще, но вопрос не было денег... И мы с Колей решили еще пострелять на Откосе... И не прошли шагов тридцати от трактира, нас останавливает один незнакомец, по костюму было видно «новобранец».... Нас он спросил как пройти «туда на Подол».... Мы ему показали дорогу, добавив при этом хранить деньги и меньше пить, а то он и так уже здорово выпивши.... Не знаю, может быть этими словами или нашей симпатичностью мы его подкупили.... Он рассыпался в благодарностях и поведал нам свое несчастие... он новобранец, завтра отправляется в Варшаву, имея поэтому последнюю свободную ночь, решил провести ее там, сожалея, между прочим, что он здесь один без друзей, лишь с матерью-купчихой, у которой отпросился на всю ночь (погулять).... Поведав нам свое горе просил нас немного выпить к Козлову и оттуда поехать вместе с ним «на бережок»... Мы конечно не отказались и пошли......

Выпили и на резиновых шинах покатили «на бережок». Встретив Бабенин знакомую и познакомив нас с ней, пошли к ней в нумер.... Только что ввалились к ней, она попросила угостить нас пивом. Ну, что ж если это обязательно потребовала 2 бутылки пива, через несколько минут явилась ее подруга «Ксения», прося угостить тоже пивом, заказали еще 2 бутылочки..... Наш незнакомец прямо-таки растаял при виде «Ксении». Ну, как и всегда, совершив здесь куплю с хозяйкой на время, он ушел в нумер «Ксении». Колька тоже вышел. Остались мы только с Танею.... завязался разговор, она тут же начала говорить мне комплименты, какой ты хорошенький, миленький и добавила между прочим «я очень похож на ее прежнего возлюбленного реалиста из Костромы». Просила меня навещать ее и в залог поцеловала одним жгучим, страстным, продолжительным поцелуем.

Я ей немного заинтересовался, но вовсе не как проституткой, нет, нет, а как девицей и кроме того пожалел ее....

Жалко как-никак!!!... вот она сейчас еще такая веселая и свеженькая, еще не успела отцвести, а что ее ждет впереди???? быть выброшенной на улицу с проваленным носом где-нибудь под забором сгнить и издохнуть как собака....

Да! жаль мне тебя «Таня», не расцветая ты отцветаешь!!!???

Ах! эта проституция?!...

С тех пор, как я был там, прошло около трех дней, но я всё еще нахожусь под впечатлением..... и вот я решил вкратце описать быт проституток. Да! я знаю, какой я беру на себя труд — а материал здесь огромный подавляющий страшный.....

И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, как разъедающих язвах больших городов и т. п. п. п. п.... Старая всем известная шарманка... Но ужасны эти будничные привычные мелочи — там у них в помещении, эта профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, не хуже не лучше какой-нибудь бакалейной. И все мы в жизни проходим мимо этого как-то равнодушно, как следует, слепые точно не видим, что валяется у нас под ногами..... И мимо всего этого проходят и литераторы и писатели различные — и они пишут видите ли о сыщиках, об адвокатах, об офицерах, о сладострастных дамах, о баритонах — и пишут ей-Богу хорошо, умно, тонко, талантливо.... Странная действительность — древняя, как само человечество: проститутка..... И мы о них ничего не знаем. Что русская литература выжала из всего этого кошмара??! — Катюшу Маслову и Соничку Мармеладову......

Да! и под грубой похабной профессией, под пьяным безрадостным видом — а все-таки жива Соничка Мармеладова.... Судьбы русской проституции — о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь!!!

Меня в жизни проститутки притягивает и интересует ее страшная обнаженная правда. С ее как будто сдернутыми условными покрывалами.... Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни со своей совестью.... никаких иллюзий, никаких прикрас... Вот она публичная женщина — иди

ко мне любой кто хочет — ты не встретишь отказа.... в этом моя служба. Но за секунду сладострастия ты заплатишь деньгами, отвращением, болью, позором.

Ipp. Razboichin

Разочарование....

Всё бы ничего, только одно, а именно: мне пришлось горько разочароваться.... в том.... после новой продажи дома я на что-то надеялся... и вдруг ничего... абсолютно ничего!!!... А я-то все время надеялся, что мама продаст дом, с которым она давно хотела расстаться, не оставит меня, горемыку... всё что-нибудь даст (денег)...

Все разлетелось в прах... А я-то надеялся — вот мама продаст дом, даст мне маленькую толику — и я на это ей-ей как много могу сделать полезного для себя, а именно начну готовиться на аттестат зрелости, выдержу — и тогда на удивление всем своим стану человеком.... И мама — не дала.... больше она не верит обездоленному, жалкому, влачащему без радостей своему сыну.... Нет! нет!... я всё-таки буду жить мечтами!!!???...

Люби кататься — люби и саночки возить...

Голос писавшего исчезнет, написанные буквы останутся... не буду многословен. Начну прямо. Я заразился кое-чем от прислуги Коровкиных Наташи. Сюрприз дивный поднесла!!!... Вспоминается пословица, метко сказано.... Я и вожу эти проклятые саночки.... Болезнь не сложная, но страшно требовательная.... И вот я решился обратиться к фельдшеру из ветеринарной больницы, чтобы никто не знал, латышу Карлу Петровичу.... За визит с его лекарством и за «труды» плачу 50 коп. чистокровных.... придется походить недели две каждый день... Да! поплатишь! без этого нельзя! ... и хорошо, что никто из домашних не знает........

Ипполит Разбойщин записывал события:

«Самоубийство Ани Гордеевой.....

Не в ясное утро, румяной зарей
Вышла она на свой жизненный путь...

Услышал печальную весть о самоубийстве Анны Гордеевой, гимназистке седьмого класса.... Позавчера Гордеевой уже не было на свете, она бросилась под поезд...

Весть о самоубийстве почти в этот же день разнеслась по городу.... и как всегда в подобных случаях пошли вопросы почему, отчего и зачем она это совершила.....

Но увы узнать причину побудившую ее уйти из этого мира в холодные объятия смерти, не пришлось.... Можно только догадываться, хотя из нескольких записок была одна, в которой она подчеркивает свой уход, а именно: «думаю, что на том свете мне не придется изучать математику»......

И так многие думают, что причина — математика.... На взгляд многих эта причина неуважительна и даже смешная.... Но если строго проанализировать, то можно увидеть многое.... и тогда не так смешон покажется ее уход из жизни....

Мало утешительного несла полугодовая пара по математике, а она не могла ее получать, не могла не потому что ей нельзя было что ли, а потому, что она училась на субсидие частных лиц, помощь которых она должна была оправдать во что бы то ни стало.... Но оправдать она не могла вследствие своего плохого здоровья... несмотря на это она все-таки занималась, занималась не покладая рук, но математик ее ненавидел за ее бедность и гордость....

Пойдем далее и коснемся ее жизни в частности. Аня жила в приюте, место детей нищих. За пребывание в приюте грезы отлетели, порывы гасли, надежды отмирали беззвучно..... Да! еще немного и нет юности — и впереди только серая беспросветная жизнь училки...

Да! многовато породил этот проклятый приют угасших желаний, сколько погибших сил, похороненных слез.... Ой, как много!.. и все это дело нужды. Она убивает в нас все, начиная с молодости души. Она засасывает, унижает, ведет нас на сделки с совестью.....

Вечер перед смертью Аня провела в Дворянском клубе. Со спектакля она пошла ночевать к Колосовой Анне в дом Молдавского, своей задушевной подруге последнее время.....

Встав утром в гимназию не пошла в приют тоже... Почему? мне кажется по той причине, что всё кончено...... В два часа дня она вошла в приют, где наскоро написала записки и не простившись последний раз с подругами — она п о ш л а...

Мятежная душа манила и требовала совершить задуманное........

Да! она пошла......

И пошла не к матери за советом, не к лицу пожившему за советом, не к отцу духовному.... а пошла на полотно железной дороги.... и гордо и смело на второй версте за станцией бросилась под поезд...

Конец свершился.....

Неужели Гордеева ничего не сказала Колосовой или Колосова нарочно подтолкнула ее, так как давно известно, что Колосова не верует в Бога и марксистка???... как Колосова не спасла ее!!??...

О жизни кончен вопрос.
Больше не надо ни песен, ни слез....

Все-таки как-никак много неясного унесла Аня с собой в могилу, сколько душевного распада, того проклятия, которое тяготеет над современною молодежью с измельченными нервами...

Покойную на второй день смерти привезли в часовню при больнице. Разрешили хоронить в православном чине.......

Я ходил смотреть... Лицо почти что такое же мало повреждено, только ссадины на левом виске.... Ноги отрезаны прочь обе ниже колен. Я тоже их смотрел.... набрался храбрости.... но горе за виденное пришлось поплатиться. Не мог заснуть в продолжение 3-х ночей, галлюцинировал — все представлялось мясо с запекшейся кровью ее ног...

Да! умерла! перестала страдать.... никто теперь ее не беспокоит... Нежеланная, нелюбимая — она ушла из этого мира, где она была недолгим гостем, ушла в другой таинственный мир, откуда нет возврата....

Жалкие люди! скупые сердца!!!

Думаю о личном самоубийстве и о погубленной моей жизни... Пора делать расчет по примеру Ани.....

Не в ясное утро, румяной зарей
Вышла она на свой жизненный путь...

Ипп. Разбойщин...

Во всех газетах напечатано сообщение корреспондентов — на Ленских золотых приисках расстреляно 500 человек забастовщиков и их членов семей.... Все только об этом и разговаривают, вспоминают 905-й год и говорят — отольются коту слезы..... Мое резюме: так крамольникам и надо!!!!

К с ч а с т и ю......

Долго думал и наконец надумал — поехать в Москву на курсы... Надоело есть, пить, спать, гулять, читать романы и ничего не делать.... Какой ужасный поступок я сделал, когда умер папа и я отбился от учебы и от своего привилегированного класса....

И так — я решил......

Но прежде, чем поехать в Москву, пришлось со всеми переругаться домашними и не так уж мало перебить посуд... это у нас так всегда, когда колобродит Ипполит Афиногенович Разбойщин... он не может обойтись без этого (всё нервы бунтуют) чтобы не кокнуть что-нибудь из посуд...

Причина ссоры.... мне не давали на учение. Ладя только одно да и то же, что из учения ничего не выйдет не занимаясь уж здесь в Камынске, никогда и ни за что не будешь заниматься в Москве.... Между прочим, делали интересное сравнение... здесь был Откос и Оля Верейская, без которых не мог жить по их словам — что же будет в Москве, там Тверская и Кузнецкий и барышни похлеще Оли.... без которых ты не обойдешься....

Да! нечего сказать, сделав раз ошибку уж довольно трудно разубедить их в убеждениях ко мне.... Они узнали, что я за ягода.

Зная меня я также знаю маму, как поступить в подобных вещах.... достал веревку, сказал, наложу на себя руки и стал бить что ни попало под руки из посуды и из вещей с горки....

Стоит только поскандалить и на другой день я получил от мамы 100 рублей..... Разругавшись вконец с домашними — уехал в Москву учиться.....

Поехал с шиком. Из дома взял свое всё так как уезжал из дома навсегда.....

В Москве остановился у своей тети Вали сестры отца. При всем моем желании остановиться у других — но горе других-то у меня в Москве нет.... На другой день своего приезда ходил на курсы — вернее, ездил на трамвае, пешком слишком далеко.........

На курсах узнал мало утешительного для себя.......

Много причин, по которым пришлось ехать обратно в Камынск......

Не хотелось — но что поделаешь!!?????.......

От конторы никуда не убежишь...... А как меня иногда зажигает лихорадка жизни, я никак не могу мириться с мыслью, что жизнь уходит и пожалуй уйдет бесследно, бледно, тускло....

O! Где большой багаж надежд и грез!!??
O! Мечты — жалкая роскошь бедняка!...

. . . .

Последние записи Ипполита Разбойщина гласили:

Человек предполагает — а Бог располагает.....

Всего ничего два или три дня я начал готовиться на аптекарского ученика.... И что же теперь?... Теперь я поступил в казначейство!!!... Все вышло как в сказке неожиданно и негаданно для меня.... Мама испугалась, что я буду учиться на еврейскую профессию и пошла к Начальнику казначейства Порфирию Петровичу молить за меня.... он сжалился в память моего родителя....

Я очень доволен, что наконец попал туда, куда страстно жаждал, но без чина и на какое жалованье еще неизвестно.... хотя форму носить мне разрешили и мама справила мне новую форму.....

Моя лебединая песня спета.....

Эту заметку я пишу после поступления на службу около трех месяцев... И что же я понял, что больше мне никуда не уйти.... Пойдет жизнь без просвета, без всяких духовных потребностей с чадом будничных дней в неуютной простой обстановке.....

С поступлением на службу в казначейство, расписания дня переменились..... До полчаса третьего занят на службе. В четвертом часу я уже собираюсь идти гулять. Обычно иду за город, по дороге захожу в Монастырскую рощу.... этот парк будит во мне всегда много отрадных чувств.... Изредка показываюсь на Откосе — где со многими встречался из девиц.... Но что эти встречи???? я теперь не могу уже врать, что готовлюсь на аттестат, а с портнишками гулять скучно и стыдно. Часто вижу Олю Вер. — но она не видит меня.... Ах, эти встречи!.. почему каждый раз, как я вижу Олю — я вспоминаю Маргариту?.. обе они — мечта моей жизни, все лучшее, что было в ней....

Я уже давно не брался за страницы — да и что писать?.. все больно и скучно.... Новое только одно — я один раз играл профессиональным любителем в Дворянском клубе....

Жаль, очень жаль, что мне приходится служить с такими мелкими людишками. Требования их малы и

желания плоски.... Говорят, время излечивает раны — тут тоже так было. Прошло месяца два как становится лучше. Я вошел в колею службы... в работе я как бы забывался. Очень мало интересных служит со мною в казначействе!.. Общее бывает только на службе, вне же службы я стараюсь от них подальше.... но иногда бывают положения и другие — это говоря просто тогда, когда пьешь с ними водку.... сослуживцы всегда партнеры....

Водка — это рычаг в казначействе. С ней можно иметь много друзей по службе, а главное конечно она делает многое.... Стоит только, так сказать, угостить кого-нибудь из «беленьких» и дело на мази, напр. я сам... За бутылку я получил прибавку в 5 рублей и расположение...... Да! Да! Больно но приходится сознаться в водке и водка—всё!..

В ней забвение всего у чиновников.... Чем ни начать, перемещение на другой стол, повышение, всё знаменуется водкой.... Неприятность по службе, выговор — опять попойка... Да! Кажется у чиновника нет такого дня, когда бы не было причины выпить... а желание всегда тут как тут... И более всего этого желания бывает по дням праздничным. Отзвуки следов воскресных дней всегда налицо во всем: измятые лица, желтизна дряблой кожи, круги вокруг глаз, праздничные разговоры, зевки невыспанных кутил, самое дыхание чинушей — всё говорит, что над ними «вчерашний тлен, вчерашний прах!»......

К работе привык, конечно к той, которая мне поручена. Между прочим это дело самое милое по казначейству. Милым оно становится еще и потому, что я сижу с Ткацким, Тимофеем Васильевичем, работаем поровну, если он не больше, а это лучше всего.... Правда, он писец, но только штатный, поэтому малыми так сказать пользуется возможностями бить баклуши и чувствовать себя начальником, хотя по отношению ко мне-то он прямой есть начальник... свое начальство он не проявляет.....

И вот по всей возможности я стараюсь уделять казначейству как можно меньше времени... и я бегу от них.... что же в итоге?.. я — один, и около меня нет ни одной живой души... И наконец я решил, что так нельзя, надо найти подругу... в душе было тревожно и пусто...

Выбор пал на Лиду Буркову... с ней я познакомился еще в прошлом году через Исаака Шиллера... Знаком-

ство состоялось за шесть бутылок пива.... Исаак и Иосиф Шиллеры между прочим все время собирались в Америку и мы даже смеялись над ними, называя их «американцами», а теперь пришло письмо, что отец их в Америке умер.... как-то живется там Маргариточке.....

Итак, я знаком с Лидой Бурковой был только шапочно и..... продолжать об этом больно.... не успел подойти к человеку, как все кончено.... не совсем успел создать себе иллюзию — она уже исчезает....

Ипполит Аф. Разбойщин.

Спектакль в городе Рогожске

Я немного остановлюсь на репетициях. Репетиций было всего три и то горевых, как подчас выражаются... Почему? — на это было много причин... главное все дело как-то не клеилось. По поводу репетиций хорошо вернее метко, сказала Софья Ив. Волынская, «что таких репетиций боевых в ее многолетней практике впервые»... Ролей никто не знал, кроме того они не у всех были написаны. Помещения не было — пришлось репетироваться на квартире у Волынской, устраивали по две репетиции, вторая могла только идти шепотом, потому что спала новорожденная дочка Софьи Ивановны, рожденная неизвестно от кого так как художник Нагорный ее со своей башни прогнал за распутство...

Но слава Богу мучения наши кончились. Наступил день отъезда.

В назначенный срок все явились на вокзал к поезду... Все артисты и -стки подъезжали к вокзалу на извозчиках... как же нельзя иначе — шик задавали!!

В 2 часа 17 минут покинули город Камынск и отправились с пожеланием всего хорошего наших знакомых. На станции Горлово должна была произойти пересадка на другой поезд. В Горлове подсело порядочно гимназисток, которые ехали в Рогожск в гимназию к себе на бал.... Черт бы их побери, устроили не вовремя, это сильно отразилось на нашем спектакле, подкузьмили, нечего сказать....

Итак, значит, около этих гимназисток, замечу между прочим были несколько хорошеньких — вертелись с Шиллером вокруг да около, желая познакомиться.... Но увы ничего не вышло, слишком уж застенчивы.

Незаметно с этим беганием из вагона в вагон, играя глазками с гимназистками — приехали в чудный город

Рогожск. Толком не дав осмотреться, двинулись всей компанией на извозчики. Разместились мы все по трио. Я, Шиллер и Жорж Коровкин поехали глазея по сторонам. Увы и ах! я лично вынес не ахти важное представление о самом городе. Ничего особенного. Грязный городишко с неважными постройками, вид привилегированного села... Как пришлось выяснить — публика тоже неважная — кустари да купцы....

Поразило меня только одно — что в таком маленьком городишке все извозчики на резиновом ходу... совершенно не ожидал!...

Миновав свой тяжкий путь, приехали наконец в клуб. Тут тоже пришлось немного поудивляться. Всех поразило помещение... Правда отдавая справедливость помещение замечательное по гор. Рогожску... Паркетный пол.... замечательный партер, шикарная гостиная.... Походя немного, ну не более полчаса по помещению, поудивлялись.....

Начали генеральную репетицию... Проходила неважно, особенно моя роль, но на спектакле наоборот играл лучше всех......

В 7 часов репетиция окончена.... все уселись пить чай и закусывать.... не хватало одной только рюмки водки... На все наши просьбы, хотя по рюмочке распорядитель, он же и устроитель и наш хозяин Жорж Коровкин, по сцене Лев Хрустальный остался непреклонен..... Боялся, что все мы алкоголики, опьянеем от рюмки водки, когда нам было по бутылке или же полубутылке.... Ну не в этом дело — только обещал угостить перед выходом по рюмке, и то по маленькой...

Вывев нас из терпения, решили некоторые идти выпить хотя на свой счет. Буфет их принял с простертыми объятиями, как артистам он сделал им предпочтение.... 2 большие рюмки с горячим пирожком стоили всего ничего..... Воспользовавшись случаем ребята напили там по этой цене чуть ли не по шестнадцать рюмок.... Сумма маленькая, а содержимое порядочное.... Навалились, как черти на падаль....

С этой радостью или же с этим десертом, который им преподнес буфет, поделились и с нами, как первые начинатели.... Просили нас не забыть об этой манне, что она почти задаром.... Предложением их никто не побрезговал... все откликнулись своими карманами... зов манил, звал...

Не долго думая отправились в буфет.... но увы нас ждало разочарование.... тариф на водку повысился по

цене на целые 100 процентов!!! Совершенно понятно, что буфетчик скоро и умно скомбинировал в своей голове, что так не выгодно продавать..... для таких утроб, как наши, правда ничего, буфетчик же мог и разориться.... Над повышением тарифа много смеялись... Нечего сказать!!! пьем хорошо!!!???....

Нечего Бога гневить... в буфет ходили часто перед спектаклем и дальше во время танцев, пили уж с горя.....

Спектакль прошел замечательно хорошо, лучше было уж нельзя.... Вся публика осталась довольна... Дивертисментом же испортили все-все!!!!!?????.... читали пьяными.....

И с этого у нас пошло и пошло.....

Все наши артисты вели себя крайне гадко — подобно мужикам.... Публика стала кричать «жулики, деньги назад!!! хулиганы!!!....». Все, все наши выходки были мужицкие.... выехали со скандалом... Чуть-чуть даже не избила нас рогожская публика, которая ввалилась к нам в уборную чуть ли не 30 человек, требуя извинения на каком основании оскорбил почтеннейшую публику Лев Хрустальный, он же Жорж Коровкин....

Вспоминая все касающееся спектакля, я вывел впечатление не ахти важное.... Вот тебе и собрались поразить чужой город!!! ...Особенно вспоминается — это как нас выгнали из театра.... это стоянка на станции «Рогожек» чуть ли не три часа в холодном вагоне.... скандал из-за билетов между Коровкиным и Шиллером..... встреча рассвета дня в Горлове, где нам пришлось ждать пересадки шесть часов..... Да! и что требовать от любителей?????..... Нечего сказать, камынские просветители!!!.....

Любитель Разбойщин...

Празднование трехсотлетия дома Романовых

На торжество я ездил в Москву....

Причина: страстное желание повидать батюшку-Царя...

На празднование 300-летия приезжал в Москву государь со всем семейством....

Самый въезд государя в Первопрестольную мне не пришлось увидеть: так как поздно приехал. Страшно было досадно. Не пришлось посмотреть этот парадный картеж..... А он действительно был важный судя по

газетным отчетам и по рассказам Коли Бабенина.... Коля поступил служить в столичную полицию по протеже своего папаши....

Проснувшись в 9 часов утра, исполнив утренние обязанности, пожелал посмотреть царя.... Этот день он по газетному расписанию должен ехать в 2 часа из Кремля на Варварку в Палаты Романовых!!!...

Ну увы прежде чем идти он, т. е. Бабенин, у которого я ночевал, должен просить разрешения у начальника в участке.... Слава!!! ему разрешили....

До 2-х часов много времени.... что делать куда деваться???? некуда..... Тогда решили зайти к своему «колыменцу» Володьке Нагорному, старшему сыну художника, бывшему революционеру Пятого года у Молдавского, но его не застали дома, он еще работал на заводе..... завод не распущен даже ради приезда Царя!!!... словно рабочих это событие не касается????!..

Не унывая пошли к другим «колыменкам», к Колиным сестрам Дэки и Родэки, так же не застали дома, они заняты до 12-ти часов в Мюре и Мерилизе... Мы решили их встретить на улице по дороге из Мюра.... встретили и пошли к ним на квартиру, где я немного удивлялся и поражался обстановке их жизни.... обстановка со всех сторон неважная.... я бы от такой жизни бежал без оглядки....

В 2 часа мы уже около Спасских ворот... Народу на Красной площади пруд пруди и всё больше шпиков.... Мы как и все ждем выезда батюшки-Царя.... По расписанию выход совершится в 2 часа..... но увы проходит полчаса, один час, два часа..... и вот уже наконец он совершается......

В 1-й коляске едет он с дочерьми, а за ними громадной вереницей едут « ш и ш к и»....

Итак!!! значит, я видел своего знаменитого Царя-батюшку.... не задаром съездил в Москву.... этим очень доволен!!!... На мой взгляд мне Царь не очень понравился.... Понравилось мне в нем одно, что он как видится не очень смотрит на свой костюм.... Всё на нем просто и без франтовства....

Не понравилось (не очень) мне его лицо, очень пропойное, хотя чисто русское лицо...... хотя надо сказать — из-за полиции я рассмотрел его плохо....

Верноподданный его Величества

Ипполит Razboichin»

. . . .

Глава двенадцатая

ПОКОЛЕНИЕ ПРИШЛО В ЖИЗНЬ

Трехсотлетие дома Романовых праздновалось в мае 1913-го года, и в мае 1913-го года, в годовщину «чисто русского лица» дома Романовых Камынская гимназия выпустила к лучшему будущему и в лучшее состояние первую роту, закончивших восьмиклассное гимназическое образование.

Перед юношами открывались университеты и жизнь.

Первыми воспоминаниями, первыми проблесками сознания Ипполит Разбойщин, ныне казначейский чиновник, ощутил от отца, что в мире существуют «мужики», которых нельзя пускать дальше порога. У Григория Федотова, ныне уже ротмистра, первою памятью остались — денщик навытяжку с задранным кверху лицом и кричащий на денщика отец. Николай Бабенин, ныне полицейский околодочный, запомнил отца, плачущего над ним и над сестрами по поводу того, что все они — покинуты... И Григорий Федотов, и Николай Бабенин, и Ипполит Разбойщин — очень скоро в детстве узнали, что они — привилегированные...

Климентий Обухов запомнил навсегда шум проходящего поезда, беспредельность движения, пространства рельс, причем дали рельс в противоположность откосным за Подолом пространствам никак не были далями одиночества — именно потому, что они уничтожали пространства. Климентий Обухов с самого раннего детства не хотел быть обиженным.

...*Я* родился, *я* увидел солнце... — первая в том поколении ощутила, раньше всех, очень рано, что вовсе она не центр, что все имеют такие ж *я* и даже гораздо весомее, — первой ощутила Анюта Колосова, дочь ткачихи, не вернувшейся из ссылки, в ссылке умершей. Это было совсем не так, как у Андрея Криворотова, который очень трудно определял свое *я*. — Я родилась, я увидела солнце, и я совсем не центр, — это Анна ощутила в ту зиму, когда мать увели в тюрьму, а она, Анна, осталась одна, совсем одна в садовой хибарке Мишухи Усачева. Мишуха жил рядом, он приходил к Анне, он заботился о ней, но все же он имел свои дела. К Анне приходил товарищ, самый дорогой человек, Климентий Обухов, — но и он не мог быть все время с ней. В хибар-

ке было темно и холодно, очень холодно, проходила зима. Анна одна по вечерам затапливала печурку и сидела у огня, не зажигая лампы, потому что не было керосина, грелась и следила за тем, как огонь поедает дерево, рассыпая его золотом пепла, — Анна подолгу бросала в огонь щепку за щепкой... Утром пол в хибарке постилался инеем от порога до постели, и иней поднимался по углам до потолка. Зимние утра были очень просторны. Она была почти еще девочкой, Анна. Она была совсем одна в хибарке. Утром приходил Мишуха Усачев с куском хлеба, — и он говорил, —

— Жизнь прожить — не поле перейти...

И приходил Климентий, иногда с пустыми руками, но иногда так же с куском хлеба, с тем хлебом, который был очень недешев для Климентия, ибо с арестом отца семья голодала, и который именно поэтому был очень дорог Анне, — и всегда Климентий говорил о том, что реально, в действии началось для него в паровозном депо, когда крикнули в темноте, — «чего еще там говорить! гуди в паровоз!» — когда загудел паровоз и началось то, что никогда не кончится и кончится победой...

Утром однажды тогда Мишуха Усачев пришел к Анне почищенный и постриженный, в праздничной бекешке, — он принес Анне новый полушалок, — сказал сурово:

— Собирайся получше...

Они ходили в тюрьму на свидание с матерью. Мать разговаривала с Анной из-за решетки. Этого нельзя забыть, и свежий мозг никогда не забыл, ребяческий мозг не мог понять: человек — мать — за решеткой, человек посажен человеком за решетку, за настоящую, из железных прутьев, как в цирке на масленой за решеткой сидят волки, — этого нельзя забыть, мать — как волк — за решеткой!.. — этого нельзя простить!.. — В тот день Анна и мать видели друг друга последний раз в жизни. Возвращаясь домой, на базарной площади, Анна собирала щепки под аптекой Шиллера, валявшиеся на снегу после ремонта аптеки: не менее необходимым, чем хлеб, было для Анны тепло, огонь, чтобы не замерзнуть. Мишуха Усачев так же собирал для Анны щепки. Анна была в новом полушалке. Они пришли домой. Хибарка заиндевела. Мишуха Усачев и Анна положили дрова у печки. Анна скинула полушалок.

— Ты его где достал?

— Чего?

— Полушалок.
— Купил на базаре.
— Ведь денег-то у тебя нет?
— Это, конечно, уже эдак... нету.
— Пойди, отдай обратно купцу.
— Чего?
— Покупал-то, ведь, — чтобы мне было в чем в тюрьму идти. Мне в тюрьму и простоволосой можно... Продай!.. и... купи хлеба, аржаного-сеянного, на все деньги, половину себе оставь, а половину я маме отнесу, мама очень любит оржаной-сеянный...

В сумерки Анна еще раз ходила к аптеке Шиллера и вообще по улицам — за щепками. Вечером она топила печку, отогревала хибарку, одна, сидела у печного света, грелась, подбрасывала щепки в огонь. Пришел Мишуха, положил в темноте на стол сверток, сказал:

— Я его натрое разделил, сеянный-то, — мамке Клавдии, тебе и себе... Климка сейчас придет, я самовар поставлю, — ты дай ему, сеянного-то!..

Пришел Климентий. Мишуха раздувал самовар, на газетном листке у Мишухи был сахар и была щепоть настоящего чаю.

— Видела? — спросил Климентий.
— Да.
— Ну?
— Похудела. Стоит за решеткой... Улыбнулась, как меня увидала, — смеется...
— Смеется!..

Все трое ели сеянный. И этого — нельзя забыть!.. Мишуха, Климентий и она, — они ели сеянный, который любила мама. Климентий и Мишуха были — товарищами, защитой, любовью. Они ушли. Анна одна покойно легла в постель, в согревшейся хибарке, — и она не чувствовала себя одной... Садовники утверждают, что деревья можно пересаживать только весною и осенью, когда еще не появились листья или листья уже облетели, — и это на самом деле так, если садовник обнажает корни дерева, которое он пересаживает; если ж деревцо переносится с почвою, с землею на корнях, — не надо быть садовником и не надо ждать того времени, когда листья еще не появились иль листья опали... Ныне у Анны Колосовой была вторая жизнь, кроме той, что протекала в математике Никиты Сергеевича и в природных рассуждениях с Фунтиком Мишухи Усачева, уже старика, с которого опали — пер-

вый лист, второй... В этой второй жизни был и второй дом — у Григория Васильевича Соснина, Чертановская школа. И в толстых конвертах у Анны хранилась жизнь. Климентия Обухова. Анна экстерном в тот год кончала гимназию.

Майским утром — Игнатий Моллас, Иван Кошкин, Антон Коцауров, Леопольд Шмуцокс, Исаак и Иосиф Шиллеры, другие — последний раз собрались в гимназии. Игнатий пришел в студенческой фуражке, Исаак и Иосиф — в фетровых шляпах. Леопольд Шмуцокс и Иван Кошкин нарядились в штатские костюмы. Семьдесят восемь лет тому назад юноша Карл Маркс в трирской гимназии, в сочинении на выпускном экзамене писал:

> «Мы не всегда можем достигнуть положения, к которому считаем себя призванными: наши отношения к обществу начались раньше, чем мы сами могли определить их»...

Никто из кончивших камынскую гимназию не знал этой фразы, — никто, кроме Андрея Криворотова, который также пришел за дипломом.

Был май, была весна в природе и в жизни этих камынских гимназистов. Вчера еще надо было одеваться по форме и прятать папиросы в рукав, — сегодня Шмуцокс щелкал новеньким германского производства портсигаром и угощал преподавателей египетскими сигаретами, также немецкого изготовления. Директор Вальде сказал просветительную речь, на тему о том, что жизнь есть борьба, — и назначил день, когда «господа, в данную минуту перестающие быть гимназистами и становящиеся студентами», соберутся с преподавателями и «отцами города» на обед в честь первого выпуска камынской гимназии. От «отцов города» говорил речь князь Верейский. Красочно и кратко приветствовал студентов Павел Павлович Аксаков от имени старых камынских студентов, к которым причислял себя. Длинную речь произнес отец Иоанн, просил не забывать Бога и доказывал необходимость этого главным образом для своей же собственной души, ибо Бог не забывает именно тех, кто его помнит, и именно им оказывает свое содействие... Инспектор роздал дипломы. Директор Вальде — впервые за все годы учебы, ибо по дисциплине это не полагалось — пожал руки студентов.

И юноши были свободны, гимназия осталась позади.

Как по команде, на лестнице в раздевалку все закурили.

Над площадью светило солнце.

Все ощущали неловкость, никто не хотел уходить друг от друга, пошли на Откос. За Подолом лежали громадные пространства, над Подолом и городом лежали не меньшие голубые пространства неба, освещенные солнцем. На скамеечках на Откосе и на соборной паперти под солнцем и солнечные сидели гимназистки, также только что окончившие гимназию.

Поколение готовилось — быть в жизни, — «мы не всегда можем достигнуть положения, к которому считаем себя призванными»... — в то утро никто об этом не думал и каждый это ощущал. Андрей Криворотов не был с «абитурьентами» в Кремле. Моллас собирался поступать на историко-филологический университетский факультет. Шиллеры собирались обойти еврейскую норму и стать врачами. Франт и красавец, первый ученик и ницшеанец Иван Кошкин собирался поступать в институт инженеров Путей Сообщения. Коцауров не знал еще, куда он поступит, быть может, на юридический, быть может, в коммерческий институт. Леопольд Шмуцокс уезжал в Германию, получать германское высшее образование и отбывать немецкую воинскую повинность.

По Откосу дул ветер и пахнул первыми полевыми цветами, медом. Было очень хорошо под солнцем, — и все чувствовали себя неловко, трубки дипломов мешали рукам, трудно было уйти домой и в одиночество.

Поговорили с будущими курсистками. Они — сразу все в длинных и неформенных юбках — так же пребывали в неловкости. Моллас то и дело поправлял университетскую фуражку, Шиллеры насунули шляпы на носы. Иван Кошкин левую руку держал в нижнем жилетном кармане, как Виталий Аристархович Верейский. Было — как на каникулах, когда — и праздник, а неизвестно, куда себя от праздника девать... А празднеств предстояло много: обед в гимназии с «отцами города», обед у Шмуцокса, обед у Коровкина, бал в женской гимназии, бал в мужской гимназии, бал у Кошкиных, — а кроме этого даже свадьба, — женился друг детства Михаил Шмелев-Максим...

Иван Кошкин сказал:
— Отец дал мне на прогул души сто целковых...
— Я тоже имею с собою деньги, — сказал Шмуцокс.
— Может быть, пригласить гимназисток, поедем на лодке или пойдем на Козью горку? — спросил Коцауров.
— К черту! — сказали братья Шиллеры, и Иосиф добавил: — В таком случае лучше в трактир Козлова, в отдельный кабинет!..
— Не стоит, грязно и неэстетично, — сказал Кошкин. — Если выпить, я предлагаю пойти к нам в сад, в беседку, там нам приготовят закусить. Сад сейчас в полном цвету.
Пошли в кошкинскую беседку, пили, пели гаудеамус. Антон Коцауров читал блоковскую «Незнакомку». Приходил в сад Кошкин-отец, Сергей Иванович, в шлепанцах на босу ногу, в жилете, лохматый, — посидел, помолчал, послушал, сказал:
— Как, господа стюденты, коньячку в норму хватает? — а то можно еще выставить, — Ваня, распорядись, угощай коллег... Коньяк с лимоном, — он не пьянит, а сушит....
Сергей Иванович еще помолчал. Антон читал Бальмонта, —

Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...

Сергей Иванович помолчал, послушал, заговорил:
— Вы все о женском поле, я замечаю... Теперь вы народ — стюденты, обо всем можно поговорить... Берегитесь этого дела!.. Я тоже вот, молодой был, хотя уже за тридцать и в хозяйстве, — и сдуру надумал тогда плоты по Волге гонять, плоты там, беляны, костоушки, — и поехал на Нижегородскую ярмарку.... И подвернулась в Конавине мне одна такая... у меня в эту самую девицу все мои плоты, беляны и косоушки в три недели уплыли...
Студенты разговора не поддержали. Сергей Иванович выпил коньяку, помолчал, почесался, ушел. К вечеру студенты были пьяны.
С той ночи, с того гимназического масленичного бала, после которого мать пришла к Леопольду, а Иван Кошкин не пошел к Валентине Александровне и проводил домой Андрея Криворотова, — когда Андрей выпал из дружбы с Иваном и Леопольдом, — дружба Ивана и Леопольда так же иссякла. В этот вечер, пьяные

первый раз в жизни, Иван и Леопольд вместе вышли из кошкинского сада. В одичавшем саду Мишухи Усачева пели соловьи и из сада пахло сиренью.

— Я тебя провожу? — сказал Иван.

— Пожалуйста.

— А может быть мы пойдем с тобою на Козью горку, посидим над рекой?.. давно мы не были с тобою вместе.

Иван говорил очень приветливо, ясный, как всегда. Леопольд насторожился.

— Пойдем, — сказал Леопольд.

От реки внизу шел туман, в тумане кричали коростели. Красностволые сосны безмолвствовали. Зажглись одна звезда, вторая. В деревне Игумново запели девушки.

— Уезжаешь в Германию?

— Да.

— Рад?

— Нет.

Молчали, слушали вечер.

— Ну, вот, гимназия окончена, — сказал Иван, — первый этап жизни позади, детство и юность, — остаются еще молодость, зрелость и старость. Ты рад?

— Не знаю, нет... Я боюсь того, что будет... и боялся, оказывается, всего, что было... А ты? — тебе бывает иногда просто страшно, неизвестно от чего, но страшно... — страшно людей, темноты, самого себя, своей комнаты... бывает?..

— Нет, — и, надо полагать, к сожалению, — ответил Иван. — Если мне и бывает страшно, то только оттого, что ничего не страшно. А твою Германию я приветствую... Она тебе как раз к месту, Шиллер с братьями Моорами давно помер, разумеется, — но вся эта так называемая молодая Германия, — Шиллер, Гете, Кант, Гегель, — даже Маркс...

— Ну, а мне и это страшно. Германия вечных студентов, пива, философии и Гофмана, — этой Германии нет с Сорок восьмого и с Семьдесят первого годов, — осталась Германия Гогенцоллернов, моего папахена и Марксовых внучат, социал-демократов... Ницше — и тот переселился в 907-м году к вам в Россию, ты же в честь него полируешь ногти, занимаешься гимнастикой и... — Леопольд не договорил, смутившись.

— И?.. — спросил Иван.

— И с четырнадцати лет, начав вместе с нами, — помнишь, мы хотели ограбить человека и наткнулись

на конторщика с отцовской фабрики?.. — я хочу сказать, Кошкин, что вместе с нами позаботившись об отказе от совести, при помощи отца с четырнадцати лет ты имеешь любовниц только для здоровья, а для души... Сколько гимназисток плакало от тебя? — и не от тебя ли бросилась под поезд Анна Гордеева?..

— Ну, а ты? — спросил Иван и очень ясно улыбнулся?.. — Молчишь?.. Говори тогда обо мне, я же сказал, что мне ничто не страшно...

Леопольд не ответил.

— Неужели тебе не страшно?.. — шепотом спросил Леопольд. — Ну, вот, сегодня, в одиннадцать часов семнадцать минут, — я нарочно посмотрел на часы, — началась самостоятельная жизнь, — ты ее видишь?

— Нет, — ответил Иван, — или — по совести, очень хорошо вижу, — инженер, миллионщик, бабник, сукин сын и — полированные ногти... и — чтобы шелковое белье... Ну, а ты?

— Я уже ответил.

— Я не об этом... Ты говорил обо мне и Гордеевой, — а ты-то сам?.. Мать едет вместе с тобою в Германию?

— Да.

— Что у тебя с твоей матерью? — Ты не бойся. Со мной не страшно. Я не Андрей Криворотов. А в наших местах нет ничего тайного, что не стало б явным... — Говори о матери.

Туман от реки застилал луга. Запахло сосною, и чуть зашумели вершины сосен. Леопольд молчал.

— Не хочешь говорить?

— Не могу. Поэтому-то мне и страшно...

— Так!.. — сказал Иван, — но поэтому-то, быть может, страшно и мне, я все знаю. Говори. Помнишь, тогда, на масленице, — когда Андрей хотел застрелиться... Это было связано с тобою, я знаю.

— Не надо об этом... я не могу. Поверь мне во всяком случае, что я ненавижу отца — и еще больше, неизмеримо больше ненавижу мать... Поэтому-то мне и страшно!

Замолчали.

— Тогда ясно, — иронически сказал Иван, — теперь уже не мать твоя любовница, а ты — любовник матери, не она тебя устраивает, а ты ее устраиваешь, — или как там? — ну, ей так удобно и нравится...

— Как можешь ты так говорить?! — воскликнул Леопольд.

— А чего ж особенного церемониться? — Мне же не страшно даже правду говорить, вот и все!..

Леопольд поднялся с земли, чтобы идти домой. Абитуриенты возвращались в город молча.

У забора шмуцоксовских елей Иван сказал Леопольду, явно издеваясь:

— Тогда, помнишь, — Андрей Криворотов даже хотел застрелиться — или застрелить тебя, — было бы ужасно глупо!.. — Оказывается, просто на здоровье буржуазного семейства!.. — Ну, что ж, — и на здоровье! — Чего ты боишься? почему тебе страшно?.. — Я никому не расскажу, будь покоен. Я все это знаю никак не от Андрея, он молчит, — я знаю это своими домыслами. Папахен не узнает, а, если узнает? — так ему — во-первых, как мамахен, психологическая нагрузка, а главным образом наплевать, если никто посторонний не знает!.. — Прощай, — приходи пить коньяк!..

Иван Кошкин, расставшись с Шмуцоксом, отправился на Откос. По дороге он встретил братьев Шиллеров. Был час, когда Откос пустовал уже. За собором у «святого колодца» сидел в чиновничьем мундирчике, — сдвинул фуражку на затылок, смотрел в небо, — Ипполит Разбойщин. В двух шагах от него на траве под березой лежал Егор, он же Жорж, Коровкин, он же Лев Хрустальный, прикрыл глаза франтовским канотье. Проходила благоуханная майская ночь. Абитуриенты сели на камни у «святого колодца».

— Чем заняты? — спросил Иосиф Шиллер.

— У Жоржа есть пятерка, а у меня нет, — ответил Ипполит. — Если бы у меня была оная, за рубль двадцать пять я выпил бы у Козлова водки, за десять копеек купил бы папирос, пятнадцать копеек дал бы на чай половому, за полтинник доехал бы до публичного дома на Подол, три рубля отдал бы хозяйке оного, затем, гол, как сокол, на четвереньках приполз бы сюда на Откос, снова посчитал бы звезды и повесился бы вот здесь на перекладине «святого колодца»... но пятерки у меня нет, я просто считаю звезды и, к сожалению, не повешусь... А Жорж отворачивается даже от звезд!..

— Получай десятку, вешайся дважды! — иронически сказал Иван Кошкин и вынул десятирублевый золотой.

— Ты серьезно? — с радостным испугом спросил Ипполит.

— Совершенно серьезно. Для этого требуется только предварительно кувыркнуться, а затем на самом деле повеситься.

— Кувыркаюсь.

— Кувыркайся и получай.

Разбойщин снял тужурку и фуражку, тужурку расстелил на землю, перекувыркнулся на ней, сказал рыцарски:

— В таком случае, милорды, одного из вас я могу угостить программой на мой счет с тем, что он будет вешаться раньше меня и я попрактикуюсь на нем, — а, если кто-либо из вас еще раскошелится на десятку, мы можем образовать римскую квадригу из пятерых, заменив римские термы русским домом терпения!..

Сказал Иосиф Шиллер:

— У нас двоих пятерка найдется, — Ваян, добавляй, пойдем?!.

Кошкин отказался.

Шиллеры, Разбойщин и Коровкин весело ушли. Иван Кошкин долго сидел один на пороге «святого колодца», рассматривая звезды, точно на самом деле считал их.

А на другой день, чтобы управиться до петровского поста, назначена была свадьба Михаила Шмелева-Максима, гонщика и гитариста. На свадьбу были звапы все друзья детства, все поколение.

Со Шмелевым произошли за эти годы чудеса. Дед Артем Шмелев, который каждое воскресенье, возвращаясь на четвереньках из чайной Общества трезвости, изрекал под окнами Кошкина и Криворотова, что, мол, «погодите, люди Божие, погодите, придет час велие гласа Божего!» — старик дед Артем помер в 1908-м году. В тот же год помер и отец Кузьма Артемович. Наследниками вывески — «лужу, паяю» — остались Мишуха со старшим братом Николаем и с матерью. Они и образовали чудеса.

Первый граммофон привезен был в Камынск Сергеем Ивановичем Кошкиным, — первые велосипеды появились в Камынске у Софии Волынской и Елизаветы Зориной-Шиллер, — и вдруг, когда померли дед и отец, Николай и Михаил Кузьмичи Шмелевы содрали вывеску — «лужу, паяю», — призвали каменщиков, выбили стену на улицу между двух окон в нижнем этаже, сделав так называемое венецианское окно, первое в Камынске, — пробили широкую дверь в стене на ули-

цу, — призвали штукатуров и штукатурили дом внутри и снаружи, — призвали маляров и выкрасили дом — снаружи под мрамор, внутри под небеса, — заасфальтировали перед домом тротуар, — повесили в венецианском окне и у парадного газокалильные круглые фонари, как в аптеке. И вывесили вывеску — красными буквами на белом фоне, — краткую и недоуменную —

Максим.

В венецианском окне появились новенькие — велосипед, граммофон, швейная машинка Зингера, по бокам гитары, мандолины и балалайки.

На запертом парадном висела вторая вывеска, так же красными буквами на белом фоне:

Представительство
Лондонской велосипедной фирмы Дукс
Неу-Иоркской швейной фирмы Зингер
Лодзинской граммофонной фирмы Иерихон
Московской музыкальной фирмы Иоргенсон
Дешево, аккуратно, с гарантией
Максим.

В глуби за окном видны были контора и плюшевые кресла, как в фотографии, — мастерская вынесена была на двор, в дедовский коровник, так же оштукатуренный и с проломанною для света стеною. Самоваров уже не лудили. Старший Николай Кузьмич, с тросточкой, в целлулоидовом воротничке, каждый вечер проходил в кино Великий немой, где состоял техническим директором.

Мишуха в гимназии не был. В год, когда появилась вывеска — Максим, — Мишуха был переодет с головы до пят: на голове появилось кепи, невиданное до тех пор в Камынске, на ногах повисли широчайшие штаны до колен, икры стянулись чулками наподобие женских, ступни покоились в совершенно небывалых баретках, в желтых, на шнурках, с подошвою толщиною в книгу. И Мишуха совершенно прекратил хождение пешком: он ездил на велосипеде фирмы Дукс. Велосипед являл собою собранье раритетов, — на нем имелись не только звонок, но и гудок, не только ножной тормоз, но и ручной, разные скорости, разные ходы. Михаил первый организовал в Камынске велосипедные гонки и всегда брал первые призы. Михаил первый привез в Камынск футбольный мяч и сменил лапту на футбол. Он собрал любителей в струнный и духовой музыкальные круж-

ки и играл на всех инструментах, на трубах, на балалайке, на гитаре, на мандолине, даже на скрипке, даже на пианино.

И — не Мишуха уже, а Михаил Кузьмич, давно не Шмелев уже, но Максим — собрался жениться. Невеста найдена была в губернии, дочь губернского агента страхового общества «Россия», окончившая семь классов гимназии. Венчание назначили на три часа дня и — для прогулки — в Лужнецком монастыре. Михаил Кузьмич с утра ходил в сюртуке и пластроне, в полосатых брюках до земли. Пища для свадебного бала выписывалась из губернии, привезена с невестою, привезли даже парниковой клубники. Шафером со стороны Михаила Кузьмича пригласили Андрея Криворотова. Андрей явился в вышитой рубашке, чем нарушил торжественность. Остальные абитуриенты пришли в пиджаках и студенческих мундирах. В Лужнецкий монастырь отправились на пяти тройках. Старуха Максим-Шмелева ехала с иконой на передней тройке, в кружевной шляпе фасона «капот» и в мантилье из черного шелка. Невеста в белой фате и в флердоранже постаралась ступить на коврик перед аналоем одновременно с женихом, для справедливости в будущей жизни.

В пять часов, вернувшись из монастыря, сели за пиршеский стол, на дворе для простора и воздуха. Духовой любительский оркестр, организованный Михаилом же Кузьмичем, играл под управлением Жоржа Коровкина. Столы стояли буквою П, и молодые сидели посреди «П». Пили, ели, разговаривали, орали «горько», слушали музыку. К полночи все были пьяны и забыли о женихе и невесте. Шафер Андрей Криворотов, который очень много шутил, ушел много раньше полночи.

В полночь старухи отвели невесту в спальню и раздели, сняли корсет, который весь день не давал невесте дышать. Спальня помещалась во втором этаже, в дальнем конце дома, выходила в гостиную. Второй этаж пребывал в пустоте, полуосвещенный и безмолвный. Из спальни имелась вторая дверь — через комнату старухи в кухню. Вскоре за молодою женою в спальню прошел молодой муж. За ним пробрался пьяный Леопольд Шмуцокс. В доме было тихо. На дворе одновременно ревели—оркестр «маньчжурскими сопками» и пьяные певцы «стреженью из-за острова». Шмуцокс упал на пол в гостиной против дверей в спальню, куда

прошел Михаил. Шмуцокс стоял на коленях на полу, опустив голову на пол, как в молитве. Шмуцокс плакал, сдерживая рыдания, он шептал:

— Это чудо, это чудо, Ваньхен, это чудо... будь свят, будь свят, Ваньхен, и будь счастлив, будь счастлив!..

Шмуцокс плакал. Крашеный пол был начисто вымыт.

Михаил Кузьмич вошел в спальню, наклонился над женой, потрепал ее волосы, поцеловал в лоб, набил портсигар новым запасом папирос, сказал ласково:

— Устала, маленькая?.. Я пойду к гостям, и так уж насквозь проострились... Покойной ночи, маленькая, спи спокойно!..

Через спальню матери и через кухню Михаил Кузьмич вернулся на двор. Шмуцокс бился истерикой в гостиной.

Весь день и весь вечер, пока молодая жена не ушла, Михаил был трезв, веселый и очень вежливый герой вечера. В за полночь он все же напился. Гости разошлись иль полегли костьми к рассвету. На рассвете в саду на траве сидели двое, Мишуха и Антон Коцауров, товарищи детства. На траве рядом стояли тарелка с селедкою, блюдо с клубникою и бутылка водки. Пили из горлышка по очереди и закусывали клубникой с селедкой.

— Стало быть, жизнь началась, — говорил Михаил Максим. — Озорство!..

— Что озорство?

— А так, все озорство!.. очень весело. Как на гонках — или как в футбол. Как в «Великом немом» под технической дирекцией господина Максима... Я за невестой меньше ухаживал, чем за мамашей, чтобы она к свадьбе шляпку надела, — и пугал мамашу этою шляпкой, небось, больше, чем за всю жизнь жену напугаю... Ты тоже — гимназию кончил, — а проку?.. Сергей Кошкин, сосед, подрядчик, жук вроде моего брата, если бы он теперь начинал свою карьеру, он давно был бы уже каким-нибудь Сержем Котоврасовым, — сын его, Ванюша, — книг начитался, в инженерное идет и будет Министром путей сообщения, вот увидишь, актрисы будут к нему через кухню бегать, ручки ему целовать, а ты будешь играть в оперном театре в оркестре на кларнете... Ни к чему!.. Ты вот будешь историю изучать на филологическом, а мы с братом Николаем подписываем контракт с фирмой Харлей-Девидсон, — будем поставлять на всю губер-

нию мотоциклеты, — катай, дави по всей губернии!.. — у тебя песенка спета, про вас, говорят, еще Карл Маркс написал — через пять лет интеллигенция будет у нас в услужении, разные там эс-эры, — и Ваня Кошкин это понимает... Брат Николай правильно рассудил, когда я в гимназию просился, а он не велел. Кошкин— в столицу, а мы — в губернии...

— Ты в гимназии не был, гимназических курсов не изучал, — сонно говорил Антон, — и поэтому ты не имеешь представления о значении духовных интересов...

— Брось! имею!.. — ни к чему... Тебе ж самому на все наплевать!.. Ну, скажи, — наплевать или нет?..

— Ну, наплевать...

— То-то!.. Поедешь ты в студенты, — четвертной от отца на месяц, а я на мотоцикле в две недели пятьсот рублей выгонять буду.

Птицы в саду свистели до остервенения громко. Водка уже не пьянила. Вкусовая мешанина водки, клубники и сельди казалась нормальной. Солнце еще не поднималось.

...Иван Кошкин вышел на улицу из дома Максимов немного за полночь... Иван прошел на Откос мимо дома Никиты Сергеевича Молдавского, — калитка была отперта, в глуби двора светилось окно Анны Колосовой. Иван долго ходил по Откосу. Он пошел обратно прежней дорогой. Воровски он прошел на двор Никиты Сергеевича. Воровски он постучал в окно Анны.

— Кто там?

— Я, Иван Кошкин. Анна, прошу вас, выйдите в сад.

— Зачем?

— Прошу вас, пожалуйста, это очень важно...

Анна сошла на нижнюю ступень террасы походкою, точно она боялась замарать ноги и замараться даже о воздух. Была она в белом платье, высокая и сильная.

— Что вы хотите от меня?

— Простите, Анна, мне очень неудобно...

— Что вы хотите от меня? — повторила Анна.

— Анна, сегодня мы все, и вы, и я, окончили гимназию, — впереди новое... естественно — подсчитываешь старое... Я хочу знать об Анне Гордеевой...

— Вы же все знаете лучше меня, Иван.

— Я хочу знать о ее смерти...

— И это вы знаете. Вы сошлись с Аней и вы бросили ее, считая, что вы Ницше или — кто там еще?.. — а Аня забеременела от вас.

— Но почему же она не сказала мне об этом?..

— Потому, что она считала вас негодяем.

— И она... она действительно была беременна?

— Да.

— Вы знали, — почему же вы не сказали мне об этом?

— Потому, что я тоже считаю вас негодяем. Я не думала только, что Аня бросится под поезд.

— Извините, Анна!.. — Иван улыбнулся всегдашнею своею ясною улыбкой, — я же, оказывается, стало быть, убийца... Вы это сейчас сказали мне, и, должно быть, с ваших слов об этом начинают говорить в городе, хотя Аня умерла год тому назад и о ней давно забыли...

— Да, убийца. И дважды, потому что, кроме Ани, вы убили еще ребенка, вашего ребенка. Прощайте!..

— Нет, подождите, Анна, — Иван сказал ласковым приказом и едва уловимою угрозой. — Мне не надо доказывать вам, что я ничем не виноват, ибо я был свободен в моих чувствах, — или мы оба виноваты в одинаковой мере, вы и я, тем, что не предупредили случайности, — и вы даже больше меня, так как вы знали о том, что мне было неизвестно... Почему же пошли слухи, что Аня умерла из-за меня, когда об этом никто, кроме вас, не знал, даже я...

— Вы мне грозите, Кошкин? — чего вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы не было сплетни, опасной для нас обоих.

Анна сошла со ступеньки террасы, пошла на Ивана так, что тот попятился, — Анна презренно глянула в глаза Ивана, Иван заерзал глазами. — Вы мне грозите? вы хотите, чтобы я вам и всем на самом деле рассказала правду?.. — Ступайте вон, мерзавец! мне ваша шкура не нужна.

Анна ушла в дом.

За деревьями в небе были бледные и далекие звезды.

В двери за Анной дважды хрустнул замок.

На столе и на окнах в комнате Анны стояли громадные букеты сирени, в стеклянных банках и в ведрах. За тем самым столом, за которым некогда Андрей Криворотов с Леонтием Владимировичем Шерстобитовым зубрил таблицу умножения, сейчас опять

сидел Андрей, когда постучался Кошкин. Анна вернулась к Андрею, когда Кошкин ушел.

— Ты слыхал?

— Да.

— Какой негодяй!

— Не единственный...

Анна писала, когда пришел Кошкин, Андрей сидел около, отдыхая. Вернувшись, Анна стала продолжать писание, письмо Климентию Обухову, — в этот час Климентий уходил или ушел уже в ссылку, — прошлым рождеством Андрей ездил на свидание к нему в Екатеринбург. 4-го апреля прошлого года — в 1912-м — над рабочей Россией прогремели залпы Ленского расстрела. Это началось в той жестокой и иронической «случайности», которая вскрывает закономерности. В жилом бараке на Андреевском прииске жена рабочего Завалина увидела в своей кошелке вместо коровьего мяса, купленного в приисковой лавке, лошадиный половой орган, сунутый вместо мяса приказчиком из приисковой лавки. Был обеденный час, люди ели, — люди перестали есть, иных затошнило, — конина — и тухлая конина — оказалась во многих кошелках. Это стало началом «случайностей». Рабочий Онучин, взяв «мясо», пошел с ним по рабочим баракам. Кроме Андреевского прииска в тот же день остановились — Ильинский прииск, Александровский, Федосьевский, Утесистый, Ново-Васильевский, Нижний Стан, — стали Надеждинские мастерские, — через несколько часов стал Константиновский прииск. Бастовала, протестовала вся Ближняя Тайга. Рабочие писали требования по начальству — небольшие требования, — люди хотели жить, работать и есть по-человечески. Вспомнилось все. Вспомнились каждогодние осенние расчеты и «наемки» вновь, когда люди неделями ничего не получали, стоя у конторских окошек. Вспоминался одиннадцатичасовой рабочий день и «будилка», то есть хожалый, который поднимал рабочих на работу плетью. И штрафы. И карандаш управляющего Белозерова, когда «если хорошо очинен карандаш, хорошо запишет расценку, если сломан — ничего не запишет». И талоны, конечно, ибо только талонами и ни рублем денег — в приисковую лавку — расплачивалась администрация. И расчетные книжки, которых не было. И администраторское мордобитие, которое было. И женская доля, то, как семейных вообще не брали на работу, а если брали, то с условием, —

— Пришли-ка жену, мы на нее поглядим!..

И, если женщина была красивой, мужа брали на работу с тем, что жена будет ходить на постирушки к холостому начальству. Вспомнили жену рабочего Лежаева; беременная, она лежала в больнице; больная, она впала в бессознание; потерявшую пульс, ее снесли почему-то в ледник на лед; ночью на леднике она очнулась и родила, кричала, должно быть, не докричалась, завернула ребенка в свое платье, выбралась из ямы, доползла до двери; дверь была заперта; ее нашли утром замерзшей вместе с ребенком... Люди хотели человечески жить и работать не на штрафы, существовать без талонов и не есть падали... Администрация потребовала зачинщиков, чтоб их арестовать, — «зачинщиков» не выдали. Забастовка тянулась больше месяца. Министр торговли и промышленности телеграфировал 7-го марта командующему войсками Иркутского округа:

> «...крупнейшее золотопромышленное предприятие, и для защиты желающих идти на работу, прошу ваше превосходительство, не признаете ли возможным озаботиться усилением воинской команды...»

Директор департамента полиции его превосходительство Белецкий телеграфировал начальнику иркутского жандармского управления:

> «...предложите непосредственно ротмистру Трещенкову немедленно ликвидировать стачечный комитет...»

Стачечный комитет ленских рабочих состоял из ссыльных большевиков. Стачечный комитет был неуловим. «Желающих идти на работу» — не было. Русско-английское золотопромышленное общество «Лена-Гольдфильдс», хозяин приисков, хозяйничало уже не теми «патриархальными» способами, когда земский начальник Машкевич и пристав Левкоев пороли Алексея Николаевича Широких. Да и рабочие были не те. Телеграммы директора полиции Белецкого и его превосходительства министра Тимашева доказательств не требовали. Жандармский ротмистр Трещенков, «охранявший» рабочих на приисках, — 4-го апреля утром, когда рабочие шли с петицией ко вновь приехавшему прокурору, — отдал приказ — стрелять!.. Стреляли по безоружной толпе. Убили двести семьдесят человек. Ранили — двести пятьдесят. Ротмистр Тимашев издал приказ:

«Настоящим довожу до сведения бывших рабочих Ленского товарищества, что всякие переговоры отныне закончены и что мною, как начальником полиции Витимско-Олекминского района, никоим образом не будут допущены какие-либо насилия, разгромы магазинов, поджоги, порча механизмов и разного рода сооружений, а всякие попытки в этом направлении будут самым решительным образом подавляться».

Расстрел пятисот человек жандарму не казался «насилием»...

Климентий Обухов и Дмитрий Широких, — их немного осталось в заводско-рудничном подполье. Надо было работать, очень много работать — и за себя, чтобы иметь кусок хлеба, и за всех, чтобы не погибнуть, не сдаваться, не отступать. У Климентия было очень мало времени, — и особенно дороги были поэтому вечера у лампы, у книги, с другом и братом Дмитрием; Дмитрий ложился на кровать, руки за голову, Климентий читал вслух; это было священнодействием — приобретение знаний, — Климентий не замечал, что большие знания, чем от книг, ему давала жизнь, знание человеческих отношений, знание того, как добывается кусок хлеба и что он значит для человека, знание человеческих характеров и того, что движет этими характерами.

И был такой вечер, когда Климентий читал вслух Дмитрию. В оконце Климентия условно светила лампа и условно опущена была занавеска, чтобы в окошко могли постучаться — с такими ж, примерно, словами, как сам он, Климентий, приехав сюда, постучался к Фоме Талышкову. И в окно постучался — товарищ из Екатеринбурга. Это было запоздно уже. Товарищ рассказал о Ленском расстреле. Леса на Лене и на Урале росли одинаковые, — оторванность от мира и зависимость от заводчика на Лене были никак не меньшие, чем на Урале, тысяча верст пешего хождения, — и тем не менее рассказом товарища уничтожались пространства. Они вышли на улицу, товарищ из Екатеринбурга, Климентий и Дмитрий. Была ростепель, таял и проваливался под ногами снег. Была черная ночь. Климентий постучал в окошко напротив, — в окне появилась нечесаная голова, вспыхнула спичка. Дмитрий стучал в соседнее оконце. Там и тут загорелся свет в оконцах. Климентий, один, пошел в гору, на Напольную улицу, внизу в домах вспыхивали огоньки, вслед Дмитрию,

вслед Климентию вспыхивали огоньки на горах. Извозной улицей Климентий повернул к директорской конторе. На площади стоял громадный и бронзовый памятник Демидову, князю Сан-Донато тож. По улицам, к площади, к памятнику, одиночками и небольшими группами шли молчаливые и суровые люди, — у памятника выросла тысячная и безмолвная толпа рабочих. Ночь была очень черной, весенне-сырая. Внизу на заводе и вверху на горах у рудников загудели гудки — тревогу. Товарищ из Екатеринбурга нашел Климентия; руки Климентия были в карманах, кулаки сжимались в ненависти, и каждый шаг Климентия был таким, точно он, отрывая ногу от земли, поднимал вместе с сапогом берковцы, — пространства не было. Климентий реально видел кровь ленских товарищей, растекающуюся по талому снегу. Товарищ из Екатеринбурга сказал:

— Ну, что же, Клим, я полезу на памятник, дай мне слово, буду говорить.

В ту ночь стали в протесте против империи рудники и завод.

Климентий не спал ни той ночи, ни две ночи затем, и был за это время дома только несколько минут, ночью, вдвоем с Дмитрием, когда из подполья они вынимали гектограф и, в двух вятских сундучках, отнесли типографию в горы, в подпол лесной сторожки...

На третий день Климентий пришел домой, в сумерки. Комната захолодала. Климентий так опустил занавеску, чтобы к нему никто не стучался. Он принес дров и не затопил печи. В праздничном пиджаке, в штиблетах, подстелив под ноги старую газету, он лег на кровать и лежал с открытыми глазами. Все же, без стука, задами, быть может даже через забор, к нему приходил Дмитрий, как только стемнело. Климентий лежал в темноте.

— Ты не свирепствуй, я на минутку... Ничего не забыли? — может, слазить еще раз под пол?.. — шарят у всех подряд, сейчас у Кондаковых обыскивают и у Даниловых, дня не стесняются, —кто выдает, а?.. — Еще новые приехали жандармы, из Екатеринбурга.

— Я не свирепствую, а ты — уходи. Уходи, сиди дома, — отсиживаться надо, пока не уехали... золотоискатели, сволочи! — Климентий ухмыльнулся. — Иди домой, — помнишь, ты лодки мастак из дерева вырезывать, — иди, лодку, что ли, ковыряй для младших, через

неделю ручьи вовсю потекут... И знай, — голос Климентия стал веселым, действенным, бодрым, — победим, победим, если мы с тобой даже и сидеть будем!.. — Климентий зажег лампу. — Иди!..

Дмитрий ушел. Веселый блеск не оставлял глаз Климентия, хотя были они переутомлены бессонницей. Климентий еще немного лежал на кровати, затем весело поднялся с постели, пошел в сарай, сдирал там топором кору с сосновых поленьев и, вернувшись к себе, на самом деле принялся выдалбливать перочинным ножиком игрушечные лодки из коры, весело, с явным удовольствием, для младших братишек, с мачтами и рулем из лучинок. Соседка — свой человек — прошумела в сенцах ведрами, ушла за водой, вернулась, приперла на ночь калитку, хлопнула щеколдой, убиралась на ночь на дворе, поставила в сенцах ведра, крикнула негромко из сенцев через дверь, —

— Артемыч, картошку-то сам себе поджаривать будешь или мне поджарить? — я все равно затоплять буду... А ты бы протопил, а то захолодаешь! — и добавила шепотом, нараспев: — А по нашей улице двое сейчас проехало, верхом, нездешние гады, к конторе поехали.

— Немного погодя затоплю, — ответил Климентий. — Сам поджарю... Если к нам придут, отпирай безоговорочно, только замешкайся немножко, если у меня печка будет гореть.

Климентий затопил печку. Он так сел к печи и столу, чтобы одним движением можно было сбросить со стола в печь — все, что нужно. И Климентий стал писать Анне. Глаза его были веселы. Он писал о том, что было на рудниках и на заводе за эти три дня. Одновременно с писанием Климентий жарил картошку. В конце письма Климентий вспомнил о том, как он и Анна, еще в Камынске, жаривали картошку в саду Мишухи Усачева. Написав письмо и заклеив его в конверт, Климентий опять ходил в сарай, прислушивался к шорохам окрест и спрятал письмо в сарае в потайное место за погребичным срубом, в цинковый ящик, где найти письмо можно было б, лишь перекопав всю землю в сарае и где хранились письма от Анны.

Наутро Климентий пошел на работу к мартену в медно-литейный цех, литейщик. В ту волну арестов ни Климентия, ни Дмитрия не взяли, но партия на Вешкенском опять была разгромлена, где-то в партии был провокатор. Письма в те годы для таких, как Климен-

тий, и письма Климентия к Анне в частности, были не только вестью друг о друге, любимого и любимой, не только видом общения, — но поддержкой в одиночестве, уничтожением пространства, залогом бодрости, вольной философской академией и дополнением к образованию опыта...

Что такое Ленский расстрел для рабочей России — да и для Российской Империи, — Григорий Васильевич Соснин и Анна знали так же, как Климентий. В конце апреля, — Григорий Васильевич перештыковывал землю у себя в пришкольном огороде, — впервые после 907-го года к забору подошел деповский рабочий Николай Воронов, младший брат того Воронова, который погиб после Пятого года, — постоял у забора, побеседовал о том о сем, сказал, —

— Маевку мы собираемся организовать, первое мая отпраздновать в память ленских товарищей. Ты как, Григорий Васильевич?

— Надо. Приду. Буду.

— Так как, Григорий Васильевич, полагаешь, — все депо поднимать или как?..

— А много ли вас?

— Нас-то?.. — Да как сказать, — и все, и нету никого. Организации у нас пока еще нет... Надо подумать...

— Надо подумать. Видишь, вон, в поле березка, — затемно один приходи туда, поговорим... Депо, я думаю, поднимать не придется...

Тридцатого апреля лил дождь, дул промозглый ветер, — закат предвещал дождь и на первое мая, — и в ночь под первое мая отпраздновать рабочий май собрались одиннадцать человек. Если бы не было дождя и если бы кто-нибудь из детишек сидел около поста на тумбах, можно было б видеть, как видел некогда Андрей Криворотов, как в соляной амбар одиночками проходили люди, в темноте их платья сливались с землей, но головы их поднимались над горизонтом... Кроме рабочих из депо в соляном амбаре были две работницы с фабрики Шмуцокса, Григорий Васильевич Соснин и Анна Колосова... И первого мая тогда, на рассвете, вернувшись из соляного амбара, Анна писала Климентию.

В конце сентября на собрании в соляном амбаре появился новый человек — гимназист Андрей Криворотов. С того времени, как Андрей перечитал в библиотечной комнате Чертановской школы книги, пролившиеся на него — теперь уже совсем не так, как «гроза» Пятого

года, — на самом деле весеннею грозой и ставшие для Андрея вторым рождением, — с тех пор не было дня, чтобы Андрей не встречался с Григорием Васильевичем иль Анной, но так, что об этом никто не знал. С гимназистами Андрей был только в классе. Андрея не видели ни в кино, ни на Откосе, — и даже братья Шиллеры не знали, как можно было бы посплетничать об Андрее. У Андрея появились совершенно новые дела и люди. Андрея можно было бы видеть идущим к станции в пристанционный поселок, где жили рабочие из депо, можно было б видеть идущим на зады Марфино-бродского поселка... Вокруг площади в Кремле жили — надворный советник Бабенин, князь Верейский, жандармский подполковник Цветков — «победители», — караулили Империю и разъезжали по деревням со столыпинскими землемерами, — жили герр Шмуцокс и подрядчик Кошкин, — камынская провинция лежала под колпаком снегов и «надворного советника» Бабенина, — и в глубоком подполье — рабочий Воронов, рабочий Шейн, еще семеро из депо, весовщик Архип Семенов и еще двое с разъезда Уваровский, Елизавета Пронина и Лукерья Бобылева с фабрики Шмуцокса, Григорий Васильевич, Анна, Андрей, один-единственный человек из гимназии... Пути революционного подполья — неисповедимы были: иногда вести от ЦК приходили сначала в Самару, оттуда в Тифлис, из Тифлиса опять в Самару, в Симбирск и из Симбирска в Москву, — пространства были препятствием и пространства препятствием быть не могли. Андрей вдруг стал первым учеником в классе, обогнав Кошкина, — и на уроке латинского языка, в конце урока, в конторский серый денек, образцовый гимназист Криворотов попросил слова у латиниста и директора Вальде, —

— Через несколько месяцев мы кончаем гимназию, и каждый из нас, естественно, думает о своем будущем. Я собираюсь сдавать конкурсные экзамены в горный институт, я читал об этом книги, это очень интересно. Но я ни разу не видел ни гор, ни металлургических заводов. И я хотел бы спросить, не могли бы вы, Евгений Евгеньевич, написать директору Екатеринбургской гимназии, так как я никого не знаю в Екатеринбурге, чтобы гимназия или кто-либо из гимназистов мне помогли посмотреть екатеринбургские заводы... Может быть, кто-нибудь из моих одноклассников также хотел бы поехать со мною?..

Одноклассников, хотевших ехать в Екатеринбург, не нашлось. Директор Вальде признал мысль Андрея здравомысленной. Андрей знал уже, что в человеческом мире — два мира, — и не только сознавал, но ощущал смысл фразы, некогда сказанной Леонтием Шерстобитовым, —

— Это верно, правду, — сказал Леонтий Владимирович, — да только правда-то не для всех одинакова. Другу, товарищу, с которым у тебя одна правда, говори всегда все до конца, иначе — предатель. Врагу никогда ничего не говори, иначе — опять предатель!..

Андрей ехал из камынского подполья к Климентию Обухову искать связей, посланный товарищами. На вокзале в Камынске провожали Андрея Григорий Васильевич Соснин и Анна, кроме родителя, довольного тем, что сын взялся за науки и ум, по определению родителя. Екатеринбург лежал под тяжелым небом на некрутых холмах, большое село с каменными усадьбами заводчиков. На вокзал за Андреем приехали два гимназиста в шинелях на кенгуровом меху, сын директора Екатерининской, старейшей в Екатеринбурге, гранильной фабрики с товарищем, сыном горного инженера, присланные гимназическим директором. У вокзала ожидала кошева. На Андрея накинули енотовую шубу, мороз был тридцать два. Андрея повезли на квартиру директора гранильной фабрики, штатского генерала и горного инженера. По дороге гимназисты сообщили, что послезавтра Андрея везут на медвежью охоту, а вся святочная неделя пройдет в балах, в Екатеринбурге и на окрестных заводах. Андрея ожидала ванна и отдельная комната. Посреди города плотина запрудила озеро, ныне во льдах. Окна Андрея выходили на озеро. За плотиной, под озером на несколько этажей в землю, разместилась гранильная фабрика времен императрицы Екатерины. Ее первую показали Андрею, после завтрака со свежими огурцами. Старики в очках — в подвалах фабрики — в пояс кланялись гимназисту, директорскому и генеральскому сыну...

Андрей и Климентий встретились, как условлено было еще из Камынска, на екатеринбургском вокзале, в толпе, в сараеобразном и грязном третьем классе, — они не видались пять лет.

Андрей встретил высокого, широкоплечего человека в аккуратном пальто английского покроя, в высокой, под котика, шапке, подобранного и покойного.

Климентий улыбнулся издалека свободной и очень покойною улыбкой, обнажив крупный ряд отличных — и добрых — зубов, снял с правой руки перчатку, приподнял шапку левой рукою, держа в ней вместе с шапкой перчатку. Волосы он зачесывал на косой пробор, и они были аккуратны, очень светлые. Климентий протянул руку округлым жестом, свободным и чуть озорным. Мозолей на руке не было, но рука показалась каменной, большая и белая. Лицо было крупночерто, белое, большое, покойное, умное, очень подобранное. Климентий не выглядел юношей. Климентий шапкой поправил прядь волос и надел шапку.

Климентий встретил худоплечего и не очень здорового человека, безразличного к своей шинели, некогда аккуратной, ныне заброшенной, и к мятой гимназической фуражке, которую он забыл снять, здороваясь. Он забыл улыбнуться, увидев Климентия. Его глаза смотрели сосредоточенно и очень ласково. Он был сухолиц и смугл, и прежде времени меж бровей вверх прошла морщина, делавшая лицо и пасмурным чуть-чуть, и чуть-чуть удивленным. Андрей забыл улыбнуться, но глаза его стали вдруг — и ласковыми, и озорными. Он подал свою сухую руку, отодвинув сначала локоть далеко назад и выкинув затем руку — углами — далеко вперед. Глаза Андрея вновь насторожились, и он оглянулся кругом ироническим взглядом.

Климентий перехватил этот взгляд, — он был таким же, как в детстве, — и Климентий сказал, —

— Помнишь, ребятишками мы лазили по садам за яблоками, ты залезешь к Кошкину на забор и сидишь там, соображая, куда сползать, по ту сторону или по эту, сюда глядишь — глаз озорной, туда глядишь — глаз осторожный, внимательный, взвешивающий...

Андрей рассмеялся и понял, что Климентий — попрежнему — старший, — и это ощутилось, как очень приятное, дорогое от детства и нужное сейчас.

Вышли на привокзальную площадь, в мороз, Климентий окликнул извозчика, и глубокие сани поползли в гору на окраины к одиноким соснам и к тесным трехоконным рабочим хибаркам. В незнакомом доме, тепло натопленном и пустом, в незнакомой столовой с отлично крашенными полами и светлыми занавесками на оконцах, где на среднем оконце у плющей висела клетка с щегленком, — Климентий и Андрей остались наедине.

Климентий не был арестован сейчас же после Ленского расстрела, но круг его товарищей все суживался, где-то рядом ходил провокатор. Климентий и Дмитрий Широких оставались почти последними, уцелевшими на Векшинском. Третьего дня были обыски и у Климентия, и у Дмитрия, — ни Климентия, ни Дмитрия случайно не было дома, — типография в двух расписных сундучках, с которыми вятичи ездят на промысла, хранилась в камере ручного багажа на станции Екатеринбург. Климентий и Дмитрий приехали в Екатеринбург вчера, — от всех их явок уцелел только этот дом, в который Климентий привел Андрея, установив, что с вечера вчера и с утра сегодня дом безопасен. Провокатор ходил рядом, по пятам.

— Ну, так, — сказал Климентий и улыбнулся просторной, как определил Андрей, покойной улыбкой. — Мы здесь свободны. Давай говорить... Установить связь? согласовать действия? получать литературу?.. Хорошо. Я сговорюсь с товарищами... Ты говоришь, у вас удобнее всего с улицы постучать в крайнее к воротам окошко, в чертановской школе, и спросить: — «учитель, как пройти на станцию?»... — Хорошо... И вот тебе адрес, запомни, повтори, нигде не записывай, — Москва, Малая Бронная, семь, зубной кабинет Шлейфер, женщина зубной врач Шлейфер, ей сказать, сидя в кресле: — «зубы у меня не болят»...

Теоретических разговоров не было. Не было и воспоминаний. Климентий ни словом не обмолвился о том, что третьего дня у него был обыск. Андрей хотел напомнить о последней их встрече — о прощании в Камынске, когда обоим казалось, что они расходятся навсегда, —и не улучил для этого минуты. Климентий говорил уже без улыбки, негромко и медленно, о совершенно конкретных делах, и складка на лбу Андрея становилась все глубже, он наклонился к Климентию, чтобы слушать. На самом деле для воспоминаний не было времени, и у Андрея не было ничего такого, что следовало бы рассказать о себе.

— Черт его знает, — сказал Андрей, — какими колесами приходится ездить, — надо было заехать в Екатеринбург, он уже в Азии считается, чтобы найти адрес в Москве...

Климентий улыбнулся — опять просторною своею улыбкой, — но глаза его на секунду стали отсутствующими. Он сказал медленно, раздумывая и решая:

— А, ведь, на самом деле... Вот, что, Андрей, — и заговорил твердо, решенно: —Ты даешь мне или тому, кто подойдет к тебе, на вокзале, за четверть часа до отхода поезда, твой билет, — багажом я пошлю с тобою два ящичка. Если тебя будут провожать твои директорские гимназисты, ты можешь сказать им, да ты можешь сказать им и предварительно, за день до отъезда, что ты купил себе на память два вятских сундучка с коллекцией минералов, такое продается на станции, и ты их отправляешь прямо в багаж... Спрячь их в Камынске, хотя бы в соляной амбар... — И Климентий опять просторно улыбнулся. — В этих ящиках — типография. Я или кто-нибудь из товарищей дадут знать, что с ней делать, а, может быть, пока она пригодится и в Камынске, ты и Анна сами будете печатать. — Климентий впервые назвал имя Анны.

Климентий поднялся со стула, подошел к окну, заглянул на улицу, привычно поправил волосы, — сказал:

— Вот, никто, кажется, ни один поэт и ни один беллетрист не взял специальною темою — окно, просто — окно... А на эту тему можно написать целое историческое произведение. Ломоносов написал же оду о стекле, не шути... — Климентий снова глянул за окно и поправил плечи, разминая их. — Условлено. Пойдем, я тебя провожу. Поцелуй за меня Анну и Григория Васильевича, — да и Никиту Сергеевича так же... Ты думаешь, мне не хочется расспросить тебя о всех о них? — и вообще поговорить, как мы мальчишками про Тараса Бульбу разговаривали?.. — очень хочется!.. — Давай, обнимемся на прощание, — ты на самом деле стал похож на Леонтия Владимировича, мне Анна писала... Пойдем, я тебя провожу, тебе к завтраку пора к твоим дирекционным гимназистам. Пока что мы с тобой больше уже не увидимся до вокзала...

Действительно, гимназисты на квартире директора-горного генерала ждали Андрея с завтраком, с тем, чтобы сейчас же после завтрака ехать за тридцать верст от Екатеринбурга — на тройке цугом, на меднолитейный Векшинский завод, — не для того, чтобы осматривать завод и рудники, но на бал у тамошнего директора.

Климентий решил не возвращаться на Векшинский, пока не отправит типографию. Вечер Климентий и Дмитрий просидели на галерке театра. В том доме, куда утром Климентий приводил Андрея, ночевать было уже неосторожно, Дмитрий нашел знакомую вдо-

ву, раньше жившую на Векшинском, дом которой был вне подозрений. Вдова тоже ходила в театр, разволновалась, расстроилась, — вернувшись из театра, угощала водкой Климентия и Дмитрия, сама выпила больше всех, сидела с Дмитрием за столом, друг против друга, своими словами рассказывала содержание «Грозы» Островского, той пьесы, которую она только что видела в театре вместе с Дмитрием, и пела, плача, полагая, что она — Катерина. В соседней каморке Климентий писал Анне — легальное письмо — о провокаторах, — он не находил слов для — этих, больше, чем убийц, больше, чем воров и трусов, которые продавали за деньги товарищей, говорящих одни с тобою слова, разделяющих твой дом и твой хлеб, твои идеи и твою совесть — и продающих их... В соседней комнате пела, плача, одинокая женщина, вдова, которая чувствовала себя Катериной Кабановой... Дмитрий пел вместе со вдовой и, не менее упорно, чем Климентий, думал, — кто? кто провокатор?!

Типография была отправлена с Андреем.

В тот же день к вечеру Климентий и Дмитрий вернулись на Векшинский, и ночью оба были арестованы. И в Векшинском застенке при полицейском участке на дворе пожарной команды, и затем в Екатеринбургской тюрьме были товарищи. Провокаторы, кроме всего прочего, легко познаются путем перекрестного опроса: семь человек знали о том-то, и это вскрылось, стало быть, один из семерых был провокатором; но четверо из этих семерых знали уже о другом, и это не провалилось, стало быть, здесь провокатора не было; а пятеро, из которых двое были от прежней семерки, но в четверке не были, знали уже о третьем и это третье провалилось, — быть может, один из этих двоих от первой семерки провокатор? — где были эти двое, что делали они, что они знали и что шло по их пятам? — этот был с этим-то, и они провалились, но он не был с теми-то, и те уцелели, — этот знал то-то только от Ивана, и Иван сидит... Векшинский провокатор был найден, — векшинский, он же екатеринбургский. — В тюрьме были товарищи, но и за тюремными стенами тоже были товарищи, письма от товарищей приходили с воли и письма уходили на волю к товарищам, в глубочайшем подполье, конечно. И с воли Климентию написал провокатор, прикидывавшийся братом и другом, — провокатор спрашивал, где типография, ибо она нужна для даль-

нейшей работы, и он, провокатор, предлагал свои услуги, как типограф, — Климентий ответил провокатору: 27-го мая, в 10 часов вечера или сейчас же по приходе сибирского поезда, в России, около разъезда Затишье, по дороге в сторону города Рогожска, в двух верстах от станции, вправо от полотна железной дороги, в овраге у заброшенного моста, — он, в соломенной шляпе, получит типографию от знакомого и известного в лицо человека. В тюрьме были товарищи — и за тюремными стенами так же были товарищи, письма приходили с воли и уходили на волю, в глубочайшем подполье.

27-го мая была свадьба Мишухи Шмелева, он же Максим. Андрей был шафером в память общего босоногого детства. Анны не было на свадьбе. На свадебном пиру Андрей не остался. По дороге со свадьбы он заходил к Анне, ее не было дома. Одна из дверей в один из подвалов соляного амбара обвалилась окончательно, засыпала щебнем вход: из другого подвального помещения замаскированный ход вел в то подполье, дверь в которое обвалилась; ни единая щель не пропускала в подземелье и не выпускала оттуда — ни света, ни звуков. Там была типография. С десяти вечера, когда стемнело, до полночи Андрей пробыл в подполье. Майская ночь полегла на землю всем своим весенним благословением. Сна не было, Андрей пошел к Анне, отдохнуть и поразговаривать. Анны не было дома, Мишуха Усачев сказал, что она обещала быть никак не позже двенадцати. Никита Сергеевич затворился уже у себя в кабинете, в мезонине, — Андрей пошел в сад и сидел в саду, с Мишухою Усачевым. Цвела сирень, и сад пахнул сиренью. Анна вернулась к часу ночи, она пришла домой через сад, в белом платье, как яблоневый цвет. Она была очень бодра, никак не уставшая, все эти дни после экзаменов, — казалось, она жалела каждый час жизни и ничего не хотела откладывать ни на час. Андрей и Анна прошли в комнату Анны. На столе и на окнах стояли громадные букеты сирени, в стеклянных банках и в ведрах. Анна села к столу, положив руки на стол. Они и, должно быть, ее мысли были бодры, как запах сирени. Анна весело тряхнула косами.

— Мне хочется, Андрей, писать Климентию, — можно при тебе?..

— Пиши, конечно.

Вскоре постучал Иван Кошкин. Андрей спрятался за занавеску, чтобы Кошкин его не видел.

— Ты слыхал? — спросила Анна, вернувшись.

— Да

— Какой негодяй!

— Не единственный...

Анна села к столу, чтобы продолжить письмо, — и прервала писание, откинулась на спинку стула, далеко вперед протянула руки, опустив их на стол, глаза смотрели далеко вперед.

— А знаешь, Андрей... Этот негодяй приходил ко мне, потому что он трус и убийца... — Анна помолчала, глядя далеко вперед. — И знаешь, я сегодня убила человека — вот этою моею рукою! — И Анна ласково глянула на большую, сильную, красивую свою руку, обнаженную до локтя.

В половине седьмого в тот день, положив четыре версты на час и полчаса на отдых, Анна вышла из дома и пешком, одна, пошла на полустанок Затишье, в белом платье, в белом платочке, с узелком в руках. За чертановским полем она вошла в лес, шла лесною тропинкой, совсем у тропинки цвели ландыши. Лес пахнул медами, тесною стеною стояли березы. Нельзя было опоздать, и она шла бодрым шагом. Все же раза два она срывала ландыши и лесные колокольчики, только что расцветшие. Начало смеркаться. В сосняке прокричал сыч. Из леса Анна вышла в поле, где утихали последние жаворонки, вместе с солнцем. Вдалеке в поле у Затишья загорелись огни. С поля пахло первым картофельным цветом. В небе вспыхнули первые звезды. — Сюда, в этот осиновый овражек, должен был прийти тот... Ни разу, ни на секунду не думала Анна о том, что она — вот тем револьвером, который, вместе с хлебом и с двумя яйцами вкрутую, был завернут в узелочке, — она должна убить человека, потому что она знала, что должна пристрелить гадину, переставшую быть человеком. Она никогда не видела этого человека, — она до мельчайших подробностей представляла себе лицо предателя в соломенной шляпе.

Вдалеке прошумел поезд, отошел от станции. Анна вынула из узелочка револьвер. Было еще свободных десять минут. Она села на траву, около осины, рядом цвела ромашка, Анна стала обрывать лепестки. Высоко в небе светило уже много звезд. Рядом на дне овражка в ольшанике запел соловей, совершенно неожиданно.

С насыпи в туман овражка к соснам спустился человек в соломенной шляпе и в осеннем пальто. Это был он, провокатор, харкотина, гадина. Анна сбежала от

опушки вниз в овражек, к ольшанику, к лесному мосту, — навстречу предателю. Он увидел Анну и остановился. Обе его руки были в карманах, плотно прижатые к телу, — Анна поняла, что правая его рука сжимает револьвер в кармане, что все сейчас только в том моменте, кто первый выстрелит. Анна не допускала мысли о смерти для себя. Она бежала навстречу, не стреляя. Тот выхватил револьвер. Анна выстрелила. Тот заулыбался из-под шляпы — мокрой, презренной и виноватой улыбкой, — и сел на землю, выронив револьвер. Анна выстрелила второй раз в улыбающееся лицо, и ей показалось, что даже звук выстрела был наполнен презрением. Соломенная шляпа свалилась.

Анна пошла прочь походкою, точно она боялась замарать ноги и замараться о воздух.

— Ты понимаешь это, Андрей?.. — этот, эта... из-за него сколько товарищей пошли на каторгу и по ссылкам!..

— Почему ты этого не поручила мне?

На рассвете Анна и Андрей вышли из дома в сад. На землю садилась роса. Восторженно цвела сирень. На Анне было белое платье, как яблоневый цвет. Анна шла по дорожке к обрыву с раскинутыми руками, руки касались яблоновых ветвей, на голову падала роса. Впереди за обрывом предупреждался рассвет.

И в этот же час, за несколько тысяч километров на восток от Камынска, в Сибири, солнце было уже высоко в небе. Всю ту ночь лил дождь и дул ветер. Рассвет открыл просторную и понурую реку, понурые горы со снегом в лощинах, холодное небо и замызганный дощаник у берега. Дикая река катила волны и льдины. На рассвете над рекою кричали дикие гуси. На дощанике, на корме и на носу, стояли, опершись на штыки, и стоя спали часовые. На дне лодки, вповалку, скорченные от холода и дождя, сидя и лежа, так же спали люди, мужчины и женщины. Каменный берег казался таким, по которому никогда не ступала человеческая нога. Пора была — то снег и дождь, то солнце, — весенняя пора на севере. Сейчас же за рассветом из щели над горизонтом, из-за свинцовых туч глянуло солнце.

Из-под досок на корме дощаника, укрывавших от дождя и ветра, вылез унтер-офицер, помочился в воду за борт, ткнул в бок часового, спавшего, опираясь на винтовку, вобрал в легкие воздух и крикнул что есть мочи:

— Подымаайсь!..

В горах откликнулось эхо.

— На перекличку! на молитвуу!..

Со дна лодки поднимались люди, сорок человек мужчин, семь женщин. Женщины стояли отдельно, — и они были особенно неприспособлены к этим местам, в шляпках, иные в городских туфлях, — во всем том, в чем взяты были в отчаянно-далекой «европейской» России. Все, не только женщины, но и мужчины, и мужчины-солдаты дрожали от сырого озноба.

Унтер расправил усы, поправил фуражку, одернул шинель, вынул из-за обшлага на рукаве мокрый и затрепанный лист бумаги, вобрал в легкие воздух, рявкнул:

— Аладьин!

— Есть.

— Воскобойников! Вульф!

— Здесь. Есть.

— Обухов!

— Есть.

— Широких!

— Здесь...

Унтер еще раз вобрал в легкие воздух, гаркнул, тряхнув эхо:

— На молитву!.. Смирнаа!..

На корме дощаника запели солдаты:

Отче наш, иже еси на небесах...

Ссыльные молчали.

Солдаты пели:

Боже, царя храни, — сильный державный царь
православный...

Ссыльные молчали.

Дикое солнце глядело на дощаник и на горы. Льдины на реке казались под солнцем красными. На берегу на камнях жгли костер, ели мокрый черный хлеб, грелись и сушились...

Затем дощаник поплыл. Минусинск был уже позади. За одним веслом двое, сидели Климентий Обухов и Дмитрий Широких, рабочие Векшинского рудника, пошедшие в ссылку на Енисей по делам социал-демократической, большевистской партии.

Климентий весело греб — и он спросил весело Дмитрия:

— Как думаешь, эти места станут человеческими — через триста лет или через десять?

— Обязательно через десять! — так же весело ответил Дмитрий Широких.

— Ну, десять не десять, а лет через двадцать, двадцать пять, — во всяком случае под нашими руками и при нашей жизни, — здесь пройдут телеграф и электричество, здесь будут города и заводы, человеческая жизнь!.. — и будет человеческое веселье.

С кормы от руля крикнул унтер:

— Это что такое еще за веселье?! — не разговаривать!..

Карл Маркс в Лондоне — 15-го сентября 1850-го года, после роспуска Союза Коммунистов, — одновременно с этим роспуском потерял последнюю связь с общественной жизнью Германской родины — началась жизнь в Англии, в стране изгнания, и длилась двадцать три года — последних двадцать три года жизни Маркса. Германская «родина» — всем, чем могла — хотела выкинуть имя Маркса из памяти германского народа. Казалось, он был одинок. Тогда — единственная, ни с чем не сравнимая, — ясно обозначилась дружба Маркса и Энгельса, на самом деле, не имевшая сравнений. Освобожденная от человеческой скудости, теснейше сливавшая мысли и творчество товарищей, тем самым она освобождала индивидуальность каждого и помогала каждой в отдельности человеческой сущности. По существу говоря, Маркс жил в Британском музее, он уходил туда утром и приходил домой, когда музей запирался, когда дети уже спали. Дети называли отца — Мавром, отец говорил, что —

«дети должны воспитывать родителей».

В апреле 855-го года у Марксов умер сын Эдгар, которого дома звали — Мушем, единственный мальчик в семье. Маркс писал Энгельсу:

> «Бедного Муша не стало. Он уснул (в буквальном смысле) у меня на руках сегодня между пятью и шестью. Никогда не забуду, как твоя дружба облегчила нам это тяжелое время. Мою печаль о мальчике ты, конечно, понимаешь»...

Тою же весной заболел и сам Маркс, и не переставал хворать до смерти... Одни друзья молодости уходили в министры, другие — друзья идей — в могилу, умер Веерт, умер Шрамм, — и многие, многие уходили в живых мертвецов. Живые мертвецы смердили. Карл

Фохт, товарищ по революции 48-го года, издал книгу, где описывал Маркса главою шайки бандитов и вымогателей, — так писалось не в первый и не последний раз...

28-го сентября 1864-го года в Лондоне, в Сент-Мартин-холле основалась Интернациональная Рабочая Ассоциация — Первый Интернационал. Маркс был его мозгом, — «великий ум» Интернационала. По миру зашептали и закричали о «миллионах Интернационала», — за первый год бытия весь бюджет Интернационала составлял триста тридцать фунтов стерлингов, меньше трех тысяч трехсот рублей, собранных между организаторами, — в июле 65-го года Маркс писал Энгельсу, что в течение последних двух месяцев вся его семья просуществовала исключительно за счет ломбарда. Газеты орали «о тайных происках Интернационала», — Бисмарк, прусский канцлер и умнейший в Европе королевский, а затем императорский чиновник, — Бисмарк подсылал холуев, чтобы подкупить Маркса, — Бонапарт судил французских членов Интернационала, — испанский король предлагал через своих дипломатов образовать европейскую коалицию против Интернационала. Интернационал назван был «исчадием ада», — на самом деле базельские фабриканты посылали «своего человека» в Лондон для секретного расследования, каковы денежные средства Генерального Совета, — а католики справлялись у папы, не стоит ли ввести молитвы против Интернационала, предав его проклятию? «Таймс» сравнивал секции Интернационала с первыми христианскими общинами, и Маркс шутил по поводу базельских фабрикантов, —

> «Если бы эти правоверные христиане жили в первые века христианства, они бы прежде всего стали наводить справки о банковских кредитах апостола Павла в Риме».

Маркс писал Энгельсу 13 февраля 866-го года:

> «Вчера я опять слег... Если бы семья моя была обеспечена и моя книга закончена, то для меня было бы совершенно все равно, сегодня или завтра меня отправят на живодерню, — другими словами, — когда я подохну. Но при вышеупомянутых обстоятельствах мне этого еще нельзя себе позволить».

И писал неделю спустя:

«Врачи правы, говоря, что главная причина повторения припадка — чрезмерная ночная работа. Но не могу же я объяснить этим господам, — да это было бы и бесполезно, — что меня вынуждает к таким излишествам».

Маркс работал в Интернационале и над «Капиталом», — и в апреле 867-го года он писал:

«В прошлую среду я выехал на пароходе из Лондона и в бурю и непогоду добрался в пятницу до Гамбурга, чтобы передать там г. Мейснеру рукопись первого тома. К печатанию приступили в начале этой недели, так, что первый том появится в конце мая... Это, бесспорно, самый страшный удар, который когда-либо пущен в голову буржуа»...

В закат дощаник приплыл к глухому селу на диких камнях под соснами, под серым небом. На берегу собралась толпа. С берега далеко по воде донеслось:

«Вихри враждебные веют над нами»...

Унтер на корме крякнул и сказал негромко:

— Эй, тише там!..

С дощаника понесся к берегу второй такт песни:

«В бой роковой мы вступили с врагами»...

Дощаник и берег слились в один хор.

Унтер покрякал на корме, раз и другой почесал в затылке, затем махнул рукой и полез под доски в корму, складывать свой сундучок, — впрочем, его никто не замечал.

Дощаник подплыл к камням на берегу. Сошедшие с дощаника и бывшие на камнях жали руки друг друга и обнимались, видевшие друг друга первый раз и тем не менее — товарищи. Имя селу было — Шушенское.

Климентия окликнул голубоглазый человек:

— Товарищ, — вы не из сельца Чертанова возле Камынска?

Климентий глянул на голубоглазого человека, —

— Был и там.

— Клим Обухов?

Климентий глянул на голубоглазого человека и крикнул по-ребячески:

— Ванюха?! — Ванятка Нефедов?!

Иван ответил с гордостью:

— Я и есть своей персоной. Ты один ай с кем? — тащитесь прямо ко мне, у нас тут коммуна-университет почище, чем у Никиты Сергеевича!..

На горе на камнях, окруженные лиственницами и кедрами, стояли широкопазые, деревяннокрышие избы с окнами высоко над землею. Иван Нефедов, Климентий Обухов, Дмитрий Широких вошли в избу. Стены в избе чисто были выбелены, по полу бежали самотканые пестрые дорожки, над окнами висели пихтовые ветви.

Поставили у дверей свои сундучки, сняли пальто. Иван грел самовар, — в гордой торжественности Иван подал Климентию книги, немецкий учебник, «Историю развития капитализма в России» В. Ильича, «Капитал» Маркса...

Сорок шесть лет тому назад, считая от 1913-го года, весною, «в бурю и непогоду» Карл Маркс отвез на пароходе из Лондона в Гамбург, переписанную набело, рукопись первого тома «Капитала», — и осенью того ж года книга вышла из печати, — понятия «капитализм» — и слово «капитализм» впервые даны были человечеству... А тринадцать лет тому назад, считая от 1913-го года, на рубеже веков, — здесь, в селе Шушенском, в окончательный порядок была приведена та вторая книга, которую Иван показывал Климентию — «История развития капитализма в России» — пролог гибели капитализма в России, — написанная Владимиром Ильичем, который именно здесь в Шушенском, в ссылке, провожал девятнадцатое столетие и жил навстречу новому веку...

Иван Нефедов вновь вывел товарищей на улицу. Напротив стояла изба, ничем не примечательная, кроме того, что забор вокруг нее густо порос хмелем.

— В этой избе с женою и со старухой-матерью жены жил Владимир Ильич, — сказал Иван. — Видишь, на других заборах нету хмеля? — Он посадил этот хмель, от него он пополз по забору, след по себе человек в растении оставил... А жил как? — тогда здесь, кроме чалдонов и вечнопоселенцев, то есть уголовных, отбывших каторгу, — их жило тогда, — он с женой да двое рабочих, картузник из Польши Проминский и металлист из Питера финляндец Энгберг... И как жил?! — утром сидел, читал на всех языках и — что нужное — переводил на русский язык, — после обеда свое писал и переделывал наново, — вечером опять читал, учился сам и учил товарищей, всех философов

перечитывал, а Надежда Константиновна финляндцу Энгбергу «Коммунистический манифест» растолковывала на немецком языке и разъясняла тот самый «Капитал», ту самую книгу, которую я вам показывал... его собственная книга у нас сохранилась. Почту зимой на возке привозили, книги и письма, Владимир Ильич письма писал толщиною в тетрадь!.. Работал, кроме того, Владимир Ильич для населения, — давал советы, писал бумаги. Сосипатыч тут есть, сами увидите, чалдон, — первым другом был у Владимира Ильича, — старичок — бедняк немудрящий, однако поэт и охотник вроде нашего Мишухи Усачева, собачка у них с Владимиром Ильичем общая была, Женькой прозывалась. Мороз в этих местах зимой — замерзает ртуть в градуснике и неизвестно, сколько ниже ее замерзания. Енисей до дна промерзает, вода сверху льда течет. Владимир Ильич в это время в бумагу зарыт, Сосипатыч неизвестно где пропадает, Женька спит под лавкой... А весна — дикие гуси тучами, лебеди, тетерева, журавли. Женька волнуется, Сосипатыч в избе с рассвета, тоже волнуется, Владимир Ильич ружье чистит, тут же при них Проминский, тоже в беспокойстве. Весна!.. Надежда Константиновна на всех дикую птицу жарит под руководством Сосипатыча. Весна в полном разгаре — и Владимир Ильич в полном с ней согласии. На островах здесь, на реке зайцы целыми стадами плодятся, Владимир Ильич с Сосипатычем на охоту за ними плавали, полные лодки натаскивали... Ночи здесь летом короткие, — писание, книги и почта идут своим чередом, — а ночью, старожилы помнят, — стоит Владимир Ильич на камнях у реки, один или с Надеждою Константиновной, — заря с зарей сходятся, — стоит, прислушивается к реке, вперед всматривается... Как он жизни впереди ждал, как он жизни не боялся!.. — Последний год, старожилы рассказывают, — уехал он отсюда в феврале 900-го, не то, значит, в последний год прошлого века, не то в первый год нового столетия, — и вот с лета, с июня месяца, когда заря с зарей сходятся, стал он готовиться к жизни, — всю осень, всю зиму до февраля ночи напролет светился огонь в его окошке, ночей не спал, исхудал, пожелтел, — готовился к жизни... В Пятом году он посчитался с царем — еще раз посчитаемся... Уехал тогда Владимир Ильич отсюда. Камень здесь, вода да лес — места царские. Уехал человек, хмель от него остался, хмель цветет... Жили тогда

здесь — он с женой да с жениной матерью, добровольно приехавшей за ними, Проминский да Энгберг, к этому царскому месту прикрепленные, — а теперь нас здесь сорок девять человек да вас двое — пятьдесят один вместо троих. Я уже тебе говорил, Клим Артемович, оставил Владимир Ильич здесь свои кое-какие книжечки— «Капитал», который я тебе показывал, его собственный, многие руки здесь до этой книги касались...

Товарищи стояли на холме над рекою. Далеко на западе — над «европейской» Россией — меркла зоря. Ни Климентий, ни Иван не знали, что в те же самые дни, когда приехал Климентий в Шушенское, направляем был в ссылку, только не в Минусинские земли, но в Туруханские, еще дальше на север, к самому полярному кругу — революционер, человек громадной убежденности, громадной воли к борьбе и громадного презрения к империи, — тот человек, большевик, который в Сольвычегодской тюрьме прошел сквозь строй — с открытою книгою Маркса. Его поселяли на самом деле в двадцати километрах от полярного круга, и не в селе, а в зимовье, где всего было три избы. Зимовье называлось Курейкой. Полгода там длилась ночь. Каждый час за ним следил жандарм. Для того, чтобы не умереть, как этого хотела империя, своими руками он сделал себе гарпун, чтобы охотиться за рыбой, и топор, чтобы пробивать лед. Целыми днями ему приходилось охотиться, ловить рыбу, рубить и колоть дрова, топить печь в отчаянном морозе и в полярной ночи, чтобы кормиться и не замерзнуть, не умереть с голода и от мороза. Жандармы следили за тем, как человек не умирает. Империя хотела убить его Арктикой, — он, многажды уже уходивший из ссылок и тюрем, хотел жить, чтобы делать революцию, и — один — он побеждал Арктику...

Сорок шесть лет назад от 1913-го года, «в бурю и непогоду» Карл Маркс отвез из Лондона в Гамбург первый том «Капитала». Один из первых, кто написал о «Капитале», назывался Евгением Дюрингом, который —

> «не находил достаточно сильных слов для осуждения книги Маркса».

Университетские специалисты писали, что Маркс, как «самоучка», не имел права писать такую книгу. Один из бывших, мертвых друзей Маркса, Фрейлиграт, писал, издевательствуя, что, —

«...на Рейне многие купцы и фабриканты очень восхищаются «Капиталом». В этих кругах книга достигает своей цели, а для ученых, кроме того, она будет необходимым научным источником».

Книгу замалчивали и оклеветывали. Английского перевода — перевода на язык «второй родины» — при жизни Маркс не дождался, и при его жизни во всей громадной, громаднейшей английской литературе на английском языке появилась о «Капитале» — только одна журнальная заметка, два десятка строчек, где — одобрялась манера изложения и сообщалось с одобрением, что —

«...сухие политико-экономические вопросы приобретают у Маркса своеобразную привлекательность»...

Первый перевод «Капитала» вышел через пять лет после его появления на немецком языке — и этот перевод сделан был на русский язык... В красном углу на полке — в избе Ивана Нефедова — лежал том «Капитала». На обложке наборным шрифтом означалось:

«Капитал. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса. Перевод с немецкого. Том первый. Книга I. Процесс производства капитала. С.-Петербург. Издание Н. П. Полякова. 1872».

Экземпляр принадлежал Владимиру Ильичу Ленину. Климентий долго перелистывал книгу, — среди многих пометок были, должно быть, пометки и Ленина. Была весна, был май. Заря еще не сходилась с зарею, но зеленые северные ночи были уже по-северному зелены и белы. Весь вечер товарищи говорили о делах — о будущем в первую очередь, конечно, — Климентий и Иван вспоминали Камынск и Чертаново. Прошлое — от того времени, как один из них уехал на Урал, а другой в Москву, — было несложно и казалось ясным. По законам промышленников, когда им туго, — виноват рабочий. Климентий приехал на Урал в январе 908-го года. Еще с 907-го на рудниках и на заводе стали сбавлять расценки и затягивать расплату. В 908-м дирекция перешла на расплату талонами, отговариваясь убыточностью предприятия. На площади перед директорской конторой стоял бронзовый и величественный памятник Демидову, основателю заводов. Ночью однажды, под воскресенье на бронзовом плече памятни-

ка повисла нищенская котомка, лежали у бронзовых ног корка хлеба и три копейки медью, под котомкой висела надпись, —

«Положили бы больше, да выписки талопов давно не было!»

В воскресное утро у памятника собралась толпа, весь поселок. Памятник был велик и величественен, — заводское начальство привозило на глазах собравшихся лестницу с пожарного двора, чтобы снять котомку с обнищавшего и бронзового Демидова, князя Сан-Донато тож. Вешали котомку — Климентий и Дмитрий.

В то же время, примерно, когда на Демидова вешали котомку, — не пошли на работу с утра, не пошли с обеда, не пошли ночью, — наутро двинулись к конторе, как в Пятом году. Дирекция рассчиталась срочно — «деньгами от продажи петербургского дома», как объяснила дирекция.

Затем контора вновь не платила три месяца — и рассчиталась талонами. Рабочие писали в Государственную думу, возил петицию в Петербург Федор Кузьмич Данилов, внес в думу петицию член думы уральский большевик Николай Максимович Егоров, — дума положила петицию под сукно. Федор Кузьмич Данилов ходил к министру торговли и промышленности его превосходительству господину Тимирязеву. Тимирязев сказал:

— Медь ваша продается в убыток. Поэтому у Демидова нету денег, а субсидий больше мы ему не дадим, так как он и так уже много должен. В силу этого он и задерживает расчеты с вами.

Федор Кузьмич Данилов сказал:

— А раз господину Демидову такое разорение от нас происходит, нельзя ли нам в наше распоряжение руднички и заводики, мы вам субсидии возвратим, а «убыток» разделим между собою, жить богато будем.

— Это идея, — сказал Тимирязев. — Не успеете приехать домой, как распоряжение будет дано...

И действительно, — Федор Кузьмич Данилов был арестован по дороге домой...

Партию громили еще с 907-го года, партия ушла глубоко в подполье, — праздничали полиция и заводчики, охраняли себя уже не казаками, которые стали «ненадежны», но ингушами, не говорившими по-русски. И все же в подполье партия основала кассу взаимопомощи, больничную кассу, общество страхования,

образовательные курсы. После ареста Федора Кузьмича Данилова партия возродила — родившийся в Пятом году, умерший в Шестом — союз горнорабочих. Это уже не были рабочие прошлого века. Шапок никто не ломал перед начальством, сено и дрова никто не возил штейгерам и разметчикам в поклон, дети рабочих не пасли их телят...

Бастовали в 10-м году, — представитель рабочих стал принимать участие в расценках, заработок был не меньше восьмидесяти копеек в сутки. Бастовали с 1-го мая в 911-м году — бастовали три месяца, проиграли забастовку: заводчик объявил локаут, запер рудники от рабочих, закрыл завод. Когда рабочие вновь пришли работать, тринадцать человек из них, инициаторы забастовки, уволены были с завода «циркулярно» — с волчьими паспортами, с запрещением работать где-либо на рудниках, — и эти рабочие должны были бежать от полиции, бежали — иные до Владивостока.

Климентий и Дмитрий уцелели.

Их немного оставалось в заводско-рудничном подполье. Надо было очень много работать, работать за всех, чтоб не гибнуть, не сдаваться, не отступать. В оконце Климентия условно светилась лампа и условно опускалась занавеска, в оконце стучались — приезжие из Екатеринбурга, из Москвы — с такими ж примерно словами, как сам он, Климентий, приехав сюда, постучался к Фоме Талышкову.

И — 4-го апреля 1912-го года над рабочей Россией прогремели залпы Ленского расстрела — в ночь тогда к Климентию постучали в окошко.

Рабочие на меднорудном не были уже теми рабочими, которых порол земский начальник с исправником. Нельзя было не протестовать вместе со всею рабочей Россией. С утра в тот день грозным протестом стали рудники и завод. Через десять месяцев Климентий и Дмитрий были арестованы. Они оба хотели быть честными и не хотели мириться с империей, вот и все, — и знали, что будущее — их.

... — А ты? — спросил Климентий Ивана Нефедова.

— А я? — да все, ведь, одним лыком шиты. Конечно, я отца и Пятого года забыть не мог, да и себя помню с того времени, как мне из-за крестьянской нищеты губу рассекли пополам. Отец усадьбу подпалил, я в кустах стоял, смотрел на зарево, — никогда его не забу-

ду!.. — а затем шел с отцом домой, — отец был счастливым человеком... Второй раз счастливым человеком был отец, когда взял на себя все поджоги в уезде, — ему счастием было жертвовать за мир. И помню, как со двора у нас выводили того самого мерина, из-за которого губу мне рассекли, — мерину было, почитай, лет двадцать... А затем — Москва. Началась с рубашки. В Замоскворечье я у Даниловского рынка на бочки обручья набивал, — мать прислала кумачовую рубашку, к пасхе, — мать без малого побирушкой в деревне жила, прислала последнее, — надел рубашку к празднику, хозяин увидел, спрашивает, — «это что такое?» — «Рубашка», — говорю. — «Почему красная?! — снять сейчас же это дерьмо?!» — Я говорю, — «мать мне такую рубашку с родины прислала, это материнская любовь, а не дерьмо!»... — «Вон с моего двора, красная рожа!»... — У меня от Гужона товарищи были, подался к Гужону. А там... видишь, где мы с тобой оказались!..

Заря не сходилась с зарею. Очень долго меркнул запад. И часом спустя после того, как товарищи улеглись спать, на камни к берегу спустился Климентий. Он был здоров и молод, красивый и широкоплечий. Он стоял на каменной глыбе у самой воды. Под ним текла и несла льды дикая река. Климентий глядел на запад, — там была Россия. Взгляд Климентия был бодр и весел. Он улыбался — веселой, просторной, почти озорною улыбкой. От реки шел просторный холод. В полумраке рядом где-то кричали дикие гуси. Сна у природы не было.

Возвращаясь на гору, Климентий подошел к забору той избы, в которой жил Ленин. Почки на хмеле набухли для цветения...

Глава тринадцатая

ЭПИЛОГИЧЕСКАЯ

По подсчетам американского генерала Ли за последние три тысячи четыреста лет человечество не воевало ровно двести тридцать четыре дня.

18-го января 1871-го года, под Парижем, в Версальском дворце, в Зеркальном зале Людвига XIV умерла Германия Гете, Канта и Гегеля, — родилась империя Гогенцоллернов, когда Вильгельм первый Гогенцол-

лерн надел на себя в Зеркальном зале корону императора германцев, образ могущества империи империализма, пушек, чугуна, стали, каменного угля, пивных бочонков, бобового супа, свинины, хлеба, ситца, кожи.

Империю сделал канцлер Бисмарк. Затем Вильгельм Первый помер, и второй Гогенцоллерн, Вильгельм Второй, освободившийся от старика Бисмарка, послал трансильванскому президенту Крюгеру телеграмму, поздравляя с победою над англичанами и добавляя многоречиво об императорской своей радости по поводу того, что буры справились с врагами «без помощи друзей». Это было на пороге века. Во всех канцеляриях министерств иностранных дел телеграмма прозвучала вызовом Англии. Англия молчала и била буров. Через год с лишним тогда же, все еще в прошлом веке, заехав в Дамаск, ни с того ни с сего вспомнив падишаха Саладина, воевавшего с крестоносцами, Вильгельм заявил вдруг всему миру, и всем мусульманам в частности, а также, стало быть, всем дипломатическим канцеляриям, что-де —

> «пусть султан и триста миллионов магометан, разбросанных по земле, будут уверены, что германский император во все времена останется их другом», —

магометане ж жили, главным образом, под английским и русским владычеством.

Император Вильгельм Второй в истории остался императором, больше которого никогда, никто, даже другие императоры, — никто не наговорил больше речей и глупостей. О его времени записано самими ж немцами, что-де —

> «кто пишет историю глупостей германской политики со времени увольнения Бисмарка... тот, к сожалению, пишет историю германской политики»...

Но за императором находилась империя империалистов и находились купцы, империалиствующий капитализм, и, если император начал свою карьеру шутками с бурами и магометанами, то к началу века становилось уже известным, а к концу первого десятилетия было уже бесспорным, что германский купец и промышленник заполз во все углы земного шара всем, чем угодно, от запанок до пушек, от пуговиц до электрических печей и до дизель-моторов — даже в английскую Индию, даже в английские Австралию и Канаду, —

даже в самою Англию на Британские острова, догонял и обгонял Англию — всем, не только зажигалками и дизелями, но даже качеством военных кораблей, которые — еще год, еще два, пять — могут помериться с корабельными силами «владычицы морей». Германия начинала оспаривать морское — а стало быть и всяческое — владычество Англии. Император изрекал очередные речи. Это никак не шло на пользу Германии. Это не было во вред англичанам. За речами императора Германская империя купцов и офицеров захватила все же земли в «чернокожей» Африке, — немцы построили крепость в Цзин-Дао, в «желтоликом» Китае, — в сердечной дружбе с Абдулом-Гамидом Тринадцатым немцы строили Багдадскую железную дорогу, зачеркивая русскую мечту о Дарданеллах, подбираясь к английской Индии...

Когда Вильгельм мешал англичанам в Капштадте, это нравилось Российской империи, и песня «Трансвааль» не запрещалась российской цензурою, — когда немцы обосновывались вокруг Айи-Софии, — это не нравилось Российской империи. Когда Вильгельм говорил о трехстах миллионах его магометанских друзей, — это нравилось французскому министру иностранных дел господину Делькассе, — когда Вильгельм приехал в Танжер и произнес там речь на тему о независимости марокканцев под властью марокканского султана, — это не понравилось французской республике и господин Теофиль Делькассе срочно подал в отставку.

Император Вильгельм изрек только один-единственный раз умную вещь, никак, впрочем, не подозревая этого, ибо он всего лишь собирался иронией свалить вину за мировую войну с себя на покойника, — он сказал по поводу английского короля и создателя «Антанты» Эдуарда Седьмого:

— «Мертвый, он все-таки сильнее меня!»...

И он, Вильгельм, был прав, — не только потому, что на самом деле мертвецы иной раз связывают живых, как капитализм — человечество. Англия не любит, чтобы из-под носа у нее что-либо воровали, она не любит покупать краденое, — она любит сама владеть тем, что может быть украдено... Император говорил речи к магометанам, — пускай, это не касается морей. Но император повел багдадскую железную дорогу, — это похоже на кражу Турции, а за нею Персии и, быть может, даже Индии?!

Англия со времени Наполеона Первого сторонилась европейских дел в морских своих и заморских заботах. Россия уже полтора века считала, что «англичанка гадит», — и сама гадила Англии по мере сил, в Китае, в Персии, на афганской границе. Франция со времен Наполеона считала Англию «исконным» врагом, не меньшим, чем Германию со дней Седана... Пусть так!.. Пусть, быть может, даже легче всего сговориться с племянником Вильгельмом, несмотря на его речи, — ведь у него сильнейшая сухопутная армия в Европе, — сговориться за счет России и Франции, не все ли равно, кто владеет Алжиром, Тунисом иль Украиной, если ими не владеет Англия?.. Но — «сегодня ты, а завтра я», — Франция никогда уже, после великого Наполеона, не поднимется, чтобы бороться с Англией, — Россия не успела еще обуть своих «мужиков» и запахать все свои земли... А Германия? — немецкие иголки и нитки пролезли не только в Китай и в Индию, но даже в Манчестер!..

И в туманные дни по осени 1903-го года — без речей, тихо, скромно, то ли на свидание с французским правительством, то ли для наслаждений парижскими ночами — в Париж приехал кинг Эдуард Седьмой. Речей не было, газетного шума не было, торжественности не было, — кинг побывал и уехал из туманного Парижа в не менее туманный Лондон. А с апрельского неба 904-го года над Европой — после столетнего безмолвия — прогремел во всех дипломатических канцеляриях гром возникновения «Антанты» — «Согласия» между Францией и Англией. Англия выигрывала от «Согласия» все, ликвидировав все свои старые обиды, которые были у нее за Англией, Франция приобретала громадные новые колонии в Марокко, в Сенегале, в Нигерии, на Мадагаскаре, — казалось бы, Англия не приобретала от «Согласия» почти ничего.

Вильгельм Второй и Николай Второй — двоюродные братья — состояли в друзьях, называли друг друга Вилли и Никки. Не со времен Наполеона, а со времен Екатерины Второй, Российская империя считала, что — «англичанка гадит» в Турции, в Персии, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. В русско-японскую войну англичанка «гадила» Российской империи, действительно, вовсю. Кинг Эдуард Седьмой даже не ездил в туманный Санкт-Петербург, и Николай Второй не ездил в туманный Лондон. 31-го августа 1907-го года

было подписано англо-русское «Соглашение». Российская империя, только что битая японцами и пережившая революцию, получала от «Соглашения» больше, чем могла б требовать от Англии даже в случае победоносной с Англией войны. Без единой капли крови Российская империя получала много больше, чем только что она потеряла на Дальнем Востоке. В полное свое обогащение она получала всю Северную Персию, две трети персидских земель, — и получала реальное право рассчитывать на Айю-Софию. Казалось бы, Англия не получала от «Соглашения» почти ничего...

Первый английский морской лорд адмирал Фишер в 1908-м году предлагал английскому кабинету министров — внезапно, без объявления войны, тайком — напасть на германский военный флот во время его маневров на Северном море и отправить германский военный флот целиком и полностью, с людьми и пушками, на морское дно. Эдуард Седьмой не любил речей, он сказал негромко морскому лорду:

— Не время. Погодим. Пусть Вильгельм еще наговорит речей и нападет на нас. Мы за мир и цивилизацию...

Кинг Эдуард Седьмой умер до мировой войны, — в сознании, что дело сделано. Вильгельм был прав, когда сказал о кинге Эдуарде:

— «Мертвый, он все-таки сильнее меня!»

Нигде не было сказано, что первый враг Английской империи — империя Германская, что первый враг Германской империи — империя Английская.

Весной 1912-го года Российская империя расстреливала рабочих на Ленских приисках, в России поднималась новая волна рабочих протестов, — в начале лета 1914-го года петербургские рабочие строили баррикады, на петербургских окраинах, над империей задули ветры Пятого года. Весной 1914-го года в Английском соединенном королевстве — в Ирландии — вспыхнуло восстание, а стачки шахтеров тянулись еще с 1912-го года. Франция только что «покорила» Марокко, в Марокко и Тунисе не утихали противофранцузские восстания... Германский стратег Шлиффен давно уже разработал детальнейший и достовернейший план непременной военной победы — над всею Европой в первую очередь, над всем миром в окончательном результате, — план считался точным, как часы, по плану в первую очередь полагалось бить французов и идти во Францию через Бельгию...

В июне 1914-го года английская эскадра плавала с визитом в Кронштадт и на обратном пути заплыла с визитом к немцам в Киль, отпраздновать вместе с немцами постройку Кильского канала. Вильгельм приехал в Киль, чтобы самолично приласкать англичан и сказать очередную речь. В Российскую империю отправился на свидание с российским императором — также водным путем — французский президент Пуанкаре. Лето дышало зноем и миром, оружейные заводы работали круглые сутки...

В самый разгар кильских сердечных торжеств и банкетов, не успев сказать речи, Вильгельм срочно возвратился в Берлин: в Сараево, в Боснии серб Гаврило Принцип убил австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену, — убил в жесточайшей ненависти сербов к столетним их поработителям, — и убил, к слову сказать, не того, кого следовало бы убивать Гавриле Принципу по его принципам, ибо Франц-Фердинанд, не ладя с отцом Иосифом, намеревался, вступив на престол, реконструировать «лоскутную» Австро-Венгерскую империю в федерацию. Впрочем, о Франце-Фердинанде никто не плакал. Вильгельм вернулся в Берлин. Вильгельм собрался было поехать в Вену на похороны родственника, но его предупредили, что сербские стрелки могут оказаться и в Вене. Вильгельм негодовал и в Вену не поехал. Германия «негодовала», — гораздо больше, чем Австрия. Никакой речи об Англии, конечно, не было, — «негодовали» на Сербию. Когда Ширски, германский посол при венском дворе, донес императору Вильгельму, что-де, мол, граф Берхтольд, австрийский министр иностранных дел, считает нужным «выпороть» сербов, а графы Тисса и Конрад осторожничают, так как на защиту Сербии — по дороге к Дарданеллам — неминуемо выступит Россия, — и что-де он, немецкий посол в Вене Ширски, советовал Берхтольду взвесить обстоятельства, — император Вильгельм написал на полях посольского донесения:

> «Идиот! не его дело... Пусть Ширски соблаговолит прекратить эту бессмыслицу. Мы должны смести сербов».

Вильгельм позвал к себе на завтрак — в пригородную свою императорскую деревню Потсдам — хранителя австрийской государственной печати графа Хойдса, австрийского посла графа Седени, сказал им за завтраком речь, что-де —

— «Австрия может положиться на полную поддержку Германии!»...

Руки Берхтольда развязались, Австрия задействовала. Вильгельм для солидности и для отвода глаз на собственной яхте отправился проветриться у берегов Норвегии, по поводу чего графом Конрадом было сказано:

— «Надо симулировать мирные намерения»...

Вальдерзее, зам. начальника германского генштаба, доложил министру иностранных дел, —

— «Я остаюсь здесь, готовый ко всему. Мы все подготовлены».

Граф Берхтольд, австрийский мининдел, двое суток раздумывал о том, —

«какое требование включить в ультиматум, чтобы для Сербии совершенно невозможно было бы его принять»...

Австрийский император старик Франц-Иосиф сказал, прочитав ультиматум:

— «Это означает всеобщую войну»...

Старика успокоили, — так хочет Вильгельм.

Через два часа после того, как Пуанкаре отплыл из Кронштадта восвояси, — в шесть часов вечера 23-го июля по европейскому стилю или 10-го июля по российскому летосчислению, — в момент, когда сербский премьер-министр отправился к себе на дачу, — австрийское правительство вручило Сербии ультиматум. Ультиматум, попросту говоря, лишал Сербию суверенитета. В тот же час германское правительство дружественно сообщило через своих послов в Петербурге, Париже и Лондоне, что требования Австрии —

«умеренны и правильны»...

И добавляло «дружественно», что —

«любое вмешательство... повлечет за собой неисчислимые последствия»...

За две минуты до истечения сорока восьми ультимативных часов Сербия вручила свой ответ австрийскому посланнику. Сербия вставала на колени перед Австрией. Австрийский посланник, не потрудившись прочитать сербского ответа, потребовал себе экстренный поезд для отъезда из Белграда. Через три часа был отдан приказ по австрийской армии о мобилизации. Вильгельм начертал на полях сербского ответа:

«Большая моральная победа Вены».

Вдруг заговорила молчавшая доселе Англия — и заговорила невнятно. Она просила Германское правительство поддержать ее перед Австрией — о продлении срока ультиматума и о передаче разбора инцидента на посредничество Германии, Франции, Италии и Англии. Вильгельм написал изречения:

> «Изумительный документ британской наглости»...
>
> «Сербия — банда разбойников, которую за ее преступление нужно схватить!..»

Английскую ноту Вильгельм переслал австрийцам с сопроводительным примечанием, что-де Германское правительство —

> «...ни в какой мере не солидаризируется с предложением Грея, напротив, оно решительно отказывается от его рассмотрения и передает его лишь для того, чтобы удовлетворить Англию... Германское правительство поступает так, придерживаясь той точки зрения, что чрезвычайно важно, чтобы Англия в данный момент не стала на сторону России и Франции»...

Австрия отказалась от предложения Грея.

Старичок Франц-Иосиф недоумевал, — из-за чего, собственно, такой сыр-бор? — Сербия просит пощады, зачем война? — И, чтобы выудить у Франца-Иосифа подпись на объявление войны, его министр Берхтольд соврал ему, сказав, что Сербия — первая— уже напала на австрийские войска...

Российский министр иностранных дел Сазонов слал телеграммы во все концы мира. Император Николай слал телеграммы Вильгельму, — просил «во имя старой дружбы» повлиять на Австрию, дабы избежать «бедствия», — подписывался — Никки. Вильгельм отвечал, поучая необходимости монархов сообща наказывать цареубийц, и подписывался — Вилли. Австрийские войска шли к Белграду. Лихновский, германский посол в Лондоне, запросил Грея, — намерена ли Англия воевать из-за Сербии? — Грей молчал. Вильгельм молчание принимал за отказ от войны, полагая, что Англия не может воевать из-за Ирландского восстания, Франция молчала.

Генеральные штабы — это учреждение.

Российские генералы доказывали, что раз Австрия мобилизовалась, то и России надо мобилизоваться, на то они и генеральные штабы, — а то можно пропустить

время, ибо на мобилизацию в России самое меньшее требовалось три недели. В Российском генеральном штабе на подпись императору изготовлены были два императорских указа — на мобилизацию четырех военных округов и на всеобщую мобилизацию. Генеральный штаб настаивал на втором указе, — Николай подписал первый, сообщив, что к вечеру подписан будет и второй. Приказ срочно опубликовали. Сейчас же к Сазонову приехал германский посол Пурталес с нотою, что-де —

«если Россия продолжит подготовку к мобилизации, то Германия объявит мобилизацию, а мобилизация означает войну».

В десятом часу вечера пришла телеграмма к Николаю от Вильгельма, — Вилли мог бы даже выступить посредником между Австрией и Россией, если бы Никки не мобилизовался. В одиннадцать часов вечера Николай объявил, что приказа о всеобщей мобилизации не будет, и телеграфировал об этом Вилли, — генералы из генерального штаба пришли в ужас. Генералы рвали телефоны на дачу к императору, — император прятался от телефонов. Генералы убедили наутро Сазонова ехать к императору на дачу и вымолить у него подпись под мобилизационным приказом.

Сазонов поехал. Сазонов убедил императора:

«...в течение почти целого часа министр доказывал, что война стала неизбежна... поэтому лучше, не опасаясь вызвать войну нашими к ней приготовлениями, тщательно озаботиться последними, нежели из страха дать повод к войне быть застигнутыми ею врасплох»...

Николай —

«был крайне взволнован»...

Сазонов сбежал в императорскую прихожую и позвонил оттуда по телефону в Санкт-Петербург начальнику генерального штаба генералу Янушкевичу, сообщив «высочайшее повеление» о всеобщей мобилизации и закончив свой разговор, в расчете на императорское безволие, мудрейшею фразой, —

«Теперь вы можете сломать телефон!»...

Янушкевич так и поступил, спрятавшись от телефона.

В два часа пятнадцать минут ночи, когда по всей Российской империи шли уже приказы о всеобщей мобилизации, Николай вновь телеграфировал Вильгельму:

«Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий», —

и подписался уже не Никки, но — Николай.

Телеграмма до Вильгельма не дошла, — неизвестно, кто ее украл, какие штабы. В полночь с 31-го на 1-е августа по-европейски — или с 8-го на 19-е июля по-российски — германский посол Пурталес передал Российской империи германский ультиматум двенадцатичасового срока: — или демобилизация, или война. В седьмом часу вечера 19-го июля, не дождавшись ответа у себя в посольстве, Пурталес приехал за ответом к Сазонову, —

«три раза подряд он спрашивал Сазонова, согласна ли Россия отменить мобилизацию, и трижды Сазонов ответил отказом».

Посол передал ноту с объявлением войны.

«После вручения ноты граф Пурталес, потерявший всякое самообладание, отошел к окну и, взявшись за голову, заплакал»...

Англия и Франция пребывали в гробовом молчании. Генеральные штабы — это учреждения. Еще задолго до 1914-го года германским стратегом генералом графом Шлиффеном был разработан план германского завоевания Европы. По плану надо было в первую очередь напасть на Францию, обойдя французские крепости через Бельгию, взять Париж, разгромить Францию — и тогда уже нападать на Россию. Шлиффен умер до мировой войны, но план его остался. Война России была объявлена. Франция и Англия молчали. Вильгельм сказал Мольтке-младшему, начальнику германского генерального штаба:

— «Итак, мы двинемся всеми нашими силами только на восток!..»

Мольтке-младший возразил императору:

— «Это невозможно... Наступление миллионных армий... результат многолетней кропотливой работы... Раз план разработан, его нельзя менять!»

Мольтке-младший записал в своем дневнике:

«Это было для меня ударом, — меня это поразило в самое сердце»...

Генеральный штаб и сердце Мольтке-младшего оказались сильнее императора: 3-го августа Германия объявила войну Франции, но напала не на Францию, а на Бельгию, которой войны не объявляла.

И только тогда заговорила Англия: или немедленно Германия очищает Бельгию от своих войск — или война с Германией.

В полночь с 4-го на 5-е августа европейского счисления Англия воевала с Германией.

6-го Австрия объявила войну России.

7-го Франция и Англия воевали с Австрией.

Генеральные штабы — это... Российскому генеральному штабу требовалось три недели, чтобы мобилизоваться, — и надо было армии свезти к границам. Германскому генеральному штабу требовалось напасть на Бельгию, обойти французские крепости, свалиться на Париж, взять Париж, — так немцы и действовали, в десять дней прошед Бельгию и нависнув над Парижем. Из Парижа телеграфировали в Петербург на седьмой день германо-французских военных действий:

> «Французские армии перейти в наступление в ближайшем уже едва ли смогут... Весь успех войны зависит всецело от наших (то есть русских) действий в ближайшие недели и от переброски на русский фронт германских корпусов»...

Российские войска не были еще мобилизованы, — французский и английский послы ночевали в российском министерстве иностранных дел, умоляя:

— Скорей! скорей!

Послы сулили деньги и просили в средствах не стесняться.

Даже генерал Янушкевич считал невозможным русское наступление. Французский посол Палеолог умолял — и умолил: — 31-го июля по русскому счислению верховный главнокомандующий императорский дядя Николай Николаевич, «сжалившись», сообщил Палеологу о том, что —

> «Завтра утром, на рассвете» —
> русские армии войдут в Восточную Пруссию.

Они пошли, русские солдаты. По шлиффеновскому плану и по здравому смыслу это было бессмыслицей, — Мольтке-младший забыл изречение Наполеона о том, что у врага опасен не генерал-умник, а генерал-дурак, ибо можно представить, что надумает генерал-умник, и никак нельзя представить, что взбредет в голову генерала-дурака... Немцы сняли свои корпуса с французского фронта. Париж был спасен. Российский министр иностранных дел Сазонов сообщил Морису Палеологу:

«Армия Самсонова уничтожена».

Лучшие части российской армии были уничтожены немцами еще до окончания российской мобилизации. Уничтожением сотни тысяч русских человеческих жизней нарушен был план Шлиффена. Париж был спасен российскими солдатскими костями. Французский посол мосье Морис Палеолог записал тогда в своем дневнике:

> «...достаточно уже того... чтобы английские и французские войска имели время переформироваться в тылу и продвинуться вперед»...

В мировую войну было убито и искалечено четырнадцать миллионов мужчин. В Российской империи убито было и искалечено два с половиною миллиона мужчин. За годы войны в Российской империи мобилизовано было под ружье шестнадцать миллионов мужчин — девяносто восемь процентов всех мужчин империи в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Двадцать пять миллионов российско-имперского населения — «беженцы» — сняты были со своих полей, улиц, изб, главным образом старики, женщины и дети, седьмая часть всего населения империи, — двадцать пять миллионов человек, бросив всё, побежало, поехало на поездах, потащилось на подводах, пошло пешком в российские тылы, страшное дело — бездомные, «беженцы», старики, женщины, дети, — люди... Антанта — при победе над немцами — обещала Российской империи — Дарданеллы...

Эпиграф:

> «Мы не всегда можем достигнуть положения, к которому считаем себя призванными: наши отношения к обществу в известной степени начались раньше, чем мы сами смогли определить их».
>
> *Карл Маркс.*

Лето 1914-го года — было знойное лето. Знойным июнем прогремел сараевский пистолетный выстрел Гаврилы Принципа. Еще более знойным июлем, когда вокруг Камынска полыхали лесные пожары и солнце над землею ходило в багровой мути, — началась война и — ожил камынский англоман, считавший себя «ни-

колаевским» солдатом, воинский начальник генерал в отставке Феодосий Лаврович Федотов, а вместе с ним задохнулся от дел доктор Иван Иванович Криворотов.

Казармы камынской роты караульной охраны находились как раз против «классов Либих», где некогда обучались Маргарита Шиллер и Ипполит Разбойщин. Дом казарм был стариннейшим домом в Камынске, — то ли от восемнадцатого века, то ли даже от семнадцатого, при Петре Первом, лет двести тому назад, перестроенный из царева кружала в казармы. Нижний этаж казарм, куда больше вместо генерала ходил степенно сенбернар — для порядка и одновременно за завтраком, обедом и ужином, — нижний этаж за вывеской под двуглавым орлом — «Камынское Воинское Присутствие» — стал самым главным камынским присутственным местом. Вокруг в переулках — неделями, месяцами, все годы войны — полураспряженными стояли крестьянские клячи, а на телегах (или санях) валялись в истерике и голосили женщины, матери, жены, сестры. На дворе казарм на вытертой земле сидели с котомками те, которые были — «годны». Генерал Феодосии Лаврович Федотов и земский врач Иван Иванович Криворотов без малого на рассвете переселялись жить в нижний этаж, там чай пили и обедали. В этаже очередью перед Феодосием Лавровичем и Иваном Ивановичем — голые, в затылок — проходили мужчины сотнями, тысячами, чертановские, верейковские, игумновские, со всех деревень и сел. Иван Иванович смотрел в открытые рты, заглядывал в уши, тыкал пальцем под ложечку, приставлял трубку к левому соску, — кивал головою Феодосию Лавровичу, — и Феодосии Лаврович говорил сурово, но действенно:

— Годен! —

— Верейковские, лопатинские, одинцовские! —

— Годен! Годен! —

— ...годен, годен, годен, годен, годен, годен, годен...

Так было неделями, месяцами, все годы войны.

А через месяц — также на месяцы и на все годы войны, в том же нижнем этаже, только с другого входа, в те же самые часы, — приходили женщины к воинским писарям, к секретарям при смерти, — и воинские писаря говорили женщинам, роясь по правилам службы в толстых папках, —

— уваровские, чертановские, одинцовские, —

— убит, убит,

— пропал без вести,
— ранен,
— убит, убит, убит, убит...

«Пропал без вести» в военной терминологии — это не то, чтобы на самом деле пропал человек без вести, — это: упал снаряд, и от человека нельзя собрать ни рук, ни ног, ни головы, пропал без вести, — снаряд засыпал человека землей, некогда отрывать, пропал без вести, — загнаны люди в болота и топи Мазурских озер, утонули, пропали без вести... «Ранен» — это понятно. Оторвало ногу — это понятно. «Контузия» — сотрясло мозг и разрушило нервную систему — это понятно. «Убит» — это тоже понятно.

— Камынские, чертановские, игумновские...

Затем, через год от начала войны и до конца войны, на Камынск поползли — на телегах со скарбом, пешком, на крышах и на буферах поездов — и тоже по инерции пошли к воинскому начальнику — «беженцы».

В июле Четырнадцатого года вокруг Камынска горели леса, солнце вставало и опускалось в зловещем дыме лесных пожаров, — и пожары не потухали ни осенью, ни зимой, целые годы, — горела империя. Мимо Чертанова проходили железнодорожные шпалы. С ревом и гиком, с лошадьми и с артиллерией, мчали сначала поезда на запад. Затем поезда заскрипели, замедлились. Затем люди поехали на крышах поездов, на буферах, на подножках, туда и сюда. Затем люди пошли пешком вдоль железнодорожных шпал, туда и сюда. Вдоль шпал пошла — империя, в ночных кострах, в каторжных песнях, — империя Иванов Нефедовых и Нефедов Ивановых, Евграфов Сосковых, Шмелевых, Коровкиных, Криворотова... В Чертанове остались одни подростки и одни женщины, малое количество стариков, — к ним приползли «беженцы», одни подростки и одни женщины, малое количество стариков. «Беженцы» не знали, что им делать. Чертановские — также не знали, что делать. Кроме мужчин, чертановские отдали войне и империи — лошадей под пушки, скотину на мясо. Без лошадей и мужчин, чертановские бессильны были вспахивать земли, хоть на иных лоскутьях наделов женщины, вместо лошадей, впрягались в плуги и сохи. Стало не хватать ни хлеба, ни картошки. Исчезли серебряные деньги. Исчезнул чай. Исчезнул ситец. Исчезли сапоги. Не хватало соли. Не хватало сахара.

Исчезнул керосин. Дрова из лесу в сельцо и в Камынск надо было возить на себе, на салазках. И не было семьи, в которой не был бы — «годен!» — и не был бы или убитый, или пропавший без вести, или раненый. Вдоль шпал Российской империи и по оврагам около шпал, по Российской империи, кроме «беженцев», пряталось полтора миллиона дезертиров. У шпал и в оврагах за шпалами горели костры, и среди живых и идущих начинали валиться в сыпном тифе и в голоде поистине пропавшие без вести...

Казармы камынской караульной команды помещались в старинном доме против «Классов Либих», — не известно, когда этот дом строился, при Алексее иль при Петре, старое царево кружало... У отца смерти Феодосия Лавровича Федотова и у Ивана Ивановича Криворотова было очень много работы: голые, затылок в затылок стояли мужчины-новобранцы и те, которые дважды и трижды были уже в окопах, были ранены, залечивались и снова шли в окопы. Город Санкт-Петербург — это проспекты и перспективы, блестящие, как гусарская сабля, — там жили император, гвардия, чиновники, немецкие банкиры. По прямым перспективам ползли туманы. Империей правили — императрица Александра и божий наперсник, безграмотный распутник и гипнотизер, Григорий Распутин. Императрица была чистокровной немкой, — она отказывалась от Дарданелл, — Распутин и она готовили сепаратный мир с Германией, намереваясь развешать на телеграфных столбах всех тех членов Государственной думы от капиталистов, которые хотели Дарданелл, то есть продолжения войны, — императрица хотела развешать их по столбам тех российских губерний, которые послали их в Думу в качестве охотников на Дарданеллы, — это был заговор Распутина, друга немцев, и Александры; члены Государственной думы Милюков, Львов, Пуришкевич, прочие — вместе с Англией хотели уничтожать немцев и хотели Дарданелл, — они, как французы, боялись императрицы, — Львов, Милюков, Пуришкевич, английский посол Бьюкенен, французский посол Палеолог, — и они сговаривались — убить Распутина, Александру и Николая, чтобы воевать с немцами, — это был заговор капиталистов.

Пуришкевич убил Распутина, репетируя убийство императрицы. По санкт-петербургским прямым перспективам ползли туманы. Туманы кружили фантазиями головы господ от феодалов, Распутина и Александ-

ры, и головы капиталистов, господ Пуришкевича, Львова, Бьюкенена, Палеолога. А в самом Санкт-Петербурге на окраинах, а во всей громаде Российской империи жили реальные люди, в первую очередь рабочие и крестьяне, которые сидели в окопах, которые ползли по шпалам, которые на женщинах пахали землю... На окраинах в Санкт-Петербурге было очень много рабочих, и всюду в Санкт-Петербурге было очень много крестьян, переодетых в солдатскую шинель.

Климентий Обухов отбывал ссылку. Из ссылки он написал однажды Анне, легальное письмо:

> «...Ты спрашиваешь о конце Печорина в «Герое нашего времени»? — Плохие романисты, действительно, не зная, что делать с персонажем, убивают его, и это плохо для романа. К Лермонтову это не относится. Судьба персонажа, введенного в роман, должна быть разрешена закономерным его развитием, а стало быть, и закономерным развитием романа, не случайностью. Печоринская смерть — не случайность. Но разреши, однако, продолжить мысль, она пришла мне вчера на лесорубке. Если роман кончается гибелью всех персонажей сразу, у романа в таком случае — казалось бы — механический конец. Ты пишешь, что судьбы многих наших камынцев прерываются бессмыслицей, Исаак Шиллер, брат милосердия, убит, Коцауров, офицер, убит, Миша Шмелев, Георгиевский кавалер и калека, чертановцы развеяны по миру... И тем не менее думается мне, что может быть — и должен быть — такой роман, где механическая смерть всех его героев будет самым закономерным концом. Это в том случае, если роман посвящен эпохе, которая гибнет закономерно. Одарил ли романист иль не одарил персонажей знанием того, что они жили в ситуации и поддерживали ситуацию, которая гибельна, — статистика смертей является закономерностью гибели ситуации. Эта мысль пришла мне вчера. Здесь на севере крестьяне от времени до времени вырубают леса, выкорчевывают корни, палят сучья — и пашут новую землю. Сейчас здесь, как и везде, мужчин нет, но жить надо, и мы, ссыльные, помогаем, как можем. Эту неделю я рубил лес. Нету ни одного дерева, чтобы оно в совершенстве повторило другое. У деревьев в этой сплошной и

непроходимой тайге закономерная судьба состоит в том, что каждое дерево растет до ста лет, осыпается шишками, подгнивает, валится, гниет, удобряет землю, на его месте появляется новое. И вдруг в лес пришли двадцать три ссыльных мужчины, чтобы помочь крестьянским женщинам. Каждое дерево в отдельности — от столетнего кедра до малой сосенки — умирает под нашими топорами и пилами — так скажем — безвременно. Но мы все дальше и дальше выкорчевываем деревья, — и это уже закономерность. Судьба отдельного дерева — второстепенна. Весною сюда на землю проглянет солнце, которого никогда здесь не было, вместе с солнцем придут крестьянские рабочие руки и здесь родится хлеб... Это не касается чертановцев, — но и не они же герои романа. А Кошкин, Коровкин, Бабенин, Аксаков, Верейский, отцы и дети, герои романа, — они — «закономерность»...

...Иван Иванович Криворотов войной и империей был очень недоволен — даже по лично его касавшейся причине. Считая себя «критически мыслящей личностью» и дожидаясь «разумного большинства», — тем не менее Иван Иванович, получая жалованья без эмиритурных сто пятьдесят семь рублей пятьдесят семь копеек, каждый месяц откладывая в казначейство пятьдесят семь рублей пятьдесят семь копеек, — рассчитывал в 1920-м году, скопив достаточные деньги, купить именьице, разводить йоркширских свиней и жить на старости лет ни от кого не завися. Это было жизненной мечтою Ивана Ивановича. И с мечтою получалось явно неладно, несмотря на сверхсильную в пользу войны — по набору солдат — работу Ивана Ивановича. Сразу после войны в казначействе исчезло золото. Иван Иванович по знакомству ходил к заведующему казначейством, — Иван Иванович понимал разницу между звонкой монетой и бумагой, — просил заведующего казначейством вернуть ему его золото, — собирался закопать золото в саду в кубышке. Заведующий казначейством Порфирий Петрович конфиденциально по знакомству сообщил, что, во-первых, почему Иван Иванович не приходил раньше, другие поспешили и им заведующий сделал, что мог, по знакомству, — а, во-вторых, все оставшееся золото затребовано в город Казань на покупку вооружения. Иван Иванович пробовал по-

лучить свои капиталы хотя бы серебром, но исчезло и серебро, замененное почтовыми марками на толстой бумаге с изображением императоров разной стоимости. Ивану Ивановичу становилось ясным, — все жизненные сбережения, трудовые сбережения — гибнут, гибнет жизненная мечта. В голову лезли догадки, что — еще в молодости сделана была роковая ошибка — в том именно, что он, Иван Иванович, поверил императорскому режиму. Сын Андрей, который совершенно «отбился от рук», ничего не признавал в империи и кричал «долой войну!» — сын оказывался правым, к недоумению родителя. Родитель ждал было победы над немцами, а с победой дело у царя не выходило. В немногие досуги от военных наборов Иван Иванович садился с карандашом за подсчеты, — оказывалось, если бы он не копил, он мог бы каждый год ездить на отпуск в Крым, на Кавказ, в столицы, даже в Швейцарию, — сын его мог бы учиться музыке и изучить как следует иностранные языки, о чем мечтал отец, чего не позволил отец сыну именно из экономии на будущее, и что, может быть, спасло бы сына от тех «ужасных идей», которые «отравляли» его. От подсчетов разбаливалась голова и становилось совершенно тоскливо: немцы придут — все погибло, революция придет — все погибло, — царь победит — но это ж вообще гибель, к тому времени, когда он усядется на Дарданеллах, страна с голода передохнет, — и вообще — тоже, царь, прости Господи!..

Недоволен империей был даже Сергей Иванович Кошкин. Он давно уже перестал пить коньяк за дороговизной и пил самогон, который гнала ему любовница-Машуха в кухне за печкой. Никто ничего не строил, леса из лесов вывозить было не на чем. Сергей Иванович приходил к Ивану Ивановичу, отводил душу, рассуждал:

— Иван, средний, с образованием, устроился земгусаром во всероссийский союз городов, я его туда продал за лес. Так. А Василия, старшего, — я ему все дело хотел оставить, — пристроить я не успел, не успел купить ему места, — сам полез в вольноопределяющиеся, офицерских погон ему захотелось, — убили. Так... Я пять ночей подряд навзрыд ревел, я ему дело хотел оставить, старший по хозяйству, — я ведь тоже человек. Теперь посмотрите кругом, чем пахнет? — покойниками в самогоне. Так. В лавку сегодня посылал, — нет ни табака, ни спичек. Так. Соль и хлеб друг от дру-

га прячут... Не дорогонько ли это выходит из-за царской любви к союзникам и из-за сербских братушек?! Ты, Иван Иваныч, придешь ко мне, мы только-только за обед собрались, щи с наваром, — не то, что Машка, — Анна Потаповна в один голос с ней тебе скажут, — «уж не обессудьте, мол, только-только из-за стола, запах еще не прошел, всё поели!..» — Я, конечно, жмот, был им, есть и буду... Был в Москве, верные люди сказывали: рабочие собираются делать революцию, сковырнуть царя. Сашка-императрица с Распутиным хотят с немцами мириться. Милюков хочет ответственного министерства. Надо полагать, что-нибудь да будет. Надо полагать, — революция. Ведь это же — конец свету. И — скажу тебе прямо, Иван Иванович, — надо спасаться, — случись революция — не к кадетам побегу, как раньше, а к есерам. Так и знай. И тебе советую. Кого я больше черта и немца боюсь — это большевиков... Ах, сукин сын, прости Господи, — это я-то царя-то, — чего, прости Господи, суккин сын наделал!.. ведь умом раскинуть: быть революции!.. ведь если прямо сказать: свету конец!..

В сложнейшем положении оказался — и тем не менее являл примеры оптимизма — Карл Готфридович Шмуцокс. Сын Леопольд вместе с матерью обучался в Германии и был мобилизован в германскую армию. Герр Шмуцокс находился в Камынске, когда началась война, — и моментально тогда, быстрее чем Бабенин собрался его арестовать, как врага отечества, — моментально уехав в Санкт-Петербург, отрекся Шмуцокс от германского отечества, исходатайствовал себе русское подданство и вернулся в Камынск с военными заказами, — и вернулся не из Санкт-Петербурга, а из Петрограда, не герром Шмуцоксом, а — господином Быковым. Быков объявил себя националистом, заняв без малого коровкинское место в Камынском отделении михайло-архангельцев, вступив в теснейшую дружбу с подполковником Цветковым. Быков переоборудовал фабрику, работал на оборону, кровью страдал от неудач российского воинства, возносил истинно русскую душу Распутина...

Распутина убили в декабре 1916-го года. Газеты в те дни утверждали, что союзники шлют новые запасы вооружения и новою весною немцы будут биты. Мужское камынское население переоделось в военную форму. Отпускные и раненые офицеры, истерически веселые, ходили с вечеринки на вечеринку в солдатских ла-

заретах у сестер милосердия, богатых ректификованным спиртом и цыганским пением. Водку в трактире Козлова продавали чайниками. Газеты о смерти Распутина сообщили глухо, называя Распутина «некоим лицом» и пряча его за букву «Р». Исходил декабрь, дни были коротки, в серых морозах. Камынск жил в глухих слухах и в неизвестности, в шепотах. Оконца по вечерам светили тускло из-за отсутствия керосина, но не потухали глубоко за полночь. Почти поговоркою стало милюковское, — «что это, глупость или измена?» — и даже офицеры встречали друг друга не — «здравия желаю» — но — «что это, глупость или измена?!» — остря таким образом. Рождество ж, святки, новый год проводили до исступления весело — или старались проводить весело до исступления, — в отчаянном медицинском спирте, в браге, на маскарадах и на балах: не было человека, который не ощущал бы, что за темнотою ночей, за снегами пространств — лежат — от Балтийского моря до Черного — от Черного до Каспийского — окопы, истекающие кровью. Новый год встречали в Дворянском клубе. Законодателем в Дворянском клубе был — молодое поколение — доброволец, дважды георгиевский офицер с золотым оружием, многажды раненный герой и победитель женских сердец, остряк и кутила — кавалерийский ротмистр Ипполит Афиногенович Разбойщин. Новый год встречали по подписному листу — не на деньги, а на продукты натурою. Больница, лазареты, ветеринарная амбулатория, аптека и полиция обязаны были натуральным спиртом. Сергей Иванович Кошкин вызвался доставить домашнюю «бархатную» брагу. Офицеры во главе с Разбойщиным пили и танцевали. Отцы города пили, ужинали и играли в карты. Иван Иванович Криворотов в партии за преферансом играл с князем Верейским, с Павлом Павловичем Аксаковым и с Николаем Евграфовичем Бабениным. Сергей Иванович Кошкин опился брагою собственного своего изготовления, скандалил, плакал и предрекал гибель всему.

Ночью, прощаясь на перекрестке с коллегами-офицерами, Ипполит Разбойщин сказал:

— Сегодня я здесь, завтра я на фронте, убит!.. Мне сам черт нипочем, предположим, я заразился сифилисом, — так черт ли мне в сифилисе, если меня завтра убьют... а если я жив останусь, — если я жив останусь, так с радости мне и сифилис не страшен!..

Ночью, прощаясь с Павлом Павловичем Аксаковым на перекрестке, Иван Иванович спросил торжественно:

— Что это, глупость или предательство?

— Не знаю, — ответил Павел Павлович.

И в полночь с 9-го января на 10-е, в годовщину расстрела петербургских рабочих, после святочных праздников — постучали на кухне доктора Ивана Ивановича. Отпер Иван Иванович не сразу, прислушался к тишине, недоумевал, — кто бы мог пробраться к нему через забор? — На пороге стоял сын Андрей, в солдатской шинели, заросший бородою до неузнаваемости, никак не жданный.

— Ты?

— Я.

— Откудова?

— С фронта.

— Почему в солдатской шинели?

— Удобнее.

— Ты... ты... ну, как тебе сказать, — ты легальный или не легальный?..

— Нелегальный.

— Почему ж тогда с фронта?.. — Иван Иванович развел руками, далеко от себя отодвинул свечу, вздохнул со свистом, произнес: — Дожили!.. — Чего же стоишь, входи... Матери сообщить или подождать?..

— Подожди. Может быть, можно баню в саду затопить? и может быть, ты найдешь какие-нибудь мои старые штаны и белье?.. — вши меня заели.

Баню затапливал Иван Иванович, со страхом, прислушиваясь к тишине. Воду наносил Андрей. Дрова из сарая нес Иван Иванович на цыпочках, озираясь по сторонам. По сторонам пребывала не очень морозная ночь, не очень темная, но и не очень светлая. Иван Иванович сидел на корточках у печки, когда Андрей мылся.

— Ну, рассказывай. Где ж ты был? что ты?.. почему ни строчки?.. впрочем, ну, одним словом, как тебе сказать? — понимаю... — сказал Иван Иванович.

— А ты как? — спросил Андрей.

— Я? — плохо. Ты слыхал, как сказал Милюков, — «что это, глупость или измена?..»

— Слыхал. И больше тебе скажу. Сегодня в Петрограде и в Москве, и много еще кое-где, в Баку, в Нижнем — рабочие вышли на улицы с революционными песнями и красными флагами...

— Да нуу?! — Ты откудова знаешь? Это — как, глупость или измена?

— Не глупость и не измена, а здравый смысл. Откуда я знаю? — прочтешь завтра в газетах.

Иван Иванович сокрушенно подкинул полено в печку, покачал головой, вздохнул со свистом.

— Ты... ты, что же, с рабочими?..

— Да.

— Да они ж... необразованная гольтепа!..

— Неверно.

— И ты, что же, все прячешься от войны? — что ты на фронте делал, как тебя туда занесло из Петрограда?.. ты университет совсем забросил?

— От войны я не прячусь, — как видишь, на фронте был... Там миллионов пять российского населения в окопах сидит на морозе, вшами согреваются, — к ним в гости ездил. От войны я не прячусь, но — воюю с войною, для этого и на фронт ездил. Университет я в другое время кончу.

— Как не прячешься? — а почему домой среди ночи через забор пришел? — и завтра, небось, у матери в комнате сидеть думаешь, так, чтобы тебя даже Настя не видела?..

— Нет, не думаю. Завтра я дальше уеду...

— Ну-ну, так я тебя и отпустил!.. — упрячем какнибудь, можно в деревню незаметно отправить, подкормись, отдохни!..

— Должен.

— Это куда-же?

— В Петроград.

— Зачем?

— А я ж тебе говорил, что в Петрограде сегодня на Выборгской стороне и у Нарвской заставы заводы не работали... Я, вот, попью сейчас чаю с тобою, с мамой, с Настей, — и дальше. Зайду тут в один домок — и в Петроград!.. Если к тебе тут Бабенин или Цветков прикатят, — скажи, что меня не видел, не было меня и неизвестно, где я обретаюсь.

На рассвете Андрей ушел дальше. Отец проводил сына до калитки, хотел пойти вместе с ним по городу, — сын не пустил. Отец обнял сына, положил голову к нему на грудь, заплакал, сказал:

— Ну-ну, ты, Андрей... Я, Андрюша... как тебе сказать, одним словом? — я тебя не осуждаю. Я сам ничего... ничего не вижу!.. Мы с матерью тебя, как тебе сказать, благословляем, что ли... Погостил бы...

Андрей пошел по улице, высоко подняв воротник и сгорбившись, чтоб не походить на самого себя. Рассвет был серым, серая солдатская шинель растворилась в темноте. 14-го февраля в Петрограде путиловцы вышли на демонстрацию с красными флагами, — «долой самодержавие! долой войну!» — «хлеба!» — Рабочие с Выборгской стороны шли по Литейному с революционными песнями. По заводам шли митинги. Хлеб уже несколько дней не подвозился к Петрограду, очереди за хлебом вставали с полночи, очереди требовали — хлеба. Были морозы и не было дров. 15-го к парадному Криворотова подъехали сани Бабенина, с медвежьей полостью. Иван Иванович видел в окно, как поспешно во двор прошли два жандарма. В парадном звонили Бабенин и Цветков. Они вошли строго и молча, едва поздоровавшись. Иван Иванович так же едва поздоровался и молчал. Первым стиль потерял надворный советник Бабенин.

— Иван Иванович! — крикнул он почти со слезами. — Для того ль мы растили их?! — что же это делается? — где же ваш сын?! — в университете его нет, от военной повинности он дезертировал... Ну, что это такое делается на земле?!.

— Извините, господин доктор, — сказал строго, строго глянув на Бабенина, подполковник Цветков. — Я обязан произвести у вас обыск.

— Пожалуйста! производите! — крикнул доктор Иван Иванович, чтобы расслышал Цветков, хотя Цветков не был глухим, и обратился к Бабенину, как Бабенин почти со слезами: — Вы бы сказали мне, где мой Андрей и что с ним такое?.. Вы бы сказали мне, что такое творится на свете, — вы — ко мне — с обыском.

Обыск ничего не дал.

Иван Иванович сказал Бабенину:

— Может быть, на дорогу — рюмку водки? — настоящий ректификованный спиртик...

Бабенин косо глянул на Цветкова, Цветков глянул косо на Бабенина. Водку на дорогу выпили, по рюмке, по две и по три.

А 16-го февраля, как Андрей Криворотов месяц тому назад, так же неожиданно, — приехал из Петрограда — особоуполномоченный Всероссийского земского союза — Иван Кошкин, почти полковник. Он не прятался в переулках от станции, он сел на извозчика и поехал по полутемным и приземистым камынским улочкам, — но приехал без предупреждения, вышел со

станции служебным проходом, на люди не показывался и проехал не в дом жены, а к отцу. Отец Сергей Иванович, в валенках на босу ногу, сидел с женою и Машухой у кухонного стола, играли в дурачки, когда приехал сын. Из передних комнат запахло одеколоном, отец вынес сверток, скомандовал:

— Живо!..

В свертке были — бутылка коньяка Депре, банка с черной икрой, лимоны, консервные банки, французские булки, леденцы. Отец собственноручно потащил для умывальника в парадной спальне ведро горячей воды. Мать спросила из-за двери:

— За женой-то послать кого сбегать?

Отец из-за двери ответил:

— Цыц, ты!..

По комнатам ходил вылощенный и выхолощенный — ни дать, ни взять — офицер, в полном офицерском наряде, с полным офицерским оружием, даже со шпорами, отличавшийся от офицеров лишь тем, что погоны были серебряные, а не золотые, — земгусар, чуть-чуть припудренный для томности по тогдашней офицерской моде. Он сбросил китель перед умыванием и надел халат для ужина. Отец спросил нехрабро:

— Может, действительно, послать за Ольгой Витальевной?..

— Повремените, папа, побудем одни... и, вообще, о наших разговорах никто не должен знать. Сейчас одиннадцать. В час я поеду к жене, поезда все равно ходят без расписания, и то, что я сначала поехал не к ней, останется между нами... Как она тут? — в Петрограде так дорого, а вы так скупитесь с деньгами, что я должен был отправить ее гостить к тестю... Как его сиятельство? — с вами по-прежнему почти не здоровается?..

— С нами не очень ретиво...

— Ну и пусть.

Сели к столу. Сын налил отцу коньяка, налил себе. Пальцы сына казались бессильными, тщательно выточенные.

— Как дела? — спросил сын.

— Плохо, ясное дело, — разве лес сейчас кто покупает? — ответил отец.

— Я не о лесе... Действительно, плохо. Я приехал по делу, естественно, — сказал сын. — Нас никто не подслушивает?..

Отец ткнул ногою дверь в коридор, там были Машуха и мать. Отец приказал им отправляться на

кухню и пребывать там бессменно, — дверь в коридор он оставил открытой, чтобы следить за кухонной дверью.

— И вообще о нашем разговоре никто не должен знать... В Петрограде два заговора. Заговор императрицы с целью разгона Государственной думы и заключения сепаратного мира с немцами. А также заговор кадетов с октябристами и союзными правительствами с целью свержения династии, опоры на Государственную думу и продолжения войны до победы над немцами... Я был ближе к князю Львову... Но... Третьего дня в Петрограде на улицу вышло больше ста тысяч рабочих с воззваниями на знаменах — «хлеба!» — «долой царя!» — «долой войну!»... Вы поняли, папа?

— Поняли, как не понять...

— Я же работаю в земском союзе, — хлеба в Петрограде нет, хлеба в ближайшее время не предвидится... и в очередях за хлебом, которого нет, стоит по ночам уже не сто тысяч, а больше... Поняли, папа?

— Поняли, как не понять!.. А стоят на морозе, без дела, разговоры разговаривают, — кто, как и за что Гришку Распутина укокошили... А также на морозе во вшах миллионы и миллионы людей сидят по окопам...

— Совершенно верно... Как у вас, поэтому, насчет сбережений?.. вы, конечно, что могли, сберегли и припрятали?..

— Это ты насчет чего?..

— Деньгами, там, — не бумажными, конечно, — помните, я советовал... Я хочу спросить, — вы приготовились к неожиданностям? — и, вообще, папа, давайте без хитростей.

— А мы и не хитрим.

— Положим!.. — но не будем об этом. Вы поняли главное? — хлеба нет и не будет, рабочие бросают работу, выходят на улицы с воззваниями — «хлеба!» — «долой царя и войну!». — это уже ни Львов, ни императрица. И я спрашиваю вас, — вы приготовились? — поняли?..

— Поняли...

— Теперь дальше. Я получаю правительственную командировку и срочно уезжаю в Америку для закупок для союза городов и земств, поеду через Сибирь и Японию. Я советовал бы вам ваши сбережения отдать мне для сохранения, я положил бы их в американские банки под проценты. К сожалению, я еду в военную командировку и не могу, поэтому, взять с собою ни вас, ни жену...

— Тонем, стало быть, на полных парах?!. Так!.. Ох, Ванька, и в кого же ты сволочь такая? — ну, я жук, не спорю, — а такого, как ты, не видал. Корабль, значит, тонет, — и ты, не то, чтоб спасаться, а попутно и отца ограбить хочешь?!

Иван улыбнулся ясною улыбкой, чуть-чуть презрительной, взял в рот леденец.

— Все это совсем не так, папа. Вы не читали о Французской революции? — представьте обстоятельство, что к вам придут, обыщут ваш дом и найдут вашу кубышку, — что вы будете делать, папа?.. Я же сказал вам, что еду я за покупками для Земгора, то есть, стало быть, еду с деньгами, а, стало быть, ну, при неожиданностях, — я останусь с деньгами Земгора... — Иван улыбнулся ясною улыбкой. — Во всяком случае, если вам неясны мои предложения и если вы хотите рисковать, я просил бы вас, папа, отдать мне ту часть, которая принадлежит мне по наследству.

Сергей Иванович отодвинул рюмку с коньяком, рассматривал сына, как новый предмет, почти с восхищением, — сказал:

— Папа, папа, — как у образованных... Ох, Ванька! Ох, и в кого ты? — папа, папа, а на самом деле денной грабеж, кроме меня, и Земгор ограбляешь?.. Не дам! ни гроша не дам!

— Как хотите. Я говорил с вами как с родителем. Иностранные акции-то, по крайней мере, хоть у вас остались, — хоть их отдайте.

Быть может, на самом деле сын разговаривал с отцом — как с родителем. Около часа ночи Иван поехал к жене в дом тестя — князя Виталия Аристарховича Верейского. Женился Иван два с половиною года тому назад, сейчас же после начала войны — и женился необыденно: впервые в дом к тестю пришел он уже мужем Оленьки Верейской с ясною улыбкой и в покорности, — к великому ужасу и недоумению феодального князя, готовившего дочь для такого ж феодала, как он сам; князь прогнал тогда дочь и ее мужа со своих глаз, — а потом — простил, и пришел даже в восхищение от зятя, зять делал карьеру в традициях князя, князь помогал зятю петроградскими своими связями, и единственное, что угнетало князя это — сват, Сергей Иванович Кошкин, с которым князь едва кланялся... Дом князя был освещен, когда к дому подъехал Иван. Оленька бросилась на шею к мужу. В гостиной сидели

гости — два местных помещика, Аксаков, Цветков. Иван держал речь и знакомил провинциалов с петроградскими новостями, —

— Союзники поняли наконец, что без России они победить не могут, и союзники безотказно сейчас помогают нашей материальной части. Я, в частности, приехал сейчас для того, чтобы проститься с Олей, так как меня направляют в Америку принимать заказы для весенней кампании, на три месяца я должен, к сожалению, покинуть отечество... Настроение?.. — настроение бодрое. Государь-император...

Оленька была счастлива приезду мужа, — теперь он был единственным, кто выводил ее в реальную жизнь из фантомов привидений.

...И революция пришла в Камынск.

Эпиграф:

«...они жили в ситуации и поддерживали ситуацию, которая гибельна, — статистика смертей является закономерностью гибели ситуации».

Из письма Кл. Обухова.

В громадные геологические обвалы бывает такой шум, что человеческое ухо его уже не слышит, и кажется, что наступает тишина. Жители гор знают, что в горные обвалы надо стать под скалу неподвижно, иначе — гибель. В степные грозы надо лечь на землю, нельзя бежать от грозы по степи, — молния догонит и убьет. За горными обвалами возникают новые реки, новые озера, новые дороги. Не было в Камынске человека, который не остался бы в тишине самого себя при вести — революция. Революцию ждали, и тем не менее она прозвучала в Камынске, как горный обвал. Из тишины родились человеческие голоса.

Внешние события начались в Камынске с Цветкова. Он первым в Камынске — шифрованной телеграммой — узнал о февральской революции, — и он исчез, жандармский полковник Цветков исчез, точно провалился сквозь землю, никого не предупредив, даже друзей, даже Верейского и Бабенина. Дом его был пуст наутро, всюду отпертый. Как клопы от кипятка, упол-

зали из дома жандармы, куда придется... Впрочем, все же, быть может, Цветков предупредил одного человека в Камынске: Быкова-Шмуцокса. Быков так же, как Цветков, пытался бежать из Камынска до того, как в Камынск пришла весть о революции, — он задержан был на Уваровском, где незамеченным собирался сесть в вагон. Чемодан Шмуцокса-Быкова был вскрыт, — не все бумаги успел сжечь Цветков, убегая: из бумаг Цветкова, из бумаг Быкова явствовало, что — не только Быков-Шмуцокс был агентом тайной российской полиции, — но оба они, Шмуцокс и Цветков, — были агентами германской разведки...

Бабенин — он, прочитав телеграммы, бегом — на самом деле бегом — побежал к Цветкову, стучал, нашел пустой дом, — побежал к Верейскому, стучал, там никто не отпер, — поехал к Аксакову в земскую управу, Аксакова в управе не было, — он поехал к податному инспектору Молласу, Моллас велел кухарке сказать, что его, Молласа, дома нету, — Бабенин поехал к Коцаурову, Коцауров в форточку сказал, что он, Коцауров, исправника принять не может. Бабенин метался по городу — в штатском пальто, но в полицейских брюках, в папахе с оторванной офицерской кокардой. Глаза Бабенина не мигали. Бабенин сидел в санках за городовым, городовой в растерянности оставался при полной полицейской форме. Лошадь взмылилась от гонки. Никто не мог установить, зачем Бабенин оказался в Игумнове, в деревне, которую сам же Бабенин усмирял в 907-м году, — и многие видели — и никто не заступился: — Бабенина стащили с саней, тащили до реки, били, как бьют пойманных волков, и бросили в прорубь под лед. Бабенина никто не пожалел и никто о нем не помнил.

Верейский молился и плакал с женою и с дочерью, в привидениях, на коленях, перед иконами за диваном, молился и сдерживал рыдания надушенным платочком, кусал платочек, сдерживая рыдания: гибли княжеское его достоинство, земли, власть, привидения, ему не над чем оказывалось властвовать.

Феодосий Лаврович Федотов, отец смерти, через сорок минут после того, как узнал о революции, в полной парадной с орденами генеральской форме пришел в царево кружало, построил перед собою роту выздоравливающих, которая несла караульную охрану, рявкнул, —

— Смирно! —

На глазах перед изумленными солдатами расстегнул шинель, снял и бережно положил на стол все свои ордена, скинул с плечей шинель, сорвал с плечей на мундире генеральские эполеты, сорвал генеральские погоны с плечей шинели, вынул из ножен шашку, сломал пополам клинок, — забыл сказать, —

— Вольно!

повернулся, вышел со двора кружала, пошел домой, поднялся в мезонин и выстрелил себе в висок.

Поколение отцов гибло.

Погиб художник, он же впоследствии режиссер, первый муж баронессы Врангель, Нагорный-Латрыгин, — и неизвестно, в отчаянной ли радости произошла эта гибель иль просто с отчаяния. В те дни на всех домах были красные флаги, — громадное красное знамя реяло над башней Нагорного, — ночи и дни до того времени, когда ночью вдруг вспыхнул отчаянным красным пламенем весь дом Нагорного. Нагорного видели — его не могли спасти, он не хотел спасаться — в рыцарской позе на башне около красного знамени...

Тогда же погиб второй камынский художник мещанин Полканов. О нем забыли. Его случайно нашли — в собственном его доме на Подоле, в собственной его постели — давно уже окоченевшего.

Поколение рушилось. Поколения никто не жалел.

Из Москвы прикатил, разыскивал дом для покупки, искал любой работы, сразу сошелся с эсерами, переселился в Камынск, — знаменитый московский адвокат Вантроба, специалист по рабочим и крестьянским процессам, тот самый, который с сыновьями переписывался на обоях. Через каждую фразу он поминал о погибшем после Пятого года брате Ниле Павловиче, камынском статистике. Явно где-то и как-то Вантроба погибал и явно спасался в Камынске, доказывая всем, что именно здесь мечтал он всю свою жизнь работать в память брата и что в Москве ему работы нету. А в Камынске сидели без дела — акцизный чиновник Коцауров и податной инспектор Моллас, — им не приходилось уже собирать ни акцизов, ни податей, и они собирались в Москву.

Радость испытал Иван Иванович Криворотов, когда в три часа ночи задубасили у него в парадном, решив, что возвратился — теперь уже легально — сын, — но в парадном крикнули:

— Телеграмма! —

И недоуменный ужас ощутил Иван Иванович, когда прочитал телеграмму, в коей неведомый «Уполномоченный Временного правительства губернский революционный комиссар» предлагал ему, Ивану Ивановичу, немедленно принять на себя пост уездного революционного комиссара Временного правительства, всю полноту — над Камынском и уездом — уездной временной власти. Сын Андрей нужен был бы сейчас до необходимости — для совета. И ничего не стал понимать Иван Иванович в ужасе, прочитав вторую «правительственную» телеграмму, где предлагалось временным военным комиссаром назначить — Ипполита Разбойщина, Георгиевского кавалера. И поистине ничего не стал понимать Иван Иванович, когда, как телеграмма, ночью к нему, революционному уездному комиссару, пришел через кухню Павел Павлович Аксаков, униженно, в заискивающей улыбке, — «сам председатель Аксаков», — пришел и говорил о том, что двоюродный брат его деда — славянофил — страдал уже однажды за революцию, это надо принять во внимание, и он, Павел Павлович Аксаков, хотел бы попросить для себя у революционной власти место уездного революционного инженера, присовокупив, что Виталий Аристархович, бывший князь Верейский, также хотел бы занять в Камынске место уездного нотариуса.

Кошкин пришел к Криворотову, запоздно, трезвый.

— Ты Соскова, Евграфа Карповича, знаешь?.. — даже самогону пить неохота... Второе. Я спервоначалу стал было разыскивать партию эсеров, собирался поступать в эсеры, — теперь временю... Ко мне тут мои прибегали, — мужики, мои ж сродственники, им бы как раз в эсеры, — рубят мужики безо всякого спросу мои леса. А другие прибегали, сказывали, — зерно мужики мелют на моей мельнице опять же без спросу по своему усмотрению и безо всякой отдачи десятины. Это, скажем, второе. А первое?.. — царя к ногтю, свобода. Так. А кто во Временном? — Гучков, Милюков. А кто воюет? — все царские генералы. А кто с ними? — английский да французский послы. Всё те же Дарданеллы. Все та же война. Значит — у властишки — опять же мы, тех же щей да пожиже влей. Но опять же — первое, про мои мельницы. Ты вот комиссар, — пойди запрети!.. — не можешь, их — сила. Чего мужик хочет? — хлеба, ситца и — по домам — замирения войны, — а также на мельнице и в лесу он желает по-сво-

ему, как ему удобней. Ты вот комиссар Временного правительства, надо полагать, так оно и есть, — временное... Ты Соскова, Евграфа Карповича знаешь?

— Знаю, — тихо ответил Иван Иванович.

— А мужика ты нашего знаешь?

— Знаю...

— Что у мужика на памяти, — у главного сельского населения? — как его в Пятом году пороли да как на мясо на войну посылали? — он, как себя помнит, помнит бесхлебицу и барскую зуботычину... А Сосков мне первый друг. Я с ним всегда совет держу. У него, как у собак, верхнее чутье имеется или пупком, что ли, думает?.. Он не хуже меня пупком все понимает. Он мне сказал вчерась, — рано ли, поздно ли, — а вешаться надо, а то нас самих повесят. Земского у Соскова нету, Бабенина — нету, дворянского предводителя — нету... Кто вокруг него остался? — Этот самый поротый мужик... Что мужик помнит? Чего мужик хочет?.. — Сосков говорит:

— Либо вешаться, либо драться. Вот сижу и думаю над его словами. Может, Львов с Гучковым все-таки надуют?.. какие там эсеры!..

Сосков, Евграф Карпович, на самом деле повесился.

Рыжий Евграф Карпович Сосков — сельский старшина, трактирщик, — он любил, приехав домой, выпив пятнадцать стаканов чаю, перепотев пятнадцать раз, выйти перед сном под навес на заднее крыльцо, послушать, тихо ли, не воруют ли, услышать, как рыгают и чавкают коровы, как хрюкают во сне борова, как чешутся овцы, как шелестят на насестах куры, как гуси спят белыми комьями снега, — как все это пахнет, живет, дышит, — послушать и кашлянуть громко, чтобы вся эта животина ощутила хозяина, чтобы петухи прокукарековали с испуга, чтоб взвизгнули борова, чтобы племенной жеребец приветствовал хозяина дружеским ржанием, — чтобы всё это зачесалось спросонья, замочилось, зачавкало. Хозяин любил ощутить: — мое, сытое, живет и дышит, стало быть, воняет!.. — естество, земля!.. мое!.. — Это, должно быть, было «властью земли»... За февралем наступил март. Снег, который три недели тому назад назывался просто снегом, теперь становился — летошним. Ручьи текли оврагами к речугам, речуги в реку, в Оку, в Волгу... Евграф Карпович на самом деле оставался с теми, которых порол он после Пятого года, — ни земского, ни дворянского не было и не было казачьей нагайки. Никто не спрашивал Евг-

рафа Карповича, — без разрешения знали: — вот развяжутся с войной и землю пахать будут всю, и земли Евграфа Карповича в частности... И в весеннюю ночь, когда прилетели грачи, в ту самую ночь, когда взломался лед на реке, — рыжие нервы Евграфа Карповича не выдержали. В этот день «мужики» разобрали его амбар с хлебом. Евграф Карпович, волостной старшина, повесился у себя под навесом, где до спиртовой едкости пахло оттаявшим навозом, где чавкали коровы и хрюкали свиньи, взвизгивали борова, взгогатывали гуси и всю ночь напролет пели обалделые петухи. Рыжий, был Евграф Карпович толст, громоздок, тяжел. Он захрипел, повиснув на вожжах, и племенной жеребец напутствовал хозяина дружеским ржанием.

. . . .

...Была отчаянная зима отчаянных метелей и морозов, когда вести о революции пришли в село Шушенское, — но ни Климентия Обухова, ни Дмитрия Широких, ни Ивана Нефедова там уже не было...

...Анна не помнила отца, утонувшего на шмуцоксовском мосту. Она не просилась на руки к отцу, когда у нее возникали первые человеческие ощущения и среди них не было отца... *Я* родилась, *я* увидела свет, *я* окликнула маму, — *я* было тем центром, от которого шагал мир — и то, что за домом рос яблоновый сад и на сучьях яблоневого сада каждое утро Мишуха Усачев вешал бездомных собак, а мама говорила над дочкою, — «бездомные мы, безродные мы, нищие мы»... Первой в камынском поколении ощутила Анна, что *я* вовсе не центр, вовсе не противопоставленность миру, но — подчинение, зависимость, ненужность. Затем мать ушла в ссылку — только потому, что она увидела человеческих людей. Мать умерла в ссылке. Анну подобрал Мишуха Усачев. Анна полюбила Климентия Обухова, никому, кроме Климентия, не сказав об этом. Климентий ушел — сначала в поисках права на жизнь, а затем именно за это человеческое право и за человечность — в ссылку... Мишуха рассказывал охотничьи истории, похожие на сказки. Климентий писал письма, у Климентия был настоящий мир дел и действий. *Я* было очень глубоко запрятано — в ссыльнические письма... Это было миллиардное количество раз у человечества, когда возникали и гибли ощущения человеческого я, — и первая в Камынске, сильнее всех, боль-

ше всех, ощутила Анна, что революция есть — именно восстановление ее *я*, ее человеческого *я*, ее и миллионов других!.. — Громадные тысячелетия, громадные миллионы человеческих жизней прошли, чтобы терять *я*, — еще большие пройдут за революцией в будущем, чтобы — приобретать *я*! — В доме было тихо, Анна искала слова для телеграммы Климентию. Никита Сергеевич — пораженный — на ключ заперся в мезонине, чтобы собраться с мыслями о революции, — у стола, против его глаз была фотография Веры Фигнер. Мишуха убежал на улицу, к людям. Анна вышла за калитку, чтобы отослать телеграмму. По половодным улицам шли счастливые люди, как половодье. У почты Анна встретила — старика уже — учителя чертановской школы Григория Васильевича Соснина.

— Сбылось, сбылось! — кричал старик, почти сумасшедший, совсем ребенок от счастья.

Старик обнял Анну и затанцевал на снегу в счастии. Из сельца Чертанова по мосту мимо соляного амбара — чертановские, игумновские, одинцовские — в город шла демонстрация — «мира!» — «хлеба!» — «земли!» — Впереди шел — счастливейший — Сидор Наумович Копытцев, чертановский староста.

...Шестьдесят пять лет тому назад, считая от 1917-го года, близ города Тетюшей на Волге родилась Вера Николаевна Фигнер, фотография которой долгие годы висела в кабинете Никиты Сергеевича. Дочь дворянина и помещика, воспитывавшаяся в крепостном помещичьем быту, в детстве мечтавшая стать царицей, окончившая институт благородных дворянских девиц, очень красивая, — восемнадцати лет она пошла учиться естествознанию и медицине, недворянским наукам. Двадцатилетней девушкой, когда профессор Лесгафт был изгнан с кафедры в Казанском университете, она поехала учиться за границу, в Швейцарию, в Цюрих. Она приехала в Швейцарию в 72-м году. Цюрих и Берн были местами революционной мысли. Вера Николаевна стала русской социалисткой. Товарищи Веры Николаевны уже работали в русском подполье и гибли. Двадцатидвухлетним человеком Вера Николаевна вернулась в Россию. В 1876-м году она вырабатывала программу и была одним из организаторов «Земли и воли». Фельдшерицей она работала в народе — в Саратовской губернии. Когда «Земля и воля» разошлась на

«Народную волю» и на «Черный передел», Вера Николаевна стала и была бессменным и последним, ибо товарищи ее были уже повешены, — последним членом ЦК «Народной воли». Ее выдал предатель. На суде она сказала речь, которую заучивали наизусть, как пример бесстрашия. Ее фотография в тюремном халате для многих народовольцев была украшением их одиночества и жизни, и грозою совести, и укором, — та фотография, которая висела у письменного стола в кабинете Никиты Сергеевича... Суд приговорил Веру Фигнер к смертной казни по делу 1-го марта. Александр Третий потребовал к себе ее дело — и «сжалился», «помиловал», заменив ей виселицу вечным одиночеством каземата. Двадцать лет Вера Фигнер просидела в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, где для нее не было имени, но был только номер, номер 26, чтобы имя ее стерлось с лица империи. Двадцать лет просидела в одиночестве за номером и без человеческого имени. Через двадцать лет шлиссельбургского равелина над Верой Фигнер «сжалились» вторично: в сентябре 1904-го года ее выслали из Шлиссельбурга на вечное поселение к Белому морю в село Нёноксу. Двадцать лет Веры Фигнер прошли вне жизни, двадцать лет она была вне жизни, — русские народники строили революционную философию на русской крестьянской общине, — за двадцать лет стало ясным, что русская революция, которую некогда вела за собою Вера Фигнер, шла иными идеалами. И вдруг стало известно, что в «номерах для приезжих», во втором этаже над трактиром Козлова в Камынске, — остановилась Вера Николаевна Фигнер, вместе с младшей сестрой, также ссыльнопоселенкой Евгенией Николаевной и с мужем Евгении Николаевны Михаилом Петровичем Сажиным, участником Парижской Коммуны. Вере Николаевне в тот год было шестьдесят пять лет.

Никита Сергеевич за годы от 907-го до 917-го — постарел, конечно, — и дом его пообглупили многие ветры. По-прежнему Никита Сергеевич жил в регламенте строгого времени, по-прежнему он собирал вокруг себя детей, по-прежнему дом его был открыт... Но дом подолгу пустовал. Все чаще и чаще единственным собеседником Никиты Сергеевича оставался Мишуха Усачев. По-прежнему пребывал Никита Сергеевич строг и добр к людям — и только строг к самому себе. По-прежнему последняя хорошая книга лежала у него

на столе... Но реже ходил он с детьми на Козью горку, а на письменном столе, рядом с новой книгой, против фотографии молодой Веры Фигнер, все выше и выше вырастала кипа простейших арифметических и сложнейших интегральных задачников, и часто Никита Сергеевич пропускал регламентные часы за решением сложнейших и никому не нужных математических задач... Вместе с Никитою Сергеевичем старился, затихал старый его дом — и, никак не считаясь со старостью, разрастался буйно до одичания сад...

В час, когда Никита Сергеевич услыхал о приезде Веры Николаевны Фигнер и Сажиных, он пошел в «номера для приезжих». Старик, он долго собирался с мужеством, чтобы постучать в дверь Веры Фигнер. Ему отперла маленькая худая женщина в черном платии с белым воротничком на старческой шее и в белой наколке на седых волосах. Она глянула настороженно и ласково молодыми, не уставшими и строгими глазами.

— Вера Николаевна, я пришел просить вас к себе, вас и Сажиных, — я прошу вас...

Голос Никиты Сергеевича сорвался. Он говорил так, точно сейчас здесь, на пороге в комнату «номеров для приезжающих», решалась его судьба. Он смотрел на Фигнер любящими глазами. Перед Верой Фигнер стоял высокий, худой, дряхлый и беспомощный старик.

И Фигнер сказала чуть-чуть недоумевающе:

— Спасибо. Пожалуйста. Когда вам удобнее?

— Когда вам удобнее! — ответил Никита Сергеевич, — в любой час, когда удобнее вам, сегодня, сейчас, завтра!..

Фигнер сочла удобным прийти наутро.

Никита Сергеевич дом поставил вверх дном. Он мыл полы, проветривал комнаты, топил печи. Ни он, ни Мишуха не спали, должно быть, ночи — в уборке, волнении и заботах. Наутро Никита Сергеевич своими руками раздвигал стол, сам накрывал его скатертью, сам перечищал поднос для самовара, сам раскладывал у тарелок салфетки. Он был совершенно молод. Мишуха Усачев с рассвета ходил на базар за молоком, сметаною и яйцами. С раннего утра кипел самовар.

Никита Сергеевич молол ручною мельницей кофе, когда в одиннадцать — пришли Фигнер и Сажины. Михаил Петрович Сажин, старик, состоявший из гро-

мадных костей, широко открыл калитку на двор, сказал, пропуская вперед жену и Веру Николаевну, —

— Прошу пожаловать, молодежь!.. — и добавил, обращаясь к Никите Сергеевичу: — А молодежи, нам троим вместе взятым, — двести лет!..

Прошли в гостиную, Михаил Петрович шутил.

Из гостиной прошли в столовую.

Никита Сергеевич разливал кофе. Мишуха не находил себе места, цыкал на собак, и так уже безмолвных.

И над столом поднялся древний, худой, беспомощный старик. Он заговорил — и он помолодел, голос его окреп, окрепли, помолодели его глаза и жесты. Совершенно очевидно, он говорил всем своим сердцем и всем своим мозгом.

— Вера Николаевна, — старчески сказал Никита Сергеевич и крикнул молодо, — — Верочка Фигнер!.. Помните, сорок с лишним лет тому назад у вас было дружеское прозвище, — «Вера, топни ножкой!»... Вера — «топни ножкой!» Верочка Фигнер!.. простите, — я никогда в жизни не называл вас так, — но я всю жизнь так называл вас... Вы не помните меня — и это не важно, — конечно, не важно, — я же не герой... Помните ли вы? — я точно помню. Сорок один год тому назад с несколькими днями, 6-го декабря 1876-го года у колонн Казанского собора?.. — Евгения Николаевна, Вера Николаевна! вы обе были там. Вы помните, на обеих на вас были серые мерлушковые шапочки. Когда молодой студент Плеханов закончил речь и рабочий Яков Потапов выкинул знамя с девизом «Земля и воля», когда городовые бросились со свистками на демонстрацию и демонстрация рассеялась, — вы пошли по Невскому, вы, Вера Николаевна, и вы, Евгения Николаевна, и с вами рабочий Яков Потапов. На вас набросились шпики, Потапов был арестован, — два морских офицера спасли вас и дрались с полицией... Я тогда впервые увидел вас!.. Затем вы уехали в деревню, в Саратовскую губернию, — работа в деревне загнала вас в подполье... Помните дачу в Лесном, где нелегально жили вы и ваши товарищи?.. Помните, в апреле восемьдесят первого года, после первого марта, когда был арестован Исаев, живший с вами на одной и той же нелегальной квартире у Вознесенского моста, и вас искала полиция, — вы жили тогда под фамилией Лихаревой, вы скрылись тогда в Кронштадте у ваших друзей Штромбергера и Завалишина, морских офицеров... Вы помните, конеч-

но, Суханова, Луцкого, Юнга, Гласко, Прокофьева, Разумова, — военно-морскую секцию «Народной воли»?.. Верочка — «топни ножкой!»... я был тогда среди тех офицеров, я был очень близко к революционерам тех лет!.. Как замечательно вы говорили с нами тогда, — вы, восставшая против царя, вы, товарищи которой были уже на виселице, вы, ожидавшая виселицы, покойная, скромная, чистая... Вы помните правила Устава партии, которые вы выработали, вы взяли на себя и вы исполняли, — вы должны были по Уставу отдавать и отдавали все духовные силы свои на дело революции, должны были забыть и забыли все родственные узы и личные симпатии... в Уставе было записано, — «если это нужно, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем», — «не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью организации», — «отдавая всего себя», — «подчиняя себя воле большинства»... Вы помните это, Вера Николаевна. Целую неделю вы прожили тогда у нас в Кронштадте. Первое марта уже отгремело, на Семеновском плацу всенародно повешены были Желябов, Перовская... были бы повешены и вы, если бы вы не скрывались у нас... Я следил за вами и думал, — что переживает она, братья которой только что повешены?.. Вы уехали тогда на юг, в Одессу, чтобы заменить погибшего Тригони... А я, мы с Юнгом, — тою весною мы пошли в кругосветное плавание... Я вернулся в Россию, когда — перед судом — вы были в Петропавловской крепости. Страна немела от виселиц. Вас приговорили к смертной казни. Юнг погиб впоследствии при Цусимском бое... А я...

Никита Сергеевич молчал минуту.

Вера Николаевна следила за Никитою Сергеевичем — ласково и строго одновременно, заботливо старчески, без улыбки.

— Когда вас после суда увезли в Шлиссельбургскую крепость, я ушел в отставку и приехал — сюда, в Камынск, чтобы зарыться в провинцию, чтобы спрятаться — от всего в мире. Морской офицер, — я не сильный человек, Вера Николаевна. В час, когда я переходил порог этого дома, я понял, — молодость позади, впереди старость... Но я помнил заветы о том, что все духовные силы надо отдать лучшему, — и тогда ж я решил всем умом моим и всею моей волею, по мере сил моих, проводить эти заветы в жизнь... Верочка —

«топни ножкой!!». Я не был героем, я сдал себя в провинцию и в старость... Но... первый раз за всю мою жизнь в этом городе я говорю о том, что было со мною до этого города, мне самому казавшееся сном... Впрочем, это не то главное, что должен я сейчас сказать. Я старше вас, я помню Бакунина и Нечаева, моих сверстников... Плеханов ушел из «Земли и воли» в «Черный передел», — помните, среди нас был Зунделевич, — он первый говорил со мною о Марксе и о марксизме... Вас замуровали в Шлиссельбургский равелин... Плеханов первый организовал русских социал-демократов. Вы были в крепости... Я... я был в Камынске... — И пришла первая русская революция. Девятьсот пятый был рабочим годом, — годом Ленина, который повел за собой революцию. Так было, так есть, Вера Николаевна. Двадцать лет, двадцать лет вы были в могиле крепости!.. — а я был — в Камынске... Девятьсот пятый был рабочим годом. Он прошел очень близко от меня, — второй раз я приближался к революции. Я думал, что я — участник в ней, что она идет через мой дом, — и тогда, в Девятьсот пятом, здесь в этом доме, ночью, наверху в мезонине, я вынужден был сказать человеку, который был дорог мне, как вы в молодости, — я сказал ему: — «Вы и ваши товарищи, вы все дальше и дальше уходите от меня, а мне хотелось бы на бодрую голову, совсем по-деловому рассказывать вам мою жизнь»... — Он ответил мне: — «не мы, не я уходим от вас, но вы уходите от времени». — Это было за три дня до Московского вооруженного восстания, он знал о нем, — он сказал: — «Вы, конечно, против него? — Вы слышите, начинается-вооруженное — восстание — рабочих. Я и мои товарищи, мы едем в Москву. Этим все сказано!»... Он был прав, говоря тогда, что не он уходил от меня, но я уходил от времени — и от революции... Он был очень утомлен в ту ночь, ему хотелось просто выспаться перед восстанием, — он уехал тогда в Москву и был убит. Его звали — Леонтий Шерстобитов. Я не успел тогда рассказать ему то немногое, что я рассказываю сейчас. Я все же сказал ему тою ночью, что я еду с ними. Я не поехал тогда в Москву, оставшись в Камынске. Я не сказал ему тогда того, что я хочу сказать сейчас вам, Вера Николаевна, вам, которая была двадцать лет вне жизни. Я очень близок был тогда к революции, — гораздо ближе, чем в семидесятых годах около вас...

Никита Сергеевич молчал минуту.

— И, вот, что я должен сказать. Я прожил очень длинную жизнь. Я много старше вас, Вера Николаевна, а вам сейчас столько лет, сколько было Марксу в год его смерти, — я старше Михаила Петровича, а он был членом Парижской Коммуны, дела Маркса... Все лучшее, все честное, все подлинно человеческое, что было в моей жизни, — это было тогда, когда я приближался к революции. Все это на протяжении одной жизни, все это на памяти нашего поколения. Я смотрю на вас — и вспоминаю семидесятые годы, я не случайно вспомнил Зунделевича, — Леонтий Шерстобитов был прав, когда говорил, что не они уходили от меня, но я уходил от времени, — он не успел выслушать меня тогда. И сегодня, сейчас...

...Климентий Обухов, Иван Нефедов, Дмитрий Широких, — они ушли из Шушенского в отчаянные сибирские морозы, когда вестей о революции еще не было: они ушли, потому что вести эти должны были быть. Они вышли в отчаянные морозы империи. В детстве Климентий, в марте, помогал ручейкам выбиваться из-под дряхлых снегов, — шел за ручьями до моста у соляного амбара, — ручьи текли дальше, в Оку, в Волгу, в Каспий... Те громадные земли, которые являли собою Российскую империю, те миллионы людей по селам, по рекам, по шпалам, по городам, пригородам и заводам, мимо которых, с которыми и ради которых шли Дмитрий, Иван и Климентий, — они были в жизни, в весне, в половодье, в радости. Одиночками Куреек и Шушенских, сотнями и сотнями тысяч волостей и уездных городов они сливались в миллионы радостных рек в человеческое будущее. Из-под сибирских руд и ледников, пешком, по рекам, по шпалам, на подводах, на вагонных буферах возвращались в справедливость и жизнь те, которые за справедливость жизни разогнаны были империей по трущобам империи...

Климентий задержался у калитки: десять лет он не переступал ее порога, тогда ему было шестнадцать лет. Впервые из-за этой калитки к нему пришло сознание того, что такое — класс и революция класса пролетариев. На пороге этой калитки последний раз в жизни он видел живым своего отца. У порога этой калитки он узнал, что он любим навсегда, — и не было дня, чтоб Климентий не вспоминал этого дома: в нем жила его верность, ибо верность в любви Климентий считал такою же верностью, как делу, мысли, слову, — так же, как

считала и Анна, каждый день которой за все эти десять лет был известен Климентию... Десять лет, — нет, не доверия и ожидания, но — делания общих дел, общего знания, общего становления людьми. Верность!.. Двор за калиткою был пуст. Климентий знал, — сейчас он увидит Анну, и он ощущал: сейчас он увидит вторую половину самого себя, прекраснейшую, лучшую, которую он поцелует так, как никогда еще не целовал в жизни. Анна не знала о его приезде.

На пороге в столовую стояла Анна.

В столовой были старики. Древний старик Никита Сергеевич говорил счастливым юношей.

— ...Все лучшее, все честное, все подлинно человеческое, что было в моей жизни, — это было тогда, когда я приближался к революции. Это было дважды. Но я никогда не был вплотную с революцией, — мне казалось, что я недослушан ею, и это неверно, потому что я опаздывал за нею. Я хочу жить!.. И сегодня, сейчас...

Никита Сергеевич поднял голову и увидел на пороге взявшихся за руки Анну Колосову и Климентия Обухова, а сзади них чертановского учителя Григория Васильевича Соснина. Никита Сергеевич крикнул счастливо:

— Анна, Климентий, Григорий Васильевич, — вы слышали меня?!.. — только с революцией, только с вами!..

Город писателей,
25 авг. 937-го

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ

Заштат. Впервые был опубликован в журнале «Знамя» (1987. № 5). Рассказ предназначался для журнала «Красная новь», но напечатан не был (последние полтора года Пильняка не печатали). Литературная реабилитация Пильняка в наше время началась с публикации этого рассказа. Прообразом героя послужил отец писателя А.И. Вогау, в основу рассказа легли реальные события из его жизни, описанные Пильняком еще в раннем рассказе «Земское дело» (1915), который позднее был переработан в «Заштат».

Отец и сын. Единственный раз рассказ был опубликован в журнале «Огонек» (1936. № 18. С. 12). В рассказе описан отец писателя и город Саратов.

Игрушки. Рассказ был опубликован в журнале «Огонек» (1936. N 29. С. 9). Рассказ автобиографичен, в нем описывается семья Пильняка.

СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ

Впервые появился в журнале «Новый мир» (1935. №№ 10—12). Отдельным изданием был опубликован в 1936 году (М.: Гослитиздат). Вошел в сборники «Расплеснутое время» (М., 1990), «Человеческий ветер» (Тбилиси. 1990), в Собрание сочинений в 3-х томах (М., 1994). Вопреки устоявшемуся мнению о романе как попытке Пильняка взглянуть на происходящие в стране процессы со стороны социалистического строительства и созидательного начала, роман, как и другие произведения писателя, затрагивает противоречивые вопросы строительства нового государства, поднимает вопросы нравственности и цены этих достижений. В романе описывается новая семья Б. Пильняка — третья жена актриса Кира Георгиевна Андроникашвили, их роман, свадьба и сын — Борис Борисович Андроникашвили.

СОЛЯНОЙ АМБАР

Впервые роман был опубликован в книге «Расплеснутое время» в издательстве «Советский писатель» в 1990 году, затем в трехтомном Собрании сочинений (М., 1994). Роман автобиографичен — в его основу легли впечатления детства и юности писателя, некоторые факты его биографии. Роман многостроен и неординарен, как сам автор, как произошедшая на его глазах описавыемая им революция. Замысел романа Б. Пильняк вынашивал всю жизнь, но написал в сложный для писателя последний год жизни — год травли и ареста. В 1937 году Пильняка перестали печатать, не прекратив при этом гонений. Сложная литературная обстановка этого периода также не благоприятствовала творчеству. Тем не менее, ожидая арест и трезво оценивая ситуацию, писатель пишет роман «Соляной амбар» как свое последнее слово, в котором заново возвращается к темам всего своего творчества — революции, детским и юношеским годам, на которые пали переломные годы страны, включает в роман свои скандальные произведения разных лет жизни — заново переосмысливает прожитое.

«Грандиозная вещь, — пишет Л. Аннинский во внутренней рецензии на «Соляной амбар». — Добротный исторический роман, русские провинциальные сцены конца XIX века, галерея типов уездного городка под Москвой (вроде Павлова Посада), плюс революционная хроника (1905 год), плюс «роман воспитания» с «гимназической повестью», с элементами фрейдизма («позорное десятилетие»). Остро очерченные — по логике контрапункта — фигуры Маркса и Ленина. По контрапункту же — Урал, Ленские прииски, расстрел. Формирование российского «среднего класса»: офицеры, земгусары, частью — вправо, к кадетам, частью — влево, в бунт. Мощно и ярко очерченная панорама 1914 года. Плюс элементы революционно-подпольного детектива. Ощущение обвала, конца света, тектонической социальной катастрофы (предвосхищение Гроссмана)».

У романа «Соляной амбар» существовало три редакции. Роман был написан, затем переделан — эта редакция является сейчас основной и опубликованной — и отнесен редактору. Но вторая редакция также не подошла неизвестному нам рецензенту, который небрежной рукой отметил места для доработки. По сути дела — основные места романа, работа над которыми означала написание нового произведения, не характерного для Б. Пильняка и не отвечающего его взглядам. В надежде на публикацию Пильняк «поработал» над романом и сделал третью редакцию, но старую рукопись сохранил. Хотя возможно, что, потеряв надежду на публикацию и в совершенной уверенности ближайшего ареста, Борис Пильняк восстановил вторую редакцию. Первая и третья редакции не сохранились. После ареста писателя рукопись романа, вместе с остальным его архивом, была вывезена семьей писателя и перепрятана.

К. Андроникашвили-Пильняк

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС АНДРЕЕВИЧ ПИЛЬНЯК

Собрание сочинений в шести томах

ТОМ ШЕСТОЙ

Редакторы *О. Замшева, Ю. Денисова.* Художественный редактор *И. Марев.*
Технический редактор *Л. Платонова.* Корректор *Л. Курносенкова.*

Изд. № 0204042. Подписано в печать 28.05.04 г. Формат 84x108 $^1/_{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать высокая.
Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 32,14. Заказ № 0410250.

ТЕРРА—Книжный клуб. 115093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО "Ярославский полиграфкомбинат". 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.